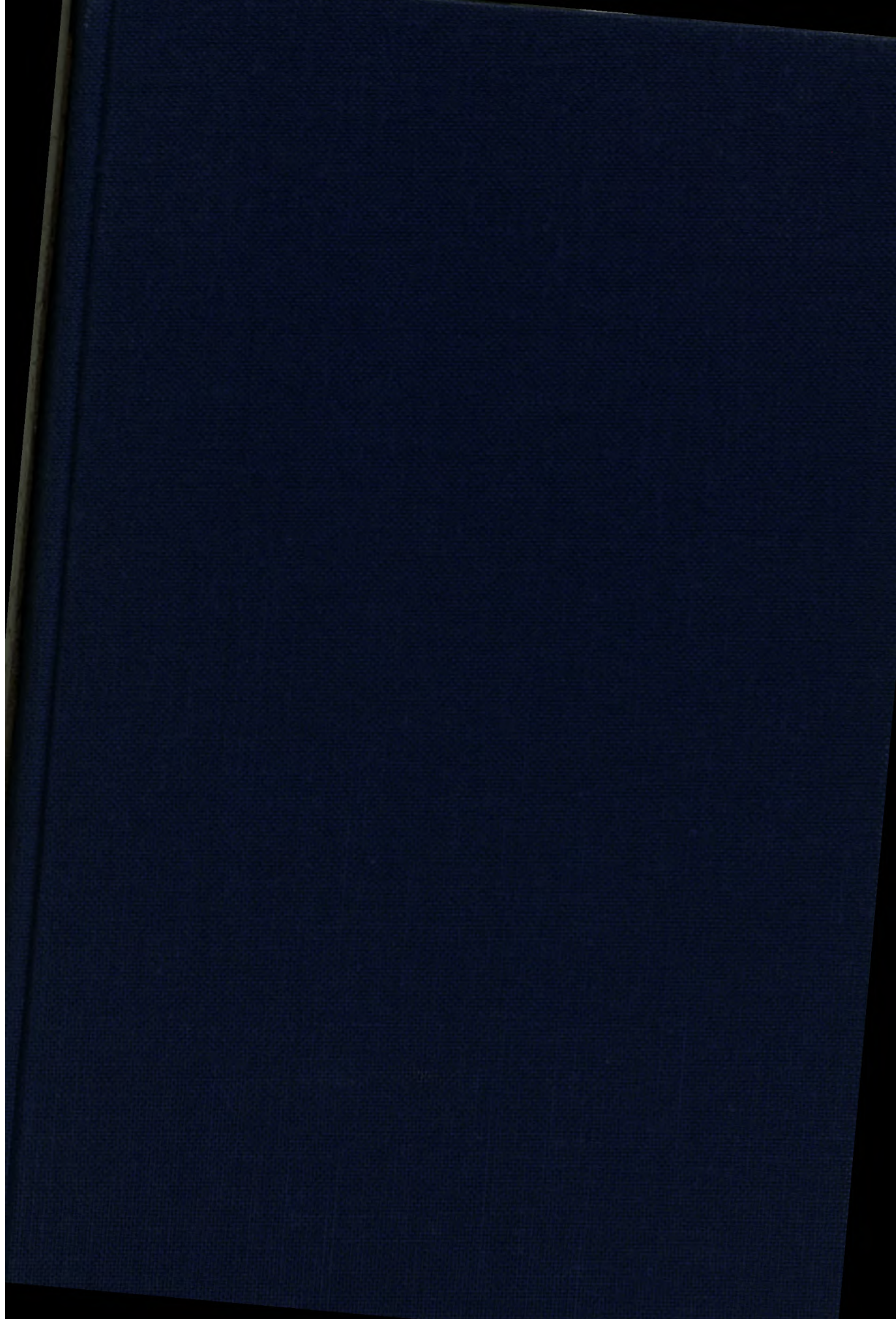






INDIANA
UNIVERSITY
LIBRARY

SLAVISTIC PRINTINGS AND REPRINTINGS

94/31



Published by Europe Printing Establishment

This volume was previously announced as

SLAVISTIC PRINTINGS AND REPRINTINGS, 265/12

a series published by Mouton Publishers, The Hague, Netherlands

(supplements Slavistic Printings and Reprintings, 94/1–11)



EUROPE PRINTING ESTABLISHMENT

VADUZ – LIECHTENSTEIN

1973

Byloe

БЫЛОЕ

№ 25

1924

К

DK1

.B932

Narrator.

no. 25-26

INDIANA UNIVERSITY LIBRARY

6-14-74



Рылов и Кюхельбекер 14 декабря 1825 года.
Немалый рисунок Пушкина.

Памяти Пушкина.

I.

Рылов и Кюхельбекер 14 декабря 1825 года.

О рисунке Пушкина, впервые на этих страницах появляющемся в печати, сохранились кое-какие упоминания в специальной литературе. Впервые наметнул на него П. А. Ефремов, сообщая („Русск. Старина“ 1880 г., январь, 191) о сохранившихся в бумагах Ф. Ф. Юрьева подлинниках Пушкина, — здесь он назван „карандашным рисунком...“, с наводящим читателя на размышления длинным многоточием; очевидно, по цензурным условиям Ефремов не мог поделиться с публикою содержанием рисунка. Много лет спустя о нем говорится в каталоге Московской Пушкинской выставки 1899 г., помещенном при ее „Альбоме“; там среди экспонатов значится (под № 411), в числе автографов поэта, „Рисунок Пушкина карандашом: Кюхельбекер и Рылов на Сенатской площади 14 декабря 1825 г. От Ефремова“. В 1904 г. П. А. Ефремов показывал его пишущему настоящим строги. Видали рисунок

у него и многие другие, между прочим С. А. Венгеров, который, выпуская свое издание сочинений Пушкина (Брокгауз-Ефрона, т. II, стр. 529), сообщил читателям, что „не потерял надежды дать воспроизведение этого интересного рисунка в одном из ближайших томов“, но Венгеров не получил на это разрешения от Ефремова; упоминает о нем со слов С. А. Венгерова А. Л. Слонимский („Пушкин и декабрьское движение, — там же, стр. 511). Вскоре Ефремов умер, его библиотека и собрание бумаг разошлись по рукам, и рисунок Пушкина появился на свет лишь недавно, в магазине ленинградских антикваров Н. М. Волкова и П. В. Губаря, любезно разрешивших „Былому“ опубликовать его воспроизведение.

Покойному Ефремову он достался в числе бумаг Федора Филипповича Юрьева (1796—1860), друга юношеских лет Пушкина, который очень любил этого „Адониса“, „прелестного баловня Киприды“; особенно сближало их участие в кружке Зеленой Лампы. От Юрьева к Ефремову перешел единственный известный печатный экземпляр послания „Любимец ветренных Лаис“, автографы приветственной песни „Здорово, Юрьев, именинник“, послания к Н. В. Всеволожскому и „Мне бой знаком“. „Поцелуй, если увидишь, Юрьева“, писал в 1821 г. Пушкин из изгнания брату. Мы ничего не знаем об их встречах впоследствии, когда поэт возвратился на север, но встречаться им случалось, конечно, часто, при этом они вспоминали прошлое и возвращались к декабрьским событиям 1825 г. К одному из таких моментов и относится настоящий рисунок.

Он набросан на листе белой, тонкой, очень хорошей, вероятно, английской бумаги, с золотым обрезом, без водяных знаков, вышиною в 25 и шириною в 20 сантиметров. Под обеими фигурами подписано карандашом: „Кюхельбекер“, „Рылеев“; ниже, справа: „14 декабря 1825“; еще ниже: „рисовал Александр Сергеевич Пушкин“. Ниже приписано, тоже карандашом (вероятно, рукою Ефремова, но строки несколько стерлись и разбираются не без труда): „Надпись сделана Федором Филипповичем Юрьевым, у которого Пушкин и сделал этот набросок, представляя, какими по его мнению были Кюхельбекер и Рылеев на Адмиралтейской площади. От Ф. Ф. Юрьева. Надпись его руки“. На соседнем листке, представляющем одно целое с рисунком, чья-то надпись, тоже карандашная: „Deux esquisses faites par A. P.“

Здесь мы даем воспроизведение рисунка, т.-е. обеих фигур, в немного уменьшенном виде и без приписок. Если бы их и совсем не было, легко было бы определить безошибочно имена обоих декабристов, — сходство схвачено так верно, что иконография декабристов должна будет высоко оценить оба изображения, тем более, что иконография эта довольно бедна. У нас нет портрета В. К. Кюхельбекера, изображающего его в 1825 г., — мы располагаем лишь тремя лицейскими полудетскими, неумелыми карикатурами на него (опубликованными в известной повести В. П. Авенариуса „Юношеские годы Пушкина“, а также в книге К. Я. Грота „Пушкинский Лицей“) и позднейшими портретами, рисованными в Сибири. Пушкину же удалось видеть Кюхельбекера в 1827 году, это была их последняя встреча. Что

касается до К. Ф. Рыльева, то его портретов у нас еще меньше, всего два (о них см. статью П. Е. Щеголева „К иконографии декабристов“ в сборнике „Музей Революции“, I, Спб., 1923, стр. 65—66).

Нельзя не заметить сразу, что Пушкин отнесся не одинаково к обоим героям 14 декабря, — к Рылеву серьезно, к Кюхельбекеру с насмешкой. Рылев изображен без шаржа. Он глубоко печален, перед ним явно проигранное дело. Выражение его лица на рисунке Пушкина вполне соответствует всему, что знаем мы о его поведении в день восстания. Сомнение овладело им еще до 14 декабря. „Но мы начнем“, — говорил он накануне, — „я уверен, что мы погибнем, но пример останется“. На площади, показывая он потом судьям, он „увидел безначалие и неустройство“, тщетно искал малодушного „диктатора“ Трубецкого, долго, по словам Розена, метался, „как угорелый, чтобы набрать больше материальной силы, и возвращался на площадь с пустыми руками“, и наконец, рассказывает И. И. Пущин, „потерялся, конечно, не из опасения за свою жизнь“ (Н. А. Котляревский „Рылев“, изд. „Светоч“, Спб., 1908, стр. 162—164, и статья „К. Ф. Рылев“ в журн. „Полярная Звезда“ 1906 г., № 7, стр. 477—478). Пушкин чутко передал эту горькую „резиньацию“ Рыльева. Одним любопытным показанием современника точно подтверждается пушкинское изображение: „глаза темные с выражением думы... голова, немного наклоненная вперед“, — так описывает наружность Рыльева его товарищ, другой декабрист, князь Е. П. Оболенский. („Воспоминания“ — в „Русском Заграничном Сборнике“, часть IV, тетрадь V, Лейпциг, 1861 г., стр. 4.) Надо думать, что Пушкин верно воспроизвел даже одежду Рыльева, его шинель с многостажным воротником. По крайней мере М. А. Корф, официальный историк 14 декабря в „Восшествии на престол императора Николая I“ (изд. 5-е, Спб., 1857, стр. 169), описывая царивший на площади „маскарад распутства, замышляющего преступление“, упоминает про „старинные фризвые шинели с множеством откидных воротников“. Нечего и говорить, что Пушкин имел самые подробные сведения о том, что делалось между Зимним дворцом и Сенатом в памятный день. Ближайшим источником этих сведений для Пушкина был, несомненно, его родной брат Лев Сергеевич.

Восемнадцатилетний Левушка вертелся тогда на площади, и окончательно растерявшийся в крепости Кюхельбекер едва не запутал и его. Сохранилось его показание, от 17 февраля 1826 г.: „Кроме пистолета, дал мне кто-то из черни палаш жандарма, которого удалось нам вырвать из рук их; отдал же я палаш сей молодому Льву Пушкину, пришедшему однако же на площадь, как полагаю, из одного ребяческого любопытства; вскоре потом увидел я его, Пушкина, без палаша, — куда же он дел его, не спросил и не ведаю“. 31 марта несчастный Кюхельбекер, испугавшись за судьбу „молодого Льва Пушкина, пострадавшего, может быть, через мое показание, что я ему отдал палаш, отнятый у жандарма черни“, снова писал Следственной Комиссии, что „этот палаш дал ему без предварительного его требования“, и повторил, что Лев Пушкин, по его мнению, „пришел на площадь из одного ребяческого

любопытства". (Н. А. Гастфрейнд, „Кюхельбекер и Пушкин в день 14 декабря 1825 года“, Спб., 1901, стр. 19 — 20).

Поведение Кюхельбекера на площади, о котором Пушкин должен был получить вернейшее представление из рассказов брата, было действительно, как и следовало ожидать Пушкину, нелепым. Добрый, благородный, восторженный, несуровый Кюхельбекер вообще был воплощенной бестактностью, а в бурной обстановке бунта утратил последнюю искру здравого смысла. И. И. Пушкин много лет спустя писал с сожалением: „напрасно покойник Рылеев принял Кюхельбекера в Общество без моего ведома... Если бы вам рассказать все проделки Вильгельма в день происшествия и в день объявления сентенции, то вы просто погибли бы от смеху, не смотря, что он тогда был на сцене довольно трагической и довольно важной. Может быть, некоторые анекдоты до вас дошли стороной" (Я. Грот, „Пушкин, его лицейские товарищи и наставники“, изд. 2-е, Спб., 1899, стр. 181). Кюхельбекера любили и уважали все знавшие его, но никто не мог смотреть на него серьезно, — тем менее видеть в нем политического деятеля. Так смотрели на него и Пушкин и Дельвиг. Грибоедов называл его Дон-Кихотом. Еще в лице Кюхельбекер был неизменным объектом товарищеских насмешек, подчас довольно бесперемонных и даже жестоких. Изводил его и Пушкин, и между ними состоялась однажды дуэль, на которой „Кюхля" вел себя с истинно-донкихотской серьезностью, а Пушкин от всей души веселился. Рылеев восхищался его любовью к Пушкину: „Что за прелестный человек этот Кюхельбекер! Как он любит тебя! Как он молод и свеж", — писал он однажды Пушкину. Вскоре после 14 декабря Дельвиг сообщил Пушкину о „нашем сумасшедшем Кюхле", что „он совсем не был в числе этих негодных Славян, а просто был воспламенен, как длинная ракета... Как от сумасшедшего, от него можно всего ожидать, как от злодея — ничего". Пушкин отвечал: „радуясь, что тевтон Кюхля не был Славянином, а охмелел в чужом пиру". „Анахарсису Клоцу", как прозывал Кюхельбекера Пушкин, были предъявлены Следственной Комиссией очень серьезные обвинения. Он покушался на жизнь великого князя Михаила Павловича и генерала Воинова, но оба раза пистолет дал осечку; впрочем, он и сам не знал, годится ли куда-нибудь этот пистолет, случайно взятый им у кн. А. И. Одоевского. Показания самого Кюхельбекера, свидетелей и современников об этих покушениях, быть может, с действительно негодными средствами, впрочем, сбивчивы. Корф (стр. 201 — 202) говорит, что пистолет, наведенный на великого князя, вышибли из руки Кюхельбекера три матроса. По рассказу барона А. Е. Розена („Записки декабриста", Спб., 1907, стр. 67) его руку ствел Петр Бестужев. По словам легшего в основу обвинения „Донесения Следственной Комиссии" (стр. 80), Кюхельбекер уверял, „что он не хотел совершить удара, а притворно согласился на сие по вызову Ив. Пушкина для того, чтобы не допустить к сему других, и зная, что пистолет его, намоченный снегом, не мог бы выстрелить, в доказательство прибавляет, что после он метил тем же пистолетом в генерала Воинова, и пистолет осекся. Пушкин на вопрос Комиссии

отвечал, что это ложь". Кюхельбекер в своих показаниях (Гастфрейнд, 20 — 36) стоял на своем, но нерешительно, ссылался на свою рассеянность и под конец заявил: „не могу взять назад моего показания насчет Пушкина, я точно уверен, что он мне сделал тот несчастный вызов, в котором я его обвинил, но что значит моя уверенность?" (там же, 40 — 41). Александр Бестужев показал, что „Кюхельбекер к Обществу не принадлежал до конца дела, думает потому, что они считали его сумасбродным (там же, 38). В одном фразе, без шинели" (собственное показание, Гастфрейнд, 15), это зимой-то — Пушкин так и нарисовал его, — Кюхельбекер, длинный и неулыбчивый, с жандармским палахом в одной руке и огромным пистолетом в другой, всем бросился в глаза (показания А. Бестужева, Сутгофа, И. И. Пушкина, Бодиско 2-го, Дивова, Беляева, там же, 38 — 39). Рисунок Пушкина близко согласуется с описанием наружности Кюхельбекера в предписании о его розыске: „росту высокого, сухоощав, глаза на выкате, волосы коричневые, рот при разговорах кривится, бакенбарды не растут, борода мало зарастает, сутуловат". (Н. А. Гастфрейнд „Побег и поимка Вильгельма Кюхельбекера", Спб., 1904, стр. 13). На площади среди людей, по официальной квалификации, „гнусного вида во фраках" он был бесспорно самым заметным. Несомненный героизм несколько не мешал ему производить весьма комическое впечатление, а перед Следственной Комиссией он оказался особенно жалок. Михаил Павлович очень снисходительно отнесся к своему „убийце" и двусмысленно сказал ему: „я на вас не в претензии". Кюхельбекер был совершенно раздавлен такою добротой и ударился в слезливые покаянные признания, сравнивал великого князя с Ричардом Львиным Сердцем и хотел воспевать его подвиги, которых у великого князя впрочем не было: „быть Блонделем, спутником в жизни и псевдом Михаила Павловича я бы считал величайшим для меня земным счастьем". Он даже задумал дарить великому князю своего крепостного слугу. Суд строго отнесся к полусумасшедшему поэту: Кюхельбекер просидел девять лет в крепости, а затем был сослан на поселение в Сибирь. „Великодушный" Михаил Павлович прислал ему на дорогу медвежью шубу.

Известно, как тревожили Пушкина воспоминания о героях 14-го декабря. Изображение виселицы и повешенных не раз встречается в его тетрадях (Румянц. Муз., № 2363, л. 38 — снимок во II т. Соч. II-на, изд. Брокгауза Ефрона, стр. 527; № 2368, л. 38 — снимок в газете „Речь" 1912 г., № 28; л. 39 л., 43 об.). На первых двух рисунках по два раза повторяется виселица с пятью повешенными, в числе которых был Рылеев. Весьма возможно, что портреты некоторых декабристов были набросаны Пушкиным на большом листе, сохранившемся у баронессы С. Б. Вревской (воспроизв. в журнале „Искры", прилож. к „Русскому Слову", 1913 г., № 36). В одном письме к Дельвигу (в первой половине марта 1827 г.) он горько иронизирует, что на „метафизический" вопрос: „веревка вещь какая" — „можно бы и отвечать, да" (сборник „Литературные Портфели". I. „Время Пушкина", Спб., 1923, стр. 80). При более внимательном изучении рисунков поэта, рассеянных там и сям на страницах его рукописей, могут найтись еще портреты дека-

бристов. Но опубликованные нами изображения Рыльева и Бюхельбекера, несомненно, всегда будут занимать выдающееся место и в иконографии декабристов и в живописном наследии Пушкина, которое когда-нибудь все целиком станет достоянием его читателей.

II.

Неизданное письмо Пушкина.

Милый Иванъ Ермолаевичъ — Если вы меня забыли, то напишите Вамъ о своемъ существованіи. — Во Псковѣ думалъ я Васъ застать, поспорить съ Вами, и скрыать шлохъ — но Судьба опредѣлила иное — еду въ Москву, когдѣ скоро будутъ деньги и спать. Спать то ужъ падаетъ, да деньги-то съ неба не валятся.

Прощайте, пишите мнѣ въ Москву.

Выдасте-ли вы Дельвига?

А. П.

Письмо набросано на обеих сторонах узкого листочка хорошей, плотной, писчей бумаги верже с водяными знаками 1821 г.; подпись — часто встречающаяся в манускриптах Пушкина монограмма из инициалов имени и фамилии. На обороте, где кончается текст („Прощайте, пишите“ и т. п.), имеется внизу следующая приписка:

„Это письмо от Алекс. Серг. Пушкина к отцу моему Ивану Ермолаевичу Великопольскому подарено мною зятю моему Василью Васильевичу Энгельгардту. Надежда Чаплина. 7 июля 1880. Село Чувашино“.

Пушкин шлет нам из-за могилы еще одну милую, веселую улыбку, и счастливый случай дает нам возможность поделиться ею с читателями. Предлагаем и снимок с автографа с любезного разрешения его владелицы, Т. М. Владимировой.

Хронологической даты нет, нет и указания, где написаны эти строки, но можно установить и место, и — приблизительно — время. Было это в Пскове в первой половине декабря 1826 г. Поэт недавно побывал в Москве, куда его привез фельдъегерь и где он получил „свободу“, ту свободу, которой отныне пользовался до гроба. Но тогда он еще не мог оценить ее вполне, еще не успел понять свое положение, был настроен жизнерадостно и вообще „глядел вперед без боязни“. Его тогдашние письма отражают это состояние его духа. Проведя в Москве почти два месяца, Пушкин в начале ноября возвратился в село Михайловское. 9 ноября он писал оттуда кн. Вяземскому в Москву: „буду у вас к первому — она велела“, та, в которую он был влюблен в эту пору. 25-26 ноября он приехал в Псков. Оттуда он писал 29 ноября в Москву, М. П. Погодину: „до свидания скорого“. Но в Пскове ему пришлось остаться дольше, чем хотелось. 1 декабря он писал из Пскова

В. П. Зубову в Москву, что хотел туда прибыть „как бомба“ в этот самый день (т. е. 1 декабря), что выехал из деревни 5-6 дней тому назад на перекладной, „так как дороги отвратительны, по милости псковских ямщиков был в пути опрокинут и ушиблен“ и теперь „с досады играет и проигрывает“. Того же 1 декабря он писал князю П. А. Вяземскому: „еду к вам и не доеду. Какой! Меня доезжают!.. Во Пскове вместо того, чтобы писать седьмую главу Онегина, я проигрываю в шгос четвертую“... И—все в тот же день — писал С. А. Соболевскому, тоже в Москву: „на днях буду у вас, покамест сию или лежу во Пскове“. В Москву Пушкин приехал лишь 19 декабря.

Во время этого псковского сидения, ожидая, пока явятся деньги и установится зимняя дорога, скучая и играя в карты, Пушкин и вспомнил о Великопольском. Это был один из местных приятелей Пушкина и недавний его карточный партнер. Где и когда познакомился Пушкин с И. Е. Великопольским (1797—1868 г.)—посредственным стихотворцем, но очень хорошим человеком, хотя не без странностей, неизвестно, может быть еще в Петербурге, до высылки Пушкина на юг (1820 г.), но во всяком случае они встретились в Псковской губернии, когда Пушкин очутился там на подневольном жительстве. Известны два письма Пушкина к Великопольскому от 1826 г.; в одном из них Пушкин, напоминая приятелю о карточном долге, дразнил его:

Играешь ты на лире очень мило,
Играешь ты довольно плохо в шгос.

Великопольский рассердился и немедленно настрочил „Послание к А. С. Пушкину“, в котором предложил ему „менее мытарствовать“. Было ли это послание своевременно получено „мытарем“ или нет, но несколько месяцев спустя, оказавшись снова в Пскове, Пушкин вспомнил о своем раздражительном и неудачливом собрате по картам и музам, который недавно оставил и Псков, где служил, и свое псковское имение и отправился по семейным и денежным делам в далекую поездку; должен он был побывать и в Петербурге, где мог встречаться с Дельвигом, который очень симпатизировал ему, печатал изредка его стихи в своих „Северных Цветах“ и называл однажды „милым поэтом“. Был Великопольский знаком и с И. И. Пущиным, которого так горячо любил Пушкин; было у них и еще немало общих приятелей. Встречались они, сходились и ссорились и впоследствии; отношения их достаточно освещены в специальной монографии о Великопольском Б. Л. Модзалевского и в моих примечаниях к Сочин. Пушкина, изд. Брокгауз-Ефрона (№№ 475, 524, 582). И. И. Панаев верно подметил, что Пушкин питал к Великопольскому „какую-то ироническую нежность“. Тот и сам это чувствовал и сердился, но в то же время не мог не преклоняться перед Пушкиным. Он то „преисполненный хвалой, перо задумчиво кладет“ перед несравненным поэтом, то пишет на него грубо-ругательную эпиграмму (оба стихотворения напечатаны в „Пушкинском сборнике“, вып. X, М. 1912, стр. 360—361). Когда Пушкина не стало, Великопольский испытал еще одну запоздалую обиду. Он увидел

в посмертном издании сочинений Пушкина шутку: „Примите Невский Альманах“, где имеются такие стихи:

Вы тут найдете***ова,
Вел***, Х*** ова,

и, конечно, сразу дешифровал звездочки и прочитал с несомненной точностью

Великопольского, Хвостова.

Ироническое упоминание это, да еще рядом с всеобщим посмешищем — метроманом графом Д. И. Хвостовым, больно задело его. Он обратился к П. А. Плетневу, бывшему одним из редакторов посмертного издания и „Современника“, с указанием, что „покойник в вышедшем еще при его жизни издании этой эпиграммы написал это имя иначе“, и недоумевал, „почему сделана такая перемена“. Действительно, в первой печатной редакции этот стих читался:

Василья Пушкина, . . . кова.

В „Невском Альманахе“ на 1826 г., где появилась шутка Пушкина, не было ни одной строки Великопольского, зато был Василий Пушкин. Разумеется, дядя поэта огорчился этим, и, переиздавая эпиграмму в своих „Стихотворениях“ (1829), Пушкин переделал стих и дал ему тот вид, в каком и воспроизвело его посмертное издание. Эта вторая редакция, очевидно, и не была известна Великопольскому. Но добродушный Иван Ермалович и тут не очень гневался и к своей жалобе присоединил стихотворение „Мое ищенье. Памяти А. С. Пушкина“, которое просил Плетнева поместить в „Современнике“ (Пушкин Сб., X, 361 — 362); просьба эта не была исполнена, вероятно, потому, что стихи были слишком личные, да тогда и не допускались в печати никакие интимности насчет Пушкина.

Собратьем разноцветных зол
Весь окружившийся как рамой,
Кого ты в жизни не колол.
Кого не резал эпиграммой?
И я попал на острие
Неугомонное твоё, —

вспоминал Великопольский и вздыхал о своем колкем приятеле:

У твоего я встану гроба,
Твою восторженную речь,
Твои восторженные грезы
Себе на память приведу
И, уронив на прах твой слезы,
Довольный ищеньем, отожду.

Анналы золотого века русской литературы хранят там и сям на своих страницах смешноватые, но неизменно добрые, мимолетные воспоминания об

И. Е. Великопольском, жертве двух великих страстей—к литературе и картам. Над его графоманией трунили, но нельзя было не любить его. „В карты,— рассказывает И. И. Панаев („Литературные воспоминания“, изд. 3-е, Спб., 1888, стр. 162),— Великопольского обыгрывал даже Пушкин, которого все обыгрывали“. Сидя в Пскове, обобранный партнерами, которые в штос играли прекрасно, Пушкин вспомнил милого Ивана Ермолаевича, который „играл довольно плохо в штос“ и уже так или иначе выручил бы друга из денежного затруднения. Публикуемое нами письмо великого поэта лишний раз напоминает об этом добром, простом, сердечном человеке.

Н. Лернер.

Петрашевец Н. А. Спешнев.

(К 75-летию дела петрашевцев).

„Почетный гость“ всех кружков, всеми уважаемый и ни с кем не близкий, Спешнев производил на современников своих обаяние замкнутой и спокойной независимости. Он был одним из редких людей, одаренных талантом личного влияния, в которых обычно притягиваются события чужих жизней. 27-ми лет пойдя на каторгу, он не успел вполне сложиться и установиться умственно и не выработал себе резко определенного интеллектуального лица, как Петрашевский, который действовал на других прежде всего умственной стороной своего общения. В годы, когда Спешнев еще искал и увлекался, его влияние на людей было, несомненно, эмоционального характера.

По словам П. Семенова Тянь-Шанского, он „отличался замечательной мужественной красотой“. Цветущее правильное русское лицо, с длинными темнорусыми кудрями, волнами падавшими на плечи. „С него прямо можно было рисовать этюд головы и фигуры Спасителя“ ¹⁾. Большие серо-голубые глаза, „подернутые какою-то тихой грустью“ ²⁾.

Бакунии, познакомившийся с ним в Иркутске в 1859 г., но слышавший о нем гораздо раньше, еще за границей, так суммирует свое представление о молодом Спешневе: „умен, богат, образован, хорош собою, наружности самой благородной, далеко не отталкивающей, хотя и спокойно-холодной, вселяющей доверие, как всякая спокойная сила, джентльмен с головы до ног... он слишком бесстрастен и, удовлетворенный собой и в себе, кажется, не требует ничьей любви.. Спешнев очень эффектен: он особенно хорошо облекается мантией многодумной спокойной непроницаемости“ ³⁾.

Спешнев останавливал внимание с первого взгляда. Приезжему Черно-свитову, новому у Петрашевского лицу, он сразу показался „чем-то необыкновенным“, импонируя своей „важностью, степенностью“. „Его наружность и постоянное безмолвие поразили меня“. Спешнева окружала репутация „замечательно образованного, культурного и начитанного“ человека, „посвятившего

¹⁾ Мемуары, т. I. Детство и юность. П., 1917, с. 194 сл.

²⁾ Н. Огарева-Тучкова. Воспоминания. М. 1903, с. 67.

³⁾ Письма к Герцену и Огареву. Жен., 1896, с. 46.

жизни науке экономической" (слова Петрашевского) и „обревшего себя на служение гуманитарным идеям" (Семенов). Выдающиеся способности его „превозносили" даже члены Следственной Комиссии ¹⁾.

Ранний опыт жизни личной и общественной дал ему превосходство над другими, которое он сознавал. Он отлично знал себе цену. В показании своем он с подчеркнутой трезвостью объяснил причины своих успехов: „Везде он был вроде почетного гостя, и оттого всегда его приглашали, зная, что он социалист, а социализм был в моде в этом обществе. Притом же он вернулся не так давно из-за границы, имел способность прихвастнуть иногда, имел сам некоторый запас сведений и вообще должен был казаться очень интересным... Сверх того, он стоял посреди означенных лиц совершенно самостоятельно, ни в ком не нуждался, тогда как иные в нем нуждались; говорил мало, проводил большую часть времени у себя за книгами и должен был казаться таинственным человеком; бывал иногда резок на слова, так что перед ним не скрывались, и успевал узнавать все задние мысли, чтобы самому узнать, с кем он состоит в сношениях" ²⁾.

Узнавшие Спешнева ближе, но все же не допускавшие ни вглубь, находили поведение его непонятным, упрекали его в скрытности, в желании играть роль, в огромном самолюбии. Одной из особенностей его характера была душевная замкнутость; совершенно напрасно Черносвитов считал его „теплой душой". В нем была известная психологическая односторонность, сухость и недоверчивость к человеческой природе, индивидуально обусловившие его атеистические и материалистические взгляды. Умея ясно различать материальную основу человеческих поступков, он в то же время способен был вообразить самые нереальные основания там, где дело касалось идейно чуждых ему побуждений. Так, он не мог понять моральной утопии Момбелли, так же как и дилетантски-бескорыстного любопытства к революции Черносвитова, пытаясь объяснить себе их поведение принадлежностью их к неведомым тайным обществам.

Держась особняком, не любя высказывать своих мнений и, вероятно, не любя критики, Спешнев умел зато внимательно слушать, заставлять высказываться других и направлять интересные ему разговоры. Самолюбие и слабость его были в том, чтобы казаться выше критики. Когда это самолюбие ватрагивалось, Спешнев, не признаваясь в промахах, становился высокомерен и заносчив. Но слабости играть первую роль Спешнев не имел. Он относился к людям с простотой и вниманием, холодно, но далеко не небрежно, с полной светской выдержкой и любезностью; был приветливым и услужливым хозяином, веселым, живым и умным собеседником, очаровывавшим мужчин и женщин.

Главной чертой ясного аналитического ума Спешнева можно назвать последовательность, которую он сам высоко ставил в других. Объясняя След-

¹⁾ Записки сенатора Лебедева. Р. Арх. 1910, II, с. 375.

²⁾ Цитирую по докладу генерал-аудиториата. Дело о Спешневе утрачено. Неогоревенные цитаты взяты из подлинных дел о петрашевцах.

ственной Комиссии, что он человек еще не установившийся, работающий и изучающий, что „система его только постепенно складывалась, изменялась в подробностях и уяснялась для него самого“, он указал на эволюцию, происшедшую в нем, от юношеского либерализма „вследствие чтения французских историков“ к социализму, путем „прилежного изучения сочинений других и потом собственным соображением и умозаключением“. После выхода из лицея он не читал почти ничего другого, кроме „сочинений политико-экономов и социалистов разных школ“. За границей он изучал немецкую философию и, между прочим, увлекался Кантом. Среди петрашевцев-фурьеристов, отвергавших политический переворот и уравнивание имуществ, Спешнев выделялся крайней революционной настроенностью. Не высказываясь подробно, он слы и сам называл себя коммунистом ¹⁾. Не пытаясь выяснить точнее довольно неопределенные отношения Спешнева к теориям утопического коммунизма, остановимся на взглядах его на русскую социальную революцию.

В бумагах Спешнева было „рассуждение о том, что социализм отнюдь не есть новая политическая экономия, а новая политика, или наука об обязанностях правительства и правах членов общества, называемого государством“. Рассуждение это пропало вместе с делом Спешнева, но самое название, данное ему в описи, показывает, что оно затрагивало проблемы социалистической государственной власти. В показании Спешнев говорит, подобно другим петрашевцам, что „для народа важно только, чтоб правительство было у него хорошее, социальное, и что это зависит не от той или другой формы, а от того, кто наполняет эти формы и как действует правительство“. Он говорит, как о своих еще недавних убеждениях, о том, что правительство должно заведывать промышленностью, „если не всю, то по крайней мере необходимым“, а также иметь „право владения всем пространством земли государства“ — т.-е. о национализации земли и промышленности.

Более близкой задачей русского правительства является „уравнение в правах крепостного сословия с другими“ и уничтожение „всякого привилегированного сословия в народе“.

Но Спешнев не возлагал надежд в этом отношении на Николаевское правительство. Между прочим, он думал о составлении общества „эмансипа-

¹⁾ В. И. Семевский исследует возможность влияния на Спешнева революционного коммунизма Дезаи, французского коммуниста, сочинения которого были Спешневу известны, Вейтлинга, с деятельностью которого он мог ознакомиться во время пребывания в Швейцарии, и наконец Маркса и Энгельса. Спешнев знал „Ницету философии“, которую он брал из общественной библиотеки Петрашевского, прочитав сперва „Философию ницеты“ Прудона; он мог знать, за границей, и полемику Маркса с Вейтлингом. „Коммунистический манифест“, вышедший в начале 1848 г., уже вряд ли был ему знаком, тем более, что Союз коммунистов, основанный Марксом в 1847 г., вначале был весьма малопопулярен. О влиянии этих коммунистов на Спешнева можно говорить, поскольку всеми ими выдвигается необходимость насильственного низвержения существующего строя. От более подробных сближений приходится, по недостатку материала, воздержаться.

торов", для поддержки освобождения крестьян. Но единственным, в настоящих условиях возможным, исходом, без которого Спешнев не признавал будущности России,— ему представлялось крестьянское восстание, которое должно было разразиться через несколько лет. Семенов Тянь-Шанский говорит о „гуманизме" Спешнева в смысле его постоянной занятости крестьянским вопросом — не только теоретически, что в 40-х годах было обычным явлением, но практически: он „прилагал заботы к улучшению быта" своих крестьян, проводя лето в имении.

Можно думать, что опыт знакомства с народно-хозяйственным бытом внушил Спешневу его руководящую идею о близком восстании.

Последовательность мысли, доведшая Спешнева в теории до коммунизма и на словах до терроризма, толкала его к поддержке всех попыток, могших привести к какой-либо практической революционной цели. Его имя замешано во всех начинаниях, которые следствие инкриминировало петрашевцам: в пропаганде Тимковского, в разговорах с Черносвитовым о восстании на Урале, в братстве взаимной помощи Момбелли, в устройстве тайной типографии. Впрочем, Спешнев не заблуждался насчет этих попыток и, после первоначального недолгого увлечения возможностью использовать их для своих целей, начинал относиться к ним критически и оставлял их.

Следственная Комиссия с точки зрения „здравого смысла" так объясняла странное поведение его: „Спешнев, гордый и богатый, вида самолюбие свое неудовлетворенным, желал играть роль между своими воспитанниками (т.-е. лицейскими товарищами). Он не имел глубокого политического убеждения, не был исключительно пристрастен ни к одной из систем социалистских, не стремился, как Петрашевский, постоянно и настойчиво, к достижению либеральных своих целей; замыслами и заговорами он занимался как бы от нечего делать; оставлял их по прихоти, по лени, по какому-то презрению к своим товарищам, слишком по мнению его молодым или малообразованным,— и вслед затем готов был приняться опять за прежнее, приняться, чтоб опять оставить".

В этом объяснении верно то, что его вызывающая, последовательная готовность на крайности была, несомненно, головного, логического происхождения.

Биографические сведения о Спешневе скудны. Он был одним из немногих богатых петрашевцев, владельцем довольно крупных имений (до 500 душ м. п.) в Курской губ. Не нуждаясь в чине для службы, он вышел из Александровского лицея, не окончив курса, в 1839 г. Вскоре он пережил увлечение, оставившее глубокий след в его жизни и окружившее его „грустно-романтическим ореолом". Гостя в имении своего приятеля, Савельева, он влюбился в его жену, „прекрасную польку" Анну Феликсовну, рожд. Цехановецкую. Молодая женщина сама решила отдать свою судьбу в его руки и, бросив мужа и двоих детей, бежала за уехавшим Спешневым в Гельсингфорс. Прожив 2 года в Гельсингфорсе, они в 1842 г. отправились за границу, в Швейцарию, затем в Австрию. По словам Момбелли, Спешнев участвовал в войне

либеральных кантонов с ультрамонтанскими (Зондербундом) за изгнание иезуитов и был волонтером во время похода на Люцерн в 1843 полковника Оксенбейна¹⁾. Вероятно, в этот период Спешнев был и в Париже. В 1844 г. жена его умерла в Вене. Спешнев отвез в Россию двух своих маленьких незаконнорожденных сыновей и устроил их в витебском имении их дяди, Алексея Цехановецкого.

Он должен был выхлопотать себе заграничный паспорт, так как в первый раз уехал из России без разрешения. В Петербурге он остановился у Владимира Энгельсона, своего товарища по лицею, через которого писал в Россию и которого хотел взять с собой за границу. Но, в виду неодобрительного отзыва Николая на докладе о них шефа жандармов Орлова, Энгельсон остался в России, а Спешнев, удостоверив Орлова, что „страдает глазной болью“, все-таки уехал в ноябре 1844 г. Живя в Вене и Дрездене, Спешнев находился под влиянием патристически настроенного польского кружка, к которому принадлежали родные Савельевой. Фигура его даже попала в реакционные сочинения по истории польских восстаний в качестве „*affidé*“ польской партии в России²⁾. Там же встречаем намеки на второй роман Спешнева с Изабеллой Цехановецкой, урожденной баронессой Кобылинской, который, может быть, и был причиной смерти его жены: по слухам она отравилась в припадке ревности. Бакунин, который много слышал о Спешневе за границей и „старался собрать о нем всевозможные сведения“, говорит, что в 1846 г. он „слыл львом иностранного, особенно же польско-русского дрезденского общества“ и был окружен многочисленными поклонницами и поклонниками: „не одни дамы, молодые поляки, преимущественно аристократической партии Чарторыйского, были от него без ума“. В этот период, однако, Спешнев успел приобрести свое недюжинное образование.

Во 2-й половине 1845 г., только что изучивши первоначальную историю христианства, он был захвачен „мировым влиянием и совершенным успехом этого древнего тайного общества“ и увлекся соображениями о современной организации тайного общества, между прочим, „применительно к России“. Остатком тогдашних его занятий явился случайно неуничтоженный злополучный проект обязательной подписки при вступлении в общество, найденный в его бумагах и сильно повредивший ему.

Затем Спешнев перешел к изучению социалистов. В 1847 г. ему предлагали сотрудничать в *Revue Indépendante*, издававшемся в Париже П. Леру, Ж. Санд и Луи Виардо, и помещать статьи о России.

¹⁾ Неудачное нападение на Люцерн, где торжествовала клерикальная партия, вольных партизанов из других кантонов под начальством Штейгера и Оксенбейна, произошло 31 марта 1845 г.; между тем паспорт Спешнева явлен 28 марта—9 апреля в Дрездене по дороге в Вену. Приходится предположить, что Момбелли, который говорил с чужих слов, ошибся, и что Спешнев участвовал не в этом нападении, а в мелких стычках либеральных и клерикальных кантонов, начавшихся в 1843 г.

²⁾ Ratch. „La question polonaise dans la Russie occidentale“ (traduit du russe). P., 1869, p. 103, и „Польская эмиграция до и во время последнего мятежа 1831—1863“. Вильна 1866.

С дрезденским приятелем своим, „неразлучным сендом“, Эдмундом Хоецким (впоследствии другом и доверенным человеком Герцена, см. Былое, т. XIII, изд. Лемке, с. 310 след.), Спешнев переписывался некоторое время по возвращении в Россию и собирался составить русскую историю для напечатания в бесцензурной типографии, которую Хоецкий намерен был устроить в Париже.

Спешнев возвратился в Россию, вероятно, из-за расстройств денежных дел, о чем можно судить по тому, что он покинул Дрезден в 1847, задолжав



Н. А. Спешнев.
Неизданный портрет (Собр. Музея революции).

более 1600 талеров по векселям. Он тотчас отправился в свои имения, которые были в это время настолько плохо управляемы, что на них было наложено запрещение. Посвятив несколько месяцев приведению в порядок дел и подыскав управляющего, Спешнев вернулся в Петербург в декабре 1847¹⁾. Здесь он, естественно, возобновил знакомство со своим лицейским товарищем Петрашевским, сделался вкладчиком его библиотеки и в зиму 47—48 г. довольно часто бывал на его пятницах, просиживая вечер отдельно от других, в кабинете Петрашевского с Дебу и Баласогло. „Баласогло с необыкновенной радостью нашел в Спешневе при ближайших беседах ум вполне философский и самые разнообразные познания“. Со многими из посетителей Петрашевского,

¹⁾ В докладе генерал-аудиториата и показании Спешнева сказано, что он вернулся в Россию в июле 1846, но это несомненно ошибка памяти.

своими товарищами, а также новыми знакомыми, Спешнев продолжал сношения и вне кружка: с Данилевским, Милютиним (в это время не бывавшими уже у Петрашевского), Плещеевым, Достоевским и другими.

„В 1848 г. внешние события произвели известное брожение как в голове его (Спешнева), так и в головах тех молодых людей, которых он видал; только и был разговор о заграничных новостях“. Весною у Плещеева Спешнев, имея в виду проект Хоецкого о заграничной типографии, предложил нескольким „бедным литераторам“, жаловавшимся на цензуру, что „возьмется напечатать, пусть только пишут и прямо присылают к нему“. Можно представить, как подействовало это заявление своих революционных связей! „Такое предложение очень смутило всех, и они сказали, что посмотрят и, если до осени не пришлют ничего, так значит, что не хотят“.

В мае Спешнев уехал в деревню на всё лето, а осенью снова стал посещать Петрашевского, — в самый оживленный период кружковой жизни, когда почти каждую пятницу читались доклады и появлялись новые лица. Вместе с тем он расширял свое знакомство и в других кругах; между прочим незадолго до ареста попал на вечеринку к Огареву, познакомился с Кавелиным, с Панаевыми.

В октябре Спешнев прочел на собрании атеистическое рассуждение о религии, вернее, — введение, в котором обещал осветить вопрос в историческом и философском смыслах, но, по словам Момбелли, „о религии ни слова не говорил, рассуждал же исключительно о метафизике и чрезвычайно отвлеченно“. По другим показаниям Спешнев хотел говорить о религии „с точки зрения коммунистической“, чем возбудил любопытство в Ханыкове, Петрашевском и Дебу, которые говорили опровержения. Но заметив, что лекция его показалась „и суха и коротка“, Спешнев не решился продолжать распространение своих иррелигиозных идей и предпочел „не делать более изложений, а писать для себя“.

В найденном у Спешнева рассуждении о религии есть между прочим следующий призыв к пропаганде: „С тех пор, как стоит наша бедная Россия, в ней всегда возможен был только один способ словесного распространения... — для письменного слова всегда была какая-нибудь невозможность. Оттого-то, г. г.,... так как нам осталось одно изустное слово, то я и намерен пользоваться им без всякого стыда и совести, без всякого зазора для распространения социализма, атеизма, терроризма, всего, всего доброго на свете. И вам советую то же“.

К Спешневу приходили делиться недовольством на собрания Петрашевского. Его звали на „экстренные“ вечеринки к Плещееву, приглашали в Кашкинский кружок. Ахшарумов, усердный фурьерист, встречавший его и у Петрашевского и у Кашкина, вынес впечатление, что Спешнев составлял „свой особенный кружок, с особым направлением, как бы соперничая с Петрашевским и некоторое время готовый устраниваться от него, но Петрашевский, видя в этом ослабление общего дела, сумел предупредить такое разъединение“¹⁾.

¹⁾ „Из моих воспоминаний“, с. 13.

В конце октября у Петрашевского появился новый посетитель — К. И. Тимковский, приехавший из Ревеля, отставной лейтенант флота. Он был чиновник, литератор, переводчик, человек уже за 30 лет, но личность неуравновешенная и экспансивная. Черносвитов нашел, что он смотрит „гимназистом“. Штраусовское толкование Библии в разговорах у Петрашевского необыкновенно быстро подорвало его религиозные убеждения. Так же быстро и страстно он увлекся фурьеризмом.

Пятницы Петрашевского показались ему собраниями какой-то уже сложившейся, готовой организации, и, чтоб освоиться на них самому и высказаться для других, он нашел нужным публично изложить свои убеждения. Спешнев, очевидно, считал Тимковского пригодным горячим материалом для пропаганды, „теплой душой“, и всячески поддерживал его; Тимковский был у него раз 7 — 8 и между прочим читал свой перевод памфлета Кантагределя „Le fou du Palais Royal“; на слушание этого перевода Спешнев пригласил Петрашевского и Момбелли, подойдя к ним „под руку с Тимковским“ во время ужина на одной из пятниц. (Кроме них были! двое Дебу и Ханыков). Однако, profession de foi, прочитанное Тимковским у Петрашевского перед своим отъездом, возбудило общее неудовольствие путаницей понятий, набором „риторических фраз“ и крикливо-радикальными выходками. Почти все различно понимали его речь, многие нашли в ней дух коммунизма (приписав его влиянию Спешнева).

Сам же Тимковский объяснил Комиссии свою речь, как призыв „не на бой, не в заговор, но на мирную проповедь“, к деятельной кружковой пропаганде фурьеризма и к агитации в высших сферах путем личных влияний, с целью: добиться разрешения (а может быть и субсидии) на сбор капиталов и устройство фаланстера, который послужил бы внушительным и в высшей степени действенным опытом и примером общественно-экономической организации.

Проект Тимковского должен был показаться Спешневу соответствующим одному из признаваемых им способов политического действия, именно — „иезуитскому“. Когда после своей речи Тимковский спросил, кто согласен с его образом мыслей, только брат его и Спешнев отозвались, что лично за себя отвечают и совершенно с ним согласны.

Через день после того, 7 декабря, Тимковский уезжал, и они со Спешневым решили, что от этих людей нельзя ожидать ничего путного, но что, по возвращении Н. Данилевского (которого Тимковский не знал) из деревни и его самого из Ревеля, они втроем составят кружок для действия согласно предложению Тимковского.

В Ревеле он пытался пропагандировать Фурье в знакомых домах, но совершенно безуспешно. Впрочем, вдохновившись случаем, когда его слушали внимательнее обычного, он писал Спешневу об удачах, о том, что создал уже 2 кружка по изучению фурьеризма. Но Спешнев, уже охладевший к своему новому confidentу, не отвечал ему.

Одновременно с Тимковским, в ноябре 1848 г., на пятницах стал бывать другой приезжий гость, Р. А. Черносвитов ¹⁾, отставной поручик с искусственной ногой, сибирский золотопромышленник. В среде петрашевцев, городских жителей и интеллигентов, Черносвитов был человеком с воли, много выдавшим, самоучкой: в молодости он сделал турецкую и польскую кампании, был в польском плену, где ему ампутировали ногу — впоследствии он сам усовершенствовал себе протез; — как военного инвалида, его назначили на гражданскую службу исправником, и он выказал административную доблесть при подавлении картофельного бунта в Пермской губернии в 1842 г. Теперь он был пайщиком Черносвитовского прииска, приехавшим в Петербург по делам; 38 лет, живой, оригинальный, развязный, всем интересующийся, с прекрасной народной речью, с хорошими способностями, слышший в своей среде образованным и ученым — и, как обычно, чрезвычайно высоко оценивавший свои практические „положительные сведения“ ²⁾.

Черносвитов обладал традиционно-жизельской помещичьей смёткой и имел самую умеренную либеральную программу реформ; в нее между прочим входили уничтожение чиновничества как сословия, уничтожение крепостничества путем постепенной покупки крестьян правительством и переселения их на свободные земли Сибири и даже смертная казнь за убийство. Показательно, что такой человек добрался до кружка Петрашевского, привлеченный либеральной приманкой. „Всесторонне любознательный“ и любопытный, он старался всюду побывать, набраться наблюдений, послушать разговоров и себя показать. На пятницы он попал, наслышавшись о них и думая там приобрести социальные знания. У него составилось понятие о вечерах Петрашевского как о „деле, обыкновенном в Петербурге“, потому что „объяснения о политических системах делались перед лицом более 30 чел., среди которых были люди довольно пожилые и порядочной наружности“. „Особенное уважение“ он чувствовал к самому Петрашевскому, „как лицу, благодетельному для образования общества посредством развития сведений, тем более, что вечера его продолжают уже несколько лет без преследования правительства“.

Однако, из своих посещений Черносвитов вынес только, что он „даже равного себе не встретил у Петрашевского. Сначала присутствие Достоев-

¹⁾ Распространяюсь о Черносвитове несколько подробнее, потому что В. И. Семевский в своем исследовании не пользовался его утраченным делом, а в настоящее время оно найдено.

²⁾ Он действительно хорошо знал Урал — страну и людей. В представленной в Следственную Комиссию интересной записке о „видах на Сибирь“ он с большой наблюдательностью характеризует экономическое состояние крестьян и заводских рабочих в разных местах и условиях Урала. О государственных крестьянах он говорит, что „не подозревает даже возможности развиться какой-либо мысли в этом безграмотном и диком обществе“. Заводские люди более развиты и „способны усваивать себе идеи, выходящие далеко за границы их быта“. Между прочим интересны его соображения о негодности работающих на золотых приисках (деклассированного элемента), как материала для восстания.

ского, как литератора, заинтересовало меня, но потом... всё это оказалось для меня недостаточным^а.

У Петрашевского Черносвитов имел успех. Он неистощимо острил, спорил, часто „импровизировал небывальщины для потехи общества и даже рассказывал пошлые анекдоты“ (по его словам). Спешнев нашел его разговор умным, но парадоксальным и вызывающим на резкость; ему казалось, что Черносвитов в разговоре „подделывался под вкус каждого“; он был заинтересован и даже считал его эмиссаром какого-нибудь тайного общества¹⁾. На Черносвитова, как сказано выше, Спешнев тоже произвел сильное впечатление. Петрашевский свел их обоих у себя в кабинете после разъезда гостей; это было, кажется, во вторую их встречу.

Разговор зашел о делах Европы, „о последствиях, могущих произойти в случае войны соединенной Европы с Россией“; Спешнев доказывал, что „Европа будет непременно действовать соединенными силами, вместе защищая республиканскую свободу“. Затем Черносвитов рассказывал о Сибири и о бунте в Пермской губ., когда он со своими солдатами продержался в осаде в церкви с. Батурина, Шадринского уезда, до получения подкрепления и затем усмирил восставших крестьян²⁾. Об этом усмирении Черносвитов, по просьбе Спешнева, рассказывал несколько раз с подробностями, когда потом был у Спешнева и когда Спешнев с Петрашевским посетил его. Между прочим он упомянул и о том, что, если бы он показал хоть тень нерешительности, то бунтовщики, собравшиеся в Верхнетечинской волости, куда были присланы депутаты от окружных волостей Шадринского у. в помощь от бунтовщиков Челябинского у., „разбегавшись по домам, воспламенили бы народ, готовый уже к возмущению“, в Камышловском и Тюменском у.у. Все это поднялось бы и — „кто поручится за горные заводы“, особенно при отсутствии сильного войска на Урале. „Спешнев ухватился за эту мысль и спрашивал подробности, что бы могло произойти, если бы я был разбит крестьянами“ и, „отобрав все сведения по этому предмету, сказал, что это — единственный путь, каким должна начаться будущая революция в России. Спешнев, кажется, убежден, что без революции государство не может быть“, и „утверждал, что переворот, долженствующий быть в России для улучшения настоящего ее быта, должен быть насильственный“. Он выражал мысль, что мятеж с Урала разольется на живые губернии, называя это „Пугачевским путем“.

С своей стороны Черносвитов пытался выяснить позиции своих собеседников и узнать, существует ли в центре России тайное общество. Петрашевский отрицал как существование общества, так и тайный образ действий, но Спешнев поддерживал предположения Черносвитова намеками и недоговорами. Наконец, когда однажды он с Петрашевским шел к Черносвитову по приглашению пить кофе, Спешнев предложил, что он представится главою

^а) По показанию Львова, Черносвитов „сначала молчал, а после взглядывался как-то во всех“, почему Львов его принял за agent-provocateur.

²⁾ Событие это описано Валуевским в статье „Волнения крестьян в Зауральск. части Пермского края“. Русск. Стар., 1879, 11, 12.

коммунистов, чтоб сильнее заинтересовать Черносвитова и вынудить к решительным признаниям относительно возможности восстания на Урале и его отношения к нему. Петрашевский был против этого, да и Спешнев в этот раз сам отрекся пред Черносвитовым от своих тайных связей с Москвой, на которые он прежде намекал.

Между Петрашевским и Спешневым завелся спор, кончившийся ссорой. Петрашевский отрицал необходимость восстания и возражал, что всего можно достичь, опираясь на закон и облекая действия в легальную форму, и даже выразил надежду еще жить в фаланстере на своем веку. Спешнев сказал ему дерзость и ушел, а Петрашевский в досаде рассказал Черносвитову о намерении Спешнева мистифицировать его.

После этой ссоры Спешнев некоторое время не ходил к Петрашевскому, у Черносвитова же был один раз „и спрашивал, что Петрашевский говорил про него“ ¹⁾.

Черносвитов вскоре уехал в Сибирь.

Об участии Спешнева в проекте братства взаимной помощи будет изложено подробно в статье о Момбелли. Оно свелось к упорному направлению этого проекта на политические цели. Давнишняя мысль Спешнева об устройстве общества для освобождения крестьян (проект которого был найден в его бумагах), казалось, должна была теперь найти себе приложение. Близость возможности осуществления тайного общества „сильно волновала“ Спешнева, „и в продолжение недели до назначения у него собраний, он был в весьма мрачном расположении духа“. Но убедясь в том, что его направление не нашло ни в ком поддержки, Спешнев резко поставленным вопросом о цели общества заставил выйти наружу всю несогласованность намерений остальных участников и этим положил конец обсуждению проекта. Затем, когда Петрашевский сделал попытку возобновить обсуждение, и Дебу I поручили спросить согласия Спешнева, Спешнев написал письмо, в котором „иронически отзывался о затее, называл ее *chasse au place*... и отказывался от предложения, говоря, что он связан другими условиями, более положительными“. Петрашевский, после опыта с мистификацией Черносвитова, „смеялся над последним обстоятельством, приписывая это ребяческому хвастовству, желанию показаться действующим“. „Петрашевский, — замечает Момбелли, — часто жаловался на скрытность Спешнева, говоря, что он всегда хочет казаться не тем, что есть“.

В феврале или марте 1849 г. у Спешнева читались „письма помещика“ об устройстве крестьянских работ по системе Фурье. По показанию А. П. Беклемишева, автора этой „переписки двух помещиков“, он послал ее из Ревеля Плещееву, желая, „чтоб какой-нибудь человек, имеющий авторитет в деле сельской промышленности, разделил его мнение“. На чтении присутствовали

¹⁾ Это показание Черносвитова, который, обидевшись за мистификацию, стал враждебно относиться к Спешневу и „примерил его ничтожность“, — нельзя понять буквально: вероятно, Спешнев пытался узнать, открыл ли Петрашевский его карты, и повел разговор на свою с ним ссору.

оба Дебу (она была найдена в бумагах Дебу I), Кашкин и Европеус. В свою очередь фурьеристы пригласили Спешнева на банкет в честь Фурье 7 апреля.

С марта, когда начались собрания у Дурова и Пальма, Спешнев был в числе избранных 16-ти приглашенных. Когда собрания стали принимать политический уклон и более благоразумные участники решили их прекратить, Дуров, через Пальма, предложил Спешневу перенести их сходы к нему. Спешнев отказался, но позвал всех дуровцев к себе на обед, на котором, между прочим, с его одобрения Григорьев прочел свою Солдатскую беседу.

Предложение Филиппова об устройстве домашней литографии для распространения принятых кружком статей было обойдено и отклонено умеренными членами Дуровского кружка. Но мысль эта не была оставлена. По недавно напечатанному письму Майкова ¹⁾, которое до сих пор является единственным документом в этом деле, видно, что в устройстве тайной типографии были другие участники и посвященные, кроме тех двоих, которых Следственная Комиссия сочла замешанными в нем: Спешнева, давшего деньги, и Филиппова, заказавшего части типографского станка по своему рисунку.

Ф. Достоевский, придя к Майкову, сказал, что „поручено сделать ему предложение: Петрашевский, мол, дурак, актер и болтун, у него не выйдет ничего путного, а что люди поделнее из его п сетителей задумали дело, которое Петрашевскому не известно,—и его туда не примут, а именно: Спешнев, Павел Филиппов... и еще пять или шесть, не помню, в том числе Достоевский. И они решили пригласить еще седьмого или восьмого“, т.-е. Майкова. „А решили они завести тайную типографию и печатать“ и т. д. Майков решительно отказался от всякого участия. Другими участниками были, повидимому, Львов, поддерживавший предложение Филиппова и наводивший практические справки насчет заведения первоначально-задуманной литографии; Григорьев, автор агитационной Солдатской беседы, может быть Момбелли или Головинский, который впрочем вскоре должен был уехать в Казань на службу, и сын известного сенатора, молодой Н. А. Мордвинов ²⁾. Мордвинов был другом Спешнева, часто бывал у него. По словам одного из „самых серьезных социалистов“ в Дуровском кружке (т.-е., конечно, Спешнева. В. Л.) Мордвинов и Григорьев принадлежали „к разряду тех странных сангвинических натур, которые безотчетно увлекаются другими. Такие люди неспособны руководить других“. (Показание Григорьева). По счастливой предусмотрительности Спешнева в квартиру Мордвинова „за день, за два до ареста“ был снесен типографский ручной станок, сделанный по рисунку Филиппова в разных частях города. Таким образом станок этот бесследно исчез для Следственной Комиссии. Мордвинов, как малозамешанный в деле, только 2 сентября призывался к допросу, после которого был отпущен с отдачей под секретный надзор. Майков рассказывает, что домашние его выкрали станок из-за опечатанных дверей, но это, вероятно, есть спутанное воспоминание о

¹⁾ Достоевский. Сборник материалов под ред. А. С. Долинина. П., 1922 с. 268.

²⁾ Мордвинов окончил учив. в 1847 г. и служил в мин. внутр. дел.

нескольких обысках у Спешнева, у которого действительно, как у всех арестованных по делу Петрашевского, после обыска запечатали часть квартиры. Типранди отпечатал ее в мае и снова обыскал, а затем следственная комиссия 7 июня сделала третий обыск. Но типографского станка не нашли.

В связи с влиянием Спешнева на Мордвинова и Григорьева, отметим его влияние на Достоевского. Достоевский занял у Спешнева 500 р. на свои неотложные нужды и после этого сделался „каким-то скучным, более раздражительным, более обидчивым и готовым придираться к самым ничтожным мелочам“ ¹⁾. Болезненно-нервный и самолюбивый, предварительно пережив мучительную борьбу, чтобы попросить у богатого Спешнева денег, Достоевский потерял душевное равновесие: заем этот, данный Спешневым, конечно, без всяких условий и, вероятно, с легкостью неважного дела, принял в глазах Достоевского характер нравственной кабалы. Он мучился, преувеличивая свою зависимость от Спешнева. „Теперь я с ним и его. Отдать же этой суммы я никогда не буду в состоянии, да он и не возьмет деньгами назад, такой уже он человек. Понимаете ли вы, что у меня с этого времени есть свой Мефистофель?“ ²⁾.

Было ли участие Достоевского в истории с типографией результатом влияния Спешнева? Об этом можно судить положительно; по показаниям дуровцев, оба брата Достоевские всегда являются единомышленниками, и Ф. М. поддерживает М. М. в его осуждении всех опасных либеральных затей. М. М., как человек семейный, всегда был самым осторожным: он первый, посоветовавшись с Ф. М. и Пальмом, восстал против политического характера сходов, и Ф. М. тоже называл всё это „пустой болтовней“; Григорьева М. М. просил уничтожить его Солд. беседу. Но, — отмечает Яновский, — в последний период между братьями не стало больше прежнего единогласия: Ф. М. часто спорил с братом и ссылаясь на книги, которых тот не читал, между прочим на Лун Блана. Это устанавливает факт Спешневского личного влияния, силу которого Достоевский хорошо оценивал. Он писал брату, по выходе из каторги: „Спешнев в Иркутской губ... приобрел всеобщую любовь и уважение. Чудная судьба этого человека! Где и как он ни явится, люди самые непосредственные, самые непреходимые окружают его тотчас же благоговением и уважением“ ³⁾.

¹⁾ Яновский. Р. Вест., 1885, 4, с. 800 сл.

²⁾ Ib., с. 803.

³⁾ Достоевский в письмах и восп. соврем. М., 1912, с. 207.

Мне представляется несомненным, что Николай Спешнев послужил прототипом Николая Ставрогина. Неясность, загадочность характера Ставрогина, может быть, зависит от того, что в нем слишком много сырой реальности, не до конца оформленной искусством. Его бесстрашие, холодность, неудовлетворенный скептицизм, его красота и сила, обаяние, на всех производимое, и ореол какой-то тайны — всё это реальные элементы в образе Ставрогина. Ставрогина все находят „чрезвычайно рассудительным человеком. Он был не очень разговорчив, изыскан без изысканности, удивительно скромен и в то же время смел и самоуверен, как у нас никто“. (Бесы, 40). Он поставлен в центре сложной паутины душевных влияний. Притягательная сила его личности заставляет Петра Верховенского боготворить его, как „Ивана-царевича“, легенду русского бунта.

Спешнев был арестован в ночь 22 апреля, вернувшись из гостей, откуда он провожал домой Панаевых ¹⁾).

Из бумаг его особое внимание Голицынской комиссии привлекла неоконченная подписка при вступлении в тайное общество, о которой было упомянуто выше. Спешневу стоило большого труда оправдаться в том, что эта подписка не имела в виду практической цели. Сначала он дал показание, в котором, по его словам, заключалось „рассказание и истинное признание“ относительно тайной подписки. Он объяснил, что эта бумажка случайно сохранилась со времени, когда он занимался историей тайных обществ и даже писал исследование об этом. Следственная Комиссия не верила и признала нужным наложить на Спешнева кандалы, чтобы вынудить его сознание. (Это не было исполнено).

После новых расспросов Спешнев написал, что решился уже показать истину; „прежде только вела его еще некоторая жалость к людям, с которыми он ничем не связан, ни даже каким-либо обетом молчания. В такой борьбе рассказывал, желая сказать всю истину и жалости он писал последнее свое показание. Тогда он решился показывать истину, но только на заданный вопрос, предоставляя случаю, что если его не спросят прямо о том или другом, так он ничего и не скажет“. Но когда Комиссия 2 июня предъявила Спешневу 1-й пункт 157 ст. Улож. о Наказ., по которому чистосердечное признание уменьшает преступнику наказание, он просил дать ему срок и через 3 дней написал подробное изложение всех своих отношений с петрашевцами, очевидно, учтя всё, что могло стать известным Комиссии из других доказаний. Кашкин говорит, что он выгораживал малозамешанных участников дела и выдвигал таких скомпрометированных, как он сам, например Момбелли ²⁾). Но вышло, что из пяти человек, участвовавших в обсуждении братства взаимной помощи, Спешнев первый открыл Комиссии их общую тайну.

„Ставрогин, вы красавец!—вскричал Петр Степанович почти в улоении, — знаете ли, что вы красавец! В вас всего дороже то, что вы иногда про это не знаете... В вас даже есть простодушие и наивность, знаете ли вы это? Еще есть, есть! Вы, должно быть, страдаете, и страдаете искренно, от того простодушия. Я люблю красоту... Вы мой идол! Вы никого не оскорбляете, и вас все ненавидят; вы смотрите всем ровней, и вас все боятся, это хорошо. К вам никто не пойдет вас потрепать по плечу. Вы ужасный аристократ. Аристократ, когда идет в демократию, обанатеет! Вам ничего не значит пожертвовать жизнью и своею, и чужою. Вы именно таков, какого надо... Вы предводитель, вы соизадец... (406) „гордый, как бог, ничего для себя не ищущий“. (409) (страницы указаны по изд. Маркса, т. 7).

Достоевский, для которого новые общественные явления преломлялись сквозь впечатления его молодости, схватив многое характерное в нечаевской истории, вместе с тем внес в нее и вполне анахроническое для того времени увлечение фурьеризмом (см. на сс. 51, 392, 404, 531 и др.) из близкой ему эпохи 40-х г. г. вполне понятно, что в его памяти ожили и подверглись художественной переработке образ Спешнева, влияние которого сам Достоевский испытал в ту эпоху.

¹⁾ Головачева-Панаева. Русск. писатели и артисты. 1890, с. 204.

²⁾ Миллер. Матер. для биогр. Достоевского, 107.

Подозрение, падавшее на него благодаря проекту обязательной подписки, настолько тревожило Следственную Комиссию, что она три раза заставляла Спешнева писать особые показания (кроме предварительного) и не находила в них „искренности“. По воспоминаниям Спешнева, он вызвал со стороны руководившего следствием ¹⁾ замечание: „я вижу тут одни фразы и фразы, а не вижу дела“ ²⁾. Нужно было дать какое-нибудь особо сильное доказательство своего чистосердечия — и Спешнев решился рассказать про разговоры о восстании с Черноуситовым и про братство Момбелли.

Давая этим в руки следствия улики против самого себя, он надеялся, конечно, что его поступок поднимет доверие к нему и отвлечет внимание Комиссии от несуществующего заговора. Что касается вреда, который он наносил своими признаниями другим, то он мог думать, что проект Момбелли рано или поздно будет открыт; а стратегический план восстания, изложенный Черноуситовым в виде предположения и без „всякого приглашения к действию“ — вряд ли мог особенно повредить бывшему исправнику, имевшему к тому же в прошлом военно-административные заслуги. На очной ставке с Черноуситовым Спешнев держался „твердо и с достоинством“ ³⁾.

Камера Спешнева в Алексеевском рavelине находилась рядом с камерой Григорьева, который в крепости стал мешаться в уме, разговаривал сам с собой и не отвечал на стуки, так что до последнего дня заключения Спешнев не знал, кто его сосед.

Вид Спешнева поразил Ахшарумова 22 декабря на Семеновском плацу. „Исчезли красота и цветущий вид; лицо его из округленного сделалось продолговатым; оно было болезненно, желто-бледно, щеки похудалые, глаза как бы ввалились, и под ними большая синева, длинные волосы и выросшая большая борода окружали лицо“ ⁴⁾.

23 декабря Спешнев и Григорьев, закованные в кандалы, были отправлены в Тобольск. Одновременно поехали Толь и Львов. В Тобольске петрашевцы, назначенные в Восточную Сибирь, пробыли больше месяца в остроге, где им помогали жены декабристов. 20 февраля 1850 г. Петрашевский, Григорьев, Львов и Спешнев двинулись с этапом в Иркутск, а оттуда в Нерчинский завод. Начальник Нерчинского округа назначил первых троих в Шилкин-ский, а Спешнева и вскоре прибывшего Момбелли — в Александровский заводы. Сведений о каторжной жизни последних очень мало. Хотя начальник округа в ежегодных рапортах III отделению доносил, что все они содержатся в тюрьме

¹⁾ Сп. называет его ген. Перовским, который был председателем не Следственной, а военно-судной комиссии — память ему изменила.

²⁾ Миллер, 107.

³⁾ Спешнев получил по конфирмации 10 лет каторги, тогда как Львов — 12, а Момбелли и Григорьев по 15.

⁴⁾ Ахшарумов в воспоминаниях называет Спешнева в числе троих, выведенных к столбу (вместо Григорьева). Вероятно, поразившее его впечатление от изменившейся наружности Спешнева заслонило в его памяти образ малознамого Григорьева. Так же ошибается Корф, который вряд ли знал петрашевцев в лицо. „Из моих восп.“. 104; „Записки барона Корфа“, Русск. Ст. 1900. 5, с. 278 сл.

и употребляются на работу, но судя по тому, что шильинские петрашевцы жили, с разрешения управляющего заводом, на квартире и давали уроки, то и Спешнев с Момбелли недолго испытали тяжесть настоящей каторги.

Про Львова рассказывает его товарищ, встретившийся с ним после ссылки, что он с самого начала „присстроился к аптеке“ ¹⁾. Вот отрывок из письма Львова к отцу, 1855 г., рисующий быт их уже в последние годы каторги. „Не скажу, чтобы я вовсе ни в чем не нуждался, но с голоду не умру, а питаться хлебом или чем другим, — это почти все равно: зачекаешь только, когда ешь, а потом и забудешь. Впрочем во все это время мне только два месяца пришлось питаться хлебом, водою и вареным картофелем (все же лучше, чем ирландцы), но скучнее или грустнее от того насколько не было, напротив, я еще чувствовал себя в более спокойно-веселом расположении духа. Теперь, благодаря бога, у меня бывает всегда мясо, а иногда и чай: сделаешь ваксу или краску, нальешь свечей и т. п. — ну, и с копейками. От одной только роскоши отречься я не могу, это от порядочного белья и опрятного платья“.

Спешнев, конечно, не так нуждался, как бедник Львов, ничего не получавший от родных ²⁾. В сибирском климате прошла и зарождавшаяся чахотка, которую у него обнаружил в Тобольске Вольф, врач декабристов. В 1854 г. Спешнев и Момбелли, вместе с переселившимися на Александровский завод Петрашевским и Григорьевым, устроили подготовительный пансион для детей обоего пола, который в то время считался лучшим в Нерчинском округе, так как там преподавались и иностранные языки. Если верить Достоевскому, в начале 1854 г. Спешнев жил в Иркутске, пользуясь „всеобщей любовью и уважением“. Во всяком случае на него обратил внимание генерал-губернатор Восточной Сибири, Н. Н. Муравьев, умевший находить себе делных сотрудников.

По манифесту 26 августа 1856 г. Спешнев, вместе с другими, не окончившими свой срок каторги петрашевцами, был выпущен на поселение, а уже 10 сентября Муравьев, отвечая на запрос из Петербурга о болезни (помешательстве) Григорьева, которого хотели взять на попечение родные, — в той же бумаге ходатайствовал о разрешении Спешневу вступить на гражданскую службу; 26 декабря Спешнев уже был зачислен в Забайкальское областное правление канцеляристом низшего, 4 разряда, что являлось первым шагом к восстановлению гражданских прав. Через 3 года службе начальству предоставлялось ходатайствовать о возвращении его в Россию.

Насколько это зависело от Муравьева, Спешнев двигался по службе очень быстро: в феврале 1857 г. „по отличным способностям“ его перевели в Главное Управление Вост. Сибири, а 29 марта он был назначен начальником газетного стола Иркутского губ. правления, редактором новой еженедельной газеты, „Иркутских Ведомостей“, и смотрителем губернской типографии.

¹⁾ И. Венедиктов. „За шестьдесят лет“. Русск. Ст., 1905, 10, с. 45 сл.

²⁾ Мать Спешнева в ноябре 1853 г. просила государя послать ее сына в действующую армию, а в мае просила о помиловании.

„Несмотря на совершенную новостность дела“, он „заялся им с таким усердием“, что с 16 мая „Иркутские Ведомости“ стали выходить.

Вместо производства в коллежские регистраторы, о котором хлопотал для него Муравьев, он был переведен, в октябре 1857, в 3-й разряд канцеляристов.

За 2 года редактирования первой иркутской газеты Спешневу удалось сделать ее „часть неофициальную“ содержательной и общественно-интересной. Редакция проявляла полную терпимость к чужим мнениям и внимание к „воззрениям местным“. Двумя своими статьями: „Начало Иркутства“ и „Иркутский острог“¹⁾ Спешнев положил начало отделу местных исторических разысканий; в газету посыпались разные дополнения и аналогичные статьи о других местностях Сибири, а с 1858 стала печататься обширная „Летопись гор. Иркутска с 1652 до наших дней“ П. Пежемского. Научный отдел пополнялся метеорологическими наблюдениями С. Щукина и химическими анализами сибирских открытий Ф. Львова, а также многочисленными географическими описаниями поездок по Сибири, Китаю. За передовой Спешнева в № 11, давшей должную оценку открытию торгового пароходства по Амуру, последовали большие экономические статьи М. Загоскина „О быте поселен Иркут. губ.“, С. Шашкова о бурятах, статьи о хлебной торговле, статьи Н. Хитрово об Енисейской золотопромышленности и т. п. доступные обзоры, затрагивавшие важные вопросы развития Сибири. Широко была представлена областная корреспонденция (между прочим из Красноярска писал Черносвитов).

В № 29 М. Шестунов проектировал устройство в Иркутске публичной библиотеки, впоследствии им и осуществленное. Львов (№ 2, 1858) обсуждал устройство „Об-ва для развития промышленности в Вост. Сибири“. Спешнев (№ 48, 1858) приветствовал проект телеграфного сообщения с Америкой через Сибирь и затем напечатал самый проект русского инженера Д. Романова. Все общественные вопросы, допускаемые тогдашней цензурой, получали отражение в газете: введение обществ трезвости, вопрос об откупах (в № 3, 1859, Спешнев с негодованием встречает слух о распространении откупа на Амурский край); с допущением гласности посыпались, как по всей России, обвинения взяточничества и произвола областных чиновников, купцов...

Для провинциальной газеты того времени такая содержательность не является вполне обычной и свидетельствует об умелом ведении дела. В „Ирк. Вед.“ господствует дух культурной беспартийности и дружной общей работы. Своему преемнику, М. Загоскину, Спешнев оставил газету уже налаженную, с кадром постоянных сотрудников и корреспондентов. По возвращении Муравьева из поездки в 1860 г. и с переходом Загоскина в газету „Амур“, „Ирк. Вед.“ подверглись сильному правительственному давлению. Много места стало уделяться опровержению статей Завалишина (декабриста), который

¹⁾ № 1 и 3, 1857 г. Подлинники этих статей хранятся в Музее Революции. Там же находится подробный конспект внешней политики Сибири, составленный Спешневым по исторической статье Баласоголо. Это та статья, которую петрашевцев Баласоголо, знаток Востока, написал для Муравьева при его назначении ген.-губернатором В. Сибири в 1847 г.

в Морском Сборнике осуждал нерациональную затрату сил и денег на приобретение Амура. Статьи по специальным вопросам делаются длинные и однообразны. Наконец, с № 26 сменяется преемник Загоскина, М. Масловский, и газета определенно падает и превращается из общественного в казенный орган.

В это время Муравьев был „в наилучших отношениях“ также и с Петрашевским и с Львовым. Львова, который по праву, данному вскоре после манифеста, отправлялся на Кавказ рядовым для выслуги, он оставил в Иркутске, найдя его по освидетельствовании негодным к военной службе, и так же, как Спешнева, устроил его на службу в Главное Управление Восточной Сибири (11 февраля 1858). Затем он назначил Львова помощником столоначальника горного отдела и предоставил ему несколько научно-практических поручений по его химической специальности, „требовавших особых трудов и познаний“.

Зимой 1856—57 в Нерчинской горной лаборатории, Львов производил химическое исследование каменного угля, найденного по Аргуни. В декабре 1857 г. исследовал медную руду, открытую в В. Сибири. Летом 1858 был командирован в Забайкальскую область для исследования минеральных источников. Эти работы он обнаружил в „Ирк. Вед.“ и кроме того написал много других специальных статей. С 12 янв. 1859 он прочел цикл публичных лекций „о начальных основаниях химии“, собираясь впоследствии читать о разных сибирских фабричных производствах (мыловаренном, кожевенном, стеариновом). (Сведения выбраны из „Ирк. Вед.“).

Проезжавшая через Иркутск в 1858 аристократическая старуха В. Быкова встречала их в иркутском свете; они были приняты у Муравьева; на одном обеде, где был также Муравьев, Петрашевский и Львов вели себя оживленно, „врали разную чушь“, Львов танцевал, но Спешнев „не изменял себе — молчал и там, как везде“. На нем „видна печать несчастья: он молчалив, задумчив; улыбки не видно на этом прекрасном лице, уже покрытом преждевременной седью и морщинами; ему теперь около 40 лет. Он среднего роста, тонок; продолговатое бледное лицо, правильные черты, черные длинные волосы и постоянно задумчивый вид придают какую-то внешнюю прелесть этому изгнаннику. Жаль его и хотелось бы утешить, исполнить его и довести до раскаяния; хотелось бы по сердцу поговорить с ним, чтобы обратить к богу эту заблудшую душу... Но они все трое ни во что не веруют“... ¹⁾

Насколько доброжелательно первоначально относился к петрашевцам Муравьев, показывает письмо его к начальнику III отделения В. А. Долгорукову от 18 мая 1858 г. из Благовещенска на Амуре присылке государю Айгунского договора, заключенного с китайскими уполномоченными о возвращении России Амура. „Если договор этот удостоится высочайшего одобрения и государевой милости к исполнителям, то я имею честь покорнейше просить ваше сиятельство ходатайствовать пред его величеством, в личную и лучшую для меня награду, прощение с возвращением прежних прав состояния остав-

¹⁾ В. П. Б-а. „Записки старої школянки“, т. 2-й. II., 1899, с. 34 сл.

щимся еще в Восточной Сибири государственными преступникам: Николаю Спешневу, Федору Львову, Михайле Буташевичу-Петрашевскому и сосланному в г. Томск родственнику моему Михаилу Бакунину¹⁾. На письме этом надпись Долгорукова: „Собственноручно отвечал из Минска, что лица, о коих ходатайствует граф Муравьев, забытыми не останутся, но что теперь участь их изменена еще быть не может. 4 сентября“.

По вторичному представлению Муравьева, Спешнев был произведен в коллежские регистраторы (в апреле 1859 г.). В письме управляющему делами Сибирского комитета, В. Буткову, Муравьев так описывал редакторскую деятельность Спешнева: „Статьи той газеты („Ирк. Вedom.“) присылаются со всех концов Восточной Сибири, а отнюдь не составляются в редакции, и Петрашевский никакого влияния на издание газеты не имеет, а Спешнев истинный труженик, которому приходится с утра до вечера работать, чтобы разбирать эти статьи, и очищать их от таких предметов, которые в печати не могут быть дозволены. Мне стало его жаль в эту зиму: он похудел, как чахоточный, и я решаюсь облегчить его занятия, переведя его в главное управление, где прекрасное перо его будет более полезно, чем в редакции, в которой ему приходилось только исправлять; редактором же я назначаю магистра Загоскина, того самого, который с 1860 года намерен издавать газету „Амур“. Спешнева труды так полезны, и нравственность его так высока, что я решился представить его опять к чину вне правил и прямо через вас; в главном управлении чин этот совершенно необходим (чтоб употребить его с настоящею пользою, без него он не может исправлять должности столоначальника, и куда я вынужден назначить его к исправлению должности только помощника). Если я сколько-нибудь заслужил внимание комитета, то прошу вас убедительно дать ему этот чин в личное для меня обязательство; надеюсь, что в этот раз и князь Василий Андреевич (Долгоруков) не помешает этому производству, как было полтора года тому назад“.

10-й номер „Ирк. Ведомостей“, последний под редакцией Спешнева, вышел 5 марта 1859 г., а затем Спешнев сделался правителем путевой канцелярии Муравьева и в апреле поехал с ним в экспедицию по Амуру и в Японию. В виду такой близости с Муравьевым, он „не мог пользоваться полным доверием“ Петрашевского и Львова, тем не менее Львов писал Завалишину, что они „отправили его с Муравьевым на Амур“¹⁾.

В отсутствие Муравьева, 16 апреля 1859, был убит на дуэли чиновник особых поручений Неклюдов. Иркутское общество было чрезвычайно взволновано обстоятельствами дуэли, считая ее „изменическим убийством“, и подняло травлю против виновника ее, члена совета Главного Управления Восточной Сибири Беклемишева, приезжего чиновника из приближенных Муравьева. За агитацию по поводу дуэли Львов и Петрашевский, ввав в пемилость Муравьева, впоследствии поплатились, первый — потерей службы, а второй — высылкой из

¹⁾ Ф. Львов. „Письма к Завалишину“. Собр. старин. бумаг, хранящихся в музее Щукина. М. 1902 г., с. 243 сл.

Иркутска. Но еще в отсутствие его они получили из Кяхты предостережение Спешнева о недовольстве Муравьева их поведением в деле дуэли; однако они не замолчали и естественно стали во главе иркутской оппозиции.

По возвращении в Иркутск, 1 января 1860 г., Муравьев прекратил знакомство с Петрашевским и Львовым, обрушился с упреками на поддерживавшее их общество и принял против них меры, приведенные в исполнение после его отъезда в Петербург. Положение Спешнева при этом было не из легких. Между ним и его товарищами появилось охлаждение и недоверие, и, вернувшись, он даже остановился не у них, а у Муравьева.

Уезжая в январе в Петербург, Муравьев взял Спешнева с собою и выхлопотал ему возвращение дворянства (30 марта 1860).

Спешнев поселился в имении своей матери, с. Федосине, Островского у., Псковской губернии. Дети его, Николай и Алексей, причисленные после его ссылки в мещане, воспитывались у дяди, А. Ф. Цехановецкого, который в 1855 просил о зачислении их в учебные заведения, но получил отказ.

После освобождения крестьян Спешнев был назначен мировым посредником в Островском уезде. Дворянство встретило его назначение с недовольством; но жандармский полковник Ходкевич, в донесении Долгорукову от 5 июня 1862, находил действия его „рациональными“. „Спешнев твердо стоит за интересы крестьян и очень равнодушен к интересам помещиков. Усиленно хлопочет о сближении с простым сословием и очень сух и холоден в обращении с помещиками. Дворянство, за весьма малыми исключениями, ненавидит его, но крестьяне любят и довольны“.

„Спешнев отвел своим крестьянам надел в 15 десятин земли, т.-е. отдал им более $\frac{2}{3}$ своего обширного имения. Дворянская партия довела дело до Сената, но, с помощью мировых посредников К. И. Галенко и В. А. Изъединова, бывшие крепостные крестьяне Островского уезда получили самый большой земельный надел во всей России“ ¹⁾.

О последних 20 годах жизни Спешнева сведения очень скудны. Он переселился в Петербург; сотрудничал в энциклопедическом словаре Толя, используя свой обширный этнографический и географический опыт. В рукописях его сохранились многочисленные заметки по географии и статистике России, по изучению языков северо-восточной Азии, по антропологии Азии и Африки, выписки из научных книг, статьи на французском и немецком языках, большое статистическое „описание города Петербурга“ и т. п. ²⁾

После смерти Достоевского он рассказал О. Ф. Миллеру свои воспоминания о деле Петрашевского, записанные тогда же А. Г. Достоевскою.

Спешнев скончался 60 лет, 17 марта 1882 года, и похоронен в имении Софии.

В. Р. Лейкина.

¹⁾ Новое Время, 1882, № 2181.

²⁾ Рукописи эти хранятся в Музее Революции.

Чернышевский в Вилюйске.

I.

Перевод Н. Г. Чернышевского в Вилюйск в 1871 г.

Сосланный в Сибирь, оторванный от нежно любимой семьи, лишенный возможности заниматься литературным трудом, единственным трудом, на который он был способен и которым жил и дышал,—Чернышевский со стоическим спокойствием коротал свои дни на каторге, но в то же время отсчитывал мысленно каждую минуту, которая приближала его к окончанию срока наказания. Он был сослан на семь лет. Через семь лет его должны были перевести на поселение, где он мог бы получить возможность возобновить свою литературную деятельность. Так, по крайней мере, представлялось ему в его мечтах. Он надеялся и жил этой надеждою и был твердо уверен, что по окончании срока каторги его пошлют хотя и в Сибирь же, но все-таки несколько ближе к Европейской России, благодаря чему сделаются более удобными сношения с родными и знакомыми, не говоря уже о том, что и жена с детьми может приехать и поселиться с ним в этом новом месте. Он надеялся, что к нему будут применены те же условия и правила, какие применялись ко всем отбывшим подобное наказание. Он привык к логическому, здравому размышлению и исходил из мысли, что вообще для всех установлено, что главная сила наказания падает всегда на первоначальный период и что с окончанием самого тяжелого периода наступает всегда для всех осужденных известное облегчение. Определенное ему наказание было санкционировано высочайшею властью, и казалось бы, что это определение Сената должно было представлять собою такого рода государственный акт, который уже не мог подлежать изменению в административном порядке.

В течение этих семи лет были изданы еще некоторые указы, предоставлявшие известные льготы в отношении сроков отбывания наказаний. Все эти указы и основные законы запоминались Чернышевским, и он тщательно высчитывал каждый день, который приближал его к желанному сроку. Он делал свою мечту, жил ею и тем временем подготовлял планы своих новых литературных трудов, которые дали бы возможность существовать его семье.

Забота о жене и детях проходила красною нитью во всей его переписке. Он считался с тем, что писать серьезные статьи ему, конечно, не разрешат, но полагал, что со стороны цензуры не встретится препятствий к пропуску его романов и повестей, хотя бы и без фамилии автора или под каким-нибудь псевдонимом.

Полный надежды он писал жене, что срок его жизни в Александровском заводе кончается 10 августа 1870 года, что он не сомневается в своем переводе куда-нибудь поближе к Европейской России, и предупреждал, чтобы она ждала от него телеграммы или письма с извещением о том месте, куда она может к нему приехать.

Вот подлинное его письмо от 5 июля 1870 г., задержанное III Отделением и не дошедшее по назначению.

„Милый друг мой, Оленька.

Благодарю Тебя за Твои письма ко мне. Умоляю Тебя, моя радость, заботься о своем здоровье; и для этого, делай усилия над собою, чтобы не грустить: Твое здоровье чрезвычайно много зависит от Твоего настроения мыслей; когда Ты в хорошем расположении духа, Твое здоровье крепко и прекрасно. Умоляю Тебя, моя милая подруга, старайся быть веселою и береги свое здоровье.

Пишу за несколько дней до Твоих именин; Твои праздники — единственные, которые не забываю праздновать я. Буду праздновать этот в уверенности, что Ты здорова“.

„Срок моего пребывания здесь — 10 августа. Думаю, что 10 августа и выеду отсюда в Иркутск, а там, конечно, скоро можно будет узнать, чего теперь еще не знаю, где придется мне жить. Но само собою разумеется, где бы ни привелось, все-таки будет можно Тебе исполнить Твое милое намерение приехать попрежнему делить мою жизнь. Только, прошу Тебя, позаботься получить в Петербурге официальное распоряжение, которое обеспечивало бы Тебя здесь от всяких неприятностей¹⁾. Я убежден, в Петербурге не затруднятся написать для Тебя такие бумаги, чтобы все, с кем придется Тебе иметь сношения по делам Твоей поездки и жизни вместе со мною, имели должную почтительность к Тебе.

„Как выеду отсюда, пошлю телеграмму Тебе, мой милый друг. После того, жди от меня другой телеграммы, из Иркутска: прежде нежели выедешь из Петербурга, Ты должна будешь, узнавши, где именно придется жить мне, взять официальные распоряжения не только для Иркутска, но и для местности, в которую поедешь ко мне. Пожалуйста, мой друг, обеспечь себя всеми необходимыми гарантиями.

„Я не сомневаюсь в том, что в Петербурге не только без колебания, но с удовольствием дадут Тебе все гарантии, какие покажутся Тебе нужными для охранения Тебя здесь от всяких неприятностей.

¹⁾ Наех на 1866 г. Во время нашего путешествия в Сибирь для свидания с отцом и с матерью были неожиданно задержаны в Иркутске на целый месяц из-за отсутствия нужных бумаг. — *Мих. Чернышевский*.

„Устроившись на новом месте, буду иметь право и возможность трудиться для исполнения моих обязанностей перед Тобою и детьми. Здоровье мое хорошо; и надеюсь, очень долго останется хорошо. Я не тратил его в молодости на обыкновенные дурачества юношей; ни разу в жизни не изменял правилам нравственной и физической гигиены. Теперь видна польза от этого. Я не чувствую никакой разницы в здоровье сравнительно с тем, каков был в тридцать лет, и могу быть уверен, что останусь таким же дальше пятидесяти лет. Что такое усталость от занятий, я не знаю; и еще много лет не буду знать. Успею, моя Радость, вознаградить время, прошедшее для меня без работы. Миллионов рублей не приобрету; и не нужны они. Но сколько надобно будет приобретать, буду зарабатывать без утомления себе. Скоро Ты будешь иметь средства расплатиться с долгами и жить, как привыкла в прежние времена; через несколько времени будешь жить и лучше прежнего,—не сомневаюсь в этом.

Я получил четыреста рублей, которые были посланы мне. Благодарю за них.

Благодарю Тебя, Саша, за Твои письма ко мне. Целую Тебя и Мишу. Крепко обнимаю Тебя, моя милая Радость; целую Твои глаза и руки. Будь здорова и весела.

Твой Н. Чернышевский*.

С своей стороны и матушка писала о своей радости, с какою она ждет не дождется того времени, когда можно будет опять зажить семейною жизнью.

Всем этим мечтам не суждено было осуществиться.

Наступил август 1870 г., и произвол правительственной власти в лице всемогущего III Отделения выказался тут по отношению к Чернышевскому в полном блеске своей славы.

Политическое сознание среди мыслящей части общества, несмотря на все гонения и попытки противодействия со стороны правительства, все росло и усиливалось. Не имея возможности вырвать с корнем „зловредные“ мысли у всего общества, находившегося „в сожалении“ (по мнению III Отделения) на свободе, правительство тем с большим ожесточением обрушивалось на лиц, уже лишенных свободы, которых считало главными виновниками распространения глупых идей и которые уже не имели возможности ни сами защищаться, ни быть защищаемы другими. К числу таких лиц, явившихся жертвами отпущения, принадлежал и Чернышевский. Несмотря на то, что со времени его ареста и ссылки прошло уже семь лет, перед глазами III Отделения все еще стоял неумолимый призрак страшного революционера, приводившего все правительство, во главе с самим Александром II, в раздражение и чуть ли не в трепет одним своим именем. Страшнее Чернышевского у правительства тогда никого не было. А потому вполне естественно, что все заботы такого правительства сводились к тому, чтобы в целях „предупреждения и пресечения“ не останавливаться ни пред какими мерами, хотя бы даже с нару-

шением закона, для лишения Чернышевского всякой возможности возобновить свою „преступную“ деятельность. Поэтому перевод Чернышевского, вместо поселения в более близких местностях Сибири, в Вилуйск, с заточением его в острог под присмотром двух жандармов, подготовлялся заблаговременно и был тщательно обдуман с явным нарушением законов, каковое нарушение было, впрочем, санкционировано высочайшею властью в административном порядке.

Дело происходило таким образом.

Время от времени русскому правительству приходила в голову мысль, что следует заботиться не только о ссылке в Сибирь лиц, зараженных революционным духом, но и о смягчении этого наказания для тех из них, кто заслуживал такого смягчения своим „хорошим поведением“. Обыкновенно такие милости приурочивались к дням рождения или свадеб в царской фамилии, чаще всего наследника престола, чтобы подготовить почву для обожания благодарным населением будущего вершителя судеб Российской империи. К числу таких дней приурочен и день рождения наследника, Николая Александровича, по каковому случаю в 1868 году готовился соответственный манифест, на основании которого разрешалось, между прочим, всех сосланных в каторжные работы, без различия срока осуждения, обратить на поселение, распределив по губерниям и областям Восточной Сибири, по назначению главного местного начальства.

По этому поводу 21 ноября 1867 г. за № 3211 шеф жандармов граф Шувалов обратился к генерал-губернатору Восточной Сибири Корсакову, бывшему тогда в Петербурге, с просьбою сообщить список арестантов, участь коих могла бы быть облегчена по его мнению.

Корсаков ответил, что по возвращении в Иркутск он не замедлит представить требуемый список, и действительно 26 марта 1868 г. им был представлен список государственных и политических преступников, в числе которых именован и „Чернышевский Николай, находящийся в Каданском руднике Нерчинского округа“, с пометкою, что, за сокращением назначенного ему семилетнего срока на основании манифеста 28 октября 1866 г. на одну четверть, Чернышевский будет освобожден в 1869 г. или в начале 1870 г.

Очевидно, такое указание о Чернышевском пришлось не по вкусу III Отделению, и письмом от 25 мая 1868 г. за № 1385 граф Шувалов рекомендовал Корсакову „обратить особенное внимание на Чернышевского и Огрызко, как на людей, заявивших крайне опасное свое направление“.

Получив такое письмо и усмотрев из него желание начальства иметь какой-нибудь повод к нераспространению на Чернышевского проектированных милостей, Корсаков поручил начальнику Иркутского жандармского управления полковнику Купенкову составить отзыв в смысле, желательном для III Отделения.

Письмом от 29 октября 1868 г. за № 112, написанным собственноручно ¹⁾ Купенковым и подписанным Корсаковым, последний сообщил гр. Шувалову следующие свои соображения.

¹⁾ Курсив мой. Собственноручное писание производилось в чиновничьем мире только в особо важных случаях при секретной переписке.

„Вследствие письма вашего сиятельства от 25 мая за № 1385 я признал необходимым, независимо предъявляемых мне срочных сведений о поведении некоторых важных преступников, затребовать более подробные сведения о государственных преступниках Чернышевском, Васильеве и Волкове и политических Огрызко и Дворячке. Получив ныне исполнительные по сему предмету донесения, долгом поставлю сообщить вашему сиятельству, что Чернышевский, Васильев и Волков, по удостоверению Нерчинского коменданта, со времени прибытия на завод ведут себя хорошо и по благоразумному поведению и безусловной покорности заслуживают облегчения их участи...

С своей стороны я нахожу, что в виду важности преступлений, совершенных вышепоименованными арестантами, настоящее хорошее поведение их при ограничении личной свободы тюремным заключением не может служить порукою за их нравственное исправление, поэтому, в случае обращения этих лиц на поселение, нельзя поручиться, что оные не совершат побега или какого-либо другого преступления, так как надзор за преступниками, проживающими на свободе, чрезвычайно затруднителен и при обширности и малонаселенности адепного края, а равно при нахождении в среде коренного населения массы ссыльных русского и польского происхождения, вполне надежно обеспечен быть не может.

Посему я не считаю удобным обращать преступников Чернышевского, Васильева, Волкова и Огрызко на поселение, а полагаю вместе с другими государственными преступниками оставить на содержании в тюрьмах и, не употребляя в работы, облегчить им по возможности настоящее их положение, продолжая в то же время иметь за ними неослабное наблюдение“.

Ответ Корсакова-Купенкова вполне удовлетворил III Отделение, а письмом от 21 декабря 1868 г. за № 3322 гр. Шувалов, „вполне разделяя мнение о преступниках Чернышевском, Васильеве, Волкове и Огрызко“, просил Корсакова „сделать распоряжение и приведению этих предположений в исполнение“.

Одновременно гр. Шувалов уведомил о своем распоряжении и министра внутренних дел Тимашева, признав нужным, как бы в оправдание, пояснить, что „высочайшее повеление о предоставлении милостей поставило непременно условием дарования милостей не одно хорошее поведение, но и удостоверение местного начальства о достаточной степени их благонадежности“.

Время шло. Приближался давно желанный день окончания ссылки. В письме от 29 апреля 1870 г. ¹⁾ Чернышевский, между прочим, писал: „10 августа кончается мне срок оставаться праздным, бесполезным для Тебя и детей. К осени, думаю, устроюсь где-нибудь в Иркутске или около Иркутска и буду уж иметь возможность работать по-прежнему“.

Наконец наступило и 10 августа 1870 г... Прошло еще несколько дней, и 12 августа Корсаковым была послана гр. Шувалову шифрованная телефонограмма следующего содержания:

¹⁾ Опубликовано в I выпуске Сибирской переписки Чернышевского.

„Срок работ Чернышевского кончился 10 августа. Закон требует отправить на поселение. По письму вашему № 1885 следует предварительно войти в соглашение. Если будет свободен, отвечать за целостность нельзя. Как поступить?“

Заявлению Корсакова было придано громадное значение. Конечно, ему даже обрадовались, так как оно могло оправдать те меры, какие собирались предпринять III Отделение, с самого начала не одобрявшее слишком легкий, по его мнению, приговор Сената.

Прежде всего, ст. сов. Александр Францевич Шульц (управляющий 1-ю экспедицией III Отделения, а впоследствии управляющий всем III Отделением) представил в августе 1870 г. гр. Шувалову подробную справку о Чернышевском, с приведением в ней не только действительно достоверных фактов, но и всех слухов и сплетен, собиравшихся по всему городу шпионами III Отделения, хотя эти слухи и не могли быть подкреплены решительно никакими данными.

Результатом такой справки явился всеподданнейший доклад гр. Шувалова следующего содержания:

„Государственный Совет, по рассмотрении определения Правительствующего Сената об отставном титулярном советнике Николае Чернышевском, признав его по уликам и обстоятельствам дела виновным в сочинении возмутительного воззвания, передаче оного для тайного напечатания с целью распространения, и в принятии мер к disproвержению существующего в России порядка управления, мнением положил: утвердить по настоящему делу заключение правительствующего Сената и, вследствие сего, отставного титулярного советника, Николая Чернышевского, на основании узаконений, лишив всех прав состояния, сослать в каторжную работу в рудники на 14 лет и затем поселить в Сибирь навсегда.

Ваше императорское величество изложенное мнение Государственного Совета изволили в 7 день апреля 1864 г. высочайше утвердить, с тем чтобы срок каторжной работы был сокращен наполовину.

Во исполнение сего преступник Чернышевский отправлен в Нерчинские рудники, где, на основании всемиловитвейшего манифеста 28 октября 1866 г., срок каторжных работ сокращен ему на $\frac{1}{4}$ часть.

Затем, по воспоследовании 25 мая 1868 г. высочайшего повеления о даровании милостей политическим преступникам, осужденным до 1 января 1866 г., Чернышевский, по 1 пункту сего повеления мог быть освобожден от работ с обращением на поселение.

Принимая во внимание с одной стороны, что необходимым условием дарования милости по этому повелению должно служить не одно хорошее поведение политических ссыльных, но и удостоверение местного начальства о достаточной степени их благонадежности, а с другой стороны опасаясь вредных последствий от побега Чернышевского, в случае обращения его на поселение,—я просил генерал-губернатора Восточной Сибири сообщить мне его воззрение на означенного преступника и вместе с тем уведомить о мерах, какие он полагал

бы принять для воспрепятствования ему побега. При этом я предупредил генерал-лейтенанта Корсакова не освобождать сего преступника от каторжной работы ¹⁾ вперед до нашего соглашения.

Генерал-губернатор уведомил меня на это, что ближайшее местное начальство, свидетельствуя о хорошем поведении Чернышевского, признает его заслуживающим облегчения участи, но он, генерал-губернатор, с своей стороны находит, что, в виду важности совершенных Чернышевским преступлений, настоящее хорошее его поведение, при ограничении личной свободы тюремным заключением, не может служить порукою за его нравственное исправление, поэтому, в случае обращения его на поселение, нельзя поручиться, чтобы он не совершил побега или какого-либо другого преступления, так как надзор за проживающими на свободе чрезвычайно затруднителен и — при обширности и малонаселенности края, а равно при нахождении в среде коренного населения массы ссыльных русского и польского происхождения — вполне надежно обеспечен быть не может, и посему он, генерал Корсаков, не считает удобным обращать Чернышевского на поселение, а полагает оставить его на содержании в тюрьме и, не употребляя в работы, облегчить по возможности настоящее его положение ²⁾, продолжая иметь за ним неослабное наблюдение.

Признав предложенные генерал-губернатором Восточной Сибири меры предосторожности относительно Чернышевского вполне соответственными политическому его значению, я просил его, не обращая Чернышевского на поселение, привести эти меры в исполнение.

В июне месяце сего года (1870), заведывающий временным Управлением для надзора за политическими ссыльными доставил в вверенное мне Управление письмо Чернышевского к жене от 5 апреля ³⁾, в коем он, между прочим, писал: „рассчитываю, что в начале августа, или быть может и раньше, придет мне время переехать жить поближе к России; что срок этот не дальше 10 августа, я умею сосчитать наверное, но очень возможно, что следует считать и сосчитают время с того дня, когда я приехал в Иркутск или хоть в Усолье. Если так, то будет выигрыш времени для моего возвращения отсюда назад и для возможности приобретать хорошие средства для жизни Тебе и детям“.

Жена Чернышевского с своей стороны писала к нему, что она отправится в Иркутскую губернию, как только получит от него уведомление о том, где именно будет ему дозволено жительство.

По поводу этих писем спршен был вновь генерал-губернатор Восточной Сибири о том, как он полагает поступить с Чернышевским по окончании срока каторжной работы, определенного ему судебным приговором.

¹⁾ В прямое нарушение и положения Государственного Совета и высочайшего манифеста 28 октября 1866 г. и высочайшего повеления 25 мая 1868 г. — *М. Ч.*

²⁾ Какой гнусный цинизм в этой фразе об „облегчении“ положения! Угнать человека еще за 2000 верст дальше и в несравненно худшие условия жизни (да еще в тюрьме), чем в Александровском заводе!

³⁾ Это письмо не было доставлено по назначению, но и в деле III Отделения его не имеется.

В ответ на это получена шифрованная телеграмма, в которой генерал-лейтенант Корсаков сообщает, что срок работ Чернышевскому оканчивается ныне и что закон требует отправить на поселение, но если он будет свободен, то за целостность отвечать нельзя; а потому спрашивает, как следует поступить с Чернышевским.

Опасения генерал-губернатора Корсакова относительно освобождения Чернышевского я с своей стороны вполне разделяю, как по свойству преступлений, за которые он подвергся ссылке в каторжную работу, так и по тем сведениям, которые имеются о нем в вверенном мне Управлении, начиная с 1860 г.

По сведениям этим видно, что Чернышевский, обладая замечательным литературным талантом и будучи проникнут революционными, коммунистическими и антирелигиозными идеями, постоянно проводил их в начале шестидесятых годов, при ослаблении в то время цензурных стеснений, в своих сочинениях, помещавшихся в петербургском журнале „Современник“. Сочинения его, в сущности своем разрушающие нравственные начала гражданского нашего быта, вскоре же доставили ему известность, в особенности в кругу молодежи, и образовали около него толпу последователей, из коих весьма многие стали осуществлять социальные его идеи на практике, и отсюда образовалась у нас целая партия так называемых нигилистов и нигилисток.

Печатаемые в Женеве сочинения Чернышевского распространяются и ныне тайным образом его клеветами.

Не менее опасным оказывался Чернышевский и как деятель политический: он принимал самое непосредственное участие в возбуждении беспорядков между студентами С.-Петербургского университета в 1861 году ¹⁾; на похоронах в том же году литератора Добролюбова он публично произнес речь противоправительственного содержания и был одним из учредителей шахматного в С.-Петербурге клуба, впоследствии закрытого по распоряжению Правительства. Кроме того, ему приписывали составление и распространение появившихся в 1861 и 1862 г. г. разных возмутительных листов, а также составление дерзких адресов к вашему величеству, как по поводу студенческих беспорядков, так и по поводу осуждения литератора Михайлова в ссылку за распространение воззвания „К молодому поколению“.

Круг близких знакомых Чернышевского составляли преимущественно или оказавшиеся вскоре преступниками, как, например: Михайлов, Обручев, Серно-Соловьевич, Утин, или лица, признанные правительством политически-злонамеренными, а именно: полковник Лавров и многие другие. Перед арестованием же его сделалось известным, что он имел сношения с эмиграцией, с которою предполагал издавать журнал, намереваясь отправиться для сего в Женеву.

Он не изменил социальных своих убеждений и после обнаружения правительством преступной его деятельности. Содержась уже в крепости,

¹⁾ Одна из сплетен, ничем не доказанная.— М. Ч.

он написал роман „Что делать“, в котором еще с большею смелостью и ясностью развил проповедуемые им безнравственные начала гражданского и социального быта.

Вредное влияние Чернышевского на его последователей и сочувствие их к нему не устранились и после удаления его из среды общества и осуждения его, как государственного преступника. Были лица, которые по окончании суда над ним обратились с просьбами о помиловании его, называя его невинным страдальцем, а его убеждения — образцом современной мудрости, причем одно из этих лиц выражало готовность принять на себя наказание, ему присужденное. При объявлении приговора Чернышевскому, эшафот его окружали молодые офицеры, студенты, воспитанники разных учебных заведений и созданные им женщины-нигилистки, при этом из толпы был брошен на эшафот букет цветов.

Фотографические же его портреты разных величин расходились потом в огромном числе.

После ссылки Чернышевского, каждый раз, когда правительство обнаруживало государственные преступления или вредные политические кружки, было заметно, что источником тех и других служили агитаторская деятельность Чернышевского и идеи, развитые в его сочинениях.

Наконец, при производстве дела о покушении 4 апреля на жизнь вашего императорского величества, сделалось известным, что члены образовавшегося в Москве тайного общества „Организация“ имели намерение освободить Чернышевского из Сибири, для чего назначен был агент, снабженный адресами разных лиц, проживающих в Сибири, и не успевший приступить к исполнению замысла лишь по обнаружению оного правительством.

О намерении злоумышленников освободить Чернышевского показал также и арестованный в конце прошедшего года по известному Нечаевскому делу крестьянин Кунтушов. По объяснению Кунтушова, в Петербурге и других городах делались постоянные сборы денег с целью доставить Чернышевскому средства к побегу из Сибири, и что он, Кунтушов, был послан в Рязань, где должен был ожидать другое лицо и, получив от него 2.000 руб., обязался вручить деньги Чернышевскому.

Эти и другие сведения дают мне основание думать, что, коль скоро нахождение Чернышевского на поселении делается известным сочувствующей ему среде, то все усилия вредных партий будут сосредоточены на то, чтобы содействовать его побегу за границу. За границей же, нег сомнения, он воспользуется тою известностью, которую ему придали, с одной стороны — его сочинения, а с другой — преследование его правительством, и он вскоре же делается там центром нигилизма и вождем тех опасных попыток, к которым у нас, к сожалению, склонны вредные личности из молодежи.

Принимая во внимание как вышеизложенное, так равно и заявление самого генерала-губернатора Восточной Сибири насчет возможности побега Чернышевского при обращении его на поселение, я с своей стороны освобождение его из тюремного замка нахожу неудобным.

Но, имея в виду, что обращение Чернышевского на поселение в настоящее время предоставляется ему законом и что продолжение содержания его в тюрьме было бы отягчением наказания, которое ему положено судом, испрашивая разрешение вашего императорского величества на внесение сего на обсуждение Комитета министров.

Настоящий доклад удостоился 4 сентября 1870 г. высочайшей резолюции „исполнить согласно с соображением“.

Комитет министров придал особую важность заявлению Корсакова, как в виду важности совершенного Чернышевским целого ряда государственных преступлений, так и в особенности вследствие нравственных его качеств и того влияния, коим он пользовался в кругу молодежи, а отчасти и ныне пользуется, по удостоверению шефа жандармов. Необходимость полного, не допускающего ни малейших опасений охранения молодежи от увлечений, легко могущих зародиться с появлением в их среде или за границу такого преступника, как Чернышевский, по мнению Комитета, столь настоятельно, что „не следует останавливаться перед необходимыми для сего материальными жертвами“, как о том заявил в заседании министр финансов.

Обратив внимание на то, что продолжение содержания Чернышевского в месте каторжных работ, в заключении, было бы отягчением присужденного ему наказания, Комитет министров тем не менее присоединился к предположению Корсакова о том, что „обращение Чернышевского в разряд поселенцев будет подчинено общеустановленному для всех порядку, не применимому к столь вредному и опасному ссыльному“¹⁾.

А потому „Комитет пришел к убеждению о необходимости: продолжив временно заключение Чернышевского в тюрьме в месте настоящего его пребывания, немедленно приступить к изысканию всех возможных мер к обращению сего преступника, согласно закону, в разряд ссыльно-поселенцев в такой местности и при таких условиях, которые бы устраняли всякие опасения насчет его побега и тем самым сделали бы невозможными новые со стороны молодежи увлечения к его освобождению“.

Журнал Комитета министров был утвержден 25 сентября 1870 Александром II, и от Корсакова потребовали новых предположений о том, где именно он полагал бы поселить Чернышевского, причем „впредь до окончательного решения вопроса об освобождении Чернышевского на поселение он должен содержаться в тюрьме на прежнем основании“.

Получив такой запрос, Корсаков счел нужным, в виду важности дела, самому отправиться из Иркутска в Петербург для личных объяснений и там сообщил гр. Шувалову (28 окт. 1870 г. за № 62), что он „признает за лучшее сделать следующее:

1) Причислить Чернышевского на поселение в Вилюйский округ Якутской Области и поселить его в самом Вилюйске, препроводив туда под строгим караулом, отдельно от других преступников.

¹⁾ Курсив мой. — М. Ч.

2) Поместить Чернышевского в здании ¹⁾, в котором жили два политических преступника, участвовавшие в польском восстании, и в виду того, что ему не дозволены будут стучки с места причисления, и в Вилуйске невозможно будет сыскать средств к существованию, назначить ему на содержание сумму сообразно с существующими ценами на предметы продовольствия ²⁾.

3) Предложить Якутскому губернатору иметь через местного исправника неослабный секретный надзор за Чернышевским в отношении предупреждения его побега и кроме того назначить из Якутских казаков двух благонадежных человек для постоянного бдительного надзора за Чернышевским, положив им сверх получаемого ими служебного довольствия добавочных по 100 р. в год каждому, затем независимо вышесказанного выдавать этим казакам некоторую награду по третям года, в случае исправного ими исполнения своих обязанностей.

Изложенные мною меры, не нарушая закона в отношении Чернышевского, дают надежду полагать, что, при точном исполнении их, побег для него будет невозможен или, по крайней мере, крайне затруднителен³⁾.

Эти предположения Корсакова были утверждены 22 декабря 1870 г. Комитетом министров „с тем, чтобы приведение оных в исполнение последовало лишь по прибытии генерал-губернатора в Иркутск под его главным надзором и по предварительном приведении им в известность действительной достаточности имеющихся в виду мер к устранению побега помянутого преступника, как при следовании его в Якутскую область, так и по водворении его на место поселения“.

Это положение Комитета министров было сообщено Корсакову 8 января 1871 г., но Корсаков вскоре получил новое назначение и в Иркутск уже не вернулся.

Дело о переводе Чернышевского и об „облегчении“ его положения затянулось. Безрезультатно проходили месяцы за месяцами, в течение которых Чернышевский продолжал томиться в неизвестности ожидавшей его участи и недоумевать о причинах неприменения к нему существовавших законов. Прошел весь 1870 год, прошел почти и весь следующий год, и только в конце 1871 года новый генерал-губернатор Синельников обратился к шефу жандармов с донесением, доложенным Александру II, о том, что он сделал распоряжение о переводе Чернышевского в Вилуйск в сопровождении жандармского штабс-капитана Зейфорта и о помещении его в Вилуйскую тюрьму под присмотр особо назначенных благонадежного жандармского унтер-офицера и двух урядников Якутского полка.

7 декабря 1871 г. Чернышевский выехал из Александровского завода и 11 января 1872 г. был сдан штабс-капитаном Зейфортом под вытантицию вилуйскому исправнику.

О подробностях проезда Чернышевского в Вилуйск имеется следующее донесение III Отделению начальника иркутского жандармского управления полковника Дувинга от 14 марта 1872 г. за № 70.

¹⁾ Т.-е. в тюрьме. — М. Ч.

²⁾ По прибытии в Вилуйск было назначено содержание в 17 р. 12 к. в месяц. М. Ч.

„Государственный преступник, Николай Чернышевский, комендантом Александровского завода, полковником Кноблах, был ему (Зейфарту) слан под квитанцию 7 декабря минувшего года и после тщательного осмотра вещей и обыска доставлен в г. Вилюйск, где и сдан 11 января вилюйскому окружному исправнику под квитанцию, которая штабс-капитаном Зейфартом представлена генерал-губернатору.

Чернышевский помещен в отведенном для него доме; в том же доме помещены в соседних комнатах: дополнительного штата вверенного мне управления унтер-офицер Ижевский и два урядника Якутского казачьего полка, Попов и Готилов. Здание, где помещен для жительства Чернышевский — бывший острог, теплое и довольно исправно содержано; во время пути Чернышевский был здоров, продолжительных остановок в дороге не было. Принадлежащие Чернышевскому деньги 50 рублей приняты им (Зейфартом) от полковника Кноблах и сданы исправнику, который выдал на руки Чернышевскому. В г. Вилюйске штабс-капитан Зейфарт находился около двух недель и в продолжение этого времени ежедневно посещал Чернышевского. Все время Чернышевский находился в крайне раздражительном состоянии, в день отъезда штабс-капитана Зейфарта обратно Чернышевский написал письмо к жене, которое передано в главное управление, копия же с оног при сем прилагается ¹⁾“.

Так были разбиты мечты Чернышевского об улучшении его участи, о возможности снова заняться литературным трудом и о возобновлении семейной жизни с горячо любимой подругой жизни. С 11 января 1872 г. начался новый период сибирской жизни Чернышевского — Вилюйский, еще гораздо более тяжелый, чем прежний, и продолжался уже не семь лет, а почти двенадцать, вплоть до разрешения в 1883 г. переезда в Астрахань.

II.

Н. Г. Чернышевский в Вилюйске.

Что должен был чувствовать, что должен был пережить Чернышевский, когда узнал, наконец, после долгого, томительного ожидания, куда его переводят из Александровского завода? И переводят спустя уже полтора года после окончания срока и под видом „облегчения“ его участи. Это был громадный удар, разразившийся над его головой среди ясного неба и ошеломивший его своею полнейшею для него неожиданностью. Не зная за собой никаких „новых“ проступков, Чернышевский терлся в догадках о причинах, которые могли бы вызвать такое жестокое усиление его наказания. Сначала он пытался объяснить себе все это каким-нибудь недоразумением и только через несколько месяцев, когда понемногу освоился с своим положением в Вилюйске и вник

¹⁾ Опубликовано в I выпуске Сибирской переписки Чернышевского. — М. Ч.

в условия обстановки своей жизни в тюрьме, под замком и под надзором грубого жандарма Ижевского, он понял, что сделался жертвой произвола III Отделения. Мог ли он остаться хладнокровным и не быть в состоянии „крайнего раздражения“, как свидетельствуют о том жандармские донесения того времени? Но он хотел добиться признания этого произвола со стороны охранявших его лиц и требовал от них предъявления ему письменного распоряжения, на основании которого он посажен в тюрьму. Требование его, конечно, не было исполнено. Тогда он демонстративно сделал вид, что хочет взломать замок у входной двери. Такие „неблаговидные“ поступки были сочтены началом за проявление умопомешательства, и в Петербург полетели немедленно соответственные донесения.

2 сентября 1872 г. граф Шувалов получил от штабс-капитана Зейфарта из Иркутска следующую телеграмму:

„Доносит унтер-офицер Ижевский, что Николай Чернышевский будто бы подвергнулся умопомешательству. Подробности почтой отправлены вашему сиятельству“.

4 октября того же года были получены по почте и подробности:

„В дополнение к телеграмме моей от настоящего 1 сентября имею почтительнейше доложить вашему сиятельству о том, что находящийся на поселении в Якутской области, в окружном городе Вилюйске, и проживающий в имеющемся доме для помещения государственных преступников ¹⁾, под особенным секретным наблюдением двух урядников и вверенного мне ныне управления дополнительного штата унтер-офицера Ижевского государственный преступник Николай Чернышевский, как от 20 июля сего года доносит унтер-офицер Ижевский в рапорте своем, что с некоторого времени Николай Чернышевский при разговоре с ним выражает какие-то непонятные слова, и в это время весь сам трясется, как будто бы подвергнувшись полному умопомешательству; так, например:

1) Николай Чернышевский говорит, что ему зарезать человека ничего не значит и это послужит к его же оправданию.

2) Чернышевский ныне стал сопротивляться тому, чтобы дом, в котором он помещен, был заперт на замок в ночное время, что обязаны исполнять дежурные урядники, находящиеся для наблюдений за Чернышевским, и вынуждает жандармского унтер-офицера Ижевского показать ему письменное приказание, на основании которого дом запирается на ночь.

3) Чернышевский говорил находящимся при нем урядникам, чтобы наблюдавший за ним унтер-офицер Ижевский делал ему, Чернышевскому, при встрече, как начальнику, фронт или отходил от него в сторону.

4) Вообще ныне замечает наблюдавший за государственным преступником Чернышевским жандармский унтер-офицер Ижевский, что Чернышевский желает быть каким-то начальником и желает, чтобы все ему повиновались.

¹⁾ Курсив мой. — Короче было бы сказать „в тюрьме“, но почему-то оказалось неловким употребить это слово. — М. Ч.

5) Во время прогулок Чернышевский не ходит по прямой дороге, а кидается во все стороны, как умпомешанный.

6) Особенную злобу Чернышевский имеет на окружного вилуйского исправника Амосова и на вверенного ныне мне управления дополнительного штата унтер-офицера Ижевского.

7) Чернышевский говорит, что ему все местное начальство в г. Вилуйске нипочем и что кроме генерал-губернатора Восточной Сибири никто ничего не может сделать; так что однажды, несмотря на проживающих с ним в вышепоименованном доме двух урядников и жандармского унтер-офицера, он, Чернышевский, 15 истекшего июля сего года в 5 часов утра стал ломать у входных дверей замок железными щипцами и при этом кричал на бывших при нем урядников, как они смели запереть на ночь выходную дверь и кто осмелился приказать им это сделать, произнося при этом, что не приехал ли сюда государь, или министр, или генерал-губернатор, что урядники смеются запереть дверь во время ночи.

Между тем до настоящего времени государственный преступник Николай Чернышевский, как мне известно из получавшихся с каждою почтою из г. Вилуйска донесений от унтер-офицера Ижевского, вел себя чрезвычайно покойно и никаких подобных поступков не делал, также и в разговоре его с Ижевским каких-либо болезненных умозаключений не проявлялось.

О чем вашему сиятельству обязанностью считаю почтительнейше довести, за отсутствием начальника вверенного мне ныне управления

адъютант штабс-капитан Зейфарт*.

Одновременно якутский исправник донес об умпомешательстве Чернышевского якутскому губернатору, а тот в свою очередь тотчас же поспешил уведомить о том генерал-губернатора Восточной Сибири письмом от 4 августа 1872 г. за № 44, которое канчивалось следующими словами:

„По поводу вышеизложенных неприличных поступков государственного преступника Николая Чернышевского я вместе с сим подтвердил окружному исправнику Амосову, согласно инструкции вашего выс. копревосходительства о Чернышевском, принять зависящие меры, чтобы приставленные к нему лица обходились с Чернышевским как только возможно кротко и вежливо и чтобы жандармский унтер-офицер Ижевский, живя с ним в одном доме, сопровождал его незаметным образом в прогулках и при отлучках из дома, чтобы не раздражать Чернышевского и не придавать ему вида арестанта, а урядникам поставить в обязанность исполнять поручения Чернышевского, если они не будут заключать ничего в себе противозаконного, и чтобы дом, в котором помещается Чернышевский, в продолжение ночи был заперт; причем поставил г. Амосову в непременную обязанность, чтобы в случае явного сопротивления и непослушания Чернышевского употреблять законные меры для приведения его к повиновению, действуя в сем случае благообразно“.

На основании такого письма председательствующий в совете главного управления Восточной Сибири, генерал-майор Дитмар также счел своим долгом

уведомить шефа жандармов, что Чернышевский „с некоторого времени приходит в дикое иступление ума“ и прибавляет:

..., по поводу побега из г. Иркутска состоявшего под надзором полиции коллежского секретаря Германа Лопатина, который обвинялся в проживании в Иркутске под именем Любавина и подозревался в намерении освободить из ссылки преступника Чернышевского, мною командирован в Якутскую область и в Вилюйск адъютант командующего войсками восточно-сибирского военного округа штабс-ротмистр князь Голицын, как для проверки надзора за находящимися там государственными и политическими преступниками, так и для секретных дознаний: не имеет ли побег Лопатина действительной цели к освобождению Чернышевского или вообще какой-нибудь связи с находящимися там преступниками, и, вместе с тем, предложил исправляющему должность якутского губернатора о принятии мер к устранению всякой возможности к побегу Чернышевского и о неупустительном за преступниками надзоре“.

Конечно, ни о каком „умопомешательстве“ не могло быть и речи: содержание и характер писем Чернышевского этого периода устраняют всякую мысль о том. Но для простых казаков и жандарма, привыкших смотреть на всякого „преступника“, как на низшее существо, обязанное лишь повиноваться всякому распоряжению начальства, для таких людей поведение Чернышевского действительно могло представляться ненормальным. Они не могли понять, что Чернышевский демонстративно выказывал свою напускную свирепость, желая обратить на себя внимание высшего начальства и побудить его яснее высказать свое отношение к нему. Цель его была достигнута — по крайней мере в том отношении, что через несколько месяцев ему стало уже вполне ясно, что все принятые меры для стеснения его жизни исходили не от местных властей. Он понял, что все его мечты разбиты и что его очевидно решили сгноить в Вилюйске.

Далекий от всякой мысли о побеге, Чернышевский затаил в сердце горькую обиду и с гордым сознанием всей жестокости административного произвола заявлял в своих письмах несколько лет спустя, что он уедет из Вилюйска лишь тем же способом, каким был туда доставлен.

А предержавшие власти, с своей стороны, были уверены в том, что Чернышевский мечтает о побеге, и потому старались возможно тщательнее изолировать его от сношения с внешним миром и в особенности от свидания с людьми „неблагонадежными“. Так, напр., в донесении начальника Иркутского жандармского управления полковника Дувинга (18 окт. 1873, № 248) упоминается о том, что „жандармский унтер-офицер Ижевский, в апреле месяце сего года (1872) при проезде через г. Вилюйск государственных преступников Николаева и Шаганова препятствовал Чернышевскому свиданию, и с этого времени Чернышевский выказывает ненависть к Ижевскому, а в последнее время Чернышевский живет спокойно, и здоровье его находится в удовлетворительном состоянии“.

Хотя Чернышевский сам и не думал о побеге, но попытки к его освобождению не прекращались. Кроме общеизвестных попыток Лопатина и

Мышкина, обращает на себя внимание, между прочим, попытка, о которой говорилось в следующем анонимном письме, полученном генерал-губернатором Восточной Сибири Сивельниковым в конце 1873 г.

„Ваше превосходительство,
милостивый государь,
Николай Петрович.

Хотя письмо это без подписи, но по самому своему содержанию не может быть отнесено к разряду анонимных пасквилей, и прошу заметить, что все в нем заключающееся есть сущая правда, которая не замедлит подтвердиться фактами. Желание скрыть свое имя обуславливается надеждою, что по обстоятельствам дела я останусь незамеченным и таким образом сохраню себя от опасности со стороны некоторых людей. Вот в чем дело. Содержащийся в г. Виллюйске преступник Чернышевский своей плачевною судьбою давно возбуждал сочувствие в русской эмиграционной молодежи за-границей и, в особенности, в среде членов Интернационального Общества рабочих и главы их Карла Маркса, который считает Чернышевского одним из талантливейших представителей политической экономии. Мысль освободить Чернышевского постоянно находила себе горячих поклонников между людьми этой корпорации. Известный Нечаев в бытность свою в Швейцарии делал отважные предложения в этом смысле, но его проекты, как человека слишком экзальтированного, не были приняты, и решили действовать путем медленным, но зато более верным. Устроить это дело взяли на себя эмигранты Утин и Бакунин, получивши на расходы по предприятию 12 тысяч рублей главным образом из кассы Общества рабочих. Симпатизируя Чернышевскому, как человеку и страдальцу, я примкнул к этому триумвирату тем с большею охотою, что верил в авторитеты Бакунина и Утина тогда, но теперь — как горько разочаровался я в них! Выработав на месте проект будущих наших действий, мы запаслись фальшивыми паспортами, приехали в Петербург и через многочисленных друзей наших достали крестьянские виды и другие необходимые документы и вещи, с которыми и пустились в путь. С помощью Бакунина, знавшего хорошо сибирские порядки и местность, мы благополучно добрались до Красноярска, где получили от жены Бакунина радостное известие о том, что Лопатин бежал снова и ждет нас в Виллюйске. После долгих странствований, частью пешком, частью на вольных лошадях, мы добрались, наконец, до Виллюйска. Лопатин уже приготовил нам помещение в конце города, в доме мещанки Поповой. С Чернышевским мы имели постоянные сношения посредством микроскопических шифрованных денеш, которые оставляли ночью в известном месте, и во время прогулок Чернышевский их подымал незаметно от сопровождавшего его жандарма. Долго Чернышевский не соглашался с нашим планом, но наконец уступил. Вот этот план. Когда установится санный путь и не ранее конца января, зажечь город с четырех концов и, воспользовавшись общей суматохой, вывести Чернышевского на приготовленной тройке и скрыть его в лесу, где приготовлена землянка и все нужное съестное на

три месяца. Когда поиски прекратятся — тогда провезти его по имеющейся казенной полорожной на имя офицера Гладкина. Для приведения в исполнение этого плана у них имеется запас воспламеняющегося химического состава, шесть револьверов, склянки с разными ядами, фальшивые паспорта, дорожные и пр. Все это хранится в их комнате под половицей, прилегающей к окнам на улицу. Хотя путь действий довольно верно рассчитан, но, порассудив свое положение и будущую ответственность в случае неудачи, — я решился отделаться как-нибудь от заговорщиков и скоро нашел предлог. Нужно было кому-нибудь ехать в Иркутск, чтобы следить за действиями одного сообщника, на которого не полагались, и в случае подозрительных действий уведомить их о том. Я взял на себя эту обязанность и решил, воспользовавшись этим, удалиться скорей из Сибири. Я расстался с ними потому, что видел их недобросовестные действия, особенно Бакунина, который преследовал в этом деле свои цели и главным образом свиданье с женою. Кроме того, он недобросовестно распоряжался деньгами.

Вот откровенное, в общих чертах, изложение всего дела. Если как-нибудь мое участие будет открыто в этом деле, я льщу себя надеждой, что в вас я найду защитника, так как это письмо будет служить достаточным фактом моего раскаяния в прежних заблуждениях.

Еще должен вам сказать, что если хотите удачнее и с полным успехом захватить заговорщиков, то не доверяйтесь местным властям г. Виллюйска и ничего не делайте на бумаге, а лучше пошлите туда секретно такое лицо, которого бы никто не знал из тамошних чиновников. Только таким путем можно достигнуть желаемого результата. Не старайтесь делать какие-нибудь розыски по этому письму. Меня вы не найдете, ибо, когда будете читать это письмо, я буду уже вне Иркутска, — а делу повредить можете сильно, так как в городе есть лица, которые могут их уведомить — и тогда все труды будут напрасны.

Обо всем этом деле я написал графу Шувалову¹⁾. Может быть, в Петербурге я и открою свою фамилию, если все заговорщики будут захвачены, тогда могу рассчитывать на милосердие государя императора.

На основании этого письма Синельниковым была послана 10 декабря 1873 г. шефу жандармов следующая телеграмма:

„Очень секретно. Я получил известие без подписи, что Бакунин, Утин, через Петербург и Красноярск прибыли в Виллюйск, где и Лопатин, для освобождения Чернышевского. Хотят в конце января зажечь город и его отвезти в землянку и через три месяца увезти за границу. Подорожная, паспорта, яды, револьверы у них есть. Полагаю послать полковника Купенкова с адъютантом, жандармами и всеми для успеха дела. Издержки дойдут до пяти тысяч, прошу сколько можно скорее телеграфировать, можно ли верить

¹⁾ На подлинном письме пометка карандашом: „Не получено. 8 марта.“ — *Мих. Чернышевский.*

известию о Бакуanine и Утине по соображениям III Отделения и разрешения на отправление означенных лиц".

На другой же день была получена ответная телеграмма!

„Сведения о Чернышевском едва ли основательные — удостоверюсь, были ли Бакунин, Утин из Швейцарии. Пока достаточно усугубить надзор, не принимая мер, сопряженных с значительными расходами“.

Немедленно были наведены справки в Швейцарии, и в 4 января 1874 г. выяснилось, что „по полученным из Цюриха сведениям государственному преступнику Чернышевскому в Сибири предложены были средства к побегу из России за границу, но он, ссылаясь на слабость своего здоровья, пока еще не принял этого предложения“.

Получив такие ответы, Синельников 10 января снова телеграфирует графу Шувалову:

„Полагая в Вилюйске поймать Лопатина и кого-либо из соучастников, 12 декабря командировал полковника Купенкова по устройству золотых промыслов, без особых издержек“.

9 марта 1874 г. в III Отделении было получено следующее донесение полковника Купенкова по его служебной командировке в Вилюйск, а также акт обыска в помещении государственного преступника Чернышевского за № 114.

А Б Т.

1873 года декабря 30 дня, состоящий в распоряжении г. генерал-губернатора Восточной Сибири полковник Купенков, в присутствии исправляющего должность вилюйского окружного исправника Жиркова и унтер-офицеров дополнительного штата Иркутского губернского жандармского управления Мошкова, Максимова и Черкашина, производил в помещении государственного преступника Николая Чернышевского, находящемся в г. Вилюйске, Якутской области, обыск. По тщательному обыску, начатому в 10 ч. утра и оконченному в 4 ч. пополудни, оказалось следующее: комната, в которой проживает Чернышевский, находится в здании, устроенном для помещения важных государственных преступников, она имеет около 3½ саж. в длину и ширину и 4½ арш. высоты; в ней два окна, выходящих во двор, обнесенный палями, окна снабжены железными решетками и двойными рамами, из коих в зимних стеклах в два ряда; печь голландская с топкою из соседней комнаты; в наружной стене устроен вентилятор; мебель комнаты составляли: большой деревянный сундук и несколько столов и кроватей, оставшихся, вероятно, в ней от ранее содержавшихся здесь преступников; температура около 10° по Реомюру при морозе 38°; вообще, как в этой комнате, так и во всем здании достаточно светло, воздух чист, сух, и оно вполне удовлетворяет санитарным требованиям. Кроме необходимых одежных вещей и для хозяйства у Чернышевского в комнате найдены чай, сахар, табак, письменные принадлежности и разные книги научного содержания и периодические издания. При рассмотрении бумаг Чернышевского, между письмами жены его найдено триста десять рублей, каковые отобраны и переданы на хранение местному исправ-

нику под особую расписку. Бумаги, писанные рукою Чернышевского, по краткости времени и неразборчивости его почерка, при обыске не прочтены, а в числе двенадцати отрывков отобраны и припечатаны. Затем ничего подозрительного не обнаружено. В удостоверение вышеизложенного составлен настоящий акт за подписом моим и лиц, находившихся при обыске.

Обыск производил полковник Купенков.

Следуют подписи.

Далее следует рапорт полковника Купенкова генерал-губернатору Восточной Сибири:

„В ночь на 13 декабря м. г. (1873), выехав из Иркутска в Якутскую область для исполнения возложенных на меня вашим высокопревосходительством поручений, я распорядился, проездом через Усть-Кутское селение, г. Киренск, село Витимское и города Олекминск и Якутск, снабдить местных полицейских чиновников фотографическими карточками бежавшего из Иркутска коллежского секретаря Лопатина и предупредить их о задержании как его, так и всякого лица, проезжающего на почтовых лошадях или другим способом под фамилиею Гладкина, а равно внушающих к себе подозрения.

Ночью 29 декабря прибыв к последней перед Вилюйском почтовой юрте и в ожидании рассвета собирал необходимые справки относительно дома, в котором следовало произвести обыск, я узнал, что дома, принадлежащего мещанке Поповой, в Вилюйске нет, но есть 5 домов, принадлежащих казакам Поповым, один казачке Екатерине Поповой и один причетнику Попову. Осмотрев прежде всего те из них, которые находятся в недалеком от тюрьмы расстоянии, и не найдя ничего подозрительного, я направился в тюрьму. Тюрьму я нашел запертой и приставленный надзор налицо. При входе в комнату Чернышевского внимание мое было обращено на беспорядок и крайнюю неряшливость всей обстановки, поддерживаемые им вопреки стараниям к противоположному наблюдающего за ним жандармского унтер-офицера, который доложил мне, что Чернышевский всегда протестует против уборки на том основании, что от сырости после нее у него всегда болит голова; разбросанность же в вещах, как постоянно отзывался Чернышевский, ему более по вкусу.

Встретив меня в разорванном халате и в грязном белье, Чернышевский спросил, чем он обязан моему посещению и что привез я ему, облегчение или отягощение его положения. Ответив, что и то и другое будет зависеть от него, я после непродолжительного разговора указал, что те, которые считают себя его друзьями, вредят ему, делая попытки к освобождению его из Сибири, и, подобным образом действий, не только отнимают у правительства возможность облегчить его положение, но, напротив, вынуждают его принимать более строгие меры к содержанию.

На это Чернышевский ответил: „Я их друзьями не считаю и никогда никого об этом не просил и узнал только из газет, читая процесс Нечаева. Согласитесь, что вы никогда не забудете фамилий Пушкина, Гоголя и

Лермонтова, так современная молодежь будет помнить мою фамилию, хотя я этого не ищу, потому что я также передовой человек в русской литературе. Если те идеи, которые я проводил 10 лет тому назад, признаны преступными, то за них я потерпел довольно, подчиняясь суду, и не знаю, за что, после истечения срока каторги, отягчают мою участь содержанием здесь и воспрещением печатать мои сочинения. Это единственный источник моей семьи, которую я обязан поддерживать своим трудом. Другого труда, кроме литературного, я не знаю, — стало быть, этим запрещением мне наносится денежный убыток, по крайней мере в 10 тысяч рублей в год, и я вместо того, чтобы помогать семье, должен брать от нее последние средства для своего содержания“.

Я отвечал, что в числе многосложных обязанностей, лежащих на администрации, предупреждение преступлений составляет почти первую заботу, и если он согласился с решением суда, что идеи, которые он распространял в печати, преступны и вредны для общественного спокойствия, то из этого само собою следует, что правительство не может допустить его дальнейшей литературной деятельности. Что же касается до особых мер, принятых к пресечению ему побега из Сибири, то из процесса Нечаева ему должно быть известно, вследствие каких причин эти меры приняты и кем они вызваны.

Далее, в разговоре на последнюю тему, Чернышевский высказал, что, если бы ему предложили бежать, то он не согласится на это из простого благоразумия, ибо скрываться не умеет и не желает замерзнуть или утонуть в окрестностях Виллюйска; но разумеется, если бы ему предстояла возможность уехать из места ссылки с теми же удобствами, с какими он был доставлен, то он не прочь воспользоваться услугой. — „Я боюсь холода и физических усилий, и натура моя не может переносить их; человеку и с ненадорванными силами подобный дальний путь тяжел, а для меня и после дороги с удобствами потребовалось более недели на отдых, в продолжение которой я не вставал с постели. Да я еще надеюсь, что меня правительство возвратит из ссылки само, оно еще будет во мне нуждаться“.

Заявление мое о намерении произвести обыск в его помещении Чернышевский принял совершенно спокойно. После обыска, Чернышевский сказал, что охотно напечатал бы в газетах своим доброжелателям не делать к освобождению его никаких попыток, и, если я верю его честному слову, то он дает его в том, что помимо распоряжения начальства из Виллюйска не уедет.

При втором моем посещении Чернышевский сказал, что время он проводит в чтении и письме, излагая на бумаге сюжеты своих литературных трудов, и когда они укрепятся в его памяти, то уничтожает их. Сначала он написал до 15 романов, а теперь пишет очерки из всеобщей истории человечества. Относительно своих личных наблюдений над Чернышевским и его обстановкой, имею честь донести, что состояние здоровья его удовлетворительно, хотя от постоянно сидячей жизни он похудел и пожелтел против того, каков был в Нерчинских заводах. На ненормальное биение сердца не жалуется и вообще к медицинской помощи не прибегает. Обрядов православной церкви не соблюдает, в церковь не ходит. В пище воздержан,

вина и водки никогда не употребляет. Ложится спать обыкновенно во 2-м или 3-м часу и встает около полдня. Денег от казны для содержания получает достаточно (17 р. 12 к. в месяц). В собственных деньгах, получаемых от жены, крайне расчетлив и даже скуп, из числа высланных ему в минувшем году 450 руб. им израсходовано за год 150 руб. Экцентричен, странный и необщителен с людьми, вследствие чего Вилюйские жители считают его полупомешанным, но по суждениям с ним этого вывести нельзя, хотя иногда он как будто бы заговаривается и высказывает очень высокое о себе мнение. К приставленному надзору кроток и вежлив.

Ко всему вышеизложенному долгом считаю присовокупить, что по моему побег Чернышевского из Вилюйска почти немислим, благодаря географическому положению этого города, его климатическим условиям и редко населенным инородцами окрестностям.

Какой бы путь для побега он ни избрал, т.-е. через Приморскую область или по р. Лене, тот и другой одинаково затруднителен и не представляют возможности скрываться долго человеку, не знающему Якутского языка и привыкшему к употреблению хлеба.

Полковник Купенков.

80 января 1874 г. № 89. Иркутск.

И вот в таких-то условиях Чернышевскому пришлось прожить в Вилюйске 12 лет, вплоть до возвращения в 1888 г. в Россию. Жизнь была еще раз надломлена и продолжала ломаться, но остановиться писать Чернышевский не мог, хотя и сжигал большинство написанного. Все-таки кое-что и уцелело, и уцелело благодаря — какал ирония судьбы! — все тому же III Отделению, которое так бережно хранило рукописи Чернышевского, не доставлявшие по назначению. Сохранилась, напр., большая пачка сибирских писем, задержанных лишь потому, что они (по отзыву Якутского губернатора) „хотя и не заключают в себе ничего предосудительного, но представляют собою уже труд самостоятельный, вполне годный для печати“.

Надо надеяться, что уже не так далеко то время, когда и эти письма, а также и другие многочисленные новые рукописи Чернышевского, только что извлеченные из тайников III Отделения, будут опубликованы и прольют несколько новых лучей на литературную деятельность этого замечательного мыслителя-писателя и человека.

Мих. Чернышевский.

Конст. Маковский на процессе 1 марта 1881 года.

1-е марта 1881 года застало Константина Маковского в период его самого искреннего увлечения Александром II.



Желябов.

Осенью 1880 г., царь — только что женившийся на кн. Долгорукой — пригласил Маковского в Крым писать портреты детей и молодой жены. Государь производил впечатление счастливого семьянина и веселого, приветливого хозяина дома. Он неизменно присутствовал на всех сеансах, шутил с детьми и беседовал с художником. Из свиты он почти никого не имел близких себе людей, говорил Маковскому, что многие придворные недовольны

его женитьбой, происшедшей слишком скоро после смерти императрицы. Говорил о детстве и юности сына Саши (Александра III), не предназначавшегося для престола, рассказывал о таких интимных подробностях, о каких в другом настроении и под другим, не-ливадийским небом, конечно, никогда не рассказал бы. Но не забывал прибавлять:

— Ты только никому не рассказывай этого.

Вся осень у Маковского прошла в работе в Ливади, а зима в окончании царских заказов, в постоянном общении с дворцом. Понятно, что 1-е марта не могло не потрясти его. Он был глубоко опечален и еще глубже возмущен.

Когда начался процесс первомагтовцев, он выхлопотал входной билет, бросил работу и каждый день шел в суд; брал с собой карманный альбом и зарисовывал карандашом участников процесса.

Некоторые из этих рисунков мы приводим здесь ¹⁾. В них великая тайна художественного творчества. Маковский шел в суд, преисполненный чувством негодования против „злодеев“ и, конечно, весь на стороне „благородных“ судей. А на бумаге получилось совсем иное: беспощадное изображение старых, отживших сановников, хищный прокурор, неумолимый жандарм, красавец со стеклянными глазами, — с одной стороны и простой, русский человек — с другой.

Особенно захватил его Желябов — и не столько внешним обликом, сколько сложной своей психикой. Маковский говорил о нем, старался понять его и не мог стряхнуть с себя его обаяния. На словах он называл его „злодеем“, считая, что он был главным руководителем события первого марта, а на рисунках у него Желябов не злодей, а герой. Из нескольких набросков видно, как мучило его это лицо, как он чего-то искал в нем. Он рисовал его и в профиль, и en face; проходил дома пером; всё время возвращался к нему. И рядом с этим портреты сановников (всё — хорошие знакомые Маковского) вышли у него до жути символичны. Никакой преднамеренности тут заподозрить нельзя. Маковский рисовал с натуры, как птица поет. И тут он дал только то, что властно требовала от него правда, особая правда художника. Когда же захотел с этих набросков с натуры скомпоновать у себя в мастерской картину „Злодеяние 1-го Марта“ — у него ничего не вышло. Получился непреодолимый разлад.

И он отдал этот альбом и уже никогда не возвращался к тому, что так волновало его. Альбом хранится в настоящее время в Музее революции.

Ев. Л.

¹⁾ См. стр. 53, 55, 57, 59, 61.

Из воспоминаний о казни 3-го апреля 1881 года.

Прочитав в журнале „Былое“ в пятнадцатой книжке 1920 г. заметку В. К. „Несколько слов о казни цареубийц 3-го апреля 1881 г.“ по поводу



Жалбов.

напечатанного официального отчета о названной казни в книжках 10 и 11-го же журнала, я хочу воспользоваться предложением и тоже поделиться своими воспоминаниями, сохранившимися в памяти об этой последней публичной казни в Петербурге.

Не знаю, сожалеть или считать себя крайне счастливым человеком, что могу и себя назвать свидетелем этой гнусной расправы перед лицом народа самодержавного правительства с революционерами. Думаю, что не многим погрешу, если скажу, что эта расправа, потрясая мои нервы до галлюцинаций, хотя и стоила мне дорого в смысле здоровья на долгие годы, но зато она дала мне великое счастье пробуждения, она натолкнула мою мысль на революционную стезю, научила глубоко ненавидеть и сделала меня революционером, до сих пор глубоко уважающим память и заветы „Народной Воли“.

С 3-го апреля 1881 г. прошло 42 года, а мне кажется, что это было так недавно, ибо все детали этой казни, лица так свежи в моей памяти и вся обстановка так характерно и живо встает передо мною при одном воспоминании об этом дне, что не хочется верить в расстояние, отделяющее меня от того дня, в который я, четырнадцатилетний мальчик, стал свидетелем наигнуснейшего акта, который может совершить человек над человеком.

Утро 3-го апреля было как-то особенно хорошо и предвещало теплый и радостный весенний день. Сколотый с мостовых грязный лед горами громоздился около тротуаров, и первый шум колес, как далекий гром, грохотал над просыпающейся столицей. На душе было и легко и весело... наступила весна, наступали и пасхальные каникулы. 8-го апреля была пятницей, если не ошибаюсь, на вербной неделе.

Как всегда, в это утро я с братом в начале девятого часа вышли с сумками за спиной в училище. Жили мы с родителями тогда в Графском переулке и, пройдя Троицкую улицу, на углу Невского просп. заметили на стене дома только что наклеенное объявление, около которого стояла куча людей: городовик, дворники, служанки с молочницами, ученики и т. д. Кто-то громко читал и пояснял... Мы тоже подошли и тоже стали читать. Объявление, если не изменяет мне память, от градоначальника извещало население Петербурга, что сего 3-го апреля в 9 ч. утра на Семеновском плацу имеет быть приведен публично в исполнение смертный приговор через повешение над государственными преступниками: Желябовым, Перовской, Кибальчичем, Рысаковым, Михайловым и Гельфман. Текст объявления передаю приблизительно.

Читавшая публика сильно реагировала на объявление: кто вздыхал, кто брыл имена осужденных самыми отборными словами, а кто обсуждал наиболее удобный маршрут до Семеновского плаца.

Мы тоже стали обсуждать и решать, казнь ли предпочесть училищу, или училище казни. Перевес остался за казнью, и мы, догоняя только что ушедших двух лабазников, весело побрели за ними, мало думая о завтрашнем дне. Добежав до Литейного пр., брат мой передумал и вернулся в училище, а я, продолжая путь, шел по следам своих проводников. Свернув на Николаевскую ул., я заметил на довольно далеком расстоянии от себя черную, густую толпу, над которой возвышались головы всадников. Вся Николаевская ул. буквально кипела народом: на всех балконах была публика и многие, вооруженные биноклями, лорнировали удалявшуюся процессию. То же самое было видно и в окнах.

Оживление, отразившееся даже и на соседних улицах, было неописуемое и самый многолюдный в те времена крестный ход в Александро-Невскую лавру далеко уступал этому движению. На панелях стояли группы людей,



Желябов.



Перовск.

Кибальнич.

ошеломленные только что виденной картиной, и делились своими впечатлениями. Слушать их я не мог, боясь потерять своих проводников.

Так как по Николаевской ул. опередить процессию было делом невозможным, то мои проводники свернули в какую-то улицу налево, и по ней мы бежали, шлепая по грязи, пока не вышли на Звенигородскую к месту впадения в нее Николаевской. Здесь через узкую воронку, между казарменных построек, шла дорога-проезд на Семеновский плац.

Семеновский плац в то старое время представлял собою обширное дикое поле, на котором учили солдат, объезжали лошадей и гуляли с полковыми „дамами“ солдаты. Границами его были: казармы б. Семеновского полка, забор, ограждавший территорию Царскосельского вокзала, казармы какой-то артиллерийской части и Обводный канал. Все нынешние постройки и тип в те далекие времена не существовали.

На Звенигородской толпа была не велика, и я занял позицию за спинами городовиков, стоявших здесь довольно тесно. Сумка мне мешала не столько своей тяжестью, сколько тем, что выдавала меня и мое предназначение быть в это время в классе. Все сердито толкали меня, посылая в класс, где якобы „ждет меня учитель и будет мне завтра рвать уши за прогул“. Я молчал и терпел, но уходить не собирался, желая во что бы то ни стало увидеть лица „преступников“.

Но вот стали появляться первые признаки приближения кортежа: это перебежчики, желавшие попасть на Семеновский плац. Шедшая впереди толпа все густела, превратившись в целый поток, лавину; и набежавшая волна, достигнув Звенигородской ул., смела меня, как щепку, и затиснула около казарм. Я мог видеть только кавалеристов, целый лес штыков и до пояса осужденных. Все, что было ниже человеческого роста, было скрыто стоявшими передо мною людьми.

Однако, я считал себя вполне удовлетворенным. Мне хотелось видеть не казнь, которой я боялся, но лица людей, убивших царя, которого я, по семейным традициям, должен был и уважать и любить, а теперь оплакивать.

Мы, дети, знали, конечно, все дело первомартовцев из газет и видели, как горько плакали родители, читая газеты о кончине царя. За процессом мы следили по газетам и, вторя старшим, тоже ругали, как умели, царевичей, хотя в душе и радовались, что 1-ое марта нам, в виде бенефиса, дало несколько лишних праздников (училища были закрыты 2-го, 6 и 15 марта)¹⁾. Слыша дома самые нелепые версии о царевичах и о их целях, в которых была даже и такая, как попытка ограбления царя, я, естественно, хотел видеть в них закоренелых преступников и разбойников. Мне казалось, что лица их должны быть свирепыми, глаза налиты кровью и что для таких злодеев одной смерти слишком мало.

Таким я пришел на Звенигородскую, да и не только я, а я уверен, что 99%.... Ждать пришлось не долго... Застучали колеса колесницы, и я увидел на вершине ее сидящих спиной кучеру двух осужденных. Руки были завязаны на спине и одеты они были в черные арестантские платья и в бескозырки. На груди их висели черные доски с надписью белыми буквами (прочсть не успел). На первой колеснице оба сидели молча и рассматривали толпу, вовсе не производя впечатления, что их ждет так близко виселица. За первой колесницей в 10 — 15 шагах следовала вторая, на которой

¹⁾ 2-го марта по случаю восшествия на престол Александра III, 6-го по случаю перевоза тела в Петропавловскую крепость, 15 по случаю похорон.

сидело трое: с левой стороны человек с большим лбом, большой бородой (Желябов), посредине маленькая фигурка (Перовская) и с края еще один (кажется, Рысаков). Желябов с Перовской что-то говорили и улыбались. Человек слева был задумчив и смотрел вдаль совершенно безучастно.



Желябов.



Рысаков.

Я впился в лица осужденных, несколько не интересуясь всем остальным. Еще при проезде первой колесницы, взглянув на осужденных, я был больше, нежели поражен. Мне казалось, что мои глаза встретились с глазами Кибальчича, и в этих глазах я прочел и ласку, и нежность, и любовь, и всепрощение, и ум, глубокий ум и бесконечную доброту. Его добродушнейшее лицо,

бледное, утомленное, полное спокойной гордости и готовности принять из рук палачей любую казнь, в буквальном смысле слова поразило меня. То же самое прочел я и на остальных лицах. Особенно добрым и нежным лицом мне показалось лицо Перовской, и эти черты лица остались мне милыми на всю жизнь. Меня душили слезы... То же было и с некоторыми из толпы, среди которой слышались охания и восклицания „какие молодые!“ „какие хорошие лица и такое преступление!“ и т. д. Видно было, что не только я ошибался в своих фантазиях, но и большинство, и теперь, видя на колеснице перед собою славные лица осужденных — глубоко сожалели их и недоумевали, что побудило их на „преступление“. Не нужно забывать, что в те времена обывательская масса, действительно, ничего не понимала и пропаганда в эту среду не проникала.

Итти дальше, видеть казнь, мучение этих людей я не мог, и мне хотелось вырваться из толпы, бежать, где нет свидетелей, и плакать. Однако все пути отступления были мне отрезаны, и человеческая лавина понесла меня на Семеновское поле, где мимо казарм, минуя плац, я очутился наконец на дебаркадере Царскосельского вокзала, прижатый к столбу, за который крепко держался.

Когда я взглянул на плац, моим глазам представилась следующая картина: бесконечное море голов, перед которыми стояли ряды солдат с ружьями и штыками. От них, на расстоянии 10—15 сажен возвышался грозный эшафот, имевший форму четырехугольной площадки около 1—2 сажени и поднятый на 1½—2 ярш. от земли. Через всю площадку была переброшена перекладина, поддерживаемая двумя бревнами. В перекладину были ввинчены шесть железных колец и через них пропущены в палец толщиной веревки, кончавшиеся подвижными петлями. Эшафот был покрашен в черную краску, что придавало ему еще более ужасное впечатление. За эшафотом были сложены гробы... В 10—15 шагах перед эшафотом стояла группа людей, — это были представители власти, благородные свидетели правосудия, вынесшие смертную присуду, корреспонденты газет и поп в черном облачении. Эшафот, являясь центральной фигурой в окруженном войском каре, за которым стояла стеной толпа, был обращен лицом на восток. Любопытные гнездились всюду, где только была возможность: столбы фонарей были буквально облеплены, люди были во всех окнах казарм, на крышах и даже на каланче Московской пожарной части. По всем соседним улицам патрулировали конные разъезды. Чего боялись палачи? Неужели они допускали мысль, что народ, темный тогдашний простолюдин, пойдет отбивать из их рук добычу?

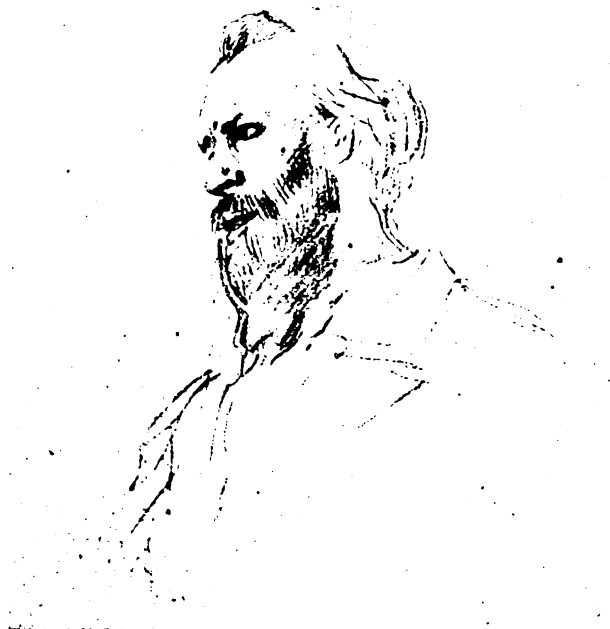
В этот момент палач Фролов и несколько человек его помощников были на эшафоте и готовили орудия казни. Сам Фролов, одетый в новую красную кумачевую рубашку и широкие черные штаны, заправленные в сапоги, представлял собой представительного здорового разбойника с большой дороги, его подручные, одетые в арестантские шубки, — простых взломщиков ворешек, желавших заработать „рубличко“ за легкую работу.

Публика болтала все больше на тему казни или ругала друг друга за отдавленные мозоли... но вот толпа насторожилась, и послышалось: „везут,

везут"... Все стали вытягивать шеи, подниматься на носки, чтобы лучше разглядеть печальный картеж...

Тихо, шлепая по грязи, въехала процессия в каре вместе с конвоем и потонула в лобному месту. Палачи спустились с эшафота и стояли внизу, ожидая своих жертв.

Первая колесница, сделав небольшой заезд правым плечом, стала подъ-



Желябов.

езжать к эшафоту, а за нею подъехала и вторая. Ужасная картина!... Головы осужденных повернулись в сторону виселицы и с отвращением отвернулись от нее... Публика замерла, и только за спиной кто-то цинично провнес „пожалуйста, дорогие гости“, на что последовали ругательства соседей.

Палачи помогли осужденным спуститься с колесниц, и они по одному входили на эшафот, овираясь вокруг себя. Я хорошо мог видеть лица осужденных при входе их на эшафот. Все входили очень бодро и самоуверенно. Лица были бледны и смотрели не испуганными, а скорее утомленными. Никакого искусственного бравурства не было.

Фролов каждому указывал место. Осужденные стали в следующем порядке: Кибальчич, Михайлов, пустое место, предназначенное для Геси Гельфман, Перовская, Желябов и Рысаков... Колесницы отъехали в сторону.

Из группы вышел средних лет человек с бумагой в руке, развернул ее и начал читать. Это был прокурор окружного суда, читавший приговор. Осужденные в это время смотрели на толпу и наверное не слушали его. Чтение длилось не долго — 3 — 4 минуты.

Когда эта комедия была окончена, на эшафот медленно поднялся священник с крестом для напутствия умирающих. Он, не торопясь, подошел к Кибальчичу и приподнял крест, но тот покачал головою, священник поклонился ему и отошел... То же было и с Михайловым и с Перовской. Как поступили Желябов и Рысаков, я не видал, ибо толпа столкнула меня с дебаркадера. Обратно на свое место я попал не сразу и, когда с посторонней помощью вскарабкался наверх, то на эшафоте картина была совершенно иная: все осужденные стояли на скамеечках в длинных белых саванах, имея на голове капюшоны. Палач Фролов укладывал петлю на шею Перовской; Кибальчич и Михайлов были уже совершенно готовы для казни. Рысаков переминался с ноги на ногу, остальные стояли совершенно неподвижно, представляя собой статуи в чехлах. Закончив с укладкой петли на Рысакове, Фролов направился к Кибальчичу и, окинув взором группу сановников, быстрым движением умелой руки — вырвал из-под его ног скамеечку. Кибальчич, потеряв точку опоры, сильно рванулся и без всяких конвульсий спокойно повис на веревке. Он умер моментально, без борьбы и страданий. В душе я радовался, что один страдалец окончил свои страдания, что эти добрые, умные глаза для всех навсегда закрылись.

Фролов постоял с минуту около казненного Кибальчича, подошел к Михайлову и также вырвал из-под его ног скамеечку. На мгновение тело повисло, рванулось в сторону, и веревка оборвалась. Михайлов упал лицом на помост... К нему подбежали помощники и, так как он сам со связанными на спине руками подняться не мог, — его подняли и вновь поставили на скамеечку. Фролов тем временем связывал порвавшуюся веревку. Что делала толпа?... Толпа обрадовалась и кто-то сзади громко сказал „ну слава богу“, наверное думая, что Михайлов будет помилован. Однако, предположения не оправдались, Фролов быстро набросил петлю, опять вырвал скамеечку, и тело Михайлова опять закачалось, но не долго... Мгновение... веревка опять разорвалась, и несчастный умиравший мученик опять упал грудью на помост эшафота. Опять бросились к нему палачи, опять подняли и поволокли на скамеечку. Видно было, что сил у Михайлова больше не было... Толпа возмущалась, а когда поняла, что Фролов опять связывает веревку и Михайлову в третий раз придется испытать казнь, как разбушевавшееся море зашумело и зароптало. Со всех сторон слышно было: „Раз казнь не удалась, значит человек без вины осужден“: или, „бедная Россия“, не наплось у тебя не гнилой веревки для человека“, и пла нецензурная брань по адресу „власти“, стоявшей около эшафота... Но „власть“ не смущалась, чувствуя себя окруженной

целым лесом штыков в полной безопасности, и поощряемый Фролов продолжал свое дело. Все было готово, петля в третий раз обвила шею Михайлова, скамейка упала, и тело повисло, дергаясь в конвульсиях... кто-то снизу пальцем указывал Фролову на перекладину... Фролов схватил отброшенную из-под ног Михайлова скамеечку, поднялся на нее, и, взяв веревку, предназначенную для Геси Гельфман, помилованной царем по настоянию, кажется, английских представителей, по случаю ее беременности, набросил вторую петлю на шею Михайлова. После я узнал, что и на этот раз веревка грозила обрывом, ибо перетерлась в кольце... Такова была мученическая смерть Тимофея Михайлова...

Третья была Перовская... Фролов медленно подошел к совершенно неподвижно стоявшей на скамеечке Перовской, вырвал ее из-под ее ног, и тело, упав в воздух, без всяких конвульсий повисло. Смерть ее была легкая... За Перовской следовал Желабов, долго бившийся в конвульсиях, описывая вальсы в воздухе, и в публике опять слышался ропот „намерное петля пошла на подбородок“ и т. д... Последним был Рысаков, — он крепко держался ногами за скамеечку, думая хоть на секунду продлить свою жизнь, и Фролову пришлось ударом по ногам столкнуть его со скамейки, он дернулся и без конвульсий повис на веревке.

Так закончилась ужасно нелепая по своей обстановке, преступная по своей морали, гнусная и бессмысленная, ничем не оправдываемая казнь над первомавтовцами.

Толпа молча стояла и глядела, как трупы казненных, ласкаемые легким ветерком, покачивались из стороны в сторону.

Тела оставались висеть минут 20, если не больше... В это время палачи поднимали на эшафот гробы и ставили их под висевшие трупы... По знаку, поданному снизу, палачи стали развязывать прикрепленные к боковым столбам веревки и опускать по одному телу в гроб... Кто-то в форме, очевидно, врач, подходил к каждому гробу и наклонясь осматривал труп. Затем гробы были заколочены и поставлены на поданные две телеги, должностно-служившие отвезти их на стоявший на запасном пути приготовленный железно-дорожный состав.

Когда помощники палача подняли гробы и сносили их на плечах с эшафота на телеги, толпа, находившаяся на плацу, точно по сигналу обнажила головы и, осеняя себя крестным знаменем, произносила: „Господи, упокой души рабов твоих“. „Прости, господи, их прегрешения“ и „царство им небесное“. Чувствовалась общая подавленность, чувствовалась на лицах у всех ужас, тяжелое переживание, и слышались опять голоса „даже женщину не помиловали“, видно было, что и в этих темных народных душах происходил какой-то разлад...

Через несколько минут, гробы были поставлены в товарный вагон и отправлены на Преображенское кладбище, где и были в тот же день похоронены.

„Без слез, без объятий, без ласки прощальной“.

На плацу раздались команды... Военские части стали перестраиваться и под веселые марши своих оркестров очищать плац. Толпа потянулась за солдатами, и только небольшие группы людей остались стоять как вкопанные, переживая непереживаемое.

И Фролов и его помощники были посажены в арестантские кареты и под конвоем увезены в Литовский замок дослуживать свои сроки, в ожидании царских милостей за „службу“.

Около эшафота оставался небольшой наряд городовых, пока плотники разбирали и складывали на телеги доски и бревна, из коих он был сооружен. Еще полчаса — и Семеновский плац принял свою обычную физиономию.

Вот та ужасная истина, которую я видел на заре своей юности и которая всегда останется свежа в моей памяти.

Через несколько лет мне пришлось быть на Преображенском кладбище вместе с товарищами по кружку (П. Тошский и Д. Лазарев). Мы задумали разыскать братскую могилу первомайцев. Встретив старика могильщика, за „начаяк“ он свел нас в конце кладбища к забору, где была свалка всякого мусора и старых высохших венков с могил и, указывая пальцем, сказал: „вот там мы зарыли их, сердечных“, „я им яму копал“... Никакого бугорка над могилой заметно не было. На поле мы сплели из полевых цветов большой венок и повесили его над могилой на заборе... Может быть это был первый венок, не брошенный с мусором, а положенный на дорожку могилу теми, кто глубоко чтит и сегодня память великих народовольцев.

Андрей Брейтфус.

Встреча с Дегаевым.

14-го января 1883 г. мы с Анной Марковной Гальперин (по мужу Су-хомлина) узнали, что Дегаеву удалось бежать из одесской тюрьмы. Бегство и его подробности привели нас в такой восторг, что мы смеялись, танцевали. Анна просила меня играть, и мы распевали веселые мотивы, наигрываемые мною. От времени до времени перебирали подробности: — как он всыпал табак жандармам в глаза и т. п.

17-го декабря 1882 г. Спандони, еще два-три человека и я собрались у Софии Григорьевны Рубинштейн ¹⁾ (сестры Николая и Антона Рубинштейна). Как хорошо она в тот вечер пела. В ту же ночь была взята типография „Народной Воли“.

На следующий день, утром, я отправилась к своему родственнику, где я хранила партийную литературу и другие вещи.

Не успела я очутиться в Греческом переулке, как меня сзади схватили две дюжие руки. Я обернулась и увидела двух рослых мужчин. (Тут же подкатил извозчик.)

— Вы арестованы, поезжайте с нами! — сказал один из них.

— А вы кто такие?

— Мы жандармы.

— А одеты в штагское. Я не поеду с вами.

— Тогда мы вас силой возьмем.

Я оглянулась — кругом ни души. Надо повиноваться, решила я. Села. Они по бокам меня, но не держат.

Едва мы выехали на Рিশельевскую улицу, я приподнялась и стала кричать. Они меня усадили, взяли за руки и велели извозчику погонять.

Подъехали к жандармскому управлению, ввели меня в комнату и оставили.

Я просидела несколько часов в одиночестве. Затем меня вызвали к жандармскому полковнику Катанскому. Я обратилась к нему с протестом по поводу моего ареста на улице:

¹⁾ София Григорьевна передавала свое впечатление (Дегаев после бегства явился к ней), что он странно себя держал, что он по несколько раз возвращался к тому, что в центре несомненно есть провокатор, и т. д.

— За что вы меня компрометируете? Меня в городе всякий знает. И зачем вы меня на улице схватили, когда у меня есть квартира и т. д. Он ничего не ответил.

И начался допрос: знаю ли я Дегаева, Спандони, Калюжную и других. Я категорически отрицала мое знакомство с ними, да и вообще с революционерами.

Катанский позвонил, меня отвели в ту же комнату. Просидела я с час. Наконец, за мною зашел жандармский офицер и сказал: — Пожалуйте...

Мы вышли в коридор; к нам присоединилось еще четыре человека, и мы спустились с лестницы. У порога ждали закрытая карета и извозчик. В карету нас село трое. Опустили шторы, и мы покатили. Извозчик с остальными за нами. Они мне ничего не сказали, я их ничего не спросила.

— Куда, думаю, везут меня?

И каково же было мое удивление, когда, выйдя из кареты, очутилась у ворот нашего дома. Вот я, окруженная со всех сторон, направляюсь в свою комнату. (Из-за конспиративных целей я жила в отдельной комнате, снимаемой мною в том же доме, где жил мой брат Юлиус.) Наш старый кучер, казак Степан, увидя меня среди всех этих верзил, побледнел.

Когда на звонок нам открыла дверь хозяйка, офицер просил указать мою комнату. Мы вошли, там была сестра моя Дора и невестка, которые, повидимому, ждали меня.

Меня усадили и возле поставили жандарма. Другие искали. Искали тщательно. Я смотрю и удивляюсь: „Где же всё, куда оно девалось?“ Пошли в коридор, там все перерыли. Тоже ничего не нашли. Когда они возвратились в мою комнату, я спросила жандармского офицера:

— За что же меня схватили на улице? И на каком основании сделали у меня обыск?

— Как будто вы не знаете: это в связи с взятием тайной типографии и арестом бывших там революционеров.

Составили протокол и ушли.

Тогда я узнала, что в контору моего брата, в Пале-Рояле, прибежал старик, богато одетый, с интеллигентным лицом, и вызвал брата.

— Сестра ваша арестована, — сказал он, — я видел ее на извозчике на Рিশельевской, она привстала и что-то кричала. Ее отвезли в жандармское управление.

Брат тотчас же поехал домой и произвел с сестрою и невесткой тщательную чистку моей комнаты. Затем Дора дала знать об этом Анне Марковне. (Долго после этого случая мне часто казалось, идя по улице, что меня сзади кто-то хватает за плечи...)

В мае или июне месяце 1883 года отец Анны Сухомлиной передал нам, что он виделся с каким-то полицейским чиновником, и тот, будучи немного выпивши, признался, что побег Дегаева был подстроен, и что все рассказы о нем распространяли только для того, чтобы придать ему более правдоподобности и скрыть следы.

Мы с Анной, хотя и сообщили об этом некоторым из наших сотоварищей, между прочим и Даниловичу, который принимал участие в укрывательстве Дегаева вместе с Крайским и Стратоновичем, но вера и уважение наше к Дегаеву были таковы, что сообщению этому, как заведомо провокационному, мы не придали никакого значения.

У меня в то время была в Одессе явочная квартира. В июле приехал из Киева Бычков и рассказал нам, что арест Веры Николаевны и затем взятие типографии „Народной Воли“ в Харькове почему-то вызывают недоверие к Дегаеву, и что где бы он ни участвовал — там провалы. В это же время начались аресты среди офицерства в Петербурге, Кронштадте и других городах. Вскоре после отъезда Быčkova нам писали из Петербурга, что Крайский и Стратонович удивляются, что власти знают все подробности укрывательства Дегаева и отъезда его из Одессы.

Затем получаю письмо от Дегаева из Харькова, где между прочим просит наш кружок послать ему денег, как мы иногда это делали. Мы решили не посылать.

В середине июля на дачу, на Большом Фонтане, где мы с сестрою снимали комнату у Мильгофа, меня, во время моего отсутствия, приехали арестовать. У меня гостила Анна. Пришедшим жандармам сказали, что я уехала в город и неизвестно, когда возвращусь. Обыска не делали.

Анна, сестра, Куба Барский и Фельдман, зная, что я приеду последним местным поездом, пошли меня встретить. Ждали они меня на пункте, где поезд начинает замедлять ход. Я стояла на площадке. Увидя меня, они что-то стали говорить мне, я не расслышала. Почувствовав что-то тревожное, соскочила на-ходу. Упала головой к рельсам, и колеса прошли возле моей головы. Падение немного ошеломило меня. Мне помогли встать. Узнав, в чем дело, конечно, готовилась быть арестованной. Обыска я не боялась, так как в своей комнате ничего не держала, а хранили для меня все Мильгофы. Они с женою были простые люди, мало образованные; он был приказчиком. Сочувствие их задачам партии и отношение ко мне было таково, что он организовал побег двух товарищей за границу, предлагал устроить типографию, которую мы предполагали завести, и вообще оказывал всяческие услуги. И однажды, когда понадобились деньги на нужды нашего кружка, они заложили всё свое серебро. Уезжая за границу, я не могла раздобыть нужной суммы и просила товарищей во что бы то ни стало возвратить долг, чтобы не скомпрометировать нас, революционеров. Через несколько лет, встретившись с Мильгофом за границей, я узнала, что серебро мои товарищи им вернули.

На следующее утро за мною приехали жандармы и отвезли в город прямо в жандармское управление.

Вскоре меня позвали на допрос. Допрашивали Солдатенко, полковник Катанский и третий, имени не помню. При допросе присутствовал жандармский офицер Пацевич. Я узнала его, так как часто он шел за мною по Дерibasовской и другим улицам, пытаюсь заговорить со мною.

Стали мне показывать целую уйму фотографий — все знакомые. Про каждого в отдельности спрашивали:

— Вы узнаете его?

— Нет!

— Как так? Они все арестованы и признались, что знают вас.

— Может быть, они меня знают, но я-то их никогда в лицо не видела.

— Как, шестнадцать человек утверждают, что работали вместе с вами, а вы отрицаете, и вы думаете, что мы вам поверим?

— Невозможно, чтобы они это говорили.

— Вы станете еще уверять, что Веру Фигнер не знаете?

— К сожалению, нет. В городе говорят, что она красавица.

В течение трех приблизительно часов предлагали вопросы простые и перекрестные, на которые отвечала отрицательно.

Рассердившись, Солдатенко говорит:

— Шестнадцать человек признались, что знают вас и что вы вместе с ними в октябре катались на лодке, где у вас было тайное совещание, а вы отрицаетесь.

— Если в октябре месяце в Одессе на Черном море можно кататься на лодке, то я была вместе с ними.

После они все втроем, видимо, рассерженные, ушли, а Пацевич остался со мною.

— Екатерина Александровна, — обратился он ко мне, — зачем вы себя губите, упорствуя так. Мне вас жаль, я от души это вам говорю.

— Разве у жандармского есть душа? — заметила я.

Он покраснел и вышел.

Вскоре возвратился Пацевич с третьим, допрашивавшим меня, и сказал:

— Пока мы вас отпускаем домой, но вы должны дать подписку о невыезде.

Александр, Кашинцев, Сухомлин и другие советовали мне перейти на нелегальное положение. В это же время Василий Иванович Сухомлин поехал в Париж. Пробыл там не долго и, возвратившись, передал, что Тихомиров и Марина Никаноровна Ашанина, члены Исполнительного Комитета, предлагают мне временно поехать за границу, заставить о себе позабыть и затем возвратиться, так как я еще молода, недостаточно опытна, чтобы вести жизнь нелегальной. А время тогда ведь было трудное — партия разгромлена, знакомства и связи расстроены, средств мало.

Между прочим, мы, как сказала, задумывали свою типографию, чтобы перед ожидаемой коронацией Александра III издавать брошюры и прокламации, но Исп. Ком-т в Париже нам этого не разрешил, настаивая, чтобы местные группы пользовались только теми, которые издаст Исп. Ком-т.

Я не хотела слышать об отъезде, так как глубоко верила и чувствовала, что нужна своей родине и вношу свою помощь в дело освобождения от царизма. Как мы его тогда ненавидели! Особенно после всех тяжких неудач, после потери всех наших героев.

Родные мои были в отчаянии от моего несуразного поведения и измучились страхами обо мне.

Вскоре после этого сестра моя Дора начала харкать кровью. Врачи госпитализировали ее в Швейцарию. (Мы потеряли от чахотки отца, двух сестер брата Лазаря, умершего во время процесса, по делу 193-х.) Родные меня уговаривали поехать с сестрой. Друзья тоже убеждали на короткое время скрыться.

Ни полиция, ни жандармерия не хотели дать мне паспорта. Моя невестка выбилась из сил, добывая его. Помог мне в этом деле, как я узнал за границей от Сони Герценштейн, вышеупомянутый жандармский офицер Пацевич. Она сама слышала, как он сердился и кричал:

— Эта молоденькая девушка не при чем, и вы должны дать ей паспорт И я его получила.

23 августа мы с сестрой покинули Одессу. Взяла я тогда с собой альбом с политическими. Взяла на риск. В Париже передала его Тихомирову. Уезжая в Россию, сделавшись ренегатом, он мне его возвратил. К сожалению, многих карточек видных деятелей в нем не доставало. Оставшиеся карточки я в день празднования 70-летнего юбилея В. Ф. передала в Революционный Музей.

Через несколько месяцев после моего отъезда почти все товарищи по работе были арестованы. Будучи за границей, в Женеве, я с ними переписывалась, посылала им литературу, бланки и т. д. В то время как они были взяты, меня в Мontre два раза звали в допрос в Commissariat de police. Хотели выслать. За меня хлопотал Жуковский, и дело окончилось благополучно.

Выдал меня и свалил всё на меня Сена Гальперин. Фельдман, у которого были найдены мои письма, отрицал, что они мои. Он был сослан, и там покончил с собою. Прекрасный он был юноша во всех отношениях.

Приехали мы с сестрой в Женеву. Встретил нас Яков Френкель, эмигрировавший в 1882 г. Вскоре познакомились со всеми выдающимися эмигрантами: Степняком, Жуковским, Дейчем, Плехановым, Засулич, Жемановым и другими и с членами П. П. С. — Яновской и Мендельсоном.

Узнав, что Тихомиров живет за Женевой, я просила передать ему, что мне нужно его видеть. С большим уважением произносилось тогда его имя.

Через несколько дней мы с ним встретились в каком-то кафе. Меня привел Френкель, и мы с Тихомировым остались одни.

Я не буду описывать его наружности, но меня поразили его серые, умные, беспрестанно бегающие глаза.

Он меня стал расспрашивать про наши одесские дела и вообще обо всем, что я знаю и слышала, о партии, о ее деятельности, о настроении молодежи, общества, о приготовлениях к коронации и т. п.

Поговоривши обо всем, я ему рассказала, как было условлено перед отъездом с моими товарищами, наши подозрения о Дегаеве. Во время моего рассказа он волновался и прерывал. Наконец, он вышел из себя, топнул ногою и сказал:

— Я шестнадцать лет знаю этого человека. Это верный товарищ, преданный революционер, а вы заводите такие ужасные обвинения.

— Я указываю вам те факты, которые нас всех очень смущают.

Много мы говорили. Но разве упоминешь подробности почти что через сорок лет!

После двухчасового свидания мы расстались, условившись как-нибудь опять встретиться.

Через два дня получила телеграмму из Морнэ от Тихомирова, в которой он просил меня немедленно приехать.

Через час я уже сидела в дилижансе по дороге в Морнэ.

Разыскала их дачу; дверь мне открыла Екатерина Дмитриевна, жена Тихомирова. Я представилась ей.

— Да, Тихомиров вас ждет. Войдите к нему, — произнесла она, указав дверь в его комнату.

Вошла. Тихомиров стоит у стола. На диване сидел человек среднего роста, несколько плешивый, с неособенно симпатичным лицом.

Василий Игнатьевич приблизился ко мне, поздоровался и, указывая на сидящего человека, сказал:

— Дегаев — Екатерина Александровна.

Я удивилась, что он не говорит Дегаеву моей фамилии, да и вообще меня поразила эта встреча.

Дегаев привстал и поздоровался со мною.

И сразу, без подготовки, Тихомиров, обернувшись ко мне, говорит:

— Екатерина Александровна, расскажите Дегаеву, в чем обвиняют и подозревают его.

Мне трудно передать, что со мною сделалось: в висках застучало, сердце забилося. Чувствую, что бледнею и краснею. Но все же овладеваю собою, смотрю Дегаеву прямо в лицо, он смотрит на меня; взгляд сосредоточенный. Жалко мне его... Что-то во мне заколебалось... Но наша уверенность в его измене подсказала мне, что молчать нельзя...

— Мы знаем, что вам полиция помогала бежать. Мы знаем, что Вера Фигнер арестована, благодаря вам, а что Меркулов был вызван для отвода глаз. Мы знаем, что в Киеве и Харькове типографии раскрыты тоже благодаря вам. Офицеры Крайский и Стратонович арестом своим обязаны тоже вам. О том, что они помогли вам скрыться после бегства из тюрьмы кроме вас, их и еще одного (почему-то не хотела упомянуть Даниловича), никто не знал.

Тут он меня прервал:

— Это они сами болтают.

— Неправда! — крикнула я. — Не только они объясняют свой арест вашим предательством, но и другие офицеры, арестованные в Петербурге и других городах.

Тихомиров обратился к нему:

— Что вы на это скажете?

— Все это ложь. Несомненно, болтовня и предательство среди офицеров.

— Как вы смеете это говорить?! — вскрикнула я не своим голосом.

Дегаев ничего не ответил. Некоторое время мы все сидели молча... и я вышла.

Мы с Екатериной Дмитриевной выпили чаю, проšliсь по лесу и легли спать.

На следующее утро, встав рано, я вышла на балкон. Вскоре подошел ко мне Дегаев. Поздоровался и говорит:

— Отчего вы на меня так сердитесь?... Почему вы не ответили на мое последнее письмо и не прислали денег?

— Наш кружок решил с вами дела не иметь.

Он постоял и ушел.

Чай пили все вместе и мало о чем говорили.

В Женеву поехали троим. Тихомиров со мною и с ним от времени до времени перекидывался незначительными фразами.

Больше Дегаева я не видала.

Эспер Александрович Серебряков, впоследствии муж мой, рассказал мне в Париже, что Тихомиров в тот же день, в Женеве, что называется, прижал Дегаева к стене. Дегаев ему во всем признался. И тогда же было решено, что Дегаев искупит грех свой и организует убийство Судейкина.

Когда Дегаев приехал в Париж, где должен был условиться и переговорить о взятых на себя обязательствах, он просил ничего не говорить о нем Серебрякову и выразил желание не встречаться с ним.

Странно, что Эспера Александровича он не предал. Мало того, когда Э. А. был в плавании, товарищи его по военной организации Ашенбреннер, Суханов, Рогачев и др. были арестованы.

Возвратившись из плавания, Э. А. нашел у себя в каюте записочку, в которой ему советовали скрыться.

Письмо это, как оказалось, было написано Дегаевым.

Е. А. Серебрякова.

„Взволнованные лоботрясы.“

(Из истории „священной дружины“.)

1. Редактор Климов.

После убийства Александра II недоверие к тайной полиции в придворных и правящих кругах было так велико, что повадобились новые и более надежные средства спасения. Новый царь в животном страхе забился в глухой угол гатчинского дворца и долго не смел оттуда нос высунуть. А придворная и аристократическая знать чуть не поголовно записалась в добровольную дружину шпионов. Так возникла знаменитая „священная дружина“, она же союз „мужественных добровольцев“, — в идее нечто рыцарски-монархическое, а в реальности воплощении просто союз влиятельных дилетантов сыска и заматерелых жуликов. Все вместе — юмористическая страница в истории революционного движения в России, дурацкий водевиль с переодеванием, который в сущности почти никого не обманул и особого вреда не причинил.

Высочайше повелено было, чтобы никто о священной дружине не знал, и даже тайная полиция во главе с Судейкиным притворялась, будто ей не всё известно. Печать не смела, конечно, и упоминать о нелегальном охранном отделении, и заметка „Нового Времени“ с темными намеками на подпольную работу царя и его друзей произвела величайшую сенсацию. Да и появиться эта заметка могла лишь тогда, когда роль свящ. дружины была уже сыграна и она скомпрометировала себя бестолковостью, глупостью, а также „конституционной“ опасностью. Единственный писатель, который пытался пробиться через цензурные заграждения, был Салтыков. Его третье „письмо к тетеньке“ было вырезано из готовой книжки „Отеч. Записок“ и всё же стало известно. Оно не всем читателям было понятно, а позднейшему поколению, не знавшему о свящ. дружине, должно было казаться и совсем темным. Но сколько-нибудь осведомленный читатель-современник должен был поражаться сатирической смелости Салтыкова, давшего удивительно яркий портрет великосветской игры в шпионаж.

„... Вот этот половой, которого сейчас в коридоре Тимофеем крикнули, — вы думаете, что он Тимофей? Нет, он только здесь, при исполнении обязанностей — Тимофей, а у себя дома и вечером в клубе он — князь Санпатре...

— Как! тот самый Санпатре! — воскликнул я в изумлении...

И все превосходно понимали, что князь Санпатре, член „Общества частной инициативы спасения“, это — князь Демидов Сандonato, видный деятель священной дружины, человек с большими капиталами, но с весьма ограниченными умственными способностями. Детальное исследование раскрыло бы и другие псевдонимы: князь Букиазба, Амалат-бек и др. Но в этом нет нужды. Всей этой титулованной компании сыщиков в „Современной Идиллии“ дано другое, выразительное и вполне исчерпывающее определение: Клуб Взволнованных Лоботрясов. Ибо, действительно, все они находились в непрерывном, до паники доходившем волнении, и все они действительно были лоботрясами. И даже наиболее солидный из них, доктор права гейдельбергского университета, блестящий флигель-адъютант и флигель-конституционалист высочайшего двора граф П. П. Шувалов был в конечном счете только лоботрясом.

История священной дружины в общих чертах рассказана В. И. Богучарским в книге „Из истории политической борьбы в 70-х и 80-х гг. XIX века“. Полемика В. Я. Богучарского с Б. А. Кистяковским по вопросу о Земском Союзе дополнила материалы этой книги, а в дневнике генерала В. Н. Смелского („Голос Минувшего“ 1916 г.) есть несколько забавных анекдотов. Все же о внутренней работе взволнованных лоботрясов мы знаем не так много, а есть в этой работе черты, любопытные и для правительственной реакции и для революционной эмиграции 80-х годов. Помимо непосредственного выслеживания революционеров и прямой борьбы с ними, в основу деятельности свящ. дружины была положена идея мистификации, стремление сбить с толку революционные организации, натравить их друг на друга, посеять взаимное недоверие. Идея сама по себе неглупая и достойная „доктора права“ графа Шувалова, игравшего среди лоботрясов роль о естественного Маккиавели. Однако, в руках лоботрясов система всесторонней мистификации превратилась в глупейшее их собственное взаимное надувательство. Умный и талантливый Судейкин дал комикам сыска сыграть свою роль до конца и затем очень легко согнал их со сцены, чтобы затем на тех же основаниях провокации и мистификации поставить уже не водевиль, а драму. Имя этой исторической драме „Дегаевщина“, а закончилась она, как известно, убийством самого Судейкина.

Салтыкову было многое известно из планов свящ. дружины. Он знал, что существует намерение создать газету или ряд газет, которые выглядели бы как прогрессивные, даже революционные издания, — а между тем исподволь, очень тонко вливали отраву в общественное сознание и дискредитировали революционное и либеральное движение. Салтыков не мог, конечно, знать, как и кто это делает. Его ближайший сотрудник и товарищ по „Отечественным Запискам“, известный публицист-народник С. Н. Кривенко, вел переговоры с неким Ярмонкиным об издании газеты „Светоч“ в радикально-народническом духе, и не подозревал, конечно, Кривенко, что Ярмонкин действует по инструкции графа П. П. Шувалова, — как не подозревал М. П. Драгоманов, что

редактор заграничного „Вольного Слова“ А. П. Мальшинский служит всё той же священной дружине. Ярмонкин впоследствии издавал реакционные „Письма идеалиста“, а Мальшинский правую газету „Народ“, и оба до смерти своей не признались в том, как они мистифицировали литературную публику. Ставший теперь доступным архив графа П. П. Шувалова, находящийся в Публичной Библиотеке, хотя и представляет собой жалкие отрывки богатых некогда материалов, дает всё же возможность судить о широком плане мистификации прогрессивной печати. Князь Демидов Сандonato не случайно давал с такой легкостью деньги на либеральные издания, и теперь раскрывается смысл монолога Расплюева (быть может, того же Мальшинского) в „Письмах к тетеньке“:

— Давайте, говорю, братцы, газету издавать! Обрадовались. Вот этот самый князь Саннатре пятьдесят тысяч из кармана и выложил.

— Однако, денег-то у него довольно! — не выдержал и воскликнул я.

— Пропать! и преусердный — так ко всем с деньгами и лезет. Ну, газету — так газету. Только, говорю, нам такого редактора надо отыскать, чтобы во всех статьях был мерзавец, чтобы совести не знал, правды от роду не говорил, а за тысячами не гнался. И вот — судите как хотите: не успел я выговорить, смотрю — он в дверях. — Иуда Искариот! Тебя-то нам и нужно! Сейчас ему пятьдесят тысяч в руки: издавай газету „Фрегат Надежда“...

Таких „Фрегатов Надежда“ у священной дружины затевалась целая флотилия. И если их было так мало, то лишь по той причине, что умный и талантливый „мерзавец“ был только один, да и тот с подмоченной репутацией, да и тот неизвестно кого в конечном счете мистифицировал. Это — А. П. Мальшинский ¹⁾. Другие же „мерзавцы“ при всем своем искариотском усердии были так невежественны и бестолковы, что решительно никого обмануть не могли и годились только для водевиля.

О приключениях одного такого редактора, Ивана Климова, некогда исправника, а затем издателя женевской ультра-революционной „Правды“, можно теперь рассказать на основании его переписки с графом Шуваловым, князем Щербатовым и другими деятелями славного клуба Возмущенных лоботрясов.

Как и почему исправник Климов оказался в конце 1861 г. в Париже в роли агента свящ. дружины, неизвестно, и вопрос этот никакого интереса не представляет. Его информация, как и вообще информация заграничной агенты священной дружины, лица выведенного не стоила, — не говоря уже о том, что не стоила тех огромных сумм, которые на нее затрачивались. Чуть не ежедневно агенты строчили в Петербург донесения, а в Петербурге делали каждую неделю сводку, которая вверх по инстанциям доходила до самого царя. И все это был настоящий вздор, ворох эмигрантских перевернутых сплетен. Больше всего интересовал агентов вопрос, „кто с кем сожигатель-

¹⁾ В. Я. Богучарский и Б. А. Киптяковский некоторое время колебались, к какому разряду отнести Мальшинского: искренних провокаторов или лживых конституционалистов, — и несколько преждевременно сошлись на том, что, хотя и был он членом священной дружины, но намерения у него были искренние и честные.

стает", и иные сводки всего более похожи на тайные списки нынешнего „Загса“, — собрание актов о гражданских браках. Историк революционного движения, который заинтересовался бы матримониальной, так сказать, стороной истории, нашел бы тут некоторый материал для себя, но — и только. В ноябре 1881 г. парижская агентура сообщила факт поразительный: „Недавно Лавров вышел в цилиндре, этого с ним никогда не бывало, а Виноградов сбрил бороду. Известно, что внешнее благообразие не составляет отличительной черты эмигрантов“. Лавров в цилиндре! — что бы это значило? Лоботрясы долго думали над этим и к окончательному решению не пришли.

Климов считался агентом для особо важных исследований. Такое высокое мнение составилось о нем после того, как ему удалось познакомиться с самим Кропоткиным. Донес об этом важном событии Климов подробно, с увлечением, даже с некоторым вдохновением. С Кропоткиным он, оказывается, не только познакомился, но даже подружился. Кропоткин — мужчина представительный, с черной бородой, вид у него надменный, и революционеры его очень боятся. Он и с Климовым сначала держал себя свысока и начал было допрашивать, кто, да откуда, да какой фракции. А Климов взял и отрезал: „Я двенадцать лет не был у священника, — почему я должен пред вами исповедываться?“. Такой гордый ответ поразил Кропоткина, и он пожал руку Климова и предложил ему свою дружбу, а потом даже полюбил его...

Так лгал вдохновенно Климов, и никого из лоботрясов не удивила эта лакейско-полицейская фантазия. Все поверили ему вполне и безусловно. Один лишь профессионал-сыщик, бывший начальник секретного отделения петерб. градоначальства, генерал Смельский, отнесся к рассказу скептически, да и то только про себя... Ну, полюбил Кропоткин Климова. „Что же из этого для правительства? Какая в этом польза? А между тем, командировка Климова стоит больших денег, и, приехав оттуда, Климов только и сообщил, что подружился с Кропоткиным и что Кропоткин сильно негодует на правительство“.

Чего, однако, не подозревал и старый опытный сыщик, так это того, что всё событие было не более, как подлинный водевиль с переодеванием. Климова „разыграла“, как дурака-мальчишку, веселая эмигрантская молодежь. Никогда Климов Кропоткина не видал и никогда с ним не беседовал. Желая посмеяться над подозрительным и глуповатым человеком, усиленно втиравшимся в эмигрантскую среду, ему устроили свидание с мнимым Кропоткиным. Настоящий Кропоткин ничего об этом не знал и только недоумевал впоследствии, почему полиция в циркулярах о розыске наделила его „черной бородой“.

Таков был дебют Климова, доставивший ему в свещ. дружине репутацию ловкого и находчивого агента, которому очень легко проникнуть в революционную среду. В конце 1881 г. с позором и треском провалилась заграничная агентура свещ. дружины по милости болтливого и пустейшего шпиона Франка. Французская печать разоблачила агентов, но приняла их за агентов третьего отделения. Климов был тоже слегка скомпрометирован, потому что

знакомство его с Франком было известно. Но в списках имени его не было, и за границей тоже в это время его не было. Он нес охранную службу в Гатчине, где жил Александр III. Его вызвали оттуда и командировали в Женеву для наблюдения за революционной эмиграцией. Предполагалось, что Климов и его жена откроют кухмистерскую, будут кормить эмигрантов дешевыми обедами и таким манером наблюдать и улавливать. План был разработан в деталях, — надлежало, между прочим, пускать слухи о видных революционерах, что они состоят на содержании у полиции, — но денег было дано мало. Почтенная супружеская пара закупила посуду, наметила помещение, но не могла открыть действия. Климов писал князю Щербатову, просил, умолял, даже угрожал, но долго не получал ответа. „Беспокойство мое, — писал он между прочим, — граничит с упадком духа, а находясь в таком состоянии человек никуда не годится. Должен еще прибавить, что у меня есть чувство чести и честности — и я не способен поэтому лукавить“.

Без денег и занятий проникнуть в эмигрантскую среду не удавалось. Тем не менее Климову удалось донести, что живут в Женеве подозрительные люди: приехала недавно какая-то Софья Бырдина и есть еще революционер „Ебединия“... Щербатов наконец откликнулся, и довольно сердито: Бырдина это Бардина, и о приезде ее в Женеву уже давным-давно известно в Петербурге. А „Ебединия“ это Ельпидия, известный всей Женеве, один из редакторов „Общего Дела“. Тут же давалось задание: скомпрометировать „Общее Дело“ слухами, будто оно находится в связи с полицией. „Остерегайтесь нигилистичеи полиции, — наставлял Щербатов, — весьма изрядно организованной. Берегитесь Черкезова, стоящего во главе этой полиции“...

Денег прислали, но мало. Климов исправно посещал кафе Грессо, где собиралась русская эмиграция, заводил случайные знакомства, познакомился, наконец, и с Ельпидием, но решительно ничего путного не мог сообщить своему начальству, кроме как об амурных похождениях некоторых совсем неинтересных эмигрантов. Постепенно однако удалось ему кое с кем сблизиться. Варлам Черкезов, к которому серьезные революционеры относились с пренебрежением, а несерьезные — с великим уважением, человек шумливый, хвастливый, напускавший на себя важный и таинственный вид, — написал совершенно неприличную по тону и по содержанию брошюру: „Драгоманов из Гадяча“. Было это в то время, когда Драгоманов рассорился с революционными заграничными кружками и принимал деятельное участие в журнале „Вольное Слово“. Издавал же этот журнал, как известно, А. П. Мальшинский, член той же священной дружины, мистифицировавшей публику именем несуществующего „Земского Союза“. Климов в беседе с Ельпидием отозвался о брошюре Черкезова восторженно, а Ельпидий на это сказал: „хвалить-то все вы хвалите, а платить в типографию за брошюру нечем!“ И Климов тут же отвалил Ельпидию для Черкезова 50 фр., не подозревая тогда, какую услугу окажут ему эти деньги. Он и вообще предлагал Ельпидию суммы для организации библиотеки, на издание брошюр, чтобы таким путем завоевать доверие. Но в Петербурге к расхо-

дованию денег относились прохладно: знали, повиdimому, Климова, а может быть — немного знали и Ельпидина.

Надо было в эмиграционной среде себя чем либо зарекомендовать; без этого никуда не пускали, — и даже в кухмистерскую никто не пришел бы. Климов решил издать революционную брошюру и засел для этого за перевод какой-то французской книжки о системе военных вооружений в Европе. Но в русской грамоте бывший исправник был слабават, — и это оказало ему услугу. За небольшое вознаграждение Черкезов согласился просматривать и исправлять перевод. С величайшим торжеством сообщил Климов в Петербург, что начало сделано и связи завязаны. Ему удалось проникнуть в революционную среду. 18 мая он писал: „Вчера был в компании Ельпидина, Черкезова, Жеманова и Козака (Лехоцкий, кажется). Толки были о смоленском дворянстве по поводу предложения Государю охраны, об ирландских делах и, наконец, о коронации. Жеманов выразился: „неужели поросенку удастся короноваться?“ На что Черкезов ответил: „всё равно, убьют ли мазаного или немазаного тромбониста, а своего не минет“. Всё дело в том, чтобы во время коронации было больше скандалов“...

Как ни занимательно было это письмо, оно очевидно не удовлетворило даже лоботрясов богатством информации, и в следующем письме Климов обиженно оправдывается. Он ведь предупреждал, что войти в доверие революционеров не так легко, особенно после провала и ошибок, наделанных Франком, да если еще из Петербурга не посылают денег. Черкезов и то в беседе с Климовым как-то выразился: „Мы не решили до сих пор, кто вы — социалист или ловекий агент“.

Надо было доказать, что — социалист. К своей переводной брошюре, бичующей европейский милитаризм, Климов добавил выдержки из статей Прудона. Начальству он писал: „Печатать буду 200 экземпляров, часть пушу в продажу, часть уничтожу, сказав, что отправил в Россию. Да будет мне прощено за всё то, что написано против моих убеждений; но иначе нельзя: я должен стать в их группу и для этого употребить незуитский прием — цель оправдывает средства“. В Петербурге ему охотно этот грех отпустили, а сам флигель-конституционалист гр. Шувалов писал ему условные конспиративные письма, которые Климов как бы невзначай показывал Черкезову и Ельпидину: из писем выходило, что друзья Климова в России затевают террористическое предприятие и зовут к себе. Климову удалось добиться разрешения посещать эмигрантскую библиотеку, — для обыкновенного филера это был немалый успех. Но в Петербурге от Климова ожидали сенсационных разоблачений, требовали, чтобы он давал сведения о важнейших народных вождях, а он видел вокруг себя только мелкую эмигрантскую рыбешку и передавал только сплетни. Пробовал он выполнить поручение и скомпрометировать ложными слухами „Общее Дело“. Сначала как будто клеюнуло, и 22 мая Климов доносил не без торжества:

„Пущенный слух, что Ельпидин агент русского правительства... (пошел) в ход; с неделю назад я косвенно рассказал свое сомнение французам. Сего-

дня вечером у меня был Рапацкий и уже сообщил мне, что есть подозрение, что Ельпидин шпион. Рапацкий, один из жандармов-вепателей, отличается тремя качествами: глупостью, силой и избиванием напих агентов, за что уже не раз сидел в арестантской. Для него достаточно указания на кого-либо с прибавлением: „а это шпек“, и он тотчас бегет. Благодаря его силе, все его боятся, и, он пользуясь этим, болтает всё, что слышит. Сегодня я окольными путями высказался, что я не верю в то, что Ельпидин шпион и что „Общее Дело“ издается на счет Игнатьева. Рапацкий, понятно, со мной не согласился и завтра всем будет рассказывать, что он имеет на это данные“.

С замиранием сердца ожидал Климов, что Рапацкий вот-вот исколотит Ельпидина и доставит этим величайший триумф русскому правительству. Но прошла неделя, и Рапацкий никого не бил, а слухи об Ельпидине заглохли. Вместо этого поползли слухи о Климове, и случайно он узнал, что о нем наводят справки в России. В то же время „Общее Дело“ напечатало в № 48 довольно подробные сведения о подпольной деятельности священной дружины. Воспетые Климовым таланты Рапацкого предстали теперь в другом свете, и неудачливый клеветник заметался в страхе. Он просил Щербатова состряпать такой секретный циркуляр, будто его, Климова, разыскивает полиция; просил нигде не называть его имени и не показывать никому его писем. В Петербурге начинали, повидимому, терять терпение. Не говоря уж о том, что сведения Климова о революционерах была чистейшая труха, даже лоботрясы догадались, что Черкезов водит Климова за нос и умышленно сообщает ему неверные сведения. Охлаждение к Климову выразилось прежде всего в том, что ему перестали в срок высылать деньги. Климов писал, просил, напоминал, — и приходил, наконец, в отчаяние. „Теперь я потихо ёку вхожу в круг, — писал он, — при мне начинают говорить такие (вещи), которые только мыслимы при доверии. Черкезов рассказал о моей работе, и на меня смотрят главари как на своего. И как раз в это время я должен от них сторониться, за неимением возможности не только купить кружку пива, но даже обед. Всё, что имел с собою — брошки, серьги, кольца, часы, как свои, так и женыны, заложено. Показать перед вашими свое безденежье не могу, чтобы не сгубить всего. Я им сказал, что живу из процентов своего капиталца. Сказать, что мне присылает брат, невысказано, так как не поверят и прямо скажут, что получаю от правительства. Продолжение такого существования невысказано, и я прошу или высылать содержание или отозвать меня в Россию. Здесь я потерянный, без денег, без документов и без возможности заработать. Сегодня месяц и двадцать дней, как не плачу ни в булочной, ни в лавках. Везде кредит закрыт. Я в отчаянии. Не имею семьи, продал бы что можно и бежал домой. Клянусь, что вы не можете и половины представить моего отчаяния. Во имя человечества прошу спасения“...

Неизвестно, что тронуло больше чувствительные сердца сиятельных лоботрясов, — вопль шпионского отчаяния или шпионская вера в человечество.

Но внезапно, словно в феерии, события приняли совсем другой оборот, и надобность в „человечестве“ устранилась. Помогли те 50 фр., которые месяца полтора назад Климов дал Ельпидину для Черкезова; выяснилось случайно, что Ельпидин этих денег Черкезову не передал и ничего о них ему не сказал. Вышло, что Ельпидин эти деньги утаил, а когда история всплыла наружу, то Ельпидин сказал, что Климов врет. А Климов предъявил расписку Ельпидина, — и пошло... И Ельпидин и Черкезов принадлежали уже, в сущности, к числу „бывших людей“ в революции, и в серьезных революционных кругах авторитетом они не пользовались. Но Ельпидин был всё же редактором „Общего Дела“, издателем революционных книг и брошюр, Черкезов был близок к Кропоткину и анархистам, группировавшимся вокруг журнала „Revolte“. Для широких кругов они-то и представляли эмиграцию. Их имена фигурировали в заграничной печати, и русское правительство в невежестве своем приписывало им невесть какую роль. Скандал получился поэтому громкий. Эмигрантский муравейник, изнывавший от безделья, зашевелился — и закипели собрания, кружки, сходки. И в центре был Климов, — благородный и обманутый герой. Захлебываясь от восторга, он писал 1 июня: „Вчера было собрание у Грессо. Мнения разделились, — одни требуют, чтобы я подал жалобу в полицию за мошенничество; другие признают нужным третейский суд. От первого и я и Черкезов отказываемся, мотивируя отказ тем скандалом, который неминуемо падет на социалистов, где Ельпидин считался вожаком; на третейский суд мы оба согласны. Сегодня телеграммой вызван Соколов из Кларана. Ельпидину никто не кланяется, все эмигранты, его подписчики, отказались от его библиотеки и забрали залог. Он ходит как убитый. Завтра, т.-е. в субботу, должен быть суд“. Приговор суда неизвестен, но после суда Климов писал всё в том же упорении своим успехом: „Сегодня совершилось полное падение Ельпидина. Он отказался подчиниться третейскому суду. Черкезов сделал на расписке его следующую надпись: „Душевно сожалею, что г. Ельпидин именем моим занимает деньги, тогда как я его на то не уполномочивал. При чем свидетельствую, что деньги от Ельпидина, врученные ему m-me Климовой для передачи мне, не получал. В. Черкезов. 2 июня 1882 г.“. Вся эмиграция до крайности возмущена. Все вслух называют его вором. Отказ от третейского суда породил какое-то подозрение. Отречение мое преследовать его судебным порядком, из нежелания компрометировать эмиграцию и русских социалистов, имело свое действие. Я стал в глазах социалистов высоко. Все высказываются в пользу мою, не исключая его друзей... Ручаюсь, что добыю Ельпидина, а с ним вместе подорву доверие к „Общему Делу“.

Успех кружил Климову голову. Бывший исправник не лишен был полета фантазии и уже на следующий день писал:

„Мои дела идут очень и очень хорошо. Говорю это, не хвалясь. Признаю нужным издание под моей редакцией социальной газеты. На нее потребуется 500 фр. в месяц, т.-е. 200 руб. Прошу обсудить это предложение. Газета должна быть самого огненного содержания. Выходом ее я убью

„Общее Дело“ и сам стану во главе террористов. Когда достигну желанного, то попрошу, чтобы было влияние на федеральное правительство о запрещении мне издания под угрозой изгнания из Швейцарии. Достигнуть это можно не более как в 4 месяца. Уверен, что иду по прямой дороге. Сотрудники будут самые рьяные“...

И в следующих письмах Климов торопит священную дружину с решением вопроса, уговаривает ее не терять времени, прислать деньги и организовать доставку из Петербурга „красного материала“. Но в Петербурге сначала колебались. Предложение Климова, правда, соблазняло, некоторые члены св. дружины увлекались не меньше, чем он, но другие были более благоразумны и видимо сомневались в том, чтобы из бывшего исправника вышел новый Герцез. Кроме того, в Женеве выходила уже одна газета священной дружины, „Вольное Слово“, и доставляла она почтенным лоботрясам не столько утешение, сколько тревогу. Граф П. П. Шувалов стоял за то, чтобы новой газеты под редакцией Климова не начинать, а предложить Климову купить „Общее Дело“ или войти соучастником в ее издание. Однако, оппозиция Шувалова была слаба, и кроме того он уехал в Мариенбад лечиться, а князь Щербатов дал и благословение свое и деньги на газету Климова.

Лето ушло на подготовку. Климов, не полагаясь на свою грамотность, думал сначала пригласить редактором Черкезова, но потом решил с этим выждать. Черкезов был приглашен в качестве хотя и негласного, но главного сотрудника. Газете дано было громкое имя „Правда“. Эмигрантская публика присматривалась с недоумением, но в 1862 г. состав эмиграции был пестрый, и сколько угодно водилось вольно-практикующих, ни к какой партии не приписанных революционеров, которых и вся-то революционность выражалась больше в том, что они шумели по кофейням и писали иногда елобочупные противоправительственные, а в сущности политически-безвредные памфлеты. Славился между ними ныне прочно забытый и никому неизвестный, а в свое время популярный публицист Алисов, — бывший русский барин, пытавшийся с негодными средствами изображать русского Рошфора. Был еще некто Сидорацкий, — вздорный и полусумасшедший графоман, ставший впоследствии и окончательно сумасшедшим. Определенных подозрений против Климова не было; он не хуже был, пожалуй, чем некоторые иные... Все же люди приличные от него сторонились, а кто и оказывал содействие, нуждался в деньгах, скрывал это.

Климов не замечал, что к нему приглядываются внимательно. Он хлопотал, раздобывал материал, писал замечательные по безграмотности статьи и пребывал в радужном настроении. Один только раз счастье его было омрачено. В табачном магазине он встретил как-то Ластовского, поляка, курского помещика и соседа по имени отца Климова. Климов от разговора уклонился, да и Ластовский не склонен был разговаривать. А затем пришел к Климову тот самый Рапацкий, который так хорошо „шпеков“ бьет, и сообщил, что Ластовский весьма удивлен встречей с Климовым в Женеве и что, хотя ничего о Климове сообщить не может, но сомневается в том, чтобы Климов

был политический эмигрант и террорист. Повидимому, мысль об убедительных кулаках Рапацкого некоторое время не давала покоя Климову, и он всё просил, чтобы выслали из Петербурга розыскной циркуляр полиции о нем. Руби у Рапацкого несомненно чесались, но положительных данных для расправы с Климовым все-таки не было.

8 августа 1882 г. вышел, наконец, первый номер „Правды“. Вопреки всяким ожиданиям синица моря не зажгла. Дебют оказался пустым и бесцветным. Неудивительно: сам Климов ничего путного написать не мог и осторожно назвал свою газету органом чисто информационным. Статей в первом номере нет, а хроника заимствована большею частью из иностранных газет. Есть сведения и от „собственных корреспондентов“ из России, но пена им ровно грош. Таким путем в террористические круги, куда стремился Климов, попасть было трудно, и поэтому вся газета изукрашена архиреволуционными и кровожадными выпадами против царя. Александр III был возлом отпущения за грехи вульгарности и невежества лоботрасов, и можно с уверенностью сказать, что никакие революционеры не измыслились так грубо и беспардонно над личностью обожаемого монарха, как его собственные сыщики. Газету надо было заполнять литературным материалом, а его не было. Из Петербурга присылали мало, с запозданием, и такую же трескучую дребедень. Со второго номера Климов стал печатать предлинные статьи из „L'Intransigeant“ о русской тайной полиции,—свежести в этом было мало. Еще хуже: он стал перепечатывать революционную хронику из „Вольного Слова“, в чем был немедленно изобличен. Чтобы не стать жертвой насмешек, оставалось одно: хлестать посильнее по царю и требовать его убийства. Это и делал Климов. В „Правде“ Александр III именовался не иначе, как „коронованный тромбонист“, и Климов запрашивал на потеху публике: „говорят, что Александр III последнее время особенно занят разучением на тромбоне похоронного марша. Уж не инстинктивное ли это предчувствие?“ „Царь-Митрофанушка“, „Немезанный истукан“, — так называли в „Правде“ царя и рассказывали о том, что он сперепугу целый день пьет водку, а в Александрово-Невскую лавру его могли отвезти, только уложив пьяным в карету. Как-то на пути царского поезда неправильно поставлена была стрелка, и поезд едва не потерпел крушение. Царь отделался испугом. „Дуракам — счастье“, — кратко заметила по этому поводу „Правда“. Не щадили и царской семьи. „В семейке Романовых есть всё, чего хочешь, — писала „Правда“, — и казнокрад Костя, и мелкий ворышка Николай Константинович, и мот дядя Николай и тому подобные позорные личности“. В особенности доставало вел. кн. Николаю Николаевичу. „Милый развратник-даденька“, укорял его Климов и рассказывал, что „Николай Николаевич всю свою жизнь провел в кругу пьяниц и публичных женщин... Через Числову (танцовщицу) обделывались все интендантские кражи“ и т. д.

Эмигрантской публике третьего сорта эта вульгарная бойкость нравилась, и среди нее Климов имел успех. Он поэтому воображал, что газета действительно произвела сильное впечатление на революционные круги, и хвастался

в своих письмах в Петербург невероятно. Правда, временами, перечитывая свою газету, он сам приходил в ужас и писал: „Вообще „Правда“ приносит мне много горя. До выхода ее в свет я не думал, что мне будет так тяжело и больно читать выходящее из моих рук про тех, кто дороже жизни. И пусть мне будет прощено мое невольное преступление в виду святой цели и верной службы государю. Часто, перечитывая статьи, я просто схожу с ума, но в конце концов должен покориться обстоятельствам. Прошу, как милости, о высылке мне материала, что даст мне возможность некоторые, окончательно мерзкие статьи, не помещать, отговариваясь неимением места. Помещая Ваши статьи, я могу прямо ответить, что не в праве не помещать статей своей группы“.

Неизвестно, читал ли Александр III „Правду“. Вероятно, читал. Царствующие особы всегда проявляли интерес к этого рода литературе. Агентурные сводки священной дружины поступали регулярно на просмотр царю. Доходила, надо думать, „Правда“ и до высших сановников, и каково было, например, всевластному градоначальнику Грессеру читать о том, что его в укромном месте оскорбленный любовник какой-то приятной дамы со щеки на щеку хлестал, — тем более, что так оно в действительности и было, и не смела об этом ни слова сказать ни одна газета, кроме своей же полицейской. Но и Александр III, и великие князья, и министры, — все терпеливо сносили обиды и насмешку ради великой и „святой цели“: чтобы дать Климову возможность стать во главе террористов. А Климов писал о том, что он уже завязал переписку с Ткачевым, редактором „Набата“, и сам Дейч выражал дважды желание познакомиться с ним, Климовым, и уже назначено у них свидание где-то в окрестностях Кларана. О Черкезове и говорить нечего. Он, правда, всё еще не хочет подписываться под статьями, боясь себя скомпрометировать, но Климов уже третировал его пренебрежительно, а о мелкой эмигрантской публике прямо говорил: „сволочь“. Несомненно, Климов в своих донесениях врал на три, если не на все четыре четверти. Ткачеву он, может быть, и писал, но ответа от Ткачева не получил, а свидание с Дейчем не состоялось, — повидимому, и не назначалось. В Петербурге лоботрясы всему верили и козыряли перед конкурентами из министерства внутренних дел широкими планами, которые развертывал Климов. А он разливался соловьем:

„Партия анархистов (бакунинцев), которых, правнее выражаясь, надо назвать кружок, к „Правде“ относится сочувственно, но принимать активного участия не решается, из боязни в преступлении против святого духа, т.е. что я не разделяю с ними учения о коммунистическом устройстве всего мира, Следовательно, если они примкнут ко мне, то, по их мнению, они значит будут отступниками своих учений. Обращать особое внимание на них не стоит. Крик их незначителен, и сами они не любимы.

Интересней всего это партия народовольческая, где фигурируют: Лавров, Засулич, Дейч, Ткачев, Виктор Иванович Басов и др. Хотя во взглядах политико-экономических и расходится, но зато принципы революционной борьбы у них одни. К партии этой уже перешла часть бакунинцев.

Партия эта для меня самая интересная: а) в ней все относится с доверием, б) более-менее она состоит в соприкасательстве с партией народолюбцев в России и ей известны кое-какие затеи русских, в) этой партии боится „Общее Дело“ и заискивает, хотя ненавидит. Сблизись с ней и сделав „Правду“ ее органом, я употреблю меры к слиянию „Правды“ с „Общим Дело“.

Вот программа, к которой я теперь стремлюсь.

Думаю, что этим путем мне будут доступны все душевные тайники. Уже самый выход „Правды“ принес большую пользу. Все сомнения касательно меня разрушены, чувствую себя прочно в Женеве.

Вчера Вася (блондин, лет 30 — 35, небольшого роста), фамилии не знаю, сообщил мне, что Дейч, живущий в Кларане, желает познакомиться. Что Ельпидий, не принимавший прежде корреспонденции от бакунинцев, теперь хотя и не редактор, бегает и просит сотрудничества. При отказе с злобой говорит всем: „Ай новым соблазнились, в надежде великих милостей от Климова? Желаю успеха“. Жеманов интересуется „Правдой“.

Что касается „Вольного Слова“, то они ругают „Правду“, упрекая ее за мягкость и отсутствие научных статей. Спасибо им за это. Брань В. С. дороже денег в мнениях редакции...

Климов, конечно, весьма преувеличил впечатление, произведенное первым номером „Правды“. Верно, пожалуй, что сомнения относительно его личности несколько поколебались, и внесена была действительно деморализация в среду пишущей эмигрантской братии, часть которой не могла устоять перед соблазном климовского гонорара. Но столь ничтожный результат не оправдывал затеи, а главное, — не открывал еще пути в террористические сферы. Граф П. П. Шувалов, находившийся в это время в Марленбаде и не знавший о „Правде“, немало был озадачен выходом ее в свет. Получив письмо от Климова, — или Николаева 2-го по условной его кличке в священной дружине (Николаевым 1-м был, повидному, Мальшинский), — Шувалов переслал письмо кн. Щербатову и со своей стороны 14 августа писал:

„Вот письмо, только что полученное и объясняющее происхождение газеты „Правда“. Должен сознаться, что я не понимаю этой комбинации. Было решено содействовать Н-ву в приобретении „Общего Дела“, что представляло большую важность. Но издавать новый террористический орган представляется мне крайне странным. Если же это предприятие имеет чисто агентурную подкладку, то оно шито белыми нитками, так как шрифт и качество бумаги прямо указывают на типографию В. С. — Очевидно, что это одного поля ягоды, т. е. дело Земского Союза. К чему же было создавать новый орган, а не печатать дурацкие статьи Н-ва в старом...“

О графе Шувалове писали много В. Я. Богучарский и Б. А. Кистяковский и создали о нем несколько одностороннее представление, очень выгодное для Шувалова, который оказался чем-то вроде русского маркиза Позы, пытавшегося конституционно обогородить и придворные сферы и священную дружину. И приведенное выше письмо Шувалова как будто говорит в его пользу: он против издания провокаторски-террористического органа, статьи Климова

*

называет „дурачками“, а „Вольному Слову“ очевидно не навязывает агентурных задач. Ошибался Шувалов, думая, что „Правда“ издается в той же типографии, что и „В. Слово“. Набиралась и печаталась „Правда“ в Женеве, в типографии Трусова, там же, где и „Общее Дело“.

Колебался Шувалов недолго. Вскоре у него побывал лично Климов, и после дружеской беседы наладилось полное согласие. Шувалов поверил точно так же, как и другие, что Климову удастся сделать „Правду“ народовольческим органом. Он не только одобрил дальнейшее издание „Правды“, в том же духе, но и дал деньги, — 1.000 франков и принял непосредственное участие в провокаторской работе.

Еще до выхода в свет газеты Климов говорил всем, что он принадлежит к какому-то в высокой степени конспиративному террористическому обществу в России. В доказательство показывал письма, которые он получал от своих друзей. И теперь Шувалов написал письмо, которое было напечатано в „Правде“ как корреспонденция из Петербурга. Шувалов упрекал „Правду“ за чрезмерную „мягкость“ и требовал более решительной пропаганды террора. Однако это не так легко было сделать. Климов принадлежал в ругательствах против царя, — и всё же в четвертом номеру „Правда“ окончательно выдохлась и решительно никому не могла быть интересна. Предстоял позорный конец, — выручило, однако, неожиданное обстоятельство.

Тайная официальная полиция, которая все время вела подпольную борьбу с дилетантами политического смысла, решила на выступление. В министерстве внутренних дел была составлена известная докладная записка „о противоправительственных обществах не столь вредных“ ¹⁾. Речь в ней шла о конституционалистских земских кружках, об украинофилах, о „земском союзе“, созданном священной дружиной, о „Вольном Слове“ и Драгоманове. Полицейская записка намекала на то, что священная дружина сознательно взяла конституционное движение под свою защиту. Прямого обвинения не было, но в это же время кружок Победоносцева и Толстого распространял в придворных сферах слухи о конституционных честолюбивых замыслах гр. Шувалова. Записка, конечно, стала священной дружине немедленно известна, и вот в пятом номере „Правды“ появилось письмо из Петербурга, взбудоражившее сразу всю эмиграцию. Письмо уличало Драгоманова, — имя его не было названо, — в тайной связи с правительством, которое решило будто бы поддержать конституционное движение, чтобы отвлечь революционеров от террора. Письмо обнаруживало знакомство с полицейской запиской, но то, что записка приписывала священной дружине, „Правда“ взваливала на третье отделение.

Письмо в „Правду“ написал Шувалов, и в подлиннике имя Драгоманова было названо полностью. Была и ссылка на полицейскую записку. Но Черкезов и другие убедили Климова не печатать имени Драгоманова, пока не придет из Петербурга уличающий документ. Шувалов остался

¹⁾ Об этой записке см. В. Я. Богучарский „Из истории политической борьбы в 70-х и 80-х годах“, с. 391.

этим недоволен, и в следующих номерах „Правды“ имя Драгоманова появилось полностью. Таким образом именно Шувалов поддерживал подлую кампанию против Драгоманова, — и трудно сказать, какие у него были при этом намерения.

О впечатлении, произведенном сенсационным разоблачением, можно судить по такому донесению Климова 15 сентября:

„Сегодня в 7 ч. утра Черкезов был у меня. Когда я дал ему читать письмо и он прочел первую страницу, то можно было думать, что он умирает. Бледный как полотно, с дрожащими руками, с глазами, налившимися кровью, он задыхаясь остановился и не мог читать дальше. Не продолжая чтения дальше, он возвратился к началу и несколько раз повторил: „документальное доказательство, связь с полицией“. Успокоившись немного, он дочитал письмо уже более спокойно, при чем на довод Ваш, что конституция отодвигает надолго революцию, возразил: „ошибка“. Когда было письмо окончено, я спросил его мнения, что он думает. „Если Вы получите документы или указание, сколько и через кого получается на издание В. С., подкрепленное хоть чем-нибудь, то я напишу сам обвинение и подпишу свою фамилию. С Вашей же стороны будет обязанность напечатать документы“. После толков, как и что надо предпринять, мы остановились на решении молчать и не говорить ни слова до получения документов, так как, не имея их в руках, предпринимать ничего нельзя из опасения, что вся истина может быть перетолкована как провокация, с добавлением, что „Правда“ издается с этой целью.

Надо принять во внимание, что мнение о В.-Словцах такое: Мальшинский шпион. Драгоманов конституционалист, но не хочет сознаться в оплошности, через которую он попался на удочку шпиона, в душе же он истинный враг русского правительства; что у него много сторонников, которые захотят осязательных данных.

Жаль, что в письме Вы не упомянули о Мальшинском. На это было обращено внимание. Я объяснил, что он признается шпионом, для которого жаль тратить время и бумаги. Объяснение принято во внимание. Жду политичного и указаний.“

Пятый номер наделал, естественно, шуму чрезвычайного. Хотя руководящие революционные круги и разошлись с Драгомановым, но относились к нему все с таким уважением, и репутация его была так высока, что прямое обвинение в связи с полицией всех взволновало. Тираж „Правды“ сразу увеличился, и в Петербурге этим обеспокоились. Климову предписано было пускать в продажу не более сотни номеров, а остальные высылать через Кенигсберг якобы в Россию, а в действительности для уничтожения. В скором времени Климов получил и полицейскую записку, — ту ли, которая была в 1883 г. опубликована в „Общем Деле“, или другую, неизвестно, — но с указанием не опубликовывать ее впредь до особого распоряжения. Записку эту Климов под величайшим секретом показал Черкезову, Ельпидиу и др., и состоялось по этому поводу даже таинственное их собрание.

„25 сентября, в 6 ч.,—писал Климов,—состоялась сходка, на которой участвовали: Ельпидин, Жеманов, Черкезов, Христофоров, Климов и Яков Семенов. Сходка была в библиотеке Ельпидина, при чем окна и двери были заперты; полицейская записка была сверена с рукописью Черкезова. Семенов настаивал тотчас же приступить к печатанию. Климов доказывал невозможность до получения условного письма из России... Решено ждать письма... Прошу сообщить спустя неделю, что в государственную полицию получено донесение из Женевы, что Климов имеет сообщение с Петербургом и что им получен какой-то документ, выкраденный из государственной полиции, что документ очень важный и что он является уликой против В.-Словцев, но что почему-то его ждут оглашать. Что Крапивин (псевдоним Мальшинского) прислал даже телеграмму Оржевскому (шефу жандармов), прося принять меры к ограждению на будущее время“.

Климов ходил именинником. Положение его как будто упрочилось. Черкезов взял на себя фактическое руководство журналом за 100 фр. в месяц, и удалось привлечь к сотрудничеству старого революционера-бунтаря, Григорьева, замечательно бездарного революционного поэта. Он забарабанил в следующих номерах, а Черкезов в статьях без подписи стал разоблачать опасность для революции от конституционных замыслов и от политических требований. Но анархизм уже выходил из моды; к Драгоманову, хотя и относились враждебно, но прислушивались.

В действительности положение Климова осложнилось. О нем всюду заговорили, и неотступно вставал вопрос, что же это за группа, обладающая такими средствами и связями, умеющая добывать секретные документы, издающая газету и т. д. Никому в России она не была известна, члены ее ни разу не попадались и не были арестованы. 9 октября Черкезов прямо поставил этот вопрос перед Климовым, и Климов объяснил, что „группа всего год с небольшим существует; что действия ее пока ограничивались пропагандой в среде экономической; что она ведет дела крайне осторожно, но что несмотря на все это уже некоторые члены попали под надзор“.

Черкезов этим объяснением как будто удовлетворился. Климов, однако, перетрусил не на шутку и просил свящ. дружину немедленно принять меры, которые могли бы рассеять сомнения эмиграции. „Вступаю в самый рискованный период,—писал он,—прошу поддержки и действиями и советами“.

В октябре вся Европа взволнована была взрывом бомб в Лионе, и началось повсюду свирепое преследование анархистов. На швейцарское правительство посыпались обвинения в том, что оно укрывает опасных заговорщиков,—в том числе русских, Кропоткина и Черкезова. Некоторые заметки в „Правде“ были истолкованы как проповедь бомбометания. Черкезов временно скрылся, а Климова вызвали к себе швейцарские власти и допрашивали его о связях с Кропоткиным, Реклю и другими видными анархистами. С одной стороны, это чрезвычайно подымало кредит Климова в глазах эмиграции. За ним стала следить французская тайная полиция, доносившая между прочим о своих наблюдениях священной дружине и работавшая по заданию:

русской полиции. Шпиовы гнались за шпионами, шпиовы разоблачали шпионов,— и никакого собственно толку в этом не было. Серьезные революционные круги были весьма недовольны причастностью русских эмигрантов к активному французскому анархизму, и радикализм „Правды“ смущал и вызывал тревогу.

Петербургские лоботрясы не останавливались ни перед какими препятствиями. Шувалов сейчас же изготовил новую партию с новой программой, и Климов вскоре мог сообщить своим друзьям, что партия его называется „социалистами-общинниками“, а программа начнет печататься с ближайших номеров „Правды“. Конечная цель социалистов-общинников заключалась в организации союза земледельческих артелей,—это куда бы еще ни шло; но надо было эту почтенную цель связать с революционным и социалистическим движением, на что требовалась уже некоторая умственность. По этой части лоботрясы были слабоваты. Салтыков о них писал: „Образование Ама-лат-Беки получили более чем умеренное; из географии знают только города Европы, где были „счастливы“; из истории слышали, „que poux dansons sur un volcan“. В области прочих знаний они знакомы лишь с „наукой о подмывании лошади хвостов“, но и тут не следят за новейшими в этой сфере открытиями, предоставляя это вахмистрам и денщикам. Каким образом эти люди напали на мысль, что их настоящее дело—внутренняя политика, это я вам объяснить не умею, но, представьте себе, они напали“.

Программа социалистов-общинников должна была заключать в себе нечто аграрное и нечто солидное. И получил Климов из Петербурга в развитие и обоснование своей архиреволюционной программы три статьи:

— О пропаганде земледельческих машин.

— О соблюдении осторожности при пропаганде мер искусственного удобрения, и

— Об искусственном травосеянии, как факторе общинно-артельной эволюции в России.

Первые две статьи были напечатаны в №№ 6 и 7 „Правды“, и после этого Климов доносил с прискорбием в Петербург, что недоумение в революционных кругах не только не уменьшилось, а напротив, принимает угрожающие размеры, и нужны на-ряду с мерами искусственного удобрения какие-то другие меры—более революционного свойства.

В виду беспомощности Климова в подкрепление прислан был ему специальный „идеолог“, некто под вымышленным именем Ивана Васильевича Троицкого, личность загадочная, мелькнувшая в Женеве и улетучившаяся прежде, чем Рапацкий успел мобилизовать свои внушительные для „шпеков“ личные средства. Троицкий написал статью „Чего желаем“, которая сразу же выяснила физиономию „Правды“ и произвела, действительно, глубокое впечатление. Статья началась с брани крупного калибра по адресу конституционалистов и вообще „политиков“ и недостаточно решительных террористов. Социалисты-общинники требовали немедленного и полного разрушения государства всеми средствами. „В высшей степени полезными,— писал Тро-

ицкий, — должны быть признаны: войны, восстания в окраинах, аграрные смуты, государственное банкротство, голод, мор, гарь и все вообще крупные национальные несчастья, неудачи и колебания... Большую пользу могут принести слухи о переделе земель, хотя бы в силу царской милости. Вполне своевременными признаются: порубки, потравы, стачки с.-хоз. рабочих, порча скота и орудий, принадлежащих личным собственникам, поджоги, личные нападения на собственников... Аграрный террор желательно направлять не столько против жестоких эксплуататоров (обыкновенно разоренных), сколько против представителей цветущих хозяйств (обыкновенно более гуманных)".

Грубейшая и глупейшая провокация до такой степени бьет из каждой строки этой статьи, что в сущности карьера Климova в революционной среде должна бы на этом и кончиться. Но для настроений упадка эмиграции 1882 г. характерно, что кончилась она не сразу, и целую неделю после выхода № 8 Климов пребывал в приятном заблуждении, будто радикализм программы очень понравился публике, а загадочный Троицкий не боялся встречаться и вести разговоры с видными революционерами. Однако вслед затем Климов учуял нечто тревожное в воздухе, а Троицкий благоразумно испарился. О дальнейшем ходе событий Климов довольно подробно информировал Петербург:

„Третьего дня, т.-е. 12 ноября, состоялось собрание эмиграции. Собрание было созвано Верою Засулич. Она предложила напечатать в газетах протест против обвинения русской эмиграции в французских беспорядках. Цели этого протеста были следующие: 1) поддержать женеvское кантональное правление, которое уже выразило неvдовольствие за клевету, что в Женеvе будто бы изготовляются динамитные бомбы; 2) успокоить федеральное правительство и тем придать ему бодрость в борьбе за право убежища; 3) косвенно выразить порицание Кропоткину и Черкезову за вмешательство во французские дела.

В собрании участвовало 15 человек. При баллотировке 7 были за протест, 6 — против и 2 воздержались от подачи голоса, так что предложение провалилось.

Вторым вопросом было: как следует относиться к „Вольному Слову“ и Драгоманову? На это предложение Добровольский заявил: „Господа, оставим „В. С.“ на распятие „Правде“, можно надеяться, что она его доест и без нашей помощи“.

Предложение принято единогласно, и дальнейшего обсуждения не последовало.

Третьим вопросом было: как следует смотреть на „Правду“ и в каком отношении держаться к Климову? Была прочитана из 8-10 № часть программы „Чего желаем“, при чем был возбужден вопрос: не следует ли написать порицание против проповедывания о гарь, о нападениях на владельцев, порче скота и т. п. и заявить, что русская эмиграция заграницей не только против подобной анархической меры, но даже заявляет отсутствие всякой солидарности с группой, издающей „Правду“. На это предложение последовало возражение: что это равносильно братоубийству, что если эти приемы,

практикуемые, но не подлежащие огласке, и были оглашены, то, может быть, по неопытности группы в революционном деле, но не с целью провокации, как некоторые это поняли. Что, печатая порицание „Правде“, эмиграция рискует дать возможность „В. С.“ перепечатать порицание, что равносильно содействию правительству против революционной газеты.

После заявления Гутермана, что Ив. В. Троицкий, приезжающий для содействия Климову, не скрыл от них, что он не Троицкий, но что настоящей фамилии сказать не может из боязни, что эмиграция проболтается и узнает полиция, кто такой Троицкий, а от этого будет вред не только ему лично, но и всей группе. Что его фамилия известна многим эмигрантам и что достаточно ему пойти к нескольким из них, чтобы они завтра все были у Климова.

Результатом заявления было решение: поручить Гутерману и Трусову предложить Климову назвать по секрету Ельпидину и Добровольскому настоящую фамилию Троицкого и затем, если лицо это окажется компетентным, то, приняв Климова в свою среду, по возможности оказать ему содействие по изданию „Правды“. Сходку назначить на 15 число, дав время уполномоченным переговорить с Климовым“.

Тут Климов либо сам солгал, либо солгал ему его информатор. Ни о каком содействии „Правде“ не могло быть и речи на собрании, в котором участвовали Плеханов, Лопатин, Засулич.

Уполномоченные пришли к Климову, который держал себя, повидимому, развязно и нагло: „Я ответил им, — рассказывает он: — коль скоро Троицкий сам не сказал своей фамилии, то я не только не могу открывать его, но даже и не смею... По моему это равносильно намере. Возражение мое они вполне оценили и дали слово более не допытываться, прося в свою очередь написать в своем (соц.-общ.) и просить их через местных (русских) деятелей вывести их из сомнения относительно „Правды“ и дать возможность участвовать в ней сотрудничеством... Трусов добавил, что, если будет получено письмо, то не только разговоры прекратятся, но что даже многие тотчас же придут сами ко мне для сотрудничества. На предложение это я выразил согласие, добавив, что мы ничего не имеем против эмиграции, но что, собственно говоря, для нас интересно сближение с активными группами в России для совместного содействия, и что ни я, ни моя партия не добиваемся особого знакомства с эмиграцией, и что самое издание „Правды“ предназначено для России, а не для заграницы“. В заключение Климов просил указаний для дальнейших действий — и получил жестокий нагоняй. Граф Шувалов писал ему сердито: „Из Вашего последнего письма видно, что Вы совершенно уклонились от программы отношений социалистов-общинников к русским революционерам. Вы говорите, что для нас интересно сближение с (активными) группами террористов в России, между тем вы очень ясно высказали свои опасения: 1) относительно сношений с русскими революционными кружками в России и И. К. (Исполнительным Комитетом) в особенности, опасаясь: а) погони, учрежденной полицией и дружинами, которые очень

легко могут отыскать центры вследствие в) неправильной постановки конспирации у народовольческой партии.

2) Соц.-Общ. желают умственного и нравственного общения с прочими революционными фракциями и с И. К., но не путем прямых сношений, а на нейтральной почве через редакцию „Правды“. Через ту же редакцию сообщаются сведения, полученные из полицейских источников“.

Однако желание графа Шувалова „умственно и нравственно“ общаться с революционерами запоздало. В иностранных газетах появилось такое заявление:

„Русские политические эмигранты, проживающие в Женеве, собравшись 21 ноября 1882 г. в количестве 26 человек, единогласно постановили заявить: что выходящая в Женеве русская газета „Правда“ не есть их орган, что не есть он также, насколько им известно, орган какой-либо группы русских социалистов в России или заграницей,

что идеи, провозглашаемые этой газетой, не разделяются русской эмиграцией,

что вследствие этого эта эмиграция вообще не отвечает за содержание статей, помещенных или имеющих быть помещенными в этом издании. Женеве 21 ноября. От имени собрания Г. Плеханов, Н. Лопатин, Н. Жуковский, Землинский“.

В заявлении не сказано прямо, что Климов провокатор и шпион. Драгоманов в „Вольном Слове“ (№ 50) тоже выразился условно: „Если бы это (об аграрном терроре), да и все оригинальные статьи „Правды“ печатались, напр., по-французски, мы бы ни на секунду не усумнились, что имеем дело с мушарами и агентами-провокаторами (третьего сорта, конечно) какого-нибудь бонапартизма... Но так как, мол, написаны по-русски, то возможно, что и не провокаторы, а просто отечественные самородки“...

И ведь, действительно: казалось, после убийственного заявления 26 эмигрантов Климову надо было бросить всё и бежать скорее из Женевы, памятуя не только о Рапацком, но и о более решительных способах расправы с шпионами. Но Климов не бежал. В ближайшем номере „Правды“ он заявил презрительно, что ему на „инвалидов революции“, — Плеханова, Лопатина и др., — наплевать, а Драгоманову ответил, что, если редактор и сотрудники „Правды“ агенты-провокаторы третьего сорта, то вольно-словцы — агенты первого сорта. Мало того, когда в „Journal de Genève“ появилась статья, намекающая на подозрительное происхождение „Правды“, то Климов отправился в редакцию и потребовал, чтобы ему сообщили имя автора. А мелкая эмигрантская братия франков ради продолжала работать в „Правде“, и Григорьев печатал в ней пространные свои воспоминания о встречах с Некрасовым.

Роль „Правды“ была сыграна до конца, и дальнейшее издание ее было уже совершенно бессмысленно. После публичного клеймения к „Правде“ не смел приблизиться ни один сколько-нибудь уважающий себя и уважаемый другими революционер. Остались только неуважаемые. Им обманывать, им

выслеживать Климов уже не мог. И всё же „Правда“ продолжала выходить еще целых три месяца и выпустила после номера восьмого еще двенадцать номеров. В этих номерах поэт Григорьев воспевал Перовскую, Желябова, Халтурина в стихах, напоминающих модные некогда поздравления полотеров с новым годом. В передовых статьях Климов языком ломового извозчика полемизировал с „Вольным Словом“, которое ему не отвечало. А затем попрежнему неведомые авторы называли министров „идиотами“, „ворами“ и т. д. — царя, однако, оставили в покое. Особенно доставалось Судейкину, которого именовали вежливо „собакой“ и „Малютой Скуратовым“. Судейкин не выдержал, наконец, и пожаловался министру внутренних дел, что такое обхождение с ним в шпионской газете вооружает против него революционную молодежь и мешает его собственным провокаторски-шпионским планам.

Любопытно, однако, вот что: в декабре 1882 г. священная дружина приказала долго жить, и весь ее инвентарь сыска, — в том числе и „Правда“ — перешел в министерству внутренних дел. Хозяином „Правды“ стал Судейкин, — и все же „Правда“ продолжала выходить и называть министров „идиотами“, — что было уже, собственно, искусством для искусства, так как практической пользы от этого быть не могло. В одном из последних номеров Климов напечатал залежавшуюся в портфеле огромную статью: „Искусственное травосеяние, как фактор общинно-артельной эволюции в России“, — статью даже не плохую с точки зрения агрономической, а в номере двадцатом, 13 февраля 1883 г., появилось толстыми буквами напечатанное заявление: „Издание газеты „Правда“ прекращается навсегда. Ответственный редактор Н. Климов“.

Из Женевы Климов уехал благополучно — к немалому, вероятно, приискорбю Ранацкого — и канул в неизвестность. Затем газета „Балтийский Федералист“ впервые открыто назвала его полицейским провокатором, и с тех пор утвердилось мнение, что „Правда“ издавалась „третьим отделением“ или его преемниками. Так писал о „Правде“ и В. Я. Богучарский. Впоследствии стало известно, что „Правду“ издавала священная дружина, но предполагалось, что издавало ее правое крыло в противовес левому, шуваловскому крылу, издававшему „Вольное Слово“. Теперь можно утверждать с достоверностью, что руководил архитеррористической и вульгарно-провокационной „Правдой“ тот же либеральный, изысканно-конституционный граф П. П. Шувалов, который поддерживал „Вольное Слово“ и имел негласные связи с подлинным земским движением, — достойный отпрыск жандармской династии Шуваловых.

Д. Заславский.

Иван Окладский в Тифлисе.

В № 10—11 „Былое“ (1918, кн. 4—5) Н. С. Тютчев дал любопытные сведения о далеко не обыденной карьере одного из крупнейших и злобнейших предателей 80-х гг.,—Ивана Окладского, своими показаниями отправившего на каторгу и на эшафот многих видных деятелей „Народной воли“. Но эти сведения И. С. Тютчева далеко не исчерпывающие; материал, которым располагал автор, давал ему возможность набросать только общую схему „жизненного пути“ Окладского; целый же ряд отдельных моментов в карьере этого едва ли не самого долговечного из деятелей охранного розыска (37 лет на службе в тайной полиции!) до сих пор остается совершенно неосвещенным.

К числу таких моментов в первую очередь следует отнести годы пребывания Окладского в „ссылке“, в Закавказьи (1883—88 гг.). Об Окладском за этот период из статьи Н. С. Тютчева мы узнаем лишь, что он там работал в ж.-д. депо в „Тифлисе или Александрополе“ и „старался, по мере возможности, быть полезным местному жандармскому управлению“ („Былое“, № 4—5, стр. 223—224). Счастливый случай дает нам возможность в известных пределах заполнить этот пробел: недавно, перебирая дела уцелевшей части архива Тифлисского Губернского Жандармского Управления, нам удалось наткнуться на дела, проливающие некоторый свет на „тифлисский“ период жизни Окладского; с имеющимися в этих делах данными мы и познакоим сейчас читателей „Былого“.

Первое из этих дел — „Дело об Иване Иванове, высланном из С.-Петербурга в местность Закавказского края“¹⁾ — открывается письмом директора Департамента Государственной полиции В. К. Плеве (от 24 декабря 1882 г. за № 723) на имя начальника Тифлисского Губерн. Жандарм. Управления (повидимому, полк. Некарского); в этом письме В. К. Плеве сообщает, что „по высочайшему повелению от 15 октября 1882 г. лишенный всех прав состояния по обвинению в государственном преступлении мещанин Иван Иванов подлежит ссылке на поселение в местности Закавказского края“, куда

¹⁾ № 2 за 1833 г.; по секретному отделению.

он теперь и препровождается; уведомляя об этом начальника Тифл. Губерн. Жандарм. Управления В. К. Плеве просит телеграфно известить его о „благополучном прибытии названного лица в Тифлис“.

Уже эта заботливость В. К. Плеве о „благополучном прибытии“ ссыльного заставляет полагать, что речь идет не об обыкновенном смертном; приписка, которую сопровождает цитируемая бумага, разъясняет причины такой заботливости; в ней мы читаем: „К сему считаю долгом присовокупить совершенно конфиденциально²⁾, что прибытие Иванова на Кавказ должно быть сохранено в тайне, так как в виду услуг, оказанных им государственной полиции, в случае обнаружения его местопребывания, ему может грозить мщение со стороны отдельных личностей; самое же пребывание его на Кавказе при изложенном условии может принести в будущем несомненную пользу“.

Лиц, оказавших столь важные „услуги“ Департ. Госуд. Полиции, в начале 80-х г. г. было очень немного; теперь мы их всех знаем наперечет, — и среди них „мещанина Ивана Иванова“ не имеется. Это, несомненно, псевдоним, под которым скрывалось в те годы лицо с более „славным“ именем. Сопоставление же имеющихся в тифлисском деле дат об „Иване Иванове“ с датами, приводимыми Н. С. Тютчевым об Иване Окладском (время замены по „высочайшему повелению“ ссылки в Сибирь ссылкой в Закавказье, а также даты возвращения „Иванова“ в Петербург), позволяет с несомненностью установить, что под псевдонимом „Ивана Иванова“ в данном деле скрывается никто другой, как И. Окладский.

Из дальнейших документов, хранящихся в деле, мы узнаем, что Иванов-Окладский „в пути задержался“, — выехав из Петербурга 31 декабря 1882 г., в Тифлис он прибыл только 30 января 1883 г.; причиной этой медленности была временная задержка Окладского в Харькове („по распоряжению товарища министра внутренних дел ген.-лейт. Оржевского“), — конечно, для оказания дальнейших услуг государственной полиции, — и только „по миновании надобности“ он был отправлен дальше.

Тифл. Жанд. Управление, согласно предписания Директора Деп. Гос. Пол., отнеслось к прибывшему с большим вниманием. Немедленно по прибытии Иванова-Окладского в Тифлис начальник Тифл. Жанд. Упр. шифрованной телеграммой уведомил об этом Департамент Государств. Полиции. Освобождение Окладского из тюрьмы (Метехского замка) состоялось 1 февраля, причем ему было выдано на руки 140 руб. 61 коп. имевшихся с ним его денег; „вследствие изъявленного им желания“, Иван Окладский, по соглашению начальника Тифлис. Жанд. Упр. с и. д. главноначальствующего краем, был оставлен в Тифлисе; улажен был и вопрос о виде на жительство. Иванов-Окладский получил паспорт на имя мещанина Екатеринославской губ. г. Новомосковска Ивана Иванова Александрова, — „фамилия Александрова“ — поясняет начальник Тифл. Губ. Жанд. Упр. в своем донесении в Департамент от

²⁾ Курсив подлинника.

5 февраля 1883 г. (за № 46)—присвоена ему потому, что он в конце 70-х гг. под этой фамилией жил близ города Тифлиса, работая в мастерских в Потти-Тифлисской железной дороги, и, следовательно, легко может случиться, что Иванов встретится с кем-либо из прежде его знавших под этой фамилией". При получении паспорта были соблюдены все меры предосторожности,—„само собою разумеется,—прибавляет начальник Тифл. Жанд. Упр. в только что цитированном донесении,—что полицеймейстер, выдавая вид, совершенно не знал, для кого таковой предвзначается. Ему и. д. главноначальствующего только приказал написать вид и для выдачи по принадлежности передать мне".

В заключение этого своего донесения, начальник Тифл. Губ. Жанд. Упр., сообщая о намерении Иванова-Окладского поступить слесарем на какой-либо завод, просит инструкции: „покорнейше прошу ваше превосходительство почитать меня разъяснением в случае заявления Иванова, о чем он меня уже предупредил, ему представится надобность (отлучиться) в другие места Кавказа, должен ли я это безусловно разрешать и не следует ли о каждом выезде Иванова доносить Вашему Превосходительству".

Разъяснение не замедлило последовать—и самое благоприятное для Иванова-Окладского: бумагою от 16 февраля 1883 г. (за № 101) директор Деп. Госуд. Полиции уведомил начальника Тифл. Губ. Жанд. Управления, что препятствий к поездкам Иванова-Окладского в пределах края ставить не следует; нужно лишь всегда знать, где он находится:—„представляется необходимым, чтобы Ваше Высочайшее всегда знали, где будет находиться означенное лицо, и чтобы о выездах его в известные местности своевременно доставлялись бы Вами сведения в Департамент Полиции".

Первые месяцы своего пребывания в Тифлисе Иванов-Окладский не состоит на службе в местном жандарм. управлении,—повидимому, он занят хлопотами по устройству на новом месте; но это тянется очень недолго, уже в апреле того же 1883 г. он предлагает жанд. управлению свои услуги в качестве агента; в донесении начальника Тифл. Губ. Жанд. Упр. от 25 апреля 1883 г. (за № 215) мы читаем:

„Известный Вашему Превосходительству Иванов на-днях заявил мне желание служить агентом при вверенном мне Жанд. Управлении, причем поставил условием, чтобы ему ежемесячно выдавалось определенное жалованье в размере 40—50 руб."; сообщая об этом заявлении Иванова-Окладского на усмотрение директора Департ. Полиции, начальник Тифл. Губ. Жанд. Управления прибавляет, что „со своей стороны" он полагает, что „исполнение желания Иванова может принести несомненную пользу". Департамент Полиции одобрил это мнение,—в его ответной бумаге мы читаем; „предложение, сделанное известным Ивановым, следует принять" (от 5 мая 1883 г. за № 309 „по части секретаря"), и Иванов-Окладский, доселе бывший лишь, правда, крайне злостным предателем, становится платным „сотрудником" Тифлисского Жанд. Управления.

Сведений о деятельности Иванова-Окладского на этом поприще в данном деле не имеется; в нем вообще после цитированной выше бумаги сле-

дует пропуск на 5½ лет, — следующий документ относится к концу 1888 года. Но некоторые данные о „работе“ Окладского в Тифлисском Жанд. Управлении в архиве последнего все же сохранились, а именно в деле со „сведениями, полученными агентурным путем“ ¹⁾. Надо заметить, что за прежние годы в Тифл. Губ. Жанд. Управлении таких дел вообще не имелось, местные „сотрудники“, если они там и были (кое-какие указания на это в делах встречаются), давали слишком скудные сведения, чтобы из-за них стоило заводить особые дела; Иванов-Окладский внес в это дело „живую струю“.

Это последнее дело знакомит нас с маленькой попыткой создания в Тифлисе в 1883 г. революционной организации. В марте 1883 г. в Тифлис прибывает некто Александр Семенов, привлекавшийся в 1881—82 гг. в Петербурге по делу о революционной пропаганде среди рабочих и высланный в административном порядке под надзор полиции в Тифлис на 3 года. Наблюдением Тифлисского Жандарм. Управления, — сообщается в докладе начальника последнего, посланном в Департ. Полиции 20 июля 1883 г. (за № 8, лист дела № 8), — установлено, что Семенов и в Тифлисе „продолжает свою преступную деятельность“; он „старается сходить с лицами, политически неблагонадежными и, вместе с тем, вербует лиц, которые по его мнению могут быть полезными для преступной деятельности. Семенов мечтает устроить в Тифлисе тайную типографию, подделывать паспорта и фабриковать динамит, разрывные снаряды и т. п., словом мечтает показать себя лицом, принадлежащим к партии террористов“.

Из дальнейшего текста этого донесения мы узнаем источник этих безграмотно отредактированных типически провокаторских сведений — поставщиком их был наш знакомый Иванов-Окладский.

„Семенов, — пишет дальше начальник Тифл. Губ. Жанд. Упр., — старается проникать в среду рабочих для пропагандирования между ними; пока его от сего отклоняет известный Иванов, который, повидимому, считает священной обязанностью не допускать преступной пропаганды среди рабочих“. Попутно автор донесения сообщает любопытные сведения об общем настроении тифлисских рабочих за те годы: „говоря о рабочих, я считаю уместным доложить здесь, что в Тифлисе масса рабочих из внутренних губерний Империи; большая часть из них развитых, и они жадно следят за политическим настроением в Империи; нумера газет, в которых упоминается о политических процессах, покупаются ими нарасхват“.

„Не допуская преступной пропаганды среди рабочих“, сам Иванов-Окладский, повидимому, принимает горячее участие во всех попытках Семенова; его имя встречается в числе тех лиц, которых, по сведениям Тифл. Жанд. Управления (т.-е. самого же Иванова-Окладского), А. Семенов предлагает ввести в состав революционного кружка в качестве „главных деятелей“, список этих лиц следующий: „слушательница Высш. Женск. Курсов Тамара Адамова, гимназист 8 класса классической тифлисской гимназии Бебутов,

¹⁾ Дело № 75 за 1883 г., по секретному отделению.

служащий в тифлисской городской управе Гогеберидзе, служащий в управлении Закавказских железных дорог Кудравцев, известный Иванов и, может быть, находящийся под негласным надзором полиции исключенный из С.-Петербургского Университета Мелик Алавердов и учитель Технического Училища Тастатов“.

Настоящее донесение — единственное, в котором Иванов прямо назван, как источник жандармских сведений; в дальнейших донесениях его фамилия больше не упоминается — Тифлисское Жандарм. Управление решило больше конспирировать; только изредка мало-опытный составитель донесений по небрежности называет в черновиках Иванова, но всегда редактирующий эти донесения начальник жандарм. управления фамилию Иванова зачеркивает, заменяя ее много говорящею формулою об „известном Вам лице“.

Эти последующие донесения говорят о приезде в Тифлис (проездом из Сибири в Баку) сочувствующего революционерам инженера Ал. Ив. Симского (о нем см. ниже ¹⁾); о проживающем нелегально в Баку бежавшем из Сибири „государственном преступнике Петре Александрове“, осужденном по делу 50 к ссылке на поселение ²⁾; слух о возникновении в Петербурге в революционной среде течения „земистов“ — „с террористической программой ³⁾“ и т. д. Часть этих сведений, быть может, большая, получается через бакинцев, с которыми Иванов-Окладский завязывает сношения. Это привлекает внимание Тифлисского Жанд. Управления к бакинским делам, и туда командировается Иванов-Окладский, к этому времени, повидимому, уже выдвинувшийся на видное место среди тифлиских революционно-настроенных кругов (недаром его приглашают в Баку). Отчет об этой поездке мы находим в донесении Начальника Тифл. Губ. Жанд. Упр., отправленном в Департамент Полиции 7 сентября 1883 г. за № 174 ⁴⁾; приведем его полностью (с сохранением орфографии).

„Ваше Превосходительство, Вячеслав Константинович!

„Известных своею политическою неблагонадежностью Семенов, Тамара Адамова, Тастаков и др. говорили, что в Баке должны произойти между рабочими татарами и русскими серьезные беспорядки.

В виду того, что беспорядки в Баке уже не раз возникали и также, что Адамова и Тастаков летом настоящего года ездили в Баку, я придаю (веру) подобным рассказам, вследствие чего воспользовавшись тем, что Симский пригласил известное Вам лицо приехать к нему, я предложил последнему отправиться туда и разузнать, на сколько справедливы слухи о предстоящих беспорядках между рабочими.

Из собранных по этому предмету сведений оказывается, что действительно летом настоящего года на нефтяных заводах рассчитано более 300 че-

¹⁾ Лист дела 11.

²⁾ Лист дела 12; про П. Александрова в донесении сообщается, что он был „дружен с Желязовым и Колодковичем, но не соглашался с ними насчет парубиства“.

³⁾ Лист дела 14.

⁴⁾ Лист дела 19.

ловец рабочих из русских, так как рабочие татары понизили заработную плату до ничтожной цифры. Некто Уржумцев (кажется, горный инженер) в виду тягостного положения русских рабочих намерен был подстрекнуть их к избиениям рабочих-татар, но его уговорили оставить до поры-времени такое рискованное дело.

Из этих же сведений видно, что бывшие в Баке между рабочими беспорядки возникали положительно не из религиозной или национальной вражды между русскими и татарами, а просто на просто из того, что татары работают за такую низкую плату, какой никак не может довольствоваться русский рабочий. При таком положении беспорядки между рабочими более, чем возможны, да если к тому же будут пользоваться этим злонамеренные люди.

Затем обращаюсь к приему, оказанному известному Вам лицу в Баке. Выше сказано, что он ¹⁾ приехал по приглашению Симского; тот встретил его и тотчас представил как видного деятеля революционера служащим на нефтяных заводах Булгакову, Уржумцеву, Победину и студенту Родичу. Первые трое получают большое содержание и составляют так сказать интеллигенцию бакинского общества, принят ими был весьма и весьма радушно, как давно желанный гость, причем Симский сожалел, что не может познакомить его с управляющим завода Мирзоева — Квитко (выехал в Одессу для участия в съезде естествоиспытателей), помощником его Пономаревым и со служащим на заводе Кокорева — Дорошенко. По словам Симского, все эти лица сочувствуют революционерам и готовы поддерживать их денежными средствами, чему некоторым доказательством может служить то, что Симский живет в Баке не только ни в чем не нуждаясь, но даже роскошно, хотя ничем не занимается; между тем из Тифлиса ему не с чем было выехать, так что собрали для него рублей 15.

Кроме этих лиц, по словам того же Симского сочувствует революционерам некий Иванов (живет постоянно в гостинице); по сведениям, в этом лишь можно подозревать безавшего государственного преступника Петра Александрова.

Несмотря на привольную жизнь, Симский хлопочет о разрешении поехать в Казань; в случае же отказа намерен исполнить это нелегальным путем.

„Вышеизложенные сведения сообщая для сведения, имею честь доложить Вашему Превосходительству, что по этому предмету я не вхожу в сношения с Начальником Бакинского Губерн. Жандарм. Управления.

Полк. Пекарский.

Судя по тону этого донесения полк. Пекарский полагал на основании данных, предоставленных ему Иваном-Окладским, раздуть дело о бакинских „революционерах“. департамент Полиции охладил эти рвения присылкою обстоятельной „справки“ о главном действующем лице бакинского революционного кружка—„инженере Симском“, согласно этой справке ¹⁾ Симский выри-

¹⁾ Листы дела 21 - 24.

Былое № 25.

совмещается типичным авантюристом с уголовным прошлым, он, бывший писец Нюлинского полицейского управления, был в ссылке за мошенничество, взяточничество и уничтожение официальных документов; затем срок ссылки ему был продлен за „произнесение дерзких слов против особы Его Императорского Величества“, — что и дало ему, по видимому, предлог объявлять себя политическим, но вскоре же он разоблачил свою действительную природу, подав в Департ. Полиции прошение с предложением разоблачить революционеров (предложение принято не было: Деп. Пол. не доверял разоблачителю, требовавшему к тому же солидной mzды в виде перевода из Красноярской тюрьмы, где он тогда содержался, в Петербург). Несомненно, что и в „Баке“ этот господин „революционером“ сделался для того, чтобы жить, не только ни в чем не нуждаясь, но даже роскошно¹⁾.

Других результатов эта поездка Иванова-Окладского, поскольку видно из дела, не имела, если не считать переписки по розыскам Петра Александрова; эти розыски установили, что П. Александров жил в Баку под фамилией Николая Семенова, служил в Бакинск. Нефт. О-ве, но в августе 1883 г. выбыл в Петербург¹⁾.

Этим заканчивается дело со „Сведениями, полученными агентурным путем“; других дел, в которых были бы заметны следы рук Иванова-Окладского, нам в Тифлисском архиве найти не удалось; возможно, что таковые уничтожены (большая часть дел архива — свыше чем на 9/10 для старых лет уничтожена в разные годы самими жандармами; так за 1883 г. сохранилось только 6 дел: №№ 1, 2, 13, 14, 37 и 75, за 1884 г. — 4 дела: №№ 6, 7, 30 и 53 и т. д.); но возможно, что Иванов-Окладский в дальнейшем несколько охладел в своем рвении — в дальнейшем мы увидим, что сменивший полк. Пекарского на посту начальника Тифлисского Губерн. Жанд. Управления — полк. В. И. Яковский, „пгонец гнезда“ Судейкина, был крайне недоволен малой активностью своего сотрудника.

Для деятельности на более широкой арене Иванова-Окладского призывали в начале 1889 г.

Первый документ об этом призыве, сохранившийся в деле об „Иване Иванове“, помечен 1 октября 1888 г.; это — телеграфный запрос директора Деп. Пол. Дурново о местонахождении „высланного в 1883 г. в Тифлис известного Вам мещанина Ивана Иванова“²⁾. Ответа в деле не сохранилось, но он последовал быстро, — это видно из того, что уже 5 октября 1888 г. Дурново шлет след. личное письмо (на бланке не Департ. Полиции, а директора Деп. Пол.) к В. И. Яковскому³⁾:

„Милостивый Государь, Виктор Иосифович!

„Встреча надобность в личном объяснении с известным Вашему Превосходительству Иваном Ивановым, имею честь просить Вас, Милостивый

¹⁾ Листы дела 30, 31 и 34.

²⁾ Лист дела 18.

³⁾ Лист дела 12.

Государь, пригласить его к себе и, снабдив деньгами на дорогу, предложить ему немедленно выехать в С.-Петербург.

„По прибытии в С.-Петербург, Иванов не должен никому сообщать о цели своего приезда и между 6 и 7 ч. вечера явиться ко мне на квартиру по Владимирской площади, дом 46, кв. 5 и представить в удостоверение своей личности письмо от Вас. Для приезда и жительства Иванов должен быть снабжен документом, по которому он проживает в Тифлисе и по которому он мог бы беспрепятственно жить в С.-Петербурге, но отнюдь не проходным свидетельством.

Сохраняя поездку Иванова в строгой тайне, я покорнейше прошу Ваше Превосходительство о дне его выезда из Тифлиса и о дне, в который он явится ко мне, уведомить меня шифрованной телеграммой“.

Из этого письма мы узнаем, какими предосторожностями обставлял Дурново вызов Иванова-Окладского из Тифлиса; очевидно, он уже заранее решил употребить его лишь для особо секретных поручений, оставляя руководство им лично за собою. Что же касается до Иванова-Окладского, то он особой поспешности в явке по начальству не проявил: 19 декабря 1888 г. Дурново вновь пришлось подтверждать по телеграфу свое предложение об „отправке Иванова в Петербург при соблюдении всех указаний, изложенных в отношении 5 октября 1888 г.“¹⁾. Это несколько ускорило движение дела: уже 22 декабря Тифлисским полицеймейстером Росинским был выдан Иванову-Окладскому паспорт на имя Тифлисского „мещанина Ивана Иванова Александрова, отправляющегося по торговым делам во все города Российской Империи сроком на 1 год“²⁾; одновременно в Петербург было послано извещение о предстоящем выезде Иванова-Окладского (вместе с карточкою последнего). Но и после этого отъезд затормозился, — повидимому благодаря предъявлению Ивановым-Окладским каких-то нам неизвестных, — требований; по крайней мере дальше в деле мы находим новую телеграмму Дурново от 20 Января 1889 г. с предложением „удовлетворить ходатайство известного Вам лица“³⁾; вслед за тем, 21 января 1889 г., Тифлисский полицеймейстер выдает Иванову-Окладскому новый паспорт на имя „личного дворянина Ивана Александрова Петровского“⁴⁾, и только после этого Иванов-Окладский отправляется в Петербург. В бумаге, которою начальник Тифл. Губерн. Жанд. управления полк. Янковский извещает Дурново об этом знаменательном событии, мы находим следующую напутственную характеристику, данную Окладскому этим ближайшим сподручным Судейкина:

„Считаю долгом присовокупить, — писал Янковский, — что Иван Иванов Александров с моего разрешения некоторое время служил в электро-технической мастерской Закавказ. жел. дор. с целью следить за направлением

¹⁾ Отношение за № 22036.

²⁾ Паспорт за № 896.

³⁾ Лист дела № 21.

⁴⁾ Лист дела № 15.

умов мастеровых. Мастеровым он считался очень хорошим. Вообще же он очень скромн, крайне любознателен, трезвого поведения и весьма робкого нрава. Последнее качество по моему мнению делает его мало пригодным для сыскаго дела и в этом отношении трудно ожидать от него пользы“ ¹⁾...

На этот раз Янковский ошибся. В более ловких, чем его, руках сначала Дурново, а затем Ратаева „весьма робкий нрав“ Иванова-Окладского не явился препятствием для оказания „услуг“ государственной полиции. Иванов-Окладский пошел далеко ²⁾.

Б. Федоров.

¹⁾ Лист дела № 16.

²⁾ Есть Немезида: в майских газетах этого года сообщено, что Иван Окладский (он же Петровский) арестован в Ленинграде в январе 1924 года и предстанет в ближайшем будущем перед судом.

Тени прошлого.

Воспоминания.

Перед крупнейшими событиями двадцатого века—войнами и революциями—бледнеют, как тени, образы прошлого и уходят в туманную даль те преисполненные розовых надежд „Первые шаги“ русской социал-демократии, о которых я повествовал на страницах „Былого“¹⁾. Сравнительная близость событий в ту пору, когда писалась моя статья, и условия времени и цензуры были причиной некоторых умолчаний, инициалов вместо фамилий, что в значительной степени лишало статьи ценности как исторического материала. Настоящая статья имеет задачей пополнить эти пробелы. Скудость литературы, относящейся к петербургскому „Союзу борьбы за освобождение рабочего класса“—мне известна, кроме книжки К. М. Тара „Рабочее движение в Петербурге в 90-х годах“, лишь статья В. И. Гольдмана в № 8 сборника „Красная Новь“ 1920 г. „Четверть века тому назад“—дает мне основание надеяться, что и эта моя статья даст некоторые данные для истории движения 90-х годов.

После разгрома „Народной Воли“ наступила эпоха восьмидесятых годов, захватывая и первые годы девяностых, словом—всё царствование „царя миротворца“. Это было время проповеди „малых дел“ и культурной работы: „Там где-то шум, гремят витки, кипит словесная война, а тут, во глубине России, тут вековая тишина“... Наше поколение тогда еще только подрастало, частью пропитанное народническими тенденциями, частью равнодушное ко всяким тенденциям вообще. Между тем рост промышленной жизни страны, рост пролетариата вызывал к жизни новые силы. К половине девяностых годов можно приурочить и идейный перелом в среде русской интеллигенции. В то время как Н. К. Михайловский был окружен на студенческих вечерах группой своих поклонниц и поклонников, другая часть идейной молодежи жадно черпала свои знания из другого источника. „Русское Бо-

¹⁾ К. Я. Первые шаги. (Воспоминания бывшего члена „Союза борьбы за освобождение рабочего класса“ 1896—97 г.г.) Былое. 1907 г. Сентябрь.

гательство" в значительной степени теряло свою руководящую роль в рядах передовой интеллигенции. Появившиеся десятилетием раньше „Наши разногласия“ Г. В. Плеханова привлекли в широкие круги читателей, переходя из рук в руки. „Очерки нашего пореформенного хозяйства“ Николая — она, „Критические заметки“ П. Б. Струве, появившиеся в 1894 году, вышедшие под псевдонимами одна за другой книги Г. В. Плеханова (*Белитис*, К социалистическому взгляду на историю; *Волини*, Обоснование народничества в трудах г. Воронцова) всецело овладевали умами идейной молодежи. Увлекались политической экономией, венцом изучения которой являлся „Капитал“ Маркса. Дальше 1-го тома, впрочем, не шли, хотя, кажется, 2-й том уже вышел на русском языке. Припоминаю, как впоследствии, в ссылке, один из товарищей выразил живое удивление при моей ссылке на 3-й том „Капитала“. — „А вы читали 3-й том?“ — „Да“. — „Странно, его обыкновенно никто не читает“. Читались „Низета философии“, „18⁴⁸ Брюмера“ К. Маркса, статьи Энгельса — всё издания в то время нелегальные. „Эфуртская программа“ (Каутского считалась своего рода евангелием, без основательного знания которого нельзя было претендовать на звание серьезного марксиста).

Литературная полемика между марксистами и народниками расколола на два лагеря и ту часть учащейся молодежи, которая интересовалась общественными течениями. В военно-медицинской академии, где я учился, существовала нелегальная библиотека для саморазвития. Библиотека эта состояла из книг, запрещенных цензурой; собственно „подпольных“ изданий, насколько помню, не было. Были у нас и кружки саморазвития, где в начале 90-х годов еще читали „Исторические письма“ Миртова (П. Л. Лаврова). С половины 90-х годов объявились у нас марксисты. Таковыми были: К. М. Тахтарев, Н. А. Богораз, А. Ф. Никитин, Дергун, А. А. Кудрявцев, М. Я. Ситников. К. М. Тахтарев и М. Я. Ситников были мне впоследствии наиболее близкими товарищами по работе. Тахтарев был руководителем моих первых шагов на революционном поприще. Ситников, работая в революционном „красном кресте“, в то же время был со мною в самых близких отношениях. К нашему дружескому кружку принадлежали также курсистки Е. В. Пазухина и В. Ю. Котюхова (Ситникова и Маслаковец), а позже и П. П. Маслаковец.

Существовавшие в то время землячества проявляли слабую жизнедеятельность. Саратовское землячество, к которому я принадлежал как саратовец, проявляло народнические тенденции, выражавшиеся, впрочем, лишь в составлении дешовых библиотечек для крестьян из легальных, но тенденциозно подобранных книжек, библиотечек культурно-просветительного характера. Марксисты относились полуприятельно к земляческим организациям, находя их положительную сторону лишь в возможности уловления и обращения в лоно марксизма подходящих интеллигентов. Своего рода питомником для прозелитов нового учения (сначала стало пензенское землячество, где был проведен в устав пункт, допускавший быть членами землячества и не пензяков. Из студентов-медиков там участвовали А. М. Архипов, Масловский, Кирков и Ростовский. А. М. Архипов, одним курсом меня старше, но более зрелый

годами и опытом, играл руководящую роль. Он же ввел меня в дом двух учительниц на Лиговке, фамилий которых я не помню, где встречались оба лагеря — марксисты и народники. Из народнического лагеря там присутствовал сам В. П. Воронцов, которого, как матерого старого волка, ссаждала целая стая полных молодого задора марксистов, в том числе и его сын, студент-технолог вместе с другими товарищами „техноложцами“.

Споры, милейшие русские споры, подчас довольно-таки бестолковые, велись повсюду. Лесной был излюбленным местом для вечеринок, признававшихся полицией весьма опасными для государственного порядка. Из ораторов припоминаю Келлера и Бартольда, впоследствии высланных из Петербурга. На вечеринках более крупного масштаба, как в ресторации Вишнякова, ораторствовал П. Б. Струве, неуложно размахивая руками к явной опасности для соседнего трюмо.

Были у нас марксисты и марксисты. Одних марксизм интересовал как новое умственное течение, вызывая более глубокий научный интерес, а порою просто, как модная новинка, другие искали в марксизме научного обоснования и практического руководства к общественно-революционной деятельности. В рабочей среде нашли отклик именно революционная сторона марксизма. Теперь я уже буду говорить не о марксизме, а о социал-демократическом движении.

Вторая половина девятидесятих годов ознаменовалась выступлением на историческую арену рабочих масс, была исходным пунктом массового рабочего движения. Были среди рабочих и раньше одиночки социал-демократы, делались попытки организовать отдельные кружки — не забудем, что „Наши Разногласия“ Г. В. Плеханова появились в половине восьмидесятых годов и что за рубежом существовала группа „Освобождение труда“ во главе с Плехановым. Для эпохи, к которой относятся настоящие воспоминания, характерной чертой является переход от кружковой пропаганды к массовой агитации. Этого властно требовала от революционеров сама жизнь. Под этими веяниями и возникла в конце 1895 года в Петербурге социал-демократическая организация „Союз борьбы за освобождение рабочего класса“. Одним из основателей „Союза“ был В. И. Ульянов (Ленин). Были в числе основателей организации и двое рабочих.

Теоретические споры интеллигентских кружков меня не удовлетворяли. Хотелось живой работы в рабочей среде. Первые мои попытки проникнуть в эту среду носили более или менее эпизодический характер. Так, технолог Ракитин познакомил меня с рабочим одного из заводов Выборгской стороны. Вскоре этот рабочий стал внушать нам подозрения. А он с своей стороны, может быть, чувствуя наше недоверие, стал распускать неблагоприятные слухи про Ракитина. Гораздо более удачным оказалось знакомство, доставленное мне И. Г. Смидович. С Инной Гермогеновной я познакомился в упомянутом выше пензенском землячестве. Она принимала участие в наших кружковых чтениях и вообще сблизилась с нашей компанией. Живая и подвижная, склонная к экзальтации, — она привлекала нас своей необыкновенной искренностью и

отзывчивостью. В платочке, без обычного пенсне на носу, щуря свои близорукие глаза, явилась она в трактир на Лиговке, где состоялось свидание. Я был в картузе и довольно непрезентабельном пальтишке. Наиболее приличным из нас, конечно, оказался рабочий Обуховского завода Никитин, с которым меня познакомила И. Г. По нашей интеллигентской наивности мы перебарщивали, переряжаясь из форменной одежды в штатский костюм. Да с другой стороны костюм более приличный и стоил дороже, а заводские рабочие были богаче нашего брата. У Никитина я бывал не раз на его квартире за Невской заставой. Жил он чистенько, с обстановочкой, имел культурные потребности и запросы. Но большой активности, помнится, не проявлял.

Около половины апреля 1896 года я завел, наконец, прочные знакомства в рабочей среде. К. М. Тахтарев познакомил меня с кружком рабочих, который состоял из ткача Галактионова, гравера Соколова и маляра Королева. Это были люди сознательные, распропагандированные еще народовольцами, но примкнувшие затем к социал-демократическому течению. Наиболее выдающимся и развитым был Галактионов, автор приводимого К. М. Тахтаревым (Тар) „рассказа рабочего о стачке на фабрике Кожевникова“. Человек положительный и солидный, он часто сдерживал бурные порывы Королева, прозванного мной „Карасем идеалистом“. Наш Карась дурно кончил впоследствии. Болезненно впечатлительный и нервный — он наговорил много лишнего на допросе, в чем горько каялся. Занятия с таким кружком, да еще пожелавшим изучать Маркса, требовали от меня усиленной работы. Читал я им и лекции по истории рабочего движения в Западной Европе. Местом занятий нам служило открытое поле на Московской заставой. В то же время я расширял круг своих рабочих знакомств.

Между тем надвигались крупные для того времени события. Разразилась знаменитая Ходынская катастрофа, так печально ознаменовавшая начало царствования печальной памяти Николая II. 22 мая вспыхнула стачка, вскоре охватившая чуть ли не все бумагопрядильные и ткацкие фабрики Петербурга. В упомянутой выше статье своей я говорил об этой стачке. Здесь я не предполагаю повторяться по этому поводу. Само правительство не могло на этот раз объяснить стачку кознями „злонамеренных агитаторов“. Стачка выявила перед нами разницу психологии заводских и фабричных рабочих, вытекавшую из их разного экономического положения. Заводские рабочие — я имею в виду главным образом рабочих крупных металлических и механических заводов, так как рабочие химических заводов по экономическому положению ближе подходили к фабричным — были и лучше обеспечены материально, получая более высокую заработную плату, и располагали большим досугом, имея более короткий рабочий день. Поэтому фабричные рабочие представляли из себя более горячий, более склонный к вспышкам и стачкам, но в то же время в своей массе менее культурный и менее стойкий элемент. Среди заводских рабочих Путиловского завода я пр. попадались люди, разделявшие все достоинства и недостатки нашего интеллигента: любовь к книге

и умным разговорам, отсутствие активности и дерзания, да пожалуй больше склонности к внешней культуре, чем свойственно среднему интеллигенту. Летняя стачка 1896 г. сыграла крупную роль в деле политического просвещения рабочего. Правительство приняло слишком горячее участие в стачке. Представители власти в лице петербургского градоначальника Клейгеля и министра финансов Витте слишком определенно стали на сторону хозяев. Политические выводы напрашивались сами собой, и если раньше мы знали, что всякая „классовая борьба есть борьба политическая“, хотя бы это была по внешности чисто экономическая борьба, то теперь эта максима становилась очевидной и для малосознательных рабочих. Это обстоятельство учитывалось организаторами, и прокламации стали носить определенно политический характер. В числе прокламаций стали появляться листки, составленные и самими рабочими. (Само правительство позаботилось поставить точки над *i*, благо о перемене правописания еще не помышляли.) В Екатерингофском парке происходили собрания рабочих представителей. Стала зарождаться мысль о рабочих кассах, и кое-где таковые кассы начали возникать.

Стачка возникла и развивалась стихийно. Стаечного комитета не существовало, рабочие координировали свои действия или собраниями представителей, о которых упоминалось, или посылкой случайных делегатов. Заводские рабочие, не принимавшие активного участия в забастовке, — а в правительственных кругах очень опасались за Путиловский завод, пайщиками которого состояли многие высокие особы, — помогали стачечникам денежными сборами. И в широких кругах общества рабочие пользовались симпатиями: хотя и не очень обильный, но приток денежных пожертвований наблюдался. Демократические круги хорошо понимали политическое значение забастовки, глаза конных пассажиров с сочувствием следили за группами рабочих, eskortируемых по улицам столицы городовыми.

Летняя забастовка 1896 г. сплотила петербургских социал-демократов. Пока еще не было полного единства действий. Существовали три группы, правда, не разделявшиеся какими-либо принципиальными разногласиями. Самой сильной организацией были до сих пор „старички“, составившие „Союз борьбы за освобождение рабочего класса“. Правительственное сообщение о стачке, упоминавшее о „Союзе“, оказалось очень на-руку организации, распространяя весть о ее существовании там, куда не доходили прокламации „Союза“. Существовали еще „молодые“ или „петухи“. Так называли группу технологов-социал-демократов, в которую, если не ошибаюсь, входили И. В. Чернышев (познакомился с И. В. я лишь лет 10 спустя), Ленгник, Красин, Ракитин, Воронцов и др. Третьей группой были мы, группа Тахтарева: К. М. Тахтарев, Владимир Павлович Иваншин, умерший эмигрантом, и автор этих строк. Так как Тахтарев уже был однажды арестован, то появляться в рабочих районах ему было рискованно. Кроме того, как человек более умудренный годами и опытом — он старше меня на 3-4 года, мне же тогда исполнился 21 год — он был естественным руководителем группы. Он ведал организационной стороной дела, вел сношения с другими интеллигентскими

организациями, добывал литературу. В. П. Иваншин вел техническую сторону дела, так как мы печатали и прокламации. На мне лежали непосредственные сношения с рабочими. Вокруг каждого из нас группировалось некоторое количество помощников, наших личных друзей. Через Гидальченко я приобрел связи на „Новой Канаве“ (Обводный канал), через гравера Соколова — на Путиловском заводе и Елагинской мануфактуре. Наши связи быстро росли и расширялись. Вскоре не было рабочего района, где бы у нас не существовали знакомства. Охтенская бумагопрядильня, Невская застава с ее заводами и фабриками, Васильевский остров... Из фабрик за Невской заставой нас, естественно, более всего интересовали фабрика Паля и Максвелля. Кроме перечисленных социал-демократических групп сохранились в ту пору в Петербурге остатки разгромленных правительством организаций. Так нам приходилось иметь дело с А. П. Ростковским, брат которого был студентом военно-медицинской академии и принадлежал к пензенскому землячеству, но политикой, насколько помню, не занимался. А. П. Ростковский являлся упорным представителем народофильства — группы Лахтинской типографии и 4-го летучего листка. С представителями этой группы мы работали в контакте, так как по своим взглядам они очень близко подходили к социал-демократам. Их прокламация была первой прокламацией, которую мне лично приходилось распространять. С другими представителями народофильцев Лахтинской типографии, в то время уже арестованными, мне пришлось познакомиться впоследствии в Ягудской ссылке и по пути туда. Так, я познакомился с д-ром Фейтом, А. С. Белевским, Е. А. Прейс, А. А. и Л. В. Ергинными, с рабочими (портными) В. П. Прихотовым и М. Е. Тулузовым. Связей с рабочими кругами в описываемое время народофильцы не имели. То же можно сказать и о народоправцах. Из народоправцев мы встречались с М. П. Миклашевским и доктором В. В. Хижняковым. От народоправцев мы получали материальную поддержку, а М. П. Миклашевский не терял с нами связи, помогая, чем мог.

Жил я летом 1896 года на Каменноостровском проспекте, угол Большого, в квартире покойного доктора П. Г. Сущинского. По строю жизни, впрочем, квартиру нашу скорее можно бы было назвать коммунальной. Там же жила сестра П. Г. Мария Гавриловна, а затем брат Владимир и, если не жил, то постоянно бывал Николай Эрнестович (роднее звучит Евграфович, как его и называли) Бауман¹⁾. Петр Гаврилович сам революционными делами не занимался, но имел массу знакомств и в качестве врача носился пешком по всему Петербургу в своем всегда поношенном пальто, имея практику почти исключительно бесплатную. Неизменное добродушие, большая физическая сила и раскатистый тенор являлись его отличительными чертами. Владимир Сущинский и „Евграфыч“ — Бауман были большими друзьями. Оба служили ветеринарными врачами в Саратовской губернии и оба приехали в Петербург с определенной целью „пущать революцию“. Один из братьев Сущинских —

¹⁾ Убит в Москве во время революции 1905 года.

Михаил, сосланный по народовольческому делу, впоследствии бежал за границу. С ним я не встречался. Владимир Сушинский и Бауман оба сохранили, уже примкнув к социал-демократам, народовольческий отпечаток, но „Евграфыч“ охотнее и легче поддавался партийной дисциплине. Для широкой натуры Владимира Гавриловича всякая дисциплина казалась Прокрустовым ложем, и приходилось побаиваться его „отсебятины“. Мария Гавриловна (впоследствии жена И. В. Чернышева) первое время, с жадностью прислушивалась к разговорам и спорам нашей коммуны, делала большие глаза и молча копила наблюдения. Затем и она приняла участие в общей работе, отличаясь всегда неженской конспиративностью.

Характер многочисленных моих знакомств в рабочей среде был не везде одинаков: все-где приходилось вести кружковые занятия, некоторые из моих знакомых были нам необходимы для информации, распространения агитационной литературы и т. п. Считая „Союз“ преимущественно интеллигентской организацией и стремясь возможно теснее слиться с рабочей средой, мы в первое время не стремились к соединению с „Союзом“. Но начавшаяся стачка показала нам недостаточность наших сил и нецелесообразность разрозненных действий. С другой стороны и „Союз“, обескровленный многочисленными арестами и в значительной степени растерявший связи с рабочими кругами, нуждался в наших услугах. Всё, казалось, создавало почву для присоединения нашего к „Союзу“. Переговоры в этом направлении велись К. М. Тахтаревым с нашей стороны и С. И. Радченко со стороны „Союза“ — с начала стачки. Стачка, начавшаяся, как известно, из-за невыплаты заработной платы за коронационные дни, протекала под знаком борьбы за сокращение рабочего дня. Результаты забастовки следовало признать удовлетворительными: рабочие добились формального обещания законодательного сокращения рабочего дня и ряда частных уступок в смысле улучшения фабричных порядков. Горячие головы, выдавшие в этой стачке начало русской революции, может быть, не так далеко уклонялись от истины. Как бы там ни было, забастовка подняла настроение революционных кругов. Но в то же время она показала, что наша социал-демократия оказалась далеко не на высоте положения. Мы много-много что успевали формулировать требования масс. Истинного руководства рабочим движением мы не могли взять в свои руки. Предстояло подумать серьезнее о сплочении сил, таявших, добавок, и от арестов. Собрание в Шуваловском парке являлось дальнейшим шагом в этом направлении. На этом собрании присутствовали представители „Союза борьбы“: С. И. Радченко, М. А. Сильвин, присяжный поверенный Бауэр, кажется, Шестопалов, представитель „петухов“ — Ленгник и др., Тахтарев и я — называю тех, кого помню, извиняясь перед теми, фамилии которых память мне не сохранила. Хотя на этом собрании и выяснилось, что принципиальных разногласий у нас не имеется, тем не менее формального объединения или, точнее, нашего присоединения к „Союзу“ не произошло, так что переговоры продолжались. Представители обеих сторон оставались те же. Но на собрании в Вольно-Экономическом обществе, где, если не

ошибаюсь, Бауэр состоял секретарем, происходившем в начале августа 1896 года, я уже присутствовал чуть ли не в качестве члена „Союза борьбы за освобождение рабочего класса“. К. М. Тахтарев по каким-то случайным причинам не мог явиться на собрание. На этом собрании присутствовали приблизительно те же лица, что и на собрании в Шуваловском парке, и д-р Гурвич (Дан), кажется, участвовавший в обоих собраниях или, по крайней мере, в одном из них. К. М. Тахтарев и я вошли в центральный комитет „Союза“. После упомянутого собрания мне приходилось по делам „Союза“ часто встречаться с М. А. Сильвиним и Бауэром. К Бауэру нередко заходил М. Я. Ситников. Последний чуть ли не был арестован и едва выкарабкался после ареста Бауэра, в квартире которого оставалась засада. Вскоре и все участники собрания в Вольно-Экономическом обществе очутились под арестом. Нас спас, может быть, от ареста выезд из Петербурга. Мы с М. Я. Ситниковым ездили на Всероссийскую выставку в Нижний-Новгород и заезжали на хутор к родителям его невесты Папухиным, под Кинешмой. Тем временем на наших квартирах был произведен тщательный обыск, а у Ситникова даже искали типографию, в ту пору выходившую за пределы наших мечтаний. Шаряли по сараям и чердакам деревянного дома на Малой Дворянской, где он иногда проживал.

Полный разгром „Союза“ грозил двоякого рода последствиями: с одной стороны, прекращение деятельности „Союза“ доставляло торжество охранке и могло вызвать уныние в кругах, близких революционерам, с другой стороны — отсутствие прокламаций под фирмой „Союза“ после ареста определенных лиц явно обличало их виновность в участии в „Союзе“. Литератор А. Н. Потресов, с которыми мы до того не встречались, так как его берегли как литературную силу, по слухам, пытался завязать с нами сношения. К тому же стремились и мы. Однако, не теряя времени и не дожидаясь sinkния с чьей-либо стороны, мы уже выпустили прокламацию от имени „Союза борьбы за освобождение рабочего класса“ к обществу. На состоявшемся вскоре заседании „Ц. К. Союза“ после возвращения из провинции отлучившихся членов присутствовало лишь 5—6 человек, в том числе Б. И. Гольдман и А. Н. Потресов, а может быть и Л. Г. Попов или Ковригин.

Чертой, отличавшей новейшие подпольные организации от организаций героического периода русского революционного движения, как старая „Народная Воля“, являлась их большая живучесть. В них, правда, не было героизма предыдущего периода, но благодаря большей связи с массами, благодаря более легкой вербовке рядовых членов, от которых, при новых способах борьбы за свободу, не требовалось столь высокого самопожертвования, как в предыдущую эпоху, организации нового периода легче оправлялись от полученных ударов. Через какой-нибудь месяц наш „Союз“ уже снова чувствовал под собой твердую почву, говоря относительно, разумеется, ибо массовой организацией „Союз“ никогда не был и не мог быть по чисто полицейским причинам.

Пора ознакомить читателя с принципами организации „Союза“. Как организация подпольная, „Союз“ должен был соблюдать конспиративные

начала, а потому централизация являлась краеугольным камнем его. В идее все строилось от центра и из центра. Каждый член центрального комитета — тогда просто говорили центра — или заведывал какою-либо отраслью деятельности организации — техникой, сношениями с заграницей, кассой или „возглавлял“ собою какою-либо рабочий район, где руководил работой. Существовали, впрочем, и „министры без портфеля“: так как организационная работа всё усложнялась, то и на их долю доставалось немало дела. Идя далее по иерархической лестнице вниз, мы приходим к рабочему кружку. Совокупность кружков данного района и образовала районную группу. В принципе некоторым, по крайней мере, из нас эти именно кружки и казались теми ячейками, вокруг которых будут кристаллизироваться рабочие массы по мере развития классового самосознания рабочих. На практике основой периферической организации „Союза“ во многих случаях служила районная группа. Многое в организации районной группы и даже характере ее работы зависело от районного представителя, многое от запросов рабочих и случайных причин. Рабочие кружки не имели точных границ. Хотя одной из задач их была выработка агитаторов, следовательно, руководитель кружка являлся пропагандистом и на нем лежала обязанность вести систематические занятия, на деле далеко не все кружки этим занимались. Да и шагнув в агитационный период деятельности, сам Ц. К. более придавал значение агитации, чем пропаганде. В этом отношении рабочие кружки играли двойную роль. Они доставляли информационный материал, необходимый центру для составления прокламаций, они же иногда оказывали давление на центр, требуя выпуска прокламаций по тому или иному частному поводу, имевшему порой узко местное значение. Бывали случаи и составления прокламаций самими рабочими; прокламации эти передавались районным представителем со своим отзывом в центр для редакции. В некоторых кружках систематических занятий совсем не велось, а рабочие собирались с районным работником организации для совместной беседы на текущие темы русской и иностранной жизни, преимущественно из области рабоче-го движения. Конечно, не на всех даже сравнительно крупных фабриках и заводах существовали кружки. В таких случаях старались завести отдельные знакомства, чтобы распространять агитационную литературу и получать информационный материал. Трудно уложить в точную схему те отношения, которые у нас складывались с рабочими. Примеры, которые читатель найдет ниже, дадут более наглядное представление об этом. Способами для приобретения новых связей в рабочей среде пользовались различными. Например, товарищ Солодилов, юморист и оригинал, любил лично завязывать новые знакомства. Праздничный день, скамейка в Екатерингофском или ином парке, как бы случайная, иногда полусутильная беседа, а там уже от оборота, какой примет разговор, и от дальнейших обстоятельств зависело, можно ли и как использовать тако-е „случайное“ знакомство. Разумеется, в конспиративном отношении такой способ являлся далеко не удовлетворительным. Целесообразнее было знакомиться через своих рабочих. Лично мне большие услуги оказывал слесарь с Балтийского завода и токарь по металлу Александр Михайлович

Соловьев, с которым я находился в дружеских отношениях настолько, что он знал мое настоящее имя и адреса: другие меня знали под кличкой „Василий Николаевич“. А. М. бывал моим чичероне по рабочему Петербургу. По его совету я ходил под видом рабочего, хотя иногда мои руки меня и выдавали. Бродили мы, с переменным успехом, по разным районам Петербурга, где у Соловьева находились знакомые: посещали и типографских наборщиков, и фабричных, и заводских рабочих. Исходя из того, что для агитационной работы в рабочей среде необходимо быть знакомым с условиями производства, я проникал в типографии, на фабрики, на заводы. Путиловский завод с его многочисленными мастерскими мне удалось осмотреть дважды, — один раз легально, другой нелегально, под видом рабочего с рабочим номером. Сторож не обратил на меня никакого внимания; так как дело происходило в субботу, в день полудки, и по мастерским слонялось много рабочих, то мое появление не вызвало и там ничего докучливого внимания. У ворот завода толпилось много жен рабочих, карауливших своих мужей, чтобы те не снесли трудовых денежек в „царев кабак“. А. М. Соловьев знакомил меня с условиями жизни и работы на Балтийском заводе, и отчасти на Путиловском, где ему раньше тоже приходилось работать. Жил А. М. совершенно по-студенчески: та же комната, этажерка с книгами, некоторый беспорядок...

Членами ц. к.—центра „Союза борьбы“ в зиму 1896 — 1897 гг. состояли: Степан Иванович и Любовь Николаевна Радченко, А. Н. Потресов, К. М. Тахтарев, А. А. Якубова (впоследствии Тахтарева), Л. Г. Попов, Б. И. Гольдман, Ковригин, Митров и автор воспоминаний. Наш союз имел официальные сношения с Бундом, представители которого приезжали из Вильны, с „Польской Партией Социалистичной“, московской социал-демократической группой. Имели мы связи с Минском, Иваново-Вознесенском, снабжая иногда литературой даже такие отдаленные пункты, как Владивосток. Плехановская группа „Освобождение Труда“ являлась нашим представителем за границей.

От английских рабочих, за подписью вождей английского рабочего движения, мы получили сильно запоздавший адрес по поводу летней стачки. Это послание на великолепной пергаментной бумаге, адресованное собственно несуществовавшему „Стачному Комитету“, переведенное на русский язык А. Н. Потресовым, произвело большое впечатление на рабочих. Ответ составлял и перевел на английский язык тот же А. Н. Потресов.

Перехожу к районной работе. Василеоостровский район, куда принадлежал и Балтийский завод, имел своим представителем Б. И. Гольдмана. Гольдман развил в своем районе энергичную деятельность, завел знакомства по всему острову. Наша схема строго не соблюдалась, и члены центра знакомились не только со своим районом, но имели связи и в других, что помимо личных отношений, в силу которых рабочие иногда ждали видеть именно определенное лицо, имело значение и на случай провала представителя района. В этом районе лично мне был знаком лишь Балтийский завод, где работал упомянутый выше А. М. Соловьев.

Районным представителем Петербургской стороны являлся Ковригин. Так как я сам здесь жил, то я избегал по конспиративным соображениям заводить знакомства в этом районе. Но бывали исключения. Так между прочим в одной рабочей квартире организовался небольшой кружок рабочей молодежи, с которыми вела занятия Приходькова. Здесь я читал свою рукопись „О заповедях господних“. В этой рукописи, анализируя одну заповедь за другой, с помощью текстов из св. писания я обличал лицемерие господствующей церкви. Помню одну патетическую фразу: „Не называйся помазанником божьим ты, помазанник фабрикантов и помещиков!“ Содержание, а главное форма были, повидимому, навеяны моими спорами с пашковцами. За стеной комнаты, где жили эти рабочие, как оказалось, помещался сыщик, и Приходькова потом там и была арестована. Рукопись моя, попав в руки жандармов, свету так и не увидела, но содержание ее, повидимому, казалось им не марксистским, так что авторства мне не инкриминировалось.

Мне пришлось быть представителем Нарвского и Невского районов,— наиболее крупных районов рабочего Петербурга. Центральным пунктом моей деятельности служил Путиловский завод. С кастетом на всякий случай в кармане пробирался я к заводу от Балтийского вокзала по соединительной ветви железной дороги,—место настолько глухое, что сыщики не решались следовать по пятам. В типичном двухэтажном деревянном доме рабочей окраины столицы находилась наша местная штаб-квартира. Проживали здесь молодые рабочие Оскар и Николай. Их связывало, вероятно, различие характеров. Оскар—серьезный и вдумчивый, на вид немного флегматичный, но с внутренним огоньком, Николай—веселый и ветреный—рубака парень, что называется. Первое время нашего знакомства, еще до моего вступления в „Союз“, я вел с ними обычные кружковые занятия. Но вскоре наши систематические занятия прекратились. Тем не менее заходил я в эту квартиру часто: и в обеденный перерыв, чтобы передать литературу и перекинуться парой слов на текущие темы, и вечером, иногда довольно поздно. Стучалось мне, вопреки конспиративным соображениям, и ночевать на их квартире. В своих беседах и лекциях мы пользовались рукописными записками „О заработной плате“ В. И. Ульянова (Ленина). Из книг пользовались большим распространением „Спартак“ Джованьоли, „Борьба за правду“ Францоа, „Эмма“ Швейцера, сочинения Шелгунова и пр., брошюры „О штрафах“, „Как министр финансов заботится о рабочих“—издание Лахтинской типографии, женевские издания, как Дикштейн „Кто чем живет“. Читались „Труд и капитал“ Свидерского, речи Лассалля, Маркс и Энгельс. Распространялись через Оскара и Николая и все выходившие прокламации и агитационные листки. Выпущенная „Бундом“ брошюра „Об агитации“ отражала общее направление деятельности социал-демократов, но, как это всегда бывает, деятельность эта сохранила следы предыдущего, пропагандистского периода. По почину Оскара, который всегда проявлял инициативу и имел все данные выработаться в серьезного общественного работника, состоялась однажды вечеринка на его квартире. Этим путем он хотел познакомить нас с рядовыми

рабочими и работницами и дать нам возможность пропагандировать в непри-
нужденной атмосфере вечеринки, как бы в ненароком заведенной беседе,
идею рабочей кассы, которая нас тогда занимала. На вечеринку я пригласил
В. Г. Сущинского, В. Ю. Котюхову, А. М. Соловьева и Карла Сакса, рабочего
из-за Невской заставы; явилось, по приглашению хозяев, несколько человек
рабочих с Путиловского и других заводов и работницы с шоколадной фабрики.
Эта вечеринка — с танцами, чаепитием, может быть, немного дала в смысле
непосредственного результата: рабочие, правда, отнеслись сочувственно к кассе,
а барышни более интересовались танцами, но в смысле нашего сближения
с рабочими она дала несомненно больше, чем многие наши пропагандистские,
экскурсии. Насколько помню, после вечеринки я остался с Саксом ночевать
у Оскара, а потом мы по соединительным ж.-д. путям с ним же отправились
за Невскую заставу. День был праздничный, и я провел его в кругу рабочих.

Путиловский завод, едва ли не самый большой завод в Петербурге
представлял большое разнообразие типов. Вот кружок рабочих-буржуа,
умственных эпикурейцев. Это такие же высоко-квалифицированные рабочие,
как А. М. Соловьев, но совсем иной складки. Он весь отдавался револю-
ционной работе, не гонясь за размером своей личной дневной выручки, не
помышляя о всегда возможном и ожидаемом аресте. Они выписывали толстые
журналы, любили хорошие разговоры, но — люди солидные — ценили свою
обеспеченность и были чужды всякого риска. Но, даже оставаясь как бы
в стороне от рабочего движения, возбуждая тем нашу молодую досаду, они
содействовали успехам социал-демократии, взгляды которой разделяли. Порою
они, как умные и осведомленные наблюдатели, давали нам ценные указания,
порою во-время слерживали юные порывы или сообщали полезные сведения.
А вот другого рода представитель „рабочей буржуазии“. Плотник. Работа на
Путиловском, а во время нашего знакомства на Тентелевском химическом
заводе. Мужчина лет около сорока. Семья в деревне. Жалованье не так
большое, не то что хороший слесарь, альбо токарь на Путиловском, но и не
совсем маленкое: целковых 50 в месяц очищается. Во всем себе отказывает.
Книжку считает вещь довольно бесполезной. Не очень-то и грамоте разумеет.
Деньжонок сколотил малую толику. Сбьется с деньгами — в родной деревне
кабак откроет.

Другие товарищи по „Союзу“ также имели знакомства на Путиловском
заводе. Там даже поселился и поступил рабочим Н. Н. Мельницкий, бывший
то сельским учителем, то фабричным рабочим, с красивым интеллигентным
лицом и неизменно меланхолическим выражением.

К Нарвскому же району относились связанные, впрочем, больше общно-
стью интересов с Обводным каналом фабрики, расположенные с городской
стороны Нарвских ворот. Здесь ютились рабочие Нового Адмиралтейства,
Екатерингофской мануфактуры и других фабрик. В то время как большинство
заводских рабочих, с которыми нам приходилось иметь дело, порвали оконча-
тельно связь с землей, здесь мы зачастую сталкивались и со вчерашними
землепашцами, и с людьми, которые на свою фабричную работу смотрели,

как на временное занятие, на ряду с совсем ушедшими из-под власти земли. В. Г. Сущинский и Н. Е. Бауман, лучше других знавшие деревню и наименее склонные к догме, казались мне самыми подходящими работниками для такой среды. Их и Василия Всеволодовича Пазухина, тоже знакомого с деревней, а я ввел в этот район. Дальнейшее показало, что я не ошибся, так как они пользовались большими симпатиями рабочих. Из рабочих центральной фигурой этого района являлся несомненно Довбашин. Мало развитой, сохранивший деревенские обороты и образность речи, он обнаруживал значительную глубину проникновения и глубокий интерес к знанию. Социал-демократические взгляды он усвоил скоро, и вскоре от этого небольшого кружка отпочковались другие. Довбашин сохранил знакомства с земляками, и иногда у нас происходили курьезные встречи, вроде „кухонного мужика“ ни больше, ни меньше, как кого-то из великих князей. В кружке Довбашина я читал устав союзнай рабочей кассы, составление которого поручено мне было п. в. „Союза“. Между прочим, не знаю, каким образом, но это чтение стало известным жандармам — мне оно ставилось в вину впоследствии на допросе. Но то обстоятельство, что следователь утверждал, будто на этом чтении присутствовала Е. В. Пазухина, а alibi ее легко было установить, так как она уезжала в деревню к родителям — повидимому, подорвало жандармское доверие к этому сведению. На самом деле на чтении присутствовала В. Ю. Котюхова.

С Довбашиним я путешествовал на Васильевский остров к пашковцам. По нашим сведениям пашковцы пользовались значительным влиянием среди рабочих. Значительных последствий мое знакомство с пашковцами не имело, не хватало времени углубить это знакомство.

Одновременно заводились у меня знакомства, передававшиеся кому-либо из товарищей, и на фабриках и заводах Выборгской стороны, в арсенале, на пивоваренном заводе Новая Бавария, в гильзовом отделе и в Литейном. Не могу не остановиться на одном своем знакомстве на Больше-Охтенской бумагопрядильне. Собственно на Большой Охте с организационной целью поселился член нашей организации Иванов, известный более под псевдонимом Манина. Но я посещал иногда Павла, рабочего бумагопрядильни. Тихий и скромный, с нежной и отзывчивой душой Павел, казалось, скорее создан быть поэтом, мечтательным и кротким. В условиях он жил невозможных. Не только не имел отдельной комнаты, но даже сколько-нибудь сносного угла. В большой и грязной, пропитанной нездоровыми испарениями комнате притулилась в углу его кровать. Грубо сколоченный столик. На нем книги — любимые авторы, Некрасов в том числе. Крик и плач детей, пьяная ругань, супружеская перебранка: комната была набита жильцами. Тут не было и тени сравнительного благосостояния квалифицированных заводских рабочих. Зарабатывал Павел чуть ли не 12—15 руб. в месяц и из этого заработка покупал книги. После длинного и тяжелого рабочего дня с неизменным аккомпанементом фабричных веретен он, возвратившись домой, под пьяную брань своих сожителей погружался в чтение книги.

Связи за Невской заставой, если помнит читатель, появились у меня еще в самом начале моей революционной карьеры. Невская застава издавна была очагом революционного движения, чуть ли не со времен „Земли и Воли“. Со старыми интеллигентными рабочими приходилось встречаться К. М. Тахтареву. Он мне называл рабочего Шелгунова, с которым мне встречаться не приходилось. А. М. Соловьев слышал об одном рабочем в районе Фарфорового завода, имевшем кружок. Но он так себя законспирировал, что мы до него не могли добраться. Зимой мы узнали о существовании небольшого кружка рабочих за Невской заставой, организованного заводским химиком С. А. Гинзбургом, пожелавшим к нам присоединиться. Переговоры вел сначала технолог Митров, потом я. Кроме Гинзбурга там работала А. А. Давидович. Влияние нового, агитационного периода рабочего движения, открывшегося с появлением на исторической сцене „Союза борьбы“, сказалось и на этом кружке: кроме обычных кружковых занятий здесь при непосредственном и деятельном участии рабочих вырабатывался устав рабочей кассы. В этом кружке мы нашли энергичного работника в лице рабочего Карла Сакса, о котором я упоминал выше. А в непосредственной близости к кружку стоял лично известный Гинзбургу и Саксу провокатор Ларионич. У него были столь энергичные защитники, и нас так тронула якобы возводимая на него напраслина, что я и покойная А. А. Якубова (Тахтарева) сочли нужным лично с ним познакомиться и произвести целое расследование этого дела. Впечатление он производил отличное, роль несправедливо обиженного играл великолепно. А. А. запрашивала сидевших в Предварилке членов „Союза“, — кажется, Гофмана и других, с которыми поддерживались сообщения не то через шифрованную переписку в книгах, не то через передачи на свиданиях.

„Союз“, открывший агитационную эру в рабочем движении и с самого начала привлекавший к себе симпатии рабочих, всё больше и больше приобретал популярности. А так как спрос на интеллигентов в рабочей среде всё возрастал, то рабочие, желавшие получить интеллигентов именно от „Союза“, тем самым избавили нас от труда отыскивать способы приобретения знакомств. Теперь становились излишними всякие якобы случайные встречи и другие ухищрения. Наоборот, не хватало интеллигентов. Приходилось буквально рваться на части. Существовал у нас, правда, свой резерв, были попытки, исходившие и от меня, и от других, организовать кадр интеллигентов-революционеров, готовых выступить в поход во всеоружии революционных знаний. Но жизнь разбивала наши предположения: так как организация всё время находилась на военном положении, то для пополнения убыли резервы выступали „в поле“, не пройдя соответствующей школы. Установилась связь со всеми крупными и многими мелкими фабрично-заводскими предприятиями столицы.

Между тем, с началом нового 1897 года надвигалась новая крупная забастовка. Дело в том, что правительственные обещания до сих пор не реализовались. „Союз борьбы“, учитывая тягость стачки в тяжелое, зимнее время года, весьма сдержанно говорил об этой проволочке, не приглашая к немедленным действиям. Но, как и всегда бывает, стихия опередила политические сообра-

жения. Стояли суровые крещенские морозы. Но обманутые в своих ожиданиях рабочие не могли более ждать. Фабрика Максвеля за Невской заставой (Спасско-Петровская) первая остановила работу. Глухо волновались соседние заводы. Стал Александровский чугунный. У Торнтонна было беспокойно. Стала Новая Бумагопрядильня на Обводном, перебросилось забастовочное движение через Неву, на Выборгскую сторону, к Чешеру, Мальцеву, Шау. Стала Больше-Охтенская. Кое-где случались небольшие эксцессы, спровоцированные полицией, но в общем рабочие, в спокойном сознании своей силы и правоты, держались спокойно. Происходили рабочие собрания, где участвовали и представители „Союза“, обсуждавшие вопрос о денежной помощи и об условиях, на которых можно было вновь стать на работу. Нельзя сказать, чтобы „Союз“ и на этот раз вполне овладел положением. Но всё же зимняя стачка застала его более подготовленным. Зашевелились в правительственных кругах. Непосредственным результатом январской стачки был закон 2 июня 1897 года, вводивший сокращение рабочего дня. „Союзу“ пришлось напрячь все свои силы, чтобы не отставать от событий. Низкое состояние техники — вместо типографского станка приходилось пользоваться мимиографом — очень ощутительно давало себя чувствовать. По недостатку людей приходилось по зоваться услугами лиц, не имевших до того в технике никакого отношения. Однажды вечером на собрании Ц. К. выяснилась необходимость срочного, на другой же день, издания прокламации. Требовались какие-то дополнительные сведения. Я взялся их достать, и мне же, совместно с Л. Г. Поповым и А. М. Соловьевым, поручено было составить, проредактировать и сдать в печать прокламацию. Поздно вечером явился я на квартиру Попова на Васильевском острове, часть ночи проработали, часть поочередно спали. Ранним утром я отправился на Балтийский завод к Соловьеву, и в тот же день появилась наша прокламация.

Для наших конспиративных заседаний мы пользовались разными — разумеется, „чистыми“ в смысле слежки — квартирами. Между прочим, не раз заседали в квартире доктора Смядовича (В. В. Вересаев), двоюродного брата И. Г. Смядович. Вересаев, вполне нам сочувствовавший, активного участия в работе „Союза“ не принимал.

Душою всякой организации является печатный орган. Едва оправившись от августовского провала, мы лелеяли эту мечту. Существовала в то время в Петербурге группа Махновца (Акимов), вступившая в „Союз“. Махновец долго возился со шрифтом, но типография как-то не налаживалась. Не знаю, насколько дело зависело от объективных условий, насколько от деловитости Махновца. У меня сохранилось о нем впечатление как об очень добром и отзывчивом человеке, а с деловых качествах его судить не берусь. Наконец, в начале 1897 года получил желанное разрешение вопрос о печатном органе. М. П. Миклашевский очень удачно набросал нам рисунок для заглавного листа: пролетария с развевающимся знаменем в руках. В январе мы избрали редакторов: С. И. Радченко и А. Н. Потресова или Л. Г. Попова — не помню. В феврале вышел первый номер „Петербургского рабочего листа“ — наша

*

гордость. Но этот же номер оказался и последним. Одновременно с нашей газетой провалился и архив „Союза“. Этот пробел вскоре был пополнен появившейся осенью „Рабочей Мыслью“, но я тогда уже сидел в тюрьме.

Около этого времени К. М. Тахтарев получил сведение, что его ждет арест. Это в его планы не входило, и К. М. решил эмигрировать. Как близкий человек, я ему помогал. В проходном дворе Обуховской больницы К. М. снял свое форменное студенческое пальто и фуражку, переоделся в штатское; мы расстались, чтобы встретиться лет через десять... Его форменную одежду я бросил в Введенский канал и, согласно требованиям конспирации, замел свои следы.

Вероятно, в феврале, а может быть и марте 1897 года вышел приговор по делу основателей „Союза борьбы за освобождение рабочего класса“, — В. И. Ульянова (Ленина), Цедербаума и других. Приговор оказался довольно мягкий: три года административной ссылки в Восточную Сибирь. Перед отбытием в ссылку их даже выпустили на день или больше из тюрьмы. Это дало нам возможность — я говорю о членах Ц. К. „Союза“ — с ними познакомиться и побеседовать. Свидание состоялось в квартире Цедербаума (Мартова). Поговорить нашлось о чем: они нас расспрашивали о нашей работе, об успехах рабочего движения, рассказывали нам о тюремных порядках, о допросах, высказывали соображения относительно дальнейшей работы...

В феврале же или марте того же года должен был состояться первый в России социал-демократический съезд. Представители Союза избрали Б. И. Гольдмана. Б. И. Гольдман, которого нельзя упрекнуть в излишней скромности, подчеркивает, что даже А. А. Якубова голосовала за него. Пользуюсь этим случаем, чтобы сказать два слова об упомянутых выше воспоминаниях Б. И. Гольдмана в „Красной Нови“. Факты в общем изложены правильно. Если есть какие-либо неточности, то в воспоминаниях это неизбежно. Так, мартовские аресты Б. И. приурочивает к 18 марта; так как сам я был в числе арестованных, то помню точно дату: 21 марта. Что же касается выводов, то тут у Б. И. Гольдмана наблюдается некоторый субъективизм. Так, я могу положительно утверждать, что „фактическим руководителем Союза“ он не был, по крайней мере до 21 марта. Единоличного, хотя бы и только „фактического“, руководителя вообще у нас не было, — разумеется, я могу говорить только о том периоде, когда я был членом организации, т. е. с августа 1896 до 21 марта 1897 года (стиль старый). Наиболее влиятельными членами центра являлись С. И. Радченко, К. М. Тахтарев, А. А. Якубова, но из них ни одного нельзя назвать „фактическим руководителем“. Не связанные рабочими кружками и непосредственными сношениями с рабочими, так как уже были скомпрометированы и высылкой, они больше и плотнее, так сказать, занимались „haute politique“ „Союза“. Но и А. Н. Потресов имел специальностью „haute politique“ и в этой области, вероятно, из нас всех являлся наиболее зрелым и образованным, да и годами постарше. Считая своим долгом внести необходимую в интересах исторической истины поправку, я должен сказать, что единственным, может быть фактическим руководителем „Союза“ была сама жизнь, были требования и

запросы пробуждавшейся рабочей массы, а не отдельные, хотя бы и весьма талантливые лица. Этим-то и отличается движение 90-х годов от прежнего, „героического“ периода русского революционного движения.

Хотя фракционных разногласий среди русских социал-демократов конца прошлого столетия еще не наблюдалось, тем не менее уже в недрах „Союза“ существовали три течения, которые пока не мешали нам вместе работать, но могли служить зародышем будущих разногласий. В своей статье „Первые шаги“, напечатанной в „Былом“ 15 лет тому назад, я указывал на эти течения. Наш великий конспиратор С. И. Радченко являлся наиболее ярким выразителем одного из этих течений. Централизация по конспиративным соображениям, недопущение рабочих в центр как будто сближали представителей этого течения с заговорщическими организациями старо-народовольческого типа. Не тут-то было: по отношению к народолюдцам они оказывались непримиримыми, считая себя блюстителями марксистских традиций, хотя народолюды группы 4-го листа печатали социал-демократические брошюры и в значительной степени восприняли дух марксизма. Представителями второго течения являлись К. М. Тахтарев, А. А. Якубова и автор. Мы исходили из лозунга: „освобождение рабочих должно быть делом самих рабочих“ и стремились к демократизации центра и к большей автономии районных групп. В наших глазах только таким путем „Союз“ мог постепенно превращаться из организации интеллигентской в классовую организацию пролетариата. Разумеется, считаясь с необходимостью конспирации в подпольных организациях, мы не посягали на принцип кооптации, принятой в „Союзе“. С большим трудом, но нам удалось провести в Ц. К. „Союза“ рабочих А. М. Соловьева и Карла Сакса. Лозунг „освобождение рабочих должно быть делом самих рабочих“ до такой степени меня проникал, что одно время я носился с мыслью сделаться рабочим. В эти мои замыслы посвящен был, кажется, только В. Г. Сушинский и, может быть, М. Я. Ситников. Почему я не говорил с К. М. Тахтаревым, не помню: вероятно, боялся, что он меня станет отговаривать, или, наоборот, хотел ему сделать приятный сюрприз. В связи с этим планом я ездил в январе 1897 г. в Саратов, где В. Г. предполагал достать мне хороший паспорт. Паспорта, помнится, не оказалось, и, может быть, это помешало мне осуществить свое намерение. А тогда уже, как потом выяснилось, за мной следили. Матров—не знаю, были ли у него в нашей организации единомышленники—придерживался своеобразной теории „экономизма“. Политическую борьбу он считал вредной для интересов рабочего класса, так как она-де поведет к конституции, а так как конституция будет буржуазной, то наступит организованное господство буржуазии. При всех-де отрицательных качествах самодержавия у него есть одна—де положительная, а скажем небесполезная для рабочего класса черта: угнетая рабочих, оно угнетает и буржуазию, мешая ей организовать. Вот этим-де обстоятельством и надо пользоваться и вести пропаганду и агитацию в духе экономической борьбы. Надеюсь, я правильно передал существо наших течений, которые не доросли до разногласий непримиримых.

В заключение позволю себе привести фамилии тех членов „Союза борьбы“ изображаемого мною периода, которых я не упоминал в тексте статьи, так как из памяти ускользнули конкретные данные, с ними связанные: Платунова, технолог Спицын, Скорняков, Толдалаев, Тулинова (Потресова), Богданов, Неустров. Последние двое—друзья Гольдмана. С Н. Ф. Богдановым я вместе следовал в ссылку. Он по болезни (туберкулез легких) отстал от партии в Керенске на Лене (в 1894 г.), где и скончался. Несмотря на признанную тюремным врачом в Петербурге болезнь, Николаю Федоровичу не разрешили ехать в ссылку на свой счет. С большим присутствием духа переносил он тяжелое в его состоянии путешествие. Приношу извинение перед лицами, фамилии которых забыты мною или во-время не приходят в голову: память — вещь прихотливая и не всегда сохраняет от забвения даже весьма важное. Если мне непропорционально много пришлось говорить о своей работе, то только оттого, что она, естественно, мне лучше известна.

Перед читателем, знакомым с моей прежней статьей „Первые шаги“, извиняюсь за неизбежные повторения. Неизбежны они потому, что иначе мне пришлось бы вместо новой статьи писать комментарии к старой, что отнюдь не уменьшило бы размеров статьи, а только сделало бы ее более скучной.

Виктор Катин-Ярцев.

28 июля 1922 года.

В. И. Ленин в Красноярске.

О пребывании В. И. Ленина в Красноярске, во время его ссылки в 1897 году в Сибирь, я знаю со слов очень известной в ту эпоху среди енисейской ссылки Клавдии Гавриловны Поповой, в доме которой Владимир Ильич жил все время, пока находился в Красноярске. Начиная с 1880-х г. г. и вплоть до первой революции дом Клавдии Гавриловны играл большую роль в истории енисейской, а отчасти и всей сибирской ссылки, и в истории ее ему еще будет отведено заметное место. Да и сама Клавдия Гавриловна была во многих отношениях редким человеком и настоящим другом ссылных в течение по меньшей мере целой четверти века. Кто только не проходил через ее руки и кого только не видела она у себя за эти годы! Имя ее было широко известно по всей округе до самого Туруханского края. Много лет все ссылные знали, что на огонек, который светился у нее, каждый может смело направлять во всякое время свой путь, в надежде найти там уют и ласку. Эта роль Клавдии Гавриловны в енисейской ссылке являлась столь значительной, а сама она представляла столь оригинальное явление, была таким интересным сибирским самородком, что заслуживает вполне того, чтобы и о ней самой сказать здесь несколько слов в виде хотя и запоздалого, но горячего признания ее, незаметных со стороны, но тем более ценных заслуг перед русскими революционерами, попадавшими в сибирское изгнание.

Клавдия Гавриловна Попова происходила из чиновничьей семьи. Родилась она в Томске 1849 году, жила же постоянно в Красноярске. Отец ее, как и дед, был местным чиновником, но он бросил службу, когда она была еще совсем маленькой, и ушел из дома на восток пешком. Он имел в виду добраться до Америки в поисках новой жизни. Он уже уходил туда однажды, но первый раз его встретили какие-то неудачи, он вернулся с дороги, и снова стал служить. Через некоторое время, однако, он опять всё бросил и на этот раз ушел навсегда. Никаких сведений о нем семья больше не получала. Сама Клавдия Гавриловна воспитывалась у деда, кажется, со стороны матери, который тоже был чиновником и жил безбедно, на пенсию.

16-ти лет ее выдали замуж. Жениха своего раньше она не знала, но замуж шла без боязни. В семье своего мужа она, хотя и взятая как сирота,

бесприданница, быстро создала себе самостоятельное положение. Отец ее мужа, занимавший значительный пост в местной консистории, очень ее полюбил, хорошо оценив достоинства и отличавший ее характер. Когда он умер, то оставил завещание, в котором свой дом и часть денег оставил не на имя сына, мужа Клавдии Гавриловны, а на ее имя и на имя детей. Так Клавдия Гавриловна сделалась вполне самостоятельной и оказалась даже „домовладелицей“, притом хорошо известной в городе как в верхних городских слоях, особенно духовных и административных, так и в низших.

Дом, оставленный ей свекром, был, правда, небольшой, но он отличался прочной старинной постройкой, из толстых бревен, и просторным двором. Дом расположен был по Больше-Качинской ул. и значился на ней под № 33. В этом доме позже и жил в Красноярске Владимир Ильич.

Политические ссылки, проходившие через Красноярск или бывшие по разным делам в Красноярске, прекрасно знали этот дом Клавдии Гавриловны на Больше-Качинской ул. Редко кто из них не бывал в нем или не останавливался там — „у Клавдии Гавриловны“. Жандармы так и звали его „штаб-квартирой политических ссыльных“. Пользоваться этим домом политические ссылки начали еще во времена „Народной Воли“, с 1880-х г. г., приблизительно с того времени, как в ссылку прошел писатель С. Я. Елпатьевский, после которого тут и основалась действительно настоящая штаб-квартира ссыльных. Это был настоящий приют для ссыльных, где каждый из них встречался положительно как родной, и где находила привет и приют даже совершенно незнакомые люди. Тут была и явочная квартира (при побегах), и справочный стол, и место для того, чтобы остановиться или прожить до тех пор, пока не подыщется постоянная квартира, и вечно открытая столовая, и постоянно действовавший адрес для переписки с родиной. Все эти услуги, трудно оценимые, так они были значительны, Клавдия Гавриловна оказывала совершенно безвозмездно в полном смысле слова бескорыстно. Многие кредитовались у нее годами и расплачивались уже после, возвратившись в Россию.

Полиция хорошо знала, какую роль играла квартира Клавдии Гавриловны среди ссыльных, но принуждена была молча терпеть ее присутствие в городе, так как сама она была вне всякой политики, и поводов для репрессии против нее собственно не было. Да и кроме того она была слишком хорошо известна в городе и пользовалась слишком большим уважением даже среди администрации, чтобы можно было предпринять против нее какие-либо резкие шаги. Но вместе с тем ее и не оставляли в покое. Около дома на Качинской ставили постоянно сыщиков, почти на бессменное дежурство; часто делали там обыски, постоянно приходили за разными справками, и еще в 1905 году, во время восстания железнодорожных мастерских произвели во всем доме и окружающем его дворе огромный обыск, думая найти там оружие и бомбы.

Можно сказать без всякого преувеличения, что, начиная от народников 1870-х г. г. вплоть до социал-демократов 1890-х и 1900-х г. г., все поколения енисейской ссылки прошли через эту хибарку типичного провинциального

вида, в три окна на улицу, и низенькую, несмотря на два этажа, почерневшую от времени на Больше-Качинской улице. Неудивительно, что тут же пришлось поселиться и Владимиру Ильичу, когда он, по пути в сибирскую ссылку, после тюрьмы по делу „Союза Борьбы“, должен был прибыть в Красноярск и ожидать там дальнейшего назначения на место ссылки от губернатора.

Клавдия Гавриловна хорошо помнила это пребывание у нее „Ильича“, и неоднократно потом о нем рассказывала.

По ее словам, Владимир Ильич приехал в Красноярск в начале 1897 года, еще по зимнему пути. Здесь ему предстояло пробыть до пароходов, так как он был вскоре назначен в Минусинский уезд, куда путь лежал водой, вверх по Енисею. Прожить у нее до пароходов ему пришлось месяцев 4—5 не меньше. Случайно, попутчиком Владимира Ильича в поезде оказался один очень известный в Красноярске врач, Владимир Михайлович Крутовский, сибиряк, позже областник, как и многие красноярцы, хорошо знавший Клавдию Гавриловну. В начале 1880 годов Крутовский был прикосновенен к пропагандистской работе народovolьцев, был даже арестован, вместе с своей женой (впоследствии ревностной социал-демократкой), но в 1890-х г.г. стоял уже собственно вне партий, хотя и оставался по идеологии народником. Дорогой Владимир Ильич давал ему между прочим читать книгу: „Материалы для изучения экономического развития России“, перед тем конфискованную и сожженную цензурой, где была, как известно, и его большая статья об экономическом содержании народничества и критике его в книге Струве, подписанная псевдонимом — „К. Тулин“.

Эта статья между прочим циркулировала уже тогда в кружках молодежи и социалистической интеллигенции в Сибири, например — зимой 1895—1896 г.г. в Томске, и привлекла к себе большое внимание. Автором ее заинтересовались также в народнических кругах в Петербурге и, напр., в редакции „Русского Богатства“ некоторые постоянные сотрудники (назову из них хотя бы В. А. Мякотина) находили, что с такой критикой, как критика книги Струве с одной стороны, так и народничества с другой, которая дана в статье Тулина — „можно бы столковаться“¹⁾. Однако, Крутовский отнесся к статье иначе и, не зная даже, кто автор ее и что автор и есть его собеседник, резко стал критиковать ее. Так в этих спорах они и коротали дорогу, которая продолжалась дней 8—9. Железная дорога тогда была только что открыта.

С Крутовским Владимир Ильич и позже живя, в Красноярске, поддерживал некоторые связи. Так, благодаря связям Крутовского, губернатор назначил

¹⁾ Критику старого народничества К. Тулин приурочил в своей работе к детальному разбору статьи: „Новые всходы на народной ниве“, напечатанной анонимно в № 2 „От. Зап.“ за 1879 год. Автором этой статьи был С. Н. Кривенко, что, повидимому, оставалось неизвестным самому критику. В качестве правого народника, Кривенко тогда порвал уже с „Русским Богатством“. Теперь эта статья его напечатана в т. I его сочинений. Сиб. 1912 г.

Владимира Ильича в самый город Минусинск, а не в уезд. Но Владимир Ильич сам избегал таких пунктов, в которых происходило скопление ссыльных, не желая погружаться в колониальную жизнь, и он просил поэтому назначить в такое место, где бы ссыльных вовсе не было. Минусинский исправник направил тогда его в с. Шушинское, на юг от Минусинска, близ самого Енисея. Тут он и оставался в продолжение всей ссылки, лишь временами наезжая в город Минусинск. Здесь же, в Шушинском был написан Владимиром Ильичем его известный протест 17-ти социал-демократов против „Credo“ Кусковой.

Несколько позже, уже после того как в Шушинское уехал из Красноярска Владимир Ильич, сюда прибыла его тогдашняя невеста Н. К. Крупская, тоже останавливавшаяся в доме на Катчинской. Она пробыла тут очень недолго, так как навигация уже была открыта, и уехала в Минусинский уезд, в Шушинское. В Шушинском происходила и свадьба ее с Владимиром Ильичем (напоминаю еще раз, что это было в конце 1890-х гг., когда гражданский брак далеко не являлся легализованным и не признавался администрацией при поселении ссыльных). Посаженным отцом у них был местный крестьянин Ермолаев, очень уважаемый, умный и толковый, из типичных старожилческих сибиряков. Впоследствии он был избран в члены Государственной Думы.

Не знаю, от кого, от Крутовского ли дорогой, или еще с места, при отправке из Петербурга, что тоже возможно, но Владимир Ильич получил адрес Клавдии Гавриловны и потому прямо с вокзала проехал к ней, не предупреждая даже ее об этом. Так, впрочем, делали все ссыльные, хорошо знавшие, что к Клавдии Гавриловне любому ссыльному можно приехать во всякое время без предупреждения. Клавдия Гавриловна, конечно, охотно приняла Владимира Ильича, и так он и остался у нее во все время жизни в Красноярске.

Прямо из прихожей, во втором этаже ее дома находилась большая, но низкая, типичная провинциальная комната. В ней стояла кровать, столы простого дерева, несколько кресел провинциальной работы собственных столаров, тяжелые и мало удобные, и два таких же дивана. Над столом на стене висело простеночное зеркало, совершенно такое, какие встречаются во всех захолустьях подобного типа. В этой комнате и поселился Владимир Ильич.

Жил он тут совершенно один, но когда кто-нибудь приезжал из уезда из ссыльных (а это бывало довольно часто) или подъезжали новые ссыльные, то они останавливались в той же комнате. Тогда Владимир Ильич занимал попрежнему место на кровати, как первый приехавший, а другие спали на диванах.

С собой Владимир Ильич привез много книг и, вероятно, у него имелись разные новинки, интересные для ссыльных, вроде той книги „Материалов“, которую дорогой он давал для чтения Крутовскому.

Тотчас по приезде он сел за чтение и за работу над своими книгами. Заботиться о разных хозяйственных мелочах ему не приходилось. Давно

уже так установилось, что у Клавдии Гавриловны ссыльные, жившие тут, у нее и столовались за самую дешевую плату, по „себестоимости“. Пищу у нее они имели простую, но сытную и хорошо приготовленную, так как она славилась в городе как искусная повариха. Такой же стол стал получать и Владимир Ильич.

Клавдия Гавриловна рассказывала, что, хотя она и жила с ним под одной кровлей, но она редко его видела, так как он всё время сидел в своей комнате за работой и выходил только на время обеда или когда пил чай, да и то не всегда. Вскоре после приезда у него нашлось и еще одно дело: он стал ходить в библиотеку купца Юдина, Геннадия Васильевича, за книгами для занятий. Этот купец Юдин, хорошо известный в то время по всему округу, был тоже оригинальной личностью, и на нем точно так же необходимо остановиться несколько подробнее.

Он был очень богат, имел целую усадьбу, на горе за нынешним вокзалом. Это место называется Таракановкой. Там Юдин жил, как настоящий помещик, на широкую ногу сибирского богатея. На просторной усадьбе, в полугоре, у него стояло несколько хорошо построенных домов, из них один был огромный, двухэтажный, с высокими, просторными, очень светлыми комнатами, но деревянный, весь занятый библиотекой, исключительной ценности. Дом этот Юдин так и построил специально для своей библиотеки.

Разбогател Юдин тоже необычным способом, по случаю. Сибирские капиталисты того времени богатели либо полууголовным путем, либо благодаря счастливому стечению обстоятельств, как и вышло с Юдиным. Когда-то, еще в раннем возрасте, мальчиком, совершенно неграмотным, Юдин прислуживал у какого-то деревенского лавочника, был у него на побегушках. Он тут скопил немного денег и по чьему-то совету купил выигрышный билет на лотерею Генриха Блока. Билет оказался счастливым: Юдин выиграл на него 75 тыс. рублей, и сразу стал богатым.

Много позже, ставши уже капиталистом, Юдин снова выиграл в ту же лотерею, на этот раз 200 тыс. рублей, и все эти деньги он употребил на библиотеку.

У него была страсть к книгам, он был настоящий библиоман, и ради книг он не жалел никаких расходов.

По характеру это был очень практичный и очень предприимчивый человек, американской складки. Деньги от первого выигрыша он вложил в разные дела, позже в водочные заводы и в привиски. Золото и спирт—это был экономический базис, на котором создавали тогда свое благополучие все сибирские капиталисты. Дела у Юдина шли хорошо. И чем больше он наживал, тем с большей страстью вкладывал деньги в свою библиотеку, хотя сам был человек мало-образованный. За книгами он совершал постоянно поездки, конечно, на лошадях, так как железной дороги тогда еще не существовало, в Европейскую Россию, и приобретал в столицах, у знакомых букинистов самые разнообразные книги, а также старинные рукописи, на которые он был особенно падок. Часть этих старинных рукописей по истории

Сибири он тогда же выпустил (еще в 1880-х г.г.) отдельной книгой, которую, в особо роскошных переплетах, дарил некоторым из своих знакомых. Вот к этому Юдину в его библиотеку, представлявшую действительно замечательнейшее книгохранилище, и ходил заниматься Владимир Ильич.

С Больше-Качинской улицы на Таракановку, от дома Клавдии Гавриловны до усадьбы Юдина путь лежал неблизкий, ходить надо было через весь город и через ряд пустырей, теперь, впрочем, застроенных. В один только конец делать приходилось верст 5—6 по тяжелой дороге. Владимир Ильич в Таракановку и обратно ходил обычно пешком и проводил в библиотеке Юдина почти весь день. Надо думать, что в это время он собирал материалы для своей книги „Развитие капитализма в России“, а может быть отчасти уже и писал ее, так как в конце 1898 года или начале 1899 года она уже вышла в свет, в издании М. И. Водовозовой. Цензура тогда обратила внимание на эту книгу и, чтобы хотя чем-нибудь задержать ее распространение, заставила издательницу назначить продажную цену в 2 рубля 50 коп., вместо 2 рублей, как предполагала сделать сама она. Быть может даже, если бы не библиотека Юдина, то Владимир Ильичу не удалось бы так быстро закончить, в сибирских условиях, этой книги, тогда как у Юдина и для других своих работ он мог найти огромный материал и благодаря этому богато использовал свое четырех-пятимесячное пребывание в Красноярске.

Чрезвычайно любопытно тут отметить еще одну деталь. Юдин, как общее правило, никогда и никого не пускал заниматься в свою библиотеку. Частью он это делал потому, что не доверял посторонним свои книги, боялся небрежного обращения с ними и порчи книг; частью он это делал потому, что охотнее всего заниматься к нему шли ссыльные, а к политическим ссыльным он относился по принципу отрицательно. Ссылные, как он знал хорошо, были все социалисты, и этого для него было достаточно, чтобы закрыть от них свое книгохранилище. Юдин смотрел на социалистов как на своих классовых врагов, как сказали бы теперь, хотя он сам, может быть, и не формулировал такими словами свое к ним отношение, и в этом смысле отличался большой и неуклонной последовательностью. Это отношение к ссыльным особенно обострилось у Юдина после того, как вышла в свет книга В. И. Семевского: „Рабочие на сибирских золотых приисках“, книга, которую Юдин принял как личное оскорбление для всех золотопромышленников, в том числе и для себя, тем более, что эту книгу Семевский написал, сделав предвзвешенно объезд всех приисков на средства, предоставленные ему Сибиряковыми, тоже сибирскими золотопромышленниками. Но положение рабочих как раз на приисках Сибирякова описано у Семевского весьма мрачными красками, что приводило Юдина в чрезвычайное раздражение. Он, не стесняясь, говорил тогда про Семевского, что Семевский где пьет и ест, там и гадит.

Как удалось получить Владимиру Ильичу разрешение от Юдина работать в его библиотеке, я не знаю. Но он это разрешение получил и стал ходить туда, и ходил часто и много. Юдин же все-таки умел ценить тех, кто, как он видел, серьезно работает над книгами и кто любит книги, он только

убеждал таких людей не быть такими „односторонними“, как Семевский. Так как он скоро и сам увидел, что Владимир Ильич „по настоящему“, как он выражался, работает, то он и предоставил ему все огромные запасы своих книг, чем Владимир Ильич несомненно и воспользовался.

Но и дома, приходя от Юдина, он много работал, сидел даже ночами за книгами. Клавдия Гавриловна передавала в этом отношении такой, правда, мелкий, но характерный факт. В комнате, в которой Владимир Ильич жил, висело над столом, как упомянуто выше, простеночное зеркало, так что лампа, когда ее Владимир Ильич ставил перед собой для занятий по вечерам и ночью, приходилась прямо под зеркалом. Ее и раньше ставили обычно на этом же месте, и все проходило благополучно, но Владимир Ильич, передавала Клавдия Гавриловна, так долго и так помногу сидел ночами с этой лампой, что зеркало от нагревания однажды лопнуло. Это маленькое происшествие очень смутило тогда Владимира Ильича...

Но, конечно, такой замкнутый образ жизни Владимир Ильич вел не все время. Для этого он обладал слишком деятельной натурой, требовавшей того или иного проявления. К этому именно времени его жизни на Больше-Качинской улице относится то свидание с покойным Федосеевым в тюремном дворе, которое ему тогда устроили товарищи и о котором рассказывает в своих воспоминаниях Мартов (См. его „Записки социал-демократа“). Приходилось Владимиру Ильичу общаться и со старыми ссылными, тем более, что нередко кто-нибудь из них ваезжал из уезда к Клавдии Гавриловне. В таких случаях, как я уже упоминал, приезжие останавливались в той же комнате, в которой жил Владимир Ильич, помещаясь на ночь на стульях и на диванах. Клавдия Гавриловна рассказывала, между прочим, как однажды в одной комнате с ним поместились два старых ссылных 80-х годов, один Филиппов, бывший каторжанин-народоволец, а другой, кажется, Мерхолов, тоже из прежних народовольцев, но бывший в административной ссылке. Оба они были народниками и к марксистам, да еще новейшей формации 90-х годов, относились очень пристрастно. Естественно, что, когда они жили, у них с Владимиром Ильичем шли шумные споры. Приходил еще в это время к Владимиру Ильичу местный марксист Красиков, Петр Ананьевич, красноярец по происхождению, тоже хорошо знавший Клавдию Гавриловну и ее д. м. Красиков жил постоянно в Красноярске, где дед его был кафедральным протоиереем. Красиков собственно даже не приходил, а чаще приезжал на беговых дрожках, очень распространенных в Сибири, на лошади деда-протоиерея. Случилось однажды так, что все они четверо: — Филиппов, Мерхолов, Владимир Ильич, Красиков (был, кажется, и еще кто-то) так заспорили, что Клавдия Гавриловна несколько даже забеспокоилась, что бы предпринять, чтобы прекратить этот слишком громкий спор. Но в этот момент вдруг ударили в набат, на пожар, — а пожары тогда в Красноярске, как и вообще в сибирских городах, бывали очень часто. Услышав набат, Красиков выскочил из дома и укатил на своих дрожках, а спор благодаря этому прекратился, затих сам собой.

В среде лиц близких к Клавдии Гавриловне сохранилось и еще воспоминание об одном из таких полемических турниров, которые пришлось тогда вести Владимиру Ильичу со странными народовольцами. Но это происходило не в квартире самой Клавдии Гавриловны, а в квартире В. А. Караулова, бывшего шлиссельбуржца, проживавшего тогда в Красноярске вместе с своей женой, Прасковьей Семеновной. После выхода из Шлиссельбурга, Караулов жил очень замкнуто в отношении ссыльных, он с ними не общался. Круг его знакомых в городе ограничивался по преимуществу местной служилой интеллигенцией (в более близких отношениях он состоял с семьей врача Куркутова, врачебного инспектора), и ссыльные, особенно молодые, к нему доступа не имели. Тем не менее как раз в его квартире произошло свидание Владимира Ильича с несколькими старыми народовольцами. Случилось это следующим образом. В то время из Забайкалья проезжал в Европейскую Россию бывший каторжанин-кариец Яцевич, один из крупных народовольцев. Яцевич отличался редкими способностями к теоретическому мышлению, много работал на каторге над разными научными вопросами, особенно в области философии. Товарищи высоко ценили его дарования, а некоторые считали его даже из ряда выдающихся мыслителем. Вот этот Яцевич и обратился с просьбой к В. А. Караулову устроить ему свидание с местными марксистами, которыми он очень интересовался. Удовлетворяя его просьбу, Караулов пригласил к себе небольшой кружок знакомых, в том числе молодежи (в общем человек 15), причем со стороны марксистов тут присутствовали Владимир Ильич и его товарищ по ссылке Ляховский. Беседа, точнее, прения Яцевича с Владимиром Ильичем, продолжались целый вечер. Говорил, впрочем, главным образом Яцевич. Он отстаивал основные принципы программы „Народной Воли“ и ее философские предпосылки, противопоставляя их теории экономического материализма. Владимир Ильич возражал по всем пунктам, при чем ограничивался больше отдельными репликами, „ядовитыми фразами“, как говорили тогда в Красноярске ссыльные, резко обострявшими как его мысли, так и характер спора.

Прасковья Сем. Караулова, приглашая гостей на этот спор, говорила им: „у нас сегодня будет интересный вечер“. И вечер был действительно интересный. За все время сибирской ссылки у Владимира Ильича, быть может, не было такого большого и длительного турнира с представителями старого поколения, как в этот раз, у Карауловых. Некоторые итоги этого спора он подвел вскоре в статье. „От какого наследства мы отказываемся“. Статья предназначалась для журнала „Новое Слово“, которое перешло тогда в руки марксистов, но ее не успели там напечатать, так как журнал был вскоре закрыт постановлением четырех министров.

Когда Владимир Ильич уезжал с пароходом в Минусинск, то перед прощанием спрашивал Клавдию Гавриловну, какие ссыльные больше ей нравятся, старые, которые были раньше, или молодые, вышедшие? Она ответила ему, что старые ей кажутся лучше и они ей больше по душе.

Расстались Владимир Ильич с Клавдией Гавриловной, несмотря на это расхождение в симпатиях, очень тепло и сердечно.

С тех пор прошло много лет. Года два-три тому назад в Минусинске, в котором Владимир Ильич отбывал когда-то ссылку, закончила свою долгую жизнь и Клавдия Гавриловна: — она умерла в сентябре 1921 года, умерла тихо, во сне, от паралича сердца. Но последние годы ее жизни были очень тяжелыми. Без преувеличения можно было сказать, что она умерла от лишений всяческого рода и прямо от голода. Весной того же года (т.-е. 1921-го) пишущий эти строки, получив сведения о том, как живет она и какими лишениями обрушивалась на нее наша текущая действительность, обратился к тогдашнему председателю Сибревкома (в Омске) с просьбой оказать какую-нибудь помощь ей, хотя бы в память о том приюте, который имел у нее когда-то Владимир Ильич. Казалось величайшей несправедливостью, что в республике, вождем которой является В. И. Ленин, не нашлось бы куска хлеба для этой старухи, уже больной и беспомощной, которая в свое время с каждым из ссыльных делилась буквально всем, что только было у ней под руками.

И действительно председатель Сибревкома обратил на это самое горячее внимание и немедленно протелеграфировал в Красноярск о представлении Клавдии Гавриловне пайка ответственного работника, что вполне бы обеспечило ее существование.

Но в то время еще не миновал период так называемой „власти на местах“. И в Минусинске местный упродком Жданов отказался выполнить это распоряжение из центра.

Так она и умерла, оставленная прежними друзьями, покинута, но — безропотная...

Марк Горбунов.

К биографии В. И. Ленина.

В № 1 за 1924 г. журнал „Сибирские Огни“ (издается в Ново-Николаевске) помещена статья А. Киржница — „В. И. Ленин в Сибири“. Эта статья принадлежит к числу тех мемуаров о Ленине и его характеристике, о которых в последнее время писали в „Правде“ такие близкие к покойному В. И. Ленину люди, как его сестра Мария Ильинична и его жена Н. К. Крупская, — то-есть к числу произведений, требующих серьезных оговорок и поправок по точности сообщаемых в них фактов. Так автор, А. Киржниц, между прочим, сообщает:

— „29 января 1897 г. В. И. Ленин по делу „о с-петербургских преступных кружках социал-демократов“ был в административном порядке выслан ссылкой в Вост. Сибирь на 3 года“. „Приведение приговора в исполнение, — далее говорит А. Киржниц, — не заставило себя долго ждать и, пройдя через все этапные мытарства, побывав во всех полутных тюрьмах Европейской России и в Сибири, В. И. в мае того же года очутился в с. Шуминском Минусинского у. Енисейской губернии, назначенному месту ссылки“.

Все это совершенно неверно и требует поправок для восстановления истины.

В Сибирь попал Владимир Ильич не по этапам и последних не испытал лично, и вообще на своем примере не знал их, а приехал свободно по железной дороге, по проходному листу.

Я это утверждаю потому, что сам тогда ехал в Сибирь вместе с Влад. Ильичем и даже в одном и том же вагоне третьего класса, и, по приглашению Влад. Ильича, даже в одном с ним отделении.

Дело было именно так. Когда настал моментсылки Влад. Ильича в Сибирь и он получил разрешение ехать на свой счет по проходному листу, о мне — а я тогда был в Петрограде и тоже собирался выехать к себе домой, в Красноярск, где я постоянно живу и жпл — зашла моя знакомая, известная в литературном и педагогическом мире Александра Михайловна Калыкова, человек очень близкий Влад. Ильичу, и попросила меня устроить так, чтобы мы с Влад. Ильичем выехали одновременно и в одном поезде.

На петербургском вокзале я, однако, его не нашел, и мы с ним соединились только в Саваге, где на вокзале и познакомились.

Ехали дальше без всяких приключений и мытарств. Влад. Ильич имел с собой целый чемодан книг и газет, и мы усердно читали, спорили и обсуждали прочитанное. Влад. Ильич был выслан в распоряжение Енисейского губернатора. Я тогда состоял членом губернской администрации, имел связи и знакомства, и, условившись с Влад. Ильичем, предпринял некоторые шаги, чтобы губернатором Влад. Ильич был назначен в ссылку в город Минусинск. По моей же просьбе и врачебное отделение, освидетельствовавши Влад. Ильича, нашло, что для его здоровья несходным более мягкий климат, т.-е. южная часть губернии.

Так и вышло. Влад. Ильич был назначен в Минусинский уезд в распоряжение Минусинского исправника. Туда Влад. Ильич поехал тоже свободно, без всяких жандармов. В то время в Минусинске находилась большая колония политических ссыльных, но Влад. Ильич не захотел сам оставаться в городе и просил исправника отправить его в одно из сел такое, в котором политических ссыльных нет. Желая посвятить свое время научной работе, он опасался, повидимому, что неизбежная сутолока ссыльной жизни, со всеми ее отрицательными сторонами, будет его отрывать от занятий. Тогда ему было назначено село Шушинское, куда он прибыл тоже без всяких жандармов, а вовсе не с 2-мя, как об этом пишет тот же Киржниц.

Нежелание Влад. Ильича остаться в г. Минусинске среди колонии ссыльных вызвало тогда среди минусинских полит-ссыльных большое волнение, недоумение, которое так ничем и не разъяснилось тогда:

Из села Шушинского Влад. Ильич очень редко приезжал в Минусинск и поддерживал знакомства только с двумя—тремя ссыльными.

Дальнейшее пребывание Влад. Ильича в с. Шушинском тоже А. Киржницом освещено во многом неверно, вероятно по непроверенным слухам, но всего не исправить, и я нахожу возможным в видах истинной истории Влад. Ильича внести поправку в наиболее существенное, то-есть в то, что сообщено выше.

Вл. Крутовский.

Русская тайная полиция в Италии.

Русская тайная полиция считалась почти что вездесущей. Скрыться от нее внутри России представлялось немислимым: — тут она всё знала и всё могла. Но и за пределами российской досягаемости, за рубежом, куда власть ее, казалось, не распространялась, она не была бессильной. Как гигантский спрут, она охватывала своими щупальцами чуть ли не все страны мира, во всяком случае европейского. Нигде она не давала покоя своим врагам, всюду их тревожила и старалась держать под ударом. Какими способами она в этих случаях пользовалась, я мог в этом убедиться между прочим и непосредственно, воочию, во время своего пребывания за границей, в Италии, на положении эмигранта, в 1909 — 1914 гг., когда мне пришлось принять близкое участие в борьбе как раз с международными происками русской тайной полиции и с ее развращающим влиянием на всякую среду, с которой она соприкасалась. О своих наблюдениях за это время я и хочу рассказать в нижеследующем. Полагаю, это будет не безынтересно даже для современного читателя, так как развернет перед ним не только жизнь самой полиции времен самодержавия, что было бы и не так важно, но вместе с тем, — и это более существенно, — поможет нам вскрыть генезис некоторых, чрезвычайно интересных сторон в жизни Италии, нам современной.

Я, впрочем, буду говорить не столько обо всей Италии, сколько об одном ее уголке, где происходили главные из описанных ниже событий и жизнь которого я мог наблюдать годами во всех деталях, во всей ее обыденщине. Жизнь же ни в чем так не познается, как в этой власти ничем непреодолимой обыденщины.

События, о которых я хочу рассказать, разыгрывались на побережье Генуэзского залива, между Генуей и Специей, в одном из самых благодатных мест Италии, на так называемой „Ривьере“. Ривьера в те годы представляла собою своего рода русскую колонию. На всем протяжении ее от Сан-Ремо, и даже еще дальше с запада — от Ментоны и Ниццы, вплоть до Специи, если не до Пизы, расселялись тогда русские эмигранты, по берегу моря, так радостно обогреваемого полуденным солнцем.

В Сан-Ремо постоянно жил Г. В. Плеханов, и около него почковалась целая колония русских. Плеханов в то время был близок с Бор. Савиновым, который тоже основался в С.-Ремо с целой группой террористов (Прожьева М. А., Моисеенко Сергей и др.). На лето Плеханов обычно уезжал в Швейцарию, которая давно уже стала его второй родиной, но зиму он всегда проводил на Ривьере, из-за точившего его туберкулеза. Здесь же в Сан-Ремо, на вилле Виктории, он писал свой 5-томный труд: „История общественной мысли в России“, к сожалению оставшийся незаконченным.

В Италии к Плеханову относились с большим уважением, и итальянские социалисты считали его одним из крупнейших теоретиков марксизма в Европе. Статьи его переводились, к его словам прислушивались с большим вниманием.

Сан-Ремо расположено на запад от Генуи, в сторону Франции. Это западная Ривьера, *Riviera Ponente*. На другом конце Ривьеры, восточном („*Riviera Levante*“), к Специи и Риму, эмигрантское население встречалось еще чаще, и здесь имелось несколько пунктов, излюбленных эмигрантами. Это были: — Нерви, небольшой городок тысяч в 8—10 жителей, сплошь застроенный отелями, и маленькое местечко Кави-ди-Лаванья. Тут, около городка Лаванья, протекала *la bella fiumana Entella*, воспетая Данте в „Божественной Комедии.“

Нерви — климатическая станция главным образом для туберкулезных. Город представлял собою в сущности сплошную больницу: — каждый год на зиму, из Давоса, Лэвена и др. горных мест, да и вообще отовсюду, где собирав свою жатву туберкулез, сюда съезжалось до 2000 человек больных разными болезнями, по преимуществу легочными. Здоровому человеку ходить по улицам этого города-больницы было даже тяжело. Тут же скоплялись в весьма большом числе и русские эмигранты, в числе другой публики из России, которой бывало далеко не мало. Среди эмигрантов нередко встречались люди с большим прошлым, очень часто бывшие каторжане, либо бежавшие с поселения, либо иным путем освободившиеся от каторги, и теперь здесь, на южном солнце, залечивавшие свои раны, нанесенные им каторжным режимом самодержавия. Они же приносили потрясающие рассказы о царском режиме в каторжных центрах. Не всем им помогало южное солнце, иные так и зачахли здесь, среди этой роскоши итальянской природы ¹⁾.

Удобство жизни в Нерви состояло в том, что тут были русские врачи (почти все социалисты), русские гостиницы, даже русские санатории. Сюда нередко наезжал Плеханов, тут подолгу жила Анжелика Балабанов. Тут можно было встретить Клару Цеткин. Это был замечательный пункт эмигрантского тяготения, которым не могла не интересоваться и русская полиция.

В Кави-ди-Лаванья (или просто — в Кави) состав публики был иной, да и место носило другой характер. Нерви — скалы, целой грядой вдвинувшиеся

¹⁾ Одного из них не могу не упомянуть здесь по имени, — это покойного тов. Горелова. Позже его прямо потрясающие воспоминания о пребывании на каторге были помещены в краковском „Вести. Каторги и Ссылки“, а теперь они перепечатаны в № 9 московского журнала „Каторга и Ссылка“.

в море. Горы близко подступили тут к берегу и стесняют горизонт. В Кави — большой и широкий пляж, один из лучших на всей Ривьере, если не самый лучший. Горы слегка отодвинулись на север, горизонт широкий, вся природа как-то ближе.

На лето здесь собиралось до 75 — 80 человек (считая с детьми), к зиме население редело, оставалось человек 35 — 40 постоянных жителей. Тут сосредоточивалась главным образом та часть революционной эмиграции, в прошлом у которой были разного рода боевые дела, в частности — террористические, иногда чрезвычайно громкие (взрыв дачи Столыпина в 1906 г.).

Для русской тайной полиции кавийские террористы представляли, конечно, объект особого внимания. За ними необходимо было организовать специальное наблюдение, тем более, что в то время внимание русских, да отчасти также итальянских дипломатов занимало крупное событие: — предстоявший приезд в Италию русского царя Николая II.

Незадолго перед тем, в 1903 — 1904 гг., русский царь делал уже попытку посетить Италию, но она кончилась для него чрезвычайно плачевно. В стране поднялась целая буря негодования¹⁾, захватившая все слои экспансивных итальянцев; социалисты и республиканцы предприняли бешеную — иначе ее назвать нельзя — агитацию за то, чтобы царя, если он посмеет приехать, — освистать! Предназначенные для этой цели особые свистки раскупались целыми партиями, и опасность быть освистанным оказалась настолько реальной, что царь не решился въехать в Италию. Это было, конечно, огромной победой социалистов и всех вообще друзей рабочего класса Италии.

Теперь в 1910 году, поощряемый разными дипломатическими соображениями, а может быть и жаждой взять реванш, царь решил возобновить свою попытку пробраться в Италию. Однако, проехать вглубь страны он все таки не рискнул, памятуя о недавно полученном уроке. Предполагалось, что итальянский король выедет русскому царю навстречу и примет его в знак объятия на пороге Италии, в старинном замке Ракониджи, близ Турина.

Дорога от границы до Турина не столь опасна; она пролегла по Ломбардии, стороной от крупных пунктов, да и езды тут было несколько часов, так что всё могло обойтись благополучно. Тем не менее к пути царского следования были стянуты войска, а в самом Турине они стояли буквально целыми шпалерами, как в России. Одновременно вся полиция была поставлена на ноги. Повсюду рыскали шпионы, в том числе и по Ривьере. Вскоре из почтовых они сделались — оседлыми.

Один из них окончательно обосновался в Кави. Это был итальянец Эудженио Инверницци, игравший потом большую роль, как агент русской тайной полиции. Появился он в Кави как раз во время Ракониджи, вместе с русским царем, его верховным патроном. Но, полвившись сначала мимоходом,

¹⁾ В феврале 1903 г. в Неаполе был арестован покойный М. Р. Гоц. Агитация, поднятая за его освобождение, перешла позже в агитацию против царя, резко обострив последнюю.

он вскоре прочно здесь обосновался и стал необходимой принадлежностью этого местечка.

Кави к этому времени было уже прочно заселено русскими. Образовался какой-то смешанный, русско-итальянский поселок, с двумя культурами, резко одна от другой отличными. Русских, разумеется, можно было узнать сразу — по костюму, и по манере держаться, и по привычкам. Тут был совершенно особый уклад жизни, перед многими проявлениями которого итальянцы сначала останавливались в недоумении, до такой степени всё это не вменялось в их понятия, но потом несколько попривыкли, освоились и научились относиться ко всему философски. Кое-что от русских они даже позаимствовали.

Параллельно с этой русской культурой прославилась культура итальянская. Это было что-то веками сложившееся, неизменно, обывательски неприменимое.

Основной слой населения составляли в этой местности крестьяне-арендаторы, занимавшиеся возделыванием оливы и винограда. Олива, переработанная в оливковое масло, шла в Россию: — это было то самое оливковое масло, которое в России употребляли на лампадки перед иконами. Оно шло отсюда, с Ривьеры, с той самой Ривьеры, которая дала приют стольким русским безбожникам и нигилистам! Когда шла речь о приезде царя в Раковиджи, то местная газета „Il Secolo XIX“ (генуэзская) так писала: — мы не можем отказать царю в уважении и достойном приеме; мы продаем оливковое масло в Россию! Это было более значительно, чем могло показаться сразу...

Аренда у крестьян становилась долгосрочная, наследственная, вековая как вообще в Италии. Был у нас и свой магнат, — крупный миллионер Пьяджи, у которого в самом центре Кави высился огромный четырех-этажный дом-палаццо. Летом на купальный сезон он приезжал сюда обычно с семьей. Жил он замкнуто, хотя это было уже молодое поколение Пьяджи. Итальянцы относились к нему с пережитками того феодально-крепостного почтения, которое шло прямо из глубины средневековья.

Вообще на всем этом уголке лежала печать средних веков. Когда-то тут пролегла старая римская дорога, сохранившаяся местами до сих пор. Этой самой тропой ходили римляне на Пиреней и в Галлию — и с давних времен протоптали глубокий след в психологии народа. Тут было царство клерикализма. Тут было господство церкви. Падре (священники), — после Пьяджи, — являлся самым уважаемым членом селения.

Мы жили в 50 верстах от Генуи и в 50 от Специи. Езды до того и другого города чуть больше часа. И все-таки встречались кавийцы, которые ни разу не были ни в том, ни в этом городе!

От Генуи нас отделяли свыше 100 тоннелей, от Специи — еще больше. Эти тоннели и эти горы, высокой грядой подступившие к морю, как бы закрывали нас от остального мира, несмотря на железную дорогу. Достаточно было отойти к северу на 5—6 километров, чтобы попасть уже в иной совершенно мир. Там не понимали даже того языка, которым говорят т.т., на

Ривьере, там за каждой горой царил свой диалект. А вместе с диалектом и свои понятия.

В Барассио, в маленьком поселке в пяти километрах от нас, в горах, говорили не так, как в Кави. Кавийская речь отличалась в свою очередь такими оттенками, каких не было тут же, около, в Сестри-Леванте, предместном городке на берегу моря, рукой подать от Кави. Там говорили „посе-стрински“.

На горах жили суеверные крестьяне-арендаторы, темные и задавленные работой. Они даже не знали, что такое Россия. На берегу, у моря, по тонкой линии прибрежной полосы, ютились столь же темные и не менее подавленные властью предрассудков и суеверия — рыбаки.

Квалифицированных рабочих было мало, они тонули в массе крестьян и рыбаков.

От нас в сторону Рима, не дальше чем за 10 километров, был поселок Рива-Тригоза. Там находились верфи, и имелся свой пролетариат. Небольшой речкой этот поселок делился на две части: в одной жили рыбаки, в другой рабочие. По одну сторону речки говорили на одном диалекте, генуэзском (genovese), по другую на неаполитанском! Рабочие по своему уровню стояли выше рыбаков, и, однако, во время выборов в парламент вся эта часть Ривьеры (от Биавари до Ривы-Тригозы) дала всего 75 голосов социалистам!

Это ли не царство средневековья...

Конечно, капиталистическая культура не могла обойти и этих мест. У нас были свои капиталисты, не из старых вроде Пьяджи, а из новых. Их тут называли „американцами“. Не потому, впрочем, чтобы они отличались американским размахом в своей предприимчивости и в умении оживлять промышленным гением мертвые пространства страны, а по иным причинам. Молодыми людьми они уезжали обычно в Америку на отхожие промыслы (Италия — страна эмигрантов!) и, наживши там хорошее состояние, возвращались домой к пенатам уже капиталистами, точнее: буржуазными рантьерами.

Обычно, с утра они выходили на солнышко, если это была зима, и грелись в его лучах; если же это было лето, то заползали в тень и тут отсиживались. Все они, как, впрочем, и всё Кави в целом, как и вся округа, читали только газеты, а из газет лишь — „Иль Секоло XIX“. У всех у них заботы состояли только в том, чтобы была всегда сигара, на столе фiasco кьчнти или пьемонтесе (фиаска — бугыль в два с половиной лигра), чтобы было во что одеться и спокойно отдохнуть¹⁾. Выше этого идеала никто не поднимался.

Когда итальянец сдавал комнату русскому, то между ними всегда происходило крупное недоразумение, особенно сначала. Первое, что показывали новому квартиранту хозяева, чтобы похвастаться своей обстановкой, это —

¹⁾ У меня был сосед, типичный кавийский рантье. Ему никогда не хватало одному фиаски вина в день для обычного потребления. Вино при хозяйственной заготовке обходилось по 5 сант. бутылка (2½ коп.). Пили с малых лет.

огромную двуспальную кровать! Пустая комната с кирпичным полом и в ней как раз посредине двуспальная кровать, на которой можно расположиться и вдоль, и поперек.

Русские жэ требовали обычно маленькую кровать и большой стол (как в трактории), чего никак не могли понять итальянцы!..

Вот в этом-то богоспасаемом уголке и поселился после свидания монархов в Раковиджи наш Инвернидци. В эту тучную и обильную почву были им брошены первые семена полицейского разврата, наглого и приличивого. И они дали богатейшие, обильнейшие всходы.

Инвернидци оказался хорошим и энергичным организатором — и сразу поставил дело на широкую ногу. Первое и самое главное, на что он обратил внимание, это на переписку эмигрантов. Кто из эмигрантов не переписывался: эмиграция, как ссылка, жила у нас от почты до почты! И кто стал бы за границей, где тайна корреспонденции так охраняется, скрываться в выражении своих чувств на бумаге!

Озладеть перепиской эмигрантов, — это представлялось заманчивой целью. Ничто не дает такого огромного информационного материала, как переписка, особенно свободная и считающая себя вне контроля. Недаром же государственные люди изобрели „черные кабинеты“, без которых они были не в силах ступить ни шагу. Характерно также, что сам царь Николай II лучшим времяпрепровождением считал чтение чужой корреспонденции...

Инвернидци поселился у нас наверху в трактории, около самой станции, — пункт наиболее подходящий для человека его профессии. Внизу в этом доме торговали вином, а рядом в маленькой лавочке — табаком и сигарами. Табачным зельем торговала старая и пристрастная итальянка, слышим черепом, как это бывает часто у женщин в Италии (от обычаев носить на голове тяжести), которую покойный Г. А. Лопатин прозвал — „Лакустой“. Около — „Лакусты“ русские эмигранты вились, как пчелы около медовых сот: — у ней покупали такие важные предметы потребления (обложенные акцизом), как табак, спички, курительную бумагу, соль и почтовые марки.

Едва обосновавшись, а может быть даже раньше, еще во время предварительной рекогносцировки, Инвернидци (колле и по сыскной части звали его фамильярно просто: „Нидци“, так он подписывался и в служебных телеграммах) тотчас же вошел в своего рода молчаливый заговор с местным населением против *forestieri*, иностранцев, русских эмигрантов. Первым и самым опасным из таких заговорщиков из среды местного населения оказался наш почттарь („постивно“, как его звали на итальянский манер все эмигранты), который образовал своего рода „фашио“, союз, с этим посланником русской полиции. Союз оказался чрезвычайно прочным, и долгое время эти два наших „фашиста“ превосходно обделывали свои дела.

У нас было два почттаря, старый и молодой, отец и сын. Официально на службе числился старый постивно, но это был глубочайший старик, лет 80-ти.

Каждый день по несколько раз ему приходилось ходить через весь поселок (почтовая контора была в другом конце села) на станцию за почтой. Он с трудом одолевал этот долгий путь, медленно брел шаркая ногами из своей конторы на вокзал и обратно. Никто не удивился, когда его стал время от времени заменять его сын, еще молодой сравнительно человек, на вид настоящий джентльмен, ушитанный, с надменным лицом.

Первый почтовый поезд со стороны Парижа, с запада, бравший в Милане петербургскую почту, пронесся по Ривьере, с громом и шумом, потрясавшим близлежащие дома, — рано утром, часов в шесть. Все русские эмигранты в эту пору еще мирно спали, и только тяжелые кошмарные сны, мучившие часто всех нас в первые годы заграничной жизни, напоминали нам недавно пережитое время, с тюрьмами, каторгой, перспективой виселиц. Страшно было просыпаться иногда под тяжестью этих сновидений. Однако о полиции, как живом еще враге, достигавшем нас и по сю сторону границы, никто не думал. Был только однажды такой, показавшийся нам странным, но вскоре забытый случай. В нашей среде находился один польский социалист, из молодого „Пролетариата“ 1890-х гг., марксист. Он страдал тяжелой формой туберкулеза. Часто он мучился ночами, и казалось, вот-вот наступит конец. Однажды, после одной из таких бессонных ночей, его жена, и сама страдавшая приступами тяжелой меланхолии, вышла на море, чтобы рассеяться, когда только что вставало солнце. Без всякой цели, почти не глядя перед собой, она шла вдоль дороги, когда мимо нее пронесся с обычным грохотом почтовый поезд. Так же механически она взшла на станцию, и тут увидела странную картину. В единственной зале нашего полустанка, в этот час вполне безлюдного, она к своему удивлению увидела двух посетителей: — это были Инверницци и молодой почтарь. Оба они стояли около станционного стола, на котором были разложены только-что полученные письма, и внимательно рассматривали адреса на конвергах. При ее появлении они слегка смущались, но затем постыно спокойно собрал все письма и пошел своей дорогой.

Я говорю, что мы не придали тогда этому инциденту никакого значения. Нам казалось невероятным, чтобы в такой демократической стране, как Италия, могли происходить какие-то злоупотребления с нашей перепиской. Обстоятельства вскоре показали, как мы были в этом случае наивны.

Как раз именно в эту раннюю пору, на заре каждого нового дня, оба наши тогдашние „фашисты“, — быть может, они фашисты и теперь, — приступали к своей работе. Делалось это таким образом.

Обычно постыно отдавал ряд писем, на выбор, сколько тот найдет нужным, агенту тут же на станции или заходил к нему в тратторию. У агента эти письма оставались пока что непротемпелованными, и в таком виде, без штемпелей, которые накладывались позже, он их вскрывал, а потом садился за копировку. Письма, которые нами получались, бывали, как общее правило, все русские, — Инверницци же по-русски не знал, конечно, ни слова. Тем не менее все эти письма он тщательно списывал, точнее сказать копировал

в буквальном смысле такого слова. Делалось это очень просто: — на письмо накладывалась прозрачная восковая бумага (калька), и затем каждая буква, даже каждый штрих, начиная от штампа, тщательно обводились. Таким образом всё письмо оказывалось переведенным через калькированную бумагу с начала до конца, во всех деталях. При незнании языка это была очевидно адская работа, тем не менее она выполнялась самым аккуратным образом.

Затем эти кальки немедленно, через ту же почту, отсылались в Париж, в русское посольство, на ул. Гренель № 59, в котором имелось особое отделение, занятое секретной агентурой. Начальником его в эти годы являлся Красильников, подробности о деятельности которого читатель может найти в книге В. К. Агафонова „Заграничная охранка“ (Изд. „Книга“, 1918 г.). Красильников же направлял их дальше, в Петербург, при чем иногда он эти кальки снова переписывал, на этот раз на пишущей машинке, и уже в таком виде (но с приложением калькированных подлинников) пересылал дальше, иногда же, в случаях почему-либо интересных и не терпящих отлагательства, прямо в кальках направлял в Петербург. Здесь они шли по начальству, сначала к директору департамента полиции, а в более важных случаях к министру внутренних дел. Таким образом наш Инверницки из своего кабинета над „Лакустой“ мог общаться, через эти инстанции, прямо с домом № 16 на Фонтанке.

Летом 1917 года, через два-три месяца после переворота, я пришел однажды в прежний „Особый отдел“ Департамента Полиции, это святая святых полицейского розыска. Один из работавших там товарищей сказал мне: — „Хотите посмотреть копии писем из Кави? Они лежат вон в той папке“...

Мне бросилось прежде всего в глаза огромное письмо в 12 четвертушек, переписанных на пишущей машинке. Письмо относилось к ноябрю 1912 г. и было отослано из Парижа в Кави, но попало прежде всего в руки Инверницки. Оно было написано каким-то тарабарским почерком, вдоль и поперек листа бумаги, с приписками во всех углах. Не только переписать, но и прочесть его представляло не малый труд. Тем не менее всё это оказалось тщательно переведенным на кальки, которые лежали тут же, в деле. В письме было много эмигрантских новостей и просто анекдотов, писанных на досуге человеком, которому нечего скрывать и не от кого таиться. Душа разрывалась в дружеской переписке нараспашку, но среди всей этой причудливой смеси то и дело проскальзывали серьезные сообщения, о вождях и периферии партий, с общей оценкой положения и с выводами на будущее. И всё это на пространстве хорошего газетного фельетона строк на 400! Письмом в департаменте повидимому весьма заинтересовались, так же как и в Париже. Посылая его, Красильников сообщал в сопроводительной бумаге, что, в виду интереса этого документа, он его немедленно направляет в Петербург в том виде, как получил, предоставляя департаменту переписать его на месте, приравняв к копии для дальнейшей разработки. Тут же на сопроводительной бумаге Красильникова стоит пометка директора департамента: — „в виду

интереса письма доложить его министру". И затем новая пометка: — „Доложено“ такого-то числа.

Это был удачный улов. В большинстве же довольствовались гораздо меньшим. Да и на что только этими агентами не тратились силы и деньги! Мне пришлось потом читать дневник наблюдений этих агентов за кавийскими эмигрантами. Тут всё было зарегистрировано: — пошел купаться на марину, поехал за покупками в Лаванью, гулял по Санта-Анне, ходил за продуктами в ботегу (мелочная лавка). Всё это нужно было знать министрам, на всё это требовалось сорить народными деньгами!

Письма не только копировались, но и просто похищались у эмигрантов всяческими способами, чаще же всего через подкуп прислуги. Местное кавийское население многоразличными путями было связано с русской колонией. В самом местечке специально для русских одна предприимчивая итальянка основала мелочную лавочку, — тут можно было купить всё, что требовалось в нашем незатейливом обиходе, от огородных овощей и хлеба вплоть до сладостей, что было спасением для любителей шоколада. Главное же: тут был открыт для русских широкий кредит, — забирали на книжку, а расплачивались по мере сил! Если кто уезжал не расплатившись, колония либо сама погашала такие долги, либо принимала меры, чтобы понудить несправного должника очиститься от взятой суммы. Это поднимало к нам доверие у нашей кредиторши. Кроме этой лавочки, итальянцы в большом количестве кормились около русских, как поставщики продуктов, как ремесленники, как представители наемной силы (прислуга, прачки, носильщики и пр.). От колонии по одному подсчету, который однажды на досуге был произведен нашими статистиками и экономистами, они ежегодно зарабатывали по меньшей мере до 75-80 тыс. лир, что составляло для них большой доход. Среди итальянцев встречались семьи, бедствовавшие до прихода сюда русских и благодаря русским поправившие свое благосостояние в весьма заметной степени. Некоторые из этих поставщиков и особенно поставщик своих услуг до того освоились с колонией, что стали учиться говорить по-русски, и бывали случаи, когда вновь прибывший русский, не зная ни слов по-итальянски, объяснялся с самой коренной итальянкой вполне удовлетворительно по русски. Удивлению таких эмигрантов не было конца! Но это же обилие итальянцев, ютившихся около русских, расширяло тот контингент, из среды которого Инверрицци мог черпать подходящий для себя материал. То же наблюдалось и в других странах, даже в чопорной Швейцарии...

Не везде, однако, агентам удавалось входить в такие близкие отношения с правительственными чиновниками почтамта. Нередко они встречали тут решительный отказ. Так вышло, напр., в Сан-Ремо, где агенты особенно интересовались перепиской Плеханова и Савинкова. Тогда они прибегли к другому приему. Живший там агент Биттара стал выслеживать прислугу из виллы, занимавшейся Бор. Савиновым и М. А. Прокофьевой. Сначала он познакомился с ней якобы случайно, в одном из магазинов. Потом стал на правах знакомого встречаться с нею чаще. Начал делать подарки, иной

раз очень ценные, обворожил ее своей любезностью и кончил тем, что ангажировал ее к себе на службу.

Надо отметить также, что, как общее правило, почтовые чиновники входили в сношения с агентами, тщательно скрывая это от своего начальства. Потом, когда начались разоблачения, из Генуи была назначена ревизия, которая проверила все выставленные нами факты, и ее вмешательство было очень благотворным. Злоупотребления в данной, по крайней мере, местности прекратились.

Но вместе с тем одними сношениями с почтовыми чиновниками агенты не удовлетворялись. Мало им было и помощи со стороны прислуги. Временами они пытались делать целые налеты на проезжавших эмигрантов. Добивались от полиции арестов. Обыскивали в поездах, на пограничных станциях. Отбирали бумаги, документы, иногда оружие.

Так в 1911 году в Венгимилье, на границе Франции, но на территории Италии, был арестован — точнее, захвачен — покойный Сидорчук, на которого был совершен настоящий „фашистский“ налет, но только в малом виде. С ним поступили самым грубым образом, и так как у него оказалось оружие, то пробовали запугать его, создав целое дело. Освобождения Сидорчука товарищи добились не без больших усилий.

Ездить по железным дорогам стало не так просто. Приходилось быть осторожным...

Правда, всё это происходило все-таки спорадически, еще не было и не могло быть введено в систему. Похищение же писем, особенно в Кави, было организовано вполне планомерно и поставлено на широкую ногу.

Благодаря этому Инверницци получал положительно огромный информационный материал. Повторяю еще раз: в переписке, ведь, никто не стеснялся и обычно не конспирировал. Переписка кроме того шла не только с заграницей, а и с Россией. В письмах постоянно делились новостями с родины, нередко сообщали предположения даже о нелегальных поездках туда, давали друг другу адреса для явок, поддерживали сношения с тюрьмами и каторгой. Наконец, делились эмигрантскими слухами чисто политического свойства, предположениями, новостями, настроениями, оценкой прошлого и перспективами на будущее. Не говорю уже о том, что тут была открыта вся, сверху донизу, личная жизнь эмигрантов, сведения о которой, несмотря на их узко интимный характер, могли быть чрезвычайно полезны для полиции. И всё это нагло и беспардонно черпалось, кралось из наших писем, чтобы тотчас же быть отосланным по назначению. Всё это происходило среди бела дня, на глазах буквально всего населения, ибо в конце концов все знали, — я говорю про итальянцев, — зачем тут Инверницци и что он делает, и никто ни одним словом не протестовал, никто ни одним намеком нас об этом не предупреждал!

Когда впоследствии, через два-три года после того, как в Кави поселились русские, начались разоблачения и вся картина наглого воровства наших писем стала ясной, многих из нас больше всего оскорбляла мысль об

этом молчаливом тайном соглашении между агентами и теми самыми итальянцами, которые сами считали, что многим обязаны русским. Как в самом деле мог существовать этот настоящий заговор молчания?

Это объяснялось многими причинами, коренившимися в бытовом укладе итальянской жизни, по крайней мере здесь, на Ривьере или, точнее, в Лигурии, о которой я только и говорю, не желая распространять этих наблюдений на всю Италию, особенно же на ее промышленный север. Бытовой уклад в жизни народной массы играет всюду первенствующую роль и сам собою решает, по инициации, все вопросы. Решал он их и в Кави. Чтобы охарактеризовать, как в этом случае проявилась роль обычая, я возьму несколько примеров из совершенно иной, казалось бы, области, — из жизни политической, которые тем не менее сразу введут нас в разгадку установившегося в нашем районе своеобразного „заговора молчания“...

В то самое время, о котором рассказываю, премьер-министр Джолитти, многолетний диктатор Италии, большой любитель всяческих рискованных экспериментов, провел закон о расширении избирательного права для выборов в парламент, в расчете, как всегда бывает в таких случаях, получить законопослушную палату депутатов. Он думал обезвредить оппозицию типичным для Италии приемом, утопив депутатов от промышленного и все растущего в своем сознании севера в безличной массе юга, — юга нищенствовавшего, безграмотного, культурно отсталого. На выборах, которые должны были произойти тогда же (осень 1913 года), избирательным правом стали пользоваться все не опороженные по суду граждане, в возрасте не менее 30 лет, если они неграмотны, и с 21 года, — грамотные. На юге, в какой-нибудь Калабрии или в Сицилии, неграмотного было 60 — 70% населения, — оно и призывалось к урнам. Вести его сюда должны были, разумеется, священники и вообще люди, власть имущие.

Этого момента всеобщих выборов (число избирателей доходило до 9 милл. взрослого мужского населения при общем количестве его в 39 милл., выборы должны были быть почти всеобщие) мы, эмигранты, ждали с вполне понятным интересом. Избирательное право было не только всеобщее, но и — тайное.

Предполагалось, что новый парламент займется двумя законами, — секуляризацией народной школы и законом о разводе, около которых шла вся предвыборная борьба. Нанести удар клерикализму, добившись полного освобождения школы от власти духовенства, и сломав средневековый закон о разводе, — таков был лозунг левой коалиции. Господство духовенства в нашем местечке и кругом него, на горах и на побережье, было столь прочным, что поколебать его хотя отчасти казалось столь заманчивым.

Не стану утомлять читателя подробным рассказом о всех перипетиях и ходе этой борьбы, хотя чрезвычайно многое в ней так и просится под перо. Обращусь прямо к результатам, к тому, что, к сожалению, очень быстро стало ясным.

В нашем районе боролись два кандидата, — адвокат из Киавари (Киавари — наша столица) Франческо Казаретта и некий — „принчипе Косс“, *il principe*, как запросто называли его итальянцы. Первый был клерикал, второй — свободомыслящий. Казаретта постоянно жил в Киавари и имел уже депутатский мандат — его там поддерживала Клерикалка „*La vita Chiavarese*“ („Киаварийская Жизнь“), „принчипе Косс“ незадолго перед тем приехал из Аргентины („где небо южное так синее, где женщины, как на картине“). Он был одним из тех „американцев“, о которых я упоминал выше, и до Аргентины носил прозаическое имя — Виньоле, без всяких титулов. В Аргентине он нажил большие деньги, купил там себе княжеский титул, вернулся аристократом — и поставил себе целью завоевать депутатский мандат. Это был великолепный — *parlatore*, большой говорун, мастер на ораторские трюки, человек с темпераментом, а главное — с деньгами! Он собрал вокруг себя крупные силы из местной интеллигенции и средней буржуазии, составил настоящий боевой штаб, объявил себя анти-клерикалом и рассчитывал дать генеральный бой сторонникам Казаретты. Надо было выбить Казаретту из насиженного гнезда и сесть туда самому. Для нашего края это являлось равносильным целой революцией, так как выборами в парламент механически предreshались выборы в местные самоуправления: — „принчипе Косс“ мечтал познакомиться в качестве депутата около государственного пирога, а его „штабные“ заглядывались на пирог муниципальный, тоже достаточно заманчивый. Бой быстро разгорался по всей линии.

Избирательную борьбу решили, однако, не таланты, — ими „принчипе Косс“ безусловно превосходил своего противника, — и даже не лозунги, а просто — деньги. Казаретта тоже обладал большими капиталами, но поспешил, сбросил. У „принчипе же Косс“ касса была открыта для всех, званных и незванных, оставалось только пользоваться. За каждый голос (буквально!) Казаретта платил своим избирателям по 10 лир (по тогдашнему курсу 4 рубля), а „принчипе Косс“ 15 лир. Расплата происходила открыто, в особых бюро, адреса которых все знали. Над нашим селением, на самой вершине горы, была церковь Санта-Джулия. Около нее стояла вековая развесистая олива. Каждый день в полуденную пору и каждый вечер оттуда неслись по горам заунывно-мелодичный перезвон. Так красиво плыли эти звуки, и так оригинально смешивались здесь, на визу, с морским прибоем. Так как эта гора была вся занята виноградниками и садами с оливой и так как землю эту возделывали все занятые люди, практичные крестьяне-арендаторы, то им ходить далеко от своих мест было некогда. И вот на самой горе, около церкви Санта-Джулия, недалеко от развесистой оливы, — было предупредительно устроено два, а не одно бюро, первое от Казаретты, другое от „принчипе Косс“. Платили в обоих наличными.

Казаретта в этом случае захотел, однако, перехитрить своего противника. Часть он выдавал деньгами, а остальное натурой. Эту роль платы натурой за честное голосование в его пользу играли — тяжелые ботинки, „сабо“, русские их называли „сапогами“, весьма практичные для работы в виноградни-

ках. Но так как противник у Казаретты был на этот раз серьезный и он не рассчитывал на то, что все его сторонники при голосовании — тайном, а не явном! — сдержат свои обязательства, то он решил поступать в данном случае как глубокий дипломат: — правый сапог он выдавал своим избирателям перед голосованием, а левый обещал выдать после выборов, чтобы гарантировать себя от обмана!

Так обстояло дело на верху, на горе. Внизу же, под горой, выборная кампания сложилась еще проще. Здесь вся наша коммуна решила голосовать за Казаретту, и за это он вносил в коммунальную кассу на текущие расходы 5000 лир, при чем опять-таки первую половину, то-есть 2.500 лир, он должен был внести перед выборами, а вторую после выборов, при условии, если будет избран. Вносить эту половину ему не пришлось: — его забаллотировали!...

Была замечательная сцена, после того как выборы закончились и торжество „принчипе Косс“ стало всем известным фактом. — „Принчипе“ решил пышно отпраздновать свою победу. По всей Ривьере, от Киавари к Риве Тригоза, все „штабные“ нового депутата приняли участие в торжественном карнавале: — они ехали на автомобилях, в каретах, на велосипедах, на специально зааревдованных трамваях („жукушках“). Всё это было разукрашено, убрано зеленью, цветами, флагами; всё это шумело, кричало, пело; всё это было пьяно и весело. Проезжая через Кави, эти торжествующие победители без стеснения кричали на всю улицу: „Abasso venduti“.

— „Продажные“!..

Все знали, что кавийцы продали голоса за 5000 лир. И теперь над ними издавались...

„Продажные“!.. Перед тем, поздно вечером, я был на митинге в Рива Тригоза, населенном сплошь рабочими и рыбаками. Я поехал туда, потому что местный аптекарь, „фармачисто“, сказал мне: — „Хотите послушать нашего депутата! О, он крупный оратор („grande parlatore“). Сегодня он выступает в Риве-Тригоза“.

Я стоял вечером, около 10 часов, когда все работы закончились, около самой трибуны оратора. Вся площадь была залита народом, всюду рыбаки и рабочие, рабочие и рыбаки. „Принчипе Косс“ врезался на автомобиле в самую гущу толпы и смелым, уверенным шагом, как первый тенор на эстраде, привыкший к успеху, взмошел на трибуну. Он оказался действительно мастерским оратором и говорил с большим подъемом, — ему постоянно рукоплескали. Но вот он поднял над головой номер газеты, которую издавал Казаретта, „La Vita Chiavarese“, и в которой была напечатана статья по его адресу, достаточно непочтительная, и, потрясая этим номером, под гром аплодисментов, он разразился страшной филиппикой против продажной прессы.

— „La stampa venduta“ — гремел его голос над толпой. А толпа рукоплескала...

Я помню хорошо этот вечер во всех деталях, помню свои чувства, когда я возвращался один, на своем велосипеде, к себе домой. Стояла чудная ночь. Небо было залито звездами. Я чувствовал себя подавленным всем,

что видел и слышал. Особенно эти рабочие и рыбаки, рукоплескавшие оратору за 15 лир говорара, — не давали мне покоя. И потом, этот бесстыдный крик: „La stampa venduta“.

Как будто кто-то вадругался надо мной.

Всё это произошло как раз в тот момент, когда деятельность Инверниции была уже разоблачена. Все узнали, что именно он делал в Кави, узнали путем печати, из газет, из той прессы, которая отнюдь не была „продажной“. Узнали также, что местный „постиво“ торговал нашими письмами: — он их продавал агенту, сыщику!

Он продавал чужие письма! Но тут вся коммуна, весь избирательный округ продавали свои голоса, и все считали это обычным делом. Что же было перемотаться с письмами каких-то иностранцев?..

Тот факт, что мы были иностранцами, — *stranieri*, играл в данном случае крупную роль. На Ривьере давно уже сложился особый промысел в виде всяческого обирания иностранцев. Ривьера — это, ведь, какой-то караган-сарай Европы, базар житейской суеты и подлости. Это царство рулетки, праздности и разврата. Сюда, особенно на Ривьеру французскую, которая раньше тоже была итальянской, — ехали обычно жуировать богатые денди и шварные проститутки, которые сорили здесь деньгами направо и налево. Богатые баре, у которых денег только куры не клюют, с одной стороны, и вищие итальянцы — с другой. Буржуазия и „макаронщики“! Как же было этих „форестиери“ не обманывать? От этих бар лился золотой дождь! Им льстили в глаза — и ненавидели, даже презирали в душе.

По отношению к иностранцам тут действовала особая мораль и считалось допустимым многое, что в отношениях между собою итальянцы сочли бы преступлением. Вот в эту, уже привычную обстановку двойной морали и попали русские эмигранты. Они так или иначе, но тоже были „форестиери“, их, стало быть, полагалось обманывать и на их счет наживаться. Между тем тот же Инверниции, он был, напротив, не „форестiero“, он был — свой. А кроме того он являлся в глазах итальянцев синиором *benestante* ¹⁾. Что же значило быть для итальянца синиором *benestante*, я позволю себе пояснить здесь тоже небольшим примером из личного знакомства с нашими кавийцами.

Никогда не забуду в этом отношении первого же своего знакомства с итальянцами тотчас по прибытии в Кави. Когда мы с товарищем сошли с полустанка и вытащили наши чемоданы на улицу, первое, с чем мы столкнулись, это с вопросом о носильщиках. Местечко было маленькое, носильщиков не полагалось; они завелись после, когда русские населили его до самых краев. Не знаю, как бы мы справились с этим затруднением, если бы нам не предложил свои услуги один из рабочих, возивший тут же песок с марины в тачках. Это был загорелый прелетарий высокого роста, с муску-

¹⁾ Хорошо живущий, зажиточный.

листыми руками, почти что полуголый. Коротко подсушенные шаровары и сквозная фуфайка составляли весь его костюм. На голове, впрочем, была небрежно надета шляпа, за ухом торчала—роза! Всё это было оригинально и даже поэтично.

Как настоящий пролетарий, он привлек к себе все наши симпатии, и когда мы с ним прощались, то решили поразить его своею щедростью: дали мы ему целую лиру (итальянец дал бы сантимов 20)! Потом, подумавши и сосчитавши свои капиталы, прибавили еще 50 сантимов! Так не платил даже сам Пьяджи!..

На утро я проснулся поздно, когда солнце стояло уже высоко. Дом, в котором я снял квартиру, находился около самой церкви, прямо над мариной. Какая красота была разлита кругом! Как ослепительно сияло солнце! Нельзя было не выйти и не полюбоваться на окрестную картину. Так как было воскресенье и так как обедня шла во всем уже разгаре, то около церкви и около дома, в котором я помещался, на церковной площадке, собралось много народа. Толпа стояла такая плотная, что протискиваться через нее приходилось не без труда, лавируя между группами. Стояли сплошь мужчины, женщины все были в церкви — черта чисто итальянская. Пробираясь через эту толпу совершенно мне неизвестных людей, я неожиданно был остановлен чрезвычайно вежливым поклоном какого-то местного буржуа. Молодой еще человек, в прекрасном костюме табачного цвета, в крихмальной манишке, модном галстуке и шляпе панаме, — приветствовал меня дружеским поклоном. Я опешил от неожиданности, не соображая, откуда мне сме, как вдруг внезапно догадался, что этот изящный джентльмен, перед которым я не мог не чувствовать себя бедным родственником, — тот самый вчерашний пролетарий, которого я осчастливил платой, дал целых полторы лиры сразу. Но ведь у него теперь вид настоящего синьора *beneistante*!

Если читатель продумает глубже все эти мелочи итальянской жизни, то он поймет и еще один факт, нас в то время глубоко оскорблявший. Нас оскорбляло вот что: — мы видели, что итальянцы, окружающие нашу колонию, не только не гнушались общением с Инверницци, презренным сыщиком и вором с нашей точки зрения, но даже завидовали ему, завидовали и — уважали.

Уважать сыщика! — Этого еще не доставало!..

Но он вовсе не был сыщиком, шпионом (сыщик, шпион — *spie*), он был — *delegato di sicurezza*, — полицейский чиновник, что далеко не то же самое, что — шпион. Шпион, разумеется, достоин всяческого презрения, особенно шпион политический, — это итальянцы научились хорошо помнить со времен своего революционного *Risorgimento* (Возрождения), памятью о котором полны все их города и местечки. Даже у нас по соседству, на первом же доме при входе в Лаванью, была прибита мраморная доска с указанием, что здесь скрывался в 1849 году великий Гарибальди, когда он, потеряв свою Аниту в Апеннинах, преследуемый австрийскими шпионами и сыщиками, бежал на запад. Здесь он выбросился во время бури, в шлюпку,

на песчаную отмель, оказавшись в безопасности ¹⁾. И в Кнавари на главной улице есть такая же, даже гораздо большая размерами, мраморная доска, на которой трогательно, хотя и несколько напыщенно, рассказано, как и тут несколько дней проживал после невзгод полицейской бури postgo (наш) Гарибальди.

А эта легендарная, гарибальдийская — „Экспедиция Тысячи“, бессмертный подвиг революционных энтузиастов! Она снаряжалась как-раз в этих местах, на Ривьере-Леванте. Тут, около Порто-фино и Раппало, в горах блуждали заговорщики, сюда причаливали их шлюпки. Они скрывались вот в этих самых хижинах, которые целы и поныне. А отплыли они в Сицилию вон оттуда, со скал Кварты, близ Нерви.

Тут всё дышит ненавистью к угнетателям. Тут каждый камень вопиет о презрении к предателям и — сыщикам. С ними тогда расправлялись просто, их расстреливали!

Бто же станет теперь расстреливать или презирать полицейского чиновника, — „delegato“. Напротив! Это человек всеми уважаемый, на королевской службе!..

Когда Инверницци появился в Кави со времени свидания в Ракониджи, он всюду и всем рекомендовал себя как — „delegato“. О русских эмигрантах и об их прошлом, о том, что делали они в России, он рассказывал, разумеется, всяческие ужасы. Про кого из нас он не болтал, что это uomo sanguinoso (кровавый человек!), на чей только счет он не ставил целые серии убийств и ограблений. В то время в Милане выходил тетрадями, по печатному листу роман какого-то Конст. Базарова (русского!), называвшийся — „Verso la Siberia“ — это была целая сказочная энциклопедия из жизни русских революционеров, с большей примесью Шерлока Холмса. Читался этот роман на захват! А тут, под боком, оказывалась целая колония таких преступников uomini sanguinosi. Как же было не командировать для наблюдения за ними хорошего „delegato“ ²⁾. К этому времени вся организационная сторона русской тайной полиции за границей уже оформилась совершенно, она имела такой вид, что и в самом деле не могла не imponировать.

Центр всей организации находился, как сказано уже выше, в Париже, на ул. Гренель, при русском посольстве. Однако, наученная горьким опытом, русская тайная полиция не рисковала дело заграничного розыска ставить от своего собственного лица. Правда, она была фактическим хозяином всего дела, она же щедро обеспечивала каждого агента и возмещала все его служебные расходы, — но от ответственности формальной за всю организацию она уклонялась. Она предоставляла этим детективам называться, как ему годно, — „де-легатами“, „комиссарами“, просто чиновниками, — но только не агентами на

¹⁾ Тут начинался тогда уже Пьемонт, самостоятельное государство.

²⁾ В Феццано близ Специи, где почтовый чиновник не соглашался выдавать письма, его убедили, что проживавшие там русские эмигранты — военные шпионы. Этим лед был сломан, и чиновник попал, благодаря патристическим мотивам, в ложное положение.

русской службе. Они состояли на службе не у нее, а в некоем частном розыском бюро, формально принадлежавшем простому гражданину французской республики, по фамилии Биттар-Монэн.

Западная Европа, как еще больше Америка—в то время, как, конечно, и теперь—вся была покрыта всевозможными частными розысными бюро, существовавшими на строго законном основании, с юридической нормировкой своей деятельности. Одно из таких бюро имел и названный представитель частной инициативы в данной области, М-г Bittar-Monin. Это был (может быть, впрочем, и теперь существует) мужчина выше среднего роста, министерской внешности, грузный и важный, с манерами льстивого паредворца, он не раз охранял высочайших особ ¹⁾,—и с наглостью прирожденного сыщика. Он и взялся организовать „частное бюро“ для услуг царской полиции, раскинув его шпательцы по всей Европе, в том числе и по Италии.

В его непосредственном наблюдении и распоряжении находилось не менее 50 опытных агентов наружного наблюдения ²⁾,—это был офицерский состав его армии, ее командная часть. Некоторые из них были оседлыми, как наш Ивверницци, другие исполняли разъездные функции. С полной достоверностью можно утверждать, что агентами Биттара были заняты между прочим следующие пункты:—прежде всего, разумеется, Париж, тут в его распоряжении было всего больше агентов (Бертольд, Куссоне, Давид, Годар, Фонатана, Фонтэн, Жюливе, М-ль Друшо, Фогт и др.); затем следовал целый ряд других городов:—Ницца, Кани, Сан-Режо, Нерви, Женева, Гренобль, Лондон и так далее. В каждом из этих пунктов находилась соответствующая ячейка агентурного характера и был организован приемный пункт для гастролеров.

Услуги Биттар-Монэна являлись для русского правительства тем более ценными, что он наладил еще одно важное дело:—поставил в тесную связь свою организацию со всеми официальными полицейскими учреждениями Западной Европы, в том числе с „полицией сигурецца“ в Италии. Его агенты были везде приняты как „свои люди“, как коллеги, с которыми следует считаться как с полезными людьми, которым следует помогать как братьям по ремеслу. В частности у нас в Киавари начальник полиции сигурецца, Джузеппе Веккиони, был ближайшим приятелем Ивверницци. Конечно, все

¹⁾ А также однажды, по поручению Николая II, следил за его братом Михаилом, высланным тогда за границу за самовольную женитьбу. Мих. Алекс. за границей был известен тем, что знал наизусть автомобили всех марок. В то же время на курорте Сальде-Маджоре (близ Генуи) он в первый раз в жизни прочитал Тургенева и Толстого. Быть может, это и вызвало распоряжение следить за ним!

²⁾ Всё время я говорю в своих записках только об организации наружного наблюдения. Об организации внутренней агентуры (провокации) см. в указ. выше книге В. К. Агафонова „Заграничная охранка“.—Кроме агентов наружного наблюдения в Кави всегда жили провокаторы. Таков, напр., Алексей Савенков, Александр Этер-Бронтман, Александр Маас, „Чекан“—Коган, „Вакман“, „Аким“, Кисин и др. Об этих лицах см. у Агафонова.

свои услуги он оказывал не ради прекрасных глаз своего коллеги, а за так называемые „подарки“.

Инверницци, таким образом, имел некоторое право говорить, что он и сам вроде как „delegato“, а не просто „spia“...

Денег русское правительство, разумеется, на эти затеи не жалело. Читатель должен иметь в виду, что в то по крайней мере время средний итальянский (или французский) чиновник получал весьма скромное жалование. Напр., почтовые чиновники в городах, даже таких, как Клавари, имели гонорар в 60—80 лир в месяц. Можно считать это средним окладом обычного чиновника. Оклад в 100—120—150 лир считался уже весьма хорошим. Кто его получал, были почти что люди „benestante“.

В то же время поденная плата простого рабочего не превышала две—полторы лиры в день. Тот пролетарий, который привез нам вещи, получал за возку песку две лиры в день, за очень тяжелый труд. Рыбаки же довольствовались меньшим. Словом, иметь, скажем, 50 лир в месяц постоянного дохода, значило быть обеспеченным на черный день. На такие деньги итальянцы умели жить даже прилично...

Теперь сравните с этим гонорары у Биттар-Монзена. Сам Биттар носил титул заведующего. Основной оклад у него достигал, как у хорошего действительного статского советника, — 1000 франков! Тысяча франков — это на европейский масштаб большая сумма! Но это только основной гонорар Биттара, а у него имелись еще „доходы“. Прежде всего суточные: — по 20 франков в день при разъездах (а он постоянно разъезжал), затем бесконечные авансы на разные дела. Надо считать, что в общей сумме тот же Биттар „зарабатывал“ до 1600—1800 фр. ежемесячно, если не больше, — т.е. тысяч 20 в год.

Нельзя было не уважать такого крупного синьора. О, это был синьор, конечно, весьма и весьма „benestante“!..

Не плохо также устроился Инверницци. Жил он в трактире над „Лакустой“ не один, а с семьей: — у него была жена эффектная брюнетка и двулетний сын. Целое святое семейство! И он, а еще больше супруга его, одевались изысканно, — а одно это стоило в глазах итальянцев! Ни она, ни он не знали грязного и тяжелого труда. Инверницци не приходилось ни возить песок с маринны, ни таскать кулей, ни быть погонщиком мулов, ни мучиться целый день на море с рыбными тонами. Он вел на виду у всех легкую и праздную жизнь. Целый день околачивался около своей трактирши или торчал на вокзале, в ожидании поездов, всегда приносивших ему поживу. Время от времени он садился на велосипед и отправлялся в Веккиони, в Клавари.

И вот за эту спокойную, праздную, сытую жизнь, связанную с таким завидным *far'niente*, он самым аккуратным образом получал по целых 300 франков в месяц! Это ли было не счастьем для человека...

Но и у него наворачивались свои безгрешные доходы, как у Биттара, бывшего его принципалом. Прежде всего ему шла особая плата за кален-

рованные письма. За каждое такое письмо он получал по 3 франка, а если письмо превышало норму по размерам, то и по 5-ти. Ежедневно через его руки проходило, как потом было установлено, по 5—6 писем, это самое меньшее. Таким образом на одних письмах он повышал свой заработок до 450—500 фр. в месяц!

Затем у него имелась своя агентура, на расплату с которой ему шли снова деньги! Инвернидци платил постине, платил прислуге, живущей у эмигрантов; приходилось ему также делать подарки то тут, то там,—на всё это ему отпускались соответственные суммы. В моих руках была расписка Инвернидци за январь 1913 года, в которой он удостоверял, что получил „на расходы“ на этот месяц—500 франков!

Потом оказалось, что клиентурой в Кави он мог похвастать. На службе у него состояли весьма солидные по положению люди, кроме постино (который тоже был и домо-и землевладелец, человек вполне обеспеченный). Не могу не отметить здесь одной весьма характерной детали такого рода.—Была там у нас одна старушка дворянского рода, чрезвычайно любезная, обходительная и с институтским воспитанием. Она очень охотно сдавала свою квартиру эмигрантам, еще охотнее вела с ними всякие разговоры. Имела собственный дом в три этажа. Отличалась большой религиозностью. Потом оказалось, что эта особа—агентша Инвернидци!

Была еще у нас одна дама,—с бурным прошлым. Она вдовела после старика мужа, за которого вышла когда-то замуж по расчету. Теперь она навестывала прошлое!—Итальянцы относились к ней неодобрительно; несмотря на красоту, не считали ее украшением для своей коммуны.

И вот эта распутная женщина, эта Мессалина нашего местечка, оказалась единственной, имевшей гражданское мужество открыто порицать тех, кто состоял на посылках у Инвернидци...

Как видит читатель из всего моего изложения, агенты тайной полиции могли себя чувствовать лучше нас среди местного населения. Это было прискорбно для нашего самочувствия. Казалось, что со стороны даже такой типично мелко-буржуазной среды мы заслуживали большего внимания к нашим интересам. Но хуже всего было то, что на этом прискорбные выводы из нашего положения не кончались...

Я говорил уже, что социалистическое движение в нашем избирательном округе отличалось большой слабостью. Попросту говоря его почти что не было. Был у нас всего один социалист, адвокат из Киавари Франческо Мариани, тот самый, который на выборах в парламент получил по всему округу 75 голосов! Сам по себе он являлся человеком вполне достойным глубокого уважения. Он обладал прекрасной внешностью в стиле тех революционеров 40-х и 50-х гг., которые составляют такую законную гордость итальянского Risorgimento. Недурной оратор, он обладал кроме того хорошим литературным пером. Но он почти один тонул в этом море непреодолимого мещанства.

Ни лекций, ни собраний, ни митингов, ни вообще заметной политической деятельности со стороны социалистов в нашем районе не замечалось. Существовали, правда, одна-две секции, в Лаваньи и Кнавари, но о них лучше не говорить!..

По ту сторону Генуи находился, около самого порта, огромный рабочий центр:—Сампьерр-д'Арена. Тут пролетариат пролегал густым слоем, сплошной толщей, но это находилось очень далеко от нас и до нас влияние этой громады не достигало. С другой стороны и тут, в этом пролетарском районе, издавалась (собственно в Генуе) только одна ежедневная газета:—„Il lavoro“ умеренно-социалистического характера. Руководителем ее считался деп. Канепа, типичный реформист в точном смысле этого слова.

Собственного органа рабочие Сампьерр-д'Арены не имели, если не считать небольшого еженедельника (лист бумаги разгонистого шрифта), и довольствовались газетой Канепы.

Таковы были ближайшие наши союзники в борьбе с русской тайной полицией на Ривьере.

Не могу не зарегистрировать здесь такой, правда, небольшой, но характерный факт. Однажды у меня произошло резкое столкновение в Кави с Инверницци, едва не кончившееся весьма серьезно. Теперь, при господстве „фашистов“, в таких случаях пускаются обыкновенно в ход ножи и стилеты, тогда до такого напряжения борьба не доходила, но бывали моменты все-таки опасные. Обсудив с Мариани этот инцидент, мы решили воспользоваться им и поместить в „Лаворо“ лишний раз статью о русских агентах. У Мариани имелись хорошие связи в газете Канепы, и мы не сомневались, что там ее сразу поместят. Ее действительно тотчас же напечатали, но с небольшим изменением против посланного нами текста:—из статьи всюду выкинули имя Инверницци! А мы ее и писали-то для того исключительно, чтобы огласить его во всеуслышание.

Как потом оказалось, в редакции „Лаворо“ нашли, что так честить человека все-таки неудобно!..

Мы разговаривали очевидно на разных языках. Без имени Инверницци статья не имела никакого смысла.

Приблизительно к тому же времени относится еще один характерный эпизод, которого я тут никак не могу обойти молчанием. Когда, начиная с весны 1913 г., почти вся деятельность компании Биттара оказалась уже раскрытой и в частности стали ясны все махинации его агентов по похищению наших писем в Кави,—мы обратились за помощью в Рим, к социалистической группе в парламенте. Нам казалось, что как кому другому, но социалистам, да еще находящимся у самого источника власти, в роли контрольного политического органа, нельзя не обратить внимания на то, что происходит на Ривьере. Ответ оттуда на нашу просьбу о защите был более успокоительный, чем мы ожидали. Смысл его заключался в общем в том, что, ведь вы, русские социалисты, и дома привыкли к тому, что ваши письма там читаются, чего же ради этим вы так возмущаетесь здесь?

Не знаю, чем бы кончилось это наше взаимное непонимание с итальянскими социалистами, если бы в деятельности русских шпионов в Кави не обнаружилось совершенно неожиданно новые факты, пред лицом которых остаться равнодушными они оказались не в силах.

К этому времени русские агенты стали появляться на Ривьере целыми тучами. Огромная часть их приезжала прямо из России, из столиц, имея задание непосредственно изучать персональный состав эмиграции и внешний облик эмигрантов, особенно террористов, на случай их возвращения на родину. Они являлись на „приемный пункт“ Инверниции и потом селились в близлежащих городках, особенно Сестри-Леванте (три километра от Кави), где постоянно бывали эмигранты; и вновь приезжие „туристы“ занимали тут целые отели, точнее albergo, особенно около станции. Итальянцы принимали их охотно, с распростертыми объятиями, так как получали благодаря им хороший заработок. Позже, когда разоблачения развернулись уже полностью, эти стали русских шпионов были спугнуты, и об их исчезновении весьма жалели хозяева альберго, что являлось тоже характерным. Был такой случай, когда мне пришлось как-то ехать попутно на велосипедах с хозяином как раз того альберго, которое было расположено около самой станции. В беседе со мной он простодушно жаловался, что заработки в его отеле очень пали. — „Почему же?“ — „Теперь нет больше в а ш и х е! А бывало они занимали у меня все комнаты! Вы знаете, у них имелись все ваши фотографии. Они жили по-долгу, переодевались в простое платье, как носильщики, как роверги (бедные), и, когда кто из ваших уезжал, они его сопровождали“.

Эти „туристы“ хорошо платили ему за услуги, теперь же всё это кончилось.

Являясь на ту же Ривьеру, наши агенты были желанными гостями не только в разных альберго, но и в правительственных учреждениях, в том числе особенно — полицейских. Биттар и его помощники, как я уже упоминал выше, приутожили им в этом случае хорошую почву. Но тут некоторые из них (помню хорошо, например, фамилии Вольгта и м-и Ршар) совершили большую некорректность, — они занялись еще приватным заработком. Под прикрытием политического шпионажа, они стали заниматься еще более доходным, хотя и несколько рискованным делом — военным шпионажем ¹⁾. Военный шпионаж при таких условиях оказывался организованным при содействии самих же итальянцев, что едва ли могло льстить их патристическому самолюбию. Это вот обстоятельство, заключавшееся в своеобразном симбиозе политического и военного шпионажа, да еще производимого на государственные средства самой Италии, с помощью органов, долженствовавших охранять ее спокойствие и безопасность (сикурецца!), и вывело из равновесия итальянских

¹⁾ Между прочим, заслуживает в этом отношении полного внимания следующий факт: — когда разразилась война в 1914 году, то в Берлине немедленно были арестованы среди других два скрывавшиеся там русские провокаторы, мужчина и женщина, — Азеф и Жученко. И Жученко, и Азеф были тогда же заключены в Моабитскую тюрьму, как военные шпионы.

социалистов, когда на такой факт было обращено их внимание. Тут уж стало невозможно утешать себя и других фразой, что всё равно, ведь, русские привыкли, чтобы их корреспонденция читалась агентами полиции.

Мы не могли найти доступ к сочувствию нам со стороны итальянских социалистов, пока речь шла только о нас самих, — и они обратили внимание на наше положение, когда оказались затронуты их интересы, притом интересы собственно даже патриотические или во всяком случае государственные.

Как это было характерно — для европейцев!..

Кое-что из деятельности Биттаровских агентов по части военного шпионажа попало тогда же в общую прессу, хотя не без труда.

Там, в газете Сонинно „Il Giornale d'Italia“ (орган крупных финансистов, стоявший в оппозиции к правительству) удалось провести статью, в которой рассказывался документально установленный случай, как в 1912 году, во время войны Италии с Турцией из-за Триполитании, один агент русской тайной полиции проехал по всем портам Италии, в которых шла отправка войск в Триполитанию, всюду сопровождая офицера турецкого генерального штаба. Наш агент везде рекомендовал органам итальянской полиции этого офицера за русского анархиста („anarchista russo“), которого он выслеживает и о моменте ареста которого он предупредит своих коллег. Момент этот всё откладывался им и откладывался, пока выслеживаемый „анархико“ не проехал по всем портам, а потом не скрылся за границу.

Другая компания таких же агентов очень интересовалась портом Специей и проживавшими там русскими. Русские жили около Специи, на берегу залива-бухты, в местечке Феццано, а дальше по заливу, при выходе в море, лежал военный порт Венера. Было так удобно, прослеживая русских анархистов по заливу, завертывать и в Венере!..

Осенью 1913 и весной 1914 года в парламентскую фракцию социалистической партии было передано целое dossier об этой работе русской тайной полиции по Италии, снабженное в общем 40 документами, по большей части в подлинниках, которыми вся эта работа частью иллюстрировалась, частью подтверждалась с недопускавшей сомнений очевидностью ¹⁾. И вот только тогда итальянские социалисты несколько востуговствовали и решили действовать. Стал на очередь вопрос о запросе в парламенте, и машина как будто заработала.

К сожалению, всё это произошло сравнительно поздно, в начале 1914 года, после полутора-двух лет предварительной работы. Парламент в это время уже обновился и после всеобщих выборов в новом составе приступал к своей работе. Это был тот самый парламент, в которой и от нас попал — „принципе Косс“ и в котором таких талантливых депутатов имелось довольно много. Парламент не успел еще открыться, как в масонском еженедельнике „Идеа Демократика“ появились чрезвычайно интересные разоблачения о том, как

¹⁾ Весной 1914 г. сношения велись через деп. Фабрицио Маффи (теперь коммунист, приезжал в 1921 г. в Россию), семья которого постоянно жила в Кави.

происходили местами антиклерикальные выборы. Оказалось именно, что во многих местах, где были всё же сильные клерикалы, хотя не настолько, чтобы провести собственных депутатов, они ехали в особое соглашение с своими противниками, обеспечивая им своего рода нейтралитет при том, однако, условии, чтобы попавший при наличии такого соглашения в парламент антиклерикал не голосовал там за секуляризацию народного просвещения и за закон, облегчавший расторжение браков.

Целый ряд антиклерикальных депутатов дал такие обязательства, хотя борьба шла как раз за проведение этих законов через парламент. И если эти обязательства давались, то епископы тех мест не запрещали пастве голосовать за антиклерикала. Списки этих политиканов с полными именами были напечатаны в „Идея Демократика“, и — увы! — в числе их оказался также наш „приачипе Косс“, так громивший продажность избирателей своего противника!

Еще раньше этих разоблачений вскрылась другая особенность той же политической и парламентской жизни в Италии: — оказалось именно, что ряд депутатов, в том числе социалистов, прошел в парламент с помощью самих масонов.

О роли масонов в политической жизни Италии и в частности в социалистической партии поднимался вопрос еще на социалистическом конгрессе в Реджи-Эмилии в 1912 году. Поднимал его там никто иной, как нынешний премьер Италии, — Бенито Муссолини, в то время крайний социалист, весьма лево настроенный. Тогда же выяснилось, что несколько итальянских социалистов с большим прошлым, таких как Джованни Лерда, Амилькаро Чипрари и др., в то же время и масоны, что вообще при выборах в парламент некоторые социалисты пользовались поддержкой масонов, как члены масонских лож. По предложению Муссолини, поддержанному конгрессом, все эти депутаты должны были или покинуть ряды масонских организаций, либо выйти из социалистической партии.

В числе социалистов, прошедших в парламент с помощью масонов, находился некто Орацио Раймондо, депутат из Сан-Ремо, по профессии адвокат, сразу завоевавший в парламенте самое видное место своим первым же выступлением против Джолитти. Ему и решено было поручить запрос о деятельности русской тайной полиции на Ривьере.

Превосходный оратор, вместе с тем человек хорошо информированный о том, что происходит на Ривьере, в его же избирательном округе, Раймондо представлялся чрезвычайно подходящим для запроса. Его прочли тогда в итальянские Жоресы, и можно было ожидать, что в его руках материал, переданный для запроса, будет использован самым ярким образом. Что же касается его отношений к масоннерии, то, казалось, они тут ни при чем. Да и разве не говорили, что сам Жорес тоже имел какие-то связи с французскими масонами?!

Запрос предполагался весной 1914 года, в последнюю сессию, перед роспуском на каникулы. Но тут случилось новое обстоятельство, сразу смешавшее все карты.

На Ривьере, в том самом Сан-Ремо, депутатом от которого являлся и Орацио Раймондо, предполагавшийся автор запроса, жила-была некая *Sopressa Tierpoli*, — графиня Тьеполи. Супруг ее был, как это и полагается, военный, — офицер. Часто жил вне дома, в Риме. Дома же оставалась графиня одна, но, конечно, с прислугой. Случилось как-то так, что унтер-офицера, находившегося в распоряжении графа Тьеполи, нашли убитым у дверей спальни графини. Все газеты занялись этим интересным происшествием и всячески комментировали его. Графиня заявила как прессе, так и следственным властям, что убила денщика — она! В отсутствие мужа денщик покушался на ее честь, и, обороняя себя от гнусного насилия и охраняя супружескую верность, она убила его на пороге своей спальни, в которую он хотел проникнуть.

Конечно, графиня была выше всяких подозрений! Говорили, однако, что прелестная графиня состояла в связи с унтер-офицером своего мужа; что у него были найдены открытки от нее, бросавшие некоторый свет на их отношения; говорили кроме того, что когда связь эта рисковала сделаться слишком гласной и скомпрометировать графиню, — она решила сразу всё оборвать. Женщина, повидимому, достаточно решительная, она несколькими выстрелами из револьвера убила наповал своего любовника в тот момент, когда он, ничего не подозревая, намеревался, как и всегда, войти к ней в спальню, ибо он менее всего мог видеть в ней неприступную матрону.

Дело графини Тьеполи произвело большой шум, который еще более усилился, когда наступило время суда. Не малую также сенсацию вызвало известие, что защищать графиню будет адвокат-социалист, масон, кандидат в итальянские Жюресы — Орацио Раймондо!

Для графини это было спасение, но для того запроса, который тогда же взялся сделать Раймондо — гибель. Гибель просто уж потому, не говоря о других причинах, что время суда и время парламентской сессии совпадали. Раймондо надеялся, правда, что суд не затянется так долго и что сессия не будет потеряна. Но суд затянулся более, чем на месяц (май 1914 года). Ради оправдания графини нашему депутату пришлось поработать во всю, и, когда, наконец, суд окончился, время для запроса было уже потеряно. Из двух дел, взятых на себя, Орацио Раймондо успел закончить только одно: — дело графини Тьеполи. Но он сделал его отлично: — графиню оправдали!

Оправдание графини произвело такой эффект, что поручать после него запрос Раймондо было бы неблагоразумно. Документы, переданные ему, были взяты от него, и через депутата Маффи были снова переданы в итальянскую социалистическую фракцию. Временем для запроса назначили ноябрь 1914 года, выступить с запросом должен был либо тот же Маффи, либо — на чем настаивала русская группа, ведшая дело разоблачения, — Моргари.

Но и на этот раз запросу не суждено было состояться: — помешало стихийное бедствие — война, которую весной 1914 года никто не ждал!..

Теперь со времени всех этих событий прошло уже 10 лет. Весь политический облик Италии, как и всего мира, совершенно изменился. За эти годы

я не знаю, как это отразилось на населении тех мест, о которых я тут рассказывал. Я с ними давно порвал все связи, и мне странно думать, что там, как и раньше, идет та же жизнь. Иногда оттуда доходят до меня вести, как из потустороннего мира, но редко и отрывками. Быть может, все, о ком я здесь говорил, уже совсем исчезли с лица земли, — некоторые даже наверное. Но если они там попрежнему, то что делают? Неужели тот же Инвернидди и в самом деле не „фашист“? Ведь здесь, у фашистов, он мог бы развернуть все свои таланты, таким ярким лучом блеснувшие во время его службы в царской полиции. Неужели эти чиновники, жившие на 50 и 60 фр. в месяц и завидовавшие ему в легком заработке, не нашли места в тех же хорошо оплачиваемых организациях? А эти арендаторы-крестьяне, ходившие в бюро Казаретты и „принципе Косс“, на Санта Джулия, за мздой за голосование; эти глубокие собственники и мещане по всей своей природе и по своим социальным корням, — на чьей стороне стоят они теперь, и кому отдали свои вотумы?

Эти горькие вопросы встают невольно передо мной, когда я мысленно перебираю свои итальянские воспоминания.

Эдоардо Коляри.

К делу Романовцев.

В выпущенной Ленинградским Отделением Государственного Издательства книжке В. Колпенского: „Якутская ссылка и дело Романовцев“ есть один пробел, который нам хотелось бы восполнить. Этот пробел заключается в совершенном отсутствии сведений о тех фактах, которыми сопровождался пересмотр дела Романовцев в Иркутской Судебной Палате.

Пересмотр этого громкого дела происходил при совершенно изменившейся политической ситуации. Дело Романовцев пересматривалось в Иркутске после Петербургских Январских событий 1905 г., которые нашли отклик во всей стране в форме банкетов, стачек, мирных и вооруженных демонстраций. Когда Иркутская Судебная Палата вновь рассматривала дело Романовцев (это было в конце Февраля или в начале Марта 1905 г.), судебный процесс Романовцев нашел отклик на улицах г. Иркутска. В день вынесения Судебной Палатой приговора Романовцам в Иркутске по инициативе местного Комитета Росс. Соц.-Дем. Раб. Партии была устроена в честь подсудимых демонстрация.

Среди демонстрантов и во всем городе в этот день была распространена прокламация Иркутского Комитета Росс. Соц.-Дем. Раб. Партии, содержание которой оказалось пророческим. Вот содержание этой прокламации:

Российская Социал-демократическая Рабочая Партия.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

К суду над Романовцами.

Сегодня Самодержавие судит Романовцев.

Судит борцов за рабочее дело.

Сегодня Самодержавие празднует свою кровавую победу.

Но там за Уралом, как ураган, несется клич:

„Смерть тиранам! Смерть!“

— То рабочий класс восстает.

Непобедимый, он завтра вынесет смертный приговор всем врагам народа!

И, гордый своей победой над царизмом,

Он смело пойдет вперед к царству свободы и равенства, лучезарного
счастья и труда!

Иркутский Комитет Росс. Соц.-Дем. Раб. Партии.

Устроенная Комитетом партии демонстрация была лучшим свидетелем того резонанса, который получило в начале 1905 г. дело Романовцев в стране.

Еще более красноречивым свидетелем этого резонанса был устроенный Комитетом той же партии банкет в честь защитников Романовцев прис. пов. Бернштама и Зарудного.

Зал Иркутского Общественного Собрания был буквально набит народом. Мы думаем, что на банкете присутствовало от 3 до 4000 человек. Выступавшему на этом банкете доктору с.-д. В. Е. Мандельбергу (который впоследствии был депутатом 2-ой Государственной Думы от города Иркутска) удалось превратить честование адвокатов в честование сидевших в то время в Иркутской тюрьме Романовцев.

Когда В. Е. Мандельберг закончил свою речь, зала буквально стонала от криков: „да здравствуют Романовцы! Долой Самодержавие!“

В эти дни Романовцы получили то моральное удовлетворение, которое мог дать им народ по тому времени за те ужасы, которые они перенесли в Якутской ссылке и потом на каторге вплоть до своего освобождения во время революции 1905 г.

А. Тюшевский.

Шлиссельбургская каторга.

Крепость на острове.

I.

„Далеко, на пивнич, вид ридного краю
Де море реве та шумить —
Меж хвиль того моря, на острови, з мурив,
Фортиця, як сумнисть, стоить.
Стоить вона хмура, мов Юда предатель,
Там радисть ни вни не сна
Журба ж все гуляє по мурах фортици—
Як Юда безо дня вона.
В цим аду фортици, в ланцюгах неволп,
Невиляники в склепах сидять,
Да все свои думи о воли кохаютъ,
С коханьем в ланцюги гремлять.
Гремлять вони тяжко, а воли не має
И слуху о нем не чутъ:
Одних в ожиданнї, бере домовина
А други стареючи ждуть.
Так ждуть покопинна, а море як пеню.
Все стогне, реве та шумить,
Заграє валами, ударить в фортицю,
Фортиця вид хвилить вздригне...“

Вот одно из лучших, данных Шлиссельбургскими узниками описаний в поэтической форме Шлиссельбургской каторжной тюрьмы, пришедшей на смену исторической крепости. Много было попыток вложить ее мрачные стены, со всем их содержимым, в размеренные музыкальные строки. Но все они были или меньше действительности, или были продуктом чистой риторики, хотя и обладали слишком яркими выражениями, вроде того, что вокруг „Бастиии России течет позорная Нева“. Другие перегибали палку в иную сторону, и у них в стенах крепости летали Петровы ядра, грудой сваливали тела убитых шведов, но жизни, отражения ее в мрачном застенке самодержавного оплота—не было. Не было чувства, чтобы уловить тоску по воле, печаль кандалного звона и муки души в ожидании грядущей смерти. Теперь пора проделать ту же попытку в прозе...

Небольшой каменный островок своим северным концом упирается в Ладожское озеро, с востока и запада привольно течет широкая Нева, сли-

ваясь за островком в одно мощное русло. Здесь, в самом истоке, она кажется особенно могущественной и величественной. Нескованная гранитом, она как будто создана для пробуждения свободолюбивых мечтаний. Но эту мощь все же сумели использовать в борьбе именно со свободолюбивыми мечтаниями. На подмогу Неве, гигантские стены, достигая шестисаженой высоты, окружают островок, оставляя между собою и рекою узкую полосу земли, как бы в доказательство, что в Шлиссельбургской крепости, кроме воды, неба и стен, есть и земля.

Два столетия простояла крепость, и за это время только стены одряхлели, покрылись старческими морщинами и пробивающейся сединой — мхом. Из вечности текли бессменной чередой года, сменялись поколения людей, каждое лето появлялись на острове новые тучи мягкокрылых насекомых, получивших у каторжан название „шведов“, и все оставалось по-старому. Только старуха история медленно двигалась и вносила свои изменения в суровую жизнь.

Наступил черед России, и революционная волна 1905 года всколыхнула все ее необъятные дебри, разделив красной чертой всю историю на две половины. Не избежала этой участи разделения и Шлиссельбургская крепость. До 1905 года она была каменным мешком для нескольких десятков народовольцев и активнейших революционных борцов, пришедших на смену народовольцам. Массы трудового народа еще не были втянуты в революционный процесс, поэтому его отдельные представители в царских застенках, по своему типу, были более родственны интеллигенции, населявшей крепость.¹

Революционное движение 1905-6 г.г. глубоко всколыхнуло народную толщу. Вовлечение народных масс в революционный процесс пошло вперед гигантскими шагами. На смену одиночкам-революционерам выступили сомкнутые ряды трудящихся. Это явление первым долгом отразилось на составе царских пленников и их количестве. В тюрьмах, каторге и ссылке интеллигенция уже не составляет большинства. Царскому правительству не хватает мест в старых хранилищах. Оно начинает строить новые, приспособлять „к новым влияниям“, и старые. Таким образом, на месте старого Шлиссельбурга, крепости, скрывавшей за высокими стенами свои тайны, возникает новый Шлиссельбург — образцовая каторжная тюрьма. Она уже не прячется за стенами, но начинает выглядывать через них, как будто символически отражая, что революция заглянула в страну и скоро заглянет и в царские дворцы и во всю полицейски-самодержавную лабораторию.

Другой, резко противоположной чертой старому у нового Шлиссельбурга было то, что в составе заключенных утратилась однородность политической тюрьмы. Царское правительство признало арестантское равноправие и начало смешивать в одну кучу и политических и уголовных. Такое нововведение облегчало правительству задачу расправы и издевательства над своими врагами. Политические заключенные попадали в худшие условия: они распылялись в составе инородных элементов и утрачивали силу сопротивления. Уголовная же масса от нововведения безусловно много выигрывала. Всё то, что в ней

не было еще окончательно погибшего, что в ней действительно было продуктом социальных безобразий и несправедливостей, нашло свое спасение в нововведении. Чего не могла сделать для нее, в течение десятков лет, пенитенциарная система, то одно соприкосновение с легким культурным слоем совершало в какой-нибудь год-два.

Жизнь заключенных в Шлиссельбургской крепости до 1905 года, более или менее полно, дана в воспоминаниях народовольцев. Темой настоящих строк является период, заполнивший промежуток между первой и второй русскими революциями.

Как крепость Шлиссельбург, так и Шлиссельбургская каторжная тюрьма, с полученной одной в наследство от другой вывеской „государева“, являются олицетворением больших и малых Шлиссельбургов, сотнями, а пожалуй и тысячами разбросанных по великой земле русской, олицетворением тех оплотов, которыми держалось на Руси самодержавие. И нет ничего удивительного, что теперь, после пятилетней давности со дня смерти самодержавия, звание „шлиссельбуржца“ еще сохраняет нечто вроде ореола.

Однако, ничто не вечно под луною: самодержавие свергнуто, умер и Шлиссельбург. Но он не теряет к себе интереса. Маленький островок весь полит народной кровью, на нем каждая травка и каждое дерево питаются до сих пор соками крови страдальцев за русскую свободу. На нем скованные цепями не только страдали и несли тяжелый крест великого служения трудящимся и всему человечеству, но и боролись. На нем всё время кипела своеобразная жизнь. На нем было отражение жизни всей страны, всего народа, со всеми его радостями, печалью, надеждами. И шлиссельбургский поэт не преувеличивал, когда говорил, изображая свой невольный приют:

„Как в зеркале, здесь видно житье всего света“...

В мрачных стенах царизма много творилось зла, порой до безумия ужасного, но и эта мрачная страница не должна быть вырвана из истории. Она не только заслуживает памяти. Ее нужно знать каждому гражданину. В ней много интересного, много поучительного. И, вместе с тем, она является лучшим памятником на могилу тех, которым не пришлось увидеть лучей восходящего солнца великой Свободы, которые погибли в мрачном узилище под гнетом тяжелых цепей...

Седые громады, построенные под свист кнута руками новгородцев, были еще достаточно сильны, чтобы лишать свободы тысячи людей. Через них, в момент переоборудования крепости в каторжную тюрьму, выглядывал только шпиль крепостного собора да вентиляционные трубы нового, впоследствии третьего корпуса. Ни одного звука стонов или мольбы на другой берег красавицы Невы мощные стены не пропускали. За ними чувствовалась могила, живая могила: не черви, но люди в ней шевелились, — одни в цепях, другие их стерегли.

Первый шаг на острове невольно заставлял биться сердце сильнее. Громада седых стен, чернеющие, как пропасть, ворота в государственной башне,

и кругом простор невских вод производят угнетающее впечатление. Поворот под прямым углом подворотного хода в башне придает воротам вид входа в подземелье и сразу отрезает от остающегося за спиной простора. Маленькая дверка, в громадных воротах, с массивным железным запором, как будто ворчит за спиной старческим сердитым голосом:

„На долгие годы отрезан от мира живого
Тяжелым засовом железных дверей“...

Сердце как будто понимает ворчание засова, и быстрое биение быстро замирает. Это резкое изменение делает еще более неприятным первое удручающее впечатление.

Вот и каторга.

Вольная, свободная жизнь осталась позади. Впереди только каторга — цепи, штык часового, да где-то, глубоко-глубоко, смутная надежда: не вечно же, когда-нибудь снова солнце засветит... Впоследствии, путем долгой практики, сравнивая жизнь в стенах и за стенами, мало-по-малу начинаешь постигать, что ярлык „вольная“, „свободная“ действительно являются злейшей карикатурой, насмешкой над волей, свободой и самой жизнью. Конечно, если понимать под волей и свободой право беспрепятственного хождения в трактир, то такая свобода осталась позади. Но нужна иная воля, иная свобода — и они были впереди, путь к ним через каторгу.

О существовании Шлиссельбургской крепости и каторги в ней осознательно узнал я только в пересыльной тюрьме в Петрограде. Здесь вспомнил Иловайского и Смирнова, указывавших, что она находится на острове. Представление об острове больше имел по стихотворению „Воздушный Корабль“, чем по научным определениям. Чувство подсказывало, что на острове кроме воды и тюрьмы ничего нет, и мне страшно не хотелось попадать в Шлиссельбург. Я был согласен на всё, и на смертный бой, начинавшийся в Орловском централье, и на беспрестанную порку в Псковском, но совершенно не хотел Шлиссельбурга. Сверх этого и был убежден, что суд вятил мне пятнадцать лет каторжных работ по злобе за мое непризнание суда и за то, что я этот суд распустил по всем швам, поэтому считал нужным исправить приговор, определил себе четыре года каторги, больше этого сидеть не был намерен. Четырех лет мне было достаточно, чтобы малость подучиться. Что на воле мне не удалось, несмотря на все желание. Приговор суда было легче исправить на твердой земле, но не на каких-то островах. Я принимал все меры для избавления от Шлиссельбургского сидения. С первых дней в пересыльной тюрьме я признал для себя неприемлемым величать всякую рвань „вашим высокоблагородием“, на этой почве пришлось ходить по карцерам и удалось напортить много крови начальству. Начальник стал убеждать бросить канитель и не развращать арестантов. Я согласился, требуя уплаты в виде отправки меня в Смоленск или Орел, написал соответствующее прошение в Главное Тюремное Управление и должен был, чтобы получить желательное назначение, не попадать в карцер в течение целого месяца. Двадцать три дня дело шло хорошо, я уже начал собираться в до-

рогу. Но к вечеру следующего дня все пошло кверху ногами. В нашей камере сидела одна невзрачная личность. В этот день привели одного новичка—уголовного. Невзрачная личность стала с другими перешептываться, потом и вслух объявила, что приведенный не подлинный каторжанин, но подсаженный охранник, что она его видела в Александровском саду вместе с Азефом. Исследование дела убедило меня, что новичек не только об Азефе, но и политических партиях ничего не знает. Просто и ясно, пришлось попросить личность „зря не трепаться“. Она же недолго думая брякнула: „а, ты провокаторов защищаешь“, чем задела меня, что называется, за живое, и, в результате, после ругани, я основательно проучил личность, но сам, по ее заявлению, угодил в карцер на месяц и лишился прав на отправку в желательную тюрьму. В моем же присутствии начальник просил по телефону отказать в моей просьбе и выслать меня в Шлиссельбург. В карцере я просидел до следующего четверга, в который и повезли меня в Шлиссельбург.

Хотя в Петроградской пересыльной тюрьме и говорили, что в Шлиссельбурге приготовлено место на пятнадцать тысяч каторжан, первая партия прибывших на остров каторжан нашла приспособленным только первый корпус, да новый „народовольческий“. Второй корпус заканчивался перестройкой. Все дворы были завалены мусором, а на свободных от мусора местах были такие заросли бурьяна, что им, пожалуй, могли позавидовать американские прерии.

Во время оно на месте первого корпуса была солдатская казарма, окна которой выходили на крепостной двор, задняя сторона прилегала к крепостной стене и окон не имела. При переделке казармы под каторжанские камеры окна отделили узким коридором, поставив от потолка до полу сплошную железную решетку, в которой была сделана небольшая решетчатая дверь для входа. Таким образом, вместо казармы, получилась настоящая клетка, точь в точь, как в Зоологическом саду клетки для зверей, не подлежащие передвижению. В коридоре, между окнами и решеткой, постоянно находился постовой надзиратель. Заключение в камерах были у него всегда на глазах, не было во всей камере ни одного уголка, где можно было бы укрыться, хоть на мгновение, от всевидящего ока. К решетке были приделаны две доски, заменявшие стол, к задней стене рядом прикреплены койки. Вот и весь приют на долгие годы. Несмотря на то, что приходилось вечно находиться на глазах у надзирателя, этот корпус все же пользовался симпатиями заключенных, благодаря своим деревянным полам, которые против цементных предпочтительней, и благодаря большому двору для прогулок. Клеток-камер в двух этажах помещалось восемь и в каждой было по пятнадцати коек.

Второй корпус построен на месте, именовавшемся у народовольцев „старым“. В народовольческие времена здесь было одноэтажное здание с несколькими одиночными камерами. Высокая крепостная стена отделяет это пространство от общения с остальной площадью всей крепости. На месте одноэтажного здания соорудили двухэтажное, с двенадцатью общими камерами. Прежде камеры выходили окнами к наружной крепостной стене, за которой

текла Нева. Теперь перевернули: окна выходят к стене, за которой помещается третий корпус. Здание второго корпуса разделило этот угол крепости на две неравные части. Бóльшая, с исторической яблоней, предназначена для раскаживания постового надзирателя у окон. Меньшая — для прогулок заключенных. Высокие крепостные стены и здание корпуса, в уровень со стенами, придают этому дворику вид сундука, у которого отломана крышка, но которую легко приделать. Только в середине лета солнце заглядывает на дно сундука. В углу двора, у северной башни, по словам надзирателя Каркина, бывшего жандармом в крепости, казнена Коноплянникова. „У ней были такие хорошие ботинки, в них и закопали“. Насколько верно его указание, судить трудно, это был уже полусумасшедший, впадающий в детство старик, единственным его доказательством было указание на выбоины в стенах, в которые будто бы вставляли перекладину. Северная крепостная стена не перпендикулярна корпусу, и поэтому две прилегающие к ней камеры неправильной четырехугольной формы, они больше по размеру остальных десяти, хотя и предназначены для двенадцати заключенных, в то время как в остальных — по тринадцати коек. Эти камеры небольшие, они тесны для тринадцати человек, и, когда опущены койки, в них совершенно не остается прохода. Вентиляции нет никакой, наличие же в камерах „парашек“ еще больше ухудшает условия „сидки“.

Для сообщения между дворами первого и второго корпуса в стене пробит ход и сделана небольшая решетчатая дверь, ключ от которой постоянно находился у надзирателя, стоявшего на стене. Когда кто подходил к двери, надзиратель, разгуливавший по двору, кричал на стену, тот опускал на бечевке ключ и по миновании надобности снова втягивал его к себе.

Между вторым и первым корпусом помещаются две башни: башня Ивана Антоновича выходит небольшим окном на прогулочный дворик второго корпуса. Вторая имеет в нижнем этаже окна или выход на двор первого корпуса, во втором этаже — во второй корпус, каждый этаж приспособлен на три карцера, в которых нет никаких признаков света.

На стенах крепости устроены деревянные мостки, по которым круглые сутки ходят постовые надзиратели с винтовками за плечами и караулят могущих бежать.

Мало-по-малу Шлиссельбург начал обстраиваться: прибавился четвертый, новый, четырехэтажный корпус, выглядывающий окнами верхнего этажа через крепостные стены; выстроили надзирательский трехэтажный корпус; дворы корпусов отгородились новыми кирпичными стенами, появились бани, прачечная, водокачка, кухня и хлебопекарня, над первым корпусом выстроили еще этаж для больницы. Не изменился только третий — новый, народолюбческий корпус, сохранив свой двор с огородом и оранжереей, несколькими тополями и одной грушей.

Так переродилась Шлиссельбургская крепость в Шлиссельбургскую каторжную тюрьму, руины которой ныне высятся в беспомощно жалком виде.

1) Второй корпус. 2) Яблоня. 3) Двор для прогулки. 4) Башня Ивана Антоновича. 5) Северная башня. 6) Водокачка. 7) Вход во двор второго корпуса. 8) Башня с карцерами. 9) Первый корпус. 10) Ракита. 11) Место прогулки первого корпуса. 12) Кочегарка. 13) Прачечная. 14) Кухня и хлебопекарня. 15) Третий корпус. 16) Оранжерея. 17) Огород и прогулка. 18) Электрическая станция в башне. 19) Прачечная надзирательская. 20) Часовня. 21) Братская могила воинов. 22) Собор. 23) Дом начальника. 24) Надзирательский домик. 25) Надзирательский корпус. 26) Четвертый корпус. 27, 28) Место прогулок IV корпуса. 29) Одиночки IV корпуса. 30, 31) Погреб в башнях. 32, 33) Надзирательские помещения. 34) Государева башня. 35) Вход в крепость. 36) Крепостная стена. 37) Кирпичные стены.

II.

Как строилась новая тюрьма.

Перестройка, постройка и оборудование каторжной тюрьмы на месте бывшей Шлиссельбургской крепости растянулись на целые годы, да так и не закончились до последнего дня ее существования.

Не успели закончить второй корпус, как он уже дал трещины и потребовал переделки. Явившаяся комиссия признала здание угрожающим опасностью для своих обитателей. На треснувших стенах и потолках прикрепили небольшие деревянные бруски для наблюдения над дальнейшим развалом, но в сущности больше для скрепы, так как с этими брусками корпус и остался. Обитателей, несмотря на опасность, не выселяли в виду „квартирного кризиса“. Разгром революции давал свои жертвы, и тюрьмы переполнялись всё больше.

Построенная вновь арестантская баня и прачечная скоро „треснули“ более основательно, и та же комиссия совершенно запретила пользование ими. Соорудили временную, деревянную баню у стены с водокачкой, стирку же белья производили в надзирательской прачечной, помещавшейся у восточной башни.

Постройка производилась подрядным способом, но к участию в работе были привлечены и каторжане. Это привлечение дорого обошлось для всех, многим стоило даже жизни.

Большинство каторжан, в особенности политические, рассуждали так, что им тюрьма совершенно не нужна, что для них достаточно уже существующих тюрем, не нужна тюрьма и для грядущих Свободы, Равенства и Братства. Постройка тюрьмы вообще, и в особенности для самих себя, считалась величайшим позором. Поэтому, в среде каторжан, — несмотря на заманчивую плату от рубля за рабочий день и премию в виде ситного и сахару, при очень скудной и недостаточной тюремной пище, — добровольцев-строителей не было. По смыслу же законов, находившихся в руках тюремщиков, каторжане, как лишенные всех прав, не могли иметь и воли. Они обязаны были исполнять

все веления начальства беспрекословно и с усердием. И начальство не замедлило поставить себе задачу принудить каторжан работать, принудить строить самим себе и своим наследникам каторжную тюрьму. Здесь было столкновение начальнических и каторжанских принципов, а борьба принципов—борьба самая беспощадная и упорная. Решение задачи падало, за малыми исключениями, главным образом на спины политических. В среде последних был явно и точно формулирован принципиальный отказ от работы. Уголовные же старались уклониться от работы под различными предлогами и только единицы прямо заявляли, что тюрьму строить не будут.

С первых же дней, как только были заявлены отказы от работы, начались репрессии. Первый отказ, обычно, влек за собой заключение в карцер на семь суток. Это было, так сказать, всегда прелюдией к предстоящей порке. Стало правилом, что на следующий день по освобождении из карцера производился вызов на работу из камер уже поименно. Если следовал отказ, старший надзиратель, вызывавший на работу, удалялся, записав фамилии отказавшихся, и возвращался снова часов около десяти в сопровождении младших надзирателей. Отказавшихся от работы утром вызывали по списку на коридор и нежелавших выходить надзиратели вытаскивали из камер силой. При этой операции частенько производилось легкое ощупывание подреберья непокорных, большей частью кулаками, и только более ревностные и усердные надзиратели, из трудолюбия, пускали в ход рукоятки револьверов и пинки сапогов. Вышедших добровольно и извлеченных на коридор силою отводили поодиночке, в баню и там совершали порку. Количество ударов розги, можно смело сказать, — в опровержение Плехановского „бытие определяет сознание“,—зависело от сознания каторжанина. Если он на третьем-пятом ударе начинал кричать „пойду работать“, порка немедленно прекращалась, недопоротого отводили в околотов, где служители медицины—спасательницы гда человеческого—немедленно смазывали недопоротые места вазелином, после чего побежденного отводили в карцер, где он и сидел до окончательного заживления рубцов, после чего и приступал к строительству тюрьмы.

Вряд ли когда бывает человек в более тяжелом положении, чем такой побежденный. Сознание оскорбительного издевательства и сопровождающего его глумления начальства — с одной стороны, с другой—полное бессилие бороться против этого произвола, полная беззащитность, признание своей слабости и пробуждение ненависти в товарищах, договора с которыми он не смог выполнить; мысль, что его станут за слабость презирать товарищи, боянь взглянуть им прямо в глаза—причиняют побежденному такую массу страданий, таких горьких муз, пред которыми муки мифического Танта-ла кажутся некоторого рода наслаждением. Любой из побежденных охотно бы поменялся своим положением с Танталом и дал бы в придачу не только свой каторжанский срок, но и обязательные для каторжанина чайник и сумку-майдан. Даже мимолетный взгляд на побежденного причиняет страдание, становится обидно до боли и за человека и за человечество, в среде которого царят подобные вещи.

Следующий разряд, по количеству ударов обыкновенно 25, составляли каторжане, не согласившиеся под ударами розги идти на работу, но все же кричавшие от боли. Это для администрации являлось признаком, что с ее стороны требуется еще несколько усилий, чтобы сломить сопротивление. Получившему двадцать пять ударов медицина не оказывала вазелиновых благодеяний; его отводили в темный карцер, где ему, лишенному даже возможности сесть, предоставлялась неделя и две — в зависимости от наличия кандидатов на его же стезе — на размышление. По окончании размышлений порка повторялась в более усиленной порции. К огорчению начальства она не давала больше 25% согласия на работу. Большая часть примиралась с обязанностью быть поротым, привыкала и терпеливо выносила всю порцию, которую назначали власти.

Больше ударов получали — иногда 35, когда 50, а то и весь тюремный каторжанский максимум 100 ударов — только те, кто в продолжение первых 25 не произносил ни звука, несмотря на все усердие поровших надзирателей, ободряемых начальническими криками — „сильней“, „реже“. Удары были настолько сильны, что на 10—15, почти всегда, кожа разрывалась и кровь начинала струиться на пол. Следующие удары причиняли большую боль или вырыванием частиц тела, или тем, что в теле застревали части отламывающихся прутьев. Упорное молчание истязуемого подчеркивало бессилие начальства, и наказание переходило в настоящий составительно-истязательный процесс. Вся процедура принимала вид дикой, нечеловеческой оргии. На грязном полу растянут обнаженный наполовину человек, со скрученными на спине руками, с навалившимися на спину и на скованные ноги надзирателями, прижимающими его к полу. По обеим сторонам растянутого каторжанина стоят надзиратели с длинными прутьями, которые со свистом и силою равномерно опускаются на налившееся кровью, ставшее сине-багровым тело, местами прорванное с сочащейся из ран кровью. Немного в стороне помощник начальника тюрьмы, считающий удары и ободряющий бьющих. За ними целая группа надзирателей, то сменяющих набитые розги, любовно выбирая из общего запаса более надежные и обещающие лучшие удары; то простые зрители, или по долгу службы, или по любви к искусству. Слышен резкий, специфический свист розги, сопенье раскрасновшихся до озверения людей. Все волнуется, все принимают участие, каждый по силам своим и способностям, то „ахом“ усиливающим удар, то советом „протянуть“, то просто бессознательным движением рук, подражая бьющему. И только один истязуемый лежит спокойно, ворочает глазами, с сильно побледневшим лицом, да наблюдает за своими палачами.

Счастьи истязуемого от этой ярости ничто не может, кроме измены собственного сердца. Случается, что сердце не выдерживает, жертва закона теряет сознание. Тогда врач или фельдшер вступают в свои на потребу человека обязанности, приводят в сознание, чтобы жертва не могла уклониться от получения причитающейся порции. Редко бывают случаи, чтобы клиент был ограничен той дозой, какую принял до потери сознания. Это бы-

вает только тогда, когда помощник начальника испугается возможной смерти наказываемого. Но обычно завершается наказание только достижением предела. К этому моменту подвергаемый наказанию ослабевает; ослабевшего схватывают, тащут волоком, ощупывая голову и бока кулаками. Притаскивают в карцер, бросают на цементный грязный пол и запирают.

Закон исполнен в точности. К делу даже приложено медицинское свидетельство о пригодности каторжника к телесному наказанию. Исполнители закона и долга пред царем и отечеством, здесь же около карцеров, на коридорчике, слагают с себя ответственность за недостижение цели: „ну, что ты с ним сделаешь, он батьку родного зарежет и глазом не моргнет“... Смотри, и не пикнул...

— Натура, ваше высокоблагородие, натура...

— Посмотрим, вот раз пять пропишем, забудет и натуру...

— Подастся, ваше высокоблагородие, подастся...

— Его бы прикладом, ваше благородие, лучше...

— Ничего, от нас не уйдет... — Скрипит дверь, палачи удаляются, критикуя методы, могущие привести к победе. Каждый надзиратель старается дать свой совет, в тоне голоса так и слышно старание, подобострастие... Слышать эти разговоры становится до боли противно.

Кругом тьма крошечная. Ни звука. От прикосновения грубого белья подымается невыносимая режущая боль. В ранах чувствуется присутствие обломков прутьев и застрявшей коры. Все тело горит. Начинается самоисцеление: руками выбирают прутья, а все остальное предоставляется благотворному влиянию времени. Голова пуста: мысли все убежали. Думается только: ладно мол, мне терять теперь нечего, хоть этим насолю вам, собачье отродье, палачи. Даже о мести мысль не поднимается...

Можно сказать утвердительно, что энергия начальства, во время постройки каторжной тюрьмы, больше всего тратилась на порку каторжан и на усилия сломить сопротивление в отказах от работы. Не очень начальство интересовалось продуктивностью работы, ему важно было именно, чтобы каторжане участвовали в постройке тюрьмы.

На каторжаных, подвергавшихся истязанию, повторная порка отражалась различно. Так, ученик реального училища из Варшавы, Степанов, настоящий юнец, после четвертой сотни совершенно оглох, утратил свою жизнерадостность, сделался ко всему равнодушным и приобрел рассеянность в такой степени, что просто удивлял сокамерников. Он был осужден по малолетству на два года и восемь месяцев, но за такой „пустяковый“ срок, пробыв в Шлиссельбурге немного больше года, потерял здоровья очень много. Из Сибири, места поселения, о нем не пришло ни одного известия, и что с ним стало „на воле“, осталось тайной. Дубровин, петроградский рабочий, осужденный за принадлежность к партии, стал кашлять кровью; у Николая Калашникова быстро развился туберкулез костей и появилась масса злокачественных ран. Матрос Корниенков, осужденный за Кронштадтские восстания, совершенно ослеп. У иных никаких последствий не осталось, если не считать появления

на мягких частях тела, в жаркой бане, темно-красной сетки, вроде „вуали с мушками“.

Истязание упорствующих обыкновенно оканчивалось на третьей или четвертой порке, когда начальство убеждалось в непоколебимом упорстве забастовщика. Но были исключения, когда борьба миров ограничивалась и одним разом. Эти исключения всегда были связаны с какой-нибудь угрозой наказуемого, обещавшего „зубами прокусить начальническое пузо“ или, при удобном случае, „удавить надзирателя“. Боялось ли начальство подобных угроз, сказать нельзя, но они иногда выручали, хотя ими пользовались очень мало. Лично мне удалось раз избавиться от порки по этой системе в апреле 1911 года. Я ушел на операцию в „Кресты“ и пришлось сидеть в Петроградской Пересыльной Тюрем до самой осени. Скоро в камеру дали обрубки старого каната для щипанья из них пеньки. Работа пыльная и совсем не камерная. Сокамерники все были долгосрочные и им легко было доказать, что с такой работой они не только не отбудут своих сроков, но не успеют отбывать и кандалного срока, как все передохнут от чахотки. От работы отказались и дали надлежащее объяснение начальнику тюрьмы Арахчееву, который прежде всего объяснил, что именно щипанье пеньки спасает от туберкулеза: канат во время работы просмолился, а всем чахоточным рекомендуется смолистый воздух сосновых лесов, работа выходила лекарственная. За объяснение и несогласие с ним пришлось попасть в число зачинщиков забастовки. Вызвали троих или четверых на главный пост, там уже находился тюремный врач, вооруженный своей трубкой, „на предмет освидетельствования способности к телесному наказанию“, как он сам выразился. Такое освидетельствование имеет чисто формальный характер; будь семь раз неспособен, результат всегда один: чего начальство хочет, то всегда сделает, особенно подобное Арахчеевым. Я не разделся и не дал врачу определить пульс. Стоявший здесь же Арахчеев заорал: „па-а-роть“.

Всего какую-нибудь неделю тому назад в Вологде было произведено покушение на губернского тюремного инспектора, Ефимова, за проведенную им в Вологодской временной каторжной тюрьме, в конце 1910 года, массовую порку. Партия в выпущенной прокламации дала мотивировку покушения. Я, не долго думая, решил использовать этот факт в свою пользу и спросил Арахчеева:

— А завешание у вас написано?

— Что?— не теряя гонора переспросил начальник.

Спокойно и хладнокровно объяснились,—и он понял.

— Прежде всего нужно забыть, чем был на воле. Ты — каторжанин,— сказал он, с особой силой ударяя на „ты“.

— Прежде всего я человек, а потом — социалист... Каторги не признаю.

— Каторга существует по закону, законы все обязаны признавать.

— Кроме тех, кто против них воюет,— начал я, но Арахчеев перебил:

— Видел я ораторов, в карцер... — закричал он так, что сразу подбежали два старших, Павлов и Некрасов.

На третий день пришел в карцер Арахчеев, прочел длинную лекцию о терроре, что он не достигает цели и падает иногда на невиновных, Ефимов был для каторжан человек хороший... Если сам не захочешь работать, не нужно подбивать в этому других... В камере все теперь работают. Лекция не помогла. Посадили в изолятор, с матовыми стеклами и с форточкой на замке. Лишили прав выписки продуктов на собственные деньги, чтения книг и прогулки. Пищу и кипяток стали подавать надзиратели, приносили такой же бачек, как в общей камере на пять человек... В общем „жизнь“ была не дурна.

Однако, после отступления, характеризующего из тюремщиков такого гиганта, как Арахчеев, бывшего больше зверем, чем человеком, и в конце-концов кончившего преступлением (он растратил казенное имущество, забрал кассу с собственными и заработанными арестантскими деньгами и скрылся в январе 1917 года), пора вернуться к Шлиссельбургу.

Выдержавших порку до конца с полным hladнокровием водворяли в камеры и больше не беспокоили вызовами на работу. Начальство как будто признавало себя побежденным и совершенно отстранялось от дальнейшего воспитания трудолюбия и покорности. Победители, перенесшие мужественно испытание, завоевывали себе положение лучшее, чем сдавшиеся. Первые отныне становились полными распорядителями самих себя и даже не слушали ни от начальства, ни от надзора угроз скорпионами. Вторые, наоборот, скоро убеждались, что выработать полную плату и заработать премию, пожалуй, труднее, чем претерпеть наказание.

Работа продолжалась от половины седьмого утра до двенадцати и снова с часу до шести. За этот промежуток рабочего времени нужно было перенести на верхние этажи тысячу штук кирпича или набить определенную кучу щебенки. До полудня приходилось работать на тюремном пайке, совершенно недостаточном при тяжелой физической работе. Работник быстро обессиливал, начальству же всегда казалось, что он уже забыл „науку“ и начинает „гонять лодыря“. Начались угрозы, издевательства, никаких возражений или объяснений не допускалось, начальство говорило одно:

— Пошел к овцам, так и будь овцой: молчи, когда тебя стригут. А стричь всё время будем, не надо было уходить от козлов.

И действительно стригли не только за себя, но и за тех, кто остался в козлах.

Выхода не было. Оставалось или безропотно тянуть лямку, или, как сделал путиловец — Кондрашенков, снова лечь на пол, помятая одну великую истину священного писания:

„Прегерневый до конца — спасен будет“...

Тюрьма строилась. Борьба и порка продолжались.

Наконец, в одно прекрасное утро, начальство было обрадовано заявлением каторжан, сделанным старшему надзирателю на утренней поверке:

„Мы, мол, дескать, одумались... Желаем работать“...

Надзирательская рожа расплылась от удовольствия, как луна в хорошую осеннюю ночь. После целого ряда похвал, в тот же день, с полсотни назначили на работу: носить кирпичь, бить щебенку, месить известку.

Все работы должны были производиться в пределах крепостных стен, по постройке четвертого корпуса. Но там же работала много вольнонаемных рабочих, часть которых с берега доставляла строительный материал. Благодаря этому обстоятельству крепостные ворота не были закрыты, хотя и охранялись караулом конвойной команды. Всё было учтено каторжанами и признано было возможным организовать массовой побег. К нему стали серьезно готовиться. Через надзирателей, двух братьев Тихоновых, державших свое сочувствие всецело на стороне каторжан, удалось, по слепкам, изготовить ключи для открывания камер и коридоров, связаться с волей, через скульптора Инукова заказано было необходимое оружие. Однако до конца подготовку довести не удалось. Один каторжанин, Тумилович, знавший в общих чертах проект, испугался граничности замысла бежать всей тюрьмой и передал идею побега начальству. Деталей Тумилович не знал, но до них начальство могло додуматься, нужно было торопиться. В силу этой поспешности и было заявлено о желании работать.

Ликование начальства, по случаю согласия на работу, перешло в торжество победы и затмило его догадливость. Желание работать не связано было с известной ему идеей массового побега. Оно пошло на удочку и вывело добрую половину намеревавшихся участвовать в штурме крепости и в побеге на крепостной двор. Решено было, что вышедшие „заштопорят“ караул, овладеют винтовками и отправят группы открывать по корпусам камеры, часть займет посты, а там, когда все соберется в поход... дальше не думали.

Вся обстановка, как будто, сулила успех задуманному предприятию.

Не успели начальники и десятники расставить по назначенным работам „желающих потрудиться“, как раздался сигнальный, пронзительный свист „скобара“ Андреева, заправившего четыре пальца в рот и надувшегося до последней степени. И всё пришло в движение неопишемого хаоса.

Началась охота на надзирателей—каторжане забегали по всем направлениям, перепутались с изумленными и оторопевшими вольнонаемными рабочими. Один надзиратель очутился в известковой яме и орал не своим голосом „караул, спасите“, как будто он мог в ней утонуть, бледный, перепуганный, измазавшийся при падении в яму. Около груди щебня другой надзиратель спутался в клубок с скобарем Андреевым, и они катались по земле, стараясь сесть один на другого. Надзиратель делал усилия вырваться и бежать от мальчишки, Андреев старался обезоружить его.

Старик Орлов сплел с ног одного надзирателя и бежал за другим, размахивая по воздуху молотком. Остальные надзиратели пустились кто куда: один взобрался на столбцы кирпича, другой бежал вон из крепости, кто просто утекал от места схватки. Конвойные солдаты собрались около ворот и не знали, что делать. Первым сообразил, что дело не ладно, постовой надзира-

тель на стене и произвел тревожный выстрел в воздух. На выстрел из караульного помещения выбежали остальные конвойные и запасные надзиратели с винтовками. В бунтующих не было возможности стрелять, они все перемешались с вольными, и только по лязгу кандалов можно было отличить, где, в какой стороне находятся каторжане.

Быстро захлопнулись крепостные ворота, и началась охота уже за каторжанами. Конвойные, ничего не соображая, открыли настоящую пальбу, но все же в толпу рабочих и каторжан не сделали ни одного выстрела. И только когда один сбившийся от ружейных выстрелов каторжанин, латыш, изобразил на кучу камня, с которой вначале скатились надзиратель и Андреев, поднял руки вверх и стал кричать, что сдается, по нем была открыта частая беспорядочная стрельба. Стрельба была довольно продолжительная. Из всех произведенных выстрелов, несмотря на то, что мишень была на близком расстоянии, находилась на очень видном и удобном месте, только одна пуля попала в поднятую руку сдававшегося.

Стрельба затихла. Стража — надзиратели и конвойные солдаты — оправилась от испуга. Нескольким еще боровшимся каторжанам скрутили назад руки; остальные сами, по команде, выступили из толпы вольнонаемных, и через час-полтора после выхода на работу добровольцы были размещены по своим камерам, а более ненавидимые, в числе их Орлов и скобарь Андреев, посажены в карцер.

Всё стихло. Всё успокоилось. Началось следствие. Постройка тюрьмы продолжалась. Принуждение каторжан сразу окончилось. Начальство перестало радоваться добровольцам, стало очень осторожно и отстранило от работы даже часть работавших раньше.

Скоро стены четвертого корпуса выглянули из крепости. Через Петровские высокие стены тюрьма начинала смотреть на вольный простор Невы и через нее на захудалый уездный городок, с тощими полями, лесочками и на зеленеющее вдаль, вниз по течению, каторжанское кладбище.

В четвертом корпусе устроили в первом — полуподвальном этаже столарные мастерские, дейхгауз и десять карцеров, из которых три совершенно темных; во-втором — контору, семь одиночек и семь общих камер; в третьем — двадцать восемь одиночек, семь общих камер и мастерские: сапожную, ткацкую и портновскую, и в последнем — ткацкие мастерские и семь общих камер. Каждая общая камера была оборудована на 22 места. Одиночки все уменьшенного типа, и в них для двоих было тесновато.

К началу 1911 года этот корпус уже совсем заселился каторжанами, втянулся в общую тюремную жизнь, однообразно тянувшуюся от перебоя к перебою.

Однако корпуса не остались между собою равноценными, ни с точки зрения начальнической, ни с каторжанской. В четвертый корпус начальство подбирало публику, с так называемым „хорошим поведением“, менее строптивую, совершенно покорную, выражавшую начальству не только повиновение, но и почтение, именно ту, которую в арестантской среде называют „шпаной“. В награду за хорошее пове-

денные каторжанам, сидевшим в этом корпусе и не работавшим в мастерских, разрешалось запрягаться в лошовые дроги и возить на себе, с берега Невы, дрова для надзирательских и начальнических квартир; возить на тачках, оттуда же, уголь для кочегарок и электрической станции. Обязательна была и стирка белья в прачечной, но эта работа не пользовалась уважением, тогда как первые две — всегда находили массу охотников. Эти все работы относились к хозяйственным и никакой оплате не подлежали, но всё же они ни ропота, ни недовольства не вызывали. Особенно нравилось возить уголь. Нравился, конечно, не самый процесс возки, но возможность побыть за крепостными стенами, посидеть на берегу Невы, поглазеть на вольный мир.

Перед глазами была всегда одна и та же картина. Широкая Нева спокойно несла свои воды в столицу. За ней, вниз по течению, виднелась крыша вокзала Ириновской ветки, оттуда иногда доносился свист ее детских паровозов, и показывался белый пар. Выше раскинулась по берегу деревушка Шереметьевка с серыми избами. Тянулся немудрой лесок, из которого выглядывали трубы порохового завода да колокольня, дальше начиналось Ладожское озеро...

Иногда по широкой Неве проходил валаамский пароход. Все его „богомольцы“ высыпали на верхнюю палубу, смотрели на Шлиссельбургскую тюрьму, кто так, кто в бинокли — смотрели на находившихся на берегу, на одетых в белое каторжан и принимались махать платками, шляпами, зонтиками.

Чувствовалось в этом махании приветствие, сочувствие, но стоило лишь ответить тем же маханьем одному из каторжан, как немедленно налетал надзиратель, хватал виновника за шиворот и тащил без всякой пересадки в контору, из которой прямой путь был во второй корпус, для лишения прав смотреть на Неву и принимать на свой счет богомольческие приветствия.

Случалось, что, недалеко от берега, проезжал в лодке „наш брат-мастеровой“ в числе двух-трех подгулявших рабочих с пороховых заводов. Эти не ограничивались маханьем, иногда просто николаевской сороковкой, но принимались громко кричать:

— „Не унывай, товарищи, скоро устроим всему крышку!“

На такие крики надзиратель отвечал требованием ехать на середину реки и угрожал стрелять. Заявлялась перебранка.

— „Езжай, езжай, пропойцы“.

— „Палачуга, собачья душа“.

— „Езжай, стрелять буду“.

— „Стрельни своему батьке в носаврю, кровопивец!“

Каторжане начинали смеяться, надзиратель суетился, течение реки уносило лодку, и всё снова приходило в нормальный, затумленный вид.

Такие прелести четвертого корпуса были основанием его названия в арестантской среде „вольной командой“.

Начальство к его обитателям относилось мягче, кое-что совсем спускало, в других случаях сажало в карцер на меньшие сроки.

На следующий ступени стоял первый корпус, в котором, в большинстве случаев, сидели мастеровые: ткачи, кузнецы и слесари, хлебопеки и кашевары. Здесь уже не было прелестей в работе за крепостными стенами, но был хороший двор для прогулок, деревянные полы в камерах, придававшие им в отдаленной степени подобие человеческого жилья. Неработавшие в мастерских ходили на кухню чистить картофель, где удавалось съесть несколько ложек каши, оставшейся от обеда кухонных рабочих, а то и просто „сламзить“ кусочек черного или белого хлеба. Это уже являлось некоторой компенсацией за отсутствие работы вне крепости.

Второй корпус являлся „ссылным“, „Сахалином“. Сюда стогналось всё неудобное для первого и четвертого корпусов. Переводились сюда утратившие почтение к начальству, попавшие два раза в карцер, одним словом — неблагонадежный элемент. Все обитатели его числились „с плохим поведением“ и до 1913 года ни на какую работу, даже в прачечную, не брались. Из корпуса выходили только несколько человек на кухню за хлебом, обедом и ужином да к врачу. Дальше, до конторы, удавалось пройти только тем, кому предстояло сесть в карцер. Режим был строже: на прогулку выводили каждую камеру отдельно, за каждый пустяк сажали в карцер на более продолжительные сроки, и кандалы, после окончания кандалного срока, приходилось таскать дольше. Большим преимуществом был только лучший, более согласованный подбор сокамерников: меньше было скандалов, жили дружнее, и не было разрозненности перед начальством.

Третий корпус стал пристанищем народа привилегированного, там собиралась аристократия, интеллигенция, любимцы начальства и, частью, „сучья порода“, да полулягавая певческая капелла, которую из него вышибла только волынка 1912 года, когда начальству потребовалось много одиночек для изоляции из общих камер агитаторов и пропагандистов тюремного протеста.

Но самым строгим местом во всей тюрьме стало „заразное“ отделение. Оно помещалось в надстроенном над правым корпусом этаже около башни, примыкающей к стене второго корпуса. Прямым его назначением была изоляция заразных больных в случае появления в тюрьме холеры, тифа или чумы. Для этой цели оно хорошо было приспособлено: имело отдельный ход, отдельную кухню и ванны и совершенно изолировано от общения с остальной тюрьмой. Там было семь небольших камер, человека на три каждая, очень светлых, с деревянными крашеными полами, с отдельными железными кроватями. В виду отсутствия холер и тифов оно не стало пустовать и скоро заселилось „нравственно-заразными“: уличными или сильно заподозренными в пропаганде, в переписке с другими карцерами или с волей нелегальным путем; инициаторы тюремных протестов и волынок также находили себе здесь спокойное пристанище. С сидящими в нем начальство не желало совершенно разговаривать, и поэтому здесь скоро образовалась „свободная республика“: игнорировали утренние свистки, могли спать по целым дням. Для сношения между камерами проковыряли у трубы водяного отопления

дыры и зажили общей жизнью. Спасаться можно было только с третьим корпусом лишь в солнечные дни посредством зеркальных зайчиков. Тяжело было только лишение табаку, но и это несчастье скоро преодолели и получали в каше достаточную порцию, пока начальство не отменило запрет курения. Здесь начальство для достижения полной изоляции подбирало надежных надзирателей, однако и это плохо помогало: хоть изредка, но на волю сообщения проскальзывали. В таких случаях начальник устраивал смотр всем надзирателям и пушил весь фронт, что мол „нашлась какая-то дрянь и вынесла письмо на волю“ и так дальше, в этом духе, грозя наказанием. Но это мало касалось каторжан. Каторжная тюрьма развернулась, вместо сотни ее население перевалило за восемь сот и вошло в свою обычную колею каторжанского бытия.

Мало-по-малу стал слагаться и крепнуть каторжный Шлиссельбург. Растворяя обычаи других каторжных тюрем и принимая свой собственный облик, отлагая черты его на каждом каторжанине, проведенном в нем несколько лет, он для многих явился хорошей жизненной школой.

Несмотря на массу мрака, порой безобразных оргий произвола, Шлиссельбург есть за что помянуть и хорошим словом. Он много, слишком много взял и все-таки кое-что и дал.

В правительственных кругах его репутация стояла высоко. Его считали лучшей тюрьмой в России. Если кто из родных заключенных, со связями, обращался в Главное Тюремное Управление с просьбами о переводе в другие тюрьмы, им всегда давали ответ: „Лучше Шлиссельбургской тюрьмы в России нет. Угодно?“

III.

Начальство.

О, господи, какой только твари не встречается на путях человеческих...

Там, на воле, ходишь по всем направлениям, встречаешь двуногих, и кажется, всё люди, всё человеки, всё одна порода — именно *homo sapiens*. Но вот, схватили тебя, остригли машинкой под номер ноль, заковали в кандалы и пустили по одной, строго определенной линии — вдоль по каторге. Круг наблюдений суживается, посторонние вещи меньше отвлекают внимание. Здесь, в тюрьме, есть возможность и присмотреться, и разобрать, и дать оценку: поставить всё, и самого *sapiens'a*, на свое место. Если сам не желаешь заниматься такими науками, тебя так или иначе заставят, принудят.

Среди тюремной администрации амплитуда колебания от человека до зверя очевидна до такой ясности, что можно рукой осязать. За долгие годы каторжанства пришлось видеть столько этих царевых слуг, что получается целая коллекция, отдельные экземпляры которой прямо ставят в тупик, пред ними остается только развести руками да пожать плечами.

Вот, например, помощник начальника Николаевской тюрьмы, Александр Лукич Ямов. Обыкновенный человек и лицо человечесьё, только с легким налетом чиновирика. Спокойный, ровный, грубости не заметно. Но он — тюремщик. Так сказать, крайность, загадка тюремщика. Как только он попал в тюремщики? Ясно только одно, что среди царских тюремщиков ему не место. Когда, в его дежурство, приводят к нему на расправу каторжанина, — ну, допустим, хоть обложившего в самой художественно-изысканной форме (про которую еще Гоголь сказал, что она не только веска, но и вырывается из-под самого сердца) „матом“ надзирателя, кажется, что виноват и испуган перед возможностью розог, вечно свистящих по тюрьме, не каторжанин, но именно Ямов. Ему стыдно и за каторжанина и за то, что его привели, и он, волнуясь, говорит, глядя в стол: „ну, что же, братец, ты сделал? Ведь ему казна жалованье платит, а ты его ругаешь... Ругаться нехорошо, нехорошо... Ругаются только мужики...“ — как будто к нему привели какого барина. Но убеждение и наказание уже окончились, Ямов успокоился и спокойно обращается к надзирателю: „ну что же с ним делать, человек темный... Сведите его в камеру“. Надзиратель повинуется, но такое обращение с каторжанами раздражало их очень сильно, и они всячески старались не таскать арестантов в контору во время его дежурства. Он никогда и ни за что не подвергал арестантов наказанию и не сажал их в карцер, знал одно страшное слово „нехорошо“, и это именно шокировало надзирателей. Они всегда рассуждали одинаково: „ты ему влепи, если я жалуюсь, на то и надзиратель, а то на-ко: „нехорошо“, боится он твоего „нехорошо“, как прошлогоднего снега.“

Но вот другой тип — помощник Поломожный. — Фамилия хорошо обрисовывает его: — полуидиот, с отсохшей правой рукой, вечно угрюмый, злобно смотрящий кругом, брызгающий слюной. Один взгляд на него, совершенно не зная, что это за человек, вызывает отвращение до омерзительности. Человеческого достоинства — ни капли. Конторские мальчишки глумятся над ним, издеваются, плюют ему в шапку, и он молчит, злобно молчит. И никто к нему не относится, как к человеку. Со стороны глядя, берет возмущение за человека. Наблюдая все издевательства, невольно вырвалось по адресу издевавшегося мальчика: „неприлично, ведь он — человек“. Этот мальчик, лет пятнадцати, надзирательский сын, приучавшийся к канцелярской работе, услышав нравоучение, посмотрел такими глазами, как будто увидел светопреставление, и, разобрав в чем дело, серьезно и на всю контору выпалил: „Человек! сказал же, — сволочь и больше ничего, а то — человек“...

Но взгляните на него, когда он дежурит, когда к нему приведут провинившегося арестанта, хотя бы уличенного в курении табаку. Преображение господие, да и только! Идиотская рожа вся загорается какой-то внутренней радостью, мутные глаза начинают светиться, отсохшая рука начинает плыть от радости, губы кривятся в улыбку, и изо рта, как из-под камня змея, ползет шипение: „каторжник“... Раз пять переспросит, в чем вина, и каждый раз соображает, как найти основание применить телесное

наказание. Если это ему удастся, он присутствует при нем и после, все свое дежурство ходит именинником, держа на отлете свою отсохшую правую руку, как будто приготовляясь дать пощечину. Если же старание не удается, то только и виден обиженный природой и людьми полуидиот, полусумасшедший — загоревшаяся радость угасает, глаза меркнут, и рот слюнявится. Революция удалила его на покой в его родной город Камышлов.

Все остальные разновидности тюремной администрации укладываются между двумя этими крайностями, но, без сомнения, численный перевес всегда и везде берет уклон в сторону Поломозного. Несмотря на то, что тюрьмы существовали, множились столько же веков, сколько существовало и самодержавие, ни они, ни сама жизнь, ни законы не смогли выработать настоящего тюремного администратора, который понимал бы дело и служил ему. Как во всем чиновничьем мире, так и в тюремном административные должности всегда рассматривались с точки зрения синекуриста. Безответственности и защита ее законом всегда понимались администрацией в сторону обязательности заместить на данном месте царя и бога.

Проводились, правда, тюремные реформы, но эти реформы понимались своеобразно; все они призваны были укреплять интересы самодержавия, но совершенно были чужды интересам лиц, населяющих тюрьму. По плану Главного Тюремного Управления из тюремной реформы должна была родиться не только образцовая Шлиссельбургская каторжная тюрьма, но и европейская. Нужно было сделать „нового“ начальника, старые не годились. Так попал в начальники Шлиссельбургской каторжной тюрьмы Зимберг, который, до своего назначения, был отправлен правительством, на казенный счет, в Германию для практического и теоретического изучения постановки тюремного дела. В результате и получился „европейски-образованный“ тюремщик, претворявший добытые знания в практику на островке в Шлиссельбурге. Все время своей службы он старался сохранить свою важность, но иногда не выдерживал и впадал в обычную для тюремщика линию: начинал пускать в ход русскую брань, но говорил по-русски с акцентом востонца, и получалось нечто комическое. Он чувствовал, что попадает в смешное положение, в котором теряет свою важность европейца и этим подрывает свой авторитет; поэтому к такому способу воздействия прибегал очень редко, раз или два — не больше.

В одну из смутных годин Шлиссельбурга в дни убийства Косачева, когда определенная часть каторжан направляла все свое возмущение по адресу Зимберга как начальника тюрьмы, политический каторжанин Энгельгардт выразился, что Зимберг является идеалом начальника тюрьмы. Мое мнение, что в идеале нет совсем места начальнику тюрьмы. Но нужно сказать правду, что Энгельгардт не побоялся вслух выразить то, что думали многие боявшиеся выступить публично на защиту тюремщика, чтобы их, как заступников, не заподозрили в симпатиях к существующему строю. Объективно вспоминая все события в Шлиссельбурге, мрачные и светлые, нужно признать, что самое мрачное случилось всегда в периоды, когда Зимберг пользовался

отпуском, или так, как в деле Косачева, когда он оставался в стороне. В таких случаях на его долю всегда выпадала роль или миротворца, или смягчающего нанесенные густые краски. Эту роль он выполнял блестяще. Сам Зимберг, в моменты тюремных волночек, смотрел на себя именно с такой точки зрения. Он и перед каторжанами и перед высшим начальством высказывал мнение, что, если бы в этот момент он был при исполнении служебных обязанностей, но не в отпуске, ничего подобного не случилось бы. Все свои объяснения с каторжанами в такие бурные периоды Зимберг старался вести вполне вежливо и спокойно, хотя было очень заметно, что подавить свое волнение ему стоит больших трудов. Как тонкий политик, он всегда удерживался в рамках закона и на все, что из них выходило, неизменно говорил: „ответить не могу, это незаконно“. Вежливость и спокойствие достигали своей цели, и каторжане, с своей стороны, стремились не выходить из их пределов, и конфликт сам собою смягчался, и постепенно подготавливалась почва к миру.

Зимберг старался показать себя строгим блюстителем закона и справедливым, но, как и другие русские администраторы, все же не мог скрыть желания быть всемогущим и всевластным, забывая, что эта последняя черта не только противоречит первым, но и совершенно их уничтожает. Когда мне пришлось предстать пред его начальнически очи, в несколько необычном для каторжанина положении, все эти черты он ясно выявил.

Дело было зимой. Нева замерзла, и в крепость переправлялись по льду. В день моего прибытия поднялась сильная метель. Я прошел от вокзала около сотни шагов, снег насыпался в коты и брюки сквозь разрез для кандалов. До крепости было версты полторы-две, снег выше колен, после карцера чувство валась слабость, и от пройденного охватила усталость. Для меня не было смысла выбиваться из сил в ледяной пустыне, и, не долго думая, я объявил конвойным солдатам, что я дальше не пойду, и улегся на снегу. Конвойные сперва принялись уговаривать, доказывали, что можно простудиться, когда это не помогло — начали стращать, грозить расстрелом. Всё было бесполезно — не действовали ни ласки, ни сказки, ни угрозы: терять было нечего, кроме кандалов и каторги. Еще меньше было оснований торопиться в Шлиссельбург, который я уже ненавидел. Оно, конечно, место историческое, там сидели все герои — творцы истории, но я был мелкой сошкой и невысокой культурности, и в простоте душевной предпочитал лучше убежать из самой паршивой тюрьмы, чем сидеть пятнадцать лет в самой исторической, и вполне оправдывал себя Таганцевским обоснованием исключения из Нового Уложения статьи, наказывающей побег из тюрьмы: „никто не может быть судим за естественное стремление к свободе“.

Конвойные отошли на несколько шагов и стали совещаться. Затем двое из них подошли ко мне и стали с обеих сторон, остальные исчезли. Приблизительно через полчаса, один конвойный вернулся на извозчике, меня усадили между конвойными и поехали в проклятый Шлиссельбургский исторический переплет.

Извозчик попался настоящий русский: веселый, словоохотливый. По его словам выходило, что в Шлиссельбурге уже собраны все убийцы царя и всех министров, что туда очень много гонят, но выхода ни для кого нет. За все время, как стоит Шлиссельбург, никого не выпустили. Болтая без умолку, он быстро подкатил к крепостным воротам. Остановился прямо против начальника, стоявшего у ворот с надзирателем.

— „Почему на извозчике?“—был первый вопрос Зимберга.

— „Итти не захотел, ваше высокоблагородие“,—отрезал по военному конвойный.

— „Не забывайся,—начал поучение начальник,—здесь Шлиссельбург, а не воля. Здесь—закон, я—строг. У меня в первый раз—карцер тридцать суток, второй—пуля в лоб. Буду знать я да Невские волны“.

Я молчал, да и говорить было нечего. Что такое карцер, я уже знал не хуже, но лучше Зимберга, видал и пули. После оказалось, что такой прием был для всех, у кого в сопроводительных бумагах было написано „поведения скверного“.

При расправах с каторжанами Зимберг всегда творил нечто вроде суда: допрашивал обвиняемого, свидетелей—надзирателей, в редких случаях и каторжан, как в пользу обвинения, так и со стороны защиты, и потом объявлял приговор, почти всегда обвинительный: оправдания касались или ангелов во плоти, или имеющих на воле солидных и важных родственников. Определенные им наказания всегда зависели не от важности проступка, но от числа „судимостей“ и от корпуса, в котором совершен проступок. Так, за одно и то же, например, пение песен в четвертом корпусе можно было получить только семь суток, во втором же—от трех недель до 30 суток. В первый раз карцер за несвоевременное поднятие, по свистку, койки—семь суток, а в третий или четвертый—две-три недели.

„Европеец“ Зимберг не чужд был даже и науки. Всю свою службу он собирал материал и готовился написать книгу о каторжанской психологии. Его научный труд не увидел света, неизвестно даже, насколько он подвинулся дальше намерении приступить к нему. Известно только, что сама каторжанская психология наложила на самого Зимберга свои черты. Он частенько в своем начальническом кабинете, так же как и каторжане в камерах, болал осторожно иголкой спички на две половинки, чтобы сократить расходы и, по мере сил, уклониться от полной уплаты акцизного сбора на спички. Но что вышло бы из этого научного труда, можно судить по тому факту, что в одном из номеров „Вестника Главного Тюремного Управления“, в котором сотрудничали, пожалуй, более крупные научно-тюремные силы, был помещен рисунок арестантской тюремной зажигалки из стальной пуговицы. Рисунок изображал чиновника, растянувшего на пальцах нитку, и под рисунком было напечатано черным по белому:

„Жужжалка—забава арестантская“.

Ни одному олуху в редакции „Вестника“ не пришла в голову мысль, что подобная забава арестанту так же нужна, как мертвому кадилу. Такую

забаву администрация часто отбирала при тюремных обысках, и, когда один каторжанин потребовал у дежурного помощника „драчилку“, как их называли арестанты, так тот и не понял, в чем дело; потребовалось объяснение, которому властитель не поверил, что пуговицей на нитке можно закурить. После демонстрации он долго ее рассматривал и вывел заключение, что „умно придумано“, и возвратил хозяину уже как вещь легальную, необходимую и полезную в хозяйстве курящего каторжанина. Ее задача, у каторжан, была — сэкономить в год 40 — 50 копеек на камеру, но не забава.

Во времена отпусков Зимберга его должность исполнял Агафонов, прямая его противоположность — грубый, нахальный; говорили, что он из студентов, но все его обличье говорило, что это скотина в полном смысле слова, понимающая только неограниченность своей власти. Все шлиссельбургские порки были проведены им и по его распоряжениям. Не брезгал он и прямым издевательством при посадках в карцер, всячески стараясь унижить и дать почувствовать каторжанину, что его за человека не считают. В такие дни, когда в Шлиссельбурге начальствовал Агафонов, от худших и постоянных безобразий спасала каторжан только близость Петербурга, благодаря чему был порядочный риск попасть на столбцы столичных газет. Про Агафопова, как и про помощников Ключкова и Талалаева, можно сказать, что это были настоящие садисты, и их болезнь сильно отражалась на подвергавшихся истязанию каторжанах. Ключков особенно свирепствовал после дней, в которые его постигли неудачи в городском клубе.

Лучшим из всех помощников начальника был без сомнения Липченко, заведующий хозяйственной частью. Он всегда был поглощен заботой, как бы накормить каторжан отпускаемыми скудными крохами, и в его бытность надзиратели крали меньше всего арестантских продуктов. В обращении с каторжанами Липченко был предупредителен и вполне сносен.

Довольно курьезным был князь Гурамов, придурковатый и любивший, когда его величали „ваше сиятельство“. Когда обращались к нему, титулуя „сиятельство“, он совершенно не замечал, что каторжане над ним смеются и устраивают разные опыты. Чтобы посмотреть, что из князя выйдет, один обращается к нему:

— Ваше сиятельство, позвольте выписать самоучитель православного языка.

Князь останавливается, закрывает глаза и экзаменует.

— Твое образование?

— Сельскую школу кончил, ваше сиятельство.

— Выпиши, разрешаю.

Проходит дня три-четыре, тот же тип продолжает.

— Ваше сиятельство, в книжных каталогах нет самоучителей православного языка.

— Хорошо, я сам посмотрю, я сам найду, — заключает князь и через день, убедившись, что ни в одном каталоге нет ничего подобного, объявляет просителю:

— Самоучителя православного языка нет, но есть грамматика церковно-славянского, если желаешь — выпиши, это все равно.

— Никак нет, ваше сиятельство, это не то.

Но раз ему пришлось уплатить за свою глупость и налог.

Перед праздниками Рождества и Пасхи каторжанам разрешалось истратить на покупку пищевых продуктов на один рубль больше, чем в обычное время. И князь объявляет:

— Кто имеет деньги, по случаю праздника, может сделать выписку на два рубля пятьдесят копеек, вместо полутора рублей.

Он любитесь своим начальническим голосом и тоном, глаза полузакрыты, как будто рассматривает кончик сиятельного носа, — и начинает поворачиваться к выходу из камеры. Но в этот момент, продувной цыган, от роду сидящий в тюрьме и никогда не имевший ни копейки денег, кричит:

— Ваше сиятельство, а у кого нет, тому на сколько?

Сиятельство задумывается, останавливается и повелительно изрекает:

— На два рубля. Отделенный, дайте ему лавочный листок.

Поворачивается оксичательно и, с сознанием выполненного долга, важно и чинно выплывает из камеры, нисколько не теряя своего княжеского достоинства.

Цыган Клейн берет листок, выписывает, чего желает арестантско-цыганская душа на целых два рубля, и пробует учесть, что выйдет из всей этой комедии.

Продукты принесли и роздали. Листки с распиской в получении сдали в контору, и там начинается вычет по книгам. Конечно обнаруживается, что у Клейна нет и не было ни копейки. Начинается следствие о мошенничестве Клейна, но он стоит на одном, что ему разрешил князь, и выставляет свидетеля отделенного надзирателя, который и подтверждает показание цыгана. Докладывают „его сиятельству“ и тащат к нему Клейна.

— Как было дело, объясни.

— Ваше сиятельство, при отделенном, когда я спросил у нашего сиятельства, на сколько выписать которые денег не имеют, и ваше сиятельство разрешили на два рубля, спросите отделенного, ваше сиятельство.

Отделенный, не ожидая вопроса, подтверждает: так точно, ваше сиятельство приказали дать листок.

Сбитый с толку князь, хотя и морщится, но лавочнику два рубля за Клейна платит, обещая взыскать их с Клейна, когда тот получит деньги из дома. В этом отношении Клейн уже совсем гарантирован, ему не только не прищипут, но и дома самого не существует. Клейн ликует, что удалось обложить налогом князя, а не называть, как другие, „его сиятельством“ — совершенно бесплатно. Любишь, так и плати.

От поры до поры на шлиссельбургском горизонте появлялись герои, считавшие себя призванными сделать всех каторжан послушными воле начальства. Из таких были Любенецкий, которому уделим несколько слов в своем месте, да еще писарек орловской тюрьмы, получивший назначение помощ-

*

ником в Шлиссельбург, Скосырев. Этот фрукт явился в мундирчике прямо с иголки, но уже с определенной силой. Явившись на карантинное отделение, где уже утвердился республиканский строй и не все камеры строились на поверку, но только приветствовали, он, увидев такое распутство, возмущился духом и за себя и за новый мундир. На его приветствие никто не ответил, и он спросил у сопровождавшего отделенного, что, мол, за каторжане.

— Не признают тюремного режима,—ответил отделенный.

— А, не признают, ладно, я их в три дня выучу признавать, у нас в Орле, не таких видали.

Повернулся и ушел.

В нашей, седьмой камере, как на грех, собралась одна мелочь — трое и ни одной солидной фигуры, если не считать солидностью густую бороду Страфуна. Однако, событие заинтересовало всех, строили догадки, как Скосырев начнет выучку. Но в следующее дежурство он уже не заходил в камеру, мелькнули его нос да широкий верх фуражки и беззвучно исчезли. Очевидно, он почувствовал себя слабым к учительскому призванию, и скоро исчез с горизонта.

Много было проявлено администрацией в тюрьмах храбрости и героизма при боях, порках и издевательствах над каторжанами. Порою казалось, что и героизм и храбрость не имеют пределов, что обладатели их совершенно изжили чувство страха, что и в грозную минуту для их жизни ни один из них и глазом не моргнет, что он неустрашимо пойдет и в огонь и в воду. Но все это было напускное, и героизм и храбрость. Судьба, вернее — революция, столкнула меня с одним из таких героев в другой обстановке, где пред ним не было уже скованных по рукам и ногам каторжников и по бокам не стояли ретивые надзиратели с револьверами и кулаками наготове, чтобы в случае надобности, броситься на выручку тюремного героя.

Сидел я на шестнадцатом коридоре, в тридцать пятой камере Бутырской тюрьмы, и мирно беседовал с камерным старостой Алексеевым. Открывается камера, и вваливаются три новичка, среди них одна до-нельзя знакомая и памятная рожа, даже глазам не верилось.

— Староста, смотрите, к нам орловского тюремщика Анненкова посадили.

— Не может быть. Сейчас узнаем...

— Эй, новички, пожалуйста к старосте в список записаться.

Подходит и Анненков, френч, галифе — честь-честью и называет себя Владимир Алексеевич Анненков. Староста спросил, не офицер ли он. Нет, но он комиссар юстиции Дмитровского уезда. Почему арестован — не знает.

— А меня узнаете? — спрашиваю я, а самого охватывает желание перервать ему горло.

Посмотрел внимательно.

— Извините, не припомню, а ваша фамилия?

Называю фамилию. Не помогает.

— Вспомните-ка Орловский Централ, карпера.

Герой бледнеет, но вспомнить не может. Помогаю:

— Что ж, я не один побыл в ваших руках, не мудрено и забыть, а когда были, тогда и фамилии не спрашивали. Объясняю, что сидел в одиночке один день, а шесть дней учил в карцере, на день же седьмой, как в библии, отправили на отдых на старое пепелище.

Герой совершенно растерялся и сразу сказал, что арестован по подозрению в избении политических, но он не виноват совсем. Это другие виновны, и надзиратель Закордонный, который его оговаривает...

— Бросьте дурака валять, скажите лучше, что и самому Дзержинскому спуску не дали...

— А разве он у нас был? уж ляская зубами спрашивает храбрёк, — что же мне будет, когда он узнает?

— Что ж — око за око, и два зуба вон — понятно?

Этот герой после такого откровенного разговора был так беспомощно жалок, что пропало всякое желание перерывать ему горло.

Ментально исчезла стройность геройской фигуры, черные закрученные усы разгуглились и опустились книзу, весь как-то согнулся, стал и ниже и меньше.

Вечером улегся на койку, укрылся одеялом с головой; в тишине слышались всхлипывания, да ясный шепот „господи, спаси и помилуй“, раздававшийся все чаще и громче, пока сосед не одернул: брось, не поможет. Через неделю черный, как жук, Анненков, стал седым...

Надзор — надзиратели всех рангов, — также имел разные оттенки человечности и зверя, как и администрация. Из бесед с ними „по душам“ можно понять, что это все „народ“ с одной стороны дальновидный, с другой — отбившийся от труда и приобретший к нему презрительное отношение. Все они вербовались из выходящих в запас солдат, был даже циркуляр, рекомендовавший отдавать предпочтение гвардейцам и унтер-офицерам. Большинство из них учитывало возможность войны и мобилизации и шло в надзиратели как на должности, гарантирующие от такой возможности. Меньшая часть признавалась прямо, что отвыкла, за военную службу, от крестьянской работы и не хотела идти в деревню. Все они при поступлении в надзиратели обязывались подпиской „исполнять приказания начальника беспрекословно, чего бы они ни касались“. Таким образом заранее обеспечивался кадр для могущих быть порок и избений. Большая часть надзирателей, конечно, была наемниками, и за получаемые 25 рублей они пороли и стреляли так же без рассуждений, как без рассуждений подавали в церкви попу кадило или раздували в нем гаснущий уголь. Но меньшая часть, безусловно, была палачами по призванию. Эти всегда искали случая, чтобы придаться к заключенным к произвести ту или иную расправу. Исполняли всё со рвением, особенно проявляя усердие на глазах начальства. Наиболее яркими представителями этого типа были Плечкайтис, Салов, Анжилов и Потапов.

Нелегко было положение рядовых надзирателей, когда они, думая отличиться перед начальством, писали начальнику записки о проступках каторжан. В таких случаях им приходилось выступать перед начальником

в качестве обвинителя, они робели перед начальством и начинали путаться. У каторжан этой робости не бывало, да и словами они забивали надзирателей. Пока окончится начальнический суд, надзиратель весь вспотеет и чувствует себя посрамленным. После одного опыта, он уже не затрагивает речистых. Но самая тяжесть для него начинается, когда осужденный вернется из карцера и публично начинает подтрунивать над „ментом“, как тот дрожал перед начальством. Такие сцены всегда были очень смешны, и надзиратель всячески старался улизнуть „от позора“.

Долголетняя тюремная служба, постоянная и беспрекословная зависимость от старших и начальников, на многих надзирателей наложили свои специфические черты и сделали их совершенно неспособными к иной жизни. Им и после революции пришлось продолжать свое прежнее ремесло. Но не только пожилые, даже молодые очень крепко держались за службу в тюрьме. Угроза увольнения, особенно во время войны, была со стороны начальника тюрьмы лучшим средством борьбы против слишком нахальных враж надзирателями казенного имущества. Стоило кому-нибудь из них попасться на краже и быть отправленному в распоряжение воинского начальника, как систематическая кража совершенно затихала на некоторое время, в арестантский котел отпускаемые продукты клались полностью, в пейзаже появлялись новые коты и т. д. А там, опять, по Некрасову:

Что-нибудь у двора стянет...

Если плохо положили, — стало не запрет...

В краже продуктов особенно отличался Анжилов, его поймали с пудом мяса и прочим, вплоть до пуда перца в зернах. Однако, вероятно, для сохранения надзирательского авторитета, за кражи редко увольняли, обыкновенно ограничивались переводом на другую работу или на пониженный оклад.

Озлобление у каторжан против палачей было довольно сильное, но всё же каторжане не оказались злопамятными. Стоило только революции открыть тюремные ворота, как всё прошлое, и битие и порка, было забыто. Каторжане оказались больше людьми, чем стерегущие их и начальствующие над ними.

Всякая тварь попадала на пути, и, чтобы разобраться в ней, ее специально нужно изучать: но и без этого всё же ясно, что зверья больше, чем людей...

IV.

Тюремные врачи.

С медициной Шлиссельбургу не везло. Даже трудно сказать, что потребовало от каторжан больше жертв: борьба ли за установление мало-мальски сносных человеческих условий бытия, или же борьба за сносную постановку дела медицинской помощи. Ясно только одно, что неудовлетворительная постановка этого дела очень сильно отражалась на издерганных нервах каторжан.

Тюремный врач, это — тип заправского чиновника, надежный подручный начальника тюрьмы и его защитник. Он существует больше как оправда-

тельный документ начальству и для гарантии начальства от различных возможностей переборщить за пределы прокурорской черты.

Первый врач Шлиссельбургской каторжной тюрьмы, Калашников, был чем-то бесцветным и безличным; пользы от него для больных было столько же, сколько и от влияния лунного света. Зато сменивший его Шерман, несмотря на свою ничтожную, вечно грязноватую, обтрепанную фигуру, проявил себя настоящим тюремщиком и довел дело до трагической развязки.

Шерман, невысокий, седой старикашка, с обвислыми усами, в фуражке с кантом тюремного ведомства, по виду был забытым провинциальным чиновником, привыкшим за свое долгое служение смотреть вверх с умилением и готовностью. Определить его профессию по наружности не было никакой возможности — можно было допустить всё: что он или чиновник, или маркер забытого трактира, но только нельзя было предположить, что он обладает медицинском дипломом и имеет штатное место врача. Однако, он знал себе цену и вниз смотрел совершенно иначе. Он был горд своей силой, своей властью и своей грошевой кокардой „со столбом и вороной“, как выражались каторжане. Один изгляд на него в такую минуту вполне объяснял его отношение к больным, и было бы удивительно, если бы он относился к ним иначе.

Не нужно забывать, что в каторжных центрах вообще и в особенности в Шлиссельбурге — работой была занята сравнительно небольшая часть каторжан, да и та шла работать не только по личному согласию, но всегда по усиленным индивидуальным просьбам, сопровождавшимся почти всегда рекомендациями или поддержкой ходатайств, уже работающими и зарекомендовавшими себя перед начальством как элемент вполне благонадежный. Поэтому не было никаких оснований подозревать в обращении к медицине симуляции. Все обращения были искренни, хотя среди больных и был некоторый процент больных больше на почве мнительности, которая питалась полной праздношью.

Тюремные врачи шермановского типа никогда не посещали камер и не имели представления о состоянии тюрьмы и о жизни заключенных. Порядок общения с медициной был таков, что на утренней поверке больной просил старшего надзирателя записать его к фельдшеру, который являлся на коридор и вызывал из камер записавшихся. Здесь производилось всегда только словесное обследование больного путем опроса, безразлично, жаловался ли пациент на какую-нибудь болезнь или просил вызвать к врачу. Все зависело от настроения фельдшера, заблагорассудится ему — запишет к врачу, нет — пришлет каких-нибудь классических индифферентных порошков.

Часов в одиннадцать—двенадцать начинают водить к врачу записанных фельдшером. Надзиратель, сопровождавший больных, вызывает в кабинет врача по порядку и вызванного всегда останавливал на пороге кабинета, где и начиналось лечение.

Первым вопросом врача обычно выяснялась фамилия больного, но так как она в большинстве случаев не могла ничего сказать ни уму, ни сердцу врача, то этот вопрос быстро сменялся коротким и внушительным, но решающим

всё грядущее: „кто“. От ответа зависело дальнейшее обращение и само лечение. Если пациент отвечал, что он студент, учитель или тому подобный, только обязательно интеллигентной профессии, ему сейчас же предлагалось садиться, первые безличные вопросы быстро переходили на „вы“, уделялось некоторое внимание повествованию о болезни, но все же исследование было довольно поверхностно, хотя в ход пускались и выстукивание, и специальная трубка. Если же пациент, не зная психологии врача, в простоте душевной отвечал, что он рабочий или земледелец, следовало обращение на „ты“ и исследование начиналось на расстоянии. Стоя у двери, больной показывал сидищему за столом, у противоположной стены, врачу язык и другие части тела, где он ощущал болезненное состояние. Все оканчивалось быстро и решительно: „пустяки“, „представляешься“. В лучшем случае оканчивалось теми же порошками, в худшем, при утверждении болезненности и противоричии врачу — карцером.

Результатом такого врачебного метода было то, что интеллигенция стеснялась перед своими товарищами по каторге обращаться за медицинской помощью. Масса же просто избегала и только копила озлобление.

Дошло дело до таких случаев. В первой камере второго корпуса сидел литовец Бернатос. Ему на вид было больше сорока, хотя на самом деле он был значительно моложе. Бернатос давно уже харкал кровью, да и лицо говорило, что легочный процесс перешагнул за вторую половину. Он слабел с каждым днем. Сделав одно или два недавних никакого результата обращений к Шерману, он махнул на всё рукою и стал готовиться на „Ладожский этап“.

„Ладожский этап“ в переводе с тюремного Шлиссельбургского языка на русский значило — смерть от чахотки. Весною, когда вниз по красавице Неве трогался лед с Ладожского озера, и осенью, когда плыло из него так называемое сало, — туберкулезные больные умпкали пачками и их, заключенных в тесовые некрашенные гробы, возили в лодке на тюремное кладбище вслед за уплывающими и тающими льдинами. Такое совпадение различных по существу движений в арестантском представлении объединилось в одно понятие движения — этап. Вне этапа для арестанта нет никакого движения, без этапа — он прикован к одному месту. Этап — движение, но куда — безразлично.

Сидевшие в камере еще человек десять вполне были согласны со сборами Бернатоса, но, когда он перестал вставать, начали поговаривать о необходимости для камеры принести к нему на помощь. Тем более, что Бернатос не имел врачебной записки на право дневного пользования койкой и ежеминутно раздражался требованиями отдельного надзирателя, Колобова, поднять койку и не лежать на ней днем, в непоказанное время. В одно прекрасное утро камера потребовала врача; явился фельдшер для разведки, но узнав, что оно касается Бернатоса, объявил, что врач не придет: „он знает о нем, что не так болен, как притворяется“. Такой ответ возмутил сокамерников, но возмущение достигло своей высшей точки, когда Колобов стал категори-

чески требовать от Бернатоса встать и поднять койку, угрожая послать в карцер. Сокамерники хорошо знали положение больного, подняли недвусмысленный гвалт, с намерением выбросить из камеры отделенного, и предъявили новое требование немедленного вызова в камеру начальника или дежурного помощника его. Явился помощник Тешнер и приступил к обследованию Бернатоса. Этот бывший полицейский становой пристав, привыкший „мутить“ сотских, десятских да мелких жуликов, по отношению к каторжанам всегда держал себя корректно и теперь, внимательно осмотрев больного, даже заглянув ему под рубаху, признал его действительно больным. По его распоряжению четверо каторжан переложили Бернатоса с койкой на одеяло и, в сопровождении Тешнера, стащили в больницу и водворили в палату, где он и умер через неделю.

Этот случай решил участь Шермана. Заработали тюремный телеграф и почта. Злоба переполнила чашу терпения и начала расплескиваться, пока, наконец, не захлестнула мизерного целителя каторжанских телес.

В Шлиссельбургской тюрьме, несмотря на то, что она вся окружена водою, не было ни одной сырой камеры; только в десятом карцере четвертого корпуса наружная стена была сырая, и с нее постоянно стекала вода, образуя на цементном полу довольно значительные лужи. Воздух на острове был сухой, зловонный. И, однако, среди заключенных был очень высокий процент, перевавший за 70, подозрительных по туберкулезу.

Во времена Шермана с резко выраженным процессом было человек 60. Все они только цеплялись за жизнь, но уже окончательно были приговорены к Ладожскому этапу. Из них до десятка уже находились на последней станции — в больницу, остальные были разбросаны по общим камерам. Кроме этой партии в тех же камерах было столько же, если не больше, с легочным процессом, выраженным менее резко, но все же вполне достаточно и ясно даже для наружного наблюдения. Лечение они, кроме порошков да жиденькой микстуры пекторалиса, никакого не получали. Ничего не предпринималось ни для их облегчения, ни для ограждения от возможного заражения остальных. Все было предано — по характерному выражению царских манифестов — в руки божии.“

Высокий процент легочных больных частью объясняется тем, что только четвертый корпус имел сравнительно сносную, но все же недостаточную вентиляцию, в то время как первый и второй были совершенно лишены ее. Вентиляция третьего корпуса не прочищалась со дня его постройки в восьмидесятих годах и совершенно упразднилась, забитая пылью и мусором. Бесспорно, влияло на заражение смещение в камерах больных и здоровых. Не малую роль играла и недостаточность движений на свежем воздухе, на прогулках. Большой процент заболеваемости давали мастерские, в особенности ткацкие, где станки стояли так тесно, как только допускало место, и где пыль носилась целыми тучами.

Эти причины заболеваемости можно вполне назвать стезею мирных каторжан. Был еще один путь поймать коховский бацилл, но это путь уже

боевой — путь тюремных бойцов, волынщиков и бунтарей. Такая серия каторжан была немногочисленна, и администрация знала ее наперечет. Все они испытали на себе башенные карцеры. А что это за карцеры — известно: ни окошек, ни дверей, и повернуться негде. Они не отделялись и не вычищались со времен Петра Великого. Более подробно о них скажем в своем месте, теперь достаточно указать, что просидеть в них, с небольшими промежутками, два-три месяца было вполне достаточно, чтобы получить или катар желудка, как умерший Куражев, или туберкулез, как Аснин, анархист, впоследствии убитый на даче Дурново, или то и другое вместе, как у Кондрашенкова, который к тому же стал слепнуть. Большое значение для этой группы имел и приказ начальника тюрьмы врачу ни в коем случае, после карпера, никого из них не брать в больницу, чтобы не дать возможности надомленному организму немного оправиться на больничной пище, сравнительно более питательной, чем общая, в камерах.

Кроме туберкулеза сильно распространились катаральные заболевания желудка и ревматизм. Преобладание кислот в пище и хлебе спасало только от цинготных заболеваний, почти не прекращающихся в других тюрьмах, но оно же было и причиной массового катара. Серьезного и специального лечения ни для одной болезни не было: все пробаивались порошками, микстурами да всепасающим иодом. Понятно, что каждое серьезное заболевание рассматривалось каторжанами как обречение, назначение на „ладожский этап“.

С одной стороны, отсутствие помощи — с другой — совершенно неврачебное обращение с больными Шермана подготовили почву для выделения из сотни больных его ликвидатора. В среде чахоточных агитация против врача приняла самое активное направление, и предложение воздействовать на него бойкотом все они считали недостижимым цели. Из их рядов выделился Крамбах, отбывавший наказание за вооруженное восстание в Прибалтийском крае и заболевший в тюрьме туберкулезом. Крамбах обзавелся самодельным ножом и направился к Шерману. После краткого разговора, вызвавшего обычные грубость и насилие со стороны Шермана, Крамбах нанес ему в шею три раны, от которых врач и упал на пол. Сопровождавший Крамбаха надзиратель выстрелил из браунинга в нападавшего несколько раз, но, очевидно, и браунинг стал на сторону больных против врача: все пули застряли в дуле. Крамбах остался невредим. Подскочил фельдшер и с помощью надзирателя сбили с ног истителя и оттащили его в карцер. Раненого Шермана на носилках унесли на его квартиру, в городе. Больше в пределах Шлиссельбургской крепости он не появлялся. Он выздоровел и занял место уездного врача в Шлиссельбургском земстве.

На смену Шермана появился Аксенов, такого же роста, но упитанный на славу, весь красный, в чистых воротничках и манжетах. Этот уже не был типом провинциального чиновника, но, по наружному виду, не был и врачом, это был скорее всего приказчик из столичной первоклассной колбасной: прилизанный, причесанный, юркий, многообещающий и многословный, вполне способный „втирать очки“ неопытным покупателям. Ему удалось с первых

дней шуточками и фамильярностью привлечь к себе симпатию части заключенных, в особенности среди мирных обывателей четвертого корпуса, но уже через месяц после его появления ходила по рукам „сатира“, дававшая точный его портрет:

Вот он весь как налитой,
Весь здоровьем пышет,
А попросит что больноЙ,
От совсем не слышит...

И правда, уже в течение второго месяца несколько больных, обращавшихся к нему, попали вместо больницы в карцер. Такой оборот, когда общий подъем духа, вызванный победой Крамбаха, еще не испарился, создал очень благоприятную почву для борьбы с Аксеновым. Решено было провести массовый бойкот, который начался очень дружно. Все порошки и пузырьки выбросили из камер, обращение к врачу и фельшерам совершенно прекратилось. С этим совпал как раз случай с каторжанином Биркиным. У него были открытые злокачественные раны и его исключили из бойкотирующих в виду необходимости постоянных перевязок. Однажды он что-то мастерил в камере и вместо молотка работал стержнем оконного шпингалета. В этот момент его вызвали на коридор, и он, не долго думая, заправил стержень за пояс брюк да так и отправился на перевязку. В больнице его обыскали, нашли оружие, и хотя оно было четырех вершков длиною и не больше трех восьмью дюйма толщиной, совершенно тупое, истолковали как покушение на жизнь Аксенова. Все объяснения Биркина, что ничего подобного не было, что им не убьешь и воробья, не помогли, — покушавшегося водлорили в карцер. Из случая Аксенов вывел заключение, что бойкот перешел границу шутки. В поисках спасения врач напал на мысль завоевать симпатии интеллигенции. Для этой цели он повадился в третий корпус, где, как казалось начальству, собрался самый интеллигентный и активный элемент только что закончившегося тюремного протеста. При посещении отдельных камер, он спрашивал „не больны ли“ и при малейшей заминке опрашиваемого немедленно прописывал больничную пищу в камеру, чего при Шермане совершенно не допускалось. Но и этот ход был бесполезен — от больничной пищи отказывались. Только один анархист, Гейсман, согласился получать пищу, но зато сам попал под бойкот и с этим бойкотом ушел из тюрьмы на поселение, не примирившись с товарищами.

Дружный бойкот оказался очень успешным. Аксенов пробыл в Шлиссельбургской тюрьме только три месяца и ушел на службу в Шлиссельбургское земство, принимавшее форму помойки для собирания тюремных отбросов. Туберкулезных больных разослали из Шлиссельбурга по другим тюрьмам и, частью, на юг в Херсонскую и Николаевскую.

На место Аксенова привезли из Смоленской тюрьмы врача Эйхгольца, высокого немца, сильно либеральничавшего, пописывавшего по вопросам антропологии.

Свою карьеру в Шлиссельбурге Эйхгольц начал тем, что потрудился узнать от самих заключенных их желания. Ему было сказано ясно, что никаких желаний нет, кроме одного, чтобы больница была больницей, но не тюремным застенком и преддверием карцеров. Эйхгольц обещал поставить больницу в независимое от начальника положение и частично обещание выполнил, хотя в последующие годы и стал склоняться в сторону начальства. Виною этому, пожалуй, была война, когда ему хотелось стать или казаться больше русским. Понятие же „русский“ у начальства и всех соприкасавшихся с ним никогда не отделилось от признания священной неприкосновенности кнута и ежовых рукавиц. И всё же сделанное Эйхгольцем для каторжан, в первый год его работы, имело громаднейшее значение, и понятно, почему так много ему прощалось в последующие годы.

Много заключенных, благодаря помощи врача Эйхгольца, сохранили свое здоровье и вышли из тюрьмы живыми; многие под тем или иным предлогом, из окончивших кандалный срок и часть даже неокончивших, через него избавились от носки кандалов. Но в заслугу Эйхгольцу нужно поставить не эту работу, а деятельность его по улучшению положения каторжан в общей массе. Вскоре по прибытии в Шлиссельбург он познакомился с матерью осужденного по делу взрыва столыпинской дачи Владимира Осиповича Лихтенштадта и вместе с нею организовал сборы среди либеральной буржуазии. На собранные деньги они закупили большими партиями рыбий жир, которым буквально поили заключенных, что быстро возместило недостаточность питания. Результаты сказались очень быстро. В то время как при Калашникове, Шермане и Аксенове умирало ежегодно не меньше сотни на тысячу, когда не проходило ни одной недели без покойника, но были даже недели и тремя умершими, в Эйхгольцевскую эпоху смертность быстро упала. За январь—сентябрь, то-есть за три четверти года, умерло 57 человек, за октябрь—декабрь умерло только 9, следующий год дал только 26 смертных случаев.

Однако и при Эйхгольце больница не перестала быть застенком, хотя роль заплочных дел мастера перешла при нем из рук медицинского персонала в руки подлинных тюремщиков-надзирателей. Так, сумасшедших продолжали помещать в изолятор, помещавшийся в первом этаже первого корпуса и находившийся в одних условиях с карцерами. Первые дни по водворении в него больной не предъявлялся врачу, но надзиратели собственно-ручно и по своим методам производили экспертизу: что представляет данный случай — настоящее сумасшествие или только симуляцию. В этом деле особенно отличались старший надзиратель Плечкайтис и надзиратели Анжилов, Потапов, Салов, Михайлов и Ребоне. Обыкновенно испытание производилось боем до потери сознания, и потом отливали холодной водой. Если больной после этого не входил в свой ум, то, по излечении признаков побоев, представлялся врачу, который и направлял его в психиатрическую лечебницу.

Знало ли об этих испытаниях начальство, сказать трудно. Сам Зимберг отпирался. Был такой случай. Один максималист с Шостенских пороховых заводов, Петр Михайлович Доценко, заметно стал призадумываться и, в конце-

концов, объявил себя губернатором. Дегина-гвардеец, красавец собою, начал буйствовать и требовать к себе отношения, какое полагается губернатору. В результате — изолятор.

Заразное отделение в эти дни цукалось на прогулку после ужина, перед вечерней прогулкой. Находившиеся на прогулке видели, как прошли туда Плечкайтис, Анжилов и Ребоне; видели, как Ребоне закрывал окна, выходящие из изолятора на прогулочный двор. Через несколько минут, несмотря на закрытые окна, слышались оттуда нечеловеческие вопли, продолжавшиеся минут десять-пятнадцать. Затем все стихло, лишь кандалы гуляющих пели свои печальные песни.

Троица снова выходит на двор: Плечкайтис вытирает носовым платком пот со лба, снявши фуражку; Анжилов приправляет оторванный у мундира лацкан, а Ребоне стоит и спокойно смотрит на гуляющих, как будто ничего не случилось.

Это событие было записано в тетрадь, и запись при просмотре тетрадей обнаружил помощник начальника Кириллов. Зимберг вызвал к себе в кабинет хозяина тетради и потребовал объяснения мало понятной записи и связи между нею и именами трех надзирателей. На заявление заключенного, что записан факт, совершившийся на глазах у десятка каторжан и прогулочного надзирателя, такого же палача Потапова, о котором, вероятно, известно и начальнику, — Зимберг дает честное слово, что ему ничего неизвестно. После длинных объяснений Зимберг снова говорит, что он ничего не знает и что ничего подобного не подозревал, обещает произвести проверку и грозит, если окажется вымысел, посадить „бытописателя“ в карцер, а тетрадь конфискует и направит на хранение в цейхгауз. Бытописатель в карцере не был. После революции этого листа в тетради не оказалось, но надпись Кириллова говорит, что лист за номером таким-то „вырезан по распоряжению господина начальника“. Так и осталось тайной, знал ли Зимберг о битье сумасшедших или не знал, и только замет следы изъятием листа.

Доценку скоро отправили в Вилейку. Там его видели в отделении буйно-помешанных, совершенно обезумевшего. Говорили через полгода, что он умер в Вилейке, губернатором...

Били не только сумасшедших, но били и просто больных, пока одного совсем не убили. Это убийство — самое мрачное пятно на больнице во всей эйхгольцевской эпохе.

Босачев, человек саженного роста, отбывал наказание за убийство двух стражников при попытке арестовать его. Убийство чинов тюремного надзора, полицейской стражи и т. п. в глазах тюремных надзирателей вообще не было равноценным другим видам убийств. Так, даже отцеубийцы для них были всё же людьми; с ними они разговаривали, как с равными себе. Совсем иное отношение было к убийцам стражников и надзирателей. С ними уже не было разговоров по душам. При каждом удобном и неудобном случае их первых стремились отправить в карцер или пырнуть „под мизинчик“, и такому преступнику было довольно опасно очутиться с глазу на глаз с надзирателями.

Несмотря на богатырское телосложение, Косачева стало лихорадить: что такое с ним, из каторжан никто не понимал, но когда он обратился к фельдшеру, тот нашел у него температуру свыше 39 и немедленно поместил в больницу. Прошло дня три-четыре, из больницы сообщили, что с Косачевым всё благополучно. И вдруг на следующий день, 20 декабря 1913 года, сразу два сообщения, одно — Косачев умер, и больше ни слова. Другое, от больничного служителя, каторжанина из фельдшеров: Косачев убит, и опять ни слова больше. Но перед обедом, наконец, пришло более подробное известие, и картина обрисовалась вполне.

Перед утренней проверкой Косачев почувствовал себя неважно и постучал в дверь с целью вызвать дежурного фельдшера. Надзиратель Михеев открыл палату; на коридоре, кроме него, стояли отделенный Фирсов и замечавший старшего Александров. Михеев, выслушав Косачева, сказал „выходи“ и, как только тот переступил одной ногой через порог, захлопнул со всего размаха тяжелую, окованную железом дверь. Косачев оказался прихлопнутым, одна половина была в палате, другая вместе с головою за дверью, на коридоре. Раздается несколько ударов по телу, дверь открывается, и Косачев исчезает на коридоре; палата закрывается, слышны снова удары и стоны. Спустя несколько минут дверь снова открывается, Косачев буквально влетает в палату, падает сразмаху, во весь рост, на пол, произносит: „убили палачи“ и теряет сознание. Из раны за правым ухом течет кровь жиденькой струйкой.

Когда пришел в палату каторжанин-фельдшер Ковалев, Косачев был уже мертв. Ковалев осмотрел рану, поднял рубашку, и на спине у Косачева все находившиеся в палате увидели кровоподтек, тянувшийся от шеи до пояса шириною в вершок. Всё это и было записано Ковалевым в скорбный листок.

Происшествие через несколько часов было известно уже всей тюрьме. Каторжане заговорили, возбуждение росло, администрация забегала. Скорбный листок — с надписью Ковалева — исчез; сам Ковалев очутился в карцере. Начальник тюрьмы вызвал к себе Лихтенштадта и уверял, что ничего не случилось: Косачев умер скоропостижно, что будет доказано вскрытием трупа, в присутствии каторжанского делегата. Доктор Эйхгольц вызвал Энгельгардта и стал доказывать, что политическим, не признающим царской власти, совершенно недопустимо требовать предания виновных царскому суду. Всё так завертелось, так всех ошеломило, что никто не знал, что именно нужно делать — растерянность среди каторжан, растерянность среди администрации. В этот день во всем шлиссельбургском центре ничего, кроме растерянности, не было.

Следствие производил сам начальник Зимберг, кто и что показывал, никто не знал. Было только известно, что каторжанин Берзин показал в пользу надзирателей, что каторжанин Шамин не слышал слов Косачева „убили палачи“. Было бы удивительно, если бы он их услышал, так как Шамин был глух. На вскрытие пригласили двух делегатов, Шамина и еще одного. Эйхгольц от вскрытия уклонился, уехав по срочному делу в свое

имение в Смоленскую губернию. Вскрытие производил земский врач, старый знакомый, Аксенов. Косачев умер от кровоизлияния в мозг. Недели через две Ковалев получил „высочайшее помилование“, каторжане — обещание начальника уволить всех причастных.

Фирсов, Александров и Михеев исчезли с Шлиссельбургского горизонта, но месяцев через пять снова появились в качестве надзирателей: оказалось, что они были в Петербурге, на надзирательских курсах, организованных Главным Тюремным Управлением для подготовки старших и отделенных — таково было им наказание...

Эйхгольц писал книжки об арестантском быте, но они не отличались знанием действительности, были полны сентиментальных рассуждений в духе барыньек-патронесс, и симпатии к униженным казались в них притянутыми за волосы. И всё же, если бы не случай с Косачевым и, адобавок к нему, не склонность Эйхгольца в последние годы к администрации, он вполне заслуживал бы название второго Гааза, во втором, удешевленном, правительством одобренном, народном издании.

О фельдшерском персонале много говорить не приходится. В мирное время это были или чистокровные разбойники, или же разбойники с примесью подхалимства. К первой категории принадлежал носивший кличку „Урод“, сам бывший арестантов и сам побитый каторжанином Бабковым, который изломал об него казенную табуретку, за что и был задавлен в камере № 39 третьего корпуса и после смерти повешен на батарею водяного отопления. Представителем второго типа был Федор Федорович Левченко, Дорогобужский мещанин, изгнанный из многих мест и поступивший в Шлиссельбург по протекции. Этот всегда держал нос по ветру: если доктор „на вы“, он „садитесь, пожалуйста“, у доктора „ты“ — у Левченко „пошел вон“. Фельдшерский персонал изменился в лучшую сторону только во время войны, когда тыловые должности стали замещать ранеными и инвалидами. Очевидно, эти сами уже хватили свою долю жук, поэтому и смотрели на людей много лучше.

Тюремная больница помещалась в надстроенном этаже первого корпуса. Входной лестницей ее помещение разделялось на две неравных части. Меньшую занимала амбулатория, приемная, кабинет врача и аптека. Направо, в большей, были только палаты и ванны. Санитаров или сиделок не полагалось, их обязанности исполняли больничные служители из каторжан, обычно подбиравшиеся из благонадежных или „лягавых“, которым симпатизировала администрация и надзиратели за выражаемое почтение и раболепство и которые шли, большей частью, в больничные служители из личных расчетов подкормиться и улучшить свое положение жалованьем в 1 р. 80 коп. в месяц. Прямой обязанностью больничных служителей являлась уборка палат и раздача больным пищи и кипятку. Сверх такой программы они должны были обслуживать и тяжело больных, но эта часть, как самая неприятная и бездоходная, игнорировалась ими. Тяжело больные постоянно находились в самом беспризорном состоянии. Если в палате не было больного, который

держался бы на ногах, то все валялись в грязи, без питья и еды. Сверх этого, служители не брезгали и обирать больных, лишая их части их порции. Такое положение было постоянным явлением во времена Шермана. В его эпоху в больницу принимались только безнадежно и тяжело больные: подававшие же надежду на выздоровление или не имевшие грубых признаков болезненности просто не принимались. С туберкулезом жстей или с злокачественными ранами только вызывались на перевязку, остальных снабжали порошками и микстурками. Лечение же в больнице состояло, главным образом, в пище, довольно значительно разнившейся от общетюремной. Вместо двух фунтов черного хлеба полагалось полтора белого и два мясных блюда; ужином была бессменная каша из пшенной крупы. Ужин нельзя было принимать в расчет: обыкновенно, через неделю-полторы, своим однообразием и неприятным запахом непромытой крупы он становился до того противен, что его отказывались брать, довольствуясь вместо него одним чаем и хлебом. В задачу служителей, кроме сокращения больничных порций, еще входила и дележ наследств после умирающих: кусков сахара, иногда табаку, сумки, полотенца и остатков за день-два хлебной порции.

Больница не столько лечила, сколько вносила некоторое разнообразие в монотонную тюремную жизнь, и это разнообразие действовало куда благотворнее всяких лекарств.

В эпоху Эйхгольца функции больницы расширились. Было организовано лабораторное исследование мокроты подозрительных по чахотке. Эту работу производил каторжанин, меньшевик Канторович, осужденный по делу Севастопольского восстания и бывший на воле чем-то вроде провизора. Если обнаруживалось присутствие бацилл, больным назначались противотуберкулезные прививки и дыхания. Была ли от них какая польза, сказать трудно, тем более, что назначенный вторым врачом, пробывший очень не долго, худощавый старик спорил против этого способа лечения, как бесполезного.

Было несколько случаев, когда наблюдалось, что у каторжан, с констатированным врачебной комиссией туберкулезом, легкия настолько зарубцовывались, что повторные комиссии признавали их здоровыми. Но следует отметить и такой случай. Один признанный комиссией туберкулезным, с наличием хрипоты, болей в верхушках обоих легких, кровохаркавшем и палочками доктора Коха в мокроте, при полном бойкоте медицины, но при очень усиленном потреблении до 3—4 порций гороха и рыбьего жира также избавился от чахотки, как и предыдущие. Этот случай даже комиссию заинтересовал.

С первых дней своего существования и до конца 1912 года тюремная больница являлась больше пересыльным или сборным пунктом для отправки на Ладожский этап, чем местом лечения. За все эти годы из попавших на больницу очень мало вернулось в корпуса, а „воли“, кажется, ни один не увидел. Лично я не помню ни одной недели, когда не было умерших. Чаше вспоминаются недели с двумя или тремя смертными случаями. Больше всего перемерло в Шлиссельбурге кавказцев. Каждый год их пригоняли от 50 до

100 человек, и добрых три четверти из них к следующему году находили вечный покой на тюремном кладбище, раскинувшемся в хвойном лесочке, на красивом повороте крутого берега широкой Невы. Резкое изменение климата, преобладание кислой пищи — черный хлеб и пять раз в неделю квашеная капуста — были для кавказцев убийственны и являлись главной причиной смертности среди них. Но немалое значение имела и боязнь кавказцев холода, из-за которого камеры с преобладанием кавказцев в течение целой зимы не знали открывания форточек. В особенности это резко сказывалось во втором корпусе: камеры совершенно лишены вентиляции, на человека приходилось меньше кубической сажени воздуха, маленькая форточка вечно закрыта, скученные тринадцать человек совершенно задыхаются. Люди чахнут на глазах; месяц, два, три — там больница, из которой ни одному кавказцу возврата уже не было. Положение было настолько скверно, что администрация, имея желание допечь до белого каления кого-нибудь из русских, сажала в камеру кавказцев в виде наказания. Мне пришлось просидеть среди них два месяца, чтобы отвыкнуть от агитаторских сыновностей — в виду их полного непонимания русского языка. Среди них было много симпатичных людей, в особенности Шамиль и Абдурахман, оба „князья“, имели очень нежные души, не чуждые и поэтической красоты, но условия сидки были настолько невыносимы, что пришлось предпочесть отсидеть месяц в карцере, чтобы добиться перевода.

Главное Тюремное Управление направляло кавказцев буквально на вымирание. Эйхгольд делал попытку сократить среди них смертность. Попытка сводилась к установлению для них пищевого порциона соответственно их привычкам. Но она скоро потерпела крушение. С одной стороны, администрация не могла примириться с кормлением каторжан белым хлебом и рисом с бараниной. С другой, — у Эйхгольда начали ослабевать порывы энергии и надоело доказывать начальству необходимость выходить из сметных одиннадцати копеек. Проект снабжения кавказцев теплым бельем за счет казны, в виду отсутствия у них собственных денег, администрацией был отвергнут на первых шагах. Все это привело к тому, что из осужденных на срок выше четырех лет армянам и татарам, не бывшим нигде за пределами родного Кавказа, не было суждено выйти живыми из Шлиссельбургских стен.

Не успевал страждущий отдать свою душу, как больничные служители налетали для дележа наследства. Дальше фельдшер констатировал смерть, те жестко вытаскивали труп в покойницкую, обмывали швабрами, напивали на него рваную рубаху и кальсоны и укладывали в гроб. На другой день, если просили, тюремный священник совершал свои молитвы, гроб заколачивали, два надзирателя устанавливали его на лодку. Совершался последний ладожский этап. Лодка, подгоняемая ударами весел, быстро неслась по сильному течению Невы и исчезала у берегов далекого кладбища. Там прибавлялся один свежий холмик, здесь в больнице освобождалась одна койка, в конторе списывался в расход один человек, и всё продолжалось, как и прежде.

Первые годы администрация ставила на каждой могиле православного черный деревянный крест, с надписью белой краской имени и фамилии и дня смерти умершего, для остальных ставился просто черный столб с такой же надписью. Но в двенадцатом году на кресту одного политического появился венок с красной лентой, и все кресты были убраны, обычай пяти лет отменили и снова появились „бескрестные могилы“, об упразднении которых мечтал Надсон.

Смерть вообще наводит на грустные размышления, смерть же человека в тюрьме только усиливает грусть. Лично я не знал за всю каторгу более грустных минут, как те, когда из окна двадцать седьмой одиночки четвертого корпуса смотрел на установку гроба в лодку и на исчезновение его в прибрежной тени кладбища, несмотря на то, что часто не знал лично умерших.

Однако такие минуты грусти являются большей частью сокровенными, и лишь изредка вырываются наружу. Обычно в отношении к смерти каторжане бравируют. Бравирование больше всего сказывается в отрицании страха перед смертью. Порой высказываются в среде темноватой публики такие атеистические мысли, что мало знакомый с действительностью может подумать что здесь все религиозные предрассудки вполне изжиты. На самом деле это далеко не так. Частенько, когда такого бравирующего прижмет какая-нибудь болезнь, он быстро забывает, что неделю тому назад „пускал“ и „в Христа“ и „в бога“, зовет к себе тюремного священника и самым простодушным образом кается в грехах и просит напутствия в дальнейшую дорогу.

В. Градский.

С царем в Тобольске.

Из воспоминаний.

В начале августа 1917 г. Временное Правительство предложило мне отправиться в г. Тобольск в качестве комиссара по охране бывш. царя Николая II и его семьи. Сначала я отказался, потому что мне не хотелось расставаться с любимым, только что начатым делом, по культурно-просветительной части в Петроградском гарнизоне. Работа только что начала налаживаться, удалось подобрать добросовестных и опытных соработников из петроградских педагогов и старых народовольцев. Лекции, собеседования в Финляндском полку по естественной истории, доклады в Литовском и др. производили оздоровляющее действие на солдат. Мне же эта работа доставляла истинное наслаждение и убеждала меня в том, что только такой работой можно поднимать развитие солдат. Повторяю, тяжело было отрываться от такой работы и менять ее на комиссарство в Тобольске. Кроме того я не был уверен, что справлюсь с этой последней задачей, так как ни офицеры, ни солдаты отряда абсолютно не были мне знакомы. Я ехал, как говорится, в темный лес.

Через несколько дней мне снова повторили предложение ехать в Тобольск.

— Больше послать некого, — заявил помощник начальника Петроградского военного округа Кузьмин.

— Мое мнение, — прибавил начальник округа: — вы обязаны ехать, это общее мнение...

Бабушка, Брешко-Брешковская, тоже настаивала на моей поездке. Тебе необходимо ехать, — говорила она: кому же больше. Ты сам много испытал и сумеешь выполнить задачу с достоинством и благородно. Это обязанность перед всей страной, перед учредительным собранием.

— Еду, как в темный лес: ни отряд, ни офицеры никто меня не знает и я их — тоже.

— У тебя своя голоза на плечах, свой разум. Надо только помнить всегда, что ты человек и они люди, — возражала бабушка: поезжай и больше ничего. Другого не нашли. Все остановились на тебе.

Через несколько дней мне пришлось беседовать и с А. Ф. Беренским, который тоже смотрел так. Но подробно поговорить с ним не удалось: вся-

кий раз, когда я являлся к нему, его буквально каждую минуту отрывали, то по делам фронта, то с докладами из разных министерств.

Только при этих свиданиях я убедился, что Керенский слишком завален работой, что он не сумел или ему не удалось окружить себя достаточным числом деловых людей, настоящими работниками. Его отрывали и по весьма несложным делам, которые могли бы решить и сами секретари...

После Московского Сопевания, когда я дал свое согласие ехать в Тобольск и явился к Керенскому, чтобы получить все необходимые бумаги и инструкцию, он вдруг задал мне вопрос: вы еще не уехали?

— Как же мне ехать, когда ни бумаг, ни инструкций мне не выдали, — возразил я.

Он удивился, сказав: — Их вам выдадут. Уезжайте немедленно. Я сделаю сейчас распоряжение. Зайдите к секретарю сейчас-же. Обо всем остальном получите сведения от Макарова и поезжайте, пожалуйста, скорей поезжайте.

Временное Правительство, точнее А. Ф. Керенский, торопил меня особенно настойчиво, когда Макаров и Вершинин, сопровождавшие семью бывшего царя в Тобольск, прибыли в Петроград, не дождавшись себе заместителя. К полковнику же Е. С. Кобылинскому, начальнику отряда особого назначения, было двойное отношение: с одной стороны, ему доверяли и полагались на него, с другой — открыто высказывали сомнения под влиянием различных, часто ни на чем не основанных наветов завистников и мелкотщеславных карьеристов-офицеров. Кроме того Омский совдеп внушал Временному Правительству некоторые опасения. Торопить-то меня торопили, а о документах забыли. Наконец было вручено мне удостоверение и инструкция, которую я и привожу целиком.

Копия.

„Временное Правительство. Г. Петроград. 21 августа 1917 г.

Инструкция комиссару по охране бывшего царя Николая Александровича Романова, его супруги и его семейства, находящихся в г. Тобольске, Василию Семеновичу Панкратову.

1. Комиссар по охране бывшего царя и прочих членов его семьи является полномочным представителем Временного Правительства во всем том, что относится к его компетенции.

2. Комиссар имеет право устанавливать порядок охраны бывшего царя и его семейства, поскольку это допускается инструкцией, данной по сему предмету Временным Правительством.

3. Комиссар имеет право делать указания лицам, которым вверена охрана бывшего царя и его семейства, по поводу порядка охраны, ставить им на вид отступления от установленного порядка и, в случае серьезного нарушения ими правил охранения, устранять их от исполнения обязанностей по охране, донося о том немедленно Временному Правительству в лице министра председателя.

4. В случае нарушения чинами воинского караула своих обязанностей, комиссар извещает об этом коменданта помещений, занятых бывшей царской семьей, на предмет принятия мер к недопущению в дальнейшем нарушений правил караульной службы. Если комиссар получит сообщение по поводу нарушения чинами воинской гарнизонной службы по караулу гор. Тобольска, он сообщает об этом соответствующему начальству чинов караула на тот же предмет.

5. Комиссар имеет право проверки караулов как помещений, занятых царем и его семейством, так и в г. Тобольске. Обо всех серьезных нарушениях караульной службы, в случае их повторения, он немедленно доносит Временному Правительству в лице министра председателя и сообщает командующему войсками Омского военного округа.

6. Комиссару принадлежит право удалять из помещений, занятых бывшей царской семьей, лиц свиты и прислуги, находящихся в настоящее время в этих помещениях.

7. Право просмотра переписки, адресованной членам бывшей царской семьи, а также и отправляемой ими, принадлежит исключительно комиссару. Задержанная переписка направляется им министру председателю.

8. Комиссар по соглашению с местными властями устанавливает порядок надзора и регистрацию лиц, прибывающих в гор. Тобольск и отъезжающих.

9. Комиссар два раза в неделю телеграммами посылает министру председателю срочные донесения, а также извещает о всех экстренных обстоятельствах.

10. Всем гражданским и воинским властям надлежит оказывать комиссару всяческое содействие, а комиссару в экстренных случаях предлагается принимать все меры, кои он найдет нужным.

11. Один экземпляр этой инструкции находится у министра председателя, а другой выдается под расписку комиссару.

Министр председатель (подпись Керенского).

Второй документ, врученный мне Временным Правительством, следующий: „Временное Правительство. Г. Петроград. № 3019. 21 августа 1917 года.

Настоящим удостоверяется, что предъявитель сего Василий Семенович Цанкратов 21 августа 1917 года назначен Временным Правительством комиссаром по охране бывшего царя Николая Александровича Романова, находящегося в г. Тобольске, и его семейства.

Министр председатель (подпись Керенского).

Печать Временного Правительства.

Перед отъездом ко мне зашел генерал Васильковский, командовавший Петроградским военным округом.

— Вам необходимо взять с собою автомобиль, — сказал он мне.

— Я этого не могу сделать, — ответил я.

— Ваше положение обязывает это сделать, — настаивал он.

Я отказывался категорически, объясняя тем, что это безумный расход, совершенно ненужный.

— Тогда возьмите карету и пару лошадей.

Я и от этого отказался. Так мы и расстались.

23-го августа, взяв с собой помощника и одного солдата, я выехал из Петрограда. Подъезжая к Тюмени, я из газет узнал об инциденте с ген. Корниловым. На станциях на всевозможные лады толковали это событие. Не имея проверенных сведений, я в разговорах со своим помощником воздерживался от категорических суждений, тем более, что ген. Корнилов мне не был известен ни с какой стороны, а отношения его к Керенскому мне казались тогда хорошими. Во всяком случае история с Корниловым вызвала повсюду какую-то особую тревогу и напряжение. В г. Тобольск мы и прибыли 1-го сентября 1917 г. Пребывание там бывш. царя с семьей вызвало усиленный караул на пристанях, и ко всем приезжающим относились с большой подозрительностью. Караульные местного гарнизона строго просматривали документы, и, при малейшем сомнении, пассажиры отправлялись в милицию для выяснения личности. Так как я не показал всех своих документов, то и меня постигла судьба отправиться с милиционером в милицию. Но в милицию я отказался ехать, заявив, что мне надо сначала явиться к начальнику отряда по охране бывш. царя. Милиционер исполнил мое требование и зашел со мною в дом Корнилова, где проживал начальник отряда полк. Кобылинский, уже предупрежденный о моем приезде телеграммой.

Встреча с Кобылинским произвела на меня очень хорошее впечатление. Я передал ему пакет от Керенского и предъявил свои документы.

— Мы давно ждем вас, — сказал он: — а вы можете нас оставить, — прибавил он, обращаясь к милиционеру.

— На пароходе у меня остались вещи, и ждут два спутника, — заявил я.

— Мы сейчас посмотрим, куда вас поместить, потом отправимся на пароход. Здесь с помещением имеются затруднения.

Он показал мне две комнаты: одну для меня и другую для помощника. Мы поехали снова на пристань за вещами и моими спутниками. Караул из местного гарнизона снова потребовал у меня документы, в ответ на это требование полк. Кобылинский предъявил свои документы, и все разговоры сразу прекратились.

Наконец, я и мои помощники водворились в д. Корнилова, как раз напротив губернаторского дома, где проживала семья бывш. царя. В мое распоряжение были предоставлены две небольшие комнаты: одна для меня лично, другая для канцелярии.

Первая встреча с бывшим царем Николаем II.

2-го сентября я отправился в губернаторский дом. Не желая нарушать приличия, я заявил камердинеру бывш. царя, чтобы он сообщил о моем прибытии и что я желаю видеть бывш. царя. Камердинер немедленно исполнил поручение, отворив дверь кабинета бывш. царя.

— Здравствуйте, — сказал Николай Александрович, протягивая мне руку: — благополучно доехали?

— Благодарю вас, хорошо, — ответил я, — протягивая свою руку.

— Как здоровье Александра Федоровича Керенского? — спросил бывший царь.

В этом вопросе звучала какая-то неподдельная искренность, соединенная с симпатией, и даже признательность. Я ответил на этот вопрос коротким ответом и спросил о здоровье бывш. царя и всей его семьи.

— Ничего, слава богу, — ответил он улыбаясь.

Надо заметить, что бывш. царь во все время нашей беседы улыбался.

— Как вы устроились и расположились?

— Недурно, хотя и есть некоторые неудобства, но все-таки недурно, — ответил бывш. царь: — почему нас не пускают в церковь, на прогулку по городу? Неужели боятся, что я убегу? Я никогда не оставлю свою семью.

— Я полагаю, что такая попытка только ухудшила бы ваше положение и положение вашей семьи, — ответил я: — в церковь водить вас будет возможно. На это у меня имеется разрешение, что же касается гулянья по городу, то пока это вряд ли возможно.

— Почему? — спросил Николай Александрович.

— Для этого у меня нет полномочия, а впоследствии будет видно. Надо выяснить окружающие условия.

Бывший царь выразил недоумение. Он не понял, что я разумею под окружающими условиями. Он понял их в смысле изоляции — и только.

— Не можете ли вы разрешить мне пилить дрова? — вдруг заявил он. — Я люблю такую работу.

— Быть может, желаете столярную мастерскую иметь? Эта работа интереснее, — предложил я.

— Нет, такой работы я не люблю, прикажете лучше привезти к нам на двор лесу и дать пилу, — возразил Николай Александрович.

— Завтра же все это будет сделано.

— Могу ли я переписываться с родными?

— Конечно. Имеются ли у вас книги?

— Даже много, но почему-то иностранные журналы мы не получаем, — разве это запрещено нам?

— Это, вероятно, по вине почты. Я наведу справки. Во всяком случае ваши газеты и журналы не будут задерживаться.

— Я желал бы познакомиться с вашей семьей, — заявил я.

— Пожалуйста; извиняюсь, я сейчас, — ответил бывший царь, выходя из кабинета, оставив меня одного на несколько минут.

Кабинет бывшего царя представлял собой прилично обставленную комнату, устланную ковром; два стола: один письменный стол с книгами и бумагами, другой простой, на котором лежало с десятков карманных часов и различных размеров трубки; по стенам — несколько картин, на окнах — портьеры.

— Каково-то самочувствие бывшего самодержца, властелина громаднейшего государства, неограниченного царя—в этой новой обстановке?—невольно подумал я. При встрече он так хорошо владел собою, как будто бы эта новая обстановка не чувствовалась им остро, не представлялась сопряженной с громадными лишениями и ограничениями. Да, судьба людей—загадка. Но кто виноват в переменах ее?.. Мысли бессвязно сменялись одна другою и настраивали меня на какой-то особый лад, вероятно, как и всякого, кому приходилось быть в совершенно новой для него роли.

— Пожалуйте, господин комиссар,—сказал снова появившийся Николай Александрович.

Вхожу в большой зал и к ужасу своему вижу такую картину: вся семья бывшего царя выстроилась в стройную шеренгу, руки по швам: ближе всего к входу в зал стояла Александра Федоровна, рядом с нею Алексей, затем княжны.

— Что это? Демонстрация?—мелькнуло у меня в голове и на мгновение привело в смущение. — Ведь так выстраивают содержащихся в тюрьме при обходе начальства. Но я тотчас же отогнал эту мысль и стал здороваться.

Бывшая царица и ее дети кратко отвечали на мое приветствие и все вопросы. Александра Федоровна произносила русские слова с сильным акцентом, и было заметно, что русский язык практически ей плохо давался. Все же дети отлично говорили по-русски.

— Как ваше здоровье, Алексей Николаевич?—обратился я к бывшему наследнику.

— Хорошо, благодарю вас.

— Вы в Сибири еще никогда не бывали?—обратился я к дочерям бывшего царя—и получил отрицательный ответ.

— Не так она страшна, как многие о ней рассказывают. Климат здесь хороший, погода чудесная, — вмешался Николай Александрович, — почти все время стоят солнечные дни.

— Чего не достает Петербургу.

— Да, климат Петербурга мог бы позавидовать Tobольскому, — добавил бывший царь. — Не будет ли зимою здесь холодно жить, зал большой?

— Надо постараться, чтобы этого не было. Придется все печи осмолотить, исправить. А топлива здесь достаточно, — ответил я, — других подходящих помещений в городе нет.

— Имеются ли у вас книги?—спросил я княжен.

— Мы привезли свою библиотеку, — ответила одна из них.

— Если у вас будут какие-либо заявления, прошу обращаться ко мне, — сказал я, уходя.

Тем и кончилась моя первая встреча с семьей бывшего царя.

Не знаю, какое впечатление произвел я, но что касается меня, то первое впечатление, которое я вынес, было таково, что, живи эта семья в другой обстановке, а не в дворцовой с бесконечными церемониями и этикетами,

притупляющими разум и сковывающими все здоровое и свободное, из них могли бы выйти люди, совсем иные, кроме, конечно, Александры Федоровны. Последняя произвела на меня впечатление совершенно особое. В ней сразу почувствовал я что-то чуждое русской женщине.

Свита и слуги бывшей царской семьи.

При отправке Николая II с семьей из Царского Села Керенский предоставил ему выбрать свиту и служащих. Не обошлось без инцидента. Как известно, при наследнике Алексее состоял дядька, матрос Деревенько, полуграмотный, но хитрый хохол, который пользовался большим доверием Александры Федоровны. Пред самым отъездом он подал счет (полк. Кобылинскому) расходов. В счете оказалось, что сын Николая II за июль 1917 г. износил сапог более, чем на 700 рублей. Полк. Кобылинский возмутился и заявил матросу Деревенько, что в Тобольск его не допустят. Обиженный матрос пожаловался Александре Федоровне, которая немедленно попросила Кобылинского прийти и объясниться.

— С первых же шагов нарушется обещание Керенского—право выбора преданных нам людей, — заявила она Кобылинскому.

— Вы считаете матроса преданным и бескорыстным? — спросил Кобылинский.

Александра Федоровна подтвердила это. Тогда Кобылинский предъявил ей счет, представленный преданным матросом. Бывший царь и Александра Федоровна были смущены, но не удовлетворились таким мотивом.

Так преданный дядька Алексея и остался в Петрограде.

Несмотря на это, он неоднократно обращался ко мне с письменными запросами: когда же он будет вызван в Тобольск для продолжения служебных обязанностей при „наследнике“.

Из светского мужского персонала с бывшим царем поехали в Тобольск: граф Татищев, князь Долгорукий, доктор Боткин, который лечил Александру Федоровну, доктор Деревенко, лечивший Алексея и считавшийся врачом отряда особого назначения, француз Жильяр и англичанин Гиббс, последний прибыл в Тобольск гораздо позже.

Из свиты женского персонала: графиня Гендрикова, Шнейдер и четыре фрейлины. Что касается служащих, то их было более чем достаточно, более сорока человек. Это была дворцовая прислуга разных рангов и профессий, начиная с камердинера Николая II и кончая поваренком. Такая многочисленность меня сразу поразила: многие из них являлись совершенно излишними пансионерами, только увеличивающими расходы. Правда, содержались они на личные средства бывшей царской семьи, тем не менее всё же это было ненужной расточительностью и, кроме того, найти для них помещение в том же доме не представлялось никакой возможности, а проживание на гольных квартирах инструкцией, данной мне Временным Правительством, совершенно воспрещалось. Но хорошо было составлять инструкцию в Петрограде, не зная

местных условий. С несостоятельностью дачной мне инструкции при первом же знакомстве с последними я столкнулся и тотчас же сообщил об этом Керенскому. Часть прислуги пришлось разместить на вольных квартирах. Свита тоже была поселена в другом доме, против дома губернатора. В этом же доме поселился полков. Кобылинский, я с помощником и один из офицеров.

Отряд особого назначения по охране бывшего царя и его семьи.

При отъезде мне было сообщено, что этот отряд под начальством полк. Кобылинского был составлен из отборных солдат трех гвардейских стрелковых полков: 1-го, 2-го и 4-го в числе 337 человек с 7 офицерами.

В первый же день своего приезда в Тобольск я предложил полк. Кобылинскому созвать весь отряд, чтобы ознакомиться с ним и ознакомить его с инструкцией.

— На нас возложено ответственное дело пред родиной до созыва учредительного собрания, которое решит дальнейшую судьбу бывшего царя, вести себя с достоинством, не допуская никаких обид и грубостей с бывшей царской семьей. Всякая бестактность с нашей стороны только легла бы позором на нас же. Грубость с безоружными пленниками недостойна нас. Поэтому я призываю всех держаться этого правила,—сказал я в конце своей речи: за всякий свой поступок мы должны будем дать отчет. Нам не дано право быть судьями вверенного нам бывшего царя и его семьи.

Отряд вполне оценил мое заявление и доказал это тем, что за все пять месяцев моего комиссарства ни разу не проявил себя хамом. Поведение отряда было почти рыцарским.

Большинство солдат отряда произвело на меня отрядное впечатление своей внутренней дисциплиной и военным видом—опрятностью. За исключением немногих, наш отряд состоял из настоящих бойцов, пребывших по два года на позициях под огнем немцев, очень многие имели по два золотых георгиевских креста. Это были настоящие боевые, а не тыловые гвардейцы, высокие, красивые и дисциплинированные. И я почувствовал тяжелую ответственность и обязанность помочь им сохраниться. Для этого необходимо было создать более или менее здоровую обстановку, занять их работой и просвещением. Обстановка была далеко не совершенная: казармы плохо оборудованы и не приспособлены. Требовался основательный ремонт. Работу в навигационное время наши гвардейцы находили на пристанях, где пароходчики охотно предоставляли им выгрузку и погрузку барж и пароходов. В свободное от караула время часть отряда работала на пристанях. В зимнее время на такую работу рассчитывать нельзя. Я решил устроить школу для неграмотных и малограмотных солдат и лекции, доклады для всех, полагая, что этим удастся занять отряд разумным и полезным делом. В этом отношении мне согласилась помогать три офицера.

Всю же работу по охране мы поделили с полк. Кобылинским таким образом: он взял на себя хозяйственную и финансовую часть, а я стальную.

Кстати должен заметить, что все те „мнения и стывы“ о Кобылинском, которые мне пришлось слышать в Петрограде, к моему величайшему удовольствию, совершенно не оправдались.

Военные круги относились к нему отрицательно. Но я нашел в нем лучшего, благородного, добросовестного сотрудника. Евгений Степанович Кобылинский—гвардейский офицер. Принимая участие в войне с немцами, в одном из боев был жестоко ранен и лишь благодаря умелому лечению остался жив. Ни к каким политическим партиям он никогда не принадлежал и не стремился примыкать, он просто был человек в лучшем смысле этого слова. Благородный и честный по природе, воспитанный и развитой, он всюду проявлял такт и достоинство с людьми; трудолюбивый и бескорыстный, он завоевывал к себе доверие и уважение. Я быстро сблизился с ним и от души полюбил его. Взаимные наши отношения с ним установились самые искренние.

Всенощная.

На воле мне много приходилось слышать о том, что семья Николая II очень религиозна, что этим и объяснялось то влияние, какое имел Григорий Распутин на царскую семью. Но религиозность слишком различно понимается людьми, и в данном случае судить об этом более чем трудно. Эта духовно-нравственная потребность царственных пленников сначала удовлетворялась тем, что богослужение совершалось в зале губернаторского дома, т.-е. в том же доме, где жила семья бывш. царя. И в ближайшую субботу мне первый раз пришлось присутствовать на всенощной.

Всю работу по обстановке и приготовлению зала к богослужению брала на себя Александра Федоровна. В зале она устанавливала икону спасителя, покрывала аналой, украшала их своим шитьем и пр. В 8-м часов вечера приходил свящ. Благовещенской церкви и четыре монашенки из Ивановского монастыря. В зал собиралась свита, располагаясь по рангам в определенном порядке, сбоку выстраивались служащие, тоже по рангам. Когда бывший царь с семьей выходил из боковой двери, то и они располагались всегда в одном и том же порядке: справа Николай II, рядом Александра Федоровна, затем Алексей и далее княжны. Все присутствующие встречали их поясным поклоном. Священник и монашенки тоже. Вокруг аналая зажигались свечи. Начиналось богослужение. Вся семья набожно крестилась, свита и служащие следовали движениям своих бывших повелителей. Помню, на меня вся эта обстановка произвела сильное первое впечатление. Священник в ризе, черные монашки, мерцающие свечи, жидкий хор монашенок, видимая религиозность молящихся, образ спасителя. Вереница мыслей сменялась одна другою...

О чем молится, о чем просит эта бывшая царственная семья? Что она чувствует?—спрашивал я себя.

Монашки запели: „Слава в вышних богу, и на земли мир, в человецех благоволение“... Вся семья Николая II становится на колени и усердно

крестится, за нею падают на колени и все остальные. В то время мне казалось, что вся семья бывшего царя искренно отдается религиозному чувству и настроению.

Служба кончается. Начинается обряд миропомазания. Священник обращается лицом к бывш. царской семье. К нему первый подходит Николай II, затем Александра Федоровна, наследник, дочери и далее свита и служащие в порядке рангов. И затем зала пустеет.

Ко мне подходит князь Долгоруков.

— Господин комиссар, когда же будет разрешено сходить в церковь? Николай Александрович и Александра Федоровна просили меня узнать,—обратился он ко мне.

— Как только будет все приготовлено. У меня нет ни малейшего намерения лишать их посещения церкви,—ответил я.

— Какие же нужны приготовления?

— Устраняющие всякие неприятности и недоразумения.

— Не понимаю,—огорченно отвечает князь.

— Не думайте, что меня беспокоят неприятности, только касающиеся меня лично, возможны неприятности другого порядка, которых я не могу допустить,—пояснил я князю. Но он опять не понял меня.

Дело заключалось в том, что я не столько опасался попыток побега или чего-либо в этом роде, я старался предотвратить возможность выпадов со стороны отдельных тоболяков, которые уже успели адресовать на имя Александры Федоровны, Николая и даже его дочерей самые нецензурные анонимные письма, мною задержанные. Вся корреспонденция к бывш. царской семье проходила через мои руки.

А что, как кому-либо из авторов подобных писем придет в голову во время прохода в церковь выкинуть какую-либо штуку? Бросить камнем, выкрикнуть нецензурную похабщину и т. п. Пришлось бы так или иначе реагировать. Лучше заблаговременно устранить возможность подобных историй.

И мы с Кобылинским старались принять все меры против такой возможности.

Хотя Благовещенская церковь находилась всего в нескольких стах саженьях от дома, где жил Николай II, но, не устранив некоторых неудобств в указанном смысле, мы не могли удовлетворить просьбы. Впрочем, через неделю уже все было сделано.

Отношение населения к бывшему царю.

В прессе распространились слухи о том, что пред домом губернатора происходят „патриотические“ демонстрации громадных толп, что к этому дому совершаются паломничества и т. д. Все эти слухи с начала до конца оказались ложными. Никогда никаких патриотических демонстраций и паломничеств не было и быть не могло. Быть может, они и имели бы место, если бы не пресловутый Григорий Распутин, который еще в 1915 г. своим поведением

и циничным хвастовством о близости к царской семье не дискредитировал эту семью. Этот беспардонный проходимец в последнюю свою поездку в Тобольск вел себя так бесстыдно, так безобразно, что снял последние остатки ореола с царской семьи. Он здесь беспрерывно пьянствовал, по пьяному делу приставал к женщинам с грязными предложениями, потребовал, чтобы одного из квартальных надзирателей, почему-то поправившегося ему, произвели в священники. Благодаря Распутину был произведен в епископы пресловутый Варнава, хорошо известный тоболянам с отрицательных сторон. „Доспел тебя епископом“, когда-то писал ему Распутин. За время моего пребывания в Тобольске мне столько приходилось слышать о грязных проделках Распутина, что я не решаюсь им верить. Кто-кто, а Распутин окончательно уронил в глазах тоболян (да и одних ли их?..) престиж царской семьи, якобы для укрепления авторитета которой его так долго держали при дворе и облекали всемогуществом. Приведу один из характерных рассказов одной из благочестивых и преданных монархисток.

Однажды является ко мне старушка-тоболячка, особа интеллигентная, набожная.

— Чем могу служить?—спрашиваю я ее.

— Я к вам, господин комиссар, с покорнейшей просьбой,—отвечает она.

— Пожалуйста.

— Я пришла просить вас дать мне свидание с царем. Я имею ему сообщить очень важное...

— Этого я допустить не могу, и вы напрасно пришли.

— Почему? Вы, быть может, подозреваете что-нибудь такое... Я только для души,—настаивала старушка.

— Напрасно вы просите: никаких ни с кем свиданий не полагается,—возражаю я ей: если же что-нибудь вы желаете сделать для души Николая Александровича, то сообщите мне, я передам, если это окажется нужным.

Старушка произвела на меня впечатление очень религиозного человека. Она все время искренно повторила фразу: „Царица небесная, какой грех, какое затмение рассудка! И кто же это сделал? Кто мог бы думать, что это он!“ Слово „он“ она произносила с какой-то особой интонацией и даже религиозным страхом.

— Нет, господин комиссар, только я сама могу это передать; вам могут и не поверить. Я сама верила в него...

— В кого?—спросил я, догадываясь, что дело идет о Распутине.

Но старушка долго не соглашалась открыть тайны; наконец, когда я заявил ей, что должен уйти и что никоим образом не могу удовлетворить ее просьбы, она не устояла — и вот что хотела она поведать бывшему царю.

— Какой грех, я сама верила в него, святым считала... Слушать никого не хотела, когда мне говорили о нем худое: думала, как можно, чтобы царь-батюшка приблизил к себе дурного человека, да еще мужика. Григорий-то Ефимыч—наш, тобольский, из Покровского села. Моему ли ему противиться, когда сам царь с царицей его слушали. Так

верила так верила. Прости меня, царица небесная. А вот, когда этот грех-то случился, привезли сюда их, то и меня сомнение взяло. Покаюсь... поздно... Если б раньше, — бог спас бы их. Я бы тогда добилась к царю... все бы ему рассказала о Григории... Грех меня попутал. Пошла это я раз в собор к обедне. Служил тогда преосвященный Варнава. Встала это я вперед и молюсь, а в голову-то лезут все эти нехорошие рассказы о нем. Огворились царские врата, выходит Варнава, а за ним смотрю, голова его, Григория, с рогами... самый настоящий он, точь и рожица... Тут я упала без памяти. Не знаю, сколько минут... Потом очнулась. Страшно мне стало. Царица небесная, прости мне грешной. Тут мне все открылось. И Варнава, значит, такой же был. Какой грех! Вот я это и хотела сказать царю. Говорят, Григорий-то жив...

— Это вздор, — перебил я ее: — его убили его же друзья, с которыми он обделывал свои нечистые делишки. И им он опротивел.

— Так вы мне и не разрешите повидаться с царем? Очень важно, очень важно открыть глаза царю.

— Теперь уж поздно. Он сам знает... И напоминать ему об этом нехорошо, — отказал я категорически доверчивой старушке, которая кроме этого рассказала мне еще не мало о непристойном поведении „Григория“ в Тобольске.

— Ко всякой девке приставал. Напьется пьяный, бывало, и лезет, да хвастается. Ой, грехи наши тяжкие... Прости, царица небесная. А, мы-то — точно в слепоте были...

— Мне надо уходить по делам, — заявил я старушке.

— Прощайте, прощайте. Жаль, не разрешаете... Я бы ему все рассказала.

По этому рассказу искренно верующего старого человека можно судить, какое полоумничество мог подготовить грязный временщик и пройдоха. Никакие прокламации, никакие листовки революционных партий не могли так дискредитировать бывшую семью царя, как этот придворный любимец и все те, кто, пользуясь его покровительством, добивались высокого положения, закрывая глаза на все гнусности Распутина.

Повторяю, что никакого полоумничества со стороны тоболян с коленопреклонениями и без оных никогда не происходило. Все, что можно было заметить и наблюдать, так это — простое любопытство, и то в ближайшие месяцы, и вздохи сожаления нередко с нелестным улюливанием „Гришки Распутина“.

Времяпровождение.

До наступления холодов любопытство тоболяков находило себе удовлетворение в том, что они могли видеть бывшую царскую семью на балконе. Обыкновенно в ясные дни вся семья, чаще после обеда, выходила на балкон, откуда открывался вид на городской сад, на нагорную часть города и вдоль

улицы Свободы. Проходящие по улице вначале с большим любопытством засматривались на семью Николая Александровича. Вполне понятное и естественное любопытство. Больше всего обывательниц поражала причека княжен: — почему это они подстрижены, как мальчики? ... Александра Федоровна чаще всего выходила на балкон с вязаньем или шитьем. Усевшись в кресле, она принималась за работу. Она лишь временами любовалась видом города, которого никогда бы не увидела, если бы не „судьба“. Реже всех появлялся на балконе Николай Александрович. С того дня, как только были привезены кругляки и дана поперечная пила, он большую часть дня проводил за распилкой кругляков на дрова. Это было одно из любимых его времяпрепровождений. Приходилось поражаться его физической выносливости и даже силе. Обыкновенными его сотрудниками в этой работе были княжны, Алексей, граф Татищев, кн. Долгорукий, но все они быстро уставали и сменялись один за другим, тогда как Николай II продолжал действовать. То же самое наблюдалось и во время игры в городки: все быстро уставало, тогда как он оставался неутомимым. Вообще физически бывший царь был очень здоров, любил движение. Иногда он целыми часами ходил по двору один или в сопровождении своих дочерей. В этом отношении Александра Федоровна представляла ему полную противоположность. Она проявляла весьма малую подвижность. В смысле общительности также замечалась значительная разница между нею и Николаем II. Дети гуляли чаще с отцом, чем с нею. Замкнутость Александры Федоровны и склонность к уединению бросались в глаза. Быть может, это объяснялось тем, что она вообще острее переживала положение и новую обстановку, но во всяком случае, насколько мне удалось заметить, и по своей натуре она представляла полную противоположность Николаю II. Она сохранила в себе все качества германки — и германки с манерою величия и превосходства. Все ее движения, ее отношение к окружающим проявлялись на каждом шагу. В то время, когда Николай II охотно, просто и непринужденно разговаривал с каждым из служащих, в отношениях Александры Федоровны замечалась холодность и высокомерие. В игре в городки и в пилке кругляков она никогда не принимала участия. Иногда лишь она интересовалась курами и утками, которых завел повар на заднем дворе-садишке. Здесь она чувствовала себя как-то свободнее. Здесь не раз заговаривал я с ней, но темами всегда были куры и утки. По вечерам бывшая царская семья собиралась в зале, куда приходили докт. Боткин, Долгоруков, Татищев и Гендрикова со Шнейдер, и проводили время в разговорах. Иногда кто-либо читал вслух. Но это чтение не всегда удавалось, ибо слушателям надоедало молчать и они затевали разговор, а некоторые даже засыпали под звуки монотонного чтения.

— Мы часто, г. комиссар, вечерами поднимаем вопрос о прогулке по городу и даже за город, — говорил мне доктор Боткин, рассказывая о том, как проводятся длинные вечера в доме губернатора.

— У нас еще не кончено дело с хождением в церковь. Вы знаете, с чем это сопряжено, — отвечаю я.

— Мне кажется, ваши опасения напрасны. Даже мысли о побеге не может быть у их величеств... Боткин всегда величал так бывшую царицу.

— Меньше всего я этого опасюсь, — возражаю я: — есть много других причин, да и права на это мне не дано.

— Тогда я сам буду ходатайствовать пред Временным Правительством.

— Я не протестую. Хлопочите.

Через несколько дней меня просит к себе бывший царь. Являюсь. Он извиняется за беспокойство:

— Я хотел бы просить вас разрешать осмотреть город. Чего вы боптесь за нас?

— Я не имею на это разрешения от Временного Правительства. Кроме того, есть и другие причины...

— Когда же оно будет? Нам интересно посмотреть город, церкви. Город старинный, исторический.

— Вы здесь были, кажется? — спросил я.

— Проездом... несколько часов, — как-то неохотно ответил бывший царь.

Лично я ничего не имел против удовлетворения просьбы бывшего царя посмотреть город, но, во-первых, инструкция, данная мне Временным Правительством, а во-вторых, складывающиеся условия, — а это было самое главное препятствие, — всего более отнимали эту возможность. Что-то грозное надвигалось на Россию, после истории с ген. Корниловым. Русская революция вступала в новую фазу...

Опирующаяся атмосфера.

По инструкции Временного Правительства вся корреспонденция бывшего царя, его семьи и свиты должна была проходить через меня. Признаюсь — обязанность весьма неприятная и даже противная. Дело в том, что российские „патриоты“ полагали, очевидно, что все их письма, адресованные на имя членов бывшей царской семьи, как бы похабно ни было их содержание, непременно попадут адресатам. Никогда в жизни не приходилось мне читать такие отвратительные порнографические письма, как в это время. И вся эта мерзость адресовалась или на имя Александры Федоровны, или на имя Николая II. Некоторые письма с порнографическими грязными рисунками, грубыми до безобразия, я сдал полковнику Кобылинскому. Я сказал, что письма — российских „патриотов“, ибо я глубоко уверен, что многие из авторов этих писем до переворота, когда Николай II был еще всемогущ, готовы были пресмыкаться перед ним и его семьей, а теперь сочиняют такие отвратительные анонимные письма, думая, что это очень хорошо и остроумно. Было много писем, заклеенных в революционных красных конвертах с революционным девизом „Да здравствует русская революция“. Все письма, — а их часто было очень много, — приходилось тщательно просматривать и бросать в печку. Не мало получалось и писем угрожающего характера.

Даже в Америке нашлись такие писатели, и отсюда приходили письма на английском языке на имя дочерей бывшего царя с предложениями... Иногда такого рода писем получалось так много, что целое утро тратилось на эту мерзость.

Сам же Николай II и его семья переписывались с очень немногими из своих родственников. Бывший царь писал только своей матери и сестре Ксении Александровне. Дети вели более обширную переписку, и повидимому она доставляла им большое удовольствие, так как каждый раз, когда я приходил в дом, где помещалась семья Николая, почти всегда встречал кого-нибудь из княжен с вопросом — нет ли писем. Любопытно отметить, что Александра Федоровна и дети ее никогда не писали Марии Федоровне. Благодаря известным отношениям между последней и Александрой Федоровной даже у детей установились какие-то холодные отношения к бабушке.

Кроме русских газет, Николай II получал английские и французские газеты и журналы. Кто-то, очевидно зная вкус бывшего царя, присылал ему довольно веселые журнальчики. Николай Александрович любил читать эти журнальчики. В передаче газет, журналов никаких препятствий не чинилось, хотя это удовольствие иногда приносило и огорчение: в газетах иногда сообщали слухи, которые сильно тревожили семью бывшего царя.

— Скажите, пожалуйста, г. комиссар, зачем в газетах пишут о нас неправду? — однажды спросила меня одна из княжен.

— Какую?

— О побеге... Ведь это неправда. Вы читали, конечно...

— Так привыкли истари некоторые из наших газет... Хотят побольше заработать денег, — ответил я.

Действительно, „Новое Время“ и какая-то другая газета напечатали ложь о побеге Николая II, и мне пришлось послать срочную телеграмму с опровержением. Но пока это опровержение ходило, а иногда и не печаталось даже в газетах, пущенная утка облетала уже всю Россию и даже фронт, будоражила население. Мне делались даже запросы и угрозы. Пускались слухи о распушенности отряда, охраняющего бывшего царя, — словом, создавались тревоги и озлобление.

Тобольский совдеп под председательством врача Варнакова попросил меня к-нибудь зайти к ним в Совдеп „по очень важному делу“.

В ближайший день захожу.

— В чем дело? — спрашиваю я.

Присутствующие как-то мнутя, точно подыскивают, с чего начать. После некоторого молчания первым заговорил Варнаков.

— Насколько нам удалось ознакомиться с отрядом, он мало сознательный...

— Это значит ненадежный, — вмешались Писаревская и Киселевич: из Омска можно выписать надежных людей, рабочих, вполне сознательных...

— Омск пришлет настоящих. Ваш отряд... снова заговорила было Писаревская. Я не дал ей договорить и заявил, что всякая попытка к смене

отряда кем-либо раз навсегда должна быть оставлена. Если же об этом я сообщу отряду, то последствия будут очень неприятные для вас... Я не допущу вмешательства, пока я здесь. — Прошу больше меня не беспокоить подобными разговорами. Я бы желал, чтобы всюду сохранилась такая дисциплина и сознание, как в нашем отряде, — закончил я и ушел.

С этого времени отношения ко мне тобольского совдепа сложились почти враждебные.

Я должен констатировать, что отряд первого состава представлял собой воинскую часть, вполне сохранившую дисциплину, и резко выделялся среди солдат местного гарнизона своей опрятностью, трезвостью и умением себя держать. В то время когда солдаты местного гарнизона частенько встречались пьяненькие, грязные, невообразимо одетые, наши гвардейцы одевались чисто, вели себя хорошо и быстро стали покорять сердца местных обывательниц и прислуги. На этой почве уже возникали ненависть, вражда и ревность солдат местного гарнизона к нашим гвардейцам. Если дело до столкновений не доходило, то только потому, что местные солдаты боялись наших гвардейцев.

Образование и развитие детей бывшего царя.

Приближалась зима. Николай II и Александра Федоровна находили, что образование Марии, Анастасии и Алексея еще не закончено, необходимо его продолжать. Вскоре начались уроки русского языка, истории, географии, арифметики и пр. Педагогический персонал состоял из граф. Гендриковой, Шнейдер, докт. Боткина, француза Жильяра, англичанина Гиббса и самого Николая II, который преподавал детям историю. Встречаясь очень часто со всем этим составом педагогов и преподавательниц и наблюдая их, я поражался тем, как в такой семье, обладавшей всеми возможностями, не окружили детей лучшими преподавателями, которые могли бы дать детям настоящее образование и развитие. За исключением француза Жильяра и англичанина Гиббса, остальные представляли просто царедворцев, — даже докт. Боткин и тот усвоил себе все качества царедворца, о граф. Гендриковой и Шнейдер и говорить нечего.

Не раз мне приходилось убеждаться в этом. Насколько слабо обращалось внимание на развитие детей, можно судить по тому, с каким интересом, бывало, слушают они, когда рассказываешь им о самых обыкновенных вещах, как будто бы они ничего не видели, ничего не читали, ничего не слышали. Сначала я думал, что это простая застенчивость. Но вскоре пришлось убедиться, что дело с развитием и образованием обстоит очень плохо. Бывший царь как-то обратился ко мне с вопросом: можно ли будет пригласить еще учительницу.

Полк. Кобылинский и я решили предложить ему одну учительницу.

— Я должен посоветоваться с Александрой Федоровной, — ответил мне бывший царь, поблагодарив за предложение: — все вопросы о воспитании детей мы с Александрой Федоровной разрешаем вместе.

Я не возражал.

— Вы хорошо знаете эту учительницу? — спросил Николай Александрович.

— Лучше меня знает ее полк. Кобылинский, да и Александра Федоровна ее знает по Царскосельскому лазарету и по Царскосельской гимназии, где она была преподавательницей около 8 лет, — ответил я.

— Очень, очень вам благодарен. Я переговорю с Александрой Федоровной, она вероятно согласится. У нас, действительно, недостает преподавателей. Русскую историю я преподаю сам. Я люблю русскую историю.

— К несчастью, в наших школах истории преподается одностороннее и большинство педагогов придерживается шаблона. Только самостоятельное чтение дает настоящее знакомство с историей.

— Да, да. Я люблю военную историю, — перебил меня Николай Александрович: военная история меня всегда интересовала...

Из дальнейшей беседы выяснилось, что бывший царь действительно знал русскую военную историю, но знание его вообще истории народа было очень слабо: он или забыл или вообще плохо разбирался в периодах русской истории и их значении, все его рассуждения в этом отношении сводились к истории войн. Могла ли такая подготовка сделать его преподавателем истории даже для детей?

Через несколько дней новая учительница, Клавдия Михайловна Битнер, уже приступила к занятиям.

— Какова подготовка детей? — спросил я ее.

— Очень многого надо желать. Я совершенно не ожидала того, что нашла. Такие взрослые дети и так мало знают русскую литературу, так мало развиты. Они мало читали Пушкина, Лермонтова еще меньше, а о Некрасове и не слышали. О других я уже и не говорю. Алексей не проходил еще именованных чисел, у него смутное представление о русской географии. Что это значит? Как с ними занимались? Была полная возможность обставить детей лучшими профессорами, учителями — и этого не было сделано.

— Что же их больше всего интересует и интересует ли что; может быть, в них все убито дворцовой жизнью? — спросил я.

— Интересуются положительно всем. Они очень любят, когда им читаешь вслух. А вам, Василий Семенович, должна сказать комплимент: им очень нравятся ваши рассказы о ваших странствованиях.

— Ничего особенного я им не рассказывал.

— Тем не менее они любят слушать ваши рассказы.

— Уже по этому можете судить об их развитии. Что вы им рассказывали о северном сиянии, об якутах, тунгусах. Спрашивали даже, нет ли у вас описаний из ваших путешествий.

— Вы прочитайте им вслух Некрасова „Русские женщины“ и „Мороз красный нос“, — предложил я Клавдии Михайловне.

— Любопытно, какое впечатление произведут на них эти поэмы. Я сама страшно люблю эти поэмы. Завтра же это сделаю.

*

На следующий день Клавдия Михайловна рассказывала, какое потрясающее впечатление произвели на всех детей поэмы Некрасова.

— Как это нам никогда не говорили, что у нас (мы такой чудный поэт? — говорили княжны.

— Все слушали, — рассказывала Клавдия Михайловна: — даже бывший царь и Александра Федоровна приходили. Дети в восторге. Странно... Как мало заботились об их развитии, образовании.

— Не было времени заниматься собственными детьми, окружить их здоровой атмосферой и настоящими людьми, а не царедворцами, — говорил полк. Кобылинский: даже обыкновенная бедная интеллигентная семья лучше обставляла своих детей. В таком возрасте в этих семьях дети гораздо развитее и образованнее.

— Но что же вы скажете, Клавдия Михайловна, о ваших занятиях? Идут успешно?

— Алексей не без способностей, но привычку к усидчивой работе ему не привили. У него наблюдается какая-то порывистость, нервнось в занятиях. Что же касается Марии и Анастасии, то метод, какой применялся в занятиях с ними, не в моем вкусе, — ответила Клавдия Михайловна.

— По моим наблюдениям — забота об образовании и воспитании детей была присвоена Александрой Федоровной. Николай II почти не вмешивается. Но вмешательство Александры Федоровны не всегда удачно. И Клавдия Михайловна рассказывала случай, когда после одного из таких вмешательств, совершенно неуместных, она довела Алису до слез: — меня так расстроило поведение Александры Федоровны, что я заявила ей о своем намерении отказаться от занятий с княжнами и Алексеем.

— Вы, конечно, не осуществите своей угрозы, — сказал я: — поэтическая нервнось вполне понятна в ее положении. Какая среда их окружает... Вы, Клавдия Михайловна, уже успели к ней присмотреться...

— Да, окружающие... приходится поражаться. Сегодня на уроке Алексей спрашивает меня: „скажите, Клавдия Михайловна, почему нас все обманывают?“

— Как обманывают? кто нас обманывает? — переспрашиваю я Алексея. И вот что он рассказал мне:

„Вчера вечером Владимир Николаевич (доктор) велел мне принять ванну. После ужина я сижу и жду, когда меня позовут в ванну. Сидел, ждал... до поздней ночи и вдруг мне говорят, что ванной пользоваться нельзя: она испорчена... А сегодня утром узнаю, что вчера в ванне купалась m-me Тутельберг...“

— Я была смущена и возмущена таким поведением особы, которая поехала по сочувствию к пострадавшей семье, которая не раз заявляла о своей преданности, о своем желании смягчать участь пленниц, и вдруг — такая бесцеремонность! Хотелось мне сказать Алексею: ведь это ваши любимцы, ваши придворные, а не все, как вы сказали, но воздержалась и обещала сообщить вам, как комиссару. Вы, Василий Семенович, конечно, не оставьте без внимания этого случая.

— Никем образом: иначе ведь будут думать, что я поощряю подобные радости, надевательств!

Немедленно отправился в губернаторский дом, вызывая дворецкого и м-ше Тутельберг и заявил им, чтобы впредь этого отнюдь никогда не повторялось. М-ше Т. пыталась оправдываться; можно с уверенностью сказать, что она никогда не позволяла бы себе подобного поступка до февральского переворота. А теперь — почему же нет. Такова придворная тактика хамства и лакейства. Как сильно была заражена ими вся дворня. А бывшие властелины были уверены в бескорыстной и чистой преданности своих рабов.

Святская заботливость.

По положению все служащие и свита жили, получая жалованье и питание за счет личных средств бывшего царя. Завтраки, обеды, ужины и чаепитие совершали они в том же губернаторском доме, соответственно рангам. Доктор Боткин, граф Татищев, кн. Долгоруков, граф Гендриков, Шнейдер, учителя, Жильяр, Гиббс обедали вместе с семьей бывшего царя (доктор Деревенко иногда обедал у себя дома). Остальные фрейлины в своей комнате, но стол имели почти такой же, как и семья Николая II. Что же касается остальных слуг, дворецкого, повара, горничных, камердинеров и т. д., то стол у них был значительно хуже и притом по рангам. Так камердинеры Николай и Александры Федоровны питались лучше, чем все прочие, и кроме того им должны были прислуживать лакеи. С первых же дней пришлось лишить их этой привилегии. Любопытный обычай завезли они из дворцов в Тобольское изгнание, — это каждый раз после обеда, завтрака и ужина пригласывать с собою узелки с провизией еще и домой. Несмотря на то, что все они питались вдоволь, каждый из них непременно уходил домой с набитым узелочком.

А повара и дворецкий обязательно делали такие большие закупки на базаре, что не только хватало всего к столу, но еще оставалось и для узелков. Тоболяне стали жаловаться на непомерную скупку продуктов обитателями губернаторского дома. Переговорив с полк. Кобылинским и выяснив, как обстоит дело с питанием — оно оказалось обильным, — я объявил служащим, что впредь воспрещается закупка продуктов с таким избытком, а главное воспрещается уносить этот избыток за ограду губернаторского дома. Некоторые из служащих пытались было опровергнуть такое распоряжение традициями прежних времен и необходимостью прокармливать свои семьи.

— Ведь все вы кушаете до-сыта три раза в день. Пожаловаться на плохое питание не можете, — заявил им.

— Какие жалобы? — соглашались они.

— Тогда о чем же разговор?

— Жалованье маловато.

— Ну, это нас уже не касается: об этом вы должны заявить Николаю Александровичу. Жалованье вам платится из личных средств Николая

Александровича, а не от казны... Кроме того, я должен всем вам заявить, что обращение с посудой весьма небрежное: бьют ее слишком много. Надо быть бережливее на будущее время. За последнее время обращение с посудой стало немилосердным. Били стаканы, тарелки, чашки — и взамен разбитой хорошей посуды появлялась дрань.

Все эти указания большинству служащих очень не понравились. Многие первое время очень дулись на меня. Но это недовольство быстро рассеялось. Причиной послужили два следующие обстоятельства: во-1-х, я и Кобылинский перевели всех офицеров, в том числе, конечно, и себя, на простой стол. Вначале все мы питались так же, как и Николай II с семьей и свитой, как это было в Царском Селе. Другой случай был более суровый и неприятный для придворной челяди. Из Петрограда были посланы разные принадлежности внутренней обстановки дома, занимаемого царской семьей: ковры, драпир, занавеси и т. п. Все эти вещи были высокой ценности и оказались большим соблазном для некоторых. Как-то раз утром захожу и застаю в передней суматоху, суету и споры „верных“ царских слуг.

— В чем дело? — спрашиваю споривших.

— Портьеры пропали. Вчера вечером были, а сегодня утром их не оказалось... Целое утро ищем, не можем найти, — отвечает камердинер Николая II.

— Портьеры должны быть найдены немедленно. Вам было заявлено раз навсегда, чтобы отсюда ни одна вещь не выносилась без ведома дежурного офицера, — категорически говорю находившимся в передней служащим. Если пропавшие вещи не будут сегодня же найдены, то завтра совсем удалю некоторых... То у вас посуда бьется то белье пропадает... Что это такое! Повторяю — портьеры должны быть сегодня же найдены. — И ухожу.

Через какие-нибудь полчаса или минут сорок один из служащих сообщает мне, что портьеры найдены. Прохожу на задний двор, где находится садик и огород. Там и тут бродят куры и утки. Александра Федоровна одиноко ходит по засоренным дорожкам. Подхожу к ней и здороваюсь, спрашиваю о здоровье.

Здравствуйте, господин комиссар, отвечает она: благодарю вас, здорова. Иногда болят зубы. Нельзя ли вызвать нашего зубного врача из Ялты?

— Он уже вызван. Временное Правительство разрешило ему приехать сюда. Бывшая царица опять благодарит.

— Вы любите огородничать, заниматься цветоводством? — спрашиваю ее, ибо она очень много времени проводила в этом запущенном огороде-садишке.

— Мне нравится здесь... Куры, утки ходят... Какие красивые куры, совсем ручные. Погода здесь хороша... Мы не думали... Мы думали, что здесь холодно... очень холодно.

Каждую фразу Александра Федоровна произносила с трудом, с немецким акцентом, словом — как иностранка, изучавшаяся русскому языку по книгам, а не практически.

— К сожалению, у нас очень мало знают даже о России природные русские, а о Сибири и того меньше, — говорю я.

— Это почему? — спрашивает Александра Федоровна.

— Не любят России, больше разъезжают по Западной Европе... Мое объяснение, повидимому, не понравилось ей. Она замолчала, а за мной пришел дворецкий.

— Господин комиссар, у нас опять несчастье с двором около кухни. Запах по всему двору, — доложил он.

— А ваши повара опять все отбросы выбрасывают прямо под окла. Сказано: этого делать нельзя...

— Да, господин комиссар, иногда воздух такой, что нельзя окна открыть, — подхватила Александра Федоровна.

— Служащим уже было сказано, чтобы отбросы сваливать в ящики, которые вывозятся каждый вечер, но они что делают? Помещение, которое вы занимаете, было рассчитано на 10—15 человек, а сейчас в нем живет свыше 40. Нужно, чтобы обитатели сами это помнили и вели себя соответствующим образом.

— Не все люди одинаковы, — отвечает дворецкий.

— Я буду спрашивать с вас. Вы должны следить за чистотой и требовать с других.

Иду с ним. По дороге он сообщает мне, что некоторые служащие „не слушаются его“, особенно один повар и два говаренка: они выбрасывают мясные отбросы в мусорную яму, где всё и разлагается. А яма выкопана почти под окнами княжен и бывшей царьцы.

Приказываю поварам исполнять распоряжения дворецкого. Служащим очень не понравились дворецкий, а это был из них самый деятельный, работящий и приличный человек, которому и было поручено наблюдать за чистотой и порядком. Завистники его нередко, желая допечь его, позволяли себе делать пакости, от которых страдала семья пленника и свита, а отнюдь не дворецкий. Иногда, благодаря небрежности, неряшливости, по всему дому распространялась такая вонь, что для всякого вошедшего делалось невыносимо. В доме губернатора никаких канализационных приспособлений не было. Вообще дом был плохо оборудован в этом отношении.

Низшие служащие ни с чем не считались. Они почти ежедневно приносили ко мне с просьбою разрешить им выписать семью из Петербурга и тем еще больше увеличить население губернаторского дома. Сколько ни доказывал я им невозможность такого уплотнения, они не понимали, не хотели понять.

Первая обедня в церкви Благовещения.

Я уже упоминал о том, какие письма получались на адреса Николая II, Алисы и даже их дочерей. Не обходилось даже и без угрожающих посланий на мое имя, „если я не переведу бывш. царскую семью в каторж-

ную тюрьму". Всё это были анонимки от разных лиц. Многие письма были местного производства. Вот почему, для того чтобы иметь возможность водить Николая II с семьею в церковь, необходимы были некоторые приготовления в окружающей обстановке. Расстояние губернаторского дома до Благовещенской церкви не превышало 100—120 саж., при чем надо было перейти улицу, затем пройти городским садом и снова перейти другую улицу. При проходе бывшей царской семьи в Благовещенскую церковь, этот путь охранялся двумя цепями солдат нашего отряда, расставленных на значительном расстоянии от дорожки, а переход через улицу Свободы охранялся более густыми цепями стрельцов, чтобы из толпы любопытных, которых в первое время собиралось человек до 100, кто-либо не выкинул какую-нибудь штуку. С священником Благовещенской церкви было условлено, чтобы обедня для бывшей царской семьи происходила раньше общей обедни для прихожан, т.-е. в 8 ч. утра, и чтобы во время этой службы в церковь допускались только священники, диакон, церковный сторож и певчие. Хор последних был подыскан полк. Кобылинским. Хор немногочисленный, но хорошо организованный регентом Павловским.

В одну из ближайших суббот Николаю Александровичу было сообщено, что завтра обедня будет совершена в церкви, что необходимо к восьми часам утра быть готовыми. Пленники настолько были довольны этой новостью, что поднялись очень рано и были готовы даже к семи часам. Когда я пришел в 7½ часов утра, они уже ожидали. Минут через 20 дежурный офицер сообщал мне, что всё приготовлено. Я передаю через князя Долгорукова Николаю Александровичу. Оказалось, что Александра Федоровна еще не готова, вернее: она решила не идти пешком, а ехать в кресле, так как у ней болят ноги. Ее личный камердинер быстро вывез кресло к крыльцу. Вся семья вышла в сопровождении свиты и служащих, и мы двинулись в церковь. Александра Федоровна уселась в кресло, которое свади подталкивал ее камердинер. Николай II, дети, идя по саду, озирались во все стороны и разговаривали по-французски о погоде, о саде, как будто они никогда его не видели. На самом же деле этот сад находился как раз против их балкона, откуда они могли его наблюдать каждый день. Но одно дело видеть предмет издали и как бы из-за решетки, а другое — почти на свободе. Всякое дерево, всякая веточка, кустик, скамеечка приобретают свою прелесть, создают особое настроение. Помню, когда меня перевозили из Петропавловской крепости в Шлиссельбургскую усыпальницу, закованного в цепи по рукам и по ногам с полубритой головой, окруженного гайдуками-жандармами, — увидав лес, я чуть-чуть не потерял сознание от радости, что я вижу деревья по бокам дороги, вижу ясное голубое небо, вижу утренние потасающие звезды. Оно и понятно: после мрачного, глухого каземата в глухом Трубецком бастоне, откуда виден был через матовое стекло и решетку только маленький клочок неба, вдруг вижу целый свод его, деревья, кусты, едва выступающие из-под снежного покрова. Порою мне казалось, что деревья уныло провожают меня в новый каземат, прощаются со мной, что ветки кустов высунулись из-под

снего из любопытства посмотреть на юного узника. Не было ли аналогичного самочувствия и у царственных пленников, когда проходили по саду? Правда, положение их ничуть не походило на то положение, в каком был я, но тем не менее по выражениям лиц, по движениям можно было предполагать, что они переживали какое-то особенное состояние. Анастасия даже упала, идя по саду и озираясь по сторонам. Ее сестры рассмеялись, даже самому Николаю доставила удовольствие эта неловкость дочери. Одна только Александра Федоровна сохраняла неподвижность лица. Она величественно сидела в кресле и молчала. При выходе из сада и она встала с кресла. Оставалось перейти улицу, чтобы попасть в церковь, здесь стояла двойная цепь солдат, а за этими цепями — любопытные тоболяки и тоболячки.

Первые молчаливо провожали глазами своих бывших повелителей. Тоболячки же громко оценивали наружность, костюмы, пооздки.

— Только наследник похож на императрицу, — говорили одни. — И дочери ни одна не похожа на него, ни на нее, — говорили другие. — Какие роскошные воротники-то у них на кофточках. Чернобурые лисицы. А ожерелье-то у этой дочери, поди, миллионы стоит, болтали бабы. — А это комиссар идет... говорят, долго где-то в тюрьме сидел еще при отце Николае II, — раздалось и по моему адресу. Наконец, мы в церкви. Николай и его семья заняли место справа, выстроившись в обычную шеренгу, свита ближе к середине. Все начали креститься, а Александра Федоровна встала на колени, ее примеру последовали дочери и сам Николай.

Началась служба. Подходит ко мне офицер и сообщает, что некоторые из тоболяков и тоболячек настойчиво просятся в церковь. Выхожу.

— Господни комиссар, почему нас солдаты не пропускают в церковь? — спрашивает почтенная тоболячка.

— Посмотреть бы нам только императора и царицу с детьми...

— Простите, гражданка, они сюда пришли не на смотрины, не ради вашего любопытства, — отвечаю настойчивой тоболячке.

— Мы к обеду пришли, хотим помолиться... говорит какая-то молодая особа.

— Для вас в свое время будет обедня. — Мои слова мало убеждают тобольских граждан, пришлось заявить категоричнее, что в церковь во время пребывания в ней бывш. царской семьи никто из посторонних допущен быть не может и все просьбы совершенно напрасны. Напоминаю стрелкам, караулившим вход в храм, чтобы никого не пропускали. Публика ворчит, недовольна.

— Граждане, неужели вы не понимаете, что не могу же я устраивать для вас зрелище в храме. Не могу водить бывш. царскую семью вам на показ... с этими словами возвращаюсь в церковь. После службы вся семья получает по просфоре, которые они всегда почему-то передавали своим служащим. Перед уходом из церкви, Николай II стал осматривать живопись на стенах.

— Этот храм не самый старый здесь? — спросил он.

— Старинные церкви находятся в нагорной части города, — отвечаю ему: самая старинная, кажется, Ильинская церковь. Наш разговор в церкви на

этом должен был прерваться: надо было освободить церковь для прихожан. Обедня для них служилась после нашей.

Через несколько дней бывший царь опять обратился ко мне с просьбою разрешить ему с семьею пойти за город и осмотреть город.

— Весьма охотно бы это сделал, если бы имел разрешение от Временного Правительства. Кроме того, есть еще и другие мотивы.

— Вы боитесь, что я убегу?— перебивает меня Николай Александрович.

— Этого меньше всего,— возражаю ему: я уверен, что вы и попытки такой не сделаете. Есть нечто другое. Вы читаете газеты?

— Что же в них? Я ничего не заметил,— недоумевая ответил Николай Александрович.

Мне хотелось сказать ему, что даже его юные дочери и те обратили внимание на газетные утки о побеге, о его разводе с Алисой и женитьбе на какой-то другой особе, о переводе в Аболлакский монастырь и пр. Все эти ложные сообщения будоражили население, особенно ту часть его, которая была настроена враждебно и недовольна таким гуманным заключением бывшего царя в губернаторском доме. Ко мне сыпались с разных концов запросы, особенно из действующей армии, от Омского облскома, с которым, кстати сказать, я не имел никаких дел. Керенскому же я телеграфировал еженедельно два раза обо всем происходящем и просил принять меры против газетного вранья. Надо сказать, что ни одна мера не достигла цели. Пока появится опровержение, газетные выдумки успеют облететь всю Россию и даже весь фронт. От последнего неоднократно приходили по моему адресу даже угрозы „пришлем дивизию для расправы с комиссаром, с отрядом и самой царской семьей. Комиссар распустил все. Мы поучим его“ и т. п. Воображаю, что получилось бы, если бы я, не ожидая разрешения Временного Правительства, вздумал повести пленников гулять за город или по городу. Без уличных скандалов, конечно, не обошлись бы эти прогулки. Дело в том, что в это время в местном рабочем клубе некоторыми его членами велась определенная политика против меня и против отряда,— о котором распускали слухи, что он „ненадежен“, и пустили даже в обращение идею: бывшего царя с семьей надо свести на положение простого уголовного и переселить в тюрьму. Некоторые из солдат нашего отряда готовы были поддержать эту идею, но задевало их и оскорбляло то, что отряд называли ненадежным. Клубисты из всех сил старались чрез „Рабочий клуб“ враждебно настраивать тобольское население. При такой обстановке нечего было и думать о прогулках за город. Сообщать обо всем этом бывшему царю не приходилось. Он остался очень огорчен и спросил:— Когда же можно рассчитывать на прогулку за город?

— В настоящее время не могу вам ответить.

На этом кончилась наша беседа на эту тему. Но через несколько дней с такою же просьбою обратились ко мне кн. Долгоруков и доктор Боткин.

— Я думаю, только от вас зависит разрешение прогулок,— заговорил кн. Долгоруков: что может случиться? Абсолютно ничего. Надо же дать воз-

возможность людям свободно гулять, посмотреть окрестности. Ведь дети считаются свободными...

— Неужели я сам об этом не думаю, — останавливаю князя: — кто-кто, а вы-то, князь, должны бы больше других взвешивать неподходящие условия для этого. Кроме того я уже вам неоднократно говорил, что и наши прогулки по городу и за город вызывают открытое раздражение, я неоднократно просил вас не ухудшать положение тех, ради кого вы сюда приехали.

— Я не арестованный, я свободный человек, — возражает князь.

— Совершенно верно, но вы помните, — на каких условиях вам разрешено было сюда приехать: чтобы вы жили в тех же условиях, как и бывшая царская семья, а раз пожелаете выйти, обязаны совсем уехать отсюда. И я без всякого желания огорчить вас или сделать неприятность должен напомнить вам об этом и о том, что, отставив льготы и преимущества для себя, вы портите положение бывшей царской семьи.

— Позвольте, чем? — вмешивается доктор Боткин.

— Тем, что солдаты нашего отряда уже не раз мне жаловались, что свитские всюду ходят. Как вы, доктор, этого не понимаете? Вы видите, что кругом происходит?

— Ничего особенного я не замечаю, — отвечает доктор Боткин.

Его ответ поразил меня еще более, чем ответ князя. Впрочем, докт. Боткин, хотя был человек с высшим образованием и уже почтенных лет, тем не менее он жил какой-то своей жизнью, личной жизнью царедворца. Он был очень расположен к Александре Федоровне и часто являлся ко мне с разными от нее просьбами. В данном случае, конечно, он хлопотал по ее просьбе и не мог понять положение дела. Временное Правительство само подготовляло зыбучую под собою почву и тем ставило меня в затруднительное положение.

Права и власть Временного Правительства постепенно уходили из его рук. Толпы неизвестных лиц в солдатских шинелях бродили по Тобольску. Они с особым ударением произносили: „кровушку проливали“. По городу стали ходить слухи о громадных средствах, привезенных с собою бывшей царской семьей. Была даже попытка организовать ночное нападение на губернаторский дом, но, благодаря сообщению, сделанному мне солдатами нашего отряда, нападение не совершилось. Угрожающие же письма по адресу бывшего царя и его семьи становились многочисленнее. Чтобы избавить себя от бесконечных разговоров с Боткиным по поводу прогулок, я кое-что рассказал ему, когда ушел кн. Долгоруков.

— Этого я не подозревал, Василий Семенович. Теперь для меня понятно. Почему вы сразу не сказали?

— Я уже не раз говорил вам, сколько угрожающих и порнографических писем адресуется на имя не только бывшего царя, но и его дочерей. Если бы я хоть одно из них дал вам прочесть, то вы бы ужаснулись. Я уже устал от всего этого и с нетерпением жду учредительного собрания. Тогда уйду.

— Вы, конечно, не передаете их?

— Странный вопрос с вашей стороны, доктор!

— Извиняюсь, Василий Семенович, я без всякой предвзятой мысли спросил вас об этом, — поправился Боткин, заметив мое возмущение. — Теперь я больше не буду настаивать на своей просьбе.

В. С. Панкратов.

(Окончание следует).

Медовый месяц.

Из воспоминаний о денюшнине на Украине ¹⁾.

Всю ночь, почти до самого рассвета, глухо бухали пушки. Отрывистым, взлывающим каплем. Улица не спала: напуганные разорвавшимися за два-три квартала от нас снарядами обыватели, в такт канонады, то прятались по подвалам, то вылезали из-за своих прикрытий на кривую, крутыми изгибами шедшую по косогорам, лунным светом засветленную улочку — посудачить, узнать „новости“, передать зародившийся в их закутках и подземельях, между кадрами квашеной капусты, свежий „достоверный слух“... „Куреневка горит“... „На Печерске арсенал подожгли“... По вспышкам огней над домами, там, далеко-далеко, в центре города где-то, безошибочно определяли они улицу, которую „большевики громят из мортир“. Квартирная хозяйка моя, баронесса, сухопаренькая, пегенькая, похожая на цесарку (бантик на вертикальной лысинке усугублял сходство), вадративала всеми сухожилиями от каждого доносившегося до нас гула разрыва, но даже пароксизмы дикого страха не могли потемнить ее буйную радость по поводу приближения белых... И кругом, по всей окрестности, в группах, толкавшихся по улочке, шло такое же... Улица уже праздновала.

Сбрасывались маски. Почтенный садовод, вчера еще торговавший „яблоками из собственного сада“, широкоусый, с отвислым животом, оказывался жандармским полковником; прыщавый юноша из дома насупротив, только что получивший ликвидационные по должности курьера городского Собеса ²⁾, демонстрировал желающим свои юнкерские погоны; шагом дальше — в ближайшей пекарне — все, от мала до велика, разного рода и звания „белогвардейцы“: тут и прокурор бывший, и два штабс-капитана, и полковничьи

¹⁾ Статья „Медовый месяц“ представляет главу из готовящейся к печати книги С. Д. Мстиславского: „Денюшники на Украине (из воспоминаний о киевском подполье 1919 г.)“. Автор в описываемое время был членом центрального комитета партии левых соц.-револ. на Украине и был оставлен партией на Украине после ухода советской власти для нелегальной партийной работы и подготовки вооруженного восстания против Деникина. С. Д. Мстиславский заведывал военным отделом партии.

²⁾ Отдел Социального Обеспечения.

леди, и даже — невесты как сюда заброшенный урядник „собственного его величества“ конвоя. Баронесса захлебывалась от восторга на импровизированном уличном рауте выходивших из могил „бывших людей“. Она и раньше, видимо, пользовалась популярностью среди этого люда, и теперь, на радостях, ее шумно приветствовали, ей целовали наперебой мощевидные ручки. Войдя в роль светской, гостеприимной хозяйки, с подчеркнутой любезностью знакомила она меня — глухого провинциала из Кролевца ¹⁾ — со всем этим законспирировавшимся на городской окраине мирком, разъясняя мне ситуации, раскрывая псевдонимы... Что ни домик — одна, две, три... пять „масок“: судейские, жандармы, летчики, отставные генералы, пристава, пара банкиров... Подумать только, — как расцветится погонами и значками после прихода ленинцев весь этот квартал, числивший, по советской статистике, только огородников, разбитых на ноги педагогов, торговцев вразнос и безработных ремесленников...

Визко, здесь же за огородами летший снаряд разогнал, наконец, окончательно по подвалам всю эту фланировавшую толпу. Только упоенная ожиданием грядущих встреч баронесса („ведь, говорят, вся гвардия идет — сколько знакомых!“) осталась со мной на выступе террасы. И смотрел, как вспыхивали отблесками далеких выстрелов на мгн зенитные тучи, а она — говорила о чем-то, без конца... И в такт, и в ритм сухому потрескиванию ее слов пафосно и протяжно выла на соседнем дворе собака.

Снова глухой, близкий, знакомый удар. Шелести ногами по росистой траве, запыхавшись, пробежал человек... „На Соляной бугорчика убило“. Соляная здесь, за углом.

Весть спугнула баронессу...

К утру — тишина над городом. И от тишины этой и от солнечного света словно зажмурились люди: словно протрезвились от вчерашнего ночного разгула; протрезвились и напугались: „не рано ли сбросили маски?“... Так, по крайней мере, почувствовал мне в торопливости отрывочных ответов, и в самом звуке голосов тех нескольких, немногих, что встретил и на улице, выйдя из дому около 11-ти часов... „Кончено ли?“ — „Надо надеяться“... — „А кто вошел в город: деникинцы или петлюровцы?“ В том-то все и дело: этого никто не знал.

В городе мне, в сущности, показываться еще не следовало: но душа не выдержала. Я направился к центру.

Уже на Львовской улице — явные признаки смены. У милицейского участка, на подъезде, суетливые люди с белыми повязками на рукавах. Суетливые — значит новые. Советские воззвания, ашлагги, плакаты сорваны с заборов и стен. Исчезли красные, выцветшие, полинялые флаги над подъездами. Зато „красные кресты“ так и мечутся в глаза — и над дверями домов, и на рукавах встречающих... Но победителей не видно.

¹⁾ Так значилось в моем „агентском“ удостоверении, выданном центросоюзом.

Наконец! Конный офицер с ординарцем: кривые сабли, барабашковые заломленные шапки, причудливые, не наши жупаны... Значит, петлюровцы...

Но через десять шагов — резко бросаются в глаза погоны и кокарды: у ворот гимназии группа солдат под командою офицера в гвардейских капитанских погонах сгружает, охапками, оружие с повозки... Винтовки, шапки, перепачканные, перекрытые свежей ржавчиной... Трофеи?

Странное, сложное чувство при виде этих, так близко, повседневно знакомых когда-то фигур, в гимнастерках и погонах, словно выходящих с другого света, невсамделишные, не такие, как я. Резким толчком, как удар, отдастся в сознании твердое и тупое: „Слушаю-с, господин капитан!“

А на ближайшем углу прохожие толпились перед свеженаклеенным воззванием.

„Воззвание генерала Деникина к населению Малороссии“...

1. Доблестью и кровью армии одна за другой освобождаются русские области от ига безумцев и предателей, давших обманутому народу рабство вместо счастья и свободы.

2. К древнему Киеву — матери городов русских — приближаются полки в неудержимом стремлении вернуть русскому народу утраченное им единство.

3. То единство, без которого великий русский народ, обессиленный и раздробленный, теряя молодые поколения в братоубийственных междоусобицах, не в силах был отстоять свою независимость.

4. То единство, без которого немислима полная и правильная хозяйственная жизнь, когда Север и Юг, Восток и Запад обширной державы в свободном обмене несут друг другу всё, чем богат каждый край, каждая область; то единство, без которого не создалась бы мощная русская речь, в равной доле сотканная вековыми усилиями Киева, Москвы и Петрограда.

5. В виду сего в основу устройства областей Юга России и будет положено начало самоуправления и децентрализации при неперменном уважении к жизненным особенностям местного быта Киева, Москвы и Петрограда.

6. Желая обесилить русское государство, прежде чем объявить войну, немцы задолго до 1914 г. стремились разрушить выкованное в тяжкой борьбе единство русского племени.

7. С этой целью ими поддерживалось и раздувалось на Юге России движение, поставившее себе целью отделение от России се девяти губерний под именем Украинской державы.

8. Стремление отторгнуть от России малорусскую ветвь русского народа не оставлено и поныне.

9. Былые ставленники немцев — Петлюра и его соратники, положившие начало расчленению России, продолжают и теперь совершать свое злое дело по созданию самостоятельной Украинской державы и борьбе против возрождения Единой России.

10. Однако же от изменнического движения, направленного к разделу России, необходимо совершенно отличать деятельность, внушенную любовью

к родному краю, к его особенностям, к его местной старине и его местному народному языку.

11. Промыслом божиям областям Юга России предуказана высокая честь и великая ответственность стать опорой и источником сил для армий, самоотверженно идущих на подвиг восстановления Единой России.

12. Оставляю государственным языком на всем пространстве России — язык русский, но считаю совершенно недопустимым и запрещаю преследование малорусского языка. Каждый может говорить в местных учреждениях: земствах, присутственных местах и в суде — по-малорусски.

13. Частные школы, содержимые на частные средства, могут вести преподавание на каком угодно языке.

14. В казенных школах, если найдутся желающие, могут быть учреждаемы уроки малорусского народного языка в его классических образцах. В первые годы обучения в начальной школе может быть допущено употребление малорусского народного языка для облегчения учащимся усвоения первых начатков знания.

15. Равным образом не будет никаких ограничений в отношении малорусского языка в печати.

16. В борьбе за Единую и Неделимую Россию я призываю всех верных сынов родины к деятельной подготовке армии, несущей страдавшемуся народу избавление от большевистского ига.

17. Пусть все, кому дороги счастье и величие родины и успех наших армий в их неудержимом порыве к сердцу России — Москве, неустанно работают над созданием и укреплением, в ближайшем и дальнейшем тылу, прочной опоры для бойцов, сражающихся на фронте за величие и единство России.

12 августа 1919 года. Таганрог.

Главком. воор. силами на Юге России г.-л. Деникин.

Верно: Ст. ад. опер. отд. штаба Добр. армии Ген. шт. полк. Сорокин.

Итак — добровольцы! — Встреченные всадники, очевидно, из состава какой-нибудь „дикой дивизии“: в таких — на обмундирование закон не писан.

Промелькнул неожиданно, на казенной пролетке, с желтокожим портфелем под мышкой, в форменной фуражке, уже с кокардой, при шапке, С., товарищ по партии, бывший офицер, на время подполья прикомандированный к нашей киевской военной организации. Опознал, улыбнулся глазами: видимо, уже закоренился на новосельи, стал на работу ¹⁾.

Чем ближе к центру, тем больше народу на улицах и тем меньше признаков присутствия добровольцев: ни погон, ни воззваний. Напротив, все

¹⁾ Товарищ этот, с ведома организации, поступил первоначально, по своим офицерским документам, начальником милиции одного из городских районов: в милиции нам нужен был свой человек. Но через короткое время, уже без нашего ведома, он перевелся в строевую, действующую добровольческую часть и был убит в октябрьских боях под Киевом, в рядах добровольцев. Так как он за этот период не держал связи с организацией, — загадкой осталось, перешел ли он действительно к добровольцам или зачислился в строй с революционными целями.

чаще попадаются украинцы,—и в одиночку, и группами, даже в строю... Да подлинно: видел ли я на Львовской офицера?.. Ведь город явственно за галичанами...

Предположение это обращается в уверенность, когда, не доходя Сенного базара, я сталкиваюсь с тремя недавними сотрудниками своими по Всенадату: щирые были украинцы, из украинской секции редакционного отдела—морщились от каждого русского слова... Идут: втроем во всю ширину тротуара, головы вверх, руки в карманы, растопыроу, прифранченные, весенние—улыбка во весь рот... Ну, конечно же, в городе галичане.

Так и есть: над Думою желто-блакитный флаг, перед Думой в строю украинские части... К ним подтягивались, с восточной части города, новые отряды...

.....

Но уже на обратном, с Крещатика, пути довелось убедиться, что в создавшееся положение вносятся „существенная поправка“. Я подходил, по Фундуклеевской, к зданию городского театра, когда сзади, где-то далеко и сиротливо, стукнул одиночный слабый выстрел... Еще один... Прохожие остановились, прислушиваясь—и вдруг шархнулись в стороны. От Крещатика вверх, очертя голову, сломав строй, в беспорядке, перемешав конных с пешими, бросая повозки и орудия, в панике мчалась только что стройными рядами прошедшая мимо нас, видимо к Думе, галицийская часть. Засада? Добровольцы? Или это наши шалят?

Так или иначе—эпизод этот делал всякое дальнейшее блуждание излишним: ясно, что нам придется иметь дело с Антоном Ивановичем—безо всяких примесей.

.....

Все рестораны закрыты наглухо. Ни хлеба, ни молока. Масло по 520 руб. фунт, груши по 8 рублей штука. С трудом нашел, уже в Лукьяновском районе, какую-то грязную кухмистерскую нору, где за шесть сотен рублей дали постного борща с ломтиком черного хлеба.

.....

К вечеру вернулась тоже ходившая в город „на разведку“ баронесса с дочерью. Сведения у них, не в пример моим наблюдениям, документально-точные, так как они были непосредственно у самих добровольцев, на Печерске. Там стоят гвардейские части Деникина. Офицеры сообщили, что официально город занят галичанами, вступившими раньше добровольцев, так как советские войска открыли им дорогу, перебросившись всеми силами своими на добровольческий фронт. Первые украинские разъезды появились в центре города в половине одиннадцатого вечера. После ухода большевиков власть в городе приняло городское самоуправление, немедленно организовавшее охрану города при помощи наскоро на вербованных милиционеров, студенчества и еврейской

„самообороны“. Один из отрядов этой самообороны подвернулся, в Кадетской Роше, под руку наступавшим галичанам и был, несмотря на краснокрестные повязки, вырезан ими наголо: еврей от петлюровца и крестом не укрыться.

Первые разъезды добровольцев перешли Цепной мост в полдень, в воскресенье, когда в Киев подтянулось уже довольно много галицийских частей. На требование добровольческого командования сдать город галичане ответили отказом, но проехавшие на Крещатик офицеры безо всякого труда сорвали украинский флаг с думы и разогнали, при поддержке подошедшего в это время взвода и всеобщем сочувствии толпившейся на тротуарах публики, стоявших на Крещатике галичан. Дело ограничилось несколькими револьверными выстрелами с русской стороны...

Не они ли вызвали панику на Фундуклеевской?

Генерал Виноградов лично поехал в штаб галичан, с ультиматумом: если к девяти часам украинцы не уйдут из города — добровольческие батареи на Печерске начнут бомбардировку.

Не успела баронесса закончить фразу, над городом пронесся многоголосый удар. Посмотрели на часы — ровно девять.

Ждали второго залпа. Но перебаты замерли — без отзвука.

Видимо, галичане вяли голосу... артиллерии.

За чаем, хозяйка, мигая поминутно бантом на затылке, захлебываясь стрекотала о том, что... *c'est prédestiné*...

Она извиняется: закоренелая институтская привычка... *Comment est-ce qu'on dit*... Предостережено?... поп, предупреждено...

— Предопределено.

— *C'est-ça*, предопределено! что Добрармия восстановит Киев. Живший в Слободке, за Лукьяновкой, Федя Юродивый, удивительная личность, прозорливец, *en toute lettre*, предсказывал, что в Киеве утвердится девятая власть. Большевики по счету были восьмой. Узнав о предсказании, они забили Федю на смерть в тюрьме. Об этом знает весь Киев!

— Но ведь, если считать — девятой властью окажутся галичане. Они заняли Киев раньше добровольцев.

Баронесса сотрясается: Но ведь всего на несколько часов! Их глупый полосатый флаг сейчас же сорвали!

— Все равно, — смеюсь я: — хоть час, но были. В крайнем случае — можно считать, что девятой власти вовсе не было. Но добровольцы-то, как ни прикидывайте, — десятая...

Старушка искренно встревожена: она морщит лоб, стараясь вспомнить, как именно выразился, *textuellement*, Федя Юродивый...

А дочь, пятнадцатилетний подросток, в противоположность матери, упитанная, круглая как тыква, загадочно улыбаясь, смотрит неподвижными глазами прямо перед собой... И слышно, в застылом взгляде этом, как отбивают такт гвардейские шпоры... малиновым звоном.

На плече у нее уже трехцветный бантик...

Завтра — оцепенение первого дня сна. Киев вообще быстро осваивается с новой властью, а в данном случае речь шла о власти желанной, долгожданной, богоданной... какие еще эпитеты мог подобрать радостный обыватель „родной“ ему в самом доподлинном смысле Деникинищине. Встреча вошедших в город „родных“ войск оказалась, однако, несравненно более сдержанной, чем можно было предполагать „теоретически“. Свидетели минувших смен уверяли, что немцев, например, киевская буржуазия встречала в свое время не в пример пышнее и внимательнее. Были, конечно, и теперь цветы и речи, банкеты и поцелуи на улицах; и теперь бросались на шею победителям — „внезапным порывом“ особо экспансивные патриотки... Словом, было все, что в таких случаях полагается по штату, но „чего-то“ явственно не хватало. Пафоса не было, не было действительного „привета“. Небрежностью какой-то перекрыта была встреча. Добровольцы чувствовали это: они жаловались на холодность.

Не отрицали ее и сами приветствовавшие.

„Вы сказали: мы холодно встретили вас“ —
печаловалась в „Киевлянин“ некая „Милица Образцова“ —

„Но не знали тому вы причины:
Ведь тогда, как огонь догорел и погас,
Не сверкать уже больше камину.
Мы застыли без вас в эти жуткие дни,
В эти дни беспощадной измены —
Были мы без воды, догорали огни,
А на хлеб возвышались все цены.
Мы ковров расстилать на балконе своих
Не могли б, если б даже хотели,
Реквизицией лучшее взято у нас,
Что похуже, мы сами проели.
В огороде у нас даже нет овощей,
Где же было нам сыпать цветами?..

и т. д. и т. д.

В этом — „по ту сторону литературы“ стоящем произведении ценна его психология, особо обаянна во всей своей горбатости выступающая, именно благодаря неумению добровольческой поэтессы прикрыть мысль стихами. Выявились существо обывательских ожиданий: обыватель ждал добровольцев не для того, чтобы дать, а для того, чтобы получить; и потому он „беднелся“. В его расчеты входило показать себя новой — „родной власти“ как можно более обнищавшим, обобраным, еле дышащим... может быть, больше перепадет.

Что же до „немецкой встречи“, то опять-таки разница понятна: немцы были „чужие“ — их надо было задобрить, побаловать, обеспечить их благорасположение, словом: „установить отношения“. Добровольцы же были „своими“, а со своими стоит ли чиниться — обойдется и так!

Обывательская „реальная политика“...

Всё же цветы были, были приветствия, и самая поспешная, в глаза заглядывающая предупредительность: на тротуарах почтительно сторонились, кланялись, ловили каждый офицерский жест...

Магазины всё еще были, за редкими исключениями, закрыты. Зато рестораны—торговали во-всю: сюда в их стены переместилась на первые дни, без преувеличения, вся добровольческая жизнь.

Я зашел в один из них—два дня спустя после вступления добровольцев. Зала была еще почти пуста—час был не обеденный; только за тремя-четырьмя столиками торопливо глотали снэди какие-то штатские люди. Зато из-за двери, выходящей в коридор, явственно служивший преддверием „отдельных кабинетов“, шел сплошной, жуткий с отвычки, гул многих, возбужденных, пьяных до хрипоты голосов; по временам перекрывало гомон и выкрики бесстройное, лишь на первом звуке своем слитное „ура“. По коридору и залу—от стойки к кабинетам и обратно—шмыгали озабоченной и радостной походкой „лакеи“.

Дрогнув стеклами, распахнулась входная дверь. В щегольском френче английской работы, вылощенный и надушенный, поддерживая под локоть тонконарумяненную, подчеркнуто-красивую даму в кружевной шляпке и головокружительном мантио, вошел гвардейский офицер. Услышав гомон в коридоре, безразлично поморщился, остановился и легким кивком головы подозвал хозяина.

Приютившиеся у окна, за жардиньеркой, четыре достаточно-таки затрапезных „румына“ (как всегда, из местных евреев), только что закончив разухабистую полку, вытирали слипшимися платками вспотевшие лбы... Внезапно шум в коридоре сразу нарос, дверь раскрылась толчком, и в зал ввалились два... три... пять офицеров, багрово-лицых, в расстегнутых кителях. Впереди, цепляясь шпорами, напрягши налитые кровью, пьяные белки, тяжело шагав полыселей, типичного „старого закала“ драгунский ротмистр. Увидев офицера с дамой, он натопорщил усы, приложил руку к козырьку лихо прижатой, сбитой на затылок фуражки и галантно щелкнул шпорами: в тот же миг его неудержимо шатнуло вперед—на встать подвернувшийся столик. Гвардеец снова безразлично повел плечом, отдал честь и, круто повернувшись, увел свою даму из ресторана.

Ротмистр долго смотрел вслед ушедшим, наклонив голову, тяжелым бычьим взглядом, багровея всё больше и больше... Его спутники разбрелись по залу: один пытался взять за подбородок толстую, бородавчатую буфетчицу, другой, припав к стойке, безуспешно, но благодушно тыкал вилок в скользкий, от прикосновения глубоко окунавшийся в укропную жижу соленый огурец...

Ротмистр очнулся наконец. Перевел зрачки на „квартет“, весь расплел и с улыбкой крикнул во весь голос: „Дунайские волны“! Ий-во!.. Нет, к черту „Дунайские“...— „Боже, царя храни“!..

Первая скрипка—он же дирижер—уже занесший было смычок, весь затрясся от неожиданности. Контрабасист отставил ногу.

— Играть, жидовская морда... Не хочешь?!

— Н... н-нот нет... коснеющим языком пролепетал, еле слышно, скрипач.

— Ах, мать твою... тебе ноты! Ты дипломат, мать твою так и этак... о нотах разговаривать. Забыл, каналья, как „боже царя“ играть?.. И ударами кулака пригвождая к месту плясавшие на пути под его толчками столы, ротмистр ринулся к оркестру.

Музыканты взвизгнули и разбежались по залу.

— Нет, ты постой, нет, я тебя научу, как боже царя без нот играют,—фыркая и отдуваясь, словно барахтаясь в воде, гонялся за первой скрипкой драгун.— Ф-Федя, помоги!

„Ф-Федя“ отвел глаза от огурца, аккуратно положил вилку на стойку, вытер обмоченную настоем руку о китель и бросился на-переймы несчастному дирижеру. Секунда—и тот затрепыхался весь, как выброшенная на берег уклейка, под грозной рукой ротмистра. Обадавшие привстали. В этот момент из коридора, запылавшись, выскочил хозяин.

— Господин ротмистр. Василь Федорович. Неудобно, ей-богу неудобно-с. Публика смотрит...

— Публика?... С—х я на публику,—отрезал ротмистр. Однако, выпустил скрипача и грузно опустился на стул, сразу осовев.—Играй, только не меланхолию, чорт тебя забодает. Должен понимать: русские,—понимаешь ты, сволочь,—русские господа офицеры обедают... Дуй „Дунайские“!—И он с облегчением отстегнул последнюю пуговицу кителя.—Федя, поди ко мне: я тебя по голове поглажу.

Но Федя, вернувшийся к стойке и ставший снова меланхолическим, показал шиш, засунув огурец между пальцами...

Хозяин, подмигнув дирижеру, снова скрылся за дверью. Оркестр ударил в смычки... Но в тот же самый миг откуда-то выкатился круглый, обрюзглый, обвисший, такой, как на советских плакатах рисуют капиталистов,—субъект.

— Вася!.. Вася Федорович! Что же „боже царя“? Мы ждем—волею задержали... Понимаешь—за-дер-жа-ли!

Вася встрахнул понишей было головой и обратился к оркестру: Играй „боже“, жидовская синагога!

Федя, насторожившись, оторвался от стойки и устремился в проход между столиками, с вилкой наперевес.

Дирижер раскрыл было рот, но видя, что все пути отрезаны, покорно всунул скрипку под подбородок, давая знак товарищам. Зала напряглась: встать или не вставать...

„Бо-же, ца-ря“... Офицеры потянули руки к козырькам. Обадавший в уголку пожилой еврей торопливо поднялся, нарочито шумно отодвинув стул. Связь стекла огромного зеркального окна видно было, как остановились, при знакомых звуках „царского гимна“, прохожие...

— Перестаньте. Перестаньте сейчас же...

Скрипачи оборвали на полноте. Ротмистр втянул шею в воротник, пригнулся, готовясь кинуться... И не кинулся...

Кривнул эти слова хозяин. Он стоял у входа в коридор, бледный, как полотно.

— Нельзя этого играть...

— Как, нельзя? Играй!—хором крикнули Федя, Вася и круглый.

— Струна лопнула,—простонал скрипач, прячась за пюпитр.

— Да нельзя же, я вам говорю,—уже спокойно, настойчиво повторил хозяин. Один из офицеров, иная, поддержал его:

— По уставу—действительно не полагается.—Трое приятелей переглянулись в нерешительности. Скрипач воспользовался моментом, схватил в охапку пальто и попробовал выскользнуть из-за жардиньерки в дверь. Но Федя так же меланхолически заступил ему дорогу: музыкант сделал вольт и заметался по залу, увертываясь от погнавшихся за ним, доподлинно со сврежением зубным, ротмистра и толстяка.

На шум падающих стульев (у окна и двери, на тротуаре, уже толпились, налезая друг на друга, зрители)—явился было патруль, но, увидя офицерство, повернул налево кругом и исчез. Скачка продолжалась. Хозяин, безнадежно махнув рукой, ушел за стойку. Кутившие в отдельных кабинетах выбрались в коридор и, стоя в дверях, улюлюкали. В самый разгар веселья подоспел второй патруль, на этот раз под командой офицера. Офицер, в преображенской фуражке, с немецким кортиком на поясе, элегантный и подтянутый, остановил драгуна за рукав... Штатский толстяк, только что поднявшийся с пола,—при виде патруля отошел в сторонку, испуганно заерзав глазами. Стоявшие в дверях офицеры быстро разбрелись по кабинетам.

Ротмистр стал объяснять: Товарищеская трапеза по случаю победы, патриотическое чувство... Без гимна—не праздник; его поддержал толстый, внезапно заявивший, что он дал оркестру тысячу рублей за исполнение „национального гимна“. Осмелевший-было с приходом патруля скрипач, услышав о национальном, о чувствах и тысяче рублей, снова съезжился и стал бормотать о лопнувшей струне. Но преображенец, корректно и строго, бровью не сморгнув, выслушал всех и—к великому восторгу хозяина—подтвердил, что „боже паря“... сейчас „играть не принято“, что официальным гимном Доброй армии является Преображенский марш, „каковой и надлежит исполнять в случаях, подобных сегодняшнему“.

Это примирило всех. Через минуту скрипки уже заливались, офицеры держали под козырек, все снова были приятелями, и толстый, нежно бивая головой музыкантам, тащил из кармана бумажник...

Я расплатился и вышел.

.....

На Крещатике пестрели национальные цвета—бантами на плечах дам, бутоньерками в петлицах мужчин. Кое-где свешивались с балконов сине-

красно-белые полотнища. Бродили барышни с цветами, выбирая, кому поднести их. Масса офицеров: они все казались красивыми, добровольческие гвардейцы, загорелые, стройные, — крепкие от добротности стягивавших их станы английских френчей... Редкий из них не имел уже дамы...

На перекрестках обшарпанные подростки, с трехцветными повязками на рукавах, раздавали желтые, сквозящие листья:

Наши цели, за что мы боремся.

„Опубликовано следующее официальное сообщение Председателя Особого Совета при Главнокомандующем вооруженными силами на Юге России, от 10-го апреля.

Главное командование на Юге России обратилось к правительствам Союзных Держав через их официальных представителей со следующей декларацией:

„Прощу вас довести до сведения правительства о целях, какие преследует командование вооруженными силами Юга России в вооруженной борьбе с Советской властью и в государственном строительстве.

I. Уничтожение большевистской анархии и водворение в стране правового порядка.

II. Восстановление могущественной Единой и Неделимой России.

III. Созыв народного собрания на основах всеобщего избирательного права.

IV. Проведение децентрализации власти путем установления областной автономии и широкого местного самоуправления.

V. Гарантия полной гражданской свободы и свободы вероисповедания.

VI. Немедленный приступ к земельной реформе для устранения земельной нужды трудящегося населения.

VII. Немедленное проведение рабочего законодательства, обеспечивающего трудящиеся классы от эксплуатации их государством и капиталом“.

Подлинное подписали: Главнокомандующий вооруженными силами Юга России генерал-лейтенант Деникин. Председатель Особого Сопещания генерал-от-кавалерии Драгомиров и члены Особого Сопещания: Николай Астров, С. Безобразов, А. Герасимов, В. Лебедев, А. Лукомский, С. Маслов, А. Нератов, Д. Никифоров, И. Романовский, В. Степанов, А. Цакани, Н. Чебышев, В. Челищев, И. Шишов, Е. Шуберский, В. М. Энгелье и М. Федоров“.

.....

Как было условлено, в Царском саду, над обрывом, за детской площадкой, меня поджидал ближайший мой товарищ по работе. Опершись рядом на потемневшую, червями источенную балюстраду, не смотря друг на друга, как незнакомые (сзади нас по аллеям бродили парочки), мы не спеша пере-

говорила о делах и, в заключение, обменялись впечатлениями. Он тоже шел с обеда, из ресторана.

Пропьют!— кратко резюмировал он.

Возвращаясь уже в сумерках домой, услышал на боковой, только что пересеченной мною улице—Рейтарской, кажется—дичий вскрик и топот вприпрыжку бегущих ног, и еще какие-то странные, жуткие, неслышанные мною дотоле звуки... Свернул на крик. Топот шел уже на месте. Посредине улицы, сплетаясь в одно тело, молчаливо и сосредоточенно перебирала ногами, сжимаясь в одной точке, тесным тяжелым кругом, толпа. На тротуаре две дамы истерически взмахивали зонтиками. Я заглянул им в лицо—широкие, жадные, пьяные зрачки, раздутые ноздри... красными пятнами взрыты пудренные щеки.

Я понял. Однако, спросил — (попробовать голос):

— В чем дело?

Оторвавшийся от толпы прохожий ответил, сумрачно и вызывающе, нахлобучивая еще глубже насунутую на брови шляпу:

— Коммуниста поймали!

В этот день начались самосуды. Они развернулись во-всю на завтра, когда распоряжением добровольческого командования открыты были для обозрения подвалы чрезвычайной комиссии и Особого Отдела.

Садовая, Елизаветинская, Пушкинская, Фундуклеевская... Весь обывательский Киев перебивал здесь за эти дни... „Ужасы Чрезвычайки“...

Ими полны были газетные столбцы.

Воспоминания, впечатления, отчеты. На время они перекрыли всё: в городе не было других разговоров, как о терроре.

Добровольцы знали, что делали. Страшнее Ч. К. не было и нет слова для обывателя. В данном отношении он нисколько не изменился со времен Великой Французской Революции, с ее „Чрезвычайными комиссиями“, за которые так строго попрекала в свое время, в „Антидоте“, аббата Шапп — венценоснейшая из обывательниц — Вторая Екатерина.

Я говорил уже, что с самого начала „массового террора“ по городу ходили зловещие слухи, которые на все лады, на все краски перебаранивали базары — законодатели киевских настроений: говорили о пытках, истязаниях, мучительных казнях. Назывались имена, исчислялось легендарными цифрами количество жертв.

Вздорность этих сплетен была очевидна. Не потому, чтобы вообще немислимы были в практике Ч. К. отдельные эксцессы; напротив, странно было бы отсутствие их. Жестокость вообще присуща гражданской войне — жестокость даже до мучительства. Даже в военных лагерях, в частях регулярных она проявляется подчас в кошмарных формах. Один из белогвардейских

офицеров, летчик, бывший в Евпатории в период боев за нее, рассказывал мне, что после отражения первого большевистского штурма озлобление офицерских рот было таково, что попавшие в плен красные командиры и, в особенности, матросы, были замучены самыми средневековыми способами: их жгли, привязывали к хвостам лошадей и т. п. Зато и матросы, когда они, наконец, повторным ударом захватили Евпаторию, разделились с пленными офицерами без пощады: часть расстреляли, часть перетопили в море, как скот. В офицерских добровольческих дневниках, во множестве попавших в наши штабы, об истязаниях, издевательствах над пленными красноармейцами перед расстрелом упоминается сплошь и рядом, притом вскользь, как о явлениях обыденных, на которых не останавливается глаз. И если это творилось в поле, в боевой обстановке, не располагающей к эксцессам, то тем возможнее, конечно, подобные эксцессы в затворе Ч. К.

И действительно. — Если бы помещения Чрезвычайки и трупы, найденные там — были далеки от обывательского Киева, — читающий обыватель испытал бы сильнейшее разочарование. В самом деле: под заманчивыми заглавиями — „В царстве ужасов“, „В застенках“, „Екатеринославский кошмар“ и т. д., и т. д. изображалась всюду одна и та же картина: расстрелы, ограбление трупов, зарывание в общей яме¹⁾. Врачи, „наблюдавшие прохождение трупов через анатомический театр“ — (по газетным сведениям это число за время Советской власти достигло 800), констатировали („Киевская Жизнь“ № 6), что ими установлены три стадии расстрелов: 1) револьвером, обыкновенной пулей; 2) винтовкой — разрывной или срезанной пулей и, наконец, 3) кроме револьверной раны, прободение сердца каким-то заостренным оружием...

Репортеры наполняли свои сообщения и описания лирикой — но в фактах... не шли, по существу, дальше только что приведенных: что дали бы они за один хотя бы такой протокол судебно-медицинского осмотра, который лежит предо мной — в целой пачке таких же, ему подобных!

„На трупе обнаружено до 80 ранений, нанесенных различными орудиями и в различные сроки: истязание продолжалось не менее трех дней. Ногти на руках и ногах отодраны каким-то тупым орудием, перпендикулярно пальцам; обнаженное таким образом мясо прижигалось медленным огнем, повторно. Суставы на руках и ногах выворочены, причем ступни отведены назад под прямым углом; колени перебиты. Половой орган истыкан булавами, testicula вырезаны; под веки глаз загнаны щепки, ноздри обуглены. Пявки подрезаны в нескольких местах“.

Такое же описание женского трупа, с теми лишь изменениями, что под ногти, вместо прижигания, вогнаны были колышки, а перед истязанием убитая девушка была изнасилована, при чем в изнасиловании этом участвовали, поскольку удалось выяснить следствию, около 30 человек.

Протоколы подтверждены фотографиями.

¹⁾ См. „Киевская Жизнь“ № 1—7, „Киевское Эхо“.

Таким описанием несомненно удовлетворился бы самый притязательный обывательский вкус. Но, к репортерскому горю — в их распоряжении таких материалов не было: приведенные мною протоколы относятся к Ч. К. лишь постольку, поскольку описанные в них трупы — мужской, труп агента Киевской Районной Транспортной Чрезвычайной Комиссии, а женский — машинистки той же комиссии, захваченных бандой на ст. Трубецкой, близ Кладиева, под Киевом...

.....

Ничего подобного не дали раскрытые подвалы.

Кроме следов крови, ничего не мог разыскать в них самый зоркий репортерский глаз. Не разыскало и специальное расследование. Учрежденная для этой цели добровольцами комиссия сенатора Гуляева не опубликовала за всё время Деникинщины ни одного протокола: факт сам по себе достаточно показательный. „Расстрелы, ограбление трупов, зарывание в общей яме“ — дальше, повторяю и подчеркиваю, разоблачения не пошли. И всё же впечатление их было огромно. Оно было ужасно — в самом действительном смысле слова. Потому что, проходя по следственным камерам, среди разбросанных бумаг, спускаясь в подвалы, где запекалась кровь на плитах, стоя над ямой, из которой вытаскивали разлагавшиеся трупы, обыватель всюду, везде, видел и чувствовал „себя“ — он нес с собой, на этом паломничестве, весь ужас прошлой своей запуганности, весь рой втравившихся в его сознание легенд... И того, что он видел в этих условиях, при такой психологии, конечно, было достаточно, чтобы волосы его стали дыбом.

Чрезвычайная Комиссия, при выезде из Киева, к тому же в спешном порядке, конечно, меньше всего думала об уборке помещений. В последние дни форсированным порядком пересматривались дела, дабы до возможного минимума число арестованных, которых необходимо было вывезти с собой для окончательного следствия. За это время много было освобождено, но много и расстреляно: по подсчету киевской прессы (при добровольцах уже) — 127 человек. Трупы этих расстрелянных не были вывезены, как делалось это обыкновенно, — в анатомический театр университета или на кладбище, а были зарыты, вернее заброшены наспех землею, здесь же, на дворе Ч. К. В подвалах, где выполнялись приговоры, остались следы крови, „расплесканные мозги“, по уверению одних, „обугленные обрывки кожи“, по свидетельству других. Всё это могло быть: расстрелы, вероятно, производились, как всегда, в упор, с выстрела; такой выстрел способен — и „расплескать мозги“ и „обуглить кожу“.

Полузарытые трупы вытащили из земли буквально на глазах толпы. Труп, тронутый тлением, всегда „страшен“, даже на столе препаровочной. Тем страшнее почудились, во дворе легендами застенка повитой Чрезвычайки, эти вынутые из ямы, заведомо расстрелянные мертвецы. Врачи вольные были доказывать (см. „Киевская Жизнь“, № 6), что страшный вид этих последних трупов объясняется тем, что они были зарыты еще теплыми, „с запасом

обычно находящихся в человеческом теле газов". В обстановке Ч. К. и в тех настроениях, что приносили уже с собой, входя под своды, паломничавшие киевляне, каждое пятно на коже казалось стигматом, каждая царапина — следом неслыханных пыток... И этот плач опознавших казненных матерей и жен... И тяжелый, невыносимый смир, буквально стлавшийся по улицам, по которым возили сначала в анатомический, потом на кладбище, на далекую Лукьяновку, разложившиеся до кости трупы.

Обыватели остервенели. Первое же паломничество на Садовую ознаменовалось тем, что выходившая из помещения Ч. К. после „обозрения“ толпа в буквальном смысле слова растерзала еврея-милиционера, стоявшего на посту около рокового дома. По улицам прокатились грязной и кровавой волной самосуды. Бессмысленные, дикие, безумные. Стоило кому-нибудь, первому встречному, указать пальцем на прохожего: „чекист, коммунист“ и улица, словно в гипсовое каком, бросалась, очертя голову, и била, била молча и остервенело руками, палками, бедонами из-под молока, топтала ногами, зонтиками высверливала глаза.

Так продолжалось с неделю. Печать стыдливо молчала. И только после того, как на Фундуклеевской толпа вытащила из собственного его автомобиля и забила на смерть председателя Киевского автомобильного общества, известного спортсмена Подборского, катавшегося с двумя офицерами, приняв его за арестованного чекиста, — „Киевская Жизнь“ (№ 5) поместила статью „Довольно самосудов!“ — объяснив это требование тем, что „хроника последних дней уже зарегистрировала несколько „судебных ошибок“ уличного суда“...

К прекращению самосудов, однако, никаких действительных мер не принималось; напротив, делалось все, чтобы „поддержать настроение“. Множились плакаты с фотографиями „жертв“, работало кино: кроме старой, уже испытанной и в Харькове, и на Юге, картины „ужасов“, готовилась на эту тему специальная „Киевская постановка“.

В газетах продолжали ежедневно печатать „материалы“ о былых процессах, о былых расстрелах.

Столбец за столбцом чернели траурным окаймлением объявления о панихидах „по убиенным“. И надо сказать — эти панихиды действовали на настроение города сильнее всех остальных применявшихся новой властью агитационных средств...

Правда, в Киеве агитация не была доведена до той виртуозности, как хотя бы в Одессе, где инсценировано было для возбуждения соответствующих чувств толпы целое представление.

История его такова: в Одесскую Чрезвычайную Комиссию, еще задолго до Деникинского наступления, поступил на службу белогвардейский агент. Постепенно он выслужился до „секретаря Ч. К.". В момент эвакуации города советскими учреждениями, „секретарь“ сбросил маску и, став во главе отряда, составившегося из законспирированных, подобно ему, офицеров, успел арестовать целый ряд коммунистов. После вступления добровольцев, его жена, нервно больная, была представлена с балкона губернаторского дома толпе —

в качестве „Доры“, будто бы главной героини Одесской Чрезвычайки, лично расстреливавшей и пытавшей — и, под впечатлением ужасов, прошедших у нее перед глазами, — помешавшейся. С распушенными волосами, безумным, блуждающим взглядом, она выкрикивала с угрозой, наклоняясь к толпе, бессмысленные, бессвязные слова — о крови, о пытках... „О, будь у вас всех одна голова!“ Толпа, возбужденная до бешенства, попыталась ворваться, чтобы покончить с „извержкой“ самосудом. Но ее сдержали, кое-как успокоив заверением, что „Дора“ будет расстреляна законным порядком. Эти „демонстрации Доры“ повторялись несколько раз...

В Киеве до этого не додумались. Здесь — попросту арестовали случайно задержанную на улице офицером, которому она подносила цветы, проститутку Розу Шварц, объявили ее „той самой“ Розой, которая, служа в Киевской Губчека, лично будто бы расстреливала арестованных, торжественно судили, — и, несмотря на полное отсутствие данных о том, чтобы эта жалкая женщина, валявшаяся на суде в ногах у „судей“, имела хоть малейшее отношение не только что к Ч. К., но даже и к большевикам вообще, приговорили к смертной казни и расстреляли ¹⁾).

Никто, конечно, не вел учета жертвам уличного самосуда; я не взялся бы определить даже приблизительно их число. Одно только знаю: действительных коммунистов, а тем более „подполы“ расправы эти не затронули. Мне лично известен только один случай: убийство на Владимирском проспекте коммуниста т. Богуславского, опознанного каким-то прохожим. Богуславский не только не стал отрекаться, но в буйвальном смысле слова плюнул в глаза наседавшей на него остервенелой толпе. Товарищ, бывший свидетелем этой сцены, передавал кошмарные подробности оргии над его телом, в которой соперничали между собой разодетые барышни, „господа офицеры“ и базарные торговки.

Расправы эти, вносящие некоторую особую остроту в уличные переживания, нимало, само собой разумеется, не омрачали общего тона первых дней „медового месяца“.

Не омрачали их и начавшиеся — уже с первых дней появления добравшейся на Киевских улицах — грабежи.

Они официально удостоверены были приказами коменданта. Так, в приказе № 4, от 23 августа, мы читали:

„Опять сегодня ночью не видел дозоров в городе. Батальоны жалуются, что у них нет людей, ночью видел банды солдат, особенно 42 Якутского полка.

¹⁾ В Киевской Ч. К. действительно служила некая Роза Шварц, хотя „собственно-ручные расстрелы“ и пр. должны быть отнесены к области базарных рассказов. К слову: я не помню ни одной Ч. К., в которой не было бы, по уверению местных обывателей, такой „собственно-ручной расстреливающей и пытающей“... обязательно женщины и обязательно еврейки. Роза в Киеве, Дора в Одессе, в т. д. С Розой, о которой идет речь, мне довелось случайно встретиться в вагоне, в 1920 году. Случай с расстрелом „за нее“ невинной женщины произвел на нее гнетущее впечатление: она ушла из Ч. К. на советскую, обыденную работу, переименовала фамилию, уехала далеко от Украины. На вид — это была тихая, застенчивая даже, и менее всего похожая на вампира девушка.

а по улице Тарасовской в доме № 5-3-1, якутцы занимались грабежами. Из района Тарасовской улицы всю ночь жаловались по телефону, что солдаты слонялись по улицам и стучались в дома. Требую от комендантов районов строгого исполнения приказов, требую по ночам посылать дозоры от рот, дабы оберечь жителей от грабежей и насилий. Требую, чтобы люди не шатались зря по городу“.

„Замечаю во всех районах нерадивое отношение к службе и к приказам Н — ка гарнизона и моим. Напоминаю всем, что нужно служить усерднее“...

Практических последствий приказ не имел: солдаты продолжали „стучаться“... Но, поскольку они выбирали для ночных своих прогулок по преимуществу более отдаленные, и чаще всего — еврейские районы, грабежи эти не вызывали в городе больших волнений, общее настроение оставалось непотемненным.

Воистину, это был „медовый месяц“... По всем углам откапывали обыватели захороненное от большевистских реквизиций добро. Лукьяновская баронесса изрыла весь сад, извлекая из-под клумб ящички, посуду, всякий хлам, — и горько плакалась, что не может вспомнить места, в котором она закопала (и как на грех глубоко) — дарец с фамильным жемчугом и другими ценностями. Не выжженный ни реквизициями, ни красным террором, а лишь в подполье загнанный, мещански-роскошный быт „верхних слоев“ снова вырвался „на волю“: на Крещатики, в Купеческий сад, распахнувшиеся снова настсжь рестораны, кафе-шантаны — шантаны доброго старого времени, где за бокалом шампанского любители могли вновь чмокать губами под пансонетку, млеть отъездов кружевных юбок над черными ажурными чулками...

По-прежнему, в обгон друг другу, помчались по Крещатику лихачи... Однотонная при Советской власти, толпа расцвятилась петлицами, золочеными пуговицами, погонами, значками... 25-го августа (ст. стиля) открылись театры. Бель-этаж оперы снова засиял бриллиантовыми фермуарами дам, пластронами мужских фраков.

Базар, по случаю торжества, всемиловейше снизил цены ¹⁾.

Даже внешне Киев всемерно старался принять прежний, дореволюционный вид, стать тем, чем был он во времена „Единой Неделимой“. Спешно реставрировались магазины. Золоченая фигура Михаила архангела, патрона Киева, венчавшая здание Городской Думы и снятая при большевиках злокозненностью Алгасова, ведавшего коммунальным хозяйством, в порядке боевого приказа генерала Бредова была восстановлена на прежнее место ²⁾.

¹⁾ Рассказывали, что для понижения этого добровольческое интендантство ежедневно выбрасывало на базар, через подставных продавцов — известное количество „казенной“ хуки, по значительно пониженным, по сравнению с базарными, ценам, заставляя этой конкуренцией выравниваться и остальных торговцев.

²⁾ Работа эта была возложена — в виде штрафа — на подрядчика, который, по добровольческим сведениям, снижал ее при Алгасове. Уже после окончания работ по постановке выяснилось, что штрафовать подрядчика не было ни малейших оснований: он к этому делу касательства не имел. Бредов великодушно отметил это в специальном приказе, но... денег все-таки не заплатил.

Обыватель праздновал. Но... праздновал свое „освобождение“ и праздновал — „для себя“.

Добровольцы остались как-то вне праздника. Правда, депутации благодарили и приветствовали, генералы декларировали, репортеры добросовестно переписывали в газетах и приветствия, и декларации; всё, как полагается. В городском театре шли вечера „патриотического экстаза“ (по образному выражению „Киевлянина“), на которых Купчинский, ставший из газетного репортера штабс-салоуистом Добармии, чревоуещал под немолчные всплески „о распятии и воскресении великой России“. У приемных вербовочных пунктов, расцвеченных плакатами: „Ее Величества лейб-гвардии Кавалергардский полк... Его Величества Л.-Гвардии Гусарский... Его Высочества... Драгунский... Его Высочества... Стрелковый“... толпились записывающиеся добровольцы... По городу говорили, что в первые дни их зачислилось до 24 тысяч, в том числе много мальчишек....

Таким образом, внешне — всё как будто обстояло благополучно. На банкетах за стаканом вина царило редкое единодушие...

„Г. Благовещенский поднял тост за русский национальный флаг.

„Вместо Карла Маркса, — говорит он, — мы повесили на стене сегодня национальный флаг. Все три цвета национального флага олицетворяют три лучшие качества души русского человека“.

„Генерал В. З. Маймаевский поднял тост за русского гражданина и добавил:

„Пусть умрет русский интеллигент и да воскреснет русский гражданин.“

На это некий В-ненко, в „Киевской Жизни“, из которой заимствуем мы этот живописный отчет, названный правым с-ром ¹⁾, ответил:

„Ваше превосходительство! Русский интеллигент уже умер, но русский гражданин продолжает жить до сих пор. Добровольческая армия разбудила пламя национального чувства в русском гражданине. {На клич Добармии отозвался русский гражданин. Я поднимаю тост за славу родины и предлагаю взять в качестве заложников членов семейств большевиков. Сами большевики ушли, но семьи остались здесь. Возьмем же из их числа столько заложников, сколько большевики томят наших граждан неизвестно где в военно-гражданском плену. Вспомните, господа, о несчастных наших согражданах, возьмем заложников из большевистских семейств и не будем выпускать до тех пор, пока не возвратятся все дорогие нам наши узники“...

Восстановленное городское самоуправление ²⁾ в лице городского головы с.-ра Рябцова тоже „не находило слов“ для выражения чувств городского населения, от имени которого выступал на всех банкетах и обедах почтенный

¹⁾ Киевская организация партии с.-р., которую я по данному поводу запрашивал, категорически опровергала принадлежность этого господина к партии.

²⁾ Временный состав Киевской Городской Управы был утвержден 27 августа (ст. ст.). тогда же было опубликовано „Положение о выборах в городское самоуправление“; очевидно, чтобы сгладить тот факт, что управа допущена была к работе на основе упрощенного управления городским хозяйством.

социалист — он рассыпался в горячих пожеланиях, „чтобы блестящий успех, сопровождающий движение генерала Деникина, расширился и привел к конечной победе над большевиками в сердце России“ ¹⁾ Его братание с генералитетом восило не только экспансивный, но и попросту скандальный характер. Ему соревновали, однако, представители и других общественных организаций...

Впрочем, в данном отношении тогда же, в эти первые „медовые“ дни, можно было заметить достаточно резкое расслоение этих организаций на две группы, которые я бы назвал „интеллигентской“ и „деловой“. Интеллигентская — в которой примыкали организации „свободных профессий“, высшие учебные заведения, земские и городские деятели и т. д. — шла к добровольчеству не только безоговорочно, но и с действительной готовностью на некоторые и, при обычной всероссийской пассивности, немалые жертвы.

Вторая же, „деловая“ группа, в состав которой входили финансисты, промышленники, инженеры и т. п., не скупясь на приветствия и сладкие слова, на деле определенно присматривалась к добровольцам и, „впредь до выяснения“, к „жертвам“ и вообще материальному пособничеству готовности, по существу, не выражала.

Расслоение это очень явственно сказалось на „соединенных заседаниях общественных и технических организаций“ — по вопросам помощи Добармии. Особенно характерны в данном смысле заседания 1-го и 2-го сентября (ст. ст.). На первом из них, превратившемся, по выражению „Киевской Жизни“ (№ 6), в сплошную и искреннюю овацию по адресу добровольцев и, в частности, прибывшего на собрание генерала Бредова, — в пышности слов состязались все: инженеры, техники, сахарозаводчики, лесопромышленники, профессора, кооператоры, но практическую помощь — не обещали, а принесли только высшие учебные заведения — Университет и Политехникум, советы которых постановили прекратить занятия и передать весь персонал и всех студентов в распоряжение добровольческого командования. „Деловые же“ представители не пошли дальше предложения... немедленно организовать „комитет по самообложению в пользу армии“: насчет же „наличных“ — они воздержались...

Еще резче, быть может, отметилась та же черта на втором из упомянутых мною заседаний — на собрании 2-го сентября, носившем, не в пример первому, чисто деловой характер. Обсуждался вопрос о финансовой помощи Добармии. Открывший заседание профессор Суслов сразу фиксировал необходимую на первый случай сумму — 300 миллионов: конечно, — поспешил он оговориться, — государственный банк откроет на эту сумму кредит, и ее в дальнейшем постепенно будут покрывать самообложением. Не успел он кончить, как в зале стало пасмурно. Однако, оспаривать названную сумму, явно продиктованную Суслову „свыше“, не решились. Только представитель банков наиболее угрожаемой организации рискнул заявить, что 300 миллионов вообще не собрать: даже большевики и те при наложении контрибуции

¹⁾ См. „Киевская Жизнь“ № 2.

не пошли дальше 200 миллионов, при чем реализовать из них удалось не более ста при строжайших репрессивных мерах. Тем не менее стали обсуждать раскладку; атмосфера нагрелась сразу.

Все, наперебой, заявляли о полном своем разорении и кивали на соседей: банки рекомендовали взыскать побольше с сахарозаводчиков, „так как эта отрасль промышленности находится в особо благоприятном положении“. Сахарозаводчики протестовали: они не только не благодарствуют, но сами ходатайствуют о трехмиллиардной правительственной субсидии, без которой им вообще на ноги не встать: а вот банки... Представитель банков Финкельштейн огрызнулся: „банки и так уже дали миллион сто тысяч,— по нынешним временам, это — сумма!“ Откровенность „сахарных“ и банков окончательно развязала языки остальным. Общий тон стал настолько неприличным, что один из представителей „интеллигенции“ на собрании этом, председатель Губернской Земской Комиссии, Черныш, счел необходимым резко вмешаться: „Может быть, было бы лучше, чтобы снова пришли большевики?.. Неужели нужны еще новые, еще более жестокие уроки, чтобы люди научились помнить не только о себе, но и об интересах государства? Собрание как будто сконфузилось, но все же дело и здесь ограничилось избранием весьма громоздкой „комиссии по самообложению“ — и передачей вопроса о принципах раскладки на предварительное обсуждение по союзам. Это было равносильно канцелярской отписке.

В последующие дни эта „сдержанность“ „деловых“ не только не уменьшилась, но явно стала напряженнее, по мере того как настойчивее становились добровольческие власти в своих пожеланиях получить не резолюции, а денежные знаки. Эта „тяга к деньгам“, как, недовольно пожимая плечами, говорил при мне в кооперативном союзе, в котором я служил, видный Киевский финансист, — немало смущала деловую группу: у нового правительства явственно не было денег... что называется, даже на „карманные расходы“. Были (и даже в избытке) деньги у офицеров и у солдат, но у правительства, как такового, их не было. Но это еще, в сущности, полбеды. Смущал финансистов больше добровольческий метод добывания средств: в нем не было „государственности“. Большевики в свое время „декретировали“, реквизировали, налагали контрибуции — и взыскивали их на деле при помощи своего государственного аппарата. Это было неприятно, подчас даже убыточно, но это импонировало обывателю: сбор шел „государственным порядком“, чувствовалась власть, чувствовалось — пусть „чужое“, враждебное даже — но все же „государство“. У добровольцев же с их так резко проявившейся на первых же порах падкостью во всякого рода „сборам в пользу“ проглядывало какое-то „обращение к благотворительности“ — начало отнюдь не государственное и, еще того хуже, свидетельствовавшее о „малой на себя надежности“, о неуверенности в том, что их „закон“ окажется действительным. Но государство, неуверенное в своем праве взять, что ему нужно, и больше того неуверенное в том, что сможет взять — деловому человеку доверия не внушает. Даже в столь, казалось, „бесспорном“ вопросе, как аннулирование советских денег,

добровольческая власть проявила непонятную нерешительность: как будто самое слово „деньги“ имело на нее магическое действие. Приказом коменданта 19 августа советские деньги были объявлены „имеющими хождение только среди населения, но не подлежащими приему в казначейство и правительственные учреждения“. Но и этот половинчатый приказ был, однако снят, „отсрочкою“ после протеста городской управы, припугнувшей неизбежностью нового подъема цен и возможностью приостановки трамвая, водопровода и электрической станции, так как для расплаты с рабочими она располагала только советскими знаками... Постепенность аннулирования „большевистских денег“ была, быть может, „экономически“ вполне правильна; но она шокировала, — опять-таки, как проявление, не в пример большевикам, „малой на себя надежности“.

Тем внимательнее присматривался деловой мир Украины к организовывшемуся правительственному аппарату. Строился он по старой, царской еще, вековой системе, без мудрствований. Это, конечно, нравилось, но не нравилось, что восстанавливаемые учреждения — все эти разного рода „присутственные места“ и „судебные установления“ — как-бы „намечались“ только: они не развертывались. Конечно, может быть, опять-таки это было и благоразумно: к чему было создавать штаты генерал-губернаторства, когда бои шли еще под Фастовом, на Коростенском направлении красные держали Ирпень, а с юга пробивалась Одесская группа советских войск... сохранившая, по слухам, всю свою боеспособность... „Управлять“ пока было, как будто, нечем, и назначенный председателем „восстановленной“ Губернской Земской Управы Черныш мог свободно обходиться даже без машинистки — ибо в „губернию“ пока нельзя было и высунуться. „Незаполнение штатов“ в этих условиях (при полном почти, к тому же, отсутствии денежных знаков) — повторяю, было рационально: но оно, опять-таки, производило скорбное впечатление — непрочности, неуверенности, даже в „сегодняшнем дне“.

И поскольку финансисты и промышленники всегда ищут твердой почвы, — они не торопились „вложить капитал в дело“.

Их отношение предопределило, в кратчайший срок, некий поворот и в общих настроениях „общественных“... Уже через неделю какую-нибудь после вступления добровольцев, „либеральная печать“, неистово бившая в тимпаны и бубны в первых своих передовицах, значительно снизила тон.

Изю всех добровольческих правительственных учреждений сразу же развернулась и сразу же дала очень широкую работу — она только контрразведка. Факт вполне естественный: прежде всего надо было „расчищать почву“. К этому „расчищению“ призваны были не одни только органы контрразведки, но и „все вообще“, до последнего обывателя. Уже в первый день вступления добровольцев комендантом города, полковником Удовиченко, издан был приказ (№ 2), в котором имелся следующий пункт: § 4. „Обязываю районных комендантов немедленно по занятии своих участков принять меры к очистке их районов от преступных элементов: коммунистов, комиссаров и прочей мерзости. Производимые с этой целью обыски и аресты должны вестись

командами обязательно под начальством отборных офицеров, под ответственностью командиров, от которых офицеры должны иметь соответствующее удостоверение, предъявление ими которых обязательно перед началом обыска или ареста"... С другой стороны, домкомам и квартирохозяевам приказано было немедленно сообщить в контр-разведку обо всех квартирантах, въехавших в дом или квартиру в течение последнего месяца.

Этот приказ не только был выполнен, но был выполнен с преизбыточным усердием: эпидемии самосудов сопутствовала эпидемия доносов. „Общественные организации“ сами поспешили заняться „пересмотром“ своего состава в целях удаления всех „скомпрометированных“. Так, первое же собрание киевской адвокатуры поставило на очередь вопрос об исключении из сословия всех адвокатов, „опорочивших себя советской службой“. Еще больше стараний проявили „жители“. Эта обывательская готовность сыграла немалую роль, так как Советская власть, в целях затруднения добровольческих репрессий и облегчения нелегальной работы, незадолго до эвакуации отобрала у всех домкомов домовые книги и уничтожила их, так что „документация жильцов“, на которой обычно в царские годы основывала свои розыски охранка, была разрушена в корень. Разрушена, но не уничтожена, как предполагали большевики, оказавшиеся недостаточно осведомленными в домовых порядках: кроме домовых книг, в большинстве домов ведутся еще так называемые „поквартирные списки“; они уцелели, так как в приказе о сдаче книг предусмотрены не были. Но, само собою разумеется, сыск не дал бы результатов на основании одних бумажных данных, если бы обыватели не помогали „живым словом“: они доносили почти повально на всё и вся, казавшееся подозрительным. При таких условиях арестные помещения контр-разведки, естественно, были постоянно переполнены, несмотря на то, что с „ликвидацией“ подозрительных на большевизм долгой канители обычно не тянули: сплошь и рядом кончали в ту же ночь, без помпы и лишней переписки...

Приказ о „перерегистрации в контр-разведке всех переехавших в течение последнего месяца“ меньше всего коснулся „подполья“, против которого он был, естественно, прежде всего направлен. Во-первых, потому, что подавляющее большинство подпольщиков устроено было на надежных „своих“ квартирах и потому не попало в списки; во-вторых, выручил смерч доносов: в его вихре, среди сотен тех ни в чем неповинных граждан, которых ежедневно сгоняли со всех концов Киева „на проверку“ под военным и милицейским эскортом, совершенно затерялись те немногие товарищи по подполью, что попали на подозрение своих квартирных хозяев или были выданы „соседями“.

Крупных „провалов“ не было. Хотя печать и оповестила, торжествуя, что удалось арестовать в Киеве „командующего внутренним фронтом Ворошилова, Евгению Бош, спутницу (sic) [Пятакова, товарища Розу, истязавшую офицеров в Киевской Чрезвычайке, целый ряд видных коммунистов с подложными паспортами и членов городского комитета партии коммунистов“ („Киевская Жизнь“ № 3, 20 августа), а газета „Молния“ (издававшаяся „за честь и свободу России“ агитационным поездом имени Каледина, прибывшим

в Киев одновременно с войсками Юзефовича и Бредова) пустила даже сенсацию о том, что „на Подоле, сгруппировавшиеся там советские власти, отрезанные от железной дороги и пытавшиеся выехать на пароходах, были захвачены в количестве нескольких десятков в плен“ (№ 7, 6/IX), а на „Черниговском шоссе захвачен в плен весь состав Чрезвычайной Следственной Комиссии большевиков, расстреливавший граждан тысячами“ (№ 14, 21/VIII), — на деле ничего подобного не было: никто из ответственных работников в эти дни арестован не был, за исключением члена нашего Центрального Комитета Гриши С., выданного провокатором, втершимся в Киевскую партийную организацию незадолго до эвакуации; за последние дни, в секретариате и партийном клубе мы постоянно натывались на него: видимо, он успел выследить Гришу, Анатолия Р. и еще двух членов военного отдела, арестованных в один с Гришей день. На обыске он присутствовал лично, без стеснения. Доставленный в контр-разведку Гриша был немедленно подвергнут допросу, при чем у него потребовали сообщения адресов остальных подпольщиков; некоторых, очевидно, со слов того же провокатора, назвали по именам. Отказ от показаний привел к тому, что дальнейший допрос велся уже с „пристрастием“: Гришу подвергали форменным истязаниям (били сапогами по половым органам и т. д.), в результате которых его пришлось отправить в больницу при Лукьяновской тюрьме в бессознательном состоянии. Он пробыл после этого свыше четырех месяцев. Товарищи из военной организации отделались дешевле: их, не заводя в контр-разведку, отвезли прямо в Лукьяновскую тюрьму.

Добровольцы всемерно решились отмежевать свою контр-разведку, в сознании общественных кругов, как большевистских Ч. К., так и от бывшей царской „охранки“. Начальник Киевской контр-разведки Л. Д. Щучкин в беседе с представителями печати заявлял, что... „контр-разведывательное отделение само никаких расстрелов не производит. Смертные приговоры могут быть вынесены лишь по решению военно-полевого суда“, что же касается до кар административного порядка, то они подлежат компетенции „судебно-следственной комиссии, являющейся органом с чрезвычайными полномочиями: все дела, возбужденные в контр-разведке, получают в судебно-следственной комиссии окончательное разрешение“. „Она является не только судом в самом строгом смысле этого слова, но вместе с тем и органом административным. Так, исключительно от нее зависит, направить ли данное дело в военно-полевой суд или разрешить это дело ей самой. Судебно-следственной комиссии предоставлено, например, право наложения на виновных денежных штрафов в порядке административном“... (Цитирую по „Киевскому Эхо“ 23 августа—5 сентября).

Но размежевание это удавалось плохо. Проходившие, благодаря нелепо массовым арестам сквозь контр-разведку, обыватели разносили о ней зловещие слухи. Все жаловались на невероятно-грубое обращение, на побои... Обращалось внимание, что арестованные женщины уводились из камер для совершенно недвусмысленных целей. Один из задержанных без всяких оснований, доктор Г., еврей, выбросился из окна контр-разведки, доведенный до отчаяния

издевательствами офицеров... При допросах к методу, испытанному на Грише С., прибегали, по рассказам заключенных, неоднократно. „Боротьба“—подпольный орган Украинской коммунистической партии, сообщал, под поручительством партии за верность этих данных, что из числа пострадавших,—арестованного вместо брата, служившего курьером в Буп'е, 18-ти летнего гимназиста подвешивали за половые органы, допытываясь адресов, а жену т. С., красного командира, изнасиловали гнуснейшим способом.

Но суть, конечно, не в этих эксцессах, а в общем характере „раб ты“: он был таков, что в протоколе одного из заседаний Международного Красного Креста (помощи жертвам гражданской войны), после постановления Комитета об обращении к генерал-губернатору с ходатайством о немедленном принятии мер к прекращению творящихся в контр-разведке бесчинств, имеется заявление популярнейшего в Киеве врача, члена Красно-Крестного Комитета, Петровского, занесенное в протокол по его требованию с тем, чтобы оно обязательно было доложено Драгомирову. Заявление это гласит: „добровольческая контр-разведка на практике гораздо хуже всяких большевистских чрезвычайек“. Нужно заметить, что автор заявления не только не был „лево настроен“, но, при возвращении Советской власти, предпочел уехать за границу, опасаясь репрессий.

При той массе арестованных, с которой приходилось иметь дело добровольчеству в первые дни, контр-разведка не смогла бы „управиться с делами“, даже при том „упрощенном делопроизводстве“, которое практиковалось охранками, если бы ей не оказывали деятельную поддержку воинские части: в них—„разгрузка“ производилась без всякой судебной-следственной, комиссионной волокиты. Особо крепкой в данном отношении репутацией пользовался штаб Главнонапа или, как его попросту называли у нас в подпольи, „штаб“. Там выписывали в „расход“ арестованных по одному, необходимому и достаточному количеству: „жид“.

Так или иначе, за первые полтора месяца „оккупации“ по официальному заявлению начальника контр-разведки „истреблено в одном Киеве 2000 коммунистов и им сочувствующих“. Истреблено негласно, ибо приговоров военного-полевого суда, „единственного правомочного приговаривать к смерти“, состоялось за этот период не более шести-семи. Добровольчество демонстрировало мягкость—„даже по отношению к преступникам“...

Ровно через неделю после вступления добровольцев, ранним утром, когда я еще лежал в постели, в дверь осторожно постучали. „Войдите“.— Вошел офицер, в сопровождении солдата с винтовкой.

— Ваши документы.

„Эпидемия доносов“ не миновала нашего Лукьяновского особняка: баронесса, несмотря на каждодневные любезнейшие беседы за утренним и вечерним чаем, не стерпела—сбегала куда следует: ведь я въехал к ней, хотя и по самой антибольшевистской рекомендации, в самый день ухода большевиков; вещи привез не сам. Кроме того, уже два раза, особо расчувствовавшись, она завела со мной разговор на ту тему, что во мне „видна порода“... Для агента

по закуске повидла и варенья—это уже явная подозрительная роскошь. Так или иначе, но я стоял перед фактом:

— Ваши документы.

Я хотел встать.— Нет, нет,—лежите!— В голосе прозвучали угрожающие ноты.— Где они у вас?

Они были под подушкой: метрика, свидетельство об отбывании воинской повинности, удостоверение о службе в кооперативном союзе, университетский диплом, еще кое-какие свидетельства...— Нет, мало. Представьте ваш советский документ. Чем вы занимались при советской власти?

— Но если я недавно в Киеве, и при Советской власти, до поступления в кооперацию, ничем не занимался. Слава богу, не нищий...

— А паспорт ваш где?

— Паспорт уничтожили при большевиках, так как выдан он был министерством внутренних дел, в котором я служил до переворота: боялся репрессий. Да и к чему паспорт, если есть метрика?

Молчит, барабанит пальцами по столу. Взгляд падает на забытый вечером, на самом виду венецианский стилет, в чеканках, X века, ножнах.

— Это что же у вас—штычок-с?

— Для разрезывания бумаг... видите ведь,—равнодушно говорю я, закидывая руки за голову.

Снова пауза. Солдат неподвижно стоит у двери, анкета в руке.

Офицер снова углубляется в документы. Повертывает, смотрит на свет.

— Документы настоящие, — с раздражением говорит он, — но какое-нибудь удостоверение советское у вас должно же быть. Вы когда въехали?

Говорю число. Он окликает заставшуюся у двери баронессу: она поправляет; в тот день я только выходил улаживаться, а переехал гораздо позже, в субботу, уже после того, как большевики ушли...

Делаю снова попытку встать: „Нет, нет, лежите!“ Нервно перебирает книги, тетради, записки на письменном столе. На этот счет я спокоен: подбор сделан на совесть: книги по кооперации, несколько духовных, немного „старой беллетристики“; в записках—по преимуществу способы определения различных сортов повидла и варенья и яная рецептура, нужная мне для торговых моих обязанностей. Несколько политических заметок в толстой тетради среди литературных выписок,—явно антибольшевистские. Офицер читает их, отодвигает тетрадь и снова долго-долго барабанит пальцами.

И внезапно нелепо спрашивает:

— Вы действительно потомственный дворянин?

Взбешенный, я сажусь на кровать и, смотря на него в упор, говорю резко, сверху вниз: „А вы господа поручик не ви-ди-те?“

И, уже не обращая на него внимания, начинаю одеваться. Он проводит рукой по лбу и встает, явно избегая встречаться со мною глазами.

— Я пройду за инструкциями, — обращается он к солдату. Ты пока здесь останешься. Я или сам вернусь или кого-нибудь пришлю...

По уходе офицера солдат немедленно садится на стул. Я кончаю одеваться.

Снова стук в дверь — и, к ужасу своему, вижу на пороге товарища С., подпольника, члена нашего Ц. К.; баронесса, конечно, „сочла излишним“ предупредить его, что я под арестом. Солдат быстро встает, скидывает вянущую и требует документы: у С. — все в порядке, и паспорт, и удостоверение о службе в том же центрсоюзе, даже с фотографической карточкой. Он перешел на нелегальное положение заблаговременно, не так как я — по „третьему звонку“, как посмеивались товарищи. Садимся, беседуем: о союзе, о городских делах, о базарных ценах. С. подходит к окну, явственно ориентируется в местности. Затягивать свидание наше, однако, опасно: с минуту на минуту к солдату могут „прибыть подкрепления“. Мы улавливаемся глазами — „на случай“. Я захожу за письменный стол, прислонясь спиной к которому сидит солдат. С. прощается. Минута напряжения. Солдат поднимается, усиленно моргая глазами: видимо, не знает, как правильно поступить. Однако, пропускает С.

А через пять минут я, в свою очередь, спрашиваю недопускающим возражения тоном пропуска „помыться“. Собирая туалетные принадлежности — на столе, в комод, в чемодане... захватываю необходимые для дальнейшего... если дело повернулось бы на арест. При моем выходе баронесса стремительно удаляется во внутренние апартаменты... Я мог бы свободно уйти, вслед за С., но жаль терять и нынешнюю свою, так облегчающую работу „кооперативную легальность“ и превосходные документы: решаю на риск доиграть партию до конца.

И решаю правильно. Через полчаса офицер возвращается. Решено, впредь до наведения справок, ограничиться взятием с меня подписки о несыведе... „в виду моего потомственного дворянства“.

В следующий же присутственный день я явился в свой „участок“, подав заявление о выдаче мне, на основании предъявленных документов, паспорта взамен уничтоженного при большевиках, и после короткой „информационной“ беседы со свежеспеченным и явно конфузившимся еще своей должности приставом получил его. Возникло сомнение, как писать: „из потомственных дворян Полтавской губернии“ или просто „из граждан“. Я настаивал на дворянстве, паспортист сомневался. Наконец, сбегал куда-то в верхний этаж за справкой и вернулся торжествующий: надлежит писать, впредь до восстановления сословий Учредительным Собранием, всем без различия сословий: „гражданин“.

С добровольческим „видом на жительство“ в кармане было уже совсем спокойно. Тем не менее, учитывая случившееся, благоразумно было временно сойти с киевского горизонта, тем более, что ставить работу было несколько рано: надо было переждать, пока сляжет первый, наиболее опасный шквал доносов и сыска.

С. Мстиславский.

Победоносцев.

Опыт характеристики — по письмам ¹⁾).

I.

Победоносцев прожил долгую жизнь. Родился он в 1827 году, умер в 1907 г., 80 лет жизни — это много. Кажется, сколько пользы можно было принести России в такой долгий период времени! Особенно, если вспомнить о тех, всем известных, условиях, в которых протекала эта жизнь в зрелые годы и в старости... Но это только „кажется“. На самом деле в тех условиях, в которые поставила судьба Победоносцева, люди редко приносили пользу, наоборот, — скорее приносили вред той стране, которую они пытались опекать, — и Победоносцев не был исключением.

Будучи школьным учителем двух царей — отца и сына, он был потом членом правительства этих царей и стремился продолжать свое учительство и в отношении государственного правления, но так, чтобы от этого второго учительства не страдала, а преуспевала и укреплялась его карьера, столь счастливо сделанная. Какое же политическое учительство мог дать Победоносцев своим бывшим ученикам? Разумеется, такое, которое не противоречило бы положению этих учеников, ставших самодержавными монархами, которое, наоборот, вело бы к укреплению самодержавия и через то содействовало бы углублению влияния учителя на учеников, — влияния, охотно ими принимаемого уже потому, что оно несло с собой их собственные интересы и царские предрассудки, тесно связанные с детства же усвоенными царскими интересами. На почве служения тому и другому — и царским интересам, и царским предрассудкам — Победоносцев стремился укрепить свое собственное положение главного руководителя и вдохновителя правительственной политики. Иначе говоря, он действовал так, как и до него и после него действовали все карьерасты мира. Наибольший успех он имел при первом из

¹⁾ Автор пользовался как изданными письмами (Победоносцев. Письма и записки. Петроград 1923, т. 1 — 2), так и неизданными. Последние будут напечатаны в следующей книге „Былого“.

своих учеников—при Александре III, получившем прародительский престол „из рук революции“ (как ему писал из тюрьмы Желябов) и потому, естественно, сильно почувствовавшим необходимость в противодействии. Таким противодействием революции, роковым образом ускорившей воцарение Александра Александровича, и явился в его глазах Победоносцев. Константин П. трович Победоносцев был годен для этой роли. Свое собственное воспитание он закончил в школе Правоведения, в привилегированном учебном заведении, откуда обыкновенно выходили юристы охранительного направления, с большим позывом на блестящую карьеру и с малою разборчивостью в средствах для достижения своих, иногда и довольно темных, целей. Но, насколько известно, правоведы не блистали особою религиозностью и святостью, а между тем Победоносцев как раз отличался именно этими свойствами, без них не было бы и Победоносцева, которого мы все знаем. Недаром впоследствии его единоышленник, но сердитый на него за какие-то подвохи, кн. Мещерский определил его как „человека, постоянно именем божим действующего и говорящего“ ¹⁾. Такую закваску Победоносцев, вероятно, получил раньше, до правоведения, может быть, даже еще в семье своего отца, магистра богословия, но, несомненно, он сам ее усилил много позднее правоведения, в ту пору, когда он считал себя главным пестуном российского самодержца. Верным историческим чутьем он понял, что самодержавие и богодержавие—неразрывно сросшиеся близнецы, при искусственном отделении которых друг от друга последует смерть для того и другого. А понимая, что второе положение (богодержавие) есть высшее идеологическое оправдание первого (самодержавия), он все силы своего ума направил на пропаганду своему бывшему ученику, унаследовавшему российский трон,—пропаганду благочестия в соединении с искусительностью карать и пресекать. С именем божим на тонких устах Победоносцев подталкивает Александра III посылать врагов самодержавия и богодержавия в тюрьмы, ссылку и на виселицу. И царь—при первом взгляде на эти отношения—заранее готов слушаться своего бывшего учителя, как мальчик, только-что простившийся с менторской указкой, но в сущности еще не навывший без нее обходиться.

Не оставляя и в зрелом возрасте следовать советам Победоносцева даже в выборе статей для поучительного чтения ²⁾, Александр Александрович ищет моральной поддержки от этого своего ментора на первых же порах своего царствования. Положение свое он считает очень трудным. „Молюсь и на одного бога надеюсь“, пишет он Победоносцеву. Но на самом деле, „одного бога“ ему мало. Ему нужен еще Победоносцев, и новый царь усердно его зазывает к себе, усердно просит ему помочь и „облегчить“ ему его „первые шаги“ ³⁾.

¹⁾ Победоносцев, Письма и записки, Петроград, 1923 г., II, 796.

²⁾ Письма и записки, т. I, стр. 3.

³⁾ Там же, 43—44.

Того не надо и просить. Он „верный слуга царя и отечества“, и советы доброго Константина Петровича, удачно угадывающего царские мысли, сыплются Александру Александровичу, как из рога изобилия. И какие советы! Прежде всего, Победоносцев боится, что царем завладеют другие, которые не менее, чем он сам, бывший царский учитель, пожелают выступить и в роли политических менторов. „Все будут ждать в волнении“, пророчествует Победоносцев новому самодержцу, — „в чем Ваша воля обозначится. Многие захотят завладеть ею и направить ее“. И далее поучает: „Первые дни Вашего царствования будут особенно знаменательны и требуют особой обдуманности и осмотрительности“. Видно, не надеясь на самостоятельное проявление Александрам III этих свойств, услужливый ментор с искусственным пафосом беззаветно преданного царю слуги прибегает к мольбе, дабы не только самодержец осуществил свое самодержавие, но и остался бы благодарен советнику и вдохновителю. „Ради бога“ — пишет последний первому, — „в эти первые дни царствования, которые будут иметь для Вас решающее значение, не упустите ни одного случая заявлять свою личную решительную волю, прямо от Вас исходящую, чтобы все слышали и знали: „Я так хочу“ или „Я не хочу этого“. Никакая предосторожность не лишняя в эти минуты“. Советы вразумительные и чрезвычайно популярно-напоенные, как взрослому мальчику, только что вступившему в жизнь, но недостаточно еще понятливого. Победоносцев привык в отношении к Александру Александровичу к роли школьного учителя и, как многие школьные учителя, полагал, что он всегда может преподавать своему бывшему ученику полезный совет, а то обстоятельство, что его бывший ученик сделался царем, лишь поддавало ему жару и поднимало его честолюбие, и он ни мало не усомнился от руководства, напр., чтением своего питомца перейти к политическому руководству. И Победоносцев сразу взял довольно властный тон политического ментора, как бы поставив себя неизмеримо выше по пониманию того, к кому он обращал свои советы, и при этом, повидимому, остался при убеждении, что ответом ему будет лишь царская приватность, ибо, де, он стоит на страже только царских интересов. Ради них он на первых же порах прибегает к доносу. Но, зная, что в доносе необходимо на что-либо или на кого либо опереться, он ссылается на „простых русских людей“. Эти последние „простые русские люди“, как увидим дальше, в представлениях Победоносцева всегда подтверждают любой его донос, благо проверять их не требуется и даже считается неприличным. „Простые русские люди“ в качестве благородных „послухов“, доказывающих справедливость доноса, это — своеобразное народничество Победоносцева. И он пишет в том же письме, в котором дает Александру советы твердости и неукротимости: „Не я один тревожусь: эту тревогу разделяют со мной простые русские люди. Сегодня было уже у меня несколько простых людей, которые все говорят со страхом и ужасом о Мраморном дворце. Мысль эта вкоренилась в народ“. Донос — не подлежащий сомнению, на дядюшку вззошедшего на престол царя, но ссылка при этом на „народ“, только что перед тем фигурировавший в виде „простых русских людей“, ссылка, значит,

на низшие классы общества: не я, де, один Победоносцев, а и „народ“ так думает, и народ боится, как бы не сделали-какой либо пакости из Мраморного дворца... Но и „народу“ не надо давать потачки. „В настоящую минуту“, пишет ментор своему ученику, „необходимо было бы от имени Вашего обратиться к народу с заявлением твердым, не допускающим никакого двоевластия“... Конституция едва ли не более утратила Победоносцева, чем Мраморный дворец, и ментор из кожи лез, чтобы не допустить своего „самодержца“ до „двоевластия“. А между тем ему казалось, что этот „самодержец“ как бы совсем исчезает, заволакиваясь гатчинским туманом,—и Победоносцев спешит вытащить царя из его добровольного уединения и показать „народу“ „твердым“ и на всё готовым. „Вместе продолжаю“, продолжает свои полезные советы ментор, „думать, что Вашему величеству необходимо появиться в Петербурге. Постоянное безвыездное пребывание Ваше в Гатчине возбуждает в народе множество слухов самых невероятных, но тем не менее принимаемых на веру. Ныпче из народа уже спрашивают, правда ли, что государя нет уже на свеге и это скрывают“¹⁾. Так Победоносцев подготавливал своего воспитанника к твердому самодержавному курсу, вероятно, полагая, что запугиванье—один из вернейших путей к этому.

Победоносцев достиг цели: „конституция“, хотя бы и Лорис-Меликовская, была смазана самодержавным манифестом, бывшим для ее сторонников полною неожиданностью, последствием чего и явилась „перемена“ правящих лиц, замена „диктатуры сердца“ диктатурой победоносцевского ума. На некоторое время победа доноса обозначалась полная, и не удивительно, что с того заседания министров, с которого Победоносцеву пришлось поспешно уехать, „многие“, по его собственным словам, от него стали „отворачиваться“ и „не подавали ему руки“, ибо им было ясно, что неожиданный манифест царя, написанный Победоносцевым, есть не что иное, как торжество его доноса на всякое проявление живых сил и стремлений жизни. Это было поистине „историческое“ заседание. Главный герой чувствовал всю значительность его и с простотой, столь несвойственной ему в его печатных выступлениях, описал это „событие“ на память для себя, а может быть и для иных целей. „Рассуждали много“, рассказывает Победоносцев в этой интимной записи, „и всё вертелось около учреждения конституционного“. Очевидно, дело вперед не подвигалось: „ходили вокруг да около“. Высочайшей особе, присутствовавшей на заседании, повидимому, надоело это топтание на одном месте, тем более, что, вероятно, он, как и Победоносцев, был осведомлен о близком финале всех этих „вертевшихся“ около конституции рассуждений. „В. кн. Владимир“, повествует Победоносцев, „в конце выразился, что надо отложить дело“. С ним согласились и начали выходить. Тут-то и разорвалась бомба, несомненно долженствовавшая служить компенсацией той бомбе, которую разорвало подписавшего Лорис-Меликовскую конституцию Александра II. „Когда вышли“, рассказывает дальше Победоносцев, „Набоков заявил новость о ма-

¹⁾ Письма, т. I, 47.

нифесте и прочел" и продолжает: „Взрыв негодования. Абаза, выходи из себя, кричал: надо остановить, надо требовать, чтобы государь взял назад это нарушение контакта, в который он вошел с нами. Тут Лорис-Меликов остановил его. Тут Абаза с азартом сказал: кто это писал этот манифест? Я выступил и сказал: я. Минута драматическая". Так говорит Победоносцев. После того ему ничего не оставалось, как „поспешить уехать": минута была слишком драматична, чтобы ему, как опытному лицедею, дольше оставаться на сцене: это — „минута" именно на эффектный уход с нее. То обстоятельство, что после подобных эффектов бывают другие, вроде отворачивания и не желая знаясь с таким лицедеем, не могло смущать Победоносцева: оно, повидимому, считалось им лишним доказательством его верной службы своему питомцу — царю, почему он подчеркивал в своей записи и эти последствия „неожиданного пассажа" после заседания об „учреждении конституционном". Как истый бюрократ, полагавший, что „тут" делалась настоящая история страны, а не просто закончилась одна из успешно проведенных доносительных интриг, Победоносцев считал необходимым отметить в своей записи и самое место, где разыгралась рассказываемая им комедия с „драматической минутой", похожей на водевильный финал, сразу разъясняющий все недоразумения и qui pro quo: „Все это", заканчивает Победоносцев свое описание, „происходило на Фонтанке в кабинете Лорис-Меликова" ¹⁾. Впрочем, это вполне точное занесение на память даже места достопамятного события, может быть, было нужно Победоносцеву для нового доноса своему воспитаннику. Ясно было — это сквозит и в приведенной записи, — что на первых порах нового царствования Победоносцев победил и просмаковал свою победу. И на посторонний взгляд не только тогда, но много спустя казалось, что бывший учитель Александра III сделался полновластным диктатором России. Но в действительности это было не совсем так.

II.

Что конституция Лорис-Меликова и некоторых других прикинувших к нему министров не состоялась под влиянием Победоносцева и Каткова, это — очень хорошо известно. Оба эти охранителя устоев прежней крепостной Руси зорко стояли на страже, при чем московский публицист чрезвычайно ретиво исполнял взятые им на себя обязанности правительственного звонаря. Когда Лорис-Меликов, Абаза и даже Игнатьев вознамерились провести проект о губернских комитетах из выборных от крестьян (3) и от других сословий (4), итого из 7 членов, Катков ударил в набат, сейчас же написав письмо своему высокопоставленному собрату по доносам, — ибо боялся, что злокозненное предположение ненавистных ему министров застанет Победоносцева врасплох: „Это значит", звонил Катков, донося о пронюханной им министерской крамоле: „просто на просто насильно революционизировать страну" ²⁾. Но По-

¹⁾ Ibid, 170.

бедоносцева в таких случаях трудно было огорошить новостью; у него самого было чрезвычайно обостренное чужье и, как величественная гончая, вытянув свою длинную шею и насторожив свои как-то странно оттопыренные уши, он едва ли не первый узнавал, откуда грозит опасность охраняемому им крепостническому самодержавию. В этом отношении он несомненно обладал большим талантом, был поистине победоносен, ибо в этом была его сила. Его воспитанник Александр III охотно пользовался этим талантом Победоносцева, подобно тому как он пользовался другим талантом — писать невразумительно и невнятно, но напыщенно и елейно, что бывшему ученику казалось верхом глубокомыслия и оригинальности (и не ему одному)¹⁾. Но пользовался Александр III обоими талантами Победоносцева не просто, а сметлив, что это пользование ему выгодно, и пользовался постольку, поскольку ему было выгодно.

В самом деле, нельзя представлять себе Александра III только послушным теленком. Этот, довольно ограниченный (как изображает его С. Ю. Витте, благоговевший перед его „царственностью“) и даже несколько туповатый человек был себе-на-уме и обладал довольно крепким здравым смыслом — разумеется, в тесных пределах своего малоповоротливого, тяжелого ума, вполне гармонизировавшего со всей его физической и моральной личностью. При вступлении на престол Александр III был вполне законченным человеком. Общее мировоззрение и политические „убеждения“ уже крепко залегли в его сознании, и было мало шансов на то, чтобы, сделавшись царем, он сразу стал поступать не в своем „духе“, как-нибудь иным образом, не сходным тому „православию и самодержавию“, которым проникнуто было и его общее мировоззрение, и его политические взгляды. На то не было ни внешних, ни внутренних условий. Катастрофа с отцом, с одной стороны утешая, с другой — внушала мысль, что скорее всего, для спасения себя, надо действовать утешением же; на такую мысль натакивало и победоносцевское политическое воспитание, приводившее к убеждению, что власть царя, как и бога, должна быть грозной. Так думать было приятно Александру Александровичу-юноше, когда его учил почтенный профессор Константин Петрович, и „наследник“ охотно усвоил такие взгляды, а впоследствии, смекнув, что они вполне подходят к его положению, разумеется, не склонен был изменять их; так царским бытием определялось царское сознание. Много ли, после этого, надо было сделать усилий Победоносцеву, чтобы убедить Александра III не выводить конституции, а к захваченным врагам самодержавия — отнестись беспощадно, как к злодеям? Ответ ясен. Очень немного, или, точнее говоря, никакого труда это не стоило ментору, ибо того, что он советовал, желал и сам Александр III: это были уже его собственные убеждения. Он даже думал, что они ему свойственны от природы, что такой уже он уродился. Природных свойств, конечно, игнорировать не приходится, ибо, помимо довольно мягкотелого, хотя и не доброго отца, позади него стоял крепкий волей и рассчитанно

¹⁾ Даже бывшему народоуправителю, ренегату Л. Титомирову (Шсыжа и записки).

жестоким дед; но в данном случае, человек не только родился с предрасположением к православно-самодержавному миропониманию, но успел и сродниться с таким миропониманием, как наиболее подходящим к его положению.

Поэтому, когда в 1883 году Победоносцев в письме своем к царю снова затянул свою обычную песню о пагубности конституции, то Александр III ответил ему в том смысле, что это и его собственные убеждения и что в сущности беспокоиться на его счет нет ни малейших оснований:... „Не допущу“ заявил он, „этой лжи на святой Руси, в этом будьте уверены“ ¹⁾. Тем более ментор ломился, повидному, в открытую дверь, когда после 1-го марта 1881 года, ссылаясь на русских людей, на „всю землю“, вопиал о необходимости смертной казни обреченным революционерам... „Уже“, писал Победоносцев, „распространяется между русскими людьми страх, что могут представить вашему величеству извращенные мысли и убедить вас к помилованию преступников. Может ли это случиться? Нет, нет и тысячу раз нет — этого быть не может, чтобы Вы пред лицом всего народа русского, в такую минуту, простили убийц отца Вашего, русского государя, за кровь которого вся земля (кроме немногих, ослабевших умом и сердцем), требует мщения и громко ропщет, что оно замедляется. Если бы это могло случиться, верьте мне, государь, это будет принято за грех великий и поколеблет сердце всех ваших подданных“ и пр.

Здесь ментор возвысился до пафоса. Он так же, как когда-то Носиф Волоцкий, во имя православия требовавший казни для „жидовствующих“, устрашал самодержца богом, пред коим тот совершит тяжелый грех, если помилует, и народом, которого возмутит помилование, с тою только разницею, что новый воспитатель царей проповедывал во имя самодержавия, теократическую теорию коего разработал первый воспитатель царей в своем „Просветителе“. Ясно, что Победоносцев слишком запоздал. Цари давно прониклись древней идеей благочестивого носифлячества о спасительности для их положения (равно как и для „православной церкви“) — смертной казни, и новый самодержец не был исключением, а потому он немедленно и ответил, начертав на том же победоносцевском письме следующие бессмертные о предназначенных царем к смерти строки: „Будьте спокойны, с подобными предложениями ко мне не посмеет прийти никто, и что все шестеро будут повешены, за это я ручаюсь“ ²⁾.

За „это“ он, действительно, мог ручаться. Характер Александра III был именно таким. Он был далеко не мягкого нрава, и в этом отношении напоминал своего деда Николая Павловича. Но мстительностью, которую проявлял гатчинский затворник в течение всего своего царствования, он походил не только на сурового и жестокого деда, но и на слезливого своего батюшку. Пощады Александр III не знал. Когда несколько позднее, после 2-го первого марта, он прочитал письмо к нему убитой горем матери А. И. Ульянова,

¹⁾ Ibid., I, 302.

²⁾ Ibid., I, стр. 47.

приговоренного к смертной казни, письмо проникновенное, трагическое содержание которого из камня выбило бы искру чувства, то „миротворец“ разрешился лишь следующим замечанием, написанным им тут же, на самом письме: „чего же она смотрела раньше“, и участь заранее осужденного высокодаровитого, стойкого и возвышенно-настроенного юноши была окончательно решена.

Известны теперь также другие резолюции Александра III на докладах об арестованных революционерах, исполненные злобы и ненависти. Такого человека, как Александр III, не надо было учить мести, он сам дышал местью, и Победоносцев, проповедавший ему против милости, проявил излишек или наивности или усердия не по разуму, как бы действуя на основании одной мудрой поговорки о каше, которую маслом не испортить.

Антипод Победоносцеву Л. Н. Толстой, обратившись к Александру III за милостью для „шестерых“ народовольцев первого призыва, еще более оттенил противоположное усердие обер-прокурора святейшего синода, но и великий художник-моралист невольно этим своим предприятием доказал лишь то, что он был доброе, хорошее, хотя и старое, дитя, тем более, что свое чистое от предвзятых мыслей, истинно христианское письмо Лев Николаевич направил к царю через ловкие, но грязноватые руки Победоносцева; если бы Л. Н. Толстой точно мог себе представить отношение к его просьбе со стороны этого человека, постоянно шепчущего имя божие, по всей своей елейной душе стремящегося к виселицам для ближних, то он не стал бы надеяться на Победоносцева, как на своего пособника у царя в предложенном им обоим деле прощения и милосердия. Царский советник на письме Льва Николаевича к Александру III написал, презрительно подчеркивая всю нелепость толстовских желаний, — как бы, для вящего вразумления царя: „Он писал, что необходимо оставить злодеев без всякого преследования“. Не сумасбродство ли и не безумие ли это? хочет сказать ментор. Но Александра Александровича не надо было так вразумлять: он и сам прекрасно понимал всю утопичность толстовской просьбы.

Победоносцев нужен был ему не для такой поддержки, хотя новый царь не мог быть недоволен, что мнения Победоносцева сходятся с его собственными. Александр III сам иногда отмечал совпадение своих мнений с победоносцевскими — и это, повидимому, было ему приятно, особенно когда эти мнения как нельзя лучше соответствовали его собственным интересам. „Это, правда, странно, как мы сходимся мыслью“, написал Александр III Победоносцеву, имея в виду отданное им, царем, распоряжение о назначении своего брата Алексея на место подозреваемого в крамоле дядюшки, Константина Николаевича; царь только-что сообщил о своем желании кому следует, как получал в этом же смысле доносительское письмо от Победоносцева: „сошлись мыслью“.

Учителю не трудно было угадывать мысли бывшего своего ученика. И он угадывал. К этому свелась его негласная профессия.

III.

Влияние Победоносцева на Александра III преувеличено. Многое из того, что делалось как бы по указанию Победоносцева, в сущности было

продуктом собственных желаний и интересов царя. Ему бывший учитель нужен был больше как исполнитель и выразитель (вроде древне-русского думного дьяка) его мысли и воли, чем как инициатор тех или других руководящих распоряжений, ибо Александр III, давно утвердившись на традиционной идейной платформе, как истый кулак, старался использовать и тех своих слуг, которые к укреплению самодержавия шли иным, непобедоносцевским путем, но более соответствующим потребностям времени, игнорировать которые представлялось невозможным. Но как письменных дел мастер, как ученейший выразитель излюбленных царем общих воззрений и провозгласитель эффе́ктных, но лживых, не подлежащих исполнению слов, Победоносцев очень импони́ровал своему полуграмотному бывшему ученику на российском троне. И Александр III систематически заказывал Победоносцеву манифесты, рескрипты и всякого рода официальные царские ответы в полном убеждении, что всё это будет не обычно, не казенно, а провинциально, высокоте́льно и неуловимо, как праздничный колокольный звон... Так, напр., 20 февраля 1884 года Александр III просил Победоносцева составить для него ответ Москве: „Обыкновенно“, писал царь, „их пишет Танеев, но на этот раз надо ответить хорошо, и поэтому обращаюсь к Вам“¹⁾. Эти обращения проходили через всё царствование Александра III и всё с тем же мотивом: надо написать „хорошо“, не по-танеевски.

И Победоносцев писал хорошо -- по-победоносцевски. И рассуждал на общие темы не хуже. Александру III нравилось. Но бывало, что, вообще одобряя Победоносцева и подчеркивая свою солидарность с ним во мнениях, Александр III, по-какому то забавному недосмотру, преподносил ему не совсем лестные вещи. Однажды, в самом начале царствования, когда престиж Победоносцева стоял высоко и, пожалуй, вне конкурса, Александр III (27 апреля 1881 г.), посылая ему для прочтения письмо, только что им полученное из Парижа, и назвав это письмо „курьезным“, прибавил: „Странно, что многие мысли совпадают с мыслями, проведенными в манифесте, Вами составленном“. Мысли из „курьезного“ письма не сделали ли и манифест, составленный Победоносцевым, „курьезным“? Обсуждал ли автор манифеста этот вопрос, остается неизвестным, но несомненно одно, что нечаянно данную „учеником“ пилюлю „учителю“ пришлось проглотить.

Александр III, однако, ценил мнения Победоносцева, и при том не только те, которые имели в виду карать и устанавливать твердый курс самодержавия, что ему самому казалось таким естественным и крайне полезным, но и те, в которых звучали слова о „народе“, об единении царя с народом и т. п., заимствованные отчасти из московского славянофильства, а главным образом из официальной политической философии николаевского царствования, снова возводившегося в перл создания. Мнения со звонкими словами были тем более приемлемы, что они, будучи подходящим орнаментом к основному требованию „ежевых рукавиц“ и внушая всем мысль, что утвер-

¹⁾ Там же, полутом I, 301; II, 445, 931, 819.

ждается чистое русское, национальное направление в политике, в то же время ровно ни к чему не обязывали и не мешали „тащить и не пущать“. В самом деле, на том совещании в самом начале царствования, когда Победоносцев громко: подписанную Александром II так называемую „конституцию Лорис-Меликова“ или, как выражается очевидец Валуев, „сказал невозможную речь“, в которой назвал всё предложенное и всё европейское величайшей фальшью¹⁾, он же, Победоносцев, говорил о „народе“, о связи с народом, о единении царя с народом. Валуев называет всё это „обычными фразами“ и полагает, что Победоносцев, ораторствуя о народе, „подразумевал всегда так называемый черный“²⁾, Александр III слушал „обычные фразы“, вероятно, не без удовольствия, ибо они прекрасно соединялись с обычной, традиционной политикой самодержавия. Он понимал, что фразы о народе нелишняя орнаментировка всякой политической речи, всякого политического писания, регламентов и манифестов. Нравились, очевидно, они и его отцу, имевшему слабость, вслед за льстецами, считать себя „дарем-освободителем“. Ему Победоносцев представил записку о внутреннем состоянии России некоего досужего дворянина Голохвастова, получив ее от автора, а в этой записке указывалось, как на якорь спасения, — на земский собор, на единение царя с народом, и утверждалось, что „миром да собором и чорта поборем“³⁾. Александру II записка понравилась. Это неудивительно, но дело в том, что к ней сочувственно отнеслись и Победоносцев, на имя которого она была адресована, и его бывший воспитанник, сам Александр III. Очевидно, все эти люди, начиная с автора, здесь под земским собором разумели не такой земский собор, о каком мечтали русские революционеры: известно, что и Нечаев, которому при его попытках говорить на суде зажимали рот, выводимый из залы судебного заседания успел все-таки прокричать: „Да здравствует земский собор!“⁴⁾. Ясно, что земский собор Голохвастовых, Победоносцевых и Александров — простая „обычная фраза“ без настоящего реального содержания, и в лучшем случае он рисовался им в виде тех проектировавшихся конституционных учреждений другого канцелярского преобразователя — Сперанского, которые только казались бы действующими, а на самом деле не действовали бы. Победоносцев, заклятый враг народопрательства, представил однако записку Голохвастова Александру II, против „конституционных“ уступок которого он с таким неистовством потом выступил, когда того уже не было в живых, и сам продолжал в то же время лепетать фразы об единении царя с народом. Что это значит? Только одно, что Победоносцев прислуживаться готов был всякими способами, но в отношении собственного народа всегда был внутренне убежден, что ссылаться на него никогда не лишнее, благо он никогда этого не узнает, что

¹⁾ Былое, 1906 г., № 10 — 12. Из истории „конституционных“ реаний в 1879 — 1881 г.г., П. Е. Щеголева, стр. 283.

²⁾ Ibid., I. 18 — 19.

³⁾ Русская революция в судебных процессах и мемуарах, Коваленского, Москва, 1923 г., стр. 78 и 94.

это тот самый „козел отпущения“, который примет на себя всякие обязательства, не получив никаких действительных прав, и что самое единение его с царем есть не что иное, как безгласное и полное повиновение царской воле. Победоносцев глубоко был убежден в том, что так в сущности думают и сами цари, что единственно желательная для них и приемлемая перспектива управления именно в таком „единении с народом“. Александр III особенно крепко стоял на этой позиции, и записка Голохвастова лично для него не могла быть толчком к какой-либо коренной государственной реформе. Новый царь о таковой и не помышлял, а старый его пестун наставлял его лишь в том, что необходимо переменить некоторых правительственных лиц. Это тоже вполне совпадало с „преднамерениями“ самого царя. Александр III возвратил Победоносцеву записку Голохвастова с земским собором и, как бы взамен ее, получил от своего бывшего учителя другую, составленную как будто бы не самим Победоносцевым, но во всяком случае по его подробным указаниям; эта записка заключала в себе едкую критику государственной деятельности Лорис-Меликова и действий полиции в момент первоапрельского события. Донос был составлен ловко, и Александр III, успевший уже войти во вкус этого рода заботы своего советника, поспешил сообщить ему о полной своей солидарности с ним во мнении о прочитанной записке: „Действительно“, написал ему Александр III, „много правды и здравого смысла“¹⁾. Но это чисто платоническая резолюция, ни на что не обязывавшая ее автора, вроде другого его утверждения по поводу письма Рачинского о пагубности пьянства. „Действительно“, писал Александр III Победоносцеву, „кабак это гибель России“²⁾. Еще бы! Но приведенные утверждения не мешали царю содействовать спиванию народа и спиться самому, хотя последнее, может быть, и не было губительно для России. Из всего сказанного ясно, что оба эти человека — Александр III и Победоносцев, — подходили друг к другу и потому считали себя необходимыми друг для друга, но неизмеримо больше был нужен Александр Александрович Константинову Петровичу, чем наоборот, ибо бывший ученик Победоносцева уже выучился, сам хорошо знал, что ему делать и чего не делать, и только желал от бывшего своего учителя технической помощи и словесной поддержки, которую можно было принять и даже просмаковать, раз дело уже решено, или которую, с неменьшим удобством, можно было, поблагодарив за словесизацию, отнести к „обычным“, ни к чему не обязывающим „фразам“.

IV.

При так славившихся отношениях между царем и взысканном милостью подданным, последнему оказалось возможным выступить в качестве стража государственных и народных интересов, как эти интересы понимались ими обоими. Судя по переписке Победоносцева, как напечатанной раньше, так и помещаемой в следующей книжке „Вылого“³⁾, заботы и хлопоты этого

¹⁾ Письма и записки, I, 52.

²⁾ Письма и записки, I, 818.

³⁾ Письма Победоносцева к гр. Н. П. Игнатьеву.

„царского советника“ о государстве и народе вертелись, главным образом, около трех вопросов жизни: 1) вопроса о личном составе правящей бюрократии, 2) вопроса о направлении общественного мнения и 3) вопроса о „народной нравственности“. Победоносцев, подобно вообще всем людям его круга, был убежден, что высшие сановники, светские и духовные, — настоящие делатели истории, что именно от замены одного сановника другим зависит ход дел первостепенной государственной важности; отсюда интриганство в связи с проведением на тот или другой „пост“ надлежащего, отвечающего выдвиженным тенденциям лица приобретало в глазах правящих бюрократов значение самой серьезной государственной деятельности; царь был того же самого мнения: не даром Александр III, когда ему Победоносцев официально сообщил о смерти киевского митрополита Филофея, тут же на бумаге написал, очевидно к сведению обер-прокурора святейшего синода: „Я интригую за Платона“. Интрига, — это та моральная среда, в которой Победоносцев чувствовал себя, как рыба в воде: он дышал интригой и прекрасно владел ее главнейшими вспомогательными орудиями — доносом и клеветой. Интрига пикала его честолюбие. В начале царствования Александра III Победоносцев имел повод торжествовать: главные действующие лица правящей бюрократии конца предшествовавшего царствования были заменены другими, и Победоносцев несомненно приписывал эту замену своему влиянию. Как же было не торжествовать победы? Но и сам царь был не промах, он думал так же, как Победоносцев, и шел даже дальше его в понимании своей собственной выгоды, т.-е. выгоды безудержного деспотизма. 15-го мая 1882 г. Александр III сам указывал Победоносцеву, что министр внутренних дел Игнатьев „сбил с пути и не знает, как идти и куда идти“. Граф Игнатьев был заменен другим графом — Д. Толстым. Путь шествия этого последнего министра обозначился перед царем настолько определенно, что никакие критические замечания Победоносцева не поколебали бы авторитета Д. Толстого, и смерть его явилась для Александра III „страшным ударом“ ¹⁾. Ценил этот царь и других деятелей того же типа, способных блюсти его царские интересы, и в числу таких людей принадлежал знаменитый своими передовицами Катков с компанией. Несомненно эта охранительная газетная клика натравила Александра III на министра народного просвещения бар. Николаи, сторонника университетского устава 1863 г. Царю и самому претило все, что пахло реформами шестидесятых годов и, следовательно, „Мраморным дворцом“. Бар. Николаи он считал последователем бывшего министра народного просвещения Головинна, „сего“, по выражению Александра Александровича, „злосчастного гения и друга Константина Николаевича“. „И я знаю из верных источников“, писал царь Победоносцеву, „что они оба работают и пихают Николаи идти против общих желаний правительства“. Ясно, что у Александра III были и другие осведомители, кроме бывшего учителя по гражданскому праву и по всяческому бесправию. На основании других „верных“ же „источников“, царь намечал

¹⁾ Письма и записки, II, 900.

замену Николая Деляновым, прося от Победоносцева лишь „ответа“ на все эти „предположения“ ¹⁾. Само собой понятно, что Победоносцеву, к которому за помощью обратился и бар. Николай, ничего не оставалось, как позолотить последнему пилую в рескрипте отставляемому министру, заказанном, по обыкновению, царем своему негласному секретарю по составлению деликатных бумаг. Катков был недоволен рескриптом и в письме к Победоносцеву прочел ему строгую нотацию, ибо, по мнению этого охранителя, надо было просто выгнать, а если уже говорить что-либо выгоняемому, то обругать: это был мужчина, не понимавший высшей политики. Александр III, подписавший рескрипт, в этом отношении, очевидно, был согласен со своим елейным секретарем, ибо тоже полагал, что слова ни к чему не обязывают, что дело все-таки сделано: неподходящий министр удален и заменен подходящим; но устроено это было не по совету Победоносцева. Не всегда последнему приходилось быть первым в высших правительственных „предположениях“. Бывало так, что он „предполагал“, а царь и другие лица располагали, и осуществлялось иное „предположение“. Выдвинута была кандидатура А. Ф. Кони на должность обер-прокурора Сената: Победоносцев высказался против этой кандидатуры — на том основании, что Кони, будучи председателем суда, „выказал крайнее бессилие“ — во время процесса по делу Веры Засулич. Министр юстиции Набоков, настаивая на назначении Кони обер-прокурором, утешал Победоносцева тем, что пратительство только выигрывает в данном случае: из несменяемого по должности председательствующего в суде Кони становится сменяемым, и его всегда будет можно уволить ²⁾. Успокоило ли это соображение Победоносцева, неизвестно; но только нежелательное ему назначение Кони состоялось. Очевидно, тут оказали свое действие иные „верные источники“, работали иные силы, не менее, если не более „полезные“ „самодержцу“.

Как истый ученый муж, Победоносцев специализировался на критике и на вытекающих из нее благих пожеланиях. Общая его платформа хорошо известна. Определенно высказывался он против судебной реформы 60-х годов, против самостоятельности, гласности и публичности суда; адвокатского сословия он не выносил и считал его опасным для государства, равно как и суд присяжных; но за то хотел бы в весьма полной мере воскресить прежний канцеляризм в суде ³⁾. Победоносцев в этом случае тоже в сущности выражал излюбленные мысли всех охранителей, в том числе и самого Александра III, но этот царский советник забывал одно маленькое обстоятельство, что жизнь, реальная, подлинная жизнь слишком далеко шагнула вперед от эпохи Николая I, что в ней окрепли новые мощные интересы, выступившие на историческую сцену еще в ту эпоху и тогда уже вступившие в конфликт с крепостническими навыками, а теперь начавшие заявлять о себе весьма настойчиво, интересы быстро не по дням, а по часам развивавшегося промышленного капитализма и буржуазии. Победоносцев же, упуская последнее из

¹⁾ Ibid., 240, Гатчина, 12 марта 1882 г.

²⁾ Ibid., II, 496 и 497.

³⁾ Ibid., II, 514.

виду, воображал, что можно задержать в прежней силе „патриархальный“ порядок прошлого, при коем могла бы во всю осуществляться излюбленная им „инерция“ жизни, т.-е. полный застой и безгласие.

То-же самое было идеалом жизни и для Александра Александровича. Перед наступившим 1881-м годом, он в своем дневнике просил у „господа“, чтобы тот „даровал“ в этом году „мир и тишину“ и „чтобы“, писал он, „на жонеп (подчеркнуто в подлиннике) можно было нам всем с дорогой Россией вздохнуть свободно и наконец пожить безмятежно“ ¹⁾.

Подобные же желания унаследовал и сын Александра III, столь на него непохожий Николай II, который на новый, 1905-й год, в дневнике просил у „господа“ о даровании России, сверх „победопосного окончания войны“ „прочный мир и тихое и безмолвное житие“ ²⁾.

Эти люди тянулись к „безмятежному“ покою и безмолвию страны, ибо только в такой психологической среде и могло существовать патримониальное самодержавие, но эпоха была иная, экономические ее условия были не те, которые господствовали в феодальную эпоху, из коей вышла эта форма власти, и потому понятно, что вся идеология такого самодержавия встала в резкое противоречие с самыми неотложными, насущными требованиями действительной жизни. Жизнь разъяснила в 1881 г. отцу, а в 1905 г. сыну, что „господь“ не дает ни „безмятежной тишины“, ни „безмолвного жития“. Но ни тот, ни другой не усвоили этого жизненного урока, ибо оба они безнадежно были заражены миробом самодержавия, и эту их своего рода наследственную болезнь окружающие не только не лечили, а старались развить в них.

К числу таких потатчиков царской болезни, парализовавших в носителях ее самое необходимое для правителя свойство — предусмотрительность, и принадлежал Победоносцев. Он был только наиболее энергичный и настойчивый в услужливости истинным желаниям представителя самодержавной власти. Но нередко он усердствовал не по разуму, не принимая вовсе в расчет интересов крепнувшей буржуазии, и тогда более эластичные и покладистые люди брали над ним верх, ибо они умели разъяснить самодержцу (да, в частности, Александр III и сам начал это смелять) пользы самодержавия в более широком масштабе — с поддержкой не только от землевладельческого дворянства, но и со стороны крупной буржуазии. Там самую жизнь, новым соотношением производительных сил страны ограничивалось влияние Победоносцева на реальный ход дел, на создававшиеся служебные и всякие иные положения. Отсюда понятно, почему Победоносцев в своих письмах и записках большею частью ничем не доволен, на всё брюзжит, всё критикует с какой-то высшей церковно-моральной точки зрения и, презрительно негодуя, ханжит, ханжит без конца.

V.

Русская периодическая печать вызывала в Победоносцеве резко отрицательное отношение. Когда Александр III отправился в Москву, то Победонос-

¹⁾ Дневник, 1880 г., 109.

²⁾ Дневник 1906 г., 1 янв., тетрадь № 33, стр. 66.

цев не замедлили написать министру внутренних дел графу Игнатьеву „сделайте милость, не пускайте к нему там журналистов, кроме Каткова. Он один — достойный уважения и преданный разумный человек ¹⁾“. Все остальные сволочи или полоумные“. Едва ли царь пожалел, что к нему не пускают журналистов, ибо русскую печать он оценивал так же, как и Победоносцев, и журналистов аттестовал тем же самым словом „сволочь“, лишь называя ее „литературной“ ²⁾.

Н. П. Игнатьев не удовлетворял ни царя, ни его ближайшего советника, и потому последний постоянно надеялся министру внутренних дел своими ворчливыми сетованиями на яву бы его поблажки периодической печати. „Знаю“, писал он Игнатьеву, „знаю, что проповедую в пустыне, однако не могу все-таки умолчать. Ваше дело слушать или не слушать“. В последних словах звучит язвочное раздражение на министра внутренних дел. Игнатьев не давал в своей деятельности того, чего хотелось бы Победоносцеву — полного удушения печати. „Или мало еще лжи и разврата“, продолжал скучить обер-прокурор святейшего синода, „распространяется у нас существующими журналами и газетами. И к чему, как не к усилению этого зла может послужить открытие новых. Ведь, газета стала ныне одним из жидовских гешефтов, и нет безграмотного жиденка, который не мечтал бы о подобном предприятии“. Министр же, от коего зависело осуществление или крушение газетно-издательских мечтаний „жидовка“, разрешал новые газеты. Это прямо-таки убивало Победоносцева. „Между тем“, с нескрываемой горечью пишет он, „беспрестанно читаешь о разрешении новых газет. И сегодня (14 февраля 1882 г.) в Правительственном Вестнике их несколько“. И Победоносцев указывал министру на Волюнь, „гнездо жидов и поляков“, где не следовало бы разрешать политическую и литературную газету Зифферману, потому что, по мнению Победоносцева, „явно, что это жид“; указывал также не на „жида“, но на Суворина, которому „вадумалось“ издавать в Москве „Русское Дело“ и который, по мнению, Победоносцева, создает там „новое гнездо либеральной лжи и сплетен“.

С самого начала царствования Александра III Победоносцев напустился на периодическую печать. Еще в сентябре 1881 года он упрекал Игнатьева за разрешение им в Казани „какого-то Волжско-Камского Вестника“ (на самом деле „Волжского Вестника“ под редакцией проф. Н. П. Загоскина) и по этому поводу рассказал министру притчу о кудеснике, вызвавшем заклятием множество бесов из бездны, позабывшему формулу заклятия, не смогшем потому вернуть их в бездну и растерзанном „разъяренными бесами“ (т.-е. разнузданными органами периодической печати). Однако Игнатьева не

¹⁾ Победоносцев, „старый приятель“ Каткова, так ценил его, что не жалел пускать этого „разумного и преданного“ публициста в Государственный Совет, дабы „правительство“ не потеряло в Каткове своего газетного „звонара“.

²⁾ Александр III в заботах о своем народе. Статья Р. Кавтора в журн.: „Мужей Революции“, стр. 58.

устрашила притя, и он продолжал разрешать газеты. Было ст чего Победоносцеву в отчаяние прийти! Приходилось поучать министра внутренних дел настоящей „благонамеренности“, о чем свидетельствует ряд писем Победоносцева к Игнатьеву. Обер-прокурор святейшего синода всюду в печати вылавливает „неблагонамеренные речи“, подчеркивает статейку и посылает министру внутренних дел, с выражением в письмах недоумения, „чем отличается язык этого фельетона“, дозволенного цензурой, от языка прокламаций „Земли и Воли“. „Голос“ особенно не давал покоя Победоносцеву. „Взгляните“, пишет он Игнатьеву, „на сегодняшний №, он весь наполнен возмутительными внушениями и иронией на правительство“. Даже губернские комиссии бар. Николай с выборами из земств Победоносцев считал вдохновленными „Голосом“ и другими газетами — „Краевским и К“ и сейчас же забил в набат пред министром внутренних дел, прося его, как „верховного (?) блюстителя общественного спокойствия“, донести об этом „точно из-под земли выскочившем“ „деле“ — государю. В газетах вся беда: „невозможно ничему положить доброго начала, пока не будут обзданы газеты“ (письмо в след. книжке „Былого“), поучает Победоносцев своего непредусмотрительного коллегу по управлению страной. Неудивительно, что поучаемый член „правительства“, в конце концов, обращался к придирчивому обер-прокурору за советом по редакции правительственного указа, и тут-то министру внутренних дел нагорало. Возвращая указ исправленным по своему разумению, Победоносцев мотивировал исправления своей заботой о достоинстве верховной власти в России и боязнью, как бы от неподходящих „фраз“ не произошло объявление о падении этой власти: „ибо“, опять поучал Победоносцев Игнатьева, „говорить в таком акте об общественном служении, о единении власти с народом (а не народа с властью), это совсем новые фразы, которые коробят мысль в газетных статьях, но невозможны в указе: таким языком власть никогда не говорила еще в России“ (27-го августа 1881 г.).

Но Победоносцев забыл или не хотел в данном случае помнить, что подобные „фразы“ он сам говорил в присутствии царя, и министр внутренних дел это слышал, в наивности, ему совершенно неприличной, приняв их за чистую монету. Ясно было, что это — плохой министр, и его надо было отставить, заменив более понятливым человеком. Гр. Д. Толстой гораздо ближе подходил к победоносцевским тенденциям. Этот прямо заявил ему: „почти вся наша пресса отвратительна“ ¹⁾. И готов был руководствоваться в цензурных делах советами Победоносцева. Но крайней мере, он понитересовался узнать мнение Победоносцева о том, можно ли пропустить в записках Силглена, печатавшихся в „Русской Старине“, „то место, где говорится о заговоре против Павла“ ²⁾. Вообще создатель классической системы и сам бывший обер-прокурор святейшего синода не ударял лицом в грязь ни пред

¹⁾ Письма и записки, I, 235.

²⁾ Ibid., I, 264.

Александром III, ни пред Победоносцевым, и последний мог чувствовать лишь полное удовлетворение, когда министр внутренних дел показывал ему такую предусмотрительность даже в отношении „Русской Старины“, дабы почтенная старушка как-нибудь нечаянно не ниспровергла „достоинство верховной власти“ и не революционировала бы русское общество. Но другой, вновь поставленный министр, взявший под свою ферулу народное просвещение, столь близко соприкасавшееся в России с церковью и полицейским участием, кажется, еще более должен был удовлетворять Победоносцева, этот любезнейший и искательнейший И. Д. Делянов, прославившийся довольно скоро, как победоносный враг „кухаркиных детей“. Этот сановник к тому же очень старался, чтобы поврагиться столь взыскательному обер-прокурору святейшего синода. Дело понятное: народное просвещение у поклонника народной „инерции“ было на зубке не менее, чем периодическая печать и вообще вся русская литература. „Учение—вот чума, вот язва здешних мест“, так, повидимому, думал бывший профессор Победоносцев и гордился тем, что, будучи близко стоявшим у трона сановником, он отвык и не любил бывать в университете даже тогда, когда его туда приглашали, т.-е. на торжественном публичном акте, а министр внутренних дел его к тому и не поощрял; напротив, даже, как это сделал еще Игнатьев, не советовал ему туда являться, ибо университет, вероятно, считался недостойным такой чести — „при нынешнем складе ума и направлении некоторых профессоров“¹⁾. Очевидно, эти профессора распространяли „ложное образование“, о котором Победоносцев писал Александру III 1-го марта 1887 года²⁾, то образование, которое, по мнению этого угадчика и выразителя царских мнений, приводило учащихся к требованию всего от жизни и вырабатывало из них революционеров вроде А. И. Ульянова с товарищами. Удивительно ли, после этого, что министр просвещения Делянов тоже был дурного мнения о влиянии просвещения на нравственность, и потому называл курсисток и даже не „некоторых“, а всех огулом „девками“, при чем вел им счет поштучно. Сообщая Победоносцеву о каком-то разогванном собрании курсисток, министр просвещения для вящего удовлетворения требовательного обер-прокурора святейшего синода прибавил: „а было этих девок штук до 200-3)“. Мнение министра просвещения о профессорах было не выше, чем мнение министра внутренних дел, а в 1887 году, после 1-го марта, стало гораздо ниже, и Делянов не отказал Победоносцеву в удовольствии узнать от него, министра народного просвещения, и следующее его суждение о русских профессорах: „профессора наши“, писал он 13 декабря (1887 г.) своему идейному патрону, „слишком ленивы, чтобы пользоваться свободой преподавания“⁴⁾. Победоносцев был того же самого мнения — и даже еще худшего — о русских профе с рах. Зато Делянов был очень хорошего мнения

¹⁾ Письма и записки, I, 83.

²⁾ Письма и записки, II, 651 и 652.

³⁾ Письма и записки, II, 589.

⁴⁾ Ibid., II, 678.

о Победоносцеве: „Вы“, писал он ему приблизительно тогда же (2 декабря 1887 г.), „одни стоите на страже народной нравственности“ ¹⁾. И Победоносцев „стоял“, хотя и не один: с ним был его „возлюбленный монарх“.

VI.

В глазах их обеих нравственность почти-что отождествлялась с понятием политической и религиозной благонамеренности, была ее синонимом. Поэтому первая забота царя и его верного советника была проводить внутреннюю политику, характеризующуюся двумя словами, „осади назад“! — ту политику, в которой преуспел граф Д. Толстой и которому Александр III ждал видеть продолженной в деятельности его преемника — Дурново. Составление рескрипта на его имя, по обыкновению, так как случай был не обычный, не „танеевский“, было поручено мастеру церковно-государственного стиля — Победоносцеву, и царь внушал ему, что в рескрипте необходимо выразить царскую надежду на ведение дел „в том же духе, как вел министерство Толстой и в смысле... манифеста 29 апреля 1881 г.“. Александр III находил это необходимым, „так как“, писал он Победоносцеву, „начинаются уже толки и шатания мыслей, и надо положить конец этому и поставить дело определенно и бесповоротно“ ²⁾. Директива очень решительная, но тем приятнее она была Победоносцеву. И Константин Петрович действовал „определенно и бесповоротно“, ибо он „стоял“ на „страже нравственности“, как и Александр Александрович, — задом и прогрессу.

Как же обер-прокурор охранял „нравственность?“ Разными, — прежде всего более или менее полицейскими способами. Так, когда он еще от первого министра внутренних дел в царствование Александра III получил совет не ездить на одно из университетских собраний, в которые Победоносцев, давно утратив веру и интерес³⁾, то он, поблагодарив министра за предупреждение, и с своей стороны дал ему благой совет: „известны, сказывают“, писал он Игнатьеву, „человек 8 зажигателей: для чего бы не припрятать их перед актом“ (7-е февр. 1882 г.). Победоносцеву всё было известно, всё ему „сказывали“. Знал, напр., он всю подноготную о г-же Ламанской, муж которой находился за границей, а сама она жила в гостинице, и Победоносцеву было „известно“, что это — „женщина, способная на все:“ „Она и на бирже действовала, она ведет связь с г. Полонским и страной“. Все это сообщает Победоносцев в том же письме, в котором уведомил министра внутренних дел об университетских зажигателях и рекомендовал посадить их в тюрьму. Тут же, кстати, он советует Игнатьеву „обратить внимание“ и на г-жу Ламанскую и за ней „присматривать“. Сам он присматривал положительно за всем и за всеми, далеко выходя за пределы своих прямых обязанностей по должности обер-прокурора святейшего синода. Но — приходилось, так как он принял на себя тяжелейшую обязанность блюсти за „народною

¹⁾ Ibid., II, 677.

²⁾ Ibid., II, 900.

нравственностью“, а сюда, в эту сферу, можно было притянуть всё и всех. В самом деле, статьи охранного положения, крестьянский банк, представлявшийся Победоносцеву фальшивым учреждением, гулянья в Летнем саду с музыкой, совпадающие с церковной службой, неблагонамеренное постановление новгородского земского собрания, приезд в Одессу из-за границы актрисы Сарры Бернар, „католички из евреев“, и происшедший в связи с этим там еврейский погром, распространяемые „слухи и сплетни“, слух о том, что частные театры будут открыты постом и многое другое, вплоть до того печального для „народной нравственности“ обстоятельства, что лицо, от которого зависели в Петербурге подобные разрешения, — „сам охотник по женской части“ и потому „разрешит, что угодно“, — всё это привлекало к себе пристальное внимание Победоносцева, было ему хорошо известно, и со всеми этими указаниями, в интересах порядка, безмолвия и „народной нравственности“, он надоедал министру внутренних дел (см. ниже напечатанные письма Победоносцева). „Осади назад!“ — таков смысл всех указаний и советов Победоносцева, — смысл, но не самая манера, с какой давались эти указания и советы. Манеру он не мог перенять у своего верховного патрона: у Победоносцева не было для этого соответствующих внешних средств. Нет, не полицейским хриплым окриком, а тонким, еле слышимым голосом пытался он остановить рвущуюся вперед жизнь; так и встает перед нами эта сухая, костлявая фигура, бросающая длинную темную тень на всё, что подвигательно высматривал чрез очки внимательный взгляд этого ненавистника живой жизни; так и кажется, что шевелится от удовольствия его оттопыренные уши, когда они улавливают нечто, вредившее, по мнению их владельца, благочестию, или, что то же, „народной нравственности“. „Прилично ли“, вопиал он к министру внутренних дел, „чтобы в то самое время, когда выносятся для поклонения св. крест с печальными перевязками“ („вспоминаются страсти христовы“), — „музыка с буфетами и лотереями привлекала толпу народную в общему соблазну“? (11 сент. 1881 г. см. ниже напечатанное письмо). Особенно внимательно Победоносцев следил за картинами с евангельскими сюжетами. Как прокурор святейшего синода, он, видимо, считал это своею священной обязанностью. Известная картина Ге: „Что есть истина?“ привела Победоносцева в ярость, и он поспешил написать царю донос на художника, выставив свое негодование на его замечательное произведение как „всеобщее“: „не могу не доложить вашему и. в. о том всеобщем негодовании, которое возбуждает выставленная на передвижной выставке картина Ге: Что есть истина“. Но как ни спешил обер-прокурор, царь уже составил свое мнение о картине и тут же начертил: „Картина отвратительная, напишите об этом Дурново, а думаю, что он может запретить везти ее по России и снять теперь с выставки“ (6-го марта 1890 г.)¹⁾.

Согласен был Александр III с мнением Победоносцева и относительно драмы Л. Н. Толстого „Власть тьмы“, что ее нельзя давать на сцене. Эта

¹⁾ Письма и записки, II, 384.

драма тоже могла повредить „народной нравственности“. Словом, желали „не пущать“. Но Победоносцеву этого было мало, и не говоря о Л. Толстом, впоследствии отлученном от церкви, он дело о Ге направлял к тому, чтобы „тащить“. Через каких-нибудь 2 года он пишет донос на новую картину Ге, которую Победоносцев, повидимому, еще не видал, ибо он выражается так, что „будто бы“ на ней „изображено“ „и заплевание Христа и Христос написан в самом отвратительном виде“. Победоносцев не может „думать без негодования об этом художнике“ и, кажется, в особенности потому, что тот поселился у Л. Н. Толстого „и пользуется его симпатиями“, о чем обер-прокурор тоже не преминул довести царю. Но и в этом случае Победоносцев несколько запоздал с доносом, по крайней мере касательно самой картины. Александр III написал: „Мне сказал брат Владимир, что он уже приказал убрать эту картину“ (26-го февраля 1892 г.) ¹⁾. Следовательно, и лозунг „тащить“ был уже осуществлен. Бдительный цензор был Победоносцев, но оказывались и другие еще бдительнее. Однако, что только ни привлекало его внимания!.. Даже сущие пустяки, к тому же ни прямо, ни косвенно не относящиеся к его должности обер-прокурора святишшего синода. Заметил Победоносцев в продаже конверты и почтовую бумагу „отвратительного красного цвета“ и сейчас же донос на этот товар министру внутренних дел гр. Д. Толстому, пошлав ему и самый „образец“ и сделав указание, как и что в нем рассмотреть: „Посмотрите на свет“, учил обер-прокурор министра, „водяной знак изображает красного петуха“. В самом деле, — даже „красный петух“! — очевидно, государство в опасности. „Мне кажется“, делает практический вывод Победоносцев, „что это нововведение не просто, и стоит обратить на него внимание“ и далее производит небольшое историческое исследование как о „красной бумаге“, так и о „красном петухе“, напоминая исследователю не то Францию с ее революцией, не то русского „красного петуха“, который однозначен со словом „пожар“; обе ассоциации представлений одинаково были неприятны, но поднятый вопрос остался нерешенным.

VII.

Если Победоносцев был так внимателен даже к мелочам, не имевшим никакого отношения к его должности, но опасным, по его мнению, для „народной нравственности“, то всё, так или иначе затрогивавшее интересы церкви, на страже которой, как служительницы самодержавия, он стоял в первую голову, — являлось предметом столь усиленных его забот, что он, как свидетельствуют пока неопубликованные письма к гр. Игнатьеву, считал необходимым искать и сочувствия, и содействия у министра внутренних дел, ибо обер-прокурор, повидимому, был тоже „определенно и бесповоротно“ убежден, что православная церковь, как насадительница „народной нравственности“, может иметь успех в этой своей миссии лишь при энергичной под-

¹⁾ Письма и записки, II, 962 и 963.

держке полицейского участка. И вот Победоносцев доносит министру внутренних дел на пиелистов, приехавшего в Петербург Л. Редстока и Пашкова, — „отродие Л. Редстока“, а также на их послед вателей, или, по выражению Победоносцева, на „прочий хагал“ с пророчицей Софией Ивановною Нелидовой.

К Рогожским раскольникам обер-прокурор по должности был не менее непримирим, чем к пиелистам и сектантам. Узнав, что раскольники ходатайствуют „об отпечатании алтарей“, Победоносцев взыскал к министру внутренних дел: „Ради бога, не уступайте этому ходатайству ни в каком случае: в настоящих обстоятельствах это будет гибельный удар нашей церкви по всей России“. Само собою, „народная нравственность“ должна была бы пострадать тем более, что, по сведениям Победоносцева, просьбу раскольников поддерживал ненавистный „Голос“, в знамерившийся „окольными путями умилизовать государя“. Победоносцев столь был расстроен, что спустился до скромной просьбы к министру, хотя и не совсем скромно мотивированной: „прошу вас“, писал он гр. Игнатьеву, „не сдавайтесь: тут честь правительства“. И у русского правительства оказывалась „честь“ в таких случаях, когда на Российской церкви, а следовательно на „народную нравственность“ надвигалась опасность от инако-верующих, от раскольников, от католических есеизов (см. ниженапечатанные письма к гр. Игнатьеву) и от евреев. Умолняя министра внутренних дел „не сдаваться“ на раскольничью просьбу, Победоносцев не преминул кстати упрекнуть Игнатьева за назначение в Кишинев лица „жидовского происхождения“: ведь Кишинев, поясняет министру обер-прокурор, „узел так сказать жидовского вопроса“ (см. ниженапечат. письмо). Церковь же православную и лиц, ей служащих, Победоносцев держал строго, и потому когда Дурново, рекомендованный ему „духовными лицами из Москвы“ в качестве человека, способного издавать газету в интересах церкви, не оправдал его ожиданий, то Победоносцев в письме к гр. Игнатьеву не усумнился назвать Дурново „церковным дураком“ (см. ниженапечатан. письм.).

Надо, однако, отдать справедливость Победоносцеву в том, что „народную нравственность“ с самого начала царствования Александра III он стремился укреплять не только мерами строгости, но и поучениями; впрочем, и в этом случае он искал сочувствия своему начинанию у представителя полицейской власти в стране. „Поучение народу“, как он пишет гр. Игнатьеву, было им „задуманно“ „в виду бывших и ожидаемых беспорядков“. „Поучение“ это должно было быть „несомнительным“, а для этого было необходимо, чтобы на нем „лежала явная, так сказать, печать или государя или церкви“. Для того, чтобы поучение имело полный авторитет, „оно“, по мнению Победоносцева, „должно идти от церкви, с благословения синода“. Вот какое „поучение“ — целое послание! Получше, пожалуй, послания апостола Павла к разным народам. Но сам Победоносцев был в этом случае не честолобив и не пожелал разыграть роль знаменитого распространителя христианства. Он „заказал“ поучение другому лицу — „одному духовному приятелю в Москве“. „Духовный приятель“ постарался, и Победоносцев исполнением „заказа“ остался „весьма доволен“. „Надеюсь“, писал он, „уговорить своих иерархов,

если можно представить им, что согласно с волею правительства". Считая, однако, всё предприятие с „пучением“ „делом общим“, Победоносцев послал „тетрадку“ министру внутренних дел, прося „прочесть“ ее и сделать, если найдет нужным, „замечания“. Не из святейшего синода, а из полицейского участка обер-прокурор ждал „замечаний“ в первую голову: о мнении „своих иерархов“ он особенно не беспокоился — их можно было „угговорить“. Пока же Победоносцев соблюдал строгую конспирацию и желал окончательно отредактировать послание лишь с министром внутренних дел, которого он и просил „прочесть тетрадку“ „про себя“ и никому ее не показывать“ во избежание „сплетен“.

Так Победоносцев действовал „христианским“ способом. Но этот „православный христианин“ из схоластических ученых, шагу не ступавший без мысли о боге, был беспощаден к революционерам и не желал обращаться к ним ни с каким словом примирения. Правда, когда гр. Игнатьев показал ему проект призыва эмигрантов в Россию и прощения их, если они вернутся в Россию раскаявшись, то Победоносцев, испугавшись этой бумаги, поспешил набросать „образец“ своей „редакции объявления“ и представил его министру внутренних дел, но сам он был решительно против этой „меры“, как „фальшивой, вредной и опасной“.

„Далеко“, убеждал он гр. Игнатьева, „не настало еще время для призыва и прощения“. И он полагал, что на их прокурорской и министерской „совести“, „будет лежать тяжелое бремя“, если они теперь станут „предлагать эту меру государю“. „На такой призыв“, указывал он дальше, „откликнутся почти все враги, с притворным раскаянием, с тем, чтобы вернуться в Россию и здесь под прикрытием амнистии совершать преступные замыслы“. „Вспомните“, зывал обер-прокурор, „кто были до сих пор преступники и злодеи. Все помилованные и отпущенные от прежних следствий“... И сд, как маньяк своей идее, упрямо твердил: „один только путь — твердость правительства“! „Покуда“, осенью 1881 года, он еще не видел этой „твердости“, но надеялся на нее — и в своих надеждах не обманулся. Александр III менее всего был способен прощать, но более всего — „тащить и не пущать“. Не много надо было иметь настойчивости, чтобы убедить его в необходимости „твердого курса“ внутренней политики. Этот царь доказал своим тринадцатилетним царствованием, что он не считался ни с какими „стремлениями“, говоря словами Победоносцева, „фальшивой интеллигенции“ и не „боялся показывать прямо и решительно, чего он хочет и чего не допускает“ (см. письмо). Хотел он полного торжества самодержавия и не допускал ни малейшего посягновения на него. Того же самого хотел Победоносцев и ему подобные, сменившие Лорис-Меликова, Игнатьева и других, ибо этот христианнейший обер-прокурор и его компаньоны, занявшие рядом с ним правительственную позицию, хорошо понимали, что, прицепившись к царскому самодержавию, и они „определенно и бесповоротно“ пойдут к своим собственным выгодам. Ту же позицию „определенно и бесповоротно“ занимал Победоносцев и при Николае II — до самой своей смерти.

VIII.

Что же вышло из всей этой хлопоты о самодержавии, о православной церкви и „народной нравственности“ как путях и утверждению всё того же общественного „безмолвия“ пред властью? В конце концов, для той цели, какую поставил Победоносцев всей правительственной работе, ничего: „безмолвия“ не состоялось, последовал взрыв, — и многовекового самодержавия с его церковной, бюрократической и классовой опорой как не бывало! Стястье Александра III и его наущника и единомышленника Победоносцева, что они не дожидаясь этого взрыва, уничтожившего самодержавие и классовое насилие над народом, о душе коего так много печлись. Но это обстоятельство не освобождает их от общей исторической оценки. И оценка эта волей или неволей получается сама собой не в их пользу, особенно далеко не в пользу Победоносцева, ибо, ведь, он же явился непримиримым идеологом крепостнического самодержавия, а у его коронованного патрона было лишь чисто стихийное ощущение власти царя — всем его „нутром“. Приходится сказать, что Победоносцев, этот бывший профессор, ученый цивилист, богослов, политик и напыщенно-елейный стилист, не обладал глубоким и пронзительным умом, если с таким упорством настаивал на своей вере в „инерцию“, долженствовавшую, по его разумению, спасти и сохранить все „устои“. Эта вера, может быть, более в нем искренняя, чем вера в постоянно упоминаемого и призываемого бога, сыграла с ним плохую шутку. Он не понимал, что инерция господствует в народных массах до первого мощного толчка; когда же толчок дан жизнью, они двинутся — и уже не остановятся и снесут со своего пути всё, что мешало им жить. Заклятый враг живой жизни, он шел против нее с закрытыми глазами, как слепой, воображая, что он с своим самодержавием и всем правительственным аппаратом сильнее ее. Он не понял даже того, что, как ни приятны были Александру III все его указания и допросы на жизнь, но даже и этот тяжеловесный и примитивный человек, при всем своем кулачском отношении к русской общественности, не всегда оставался последовательным в своих запрещениях („не пущать“), а снисходил к более практичным, хоть сколько-нибудь считавшимся с назревавшими потребностями буржуазии, указаниями других министров, — и тогда Победоносцев чувствовал себя вешавшим „в пустыне“. Когда Победоносцев открывал глаза, то он смотрел только в одну сторону и видел только одно — неблагонадежность и погрешение „народной нравственности“. Это было не очень остроумно. Но для столь же или еще более ограниченных людей такая изощренность „беспокойного взгляда“ была заразна. И когда, например, Александра Федоровна Романова в своих письмах (и, вероятно, устно) много раз внушала своему мужу, что он „самодержец“ и „показание божий“, что он — „всё“ — и должен поступать, как „властелин“, быстро, строго и твердо¹⁾, то она, зараженная той же самодержавной болезнью, вела

¹⁾ Каренина Николая и Александры Романовых, 224, 306, 336, 340, 355.

в сущности себя по-победоносцевски, с той только разницей, что ей пришлось на судьбе своей, мужа и всей семьи убедиться „определенно и бесповоротно“ в великой ограниченности одного из самых авторитетных и самых упорных сторонников самодержавной идеологии. Таков был Победоносцев, сыгравший в последнем счете для „обожаемой“ им Романовской династии (не говоря уже, разумеется, о „народе“ и даже „обществе“) частью бесполезную, но большую частью вредную роль какого-то политического маньяка „ханжеского образа“.

Н. Н. Фирсов.

21-е марта 1924 г.
Ленинград.

Кто был автором „двух писем марксистов Михайловскому“¹⁾

(Письмо в редакцию).

Книжка „Былое“ № 23 была послана мне в Рязань, но так как я очутился в Калуге, то в итоге я получил эту книжку только сейчас, с опозданием больше, чем на месяц. Это очень обидно, так как именно от меня Вы можете получить самые точные разъяснения относительно интересующих вас „Двух писем к Михайловскому“.

Года за 2 до выступления Михайловского против марксистов по моей инициативе в Харькове начали образовываться кружки, ставившие себе целью выработку революционного мировоззрения. Сам я приехал в Харьков уже с сложившимися марксистскими взглядами, но в Харькове единомышленников не нашел, их нужно было создавать. Ко времени появления статьи Михайловского у нас уже была порядочная организационная группа молодежи, подвинувшая достаточно далеко выработку своих теоретических взглядов и определенно ставшая на точку зрения марксизма. На почве коллективно теоретической работы и мои взгляды стали более определенными и законченными. Оба письма к Михайловскому, напечатанные Вами, были написаны мною, но были обсуждены и одобрены нашей группой, чем и вызвана была подпись под письмами „марксисты“. После посланки второго письма Михайловского мы решили оба письма издать нелегально и осуществили это, как, не помню. Когда года через два мне пришлось переключаться (из революционных соображений) в Москву, я убедился, что эти два письма получили распространение и в Москве. Помню, как у меня как-то с одним из сослуживцев (я служил на железной дороге) возник спор о Михайловском. Так как я нашел, что он перешел пределы справедливости в своих напаках на Михайловского, то я взял последнего под свою защиту. Тогда он начал побивать меня цитатами из „двух писем к Михайловскому“, не подозревая, что перед ним сидит автор этих писем.

¹⁾ См. „Былое“, № 23.

Когда получил Вашу книжку „Былое“ и увидел в ней „Два письма к Михайловскому“, я набросился на них с величайшим рожением. Я давно потерял всякий след их и не знал, где их можно найти. Между тем это первая моя юношеская литературная работа. Официально моя литературная деятельность под псевдонимом П. Нежданов началась с 1898 года статьей в „Научном обозрении“ — „Теория ценности и прибыли Маркса перед судом фетишиста“ и книжкой „Нравственность“. Но в действительности первая моя печатная работа была „Два письма к Михайловскому“.

То миросозерцание, которое начало определяться уже тогда в нашей группе, связывало марксизм с определенными этическими взглядами, нашедшими потом свое выражение в формулировку в моей книжке „Нравственность“. Следы этих взглядов имеются и в „Двух письмах“. Но в общем они занимают там скромное место. Насколько я помню, в этих письмах я сознательно старался не распространяться о тех элементах своего миросозерцания, в которых мог ожидать расхождения во взглядах с другими марксистами.

Второе письмо определенно писалось как боевой документ, и я старался выразить и противопоставить народничеству в нем главным образом то, на сочувствие чему можно было рассчитывать со стороны всех марксистов.

Отдельные частности и детали этих писем сейчас не соответствуют моим взглядам, многое могло быть лучше и точнее формулировано, но под всем почти главным и существенным в этих письмах я мог бы сейчас подписаться.

Ф. Липкин-Череванин (Нежданов).

О записках декабриста А. М. Муравьева¹⁾.

В нашем семейном архиве сохранились замечания, написанные по поводу этих записок отцом моим Евгением Ивановичем Якушкиным. Написаны эти замечания были в конце 50-х (после 1857 г.) или в начале 60-х годов. В них указывается на главный источник записок А. М. Муравьева, сообщаются некоторые новые сведения о П. И. Пестеле, С. И. Муравьеве-Апостоде и П. И. Борисове; указывается также, как изменилось позднее отношение самого Никиты Муравьева к его проекту конституции. История показаний Фаленберга передана так же, как в записках его, напечатанных в 1877 г. Допрос А. М. Муравьева и И. А. Анненкова вложен почти так, как в воспоминаниях П. Е. Анненковой. Причиной разделения Обществ на Северное и Южное односторонне указывается зависть Бурцова к Пестелю.

Е. Е. Якушкин.

Записки эти принадлежат собственно не Александру Муравьеву, а брату его Никите. Еще в Петровском заводе Никита вздумал составить подробные записки о тайном обществе; чтобы они не попались в руки правительства, он писал их в форме отдельных заметок на полях книг. Библиотека Никиты досталась Александру, и он собрал оттуда заметки брата и назвал их: *Mon journal* — вот почему в истории своей жизни он ничего почти не говорит о себе. В рассказе его встречаются беспрестанно ошибки, которых избежать ему было невозможно: журнал писан в последнее время, — заметки Никиты были слишком отрывочны, и их было не много. Александру было 12 лет, когда составлялось общество, и 20, когда он был принят членом. Значения в обществе он не имел никакого: он был слишком молод и не имел в то время ни убеждений, ни образования. При составлении записок он не мог получить никаких сведений об обществе от своих товарищей, потому что все сосланные в Тобольск принадлежали к Южному обществу (за исключением Штейнгеля, который не мог сообщить почти ничего верного и нового, и Семенова, служившего прежде в Москве и не принимавшего большого участия в делах общества). — Этот журнал любопытен только потому, что в нем высказаны убеждения и понятия Никиты в первое время ссылки, — и убеждения Александра (в посвящении) после 27-летней ссылки.

¹⁾ Декабрист А. М. Муравьев. Записки. Перевод, предисловие и примечания С. Я. Штрауха. Изд. „Былое“, 1912

Рассказ об основании и основателях общества не совсем верен; программа общества взята из записки Никиты (*De la société occulte*; в записке этой, которую я видел в подлиннике и которая состоит из 20 или 30 строк, Никита старается показать, что все горючее, сделанное имп. Николаем, взято из программы общества) и составлена уже во время ссылки. — Конечно, все эти требования были высказаны обществом, но не все составляли его программу, и кроме того многие требования — более важные — не упоминаются.

Общество разделилось на Северное и Южное (в 1821 г.) не потому, что, разделившись, оно могло расширить круг деятельности, а потому, что Бурцов, вернувшись в Тульчин из Москвы, объявил нам, что на Московском съезде все депутаты решили уничтожить общество. Бурцов завидовал Пестелю, который стоял во главе всей молодежи, принадлежавшей к обществу. Он хотел занять место Пестеля; для этого он объявил, что общество уничтожено, а сам начал набирать членов, не говоря этого Пестелю, которого он хотел лишить таким образом всякого влияния. Но хитрость эта не удалась. Пестель отвечал Бурцову, что уничтожить общество никто не имеет права и что на Юге оно будет существовать, как и прежде. Вот почему и образовалось два общества: одно — Южное, другое — Северное.

Конституция, написанная Н. Муравьевым, как он сам сознавался впоследствии, не имела никакого практического смысла. Это был проект конституционной монархии. Депутаты должны были выбираться из всех сословий безразлично, но выборы ограничивались пензом, — депутатом мог быть только тот, кто платил не менее 60 руб. подати. Таким образом депутатами могли быть только купцы, потому что крестьяне и мещане платят менее, а дворянство и духовенство ничего не платит (система податей не была изменена в конституции). И в настоящее время часто слышишь споры о самых простых и существенных определениях закона. Понятно, что до издания Свода — законы еще менее были известны. Никита Муравьев точно так же не знал быта русского народа, как и большая часть его товарищей. Ник. Тургенев объявил в 1-м издании „Опыта налогов“, что деньги, вырученные продажей этой книги, назначаются им для выкупа крепостных крестьян, посаженных в тюрьму за долги. — Один только Пестель отличался глубоким практическим смыслом, как говорят все знавшие его и читавшие его „Русскую Правду“. Это был труд совершенно самостоятельный. Между тем как прочие считали необходимым сколько возможно ограничить власть правительства, даже республиканского, — он (в „Русской Правде“) давал правительству сильную власть. Однажды в Тульчине он читал свой проект Киселеву. Киселеву проект очень понравился, но он заметил, что не худо ограничить еще больше исполнительную власть. Судя по всем рассказам людей, читавших „Русскую Правду“, главные основания управления государственных крестьян взяты оттуда. „Русская Правда“ была написана в республиканском и чистом демократическом духе. — Впрочем, Пестеля нельзя и ставить наряду со всеми остальными членами общества. О нем все говорят, как о гениальном человеке. Рассказывают, что, когда заграницей он находился при канцелярии императора

Александра, то ему поручено было написать какую-то бумагу к Меттерниху. Меттерних при первом свидании с Александром поздравил его с новым секретарем и сказал, что он тотчас же узнал, что писал присланную к нему бумагу новый человек, и что он никогда не читал бумаги, столь хорошо написанной. — Ни у кого из членов тайного общества не было столь определенных и твердых убеждений и веры в будущее. На средства он не был разборчив, и солдаты не любили его, — каждый раз, когда император или великие князья назначали смотр, он жестоко наказывал солдат. При учреждении военных поселений он хотел перейти туда на службу и обещал, что у него скоро возмутятся. Он должен был оставить это намерение, потому что дела общества требовали его присутствия в Тульчине. Он не изменил своему характеру до конца. Когда Северное общество стало действовать очень нерешительно, то он объявил, что, если их дело откроется, то он не даст никому спастись, что, чем больше будет жертв, тем больше будет пользы, — и он сдержал свое слово. В следственной комиссии он указал прямо на всех участвовавших в обществе, и ежель только 5 человек, а не 500, то в этом несколько не виноват Пестель: с своей стороны он сделал для этого все, что мог.

Все, что говорится в записках про Никиту Муравьева, совершенно справедливо. Это был человек с высоким образованием и с необыкновенною скромностью. Любовь и уважение к науке он сохранил до самой смерти. Рассказ о том, как он бежал из Москвы в 12-м году, я слышал несколько иначе — от отца моего, который был с Никитой Муравьевым чрезвычайно дружен и слышал об этом от него самого. В 1812 г. он долго упрашивал мать, чтобы она позволила ему идти в военную службу. Так как ему был только 15-ый год и он был очень слабого здоровья, то мать не решалась отпустить его. Между тем стали доходить слухи, что мы принуждены отступать перед неприятелем и что французы всё подвигаются к Москве. Никита Муравьев начал задумываться, перестал есть, спать и, наконец, решился идти в армию без позволения матери. Рано утром он ушел по Смоленской дороге, одетый в курточку, захватив с собою карту Московской губернии. Он прошел 30 верст, расспрашивая, как пройти к армии. Эти расспросы, его одежда — возбудили подозрение в крестьянах; его схватили, стали обыскивать, и когда нашли при нем карту, то совершенно убедились, что он французский шпион. На нем разодрали платье, прикляли его и повезли в Москву. Между тем в доме его матери никто не знал, куда он делся; долго искали его у знакомых. Гувернер-француз, вероятно, догадавшись, что он ушел на войну, отправился к Смоленской заставе и встретил толпу мужиков, которые везли его воспитанника. Никита Муравьев, увидев гувернера, стал было звать его к себе по-французски. — „De grace, ne me parlez pas, vous vous perdez!“ — закричал ему тот и скрылся в толпе. Разумеется, это убедило еще больше, что Никита Муравьев шпион. Сам Растопчин принял было его сначала за шпиона и написал к Катерине Федоровне Муравьевой (его матери) письмо, где с сожалением извещал ее, что ее сын обесчестил себя и ее и хотел

перейти к французам. Разумеется, Муравьева поспешила объяснить Растопчину, что сын ее бежал, чтобы сражаться против французов, что он давно просился в армию. Растопчин поздравил ее тогда с таким патриотом-сыном и уговорил определить его в военную службу.

Похвалы Сергею Муравьеву несколько не преувеличены. Это был, действительно, замечательный человек, но его нельзя поставить наряду с Пестелем. Сергей Муравьев был человек чрезвычайно добрый, солдаты чрезвычайно любили его. Но М. Бестужев-Рюмин вовсе не стоит того отзыва, который сделан о нем в журнале Александра Муравьева. Замечательно отношение Бестужева к Сергею Муравьеву. Бестужев был пустой малый и весьма недалекий человек; все товарищи над ним смеялись, Сергей Муравьев больше других. „Я не узнаю тебя, брат,— сказал ему однажды Матвей Муравьев,— позволяй себе такие насмешки над Бестужевым, ты унижаешь себя; и чем виноват он, что родился дураком!“ После этого обращения Сергей Муравьев с Бестужевым совершенно изменился, он стал заискивать его дружбы и всячески старался загладить прежнее обращение с ним. Бестужев к нему привязался, и он также потом очень полюбил Бестужева.

Борисов никогда не признавался, что им составлен устав Общества Соединенных Славян. Сколько мне известно, только он один никого не назвал при допросах в Следственной Комиссии. Образование Общества Соединенных Славян — замечательное явление: оно показывает, как была сильна потребность в составлении тайных обществ. Борисов был человек, не получивший никакого образования, но с большим желанием образоваться. Когда он был с своей батареей в Польше, то ему пришлось остановиться в одном помещицьем доме, в котором была огромная библиотека, наполненная большей частью писателями 18 ст. Он выучился сам собою по-французски ¹⁾ и перечитал все французские книги. В Следственной Комиссии и после, даже в ссылке в Сибири, он говорил, что, когда он был в отпуску в Петербурге, в одной гостинице с ним остановился какой-то офицер. Они познакомились. Офицер этот, уезжая, заходил проститься к Борисову. По отъезде этого офицера, имени которого он не помнит, он нашел у себя на столе тетрадь с уставом тайного общества, который ему чрезвычайно понравился, и он тотчас стал набирать членов. Пребывание в Польше при этом отозвалось: цель общества Славян была не уничтожение деспотизма в России, а освобождение от деспотизма всех Славян. В Уставе видно также и влияние писателей 18 века,—в нем говорится об основании города, в котором Славяне посадят на трон Богиню Просвещения. Соединенные Славяне были большей частью люди без образования, но с непоколебимыми убеждениями, — и люди, готовые за свои убеждения идти на всё. Очень жаль, что о Борисове (и вообще об Обществе Славян) мало известно; но всё, что известно о нем, возбуждает к нему глубокую симпатию. Два года Общество Славян существовало совер-

¹⁾ В записках И. Д. Якушкина сказано, что Борисов в это время уже знал несколько по-французски. Е. Е. М.

шенно отдельно от других обществ и даже не знали ничего об их существовании. Только в 1825 г. Бестужев-Рюмин совершенно случайно узнал об этом обществе и предложил ему присоединиться к Южному, что и было принято. Когда наступило наконец время действовать, то Славяне показали, что они способнее к делу всех прочих членов.

В журнале позабыт еще третий изменник (названы только Шервуд и Майборода), названный в донесении Следственной Ком. агентом графа Витта (чуть ли не Комаров) ¹⁾. Шервуд пропал без вести, а Майборода зарезался.

В рассказе о 14 декабря в журнале не сказано о том, что Анненков, Александр Муравьев (кажется, тоже и Арцыбашев) стояли с кавалергардским полком на площади — против своих товарищей. Впрочем, это не спасло их. Через 5 дней они были арестованы полковым командиром своего полка Апраксиним и привезены во дворец. Сначала император стал упрекать их в том, что они были членами тайного общества, но потом объявил, что он их прощает и что они только должны будут присидеть с полгода в кр. пости. Левашев стал показывать им знаками, чтобы они поцеловали у императора руку, но сначала знаков этих не поняли, а потом не знали, как прислужить в этому обряду. Наконец, Анненков сложил обе ладони вместе, нагнулся и сделал шаг к императору. „Я этого не требую“ — отвечал император. У Катерины Федоровны Муравьевой сохранилось письмо, в котором императрица Мария Федоровна извещала ее, что сын ее, Александр, прощен. — Анненков был послан в Выборг, Муравьев в Ревель. Арцыбашев в Нарву. По следствию открылось вскоре, что Анненков и Муравьев виноватее, чем думали прежде, и их перевезли в Петропавловскую крепость. Виновны они были только разговорами. Их судили и присудили сослать в Сибирь в каторжную работу. Но так как не было еще готово помещение для декабристов, то их держали в крепости до 11 декабря 1826 г. Александр Муравьев, Никита Муравьев, Анненков и Торсон были посланы вместе (каждый на отдельной телеге и в сандалах); Анненков ехал в шинели и холодной фуражке.

Рассказ про Фаленберга не верен в журнале. Фаленберг был болен и содержался в сухопутном госпитале. Он только что женился и рвался на свободу. Когда Раевского выпустили, он нашел случай увидаться с Фаленбергом и сказал ему, что он признался и что его освободили, и что он и ему советует сделать тоже. Фаленберг, уверенный совершенно, что его выпустят, ежели он признается, стал не только признаваться во всем, но и наговорил на себя. Когда его спросили, не знает ли он чего о намерении царевубийства, он объявил, что он сам имел мысль убить царя и что говорил об этом Барятинскому. На очной ставке Барятинский доказал Фаленбергу, что он говорит вздор. — несмотря на это, Фаленберга сослали. Жена его вышла за другого.

Е. И. Янушкин.

¹⁾ А. К. Бошняк, а не Комаров. Е. Е. Я.

Памяти М. Н. Чернышевского.

3-го с. мая, на 67-м году от рождения, скончался младший сын Николая Гавриловича Чернышевского Михаил Николаевич.

Михаилу Николаевичу было всего шесть лет, когда, в 1864 году, сослали его отца, а в следующем году он видел отца только мимоходом — свидание в Сибири, куда мальчика брала с собой мать, продолжалось всего три дня.

Жизнь Михаила Николаевича шла неровно: то при нервно-больной матери, то в Петербурге у одних, то в Саратове у других родственников, но одна мысль, мысль об отце, навсегда залегла в его душу и роднила с близкими в общей сосредоточенной думе о далеком изгнаннике.

Ко времени возвращения отца из ссылки (1883 г.) сыновнее чувство к отцу уже слилось у Мих. Ник. с пониманием исторического значения Николая Гавриловича и стало глубоким к нему почитанием.

Это почитание отца легло в основу той громадной работы, которую за последние двадцать лет Михаил Николаевич единолично положил на соби́рание материалов к биографии и трудам отца. Те, кто близко видели эту работу, должны были дивиться изумительному любовному трудолюбию, плановости и неустанности Мих. Ник. Он начал с изучения тщательно собранного А. Н. Пыпиным архива Николая Гавриловича. Мих. Ник. списывал и регистрировал многочисленные семейные письма, расшифровывал дневники, написанные Ник. Гавриловичем индивидуальной стенограммой, разбирал рукописи и старые корректуры и все это приводил в исключительно систематизированный порядок.

Настоящее дело жизни Михаила Николаевича началось с 1905 года, когда был снят запрет с имени Чернышевского. Мих. Ник. тотчас приступил к печатанию сочинений отца. Прежде всего выпустил роман „Что делать?“, быстро разошедшийся в количестве 10.000 экз., а затем последовало „Полное собрание сочинений“ Чернышевского.

В 1919 г. Мих. Ник. выпустил библиографический указатель статей о Чернышевском (второе издание вышло 1911 г., третье, доведенное до 1922 г., готово к печати). К „Письмам из Сибири“, изданным в 1912 — 13 г., были даны Мих. Ник.-м обстоятельные примечания. Из ряда его личных статей отметим помещенные в „Вылом“; таковы: „К делу Чернышевского“ 1906 г., „Последние дни Чернышевского“ 1907 г., „Пропавшие письма Чернышевского из документов III отд.“ 1922 г. Остались статьи, приготовленные к печати в недавнее

время: „Вновь найденные неизданные статьи Н. Г. Ч.“, „Статьи биографического характера о Ч.“ и „Чернышевский в Вилуйске“. Приготовлены также снабженные примечаниями „Письма астраханского периода жизни Н. Г. Ч.“

Небольшой дом Чернышевских в Саратове Мих. Ник. передал в народное достояние в 1918 году и в этом доме поместил весь собранный им богатейший материал — печатный и рукописный — относящийся к Н. Г. Чернышевскому. Так создавался мемориальный Музей в целях ознакомления с личностью и творчеством Чернышевского, а также с эпохой 60-х годов вообще. В 1920 году Музей получил официальное основание и при нем предполагалось открыть библиотеку-читальню по эпохе шестидесятых годов.

Старый саратовский дом был уже значительно обветшалым, и даже предварительный его ремонт потребовал не мало энергических хлопот со стороны Михаила Николаевича, однако, бедный с внешней стороны, но богатый по своему содержанию Музей вскоре уже открылся для посещений. К установленным дням Мих. Ник. каждый раз сам вынимал из картонок и раскладывал для обозрения очередной материал и читал посетителям (научные работники и учащиеся высших средне-учебных заведений) лекции о Чернышевском, а по уходе посетителей, за отсутствием витрин и приспособленных постоянных хранилищ, Мих. Ник. снова все бережно размещал в свои многочисленные картонки.

Большую моральную поддержку Михаилу Николаевичу оказывало сочувствие его деятельности со стороны профессоров саратовского университета и саратовских научных обществ, куда ча то его привлекали для чтения докладов о Чернышевском. Он видел, что его дело живое и нужное.

Наряду с упорной работой по Музею Мих. Ник. продолжал готовить к печати найденные им в архиве III отделения документы. Снова пересматривал он и исправлял сделанную им расшифровку дневников Чернышевского за 1848—50—53 гг. (отрывок был напечатан в X томе Полн. собр. соч.). Дневники Николая Гавриловича представляют огромный интерес и вместе с автобиографией и сибирскими повестями должны войти в предпринимаемое Госиздатом издание трех дополнительных томов к полн. собр. соч. Чернышевского.

Печатание этих томов Михаил Николаевич жадно ждал. Но печатание задерживалось, и Мих. Ник. волновался. „Верно умру не дождавшись“, — неоднократно писал он в последнее время. Так оно, к сожалению, и случилось.

В заботе довести дом-Музей до желательной законченности к 1928 году, столетию со дня рождения Чернышевского, Мих. Ник., преодолевая развивавшуюся болезнь, отправился в Москву, чтобы хлопотать перед центром об отпуске средств, необходимых для окончания ремонта Музея. Но в первые же дни по приезде тяжелый недуг (воспаление печени и почек) свалил крепкую натуру и, несмотря на бдительную медицинскую помощь, унес из жизни Михаила Николаевича, не дав ему до конца довести его заветное дело.

Ред.

Л. Г. Дейч и „Народная воля“.

Печатаемые ниже статьи были получены редакцией журнала „Былое“ при следующем письме.

„Статья Л. Г. Дейча, помещенная в журнале „Пролетарская Революция“ № 8-й, благодаря переполняющим ее инсинуациям на „Народную Волю“ и клеветам, допущенным автором по отношению к деятелям ее, должна была вызвать справедливую оценку и возражения еще оставшихся в живых представителей партии „Народная Воля“. Результатом этого явились прилагаемые при настоящем письме статьи.

Мы просим редакцию „Былого“ напечатать эти статьи, чтобы читатели „Пролетарской Революции“, и вообще русские читатели, не подумали, что беззастенчивые извращения фактов, допущенные Дейчем, не могли быть опровергнуты еще живыми свидетелями описываемых им событий, и, таким образом, злословие и клеветы не приобрели значения истины.

Вера Фигнер.

А. Прибылева-Корба.

Чернявская-Бохановская.

А. Прибылев.

I.

Мертвые не говорят — приходится сказать по прочтении статьи Л. Дейча в журнале „Пролетарская Революция“ № 8 (20) 1923 г.: „О сближении и разрыве с Народовольцами (К истории возникновения группы „Освобождение Трудя“).

Поколение семидесятников и восьмидесятников в лице активных Народовольцев в настоящее время почти все сошло с арены жизни, и, когда нужно удостоверять или разъяснить какой-нибудь факт, оказывается, что свидетелей нет, участники умерли — и мертвые не говорят.

Такой случай представляет рассказ Дейча в указанной статье.

„В феврале 1882 г.“, говорит Дейч, „Исполнительный Комитет Народной Воли прислал за границу ¹⁾ обстоятельное письмо, в котором, под большим секретом, сообщалась неподлежащая опубликованию и сколько-нибудь широкому распространению „такая цель“ — намерение захватить власть ²⁾. Такой рассказ Дейча для меня, члена

¹⁾ Плеханову, Дейчу и Засулич (В. Ф.).

²⁾ Секрет, видимо, не строго оберегался, если подобного содержания письмо подвергалось всем случайностям пересылки из России в Швейцарию.

Испол. К-та, является новостью: в тот период из ныне живущих членов К-та на свободе находились А. П. Корба на севере, я — на юге. Анна Павловна из Тифлиса приехала в Москву — тогдашнее местопребывание нашего центра — в конце ноября, пробыла там декабрь 1881 г. и выехала в Петербург 2—3 января 1882 г. На мой запрос она пишет, что о подобных письмах Исп. К-та ни в Москве, ни в Петербурге она ничего не слыхала и о написании его ничего не знает, хотя в обоих городах по всем делам Комитета принимала участие.

Я была в Москве в октябре и в первой половине ноября 1881 г., в январе — феврале 1882-го жила в Одессе; в середине марта ездила в Москву, а затем поселилась в Харькове и находилась в постоянном общении с Киевской группой Народовольцев и с Озе сой, куда мной был направлен член Харьковской группы, Анненков.

Утверждаю, что в названных трех городах такого письма Исп. К-та ¹⁾ не получали и о таковом ничего не слыхали.

Итак, выходит странная история: в феврале 1882 г., задумав захват власти, Исп. К-т не обратился с этим предложением, решением или планом ни к одной из подчиненных ему народовольческих групп, существовавших в названных пяти городах, но направил извещение об этом за границу Плеханову, Дейчу и Загудич, которые не входили, ни в какую народовольческую организацию.

Больше того. В первой половине февраля 1881 г., т.-е. за год до времени, которое указывает Дейч, Исп. К-т созвал в Петербурге, как это описано в моей книге „Запечатленный Труд“ ч. 1-ая, совещание, на котором в порядок дня был поставлен вопрос о возможности или невозможности вооруженного выступления. Присутствовал весь состав К-та, который был тогда в полной силе: Желябов, Перовская, Суханов, Тихомиров, Фроленко, Исаев, я, Т. Лебедева, М. Ошанина, Н. Оловенников, Якимов и Багданович (поскольку они могли отлучиться из магазина сыров), А. Корба, Златопольский, Лангас, Грачевский, Тригопи, вызванный из Одессы (17 человек). Не было Теталова, который остался в Москве, Ал. Михайлова, Колоткевича и Баранникова, которые были уже арестованы.

Обсудив вопрос, мы сделали подсчет всем нашим силам (включая и Саратов) и единодушно признали, что для вооруженного выступления эти силы недостаточны.

Да! в феврале 1881 г. силы были признаны недостаточными. Как же, год спустя, когда из перечисленных членов К-та на свободе оставалось всего шесть человек, Комитет мог задумать — не вооруженное выступление, а ни больше, ни меньше, как, по словам Дейча, захват власти!

Скорбная повесть о том состоянии, в котором находился К-т в конце 81 года, рассказана мной в 1-ой части „Запечатленного Труд“ ²⁾, и между тем осенью того же и того года, по словам Дейча, „Стефанович сначала глухо стал намевать на имеющийся народовольцев какой-то особенной важности план, о котором преждевременно заявлять открыто ³⁾, а затем в декабре или январе он сообщил нам, что Исп. К-т задается целью захватить власть в свои руки; эта задача представлялась ему совершенно осуществимой, т. е. будто бы, все прогрессивные слои населения только и ждут этого акта. „Если мы — писал он буквально — при этих условиях не захватим власти, это сделают за нас другие. Здравый смысл, практический расчет требуют, чтобы мы это сделали“ ⁴⁾.

¹⁾ С практической посылкой захвата власти.

²⁾ См. стр. 285, глава 16-ая: Необходимость воссоздать центр, напечатанную в 22-м г., до появления статьи Дейча.

³⁾ Неужели когда-нибудь бывает своевременно заявлять открыто о подобных вещах!? (В. Ф.)

⁴⁾ Стр. 14 и 15 „Пролетарск Революции“ № 8 20.

Так писал Дейчу и Плеханову их друг, Стефанович. Сравните с этим главу „Ожидания общества“ в 1 ч. моей книги „Запечатленный Труд“.

Кто же и кого тут мистифицировал?

Описывая грустный период, когда аресты поглотили главные силы нашего центра— я, в своей книге, утвеждаю, что, благодаря потерям, К—т не мог уже думать о продолжении выступлений против русских самодержцев и задавался в это время исключительно делами организационными.

К сожалению, действующие лица, упоминаемые Дейчем, — Ошанина и Тихомиров, с одной стороны, Плеханов и Засулич — с другой, ушли из жизни — мертвые не говорят; самый документ, письмо К—та, говорит Дейч, отсутствует, и в России никто о нем ничего не слышал.

„То была смесь бланкизма со всевозможной отсасбятиной“, говорит об этом письме Дейч, „бессвязный и противоречивый лепет, что сразу бросалось в глаза каждому мало-мальски образованному социалисту“. (Стр. 15). „Ведь это совершеннейшая бессмыслица, на которую невозможно ответить!“ — воскликнул Плеханов по прочтении этого письма. (Стр. 16 статьи Дейча).

Кто же был автором этого письма К—та? Мы, пародомольцы, не знаем.

Мы знаем одно, что среди военных, как только была основана их организация, постоянно происходили разговоры о баррикадах, об инструкции, о разных боевых актах. Да! разговоры были, и притом во множестве. В воспоминаниях члена военной организации, М. Ю. Ашенбреннера, вышедших отдельной книгой, а раньше помещенных в № 7 „Каторга и Ссылка“, изд. О—ва б. политических каторжан, рассказывается, что осенью 1891 года, когда член петербургской военной организации — Будевич был в Николаеве, он развивал Ашенбреннеру различные проекты разоружения русской армии (в ночь на Иасху), план олаждения Кронштадтской крепостью и похода на Петербург и т. д. (См стр. 97 — 98 Воспоминаний и ст. 87 — 88 № 7 „Каторга и Ссылка“.)

Быть может, еслиб Дейч вчитался в эти воспоминания, он заметил бы следующие строки:

„Вероятно, в центре и не говорили о планах Будевича, потому что программы кружков еще не были объединены, а рассуждать о делах отдаленных, не закончив подготовительных действий, было незачем, их следовало только держать в уме“. (Разрядка моя. В. Ф.).

Ашенбреннер, очевидно, говорит тут о военном центре.

Но, если и в военном центре о практическом плане захвата власти не говорили, то как мог Исп. К—т посылать людям, посторонним нашей организации и находившимся в Швейцарии, извещение подобного рода?

Пусть ответственность за этот миф лежит на том неизвестном, кто его пустил.

Нельзя не указать, что вся статья Дейча написана языком и тоном, невозможным для революционера. Слова всемогущий, неуловимый по отношению к Исполнительному Комитету Народной Воли, поставленные в кавычки, совершенно неуместны. Всемогущим (царский поезд, Зимний дворец, 1-ое марта) считало Комитет русское общество. Неуловимым (т. е. мы все были нелегальными и три года бились с самодержавным правительством могущественного государства) Комитет был для царской полиции. И революционеру, который издевается над тем, что правительство самодержавцев в конце концов сложило Комитет, можно сказать: „Над кем смеешься? Над собой смеешься!“ Над Россией — если хотите, потому что Россия того времени выставила в лице Народной Воли единственную, имевшуюся у нее действительную группу, которая на весь мир крикнула: „На смерть будем бороться с самодержавием — за свободу!“ и делом подтвердила слово.

Вера Фигнер.

II.

Л. Г. Дейч напечатал недавно в № 8 издающегося в Москве журнала: „Прогрессарская Революция“ статью под заглавием „О сближении и разрыве с народолюбцами“. В некоторых своих частях, касающихся „Народной Воли“, эта статья требует разъяснений и опровержений, которые я намерена дать в том объеме, в каком соответствующие факты мне лично известны.

Прежде всего о присоединении Стефановича к „Народной Воле“ и к избранию его в „Исполнительный Комитет“.

Вскоре после 1 марта 1881 года в Комитете получилось письмо из Женевы от Стефановича. Оно было выдержано в безусловно искреннем тоне, граничившем с нескрываемым энтузиазмом. Начиналось письмо с заявления, что ни он, ни его ближайшие друзья не ожидали, чтобы событие, подобное тому, какое произошло 1 марта, могло так сильно потрясти их и пропустить такое глубокое впечатление, какое оно на самом деле вызвало; что он и его друзья, когда весть о покушении дошла до них, почувствовали себя крайне плохо, сознавая, что они проживали за границей без всякого серьезного дела в то время, как в России готовились события первостепенной важности; что теперь, пока, он один отдается всецело в распоряжение „И. К.“, предлагала работать совместно, но он уверен, что современем Дейч тоже не преминет соединиться с „Народной Волей“. В конце письма Стефанович предлагал по первому зову „Исп. Ком.“ выехать в Россию.

Ответ „И. К.“ был вполне дружеский; в нем выражалось удовольствие по поводу присоединения к „Народной Воле“ Стефановича, а также надежда совместной работы в полном согласии и единении. С приездом просили несколько обождать, в виду массовых арестов, производившихся повсеместно в России, в связи с 1 марта.

Одно обстоятельство оставалось неизвестным эмигрантам. Звезда „Народной Воли“ уже прошла свой зенит и склонилась к закату. Незаменимые потери конца 80-го и начала 81-го года, да многочисленные аресты, начавшиеся тотчас после 1 марта, обескровили партию и ее комитет. Было ли это явление временное и поправимое, или оно должно было привести к быстрой смерти партии, так недавно еще бывшей в расцвете своих сил, этого еще нельзя было ни выяснить, ни определить, а следовательно это обстоятельство не могло обсуждаться в письмах.

Таким образом, несомненно эмигранты представляли себе размеры и силы партии после 1 марта соответствующими тому впечатлению, какое получилось от одержанной народолюбцами победы. Поэтому, когда Стефанович осенью 1881 года приехал в Москву, где тогда пребывал „Исп. Ком.“, увидел его поредевший состав, ознакомился с делами партии, которые были тогда не блестящи, может быть, пожалел о том, что вернулся в Россию.

Как бы то ни было, его встретили радушно и по-братски, и предложили ему тотчас вступить в Комитет, как было предпретено заранее между членами „Комитета“.

При приезде Стефановича я не присутствовала и не знаю подробностей его первых шагов в качестве члена Комитета „Народной Воли“. Я вернулась из поездки на Кавказ в конце ноября 1881 года, по отъезду членов Комитета Тихомирова, Богдановича, Грачевского и других, бывших тогда в Москве, я не раз слышала рассказ о его приезде, о встрече с ним и проч. В самый день моего прибытия в Москву произошел памятный мне разговор между мною и Марией Николаевной Ошаниной.

Мы были одни и сидели в гостининой квартире, которую М. Н. занимала с Богдановичем. Она сообщила мне, что Тихомиров и она сочли нужным прочесть письмо Стефановича, забытое им открытым на письменном столе в кабинете Богдановича. Когда я воскликнула, что могло заставить их прочесть чужое письмо, М. Н. ответила: „Мы вынуждены были это сделать. Двояственность поведения Стефановича замечалась всеми нами. Он держал себя особняком от других членов Комитета. Имел своих зна-

комых, о которых никому не говорил, строил свои планы и работал над их исполнением, а комитетскими делами мало интересовался. Мы не были уверены, что он не замыслил козней против „Народной Воли“. Вот почему, когда представился случай узнать его истинное настроение и его намерения относительно „Народной Воли“, мы должны были этим случаем воспользоваться“. Чтение письма подтвердило опасения членов Комитета. Стефанович писал Дейчу, что его соединение с „Народной Волей“ шпийное; силы ее ослаблены, и она вряд ли оправится; следовательно, не стоит поджидать ее к ней. Его старания направлены на то, чтобы в России вызвать сочувствие к марксистским воззрениям и подорвать значение террористических актов“.

Когда Стефанович вернулся за своим письмом, ему было сказано, что оно прочтено, и изложены мотивы, вызвавшие со стороны Тихомирова и Марии Николаевны действие, неприятное для всякого развитого и интеллигентного человека, но в данном случае требовавшееся обильным ответственным положением как Тихомирова и М. Н. с одной стороны, так и Стефановича — с другой.

Последовала более или менее бурная сцена со стороны Стефановича. Ему в ответ на выражение неготовности и гнева предложили на выбор, или немедленно возвратиться за границу, или уничтожить письмо и изменить свой образ действия относительно „Народной Воли“. Он выбрал второе. Но доверие было уже подорвано, и прежние дружеские отношения не могли впредь восстановиться.

При мне в декабре 1881 года действия Стефановича были корректны. Он участвовал в комитетских собраниях, принимал участие в текущих делах, брал на себя исполнение некоторых поручений Комитета и проч. Но его инициативе был поднят вопрос о попытке завязать сношения с старообрядческим миром. Стефановичем было написано послание к старообрядцам, с копией которого, уже в отпечатанном виде, он и был арестован в февр. 1882 года на квартире Булановых.

В последних числах декабря 1881 года при моем участии состоялось собрание Комитета, на котором предстояло решить окончательно вопрос, должно ли состояться покушение на Стрельникова или нет. Здесь же, в качестве члена „Исп. Комитета“ за столом, за которым собрался Комитет, сидел Халтурин, который в начале заседания произнес небольшую, но энергичную речь в подтверждение того, что устранение Стрельникова необходимо.

На этом собрании Стефанович не выдержал своей роли корректного члена партии „Народной Воли“ и ее Комитета. Предвидя, по общему настроению, отчасти по речи Халтурина, что все присутствующие будут голосовать в утвердительном смысле, Стефанович покинул свой сдержанный тон, и плохое настроение духа, в которое привели его сложившиеся условия этого вечернего заседания, вылилось в довольно грубые и резкие выражения. Выпад этот, однако, ему несколько не помог. При голосовании он один поддал голос за сохранение жизни Стрельникову.

На стр. 14 своей статьи Л. Г. Дейч повествует нам о том, что в письме к нему Стефанович выдал ему тайну Комитета о захвате власти. Так как у Комитета подобной цели в то время и при подорванных силах не было и не могло быть, то из рассказа Дейча получается клубок лжи: Стефанович выдает якобы доверенную ему тайну; Дейч приписывает своему другу преступление, которого тот, может быть, и не совершал.

Но на стр. 15 клубок еще более увеличивается. Теперь уже сам Комитет сообщает Дейчу о своей великой тайне и поручает ему написать о ней Лаврову, Кравчинскому и Кропоткину, что Дейч и выполняет.

На это я могу ответить только, опустившись из мира фантазии, куда нас уносит статья Дейча, в область действительных событий.

Как сказано выше, я пробыла в Москве декабрь и первые дни января. При мне письма Дейчу с сообщением намерения захватить власть, не было отправлено Комитетом. Затем я уехала в Петербург в качестве представителя „Исп. Комитета“. Нас было двое таких представителей — Савелий Златопольский и я. Мы находились в постоянном общении с Москвою, и все важные вопросы нами решались сообща.

Златопольский ездил два раза в Москву для совещания с членами Комитета. Но ни одного слова о том, чтобы Комитетом предполагалось произвести захват власти, ни Златопольский, ни я не слышали.

Правда, существовал подобный проект, выработанный военной организацией, в которую входили офицеры балтийского флота. И, так как проект этот был составлен сведущими и не глупыми людьми, вполне проникнутыми революционным настроением, то само собой разумеется, что он не был таким жалким лепетом, какими изображает его Дейч. Но это был только проект. Очень возможно, что с этого рода проектами кто-либо познакомил Стефановича, как члена Комитета.

С появлением недоумения я прочла письмо Кравчинского на стр. 19. Для того, чтобы он заговорил таким тоном о членах Комитета, среди которых были лучшие и испытаннейшие друзья его, нужны были причины, которые трудно себе представить. Надо было, чтобы груды клевет и лжи дошли до Кравчинского, чтобы он стал членом Комитета считать глупее „ослов“ и, пожалуй, столь же развращенными в политическом отношении, как были главы царского правительства.

И опять в письме Кравчинского, уже в третий раз на протяжении 9 страниц статьи Дейча, встречается фраза: „Мы не социалисты и не политики (в данном случае на страж. 19 — „не радикалы“), а просто народолюбцы“. Такую фразу не мог сказать никто из народолюбцев, ибо программа партии „Народной Воли“ начиналась со слов „По основным своим убеждениям мы социалисты и народники“. А программа „Народной Воли“ до самого конца существования партии не подвергалась ни изменению, ни пересмогу.

Значит, фраза, три раза употребленная Дейчем, есть фальшивая монета, пущенная в обращение кем-то, во вред „Исполнительному Комитету“.

В конце своей статьи на многих страницах Дейч силится доискаться причины, озлобления или ненависти к нему Тихомирова. Это напрасно. Никакой злобы в Комитете никто не питал против него. Отношения к нему, правда, были очень далекие, а это одно исключает возможность сильных чувств. Далекими эти отношения сложились вследствие бездельной жизни некоторых эмигрантов за границей в то время, как в России народолюбцы надрывали свои силы в борьбе с правительством.

Озлобление против Дейча могло создаться у Тихомирова только после вскрытия большого письма Стефановича весной 1883 года. Но Тихомиров негодовал на Дейча, конечно, не потому, что он был адресатом Стефановича, как предполагает Дейч, а потому, что из письма явствовалась неразрывная дружба Стефановича и Дейча, настолько прочная, что Стефанович откровенно признавался своему другу в деяниях, которые никто не назовет иначе, как низкими, даже преступными. И пишу, конечно, в виду полупризнания Стефановича в выдаче Богдановича и сношения его с Плеве. Но, если он откровенно сознается другу в безразличных поступках, значит он уверен, что этот друг простит и прикроет его.

А. Норба-Прибылева.

21 декабря 23 г.

III.

Кто доставил за границу и вскрыл письмо Стефановича к Дейчу — я совершенно не помню. Но что я отлично помню, это те причины, которые заставили М. Н. Ошанину и других членов Исполнительного Комитета ознакомиться с содержанием этого письма. Вот эти причины:

Гораздо раньше, чем письмо Стефановича попало в руки членов Испол. Комитета, М. Н. Ошанина и ее товарищи сильно подозревали, что Стефанович — незадолго до своего ареста принятый в члены Испол. Комитета — был нескретен и вел какую-то игру в Испол. Комитете, а будучи арестован, выдал Богдановича и завел какие-то переговоры с Плеве.

Вот какие подонжения были против Стефановича. Не прочесть этого письма, написанного Стефановичем из заключения, значило для членов Исполнительного Комитета не исполнить своего долга.

Письмо было прочтено, и содержание его вполне подтвердило существовавшие подозрения. Во время этого чтения (при котором я присутствовала), не раз слышались восклицания: „Вот видите! вот видите!“, а при чтении одною из мест (не помню в точности, какие там были убогреблены выражения, но речь шла о квартире Богдановича и о том, что Шеве обещал Стефановичу не подвергать аресту М. Н. Ошанину ввиду ее болезненного состояния), М. Н. Ошанина ударила рукой по середине этой написанной синими буквами (страницы большого формата и воскликнула: „Вот доказательство“.

О характеристике Льва Тихомирова и других членов Исполнительного Комитета, которая, по словам Дейча, находилась в письме, у меня не сохранилось никакого воспоминания. Если и были такие характеристики, то им не придали значения — обращали внимание на главное: арест Богдановича и переговоры Якова Стефановича с Шеве.

Угроза Л. Дейча обратиться к третейскому суду и вызвать этим крупный скандал в эмиграции, если действовала на М. Н. Ошанину и ее товарищей, то не в том смысле, который придает ей Дейч: опасения, что третейский суд вынесет им осуждение за прочтение письма Стефановича при палачности вышеуказанных подозрений -- не могло быть. Опасались скандала другого рода: сделать известным, что в Исполнительный Комитет попало такое лицо, как Яков Стефанович. Поэтому-то, письма не хотели предавать гласности, тем более, что отравленный в Сибирь Стефанович уже не мог вредить революционному делу.

Содержание приводимого Л. Дейчем письма С. Кравчинского кажется мне совершенно невероятным и изумляет меня: все, что я видела и слышала, когда Кравчинский приезжал при мне в Париж, указывает на самое товарищеское и дружеское отношение к М. Н. Ошаниной и Тихомирову. А этот приезд Кравчинского относится к осени 83-го или к лету 84-го года, следовательно, имел место после упомянутого выше письма.

Чернявская-Бохановская.

Петроград, 20 декабря 23 г.

IV.

В истории „Народ. Воли“, наряду с дегасщиной, гнетущее впечатление производит попытка дезорганизовать, разложить ее в ее недрах, и в этом отношении существенную роль сыграл наш сопроцессник М. В. Стефанович.

Еще со времени суда (в 83 г.) в наших глазах на Стефановиче лежало тяжким пятном подозрение в неискренности его вступления в ряды „Нар. Воли“. Причинами этого были как его таинственные сношения с Шеве, так и глухие слухи о его попытке своим вступлением в партию дать ей другое, несвойственное ей направление. Все это разъяснилось постепенно, начиная с процесса и особенно дорогой в Сибирь, и в этом заключалась, на мой взгляд, причина того обособленного положения, какое занял Стефанович на Каре за все время его пребывания там.

Кроме того оказалось, что за границей имеется письмо Стефановича к Дейчу, писанное им после суда, письмо сильно компрометирующего характера. Это письмо, посланное конспиративно за границу, попало в руки народолюбцев, а так как слухи о поведении Стефановича не были для них секретом, то они сочли себя вынужденными письмо вскрыть, прочесть, снять с него копию и засвидетельствовать подписью нескольких лиц, безупречность которых стояла вне каких-либо сомнений.

Лично я имела возможность ознакомиться с этим откровенным излиянием Стефановича. Впечатление от этого письма получалось колоссальное. — Во-1-х, оно не оставляло сомнения в том, что Юр. Богданович был отдан в руки жандармов благодаря ему, Стефановичу. С другой стороны, из этого письма явствует тайное намерение

взорвать партию изнутри, другими словами пересоздать ее на новый, близкий к марксистскому, лад, путем вхождения в состав ее Исп. К-та. Из этого же письма мне стала совершенно понятна причина разрыва редакции: „Вестник Народной Воли“ с Дейчем и тот резкий отказ, который он получил от народовольцев вслед за получением этого письма (стр. 38—39) ¹⁾.

Еще раз возвращаясь к тому намерению Стефановича и части его друзей, которое я назвал выше — намерением взорвать партию изнутри, я счताю себя вправе сказать, что оно не было намерением одного Стефановича, что с несомненностью и подтверждается словами самого Дейча. На стр. 7-й своей статьи в № 8 (20) „Пролетарской Революции“, говоря о возможности вступления Плеханова в число редакторов „Вестника Нар. Воли“, он продолжает:

„Он (Плеханов) станет главным его руководителем; наиболее ярким его выразителем. Поэтому, думаю я, народовольцы волеи-неволеи, вопреки собственному желанию, под влиянием заграничного своего журнала начнут постепенно поддаваться проповеди марксистских взглядов, которые Плеханов будет проводить в своих статьях“. Таким образом, говорит он дальше, „распылчатая, утопическая и эклектическая программа народовольцев заменится другой, построенной на основах научного социализма“.

Не ясно ли из всего вышесказанного, что это был как бы настоящий заговор против партии „Нар. Воли“, заговор лиц, предлагавших свои силы для подрыва уже сильно пострадавшей организации, причем один из таких союзников работал в России и внутри самой организации, а другой вдал от нее, за границей и за пределами досягаемости.

Намерения эти не удалось, и „Народная Воля“ того времени могла бы сказать:

Боже! избави нас от друзей,
От врагов избавились мы сами.

Оставляя в стороне все рассуждения Дейча о народовольцах и о теоретических взглядах, якобы почерпнутые им из разговоров с представителями „Нар. Воли“ за границей, причем все доказательства автора ограничиваются исключительно ссылками на умерших уже людей и на несохранившиеся письма, оставляя все это в стороне пока, мое внимание останавливается на след. пункте.

На стр. 9 той же своей статьи Л. Г. Дейч, говоря о конгрессе в Хуре, где П. Аксельрод в качестве „русского гостя“ произнес пламенную речь в защиту и освещение деятельности партии „Народной Воли“, заявляет, что вслед за этим в газете „Народ. Воля“ появилась статья, по мнению Л. Г. Дейча, „крайне враждебно написанная“, „возмутительная“ (стр. 10), статья „нелепая и крайне оскорбительная по отношению к Аксельроду“ (стр. 10).

„Главная же суть, насколько помню“, говорит он, „состояла в том, что „русскому гостю“ автор приписывал обвинение народовольцев в „политиканстве“, чего вовсе не было в речи Аксельрода. Между прочим в этой статье был такой курьезный довод: на Западе — говорилось в ней, — прогрессивные партии делятся на „социалистов“, которые не желают ничего иметь общего с „политикой“, и на „политических радикалов“, занимающихся исключительно одной только политикой. „Мы же не социалисты и не политики, а просто народовольцы“. (Курсив мой А. П.).

Беря № 7-й „Народной Воли“ от 23/XII—81 г. н, действительно, находим в нем довольно полный отчет о конгрессе в Хуре от собственного корреспондента. Этот

¹⁾ Кстати сказать, и об этом письме и о роли Стефановича в партии Н. В. уже были указания в литературе (см. ст. Н. С. Тютчева „Здание у Цепного моста“, „Былое“ 13 г. 10—11). Новое подтверждение той же роли Стефановича можно найти в его письме к тому же Дейчу, которое стало известно М. Н. Ошаниной, а с ее слов и А. П. Корба, о чем последняя и сообщает здесь же.

отчет сопровождается вступительная часть, посвященная „русскому гостю“, составленная в высшей степени корректно, без тени полемического задора, даже как бы благодарная за речь „русского гостя“ на конгрессе. Но передавая статью органа, обращаясь к мало осведомленному читателю, не могла оставить без замечания многие неточности в речи „русского гостя“, легко объяснимые его оторванностью от России, незнанием с теоретическими основами народо-волевого движения и даже условиями его возникновения. Само собой разумеется, что этого рода поправки были необходимы, и выполнены они „Народной“ Волей вполне правильно и для „русского гостя“ безобидно.

Что же касается до деления на Западе прогрессивных партий якобы на „социалистов“ и „политических радикалов“, что заставило так много смеяться Дейча и близких к нему лиц (стр. 9), то лучшее, чем я могу ответить на это, это привести хотя и довольно длинную цитату из номера „Нар. Воля“. Вот все, в ней существующее и относящееся к „русскому гостю“:

„Прежде всего едва ли основательно прилагать к „Народной Воле“ слишком буквально европейские клички „политических радикалов“, „социалистов“ и т. п. В задачах народо-волевого движения есть элементы и политического радикализма и социализма, но они совершенно неразрывно слиты в одну цель и в одно дело. В России переворот политический настолько же необходим, как и переворот экономический. Никакие экономические реформы, никакая организация труда не может помочь русскому народу, если не будет изменена существующая государственная система... Русский социальный переворот включает в себе в одинаково важной степени оба элемента — политический и экономический“.

Далее говоря о Европе, статья добавляет: „при разрешении социального вопроса в Европе, на первое место выдвигается его экономическая сторона“, тогда как у нас „разрешение вопроса политического составляет такую же насущную потребность, как и вопроса экономического“.

Еще далее в статье говорится, что вопреки мнению „русского гостя“ народо-волевого направление отнюдь не подвергалось какому-либо изменению, что оно ни в каком случае не возникло эмпирически, а восприняло доктрину и мирозерцание народничества и т. д.

Из этой выдержки прежде всего явствует, что в ней нет ни слова о чем-либо „политиканстве“, нет никакого деления прогрессивных партий на Западе, и что самый термин, взятый в кавычки Дейчем, „политические радикалы“, как бы заимствован из самой речи Аксельрода.

Что же касается в высшей степени странной фразы „мы не социалисты и не политики, просто народо-волецы“, — фразы, взятой Л. Г. Дейчем в кавычки, хотя и приведенной им, как и вся трактовка статьи „Народной Воли“, — по памяти, — то, само собой разумеется, ее быть не могло не только в какой бы то ни было статье „Народной Воли“, но, как подлинный non-sens, и ни в каком писании какого бы то ни было писателя, как бы он ни был слаб...

А. Прибылев.

ВЫЛОЕ

№ 26

Ленинградский Гублит № 12858.

Тираж 4500 экз. — 18 л.

Гос. уч.-практ. школа-типография имени тов. Алексева. Ленинград. Красная, 1.

Сто лет тому назад.

(Роман декабриста Каховского).

Эпизод, рассказанный нами ниже, переносит нас ровно за столетие назад — к середине 1824 года. Он взят прямо из жизни и основан на подлинных письмах, хранящихся в рукописном отделении Пушкинского Дома при Российской Академии Наук, в одном из архивов, чудом спасенных во время революционного шквала 1917 — 1918 г.г. Главные действующие лица этого эпизода — молодая „светская“ девушка, только что встретившая свою 18-ю весну, и не столь молодой, как она, летами, но юный душой, пламенный энтузиаст, а именно: Софья Михайловна Салтыкова, вскоре затем вышедшая замуж за поэта Дельвига, и Петр Григорьевич Каховский, декабрист, в июле 1826 года кончивший жизнь на эшафоте...

Письма Салтыковой, в которых ею рассказана история увлечения Каховского, обращены к подруге ее и сверстнице, Александре Николаевне Семеновой, впоследствии, по мужу Карелиной; они раскрывают перед нами все детали этого непродолжительного романа, с самого его зарождения до конечного момента — разрыва; писаны они с такою обстоятельностью и откровенностью, что их можно читать почти без всяких дополнительных объяснений; но, чтобы понять и оценить эпоху и тот „местный колорит“, — ту среду, в которой развернулись события романа, нам необходимо ознакомиться с участвующими в нем лицами, которые выступают в нем как второстепенные персонажи, не столько действуя, сколько составляя фон, на котором разворачиваются события, и присутствуя при развивающихся на их глазах перипетиях романа.

I.

Группа этих лиц не велика, и во главе ее надлежит поставить отца Софьи Михайловны — Михаила Александровича Салтыкова. В 1824 году это был человек уже преклонного возраста: ему было 57 лет; он находился не у дел, хотя и числился на службе в ведомстве Коллегии Иностранных Дел, состоя действительным камергером при дворе Александра I. Потомок Московских бояр, член многочисленной и оригинальной семьи, — сын и племянник

типичных представителей русского свободомысленного дворянства середины XVIII века, — он возрос в среде, проникнутой „вольтерьянством“, и сам с молодых лет пропитался этим миронастроением, которое сохранял до конца своей жизни. Питомец Шляхетного Калетского Корпуса поры графа Ангальта, он был предан театральным и литературным интересам и сам впоследствии много писал (хотя ничего не печатал), а читал — еще больше. Отдав дань военной службе, он в 1794 году был уже полковником С.-Петербургского драгунского полка и состоял при президенте Военной Коллегии, своем родиче графе Н. И. Салтыкове. Судьба улыбалась ему: в это время он „попал в случай“ у Екатерины II и был даже помещен во дворец, в комнатах фаворита Платона Зубова ¹⁾; но фавор его длился не долго, — со смертью Екатерины он был уволен Павлом I от службы ²⁾, поселился в Смоленской губернии (вероятно, у вотчина своего, П. Б. Пассека), и лишь при Александре I звезда его вновь засияла: он был сделан камергером, зачислен в службу и вошел в интимный круг друзей молодого государя, с которым был близок еще в предыдущие годы мрачного Павловского царствования. Александр, по воцарении, предлагал ему, по словам Н. И. Греча, какое-то место; но Салтыков отказался от него, „объявив, что намерен жениться и жить в уединении“. И действительно, вскоре он женился на неродовитой, но красивой молодой девушке — Елизавете Францовне Рихар, одной из дочерей швейцарской француженки Марии Христиановны Рихар, содержавшей известный тогда в Петербурге пансион для девиц ³⁾, и хотя, по свидетельству того же Греча, брак этот был заключен „по страсти“, Салтыков жил с женою „не очень счастливо“. Он имел от нее сына Михаила (род. 1804) и дочь Софью (род. 1806); в 1814 году, 4-го ноября, Е. Ф. Салтыкова умерла в Казани, где муж ее был с 1812 по 1818 год попечителем Учебного Округа и Университета ⁴⁾. Переселившись, по выходе в отставку, в Москву, Салтыков вскоре переехал в Петербург для воспитания дочери и жил здесь не у дел. К этому времени относится характеристика Салтыкова, данная Д. Н. Свербеевым в его Записках: „Замечательный умом и основательным образованием, не бывав никогда за границей, он превосходно владел французским языком, усвоил себе всех французских классиков, публицистов и философов, сам разделял мнения энциклопедистов и, приехав в первый раз в Париж, по книгам и по планам так уже знал все подробности этого города, что изумлял этим французов. Салтыков, одним словом, был типом знатного и просвещенного русского, образовавшегося на

¹⁾ „Русск. Арх.“ 1876 г., кн. III, стр. 385.

²⁾ Павел сильно не благоволил к Салтыкову, — быть может, перенес и на него нелюбовь свою к его вотчину, Петру Богдановичу Пассеку, участнику убийства Петра III и пособнику Екатерины при восшествии ее на престол.

³⁾ Другая дочь ее, Анна Францовна, была замужем за генералом А. А. Клейнмихелем и была матерью пресловутого графа П. А. Клейнмихеля.

⁴⁾ О его службе здесь, любопытную переписку с проф. Броннером и портрет Салтыкова см. в труде Н. П. Загоскина: „История имп. Казанского Университета“, т. I, Казань, 1902, по указ.

французской литературе, с тем только различием, что он превосходно знал и русский язык" ¹⁾... Но отличительною чертою его натуры была склонность к гипохондри. В 1816 году профессор Броннер откровенно писал ему: „Характер у вас любезный, миролюбивый, мягкий; сердце у вас открытое, искреннее, даже в степени большей, нежели сами могли бы вы предполагать это. Вы легко привязываетесь к людям, вас окружающим“, — но тут же прибавлял: „Боже избави вас от гипохондрии, — оставьте ее в удел злодеям! С вашим добрейшим характером, невольно привлекающим к вам все сердца, вы всегда найдете возможность окружить себя честными людьми, достойными вашего доверия и которые будут в состоянии ценить ваши достоинства. Если вы хорошенько вдумаетесь в окружающее, вы придете к несомненному заключению, что у двуногих животных, именуемых людьми, имеется в наличии несравненно более слабостей, нежели действительной злобы. Будьте же великодушны и — прощайте им!“ -- ²⁾). Салтыков отвечал на это профессору Броннеру: „Я стараюсь избегать общества, чтобы не заводить в нем новых связей. Я жажду уединения, и опыт, предпринятый мною минувшим летом, которое я провел в деревне, дал мне ясно убедиться в том, что только на лоне природы мыслимо для меня совершенное счастье, среди деревенских занятий, среди деревенской жизни, чуждой здешних страстей и тревожений“, — но, прибавлял он: „откровенно говоря, в моем характере больше застенчивости и нелюдимости, нежели мизантропии; я не ненавижу людей, но только избегаю их, потому что я невысокого, в общем, о них мнения. Вот вам моя душевная исповедь“. „Жажда власти, отличий, почестей“, писал он в начале 1817 г. ему же: „является, в большинстве случаев, у людей неутолимою, и они нередко упиваются ими до водянки. Я рано познал скользкость этого пути и тщательно избегал его: яд честолюбия никогда не отравлял моего сердца. Будь у меня достаточные средства и отсутствие забот о будущности моих детей, — я не задумался бы бросить и служебное положение, и призрачные обаяния ранга и происхождения, с тем, чтобы удалиться к жизни свободной и независимой, — жизни под небом более счастливым, среди богаче одаренной природы, среди менее эгоистически настроенного общества, вдали от двора, вельмож, от очага всех бурных страстей. Я считал бы себя счастливым даже в бедной хижине, если бы она в состоянии была обеспечить мне спокойное состояние духа, мир и тишину. Только полное сельское уединение способно еще возвратить мне счастье“ ³⁾)... Вигель дает в своих Записках подробную и верную характеристику Салтыкова, называя его „человеком чрезвычайно ужимым, исполненным многих сведений, красивым и даже миловидным почти в сорок лет и тона самого приятного“; по его словам, Салтыков „во время революции (Французской) превозносил жирондистов, а террористов, их ужасных победителей, проклинал; но как в то время у нас не видели большой разницы между Барнавом и

¹⁾ Записки Д. Н. Свербеева, М. 1899, т. I, стр. 358 — 359.

²⁾ Н. П. Загоскин, назв. соч., стр. 409.

³⁾ Там же, стр. 410 и 411.

Робеспьером, то едва ли не прослыл он якобинцем... Он всегда имел вид спокойный, говорил тихо, умно, красно... С величайшим хладнокровием хвалил он и порицал; разгорался же только — нежностью, когда называли Руссо, или гневом при имени Бонапарте¹⁾...

Приведенные отзывы согласуются с тем впечатлением, которое выносится от знакомства с Салтыковым по письмам его дочери к А. Н. Семеновой. Несомненно, что в общении он был человек с тяжелым характером, — меланхолик, брызга, приходивший в дурное настроение духа от всякого пустяка, мнительный и раздражительный, с большою дозой эгоизма и деспотизма, хотя и одобренного личною свободомыслием. К сыну своему относился он с повышенной строгостью и требовательностью, держал его „в черном теле“ и не всегда был справедлив к нему; дочь — любил, но внушал ей страх к себе; очень полюбив сперва жениха дочери — Дельвига, он затем внезапно и без видимой причины изменился к нему, и между ними впоследствии вместо родственной близости, создалась, повидимому, взаимная отчужденность, к тому же, в конце 1828 года (7-го декабря) Салтыков был назначен сенатором в 6-й (Московский) Департамент Сената и, одинокий, уехал в Москву²⁾, где в 1830 г. (10-го февраля) назначен был еще почетным опекуном Московского Опекунского Совета³⁾. Он был членом Московского Английского Клуба⁴⁾, вице-президентом Российского Общества Садоводства с самого его основания в Москве в 1835 году⁵⁾, посещал вечера А. П. Елагиной⁶⁾, был в то же время в приятельских отношениях с Чаадаевым⁷⁾, бывал у И. И. Дмитриева, который однажды, в 1833 году, на вопрос кн. П. А. Вяземского о том, что делает М. А. Салтыков, отвечал: „Все вздыхает об изменении французского языка“⁸⁾...

¹⁾ Записки, ч. III, стр. 59—60. В этом смысле Салтыков был типичным представителем своей эпохи, — что можно видеть, между прочим, по замечательному портрету современника Салтыкова, нарисованному Л. Н. Толстым в лице „Князя Ивана Ивановича“ в главе XVIII „Детства“: „Он был хорошо образован и начитан, но образование его остановилось на том, что он приобрел в молодости, то-есть, в конце прошлого столетия. Он прочел все, что было написано во Франции замечательного по части философии и красноречия в XVIII веке, основательно знал все лучшие произведения французской литературы, так что мог и любил часто цитировать места из Расина, Корнея, Вольте, Мольера, Монтени, Фенелона“ и т. д. Таков же, в общих чертах, был и брат Салтыкова, П. П. Пассек (см. о нем ниже).

²⁾ 29-го октября 1830 г. Дельвиг писал князю П. А. Вяземскому: „Михайла Александрович пишет к нам через день. Он здоров, но воображение его поражено. Нет подле него человека, который бы развлекал его“ („Старина и Новизна“, кн. V, стр. 39).

³⁾ В этом звании он был членом Совета Московского Училища ордена св. Екатерины, обер-директором Московского Коммерческого училища и начальствующим в Ремесленном Учебном Заведении и в Ортопедическом Институте.

⁴⁾ „Русск. Арх.“ 1889 г., кн. II, стр. 93, 94 — 95.

⁵⁾ „Журнал Садоводства“ 1838 г., № 1, стр. 125, 129.

⁶⁾ „Русск. Арх.“ 1870 г., стр. 675; Н. Барсуков, Жизнь Погодина, т. IV, стр. 37.

⁷⁾ „Архив братьев Тургеневых“, вып. VI, стр. 80; Соч. и письма Чаадаева, под ред. М. Гершензона, т. I, 1913.

⁸⁾ „Остафьевский архив князей Вяземских“, т. III, стр. 240.

Следует особенно припомнить, что Салтыков был членом „Арзамаса“. Еще в 1812 году он был дружески знаком с Батюшковым, Дашковым и другими представителями молодого литературного поколения; а когда, в конце 1816 года, основался „Арзамас“, — Салтыков был приобщен к числу почетных членов этого содружества с титулами „почетного гуса“ и „природного члена“¹⁾; есть указания, что он участвовал и в самых заседаниях „Арзамаса“²⁾, просуществовавшего, как известно, не долго. Здесь он мог встречаться и с юным Арзамасцем Пушкиным, который впоследствии относился к Салтыкову с особенным уважением. Так, узнав о помолвке Дельвига, поэт писал своему другу: „Цалую руку твоей невесте и заочно люблю ее, как дочь Салтыкова и жену Дельвига“, или, незадолго до свадьбы: „Кланяйся от меня почтенному, умнейшему Арзамасцу, будущему моему тестю, а из жены — сделай Арзамаску непременно“³⁾... С горестною вестью о смерти Дельвига Пушкин, находившийся тогда в Москве, немедленно отправился к Салтыкову, чтобы сообщить ему об ужасном событии, но — „не имел духу“ сделать это⁴⁾...

В начале 1846 г. Салтыков был по, отзыву Плетнева, „довольно еще здоров и даже как будто свеж“⁵⁾; действительно, он прожил после того еще пять лет — и умер в Москве 6-го апреля 1851 г., года за два до смерти выйдя в отставку⁶⁾; однако, по словам Греча, он под конец жизни „от старости и болезни лишился ума“...⁷⁾.

II.

После Салтыкова нам придется, в первой половине нашего рассказа, встретиться с другою, не менее оригинальною личностью, — с дядей С. М. Салтыковой, Петром Петровичем Пассеком. Это был единокровный брат М. А. Салтыкова: мать последнего, Мария Сергеевна, рожд. Волчкова, известная в свое время красавица, еще задолго до смерти своего мужа, Александра Михайловича Салтыкова⁸⁾, сошлась с Петром Богдановичем Пассеком, одним из главных пособников Екатерины II при восшествии ее на престол⁹⁾.

¹⁾ Бумаги Жуковского, ред. И. А. Бичкова, стр. 159; „Русск. Стар.“ 1899 г. № 5, стр. 342, 350.

²⁾ Записки Вигеля, ч. V; Письма Жуковского к А. И. Тургеневу, под ред. И. А. Бичкова.

³⁾ Переписка, акад. изд., т. I, стр. 241, 300.

⁴⁾ Там же, т. II, стр. 219, 220, 224. В 1833 г. Пушкин имел с Салтыковым какие-то денежные неприятные расчеты (там же, т. III, стр. 8).

⁵⁾ Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым, т. II, стр. 675.

⁶⁾ „Остафьевский Архив“, т. III, стр. 615.

⁷⁾ Записки, стр. 196.

⁸⁾ Он был первым конференц-секретарем Академии Художеств, в Истории которой, ныне печатающейся, см. его биографию, мною написанную.

⁹⁾ Ум. в 1804 г. О нем см. у Гельбига — „Русские избранники“, „Русск. Стар.“ 1886 г., № 10, стр. 16 — 17; „Русский Биограф. Словарь“, — т. II, и др.

По словам Г. И. Добрынина, она, „в самых цветущих летах, разладилась с мужем и, в таком горьком случае, искала пособия и защиты по Петербургу. Пассек тогда был при дворе камергером. Он ей предложил свое покровительство, которое показалось для нее тем надежнее, что и он, разлада с женою, из фамилии Шафировых, не меньше имел нужду в покровительстве себя молодыми и пригожими женщинами. Сей случай двух горевавших половинок сочетал их на всю жизнь“ ¹⁾. От этого-то союза и родился, около 1775 года, сын Петр, который получил отчество и фамилию своего отца Пассека, хотя и прижит был М. С. Салтыковой без развода с мужем. П. Б. Пассек, своенравный до дикости вельможа и всеильный временщик, любил своего, хоть и незаконного, но единственного сына „беспримерно“, — по свидетельству Добрынина, ибо, при всех своих недостатках, даже пороках, был „наилучший отец, наилучший любовник и муж, добрый и чувствительный друг“... ²⁾ Мальчик „назывался, по отцовскому и по своему имени, Петром, а по нежности — Пипинком и Панушком“ ³⁾. Мария Сергеевна, малолетний сынок и... манежные лошади Пассека были, по выражению Добрынина, „три струны, которые были приятнейшею в жизни для его сердца музыкою, и без них он жить не мог“ ⁴⁾. Он перевез их, т. е. „друга“ своего и сына, — при назначении своем в 1782 г. Белорусским генерал-губернатором, в Могилев и, „любя всякого рода удовольствия“, устраивал у себя по вечерам „собрания, дабы вкусить приятность жизни Марье Сергеевне и Панушке“... ⁵⁾ Сожительство Пассека с Салтыковой заключилось браком, совершенным в селе Яковлевичах, Ельнинского уезда Смоленской губернии, осенью 1796 года ⁶⁾; здесь и в селе Крашневце, того же уезда, проживала она и раньше, в 1792 году, и здесь бывал у нее сын — М. А. Салтыков ⁷⁾; эти имения, равно как и красивая подгородная усадьба Пипенберг под Могилевом, достались вскоре „Пипинке“, — Петру Петровичу, как единственному наследнику отца ⁸⁾.

П. П. Пассек воспитывался в отцовском доме, под руководством англичанина Макгрегора (который так и остался потом жить у него в доме); затем он служил в военной службе, в которую был зачислен еще в 1782 году; произведенный 27-го марта 1795 г. в подполковники, он в 1796 г. состоял генеральс-адъютантом при фельдмаршале графе Румянцове-Задунайском ⁹⁾ и

¹⁾ Записки Г. И. Добрынина, СПб. 1872, стр. 233.

²⁾ Там же, стр. 293.

³⁾ Там же, стр. 233.

⁴⁾ Там же.

⁵⁾ Там же, стр. 234.

⁶⁾ Там же, стр. 271. 21-го июля 1796 г. умерла жена П. Б. Пассека — Наталья Исаевна, рожд. баронесса Шафирова; через нее Пассек был в родстве с мужем М. С. Салтыковой, мать которого, Мария Петровна, рожд. также баронесса Шафирова, была теткою Н. И. Пассека.

⁷⁾ „Русск. Арх.“ 1863 г., стр. 632 и след. — Воспоминания В. В. Пассека, в которых о М. С. Салтыковой рассказано много нехорошего.

⁸⁾ Пипенбергом владел он уже в 1797 г.: „Стар. и Новизна“, вып. XVI, стр. 5.

⁹⁾ Список Военному Департаменту на 1796 г., стр. 223.

в 1803 году был уже генерал-майором ¹⁾. В 1812 году он упоминается живущим в Смоленске ²⁾, а в 1818 г. — в Париже ³⁾; в 1820 году, будучи отставным генерал-майором, Пассек проживал в своих смоленских поместьях — Крашневе и Яковлевичах; к этому времени относится любопытный рассказ о нем М. С. Николаевой (род. 1808), которая, благодаря соседским отношениям ее родителей с Пассеком, в детстве и юности часто видывала этого оригинального человека. „Генерал Петр Петрович Пассек“, пишет она: „был с нами коротко знаком, так же как и жена его Наталья Ивановна. Часто они проводили у нас по несколько суток со всем своим штатом, который составляли двое англичан: один из них Макгрегор — воспитатель Петра Петровича, поселившийся у своего ученика на всю жизнь, и другой, Джек, почти слепой. Пассек на свой счет лечил его у лучших окулистов в Москве, поддерживавших его зрение. Тут же побочная сестра бездетного Петра Петровича — Екатерина Петровна ⁴⁾, получившая в его доме порядочное образование. У Пассека в селе Крашневе был большой сад с беседками, kiosками, мостиками, множеством цветов и теплицей, а в другом селе, Яковлевичах, где Пассек проводил зиму, была довольно большая библиотека и Ланкастерская школа для крестьянских мальчиков на 30 человек“ ⁵⁾. — „Я любила и уважала Петра Петровича. Зная, что он любит хорошую обувь, — так, бывало, натяну чулок и крепко подвяжу, что трудно ходить, но терплю, лишь бы заслужить его одобрение. Он ездил с женой за границу, что тогда не было так обыкновенно, как теперь, и привез нам всем разные безделушки, между прочим — новую тогда игру лото“ ⁶⁾.

К тому же времени относится и рассказ о Пассеке декабриста Ивана Дмитриевича Якушкина, также смоленского помещика: описывая приезд декабриста М. А. Фонвизина к нему в имение Жуково, Вяземского уезда, Якушкин пишет: „От меня мы поехали к Граббе ⁷⁾ в Дорогобуж и познакомились с отставным генералом Пассеком, который пригласил нас в свое имение недалеко от Ельни. Он недавно возвратился из-за границы и жестоко порицал все мерзости, встречавшиеся на всяком шагу в России, в том числе и крепостное состояние. Имение его было прекрасно устроено, и с своими крестьянами он обходился человеколюбиво, но ему все-таки хотелось как можно скорее уехать за границу“... ⁸⁾. На известном съезде членов Союза Благоденствия в Москве в январе 1821 года Якушкин, очевидно, доложил о Пассеке,

¹⁾ Князь А. Б. Лобанов-Ростовский, Русская Родосл. Книга, т. II, стр. 75. — 1-го декабря 1807 г. Пассек получил орден Владимира 3-й степени, 20-го марта 1808 г. — золотую шпагу, алмазами украшенную, а в 1813 г. (11-го сентября) — Анну 1-й степени (Придворный Месяцеслов на 1825 г.).

²⁾ Сенат. Архив, Отеч. война, С.Пб., 1912.

³⁾ „Сборн. Имп. Русск. Историч. Общества“, т. 73, стр. 469.

⁴⁾ Она ниже фигурирует в романе Каховского и Салтыковой.

⁵⁾ „Русск. Арх.“ 1893 г., кн. III, стр. 152.

⁶⁾ Там же, стр. 153.

⁷⁾ П. Х. Граббе, также прикосновенный к декабристам, впоследствии граф.

⁸⁾ Записки, М. 1905, стр. 36.

как о человеке, которого было бы полезно привлечь на свою сторону, — и ему было поручено вовлечь Пассека (и П. Я. Чаадаева)¹⁾ в члены нового Тайного Общества. Это вскоре и удалось Якушкину. „Возвратясь в Жуково“, пишет он: „я заехал к Пассеку и принял его в члены нашего Тайного Общества. Он был этим чрезвычайно доволен; когда он бывал с Граббе, Фонвизиним и со мной, он замечал, что у нас есть какая-то от него тайна, и ему было очень неловко. Он всегда был добр до своих крестьян, но с этих пор он посвятил им всё свое существование, и все его старания клонились к тому, чтобы упрочить их благосостояние. Он завел в своем имении прекрасное училище, по порядку взаимного обучения, и набрал в него взрослых ребят, предоставляя за них тем домам, к которым они принадлежали, разные выгоды... Курс учения оканчивался тем, что мальчики переписывали каждый для себя в тетрадку и выучивали наизусть учреждения, написанные Пассеком для своих крестьян. В этих учреждениях, между прочими правами, предоставлено было в их собственное распоряжение отдача рекрут и все мирские сборы. Они имели свой суд и расправу. По воскресеньям избранные от мира старики собирались в конторе и разбирали тяжбы между крестьянами. Однажды Пассек за грубость послал своего камердинера с жалобой на него к старикам, — и они присудили его заплатить два рубля в общественный сбор. Камердинер же этот получал от своего барина 300 рублей в год. Пассек в этом случае остался очень доволен и стариками, и собой. Он вообще двадцатью годами предупредил некоторые учреждения Государственных Имуществ. Бывши сам уже не первой молодости и желая насладиться успехом в деле, которое было близко его сердцу, он употреблял усиленные меры для улучшения своих крестьян и истратил на них в несколько лет десятки тысяч, которые он имел в Ломбарде; зато уже при нем в имении было много грамотных крестьян, и состояние их до невероятности улучшилось. Но крепостное состояние в этом деле всё испортило. Теперь это имение принадлежит племянникам Пассека, и очень вероятно, что ни одно из благих его учреждений уже более не существует“...²⁾.

Деятельность Пассека на пользу его крестьян была известна и Александру I, который однажды, в беседе с князем П. М. Волконским, указал на Пассека, Якушкина, Фонвизина и других помещиков, которые „кормили целые уезды“ во время тогдашнего неурожая в Смоленской губернии³⁾. В 1824 и 1825 г.г. Пассек, как увидим ниже, поддерживал связи с молодыми членами Тайного Общества — Якушкиным, Кюхельбекером, Повало-Швейков-

¹⁾ Письмо Якушкина к Чаадаеву, от 4 марта 1825 г. с упоминанием о Пассеке, до имения которого от Жукова было 60 верст, — см. в Сочинениях П. Я. Чаадаева, под редакцией М. Гершензона, т. I, М. 1913, стр. 360 — 364.

²⁾ Там же, стр. 60 — 61.

³⁾ Там же, стр. 64. — Донос Аракчееву на Пассека, от января 1822 года, с указанием на то, что он, имея 1000 душ, большой капитал и наличный хлеб, просит от казны в пособие 500 четвертей единственно оттого, что взял на сей год поставку вина в 10.000 ведер, см. в книге Н. Ф. Дубровина: Письма главнейших деятелей в царствование Александра I, СПб. 1883, стр. 333.

ским, Каховским (принятым в члены, впрочем, позже). Все они навещали его в Крашневе, а последний, приходясь двоюродным братом жене Пассека, гостил у него в деревне по-долгу. В одно из таких гощений здесь и разыгрался его роман с С. М. Салтыковой. Внезапная смерть Пассека в конце апреля 1825 г. ¹⁾ избавила его от последствий участия его в Тайном Обществе, — и в известном „Алфавите членам бывших злоумышленных тайных обществ“ осталась о нем лишь краткая запись: „Пассек, Петр Петров, отставной генерал-майор, помещик Смоленской губернии. — Умер. Якушкин показал, что он принял его в общество, имевшее целью введение представительного правления“.

Подробную, хоть и одностороннюю характеристику Пассека дает в своих, приводимых ниже письмах к подруге С. М. Салтыкова; из них же видно и отношение Пассека к своей жене, Наталье Ивановне, рожденной Олениной. Последняя происходила из большой помещичьей семьи той же Смоленской губернии ²⁾ и была в родстве со многими местными семействами: так, напр., Каховский, как мы указали, приходился ей двоюродным братом (вероятно мать Каховского была сестрой матери Н. И. Пассек, — рожденной Повало-Швейковской); декабрист Иван Семенович Повало-Швейковский был тоже ее кузеном, будучи сыном брата ее матери. Таким образом, декабрьские события 1825 г. должны были тяжело на ней отразиться; но она довольно долго прожила вдовой и умерла в конце 1842 г. в Яковлевичах ³⁾. Превосходный профильный портрет ее, равно как и два портрета ее мужа, П. П. Пассека, исполненные гравюрой и литографией, можно видеть в прекрасном издании А. В. Морозова: „Каталог моего собрания гравированных и литографированных портретов“ ⁴⁾.

III.

Наконец, нам надлежит сказать и о самой героине переданного ниже романа, — о Софье Михайловне Салтыковой. Она на год или на два была младше своего брата Михаила, в 1824 г. бывшего Ольвиопольским гусаром, и родилась 20-го октября 1806 года. Мать свою она потеряла, как мы видели,

¹⁾ В Родосл. Книге Лобанова-Ростовского (т. II, стр. 75) указано, будто бы он „лишил себя жизни“, справедливость этого указания мы проверить не могли. Погребен он был в Яковлевичах 1-го мая 1825 г. священником Н. А. Мурзакевичем, — см. его дневник в брошюре: „Н. А. Мурзакевич, историк г. Смоленска“, СПб. 1877, стр. 52; ср. Записки И. Д. Якушкина, стр. 100; „Русск. Арх.“ 1893 г., кн. III, стр. 179.

²⁾ См. В. В. Руммель, Родословный сборник, т. II, стр. 230, № 11; среди детей П. М. Оленина Н. И. Пассек, однако, пропущена.

³⁾ „Русск. Стар.“ 1877 г., № 7, стр. 443.

⁴⁾ Т. III, М. 1913, табл. 313 и 314. Что эти портреты изображают именно П. П. и Н. И. Пассек, надо заключить по тому, что: 1) других представителей этого рода в 1820-х годах (когда сделаны, судя по костюмам, портреты), кроме названных, не было; 2) единственным кавалером орденов Владимира 3 ст. и Анны 1 ст. (с которыми изображен на портрете Пассек) из Пассеков был только П. П. Пассек; 3) под литографированным портретом Пассека (см. его ниже, стр. 17) сделана надпись рукою П. А. Ефремова: „Член Северного Общества“, — а таковым был опять-таки только один П. П. Пассек.

в 1814 году, будучи совсем еще маленькой девочкой; воспитание и образование закончила она в Петербургском женском пансионе девицы Елизаветы Даниловны Шрётер, на Литейном проспекте ¹⁾. Одним из преподавателей ее здесь был Петр Александрович Плетнев, — известный писатель, поэт, друг Дельвига и Пушкина, впоследствии профессор и академик; он с большим расположением и, кажется, не без сердечной нежности относился к своей ученице. дочери почетного члена „Арзамаса“; она, в свою очередь, питала к нему чувства дружеского уважения, любила его уроки и ему, повидимому, была обязана развитием большой любви к словесности вообще и к русской — в особенности. Пушкин был для нее кумиром, — по крайней мере, судя по ее письмам, она знала наизусть всё, что он успел написать к 1824 году; от Плетнева она знала и о Дельвиге и Боратынском, о Рылееве и Бестужеве, помнила наизусть их произведения, с жадностью узнавала новые... Их имена и произведения, как увидим ниже, часто мелькают в цитируемых нами письмах ее к пансионской подруге ²⁾ — Александре Николаевне Семеновой.

К сожалению, Плетнев не оставил нам отзывов о своей ученице и жене своего друга Дельвига, хотя она и впоследствии изредка поддерживала с ним переписку ³⁾. Ее облик выяснится для читателя из того, что мы расскажем о ней в конце настоящего очерка, теперь же не будем упреждать впечатления о ней, получающегося от чтения ее писем. О главном герое романа — П. Г. Каховском — мы здесь также не распространяемся: подробности его жизни многим читателям известны из живо написанной и недавно еще переизданной работы П. Е. Щеголева об этом декабристе-романтике ⁴⁾; некоторые данные о нем мы сообщаем, однако, ниже, а сведения о разных других лицах, упоминаемых в письмах С. М. Салтыковой-Дельвиг, приводим попутно, под строкою. Укажем здесь еще, что все вообще письма Софьи Михайловны писаны сплошь по-французски; встречаются лишь немногие отдельные места, изложенные по-русски, а именно — большую часть ее разговоры с Каховским и письма последнего. Мы даем французский текст в переводе, отмечая звездочками с обоих концов отдельные русские фразы и куски текста.

Переходя теперь к этим письмам, скажем, что они начинаются письмом от 9-го июня, уже по приезде в Смоленское имение П. П. Пассека; приводим начало его.

Крашнево. 9 июня 1824.

Дорогой друг! Вот наконец я и прибыла в это знаменитое Крашнево, где нахожусь уже с позавчера, т.-е. с 7 числа сего месяца. Я была в восторге от того, что окончила путешествие, которое было более чем неприятно,

¹⁾ С. Аллер. Руководство к отысканию жилищ по Петербургу, 1824, стр. 478.

²⁾ „Русск. Арх.“ 1885 г., кн. I, стр. 461. Здесь напечатано стихотворение Дельвига к А. Н. Семеновой (тогда уже, по мужу, Карелиной), написанное при посылке ей в Оренбург „Северных Цветов на 1827“. А. Н. Карелина была тогда (1885) еще жива.

³⁾ Письма Я. К. Грота к П. А. Плетневу, т. I, стр. 274; в архиве Плетнева в Пушкинском Доме писем ее, однако, не имеется.

⁴⁾ П. Г. Каховский, М. 1919, изд. „Альциона“.

но теперь, должна сознаться, я предпочла бы быть в дороге, чем оставаться здесь. Вот, дорогой друг, тот крест, который я так просила у Иисуса: он мне его, наконец, дал: на сердце у меня так тяжело, что я не знаю, что говорю,— пишу тебе непоследовательно, мысли у меня мешаются до крайности; постараюсь, однако, привести их в порядок и рассказать тебе о моем путешествии с самого его начала до самого конца."

Из рассказа Софьи Михайловны видно, что она выехала из „дорожного Петербурга“, с Кирочной улицы, вместе с отцом, в воскресенье 1-го июня, в 6 часов утра, но прежде чем они успели выехать из городских ворот, встречный крестьянин остановил их, указав, что одно колесо их экипажа попорчено. „Папá разгневался на Ефима и Фадеев за их небрежность и даже ударил шляпою этого последнего (заметь, что с ним никогда не случалось, чтобы он бил людей); Фадей рассердился в свою очередь, забывая, как опасно раздражать Папá, который не любит шутить в таких делах; я делала знаки Фадеев и просила его ради бога замолчать, наконец,— он меня послушался, и дело обошлось"... Не без приключений подобного рода проехали путешественники Царское Село, Гатчину и направились далее к Белоруссии, часто под проливными дождями и в холодную и ветреную погоду. Через Витебскую губернию они доехали до Смоленска, где обедали у своей хорошей знакомой Лизы Храповицкой, и 6-го июня после обеда отправились дальше; до Крашнева оставалось всего 70 верст; но неудачи преследовали путников. Проехав еще 50 верст и прибыв на станцию, дальше которой ехать на почтовых было уже нельзя, они рассчитывали встретить здесь, как было заранее условлено, лошадей от П. П. Пассека, чтобы проехать остальные 20 верст до Крашнева. „Мы прибыли на станцию ночью“, рассказывает Салтыкова: „спрашиваемся на счет лошадей, а нам отвечают: „нет их, и не бывали!“ Папá пришел в ярость и не знал, что думать, так как ему известна точность моего Дяди; он уже полагал, что люди сбежали вместе с лошадьми; затем он начал винить в этом моего Дядю; и действительно,— все говорило против него, потому что он сказал нам, что лошади будут на этой станции 4-го июня и что они будут ждать нас там, когда бы мы ни захотели прибыть туда; мы приехали 6-го, а лошадей нет! Папá, в минуту гнева, хотел уже писать Дяде, что он не позволит ему дурачить себя (он был уверен, что тот хотел сыграть с ним шутку), что хотя нам и осталось сделать всего еще 20 верст,— это не мешает ему вернуться в Петербург и никогда ногой не ступить в Крашнево. К счастью, однако, гнев Папá скоро прошел; но что меня особенно удивило,— это, то, что он сам стал хохотать над теми странными мыслями, которые впали ему в голову, затем пришел в хорошее настроение духа, согласился провести ночь на станции, чтобы дать отдохнуть лошадям, которые нас туда привезли, и затем нанять их еще до Крашнева, хотя за них и приходилось заплатить вчетверо дороже против обыкновенного. На другой день утром мы прибыли сюда, при чем Дядя был совершенно сконфужен тем, что произошло: так как он человек довольно рассеянный, то он забыл, что лошадей надо было послать 4-го, и был уверен, что они нам будут нужны

только 7-го. Минуту спустя появилась моя Тетушка; она приняла меня с ангельскою добротою, я была тронута до слез ее ласками, очень искренними, — в чем можно ручаться; я не думала, что на свете может быть столь почтенная, столь мягкая, столь терпеливая, столь совершенно-добродетельная женщина, как моя Тетушка"... Переходя затем к впечатлениям о Дядюшке, П. П. Пассеке, Софья Михайловна пишет о нем:

„Дядя человек умный, это правда, — но он употребляет свой ум на то, чтобы насмехаться надо всем, что есть святого, — не говорю уж о мощах, — но и над самим Иисусом Христом; наиболее частым предметом его остроумия является евангелие. То, что, как ты слышала, говорят про Папá, — ничто по сравнению с тем, что говорит мой Дядя: он заставлял меня дрожать, — даже во время моего самого сильного нечестия; он не довольствуется тем, что себе самому делает зло, поворачивая в смешную сторону религию, но хочет того же и моей бедной Тетушке, насмехаясь над нею ежеминутно. Она сносит это с редкою невзлюбивостью; она умиляет меня постоянно и до такой степени, что я должна изю всех сил удерживаться, чтобы не расшатаваться. У нее есть брат ¹⁾, которого она нежно любит и который пользуется полным ее доверием. Дядя не пропускает случая, чтобы понадеваться и над ним, — он говорит, что тот расстроен в уме, и что Тетушка также становится такою: он-де заметил это по тому, что она иногда не может чего-нибудь вспомнить или произносит одно имя вместо другого, — что может случиться со всяким. Что хуже всего, — это, что он старается говорить ей эти вещи в присутствии многих. Я не понимаю, как не обезоружит его ее невзлюбивость и терпение! Она его любит чрезвычайно, но мне кажется, что он не платит ей тем же; когда она хочет приласкать его, — он ее отталкивает или говорит колючесть, — не всегда из области религии, и даже очень редко, — но на каждом шагу, который она делает, за каждое слово, которое она произносит. А между тем, это — особа, не лишенная ума; она очень рассудительна; я никогда не слышала от нее чего-нибудь, что давало бы повод к насмешке. Часто он дает ей почувствовать, что досадует, что женился на ней, она принимает это чудесно, не показывая ни малейшего вида, и всегда утверждает, что вполне счастлива.“

В следующем письме, от 15-го июня, Салтыкова возвращается к рассказу о своих дяде и тетке. „Теперь я уже гораздо меньше грущу, — пишет она: „Тетушка дает мне удивительный пример терпения и безропотности; с каждым днем я всё более привязываюсь к этой особе, которую решаюсь назвать прямо совершенством; невозможно знать ее и не ценить и не любить всем сердцем. Что касается Дяди, то он человек на-редкость веселый и умный; но признаюсь тебе, что я совсем не уважаю его, хотя и не могу помешать себе любить его, — из признательности, так как он показывает ко мне действительно много любви и внимания. — Вчера у меня был длинный разговор

¹⁾ Отставной генерал-майор и георгиевский кавалер Евгений Иванович Оленин (он умер 30-го октября 1827). См. ниже. *Б. М.*

с ним; начался он с шуточек, но затем сделался очень серьезен. Дело шло о колдовствах, язвительности. Я откровенно сказала ему то, что думала о нем. Упрекала его за его несправедливость, за его слишком жестокие суждения, за его насмешки над предметами, которые заслуживали бы большего уважения, за его пристрастия и т. д. Он согласился, что я права в этом последнем отношении и что он находит все прекрасным в особе, которую он любит, тогда как порицает многое и несправедливо в особе, которая не обладает изяществом манер. — Но, сказала я ему: — Вам очень трудно понравиться, дорогой Дядюшка; для этого нужно быть хорошенькой, особенно же иметь хорошенькую ножку, быть хорошо сложенной, умною, колкою; без всего этого люди вам не нравятся, так как вы не придаете никакой цены качествам душевным; вы доказываете это на каждом шагу, насмехаясь над особами, достойными уважения и даже не лишенными ума, но которые имеют один грех — быть некрасивыми, — и за это вы не обращаетесь к ним ни с одним словом.

Дядя. У меня на это не хватает смелости: они отталкивают меня своею некрасивостью.

Я. Вы преувеличиваете: те, о которых я говорю (при этом я называю их ему) некрасивы не до такой уж степени.

Он. Но они не говорят ни слова.

Я. Это от того, что они вас боятся; вы известны своею несправедливостью и своею язвительностью; они прекрасно говорят с другими, но вам могут отвечать только односложными словами, — и это происходит от робости. потому что у них есть ум; сознаюсь вам, Дядюшка, что я тоже вас боюсь. так как я имею несчастье также быть некрасивой и молчаливой, перед вами же я говорю еще меньше.

Дядя. Я в отчаянии, дорогая Софи, что ты такого дурного обо мне мнения. Я покажу тебе письмо, которое я написал сегодня и в котором говорю о тебе: ты увидишь, что напрасно меня боишься.

При этом он меня поцеловал. Я не хотела читать его письма, я знаю, что он меня любит и что это та пристрастность, в которой я его упрекнула, заставляет его говорить обо мне хорошо. М-ль Энгельгардт..., присутствовавшая при нашем объяснении, была одного со мною мнения, и это давало мне смелость продолжать разговор; однако, я сама удивляюсь смелости, с какою говорила столь сильные истины своему Дядюшке. Я упоминаю тебе лишь о четвертой части нашего разговора: нужно было бы много времени на то, чтобы передать тебе его на письме весь; но если бы ты сама его слышала, ты бы удивилась, а если бы ты знала Дядю, я уверена, что ты согласилась бы с моим мнением".

Далее Салтыкова описывает дядино имение, — и описание это настолько любопытно, что мы приводим его здесь, в подтверждение свидетельства Якушкина о хозяйстве почтенного вольтерьянца. „Не имея возможности (из-за дождей) прогуливаться пешком, мы ездили в коляске по окрестностям Крашнева; они восхитительны. У Дяди тринадцать деревень, — и все они видны сразу,

так как расположены на возвышенностях. Самая красивая, это — Яковлечи, где находится церковь и Ланкастерская школа, которую Дядя основал для крестьян; с удивлением видишь успехи, которые они делают. Нужно сознаться, что Дядя прекрасно умеет управлять имением; он достиг того, что распространил цивилизацию посреди варварства, так как Смоленская губерния в отношении невежества хуже всех других, даже сами помещики более „провинциальны“, чем где-либо в других местах. В Яковлечах-то Дядя и Тетушка и живут по зимам; там красивый теплый дом, там находится библиотека, бильярд и все возможные игры, которые могут заменить летние прогулки; наконец, всё это в чудесном порядке. Церковь великолепна; мы сегодня там были, так как сегодня — воскресенье; поют очень хорошо; священники совершают службу благородно и с достоинством, слышно всё, что они говорят; в конце концов, ничего лучшего и желать нельзя, даже в Петербурге. Затем нас водили смотреть скотный двор и молочную, где нас угощали очень хорошими сливками, простоквашей и превосходным маслом, — всё в величайшей чистоте. — Я еще не много играю на фортепиано, так как мое очень скверно; но г. Глинки (один из наших соседей) обещал нам прислать свое“... ¹⁾

Очень интересно, в следующем письме (от 29-го июля), описание празднования именин П. П. Пассека ²⁾. Собралось у него много гостей, — всею для провинции, очень различные („comme il faut“): „мадам Бо л х о в с к а я, очень умная женщина, г-н Ш в е й к о в с к и й, который поправился бы и в самых приятных обществах столицы; жена его, говорят, прелестна, но она не могла приехать, однако же я надеюсь познакомиться с нею в течение лета. Есть здесь также молодой человек, прекрасно воспитанный, лучший из всех тех, которых я здесь видела, по моему мнению: это барон Черкасов: правда, он житель Петербурга и лишь год живет в этих местах. Он очень образован и очень недурен лицом ³⁾. Остальная часть общества составлена из карикатур, чудаков и ценных редкостей. Я оставила их всех в саду и убежала к себе, чтобы писать тебе“...

IV.

Посетители в Крашнеев сменялись один другим, — и уже в следующем письме С. М. Салтыковой мы находим интересное сообщение о новом знакомом, встреченном ею у П. П. Пассека, — а именно о декабристе Иване Дмитриевиче Якушкине, рассказ которого о Пассеке мы привели выше.

¹⁾ Это, несомненно, отец композитора Иван Николаевич Глинки, помещик сел Новоспасского, в том же Ельнинском уезде, что и Крашнеево Пассека.

²⁾ Перед тем он на несколько дней ездил в Смоленск, — вероятно, за покупками ко дню именин.

³⁾ Быть может — барон Алексей Иванович Черкасов, впоследствии декабрист, — ил его брат, барон Петр Иванович, адъютант генерала Бороздина в 1826 г.



П. П. Пассен.

Член Северного тайного общества.
С современной литографии.

30 Июня, полдень.

Вчера, после того, что я прервала беседу с тобой, я вошла в залу и нашла там еще одного человека. Это был г. Якушкин, которого уже давно ожидали в Крашине. Я в восторге, что не надо ничего убавлять в том, что мне о нем говорили, — я не в состоянии достаточно похвалить этого молодого человека; он очарователен: прекрасно воспитан, умен, имеет, как говорят, прекрасную душу, всеми вообще любим и ценим, наконец, все говорят (и я не нахожу, что в этом преувеличивают), что этот молодой человек положительное совершенство; природа не отказала ему даже во внешних выгодах: у него лицо совершенно своеобразное, но очень приятное и полное ума. Я сделала страшную неловкость по отношению к нему. Ты знаешь, что я близорука, но никогда моя близорукость не причиняла мне такую досаду, как вчера. Я отыскивала Якушкина в продолжение десяти минут, прежде, чем с ним поздороваться: последовательно я принимала за него Папа, г. Черкасова, Швейковского и т. д.; все это время он стоял и должен был быть очень удивлен, видя, как я здороваюсь с людьми, которых я уже видела и которые, поэтому, не спешили отдать мне поклон; к тому же они все были на противоположной от него стороне залы. Впрочем, я надеюсь, что он не смеялся надо мною: он ни о ком решительно не отзывался дурно, — напротив, всегда становится на сторону того, кого ставят в неловкое положение. Его приезд произвел здесь целую революцию. Мои Дядя и Папа обожают его. У него, говорят, жена 17-ти лет ¹⁾, которую он привезет через две недели, и 9-месячный ребеночек, которого мать еще кормит. Дядюшка немного посмеялся над тем, что со мной случилось, когда мы были уже одни; впрочем, мы уже заключили с ним мир и в течение восьми уже дней очень дружны; я его люблю, как никогда. Что мне нравится в нем, это — откровенность: он не стесняется со мною и говорит мне, как добрый дядюшка, всё, что ему не нравится. Он показывает мне много доверенности и побуждает меня платить ему тою же монетой. — На-днях он говорил со мной о моих приключениях с г. Констант... и заставил меня рассказать все подробно этой истории; он откровенно высказал мне свое мнение по этому поводу и сообщил мне, что он даже слышал, что некоторые здешние молодые люди, которые хорошо его знали, нехорошо отзывались об этом человеке; он был в восторге, узнав, что я больше об нем не думаю, и убеждал меня взять его отныне в свои наперсники. Я не премину это сделать; я вижу, что я не благодарна по отношению к богу, что жаловалась на мою судьбу, и по отношению к моим добрым родственникам, что не сумела их оценить, в особенности Дядю, ибо Тетю я полюбила с первого дня, как ее увидела... Оставляю тебя, чтобы одеваться и идти снова к обществу, так как скоро будут обедать. Дядя, который, как ты знаешь, блещет умом, будет, я думаю, сегодня много нас увеселять, так как приезд Якушкина приводит его в хорошее настроение“...

¹⁾ Рожденная Шереметева.

В письме от 7-го июля Салтыкова снова возвращается к рассказу о Якушкине: „Якушкин, о котором я говорила тебе в предыдущем своем письме провел здесь три дня; о его отъезде весь дом сожалеет, но мы надеемся снова увидеть его в середине этого месяца, — и даже еще с его женою и маленьким Вячеславом, который, говорят, очень мил. Швейковский тоже покинул нас; он страстно любит немецкий язык и, узнав, что я читаю на нем, предложил мне несколько книг. Теперь, благодаря ему, я читаю „Германа и Доротею“ и наслаждаюсь ею; он обещал мне также прислать „Agathooles“, знаменитый роман m-me Пихлер, о котором ты наверное слышала. Я вошла во вкус немецкого языка более, чем когда-нибудь; тебе я обязана первыми шагами, сделанными мною в немецкой литературе; Швейковский увеличивает во мне этот счастливый вкус; он читает, но не говорит на этом языке, так же, как и я. Он ему также не нравился раньше, как и мне; но он женился на немке, которая заставила его бросить его предубеждение и воспользоваться ее библиотекою, составленною из лучших немецких сочинений; теперь он только и делает, что благодарит ее за такой хороший совет“...

Далее Салтыкова рассказывает о шутиловом столкновении своем с дядей Пассеком; оно хорошо характеризует его, а потому мы и приводим этот рассказ. „Меня только что прервали, — и если бы ты знала, каким образом! Представь себе, что Дядя вошел в комнату, в которой я тебе писала, и во что бы то ни стало хотел прочесть мое письмо: уж давно он меня мучит этим, но я не хотела исполнить его желание. Тут я побежала от него, я была вся в испарине и употребляла все свои силы, чтобы вырвать у него из рук это несчастное письмо, которое все измалось при этом. Наконец, он сам отдал мне его и сказал мне серьезно, что никогда бы не имел низости прочесть его, но что хотел только меня помучить немножко, и, увидев мой ужас, воспользовался, чтобы позабавиться на мой счет. Затем он мне сказал: „Верно эта война будет описана“ (и он не ошибся!); он утверждает, что я тебе напишу: „Ах, дорогая моя, что я тебе расскажу! В какое волнение поверг меня этот мой толстяк-Дядя!“ Мы много вчера говорили с ним о тебе, и он велел мне сказать тебе, что он принадлежит к числу твоих поклонников, так как я рассказала ему, что ты не любишь золотой середины, а так как он также стоит за крайности, то это ему и нравится; затем он сказал, что не любит тех, кто всегда „на земле“, но что нужно парить, витать, как он выражается, чтобы ему нравиться; поэтому-то он и удивляется тебе, что ты также любишь парить, витать — не правда ли? В этом всегда состоял упрек, который делала тебе мадам Шрётер. Я могу теперь сказать ему еще нечто, что окончательно сделает тебя очаровательною в его глазах: это — что ты не любишь мадам Жанлис (а он ее ненавидит)... Из того, что я тебе рассказала о Дяде, — надеюсь, ты получила о нем представление. Он очарователен. Всё, что он говорит, исполнено ума; он имеет особенный талант рассказывать; его рассказы всегда кратки, но энергичны и очень остроумны; я не могу дать тебе о них ясное представление, — нужно

слышать его самого, чтобы знать, что это такое; ты бы много смеялась, если бы была здесь. Он часто говорит мне по поводу тебя: „Зачем ты ее сюда не привезла?“ Тетушка также очень любит тебя... Дядюшка хочет меня уверить, что он распечатает мое письмо, когда я передам его ему для отправки на почту, что он его прочтет, так как я не хочу ему дать твоего письма, и даже, что он прибавит к нему несколько строк, которые он мне не покажет; но я прекрасно знаю, что он шутит, так как он дал мне честное слово, что не будет читать твоего письма, если бы даже я положила его на столе; он говорит также, что советует тебе не адресовать твоих писем на его имя, так как он сделает вид, что не заметил, что внизу стоит „а вас прошу“ и т. д., и что он распечатает пакет. У него в доме есть некий англичанин, над которым он часто потешается ¹⁾. Представь себе, что вчера он за обедом поставил перед ним солонку с сахаром, зная, что тот кладет много соли во всё, что он ест; как только он получил свою тарелку супу, он не преминул положить в нее обычную порцию соли,—и каково же было его удивление, когда он попробовал суп! Затем Дядя выслал за чем-то на минуту казачка, присутствовавшего при этой сцене, и во время его отсутствия снова положил в солонку соль, а когда малыш вернулся, он сказал ему: „Ванька, хочешь соли? дай я тебе в руку насыплю и съешь при мне“. Тот, думая, что солонка все еще наполнена сахаром, с радостью принял ее,—и проглотил столько соли, что сделал страшнейшую гримасу, которая заставила нас много смеяться. Вот образчик шуток моего дорзого Дядюшки; но это ничто в сравнении с умными и забавными вещами, которые он заставлял нас ежедневно слушать“...

14-го июля Софья Михайловна рассказывает подруге, между прочим, о новом знакомстве—с Е. И. Лениным, братом тетушки Пассек. „Он бывал, если ты припомнишь, пишет она: у нас в Петербурге, но я его никогда не видала, потому что он приходил ненадолго. Он очень похож на мою Тётю, как физически, так и с моральной стороны. Это человек весьма почтенный, преданный своей родине, храбрый, с 14 ранами; теперь он больше не служит. Дядя насмехается над ним, говорит, что он сумасшедший,—но это вовсе неправда, и говорит он это по своему насмешливому характеру; я уверена, что он этого не думает, и мы всегда с ним об этом спорим; я упрекаю его за то, что он не проведет и нескольких часов без того, чтобы не сказать чего-нибудь злого; а он в ответ начинает насмехаться надо мною, но с таким умом, что я не в состоянии сердиться на него за это. Мы—добрые друзья с ним.—На этих днях я много смеялась. К нам приехал некий г. Николев, который произносит букву л, как маленькие дети; например, вместо Ельна он говорит Ейна; пьять вместо плакать и т. д. Тётя спрашивает его: „Где ваша матушка?“ (а она была в Ельце),—и так как он не мог произнести это название, он должен был ответить: „в яйце“. Ты легко можешь себе представить, что мы должны были изо

¹⁾ См. в предисловии.

всех сил удерживаться, чтобы не расхохотаться; к довершению несчастья, он повторил это несколько раз, — а ты сама знаешь, как тяжело удерживаться, когда умираешь со смеху. А это с нами часто случается, так как у нас соседи очень смешные и говорят преуморительные вещи. Нужно слышать моего Дядюшку, как он рисует их портреты: он пользуется для этого настоящими красками. Суди сама, что должны мы испытывать, когда снова видим тех господ, которых он нам так хорошо представлял“.

В следующем письме (от 22-го июля) находим рассказ Салтыковой о том, как она „серьезно“ поссорилась с Дядей несколько дней тому назад. „Была прекрасная погода; он предложил мне проехаться верхом с Катериной Петровной ¹⁾ и конюхом; я приняла предложение, конечно, — в восторге от того, что лошадь мою больше не поведут за повод и что я поеду дальше двора... Между тем, Дядя потихоньку приказал конюху, который должен был нас сопровождать, привязать к моей лошади веревку, держать за нее, не позволять мне галопировать и не ездить далее, чем за полверсты; когда я увидела всё это, я пришла в ярость, всю дорогу ворчала, а вернувшись домой, объявила Дядюшке, что это в последний раз, что я ездил верхом, что, если бы я знала его тайные распоряжения, то я не дала бы себе труда и одеваться, потому что мой туалет продолжался дольше, чем самая прогулка, и что, наконец, я хотела ездить для удовольствия, а не для чего-либо другого, и что так как я не нашла никакого удовольствия в том, чтобы меня водили на веревке и пришлось ехать шагом, я решила больше не вдевать ногу в стремя. Дядя хотел обратить это в шутку, но, увидев, что это ему не удастся, дал мне слово на другой день поехать со мной на прогулку верхом без веревки и так далеко, как я пожелаю; но я не захотела этого, говоря с насмешливым видом, что я очень ослабела, что у меня будут болеть нервы и что я буду падать в обморок всякий раз, как моя лошадь захочет пойти немного быстрее, чем шаг за шагом. Дядя хотел меня приласкать, но я сделала вид, что не заметила этого, и отвернулась. Тогда ему стало досадно, и, чтобы меня еще больше помучить, он ничего не сказал мне и надулся на меня. На другой день он в течение всего дня был со мной крайне вежлив, но очень натянут; наконец, уж к вечеру, я не могла больше удерживаться и попросила у него прощения (и действительно я была кругом виновата); он не захотел объяснений, но был до чрезвычайности нежен со мною во весь вечер... Он мне также обещал поехать со мною верхом в ближайший день и — без корды; он даже сказал: „Я рад тебя сбросить с лошади, чтоб ты была довольная“. Он очарователен, этот дорогой, добрый Дядя! — У нас здесь были на несколько дней г-н и г-жа Якушевины; его я уже знала, но она была для меня новым знакомством. Ей нет еще 16 лет, она никогда не бывала в свете и никогда в нем не будет, от этого она очаровательна своею искренностью, простодушием. Она красива, интересна, совершенно

¹⁾ Петровой, — „воспитанницей“ Н. И. Пассек, а на самом деле — побочной сестрой П. П. Пассека.

необычна; муж ее — соединяет в себе все самые восхитительные качества в смысле внешности, ума, тона, характера, манер и т. д. Их маленький Вячеслав будет красив; он похож на своего отца, бледного, с черными усами (хотя он и в отставке), с превосходными глазами, живыми и черными; нос у него вроде носа Павла Нащокина ^{*)}, но более красивый, превосходные зубы; несмотря на все эти внешние преимущества, можно сказать о нем, что его внутренние качества превосходят его внешнюю красоту. Невозможно однако составить себе представление об этом человеке, не зная его лично. Это семейство в полном смысле очаровательное: эта юная и красивая мать, кормящая своего прелестного младенца, этот отец, который так хорошо с ним играет и берет его к себе на руки в одеяльце после ванночки, — всё это восхитительно! Ах, если бы ты это всё видела! — У нас был также в течение нескольких дней молодой барон Черкасов, о котором я тебе уже говорила; он — из Петербурга и был в восторге, найдя в этой далекой стороне свою землячку, — поэтому мы много с ним говорили о тебе, при чем я имела случай заметить его прекрасный тон, образованность и ум. Он очень хорошо воспитан и довольно веселый. Нужно же так, чтобы у меня с тобой была всегда какая-нибудь симпатия, милая Саша! Ты рассказывала мне, что твои локоны развиваются при приходе Ждановича ²⁾, — отлично! а мои с некоторого времени хотят делать то же при виде появляющегося Черкасова! Вот уже четыре дня, что более нет сырости, а несмотря на это локоны упадают, как только он входит в комнату; а сегодня они держатся хорошо несмотря на то, что был дождь: это потому, что Черкасов вчера уехал... Он попрощался с нами на три недели: он отправляется в Петербург повидаться с родителями и будет стараться, — как он сказал нам, — быть в отсутствии возможно меньше. Я хотела бы, чтоб он сдержал слово: я его очень люблю, — право, он прекрасный молодой человек. Надеюсь, что он будет с нами к 25-му Августа, так как 26-го день именин моей Тетушки...“

V.

Но еще прежде наступления этого торжественного дня С. М. Салтыковой пришлось познакомиться с двумя интересными молодыми людьми, из которых один весьма сильно задел ее чувства и ум своею незаурядною личностью и заставил ее забыть всех ранее ею встреченных в Крашневые мужчин: — Швейковского, Якушкина, Черкасова и других: это были В. К. Кюхельбекер и П. Г. Каховский; из них последний, ровно через два года, погиб на виселице на кронверке Петропавловской крепости, а первый, пламенный поэт-романтик, годами долгого заключения в крепостях, а затем

^{*)} Гусарский офицер Павел Александрович Нащокин, знакомец Пушкина, которого не следует смешивать с другим поэтом — П. В. Нащокиным.

²⁾ Вероятно штабс-капитан 2 Кадетского Корпуса Петр Владимирович Жданович.

прозябанием в Сибирской каторге и ссылке заплатил за минутный порыв и увлечение идеями свободы, равенства и братства.

Романический эпизод, разыгравшийся между Каховским и С. М. Салтыковой в смоленской деревне одного из старших по возрасту членов Тайного Общества — П. П. Пассека, очень интересен и вносит новую яркую черту в образ пылкого декабриста Каховского, — образ, с большой отчетливостью нарисованный нам талантливым пером П. Е. Щеголева. Используя весь материал следственного дела о Каховском и немногие показания о нем его современников и друзей по Тайному Обществу, П. Е. Щеголев рассказал нам всё, что было известно о Каховском, как о человеке, до выступления его на поприще революционной деятельности. Рассказ этот, по бедности находившихся в распоряжении историка материалов, не отличается отчетливостью: пробелы в фактической стороне биографии чувствуются на каждом шагу; биографа также не было красок, которые дали бы возможность оживить человеческую, жизненную фигуру одного из тех пяти, чья жизнь, по его же выражению, „оборвалась 13 июля 1826 г. на виселицах Петропавловской крепости“. Теперь, благодаря дошедшим до нас девическим письмам юной Софьи Михайловны Салтыковой к ее столь же юной подруге Александре Николаевне Семеновой, к тому, что мы знаем из прекрасной книги Щеголева о Каховском, мы можем прибавить один красочный и жизненный эпизод — его кратковременный, но серьезный роман с С. М. Салтыковой. Любовь заставляет человека обнаруживать себя всего, во всех проявлениях душевных свойств и качеств, — как положительных, так, нередко, и отрицательных. Страсть выносит наружу то, что в спокойном состоянии человек может и умеет скрыть, спрятать, утаить. Откровенные, точные записи С. М. Салтыковой, — часто в диалогической форме, дают нам возможность услышать страстную речь влюбленного Каховского; в его репликах молодой девушке мы видим его суждения, узнаем его образ мыслей, наблюдаем игру его чувств и воображения, — словом, становимся лицом к лицу с этим энтузиастом, который, как теперь можно с уверенностью сказать, был и в личной жизни таким же пламенным, ни перед чем не останавливающимся беспрдельно дерзким и дерзновенным, по выражению Щеголева, человеком, каким он был в своей такой кратковременной, но такой яркой политической деятельности, когда, влюбленный в свое отечество, этот патриот хотел, во что бы то ни стало, принести себя в жертву этому отечеству и свободе его граждан. Щеголев указывает, что, при огромном самолюбии, Каховский был и „несколько чувствителен, сентиментален; романтику 20-х годов нельзя было не быть без этого свойства“. „Я, приговоренный к каторге, лишусь немногого; если тягостна, то одна разлука с милым и моему сердцу!“. У Каховского неудачно сложилась жизнь; он был одинок, заброшен; с известной долей пренебрежения относился к жизни, а разочарование, модное в то время и вполне понятное у Каховского, вызвало его и на рисовку: „жить и умереть — для меня одно и то же. Мы все на земле не вечны; на престоле и в цепях смерть равно берет свои жертвы. Человек с возвышенной душой живет не роскошью, а мыслями, — их отнять никто не в силах“...

„Мне не нужна свобода; я и в цепях буду вечно свободен: тот силен, кто познал в себе силу человечества“... ¹⁾).

Так писал Каховский, сидя в каземате Петропавловской крепости, не подозревая, что рок готовил ему не каторгу, а виселицу... Одна мысль, по его словам, была ему тягостна, — мысль о разлуке с милыми сердцу. Мы знаем, что Каховский был совершенно одинок в это время: родители его уже умерли ²⁾, а единственный брат его жил в Витебской губернии и совершенно не интересовался судьбою пленника. Кто же были эти милые его сердцу? Конечно — Рылеев и некоторые другие близкие по духу члены Тайного Общества, — но они ли одни? Мы думаем, что в числе их была и Софья Михайловна Салтыкова, для решительного свидания с которой он и приехал в Петербург в самом начале 1825 г. (как увидим ниже). Декабрист Е. П. Оболенский припоминал впоследствии появление в Петербурге Каховского в исходе 1825 г.: по его словам, он приехал сюда „по каким-то семейным делам“. Он приехал в столицу, как мы сказали, не в исходе, а в самом начале 1825 года ³⁾, и по делам не семейным, а, так сказать, сердечным, matrimonialным. Это мы видим и из слов декабриста И. И. Пущина, который, в статье своей „Четырнадцатое декабря“ прямо пишет, что Каховский „проигравшись и разорившись в пух, приехал Петербург в надежде жениться на богатой невесте“, но что „дело это ему не удалось“; то же увидим мы и ниже, из дальнейших писем С. М. Салтыковой; не забегая, однако, теперь вперед, — прочитаем, что она пишет своей подруге о знакомстве с Каховским в Брашине, имении своего дяди П. П. Пассека.

Письмо свое, очень пространное, от 22-го августа 1824 г., с несколькими приписками, Софья Михайловна начинает предупреждением, что с тех пор, как она не писала подруге, с нею случилась „тысяча вещей“, что сердце ее „переполнено“. „Я не представляла себе, что мне придется испытать какое-нибудь огорчение; но — ничто не вечно в этом мире, — и два месяца счастья довольно редко встречаются: как же было можно иметь гордость думать, что солнце будет сиять всегда, не будучи затемнено мрачными тучами! Однако я, безрассудная, думала так и вскоре была разочарована. Впрочем, не будем забегать, — ты вскоре узнаешь, что именно вызывает мои жалобы. Прости эти отрывочные фразы, этот беспорядок в мыслях, дорогой друг, — я тщетно пытаюсь внести стройность в мой рассказ, — сердце у меня так переполнено, что мне трудно говорить об обыкновенных вещах; но ты должна знать в подробностях, как я употребляла свое время, пока я была еще счастлива. После жалоб, которые я тебе наговорила на Дядю по поводу нашей прогулки верхом, я стала яркой амазонкой; мне позволяли делать по десяти верст на лошади с Екатериной Петровной, в сопровождении одного лишь конюха, — и мы проделывали это, как никто. Я так вошла во вкус этого

¹⁾ П. Щеголев, назв. соч., стр. 19 — 20.

²⁾ Отец его, Григорий Алексеевич Каховский, был отставной коллежский ассессор; мать была, как мы сказали, вероятно из большой Смоленской семьи Поваго-Швейковских.

³⁾ См. в показании Рылеева — у Щеголева, стр. 52.

упражнения, что повторяла его так часто, как только могла; особенно в конце июля и в начале этого месяца я ездила верхом почти целыми днями, так как погода нам теперь благоприятствует — у нас, наконец, лето¹⁾. Поговорив, затем, об общих подругах, Салтыкова пишет, что сделала много новых знакомств, — между прочим с некой м-м Энгельгардт и с ее шестью дочерьми, которые очень ей понравились. „Какое тесное единение в этом большом семействе! Какие невзыскательные привычки эта мать сумела привить своим дочерям, очень хорошо воспитанным, но вполне невинным и чрезвычайно одаренным, — что делает их очаровательными, — особенно двух из них: они соединяют со своими добрыми качествами и с ангельским характером интересные личики, на которых рисуется доброта их сердца; другие не отличаются красотой, но ни про одну нельзя сказать, что она неприятна. Я провела очень хорошие минуты в их обществе. — В Крашнево приехал еще один молодой человек, которого я была страшно рада видеть, это — г. Кюхельбекер. Уже очень давно я хотела познакомиться с ним и не сомневалась в том, что встречу его здесь. Г. Плетнев очень хорошо его знает и всегда говорил мне о нем с величайшим интересом; я нашла, что он вовсе не преувеличил мне его добрые качества; правда, что его горячая голова (это есть немножко) и пылкое воображение заставили его надеть тысячу безрассудств, — но у него столько ума, он такой любезный, такой образованный, что всё в нем кажется хорошим, — даже это самое воображение; признаюсь, что то, что другие бранят, мне чрезвычайно нравится. Он любит всё то, что поэтично. Он говорит, что желал бы всегда жить в Грузии, потому что это страна поэтическая. Он парит, как говорит мой Дядя (а я сама стала любить таких людей: я люблю только стихи, проза же кажется мне еще более холодной, чем прежде). У этого бедного молодого человека нет решительно ничего, и для того, чтобы жить, он вынужден быть редактором скверного журнала под названием „Мнемозина“, который даже его друзья не могут не находить смешным, — и сочинять посредственные стихи. (Ты, может быть, помнишь одну вещь, под названием „Святополк“, в „Полярной Звезде“, — она принадлежит его перу)¹⁾. Ужасно досадно, что он судит так хорошо, а сам пишет плохо! Он отлично знает Дельвига, Боратынского и всех этих господ. Я доставлю большое удовольствие г. Плетневу, давая о нем весточку. К моему великому сожалению, он остался здесь только на один день.

На другой день после его посещения, 2-го августа, в 9 часов вечера, Петр Григорьевич Каховский, двоюродный брат моей Тетушки, молодой человек 25 лет, друг Кюхельбекера, приехал из Смоленска в Крашнево, с намерением остаться здесь до сентября месяца. С этого, мой друг, начинается наиболее интересная эпоха моих приключений, и я не знаю, как продолжать, что сказать тебе? Мне приходится высказать ту же жалобу, что и

¹⁾ „Полярная Звезда“ на 1824 г., стр. 266 — 271, стихотворение, подписанное именем Кюхельбекера.

один из действующих лиц романа „Agathocles“, который я теперь читаю: „Ich habe dir so viel zu sagen, so viel zu erzählen, und muss mit Schreiben, diesen armseligen Behülf, für ein volles Herz begnügen“. „В тот вечер, что он приехал, я оставалась с Каховским лишь одну минуту; на другой день я также лишь немного говорила с ним, — таким образом мы еще с ним не познакомились как следует, но еще через день мы сблизились, благодаря приезду трех старых девиц Корсаковых, дальних кузин моей Тетушки, жеманных чудачек, кривляк, гримасниц, которых нужно видеть, чтобы иметь о них понятие ¹⁾. Младшая — приблизительно в том возрасте и совершенно в том же роде, как Каролина Урио (Uriot), но еще в тысячу раз смешнее, потому что она, в 45 лет, влюблена, делает всевозможные невероятные гримасы; все ее движения, звук ее голоса, ее походка — всё крайне жеманно; вместе с тем — у нее наружность обезлой мыши; ростом она — с Каролиной. Читает она, даже когда она одна, вслух и декламируя. Старшая — тоже совершенна и единственна в своем роде: крикунья, говорит во всех тонах, как Плетнев, когда он произносит: „Оне поют“, но с тою разницею, что она это делает не в шутку и во сто раз смешнее, в особенности, когда она сердится, — что бывает с нею очень часто. Вторая — менее смешна, — она глупа, но добродушна. Эти-то три грации и были причиною того, что Каховский и я часто оказывались с глазу на глаз, так как мы выходили с ним в другую комнату, чтобы посмеяться: нам стоило неимоверных усилий удержаться от смеха при них. Он очень умен и шутил на их счет, что меня чрезвычайно забавляло, а это заставляло искать случая удалиться с ним из их общества. Эти частые уходы никому не давали ни тени подозрения, даже моей Тетушке, которая в этом отношении очень щепетильна, — ибо она знала предмет наших разговоров и смеялась сама от всего сердца. Корсаковы уехали после трехдневного гощения, и мы долго потешались на их счет; Каховский заставлял нас много смеяться, но наконец они были позабыты, и разговоры наши стали более интересными, особенно когда Каховский был здесь же. Ах, дорогой друг, что это за человек! Сколько ума, сколько воображения в этой молодой голове! Сколько чувства, какое величие души, какая откровенность! Сердце его чисто, как кристалл, — в нем можно легко читать, и его уже знаешь, повидав лишь два или три раза. Он также очень образован, очень хорошо воспитан, и хотя никогда не говорит по-французски, однако знает этот язык, читает на нем, но не любит его так, как любит русский язык; это меня восхитило, когда он мне сказал об этом. Русская литература составляет его отраду; у него удивительная память, — я не могу сказать тебе, сколько стихов он мне продекламировал! и с каким изяществом, с каким чувством он их говорит! Пушкин и в особенности его „Кавказский Пленник“ нравится ему невыразимо; он знает его лично ²⁾ и говорил мне

¹⁾ Сестра матери Н. И. Пасек — Варвара Ивановна Повало-Швейковская, была замужем за Николаем Даниловичем Римским-Корсаковым.

²⁾ О личном знакомстве Пушкина с Каховским до сих пор не было известно.

много стихов, которые не напечатаны и которые он сообщал только своим друзьям. Если ты имеешь представление о Кюхельбекере по тому, что я тебе о нем рассказывала, ты должна иметь понятие и о Каховском, потому что они оба — в одном и том же роде и очень между собою близки. Я знаю твой вкус и уверена поэтому, что ты страшно увлеклась бы Петром К[аховским], если бы его увидела. Он говорит, что ему мало вселенной, что ему всё тесно, и что он уже был влюблен с семи лет: теперь ты его знаешь”.

„Наши частые беседы день ото дня становились всё более частыми, более продолжительными, более живыми и более приятными. Я почувствовала, что полюбила его всею душою, а вскоре заметила, что и я ему не безразлична; за столом, украдкою, мы бросали взгляды друг на друга и тотчас отводили их в сторону, при чем оба краснели. Вечером, когда все расходились, мы вместе делали часть пути, чтобы прийти к себе, так как флигель, в котором он помещался, был по соседству с нашим. Папа уходит к себе до ужина, а потому мы шли только вдвоем, при свете луны, очень смущенные, не зная, что говорить. Зная, что я каждое утро гуляю по саду, он всегда приходил туда искать меня и спрашивал, какую часть сада я люблю больше, чтобы легче меня найти, — однако мы ни разу не встретились. Однажды он сказал мне, что видел только мои следы и что пошел по ним, но был так несчастлив, что никак не мог меня встретить; с этих пор я сочла долгом не ходить утром на прогулку, так как он подумал бы, что я его ищу... Однажды вечером, — это было, кажется, 14-го августа, — я пошла с Катериной Петровной погулять по саду и через несколько минут вижу, что к нам идет мой дорогой Пьер, который оставил одних Дядю, Тетю и Папа и не посоветился прийти походить с нами; это меня немножко испугало, но вскоре радость быть с ним без опасных свидетелей (Катерина Петровна — человек верный) заставила меня забыть все сомнения, и я просто растаяла от удовольствия, которое меня даже удивляло: таким образом, наша беседа продолжалась более часа, и никто не приходил посмотреть, где мы, что мы делаем и о чем говорим. Только Папа прошел мимо нас, чтобы идти к себе: он на минутку остановился, чтобы пожелать мне спокойной ночи, и, как мне показалось, не захотел нам долго мешать. Это придавало мне смелости, я подумала, что моя любовь не неприятна Папе; кроме того, я заметила, что молодой человек ему нравится, что он говорил с ним с удовольствием и охотно вступал с ним в споры. Дядя и Тётя также говорили мне много о нем хорошего. Это ввело меня в заблуждение: я полагала, что моя любовь встретила сочувствие моих родных; но последующее показало противное. В этот вечер мы говорили о наружности. Я расхваливала, между прочим, красоту одной барышни Лярской, а он утверждал, что она не может нравиться, потому что у нее души нет (а для него это главное — он всегда прежде всего ищет душу). Я сказала, что она не разговаривала и казалась холодной единственно от застенчивости, но что она всё так же хорошо чувствует, как и он сам. „А вы хотели бы восклицаний с ее стороны?“ ска-

зала я. — „Нет“, сказал он: „я их не люблю, но есть люди, лицо которых изменяется, когда они испытывают какое-нибудь чувство живое и благородное, и это придает им невыразимое очарование; они не красивы, но в них есть трогательное выражение, которое восхищает; между тем г-жа Лярская, кажется, никогда не проявляет удивления перед красотой“: стихи Пушкина, Шиллера, Жуковского не возвышают ее души,* — нет, она без души. (Я только что говорила ему, что восторгаюсь этими тремя волшебниками). Мы долго еще говорили, после чего был подан ужин, и я его оставила, сказав, что никогда не видала человека с таким пылким воображением, как у него. Идя вместе домой, он сказал мне:

* „Так пылкое у меня воображение?“

Я. Ужасно! Оно пугает меня, я вас боюсь.

Он. Поверьте, у вас не менее моего воображения, но вы не хотите признаться в этом. А я знаю вас, Софья Михайловна, я очень проникателен. Вы застенчивы, но сильно чувствуете, это видно *.

Он хотел бы продолжать, но помешал слуга, догнавший нас, чтобы нам светить, — и мы должны были холодно расстаться.

На следующий день, 15-го августа, был праздник, и мы намерены были с Катериной Петровной отправиться в одну деревню поестъ меду у одного крестьянина. Пьер попросил у Тёти позволения сопровождать нас, чтобы оберегать, как он говорил, от крестьянских собак, которые могли бы нас обидеть. Получив позволение, он пришел к нам весь сияющий и предложил нам сопровождать нас; ты можешь себе представить, что я приняла его благосклонно, — и мы отправились в поход — всего троим. Тогда-то он стал говорить нежные стихи в изобилии, смотря на меня выразительно и в то же время застенчиво. Он картавит, что придает ему еще более прелести; когда он сказал:

* Ты мог бы, пленник, обмануть
Мою неопытную младость, —

он сделал такое замечание: „Как Пушкин хорошо знал сердце женщины: обманывай, но не разочаровывай!“* В этой фразе много р, — и от этого он произнес ее восхитительно! Прости, любезный друг, эти мелочные подробности, — твое терпение должно страдать от них, но я уверена, что ты меня извинишь: ты сама знаешь, как приятно повторять то, что мы слышали от предмета своей любви; что касается меня, то я помню малейшее слово, произнесенное устами Пьера, и не ошибусь в том, на каком месте, в какой день он его сказал.

Мы вошли к одной крестьянке, которая угостила нас сливками и медом; мы заставили ее болтать; она сказала, что Катерина Петровна, конечно, — сестра Пьера. Он казался восхищенным этим и спросил у нее, думает ли она, что я ему родственница; она ответила, что не знает, но он настаивал и во что бы то ни стало хотел знать ее мнение. Он, конечно, думал, что она скажет, что я — его жена; но, к счастью, она этого не сказала, иначе я

была бы очень смущена. Мое смущение было и без того довольно велико. Я себя изучала, старалась скрыть от него свою любовь,—а это мне было очень трудно, так как я пылала уже очень сильным огнем. На обратном пути он сказал мне по-французски целую выдержку из письма Абельера к Элоизе. Это было нечто очень страстное, и он произнес его с большим чувством. Я просила его перестать, потому что мне запрещали даже открывать эту книгу, „а если вы мне будете ее цитировать целиком на память,—это будет всё равно, что я ее прочла“ (истинная же причина была та, что всё это относилось ко мне, и это меня крайне смущало). Тогда он спросил меня, знаю ли я стихи Дмитриева, которые он сейчас и сказал, но которых я не помню, кроме одного стиха, повторенного им много раз, при чем он в упор смотрел на меня: „Без умысла пленяешь ты“... Я не знала, что сказать, и спросила у него, который час; он ответил мне:

* „У меня нет с собой часов. Знаете ли вы „Модную жену“ Дмитриева?“

Я. Нет, не знаю.

Он (с хитрым видом). Знаете!

Я. Нет, я вас уверяю!

Он. Позвольте мне не верить вам; помните, что там говорят о часах:

Амур, на стрелке прикорнуй, и проч. *

Смущение мое достигло высочайшей степени; я попыталась перевести разговор на другой предмет, подтолкнула Катерину Петровну, которая меня тотчас и поняла и начала говорить ему о своем путешествии в чужие края; он удовлетворил несколько ее вопросов, а потом опять обратился ко мне и спросил, часто ли я получаю от тебя известия (он слышал, что я говорила о тебе с Дядей); я отвечала ему, что с некоторого времени я лишена их, потому что ты, вероятно, находишься в пути. Он пожелал узнать, куда ты отправилась, и узнав, что — в Оренбург, обрадовался.

Ах, сказал он: у меня в Оренбурге есть друг, его зовут Жемчужников, он адъютант Эссена, я напишу ему и буду говорить о м-ль Семеновой; он будет в восторге познакомиться с такою очаровательною особою.

* Я. Но вы ее не знаете!

Он. Всё равно,—вы ее знаете, вы любите ее, этого довольно.

Я. Но вы и меня не знаете.

Он. Нет, я вас очень хорошо знаю, София Михайловна.

Я. В такое короткое время?

Он. С той минуты, как я увидел вас.

Я. Потому вы должны иметь обо мне худое мнение. Вы не терпите холодных, а я должна казаться вам таковою, потому что почти так молчалива, как Ларская, на которую вы вчера так нападали. Я думаю, что вы и про меня говорите, что я без души.

Он. Помилуйте! Я этого ни минуты не думал. Вы так хорошо чувствуете красоты Жуковского, Пушкина! Ах! я бы желал, чтоб

вы прочитали Абеларда и Елоизу! Вот где чувства сильны и хорошо описаны! Если вам позволили читать „Кавказского Пленника“, то можно дать вам и это.

Я. Кто мог бы не дать мне „Кавказского Пленника“? Я бы прочла его укладкою.

Он. От чего, вы бы еще не знали сокровищ, которые в нем заключаются.

Я. От чего? От пристрастия к Пушкину.

Он (вполголоса). Как он счастлив! *

Я не буду больше наскучать тебе подробностями остальной части нашего разговора, который может быть интересен только мне; всё, что скажу я тебе, это то, что он наговорил столько вещей, что даже Катерина Петровна заметила, до чего мы дошли, и на другой день не переставая меня дразнила, так что я за столом не могла смотреть на нее без смеха. После обеда он спросил меня, почему я смеялась; на это я ответила, будто смеялась потому, что не могу видеть, как кто-нибудь другой смеется, без того, что бы не сделать того же. Он хотел знать причину, заставившую смеяться Катерину Петровну; я сказала, что этого не знаю, но он настаивал, и я имела неблагоприятные сказать, что это потому, что она — злоба и дразнит меня целый день, насмехаясь надо мною.

Он. Почему она вас дразнит?

Я. Этого я не могу и не хочу вам сказать.

Он. А если я догадываюсь?

Я. Это не возможно.

Он. Пожалуйста, скажите мне, — я уверен, что я догадался.

Я. Зачем же вы тогда меня спрашиваете?

Он. Потому что я хочу в этом убедиться.

Я. Нет, если бы вы догадались, вы бы знали, что мне невозможно этого сказать вам в эту минуту; я вижу, что вы в этом сомневаетесь.

Он. Когда же вы мне скажете это?

Я. Современем, может быть. Но перемените разговор. * Мы скоро едем; как грустно!

Он. Я думал, что вы желаете возвратиться в Петербург.

Я. Нет, я не могу думать об отъезде без досады. Что меня может привлекать в Петербург?

Он. Вы недавно говорили, что со слезами выезжали оттуда.

Я. Вы всё помните!

Он. Всё, сударыня, всё, что вы говорите! * (Я это сказала на другой день его приезда.)

* Я. Я тогда не знала Крашнева, а теперь буду верно плакать, расставаясь с ним.

Он. Счастливое Крашнево! Но вы, конечно, от того будете плакать, что не можете видеть, как другие плачут...

Я. Никто, кроме меня, не будет плакать.

О н. Софья Михайловна! И вы это думаете? Неужели вы не знаете... вы не хотите знать... простите, я сам не знаю, что говорю. Я несчастлив,— пожалейте меня!*

В эту минуту, на мое счастье, нас прервали: Тётя должна была ехать с визитом за несколько верст, и я просила ее оставить меня дома, под предлогом составить компанию Папá, который не мог выходить по причине недомогания; тогда она обратилась к Пьеру и предложила ему взять его с собою; он умолял ее освободить его от этого, но она, не знаю почему, и слышать этого не хотела. Когда она вышла, он сказал мне:

* Боже мой, мне непременно велят ехать, — как скучно! Что мне там делать?

Я. Велят! Это невозможно, Тётенька шутит, от вас зависит остаться.

О н. Нет, я очень вижу, что она не шутит. Софья Михайловна, нельзя ли вам ехать?

Я. Это очень покойно, Петр Григорьевич! Я за вас должна ехать скучать, а вы останетесь?

О н. Нет, я бы тогда не остался. *

Однако, он поехал, так как Тётенька и слушать не хотела его просьб. Я же осталась без него с 4-х часов пополудни до 9-ти часов вечера. Как длинно показалось мне время! Представь себе, что я имела слабость расплакаться от этой разлуки на несколько часов. Наконец, он вернулся, мы провели остаток вечера вместе очень приятно, я ушла позже чем обыкновенно, не могла заснуть до 4-х часов утра; я была в восторженном настроении, как пьяная; я видела во сне Пьер а и проснулась еще более безумно влюбленною в него. Это было 17-го августа, в воскресенье, — чудесный день. Мы отправились втроем на прогулку, еще более продолжительную, чем первая, — мы сделали восемь верст, — так что у него было время, чтобы сделать мне полу-признание в своей любви, — а полу-признания еще более приятны, чем полные... Однако, я притворилась, что не поняла его. Он говорил мне в тот день множество стихов, я помогала ему, когда он что-либо забывал; говоря ¹⁾:

„Непостижимой, чудной силой
Я вся к тебе привлечена“—

я едва не сделала величайшего неблагоразумия; если бы я вышла из рассеянности и если бы сказала то, что думала в тот момент, я погибла бы! Вот что это было:

„Люблю тебя, Каховский и милый,
Душа тобой упоена“...

К счастью, я выговорила „пленник“; но, как сказала мне потом Катерина Петровна, я произнесла эти слова с такою выразительностью (чего я сама не

¹⁾ Стих из 2-й части „Кавказского Пленника“, — слова Черкешенки Пленнику.

заметила), что я не удивляюсь тому, что он тотчас сказал с сияющим видом и радостно:

„Надежда, ты моя Богиня,
Надежда, луч души моей!“

Затем он начал говорить о чувствах, но, видя, что я боюсь этого разговора, искусно перевел его на другой предмет, потом спросил, что я думаю о молодой особе, которая отдает свою руку мужчине, которого она не знает. Я ответила ему, что такая особа достойна презрения. „Но как же она может узнать его, если она избегает случаев говорить с ним серьезно, узнать образ его мыслей, его чувства? Ибо, находясь в обществе, она услышит от него лишь избитые фразы, по которым она не сможет судить о нем; между тем как, если бы, отбросив в сторону излишнюю женскую щепетильность, она позволила ему беседовать почаще с собою без свидетелей, она могла бы узнать его в несколько дней. Я нашла, что он прав, и созналась ему в этом. Затем он сказал, что презирает людей, которые обращаются сперва к родителям, а потом уже к девушке, что таким образом они могут вынудить ее согласие, — а это — возмутительно. На это я сказала, что в отношении себя я никогда не боюсь быть принужденной, что отец мой — человек слишком умный.

— Но, — сказал он: — если вы любите кого-нибудь, кто не совсем ему нравится, — согласился ли бы он на ваше соединение?

— Не знаю, — сказала я ему.

— Если бы у Вашего Дяди была дочь, — сказал он: — я уверен, что он не воспротивился бы ее счастью.

Я сделала вид, что оскорблена, и сказала ему, что отец мой только тем и живет, чтобы я была счастлива, но что он... (я не знала, что сказать)

Он прервал меня:

*— Но его труднее уломать?

Я. Это правда.

Он. Однако же, если захотите, верно уломаете?*

После этого он сказал мне, что знает тысячу примеров подобных и что если дочь того пожелает, она может уломать и самого сурового отца. Увы! он не знает моего отца, он не знает, до какой степени он тверд в своих мнениях! Я видела, что всё это клонилось к тому, чтобы подготовить меня к признанию в любви. Я еще раз прибегла к Катерине Петровне, которая и пришла мне на помощь, — однако он нашел способ сказать мне еще тысячу вещей, которые я не буду тебе повторять, так как их очень много, но которые мне хорошо показали, что вскоре в Крашневе произойдет некое событие.

На другой день, 18-го августа, Папа предложил утром совершить прогулку верхом. Кавалькада состояла из Катерины Петровны, Папа, Пьера, меня и двух конюхов. Я была вне себя от радости. Пьер ехал около меня, а Папа — около Катерины Петровны, болтая с нею и, казалось, несколько не думая о том, что делается позади его. Мы часто пускали лошадей вскачь, чтобы не вызвать его подозрений, но зато мы часто и пропускали их вперед

и ехали шагом. У него поэтому было время, чтобы поговорить со мною так, как ему хотелось. Он сказал мне:

*Когда же вы мне скажете, отчего Катерина Петровна зла?

Я. Не теперь, а может быть и совсем нельзя будет вам сказать этого.

Он. Что же надобно сделать, чтоб вы могли мне это сказать?* (по этим словам я поняла, что он знал, о чем шла речь).

*Я. И того не могу сказать вам.

Он. Не терзайте, скажите, ради бога, я несчастлив, меня это мучит; по крайней мере скажите, до кого это касается?

Я. До меня.

Он. Только?

Я. Только!

Он. Поистине?

Я. Не приставайте! Я когда-нибудь вам это скажу.

Он. Может быть, вы долго заставите ждать меня!

Я. Нет, мы скоро едем, а вы непременно будете это знать через несколько дней; я вам обещала сказать и не хочу уехать, не сдержавши слова.* (Я была уверена, что скоро всё кончится, поэтому я могла бы ему сказать то, что ему так нетерпеливо хотелось знать).

*Он. И мне нужно вам что-то сказать, только не при всех.

Я. Я не так любопытна, как вы, не желаю знать ваших тайн.

Он. Но мне непременно нужно, чтоб вы знали.

Я. Я не хочу слышать их.

Он. Вы не хотите,—это другое дело.*

С этими словами он прищипнул лошадь и присоединился к моему отцу; однако, его досада длилась недолго,—он скоро вернулся, я сказала ему несколько упреков за его вспыльчивость, он попросил у меня прощения и не решился говорить мне свою тайну. Он сказал мне только:

— Бог с вами! Вы хотите мучить меня, не хотите пожалеть меня, бог с вами!

В тот же день, 18-го августа, день навсегда памятный, я пошла после обеда в сад, погулять; Катерина Петровна не могла сопровождать меня, будучи занята,—поэтому я ходила одна. Вдруг я встречаю Пьера,—мы продолжаем прогулку вместе. Я постаралась поскорее вернуться домой, но так как сад огромен,—он успел сказать мне многое, прежде чем мы пришли. Когда мы были уже около дома, он упросил меня сделать еще один круг,—я не могла отказать ему, однако сказала что нахожу неудобным быть с ним наедине (т.-е. заставила его это выслушать), но он ответил, что, шутки в сторону, у него есть нечто сказать мне и что он закликает меня его выслушать. Я позволила ему говорить. Однако, он не знал, как начать.

— *Я бы много дал, чтобы быть смелее, Софья Михайловна! Что я скажу вам? Вы так строги; несколько раз я собирался сказать вам, что чувствую, но вы одним словом заставляли меня молчать. Вы верно меня понимаете...

Я. Нет, я вас не понимаю.

Он. Потому что не хотите понимать; я не могу говорить яснее,—есть чувства, которых нельзя выразить. Софья Михайловна! Я все эти дни между страхом и надеждой, не мучьте меня более, я... Боже мой! Я... люблю вас, скажите, любим ли я? Не опасайтесь меня, говорите со мной откровенно, как с другом.

Я. К чему это всё, Петр Григорьевич? Мы скоро едем.

Он. Нет, вы не уедете, неужели вы почитаете меня бесчестным?

Я. Признаюсь, не смею верить вам; часто молодые люди говорят всё то, что вы мне теперь сказали, не имея другой цели, как посмеяться и после рассказать всем.

Он. Вы меня убиваете! Ради бога, скажите, что вы чувствуете, будьте уверены во мне.

Я. Петр Григорьевич! Вы довольно благоразумны. Если бы вы сами не заметили, что я чувствую, то не решились бы сказать мне, что вы мне сказали.

Он. Но я, может быть, обманываюсь.

Я. Нет.

Он. Дайте ручку!!! *

Ты можешь понять мое смущение! По счастью, на мне была шляпа, которая скрывала то краску, то бледность на моем лице. Я протянула Пьеру свою дрожащую руку, он прижал ее к своим губам и покрыл ее радостными слезами; я сама плакала, но от волнения. После нескольких мгновений молчания, он сказал мне:

— * Что нам теперь делать? Думаете ли вы, что вас отладут за меня?

Я. Мне кажется, что отец мой вас очень любит.

Он. Но я не богат, не знатен.

Я. Это ничего не значит.

Он. Как я буду говорить с ним? Как начать? Дайте совет!

Я. Советую вам прежде всего поговорить с Дядюшкой, а я всё скажу Тетюшке.

Он. Ради бога, не откладывайте, говорите сегодня!

Я. Хорошо, только оставьте меня, — нас могут встретить.

Он. Не могу, как я покажусь туда? Я лучше пройду прежде к себе.

Я. Куда хотите, только в другую сторону, не жели я! Поберегите меня, подите скорей!

Он. Дайте ручку в последний раз! Скажите, об том ли шутила с вами Катерина Петровна?

Я. Об том. Боже мой, уйдете ли вы?!

Он не выпускал мою руку, которую держал крепко. Я могла бы тогда применить к себе самой те стихи, которые я слышала от него так часто ¹⁾

* Бледна, как тень, она дрожала,
В руках любовника лежала
Ее холодная рука*...

¹⁾ Из 2-й части „Кавказского Пленника“.

Наконец, мы оставили друг друга...

Я вижу отсюда выражение твоего лица, когда ты читаешь рассказ о моих похождениях. Да! брани меня, дорогой друг, — я того заслуживаю, но в то же время и пожалей хоть немножко твою бедную Соню. Я пришла к Тетушке совершенно расстроенная, дрожащая. Я рассказала ей всё, — она меня успокоила и побежала тотчас говорить с Дядюшкой, потом послала искать Пьера, потом снова побежала к Дядюшке, потом ко мне. Между тем я, в ожидании, заперлась в своем кабинете, не смея пошевелинуться и ожидая решения моей участи. Тетушка пришла мне сказать, что она не думает, чтобы это могло устроиться, что Дядюшка рассердился, что всё это произошло у него, потому что Папà может подумать, что это он всё устроил. Он сказал мне, однако, что поговорит с моим отцом и постарается сделать это так, чтобы никого не поставить в неловкое положение, и что отказ будет сделан в осторожной форме.

— Отказ? — сказала я.

— Да, — сказали Дядя и Тётя: — Папà никогда не согласится на ваш союз; это человек для тебя не подходящий, — горячая голова, которая не сумеет сделать тебя счастливой. И я бы тебе посоветовал самой сделать ему отказ.

— Нет, — сказала я: — я не могу говорить против своего сердца, — к тому же он уже знает мои чувства.

— Пусть это тебя не стесняет, — сказала Тётя: — я выпутала тебя из дела так хорошо, как только могла, — я сказала своему двоюродному брату, что он не должен принимать в буквальном смысле всё то, что ты ему сказала, потому что ты была так смущена, что не знала, что говорить. Я прибавила, что ты сама мне это сказала. Хорошо ли я сделала?

Я. Нет! Он должен знать, что я люблю его. Может быть, Папà согласится на наше счастье. Дядюшка! Ради бога, поговорите с ним!

Он обещал мне постараться получить от Папà его согласие, — и мы расстались. Я не могла спать всю ночь. Дядя и Тётя также провели ее в рассуждениях, — они готовили то, что должны были сказать Папà. Не могу сказать тебе, какая суматоха была в доме! Наконец, в 5 часов утра, 19-го, Дядюшка отправился к Папà и едва успел начать говорить ему, — при том с величайшею осторожностью, — как Папà вскричал: „Они убьют меня!“ — и тут схватили его спазмы, продолжавшиеся два часа, — после чего он заснул. Тогда Пьеру объявили о том, что произошло, затем усадили его и разыскали меня. Я плакала, просила, — меня бранили, говорили, что я убью отца. Дядюшка до такой степени разгорячился, что наговорил мне весьма жестоких вещей. Я рыдала, Тётушка также плакала... Наконец, Дядюшка успокаивается, даже просит у меня прощения, рассказывает, что оскорбил меня, и обещает мне еще поговорить с моим отцом. Последний просыпается, меня отсылают прочь, спрашивают его решительного мнения, он произносит страшным голосом „нет“ и умоляет Тётю и Дядю не говорить мне, что он знает о том, что произошло, — чтобы ему не нужно было об этом говорить со мною, — „ибо“, говорит он, „я не знаю, что говорить ей. Я предпо-

*

читаю сделать вид, что ничего не знаю: и она и я будем от этого только спокойнее".

После этого разговора меня позвали и сделали наставление о той неминуемой роли, которую я должна была разыгрывать перед отцом; это привело меня в отчаяние, так как я не смела уже умолять его согласиться на мое счастье, — не в чем было придаться. Весь день я оставалась с ним, в его комнате, из которой он не хотел выходить под предлогом болезни (но настоящая причина была та, что он не желал видеть Пьера). Он был очень ласков со мною, я же выходила из себя, не имея возможности говорить с ним и побыть хоть одну минуту с Пьером, встречи с которым старались заставить меня избежать. Катерина Петровна пришла повидать меня; она сказала, что у нее был разговор с Пьером, что он сказал ей, что на следующий день он уезжает, что он умолял ее передать мне письмо, которое он приготовил. Она не согласилась, но он заставлял ее не делать его несчастным и не отказывать ему, — тогда она сказала надо мною и над ним и передала мне эту драгоценную записку. Вот, что в ней было: ¹⁾

Ваша репутация, от которой, полагаю, зависит всё счастье жизни вашей, может ли быть недорого мне? Прошу вас, Софья Михайловна, всё сказать Петру Петровичу ²⁾, вы знаете его, а с ним совершенно искренно. Надо бы решить, чтобы успокоить его, ради бога решите судьбу мою. От вас всё зависит, говорите с Батюшкой, неужели вы с тем самым скажете мне люблю, чтобы сделать меня несчастным? Отвечайте мне, прошу вас, и не сомневайтесь во мне.

Я просила Катерину Петровну сказать ему, что я не могу отвечать ему письмом, но что я не осмелилась говорить с отцом, что же касается Дядюшки, то я ему всё сказала, но что он не мог быть мне полезен, несмотря на всё доброе желание, которое при этом проявил. Катерина Петровна сказала мне затем, что она слышала разговор Пьера с моим Дядей: он спрашивал, есть ли надежда, а Дядя ответил, что нет, и при этом советовал ему уехать и написать моему отцу из Смоленска. Пьер благодарил его за всё, что он для него сделал, и на другой день, 20-го августа, рано утром, я увидела его уезжающим, при чем не могла сказать ему „прощай“... Сердце мое разрывалось, я плакала целый день и до сих пор слезы мои не иссыкают. Я — самое несчастное создание в свете, дорогой мой друг! Вот всё, что остается мне сказать тебе. Одна добрая Катерина Петровна разделяет мою горесть, все говорят о посторонних предметах, как будто бы ничего не случилось, стараются забыть об этом и думают, что всё устроили к лучшему, так как никого не перессорили... Они не знают, что я испытываю. Я уверена, что ты меня понимаешь и жалеешь меня, дорогой друг!

¹⁾ В печати известно только одно письмо Каховского к Рылееву — „Русск. Стар.“ 1888 г., № 12, стр. 610; поэтому мы приводим в полной точности это и следующее письма его к С. М. Салтыковой.

²⁾ Пассеку. Б. М.

2-го сентября.

Я получила письмо от Сашки Копьевой, из которого узнала, что ты выехала 25-го июля на почтовых лошадях; ты должна, значит, быть уже в Оренбурге; я не ожидаю поэтому твоих известий, чтобы отправить тебе мое длинное послание. У меня еще есть тысяча вещей рассказать тебе. Я получила известие от Пьера, мой друг, — он написал мне через человека, который отвез его в Смоленск: это старый кучер, человек очень верный, которому, к тому же, он дал много денег, умоляя его передать письмо Катерине Петровне. Он так и сделал, и эта добрая Катерина Петровна не побоялась компрометировать себя из-за нас в глазах этого человека. Она передала мне письмо, не могла отказаться от этого, так как Пьер написал ей очень трогательное письмо, умоляющее. Вот содержание письма ко мне.

* Употребляя все способы пробыть в Крашневѣ, чтобы еще видѣть васъ, но все напрасно; читалъ записку вашего батюшки къ Петру Петр.: онъ жестокъ противъ меня. Говорили ли вы съ нимъ? Бога ради скажите, что онъ сказалъ вамъ? Есть ли какая надежда, что долженъ дѣлать я? Отвѣчайте, заклиная васъ! Можете ли описатьъ меня, я дышу вами, не могу выразить, что чувствую, какъ терзаясь, разставшись съ вами, и такъ неожиданно. Хотите ли мнѣ въ Петербургъ? Писать ли къ брату вашему, просить ли его, чтобы онъ помогъ намъ? Неужели все погибло для меня? Вы еще можете быть счастливы, но я, — гдѣ найду ту точку земли, гдѣ бы могъ забыть, не любить васъ? Ее нѣтъ для меня во вселенной; вѣрнее, бури глазъ не в силахъ выразить муки моихъ. Софья Михайл! Я не казался противъ васъ иначе какъ я есть, вы должны знать меня, я увѣренъ въ васъ, вы не захотите играть мною, я много уважаю васъ, чтобы могъ это думать. Пишите ко мнѣ, скажите, какъ, на кого писать мнѣ къ вамъ въ Петерб.: дайте совѣтъ мнѣ, что долженъ я предпринять? Отъ васъ все зависить, вы можете убѣдить вашего Батюшку. Скажите, могу ли положиться на вашу дѣвушку, могу ли отдать ей къ вамъ письмо въ Смоленскъ? Прощайте, другъ, Богъ, жизнь моя, если любите меня, пишите все, все, что произошло безъ меня, что говорилъ съ вами П. П., Наталья Ивановна. — Катер. Петр. перешлетъ или передастъ мнѣ письмо ваше, отвѣчайте скорѣй, молчаніе ваше убьетъ меня.

Прощайте, и за предѣломъ гроба, если не умираетъ душа, я вашъ...
21-го августа. *

Я не могла ответить на это письмо, так как человек, который принес его, вскоре снова уехалъ въ Смоленскъ съ порученіем, даннымъ ему Дядей, и возвратился 26-го августа, при чем я получила еще следующее письмо: * Къ чему могу приписать молчаніе ваше, несравненная Софья Мих.! можно ли тому не вѣрить, кого любишь? Я боленъ, скажите, если вы шутили надо мной? Мнѣ легче будетъ прервать несносную нить жизни: заклиная васъ счастливымъ, всемъ вамъ священнымъ! отвѣчайте! Что дѣлается въ душѣ моей, я не умѣю сказать, докончите все, дайте вдругъ ударъ, смерть безъ васъ мнѣ благо, она прекратитъ мои страданія. Простите, если я васъ оскорбляю.

Ваше молчаніе остановить біеніе моего сердца, по крайнѣй мѣрѣ тогда всё узнаете, сколько я любилъ васъ. Отъ васъ всё зависитъ, могу ли вѣрить, чтобы вы не могли убѣдить вашего Батюшку? Самого бога ради отвѣчайте. 25-го августа. *

В тот день, как я получила это письмо, у нас было много народу по случаю дня именин Тѣтушки¹⁾; посуди же о страданиях, которые я испытывала, будучи вынуждена любезничать со всеми, нося смерть в душе! Я решила написать Пьеру, — он причинял мне слишком много страданий, — но не могла этого сделать, так как человек, на которого я могла рассчитывать, не был более ни разу послан в Смоленск.

Мое единственное утешение теперь, — это говорить о Пьерѣ с Катериной Петровной, ходить с нею гулять туда, где мы были вместе с ним; наиболее часто я хожу в сад, в аллею из дерновых деревьев, которая очень мне дорога, так как именно там он сказал мне, что любит меня. К довершению несчастія, мы вскоре уезжаем отсюда, и я буду за 800 верст от Пьера, от милого Крашнева... Вот, когда я почувствую себя одинокой! Ах, зачем ты уехала! Если бы мне хоть в Смоленске повидать его! Он знает, где мы остановимся, знает, что мы останемся там два дня; может быть, он пройдет перед домом, даст Нениле письмо для меня... Нет, он не должен думать, что я играла с ним, раз я не написала ему даже после последнего письма его: он не знает причин, которые помешали мне сделать это. Всё это убивает меня. Саша, пожалей меня, милый друг, как я несчастна!

Письмо это оставалось неотправленным целую неделю, и лишь в следующий вторник Софья Михайловна удосужилась сделать новую приписку к письму далекой подруге, всё еще жалуясь ей на свое тяжелое душевное состояние:

9 сентября, вторник.

*Саша, друг мой, сейчас получила я письмо твое из Оренбурга, бедная моя Саша, как мне тебя жалко, твое письмо разрывает мне душу. Дай бог, чтоб дядиньке легче было. Извини, мой друг, я тебе писала много вздору, тебе теперь не до того, чтоб читать мои глупости. Ах, как ты меня перепугала, что же ты мне об маминьке ни слова не пишешь? Я это письмо пошлю к тебе из Петербурга, мы едем завтра, пробудем, я думаю, два дня в Смоленске, а к семнадцатому будем в Петербурге; как приеду, так пошлю тебе письмо, а теперь невозможно: признаюсь, очень страшно вручить такой большой пакет дядиньке, хотя он не имеет привычки распечатывать писем, но в теперешних обстоятельствах надобно быть осторожнее.

Друг мой, пиши ко мне скорее, ради бога, скажи, легче ли дядиньке, я ужасно беспокоюсь. Душечка, прости меня, что такое длинное и неинтересное для тебя письмо тебе присылаю. Прощай, друг, будь покойна, прошу

¹⁾ Т.-е. 26 августа. Б. М.

бога от всего сердца, чтоб он пособил тебе. Как ты добра, что в таких хлопотах и в горести вспомнила обо мне и написала хотя несколько строк.

Прощай, обнимаю тебя и с нетерпением ожидаю от тебя известий. Дай бог, чтобы они были хороши.

Твоя до гроба Соня.

Накануне дня своих именин С. М. Салтыкова с отцом и горничною девушкою была уже в Петербурге.

VI.

К Оренбургской своей подруге С. М. Салтыкова собралась написать лишь через две недели после возвращения из деревни в столицу, — а именно 2-го октября. Выказывая благодарность А. Н. Семеновой за её письмо от 2-го сентября, пересланное к ней из Крашневца П. П. Пассеком, Софья Михайловна писала:

„Что касается меня, то я послала тебе уже отсюда огромное письмо, написанное в Крашневце; думаю, что оно теперь дошло до тебя, и я жду на него твоего ответа с большим нетерпением; я стою от желания знать, что ты думаешь о том, что произошло со мною, и ожидаю некоторых упреков с твоей стороны: я их заслужила, сознаюсь в этом; однако уверена, что ты принимаешь участие в моем горе, — и это очень для меня утешительно“. По поводу болезни дяди своей подруги, она пишет ей: „Впрочем, я очень довольна, что ты немного поуспокоилась, — продолжай быть спокойной, если ты можешь, — ибо к чему служит наше отчаяние? Следует покоряться всему, что с нами случается, — так, по крайней мере, говорят философы; я нахожу, что они правы, и очень хотела бы следовать их советам, но бывают минуты, что я их совершенно забываю, — думая о Пьере и о той горести, которую я испытываю от того, что я вдали от него. Не могу сказать тебе, мой друг, как ненавистен мне Петербург! Мы здесь с 16 сентября, и я до сих пор еще не могу привыкнуть к шуму, пошлым разговорам, к людям, которые так разнятся от тех, что были в Крашневце, и которых я должна видеть и слышать ежедневно; я полюбила деревенскую жизнь, жизнь в столице по моему несносна, и мне трудно будет ее полюбить. Я чувствую себя очень несчастной, — особенно, когда подумаю о расстоянии, отделяющем меня от существа, которое я люблю больше всего на свете. Дядя и Тетя принимали большое участие в моих огорчениях, и я чрезвычайно привязалась к ним. Бог знает, когда я снова увижусь с ними! Но ты, может быть, хочешь знать, что случилось со мной с тех пор, что я не писала тебе, — так вот тебе в подробностях продолжение моей грустной истории.

Мы выехали из Крашневца 10-го сентября, после обеда; Дядя и Тетя сопровождали нас; печаль и слезы Катерины Петровны раздирали мне сердце; я не могла без слез покинуть ее; кроме того, я расставалась, быть может, навсегда, с этими местами, ставшими для меня столь дорогими, — особенно с той поры, что в них жил Пьер. Проехав 25 верст от Крашневца, мы остано-

вились на ночлег; а на следующее утро снова пустились в путь и вечером были в Смоленске. Надежда снова увидится там с Пьером одушевляла меня. Я перестала плакать, рассчитывая на то, что он, конечно, пройдет перед нашими окнами, так как он знал, где мы остановимся; но каково же было мое удивление, когда, по приезде, я узнала, что вместо двух дней, которые мы должны были оставаться в Смоленске, мы выезжаем на следующий день рано утром! К довершению несчастья, дом, в котором мы находились, выходил окнами во двор, и Дядя, для большей осторожности, велел закрыть въездные ворота. Нет, Саша, не могу выразить тебе, что я тогда чувствовала, — это были адские мучения, как ты легко можешь себе представить, поставив себя на мое место. В тот же вечер мы пошли к Лизе Храповицкой, ангельская доброта которой тебе известна: у нее прирожденное благородство чувств и возвышенная душа, — совершенно отличная от чувств и души остальных членов ее семейства; отец мой, вообще довольно разборчивый, всегда нежно любил ее. Она увела меня в другую комнату, пока отец разговаривал с ее мужем, и стала задавать мне вопросы о Пьере. Она ничего не знала, но кое-что подозревала, так как, по ее словам, с того времени, как Пьер столь внезапно покинул Крашневое, где он предполагал оставаться еще довольно долго, — он стал приходить к ней гораздо чаще, почти ежедневно, и только и делал, что говорил обо мне, при чем был поразительно грустен. Тогда я со слезами бросилась в ее объятия и рассказывала всё, что у нас произошло. Она была тронута до слез моим горем и доверием, которое я ей оказала и которым она мне обещала не злоупотреблять. Она сказала мне, что больше не удивляется теперь вопросам Пьера о том, сколько времени останемся мы в Смоленске, и о точном дне нашего приезда.

— Ах, — сказала она: — как будет он огорчен, узнав, что мы уезжаете так скоро, — он даже и узнает об этом только после вашего отъезда!

Я просила ее сказать ему, что ей всё известно, утешить его, быть его другом, посоветовать ему написать к отцу моему в Петербург письмо, которое могло бы его тронуть. Она обещала мне всё это, сказав, что Пьер — прекрасный юноша, что она всегда любила его, а теперь будет принимать в нем еще большее участие. Добрая эта Лиза обещала мне непременно написать ему и заверила меня, что не замедлит ответить мне и сообщить о разговоре, который она будет иметь с Пьером. Наконец, мы расстались, на следующий день не без огорчения распрощались с моими Тетей и Дядей и — покинули Смоленск... Не говорю тебе, что я испытала, — ты можешь представить себе это! 16-го числа, по приезде сюда, я побежала разыскивать Саму ¹⁾ и была очень утешена, увидев ее: она тоже несчастна, и мы поплакали вместе. Я провела этот день у Полетик ²⁾; все тебя приветствуют, особенно же Петр Иванович, Надинька и Мишель. Последние сказали мне нечто весьма

¹⁾ Копьеву. Б. М.

²⁾ Михаила Ивановича с сыном Михайлом и женою последнего — Надеждой Н. и брата его Петра Ивановича („арзамасца“).

грустное, — а именно, что причиною, заставившею Папá отказать Пьеру, является то, что у него нет ничего; в этом он признался Михайлу Ивановичу, который сказал об этом своему сыну и невестке; они не могли этого выдумать, так как я ничего им не говорила, и они даже ничего не слышали. Что касается Петра Ивановича, то я ничего от него не скрываю, и представь, что он непременно хочет говорить с Папá и не оставляет мысли быть мне полезным даже в том случае, если его предприятие сразу не удастся. Он хочет представить моему отцу, что он рискует погубить дочь или потерять ее через похищение (он знает, что последнее невозможно, но хочет немножко напугать отца). Я уже писала Лизе и Тете; от последней мы имеем известия: она писала нам, что смертельно скучает и чувствует невыразимую пустоту, так же, как и Дядя. Быть с Сапей — мое единственное утешение...; если бы ее не было, я могла бы сказать, как известный Марков, прощаясь со Смоленском в стихотворении, написанном им по этому поводу: в начале он говорит, что, будучи ребенком, он „учился географии * и что он блуждал с указкою по всей обширности света“, * а потом прибавляет:

„Смоленск! И ты бывал в урве,
Но я был чужд красам твоим;
Не знал, чем можешь ты гордиться,
Чему должно в тебе дивиться
И кто зовет тебя своим!...“

В следующем письме, уже от 18-го октября Салтыкова всё еще ждет известий из Смоленска о Каховском и боится этих известий... „Каждый день я поджидаю ответа от Лизы Храповицкой на письмо, которое я ей написала, — хочу его и боюсь: может быть, он поведаст мне, что я больше не любима! Мысль эта заставляет сжиматься мое сердце, но постоянно преследует меня. Дай бог, чтобы это не было предчувствием“.

Однако, Храповицкая не отвечала Салтыковой, и томление ее продолжалось; между тем, пришло письмо от Н. И. Пассек. „Я получила письмо от Тетушки“, сообщила Софья Михайловна своей подруге 25-го октября: „в котором она убеждает меня забыть Пьера и выказать всё возможное доверие отцу; но ты сама знаешь, легко ли его иметь к нему; к тому же, если я стану откровенно говорить с ним о моих чувствах, ничего хорошего из этого выйти не может. Я сожгу, если скажу, что больше не люблю Пьера, и рассержу его, если признаюсь ему, что люблю его больше, чем когда-либо; да он ведь и запретил мне говорить об этом. Между тем, он писал моей Тетушке, что недоволен мною, потому что я скрываю от него свои мысли и чувства. Какое противоречие! Но его надо пожалеть, — это в его характере; я уверена, что он от этого сам страдает, создавая себе новые горести и прибавляя их к тем, которые уже имеет. Что делать? В его годы уже не меняются, и мне приходится сообразовать свое поведение с его вкусами и с его характером; это очень трудно, — он так противоречит себе, что я не знаю, что я должна делать, чтобы угодить ему. Он попросил у меня про-

честь письмо моей Тетушке, — и не говорил со мною в течение целого дня из-за этого чтения. Я не думаю, чтобы таким образом действий можно было приобрести мою доверчивость. К увеличению моих горестей Лиза Храповицкая не подает признака жизни; не знаю, что я должна думать об ее молчании, но я очень склонна к тому, чтобы истолковывать его в самую неблагоприятную сторону. Мне сдается, что Пьер изменил мне, что она не хочет огорчать меня этим сообщением и в то же время совестится обманывать меня на этот счет. Но она причиняет мне еще больше мучения, оставляя меня в неизвестности; я бы предпочитала, чтобы она поскорее сказала мне то, что я подозреваю“...

Через неделю, отвечая на письмо А. Н. Семеновой, Софья Михайловна писала ей (2-го ноября): „Упреки, которые ты мне делаешь, в высшей степени справедливы; я ожидала их от тебя и чувствительно тронута участием, которое ты принимаешь в том, что у меня происходит; но разреши мне сделать тебе одно возражение: как можешь ты сравнивать мою теперешнюю историю с историей с Гурьевым? Какая разница между Пьером и им! Помни всё, что произошло у меня с тем, я люблю Пьера всё больше и больше, так как вижу, что он неизмеримо выше того негодника благородством чувств и красотой души, которая так чиста, что можно видеть всё, что в ней происходит. Я узнала ужасные вещи про Гурьева в последнее время: представь себе, что, не говоря о его дурной нравственности, у него есть еще страшные пороки: он занимается шпионством, он даже предал одного своего друга, который и пострадал за него невинно. Как я благодарна небу, что оно избавило меня от несчастья сделаться его женой! Тебе не нужно, дорогой друг, советовать мне не быть слабой в третий раз: я думаю, что если я даже забуду Пьера, то никогда никого не полюблю. Быв несчастливой в своих привязанностях дважды, уже на всю остальную жизнь охлаждаешь: чувствительность притупляется и ее заменяет безразличие... Мне бы очень хотелось, чтобы ты познакомилась с Жемчужниковым“, — продолжает она: „чтобы узнать, каково он поживает; не знаю, говорила ли я тебе о его лаковизме, — у меня с некоторого времени стала довольно дурная память, я забываю всё, о чем пишу, так что мне думается, что я часто повторяю одно и то же. Во всяком случае, дам тебе о нем понятие. Уже давно тому назад Пьер писал ему, — и... ах, извини, Саша! Я это тебе рассказывала, теперь я вспомнила! Какая я дура!“

Прошло еще две недели... Страшное Петербургское наводнение 7-го ноября 1824 г., конечно, отвлекло внимание Софьи Михайловны от предмета ее постоянных размышлений; сам Каховский не подавал о себе известий, со стороны их тоже не было; тем не менее и в письме, которое Салтыкова посвятила подробному описанию наводнения (от 16-го ноября), она вернулась к беседе о своем романе, который всё еще не был изжит, несмотря ни на разлуку, ни на протекшее время, ни на воздействие отца, тетки и дяди и, повидимому, далекой подруги. „Ты напрасно думаешь“, — говорит ей Салтыкова, „что я хотела бы искушать тебя за то, что и как ты думаешь о моих Краш-

невских похождениях: я ожидала приговора, который ты вынесла по этому делу; впрочем, я вовсе не утверждаю, что любовь моя будет продолжаться вечно: я, как и ты, думаю, что отсутствие — хорошее лекарство, которое, надеюсь, принесет и мне пользу; но также полагаю, что только отсутствие и время могут излечить страсть, так как все усилия, которые делаешь сама для того, чтобы забыть любимого человека, почти всегда бесполезны. Я, как Жуковский, говорю:

*Все поневоле улетает
К мечте своей,
Твердя: „забудь“, — напоминаю
Душе об ней *

Ты по опыту должна знать, что я права. Не правда ли?... Всё спит в доме, — кончает она письмо свое: я также сейчас брошусь в постель, говоря, как Пушкин:

*Морфей, до утра дай отраду
Моей мучительной любви,
Приди, задуй мою лампаду,
Мои мечты благослови!
Сокрой от памяти унылой
Разлуки страшной приговор

и проч. и проч.* *

14-го декабря 1824 г., — в тот самый день, который, ровно через год, стал днем гибели Каховского и его друзей, мечтавших, по выражению поэта, написать свои имена „на обломках самовластья“, — Салтыкова снова возвращается к обычной для нее теме беседы с подругой. Последняя в это время также переживала какой-то душевный кризис, — повидимому это была пора каких-то семейных неладов и в то же время эпоха начала ее романа с Григорием Силычем Карелиным, молодым, впоследствии весьма известным натуралистом, проживавшим тогда в ссылке в Оренбурге и ставшим вскоре мужем А. Н. Семеновой. Говоря с нею о ее душевных переживаниях, Салтыкова писала: „Молю бога, чтобы он дал тебе силы и желание оставаться в том же хорошем душевном настроении: несомненно, что тогда ты не будешь нуждаться ни в каком земном утешении, и всё, что я могу сказать тебе, это то, что я живейшим образом разделяю с тобою угнетающие тебя огорчения и заклинаю тебя сделать всё, что в твоих силах, чтобы сохранить благочестивые мысли, посланные тебе богом, несомненно с тем, чтоб облегчить тебе тяжесть твоих страданий. Он был милостив также и ко мне, видя страшные испытания, в которые я была ввержена, и ту пропасть, которую я сама для себя выкопала. Тебе известно, что в течение пяти месяцев у меня не было ни единой добродетельной или благочестивой мысли, — я думала лишь о тех романтических удовольствиях, которые испытывала в Крашневце с Пьером Каховским, а затем — о печали при виде того, как они прошли, подобно сну. Но теперь я о них не сожалею, рассказывая в том, что забывала о боге в течение столь долгого времени, стараюсь загладить свою

вину и не теряю надежды исправиться. Правда, это трудно при моих недостатках и при моем характере, но я надеюсь, что, усердно молясь богу и при помощи всех моих моральных сил, достигну того, что стану лучше. Иисус Христос укрепит меня в моих намерениях, снова примет меня к себе, — я жду этого от его милосердия и от его безграничной доброты"...

Таким образом, время брало свое; молодая, романтически настроенная девушка, стараясь загасить в себе огонь любви, постепенно достигала цели и — радовалась тому, что начинала забывать своего героя. „Ты говоришь, — читаем в ее письме к подруге от 21-го декабря, что ты смеешься над влюбленными и боишься, как бы это не напугало меня настолько, чтобы я не потеряла доверия к тебе. Нет, мой друг, ничто на свете не может помешать мне открывать тебе мою душу, и если бы у меня были для рассказа тебе какие-нибудь любовные истории, я не преминула бы это сделать; но, к счастью, я начинаю терять к ним вкус и молю бога, чтобы это было уже на всю жизнь. Если я когда-нибудь выйду замуж за кого-нибудь, то не хочу больше, чтобы это случилось „по страсти“: я вижу, что все порывы страсти — лишь безрассудство, которое ведет только к раскаянию и дает лишь преходящие, а потому и призрачные радости. Думаю, что двух опытов достаточно, чтобы вернуть девушку самой себе. Любовь представляется болезнью неизлечимой только в романах, на самом же деле вовсе не то: только дружба, любовь к богу, к отцу и матери — чувства истинные, прочные и к тому же никогда не оставляющие пустоты в нашей душе“.

VII.

Казалось, что роман Салтыковой и Каховского пришел к своему естественному, хотя и не столь романтическому, как можно было думать по началу, — окончанию. На деле же оказалось не так... Следующее письмо к Семеновой заключало в себе намеки на некоторую новую симпатию в лице молодого офицера и талантливого музыканта барона А. Ф. Ралля, появившегося в гостиной Салтыковых; ему, наряду с другими сообщениями, было уделено много внимания в этом письме от 4-го января 1825 г., о Каховском же вовсе не упоминалось ни прямо, ни косвенно. Однако, судьбе было угодно, чтобы этот „дерзновенный“, уже полузабытый герой еще раз выступил на сцену, и при том в такой необычайной обстановке и с такими романтическими приемами действий, что молодая, влюбленная в него девушка едва-совсем не потеряла голову. Предоставим, как и выше, рассказ ей самой, приведя письмо ее к А. Н. Семеновой от 15-го января 1825 года.

„Хотя ты и не любишь романов, мой дорогой друг, — начинает она это письмо: однако я надеюсь, что ты пожелаешь выслушать продолжение моего собственного романа. Введу тебя в то, что со мною случилось. Нужно тебе прежде всего знать, что в полку моего брата есть некий капитан Воецкий (я вижу отсюда твое смущенное лицо при виде этого неизвестного

имени, не имеющего никакого отношения к моим приключениям, — но слушай дальше). Вот, в прошлую среду, т.-е. 7-го числа сего месяца, в 9 часов вечера (брата моего не было дома), к Ефтею, бывшему у ворот, неожиданно подошел человек большого роста, брюнет, закутанный в плащ, и спрашивает у него с таинственным видом:

— * Здесь ли живут Салтыковы?

Ефте й. Здесь, а кто вы?

Он: Это я скажу вашему молодому барину, которого я желал бы видеть. Нельзя ли его сюда вызвать?

Ефте й. Его дома нет, но если вам угодно взойти и оставить ему записку, то я ее отдам ему.

Он. Нет, мне никак невозможно взойти, а скажи Михайле Михайловичу, что к нему приходил товарищ его, Воецкой, что он недавно приехал и желает его видеть. Не забудь сказать ему, что я остановился в трактире Лондон, № такой-то ¹⁾, и что я его очень прошу приехать ко мне завтра поутру, в такой-то час. *

Мой Ефтей — в полном удивлении, видя человека, который вовсе не похож на Воецкого и к тому же во фраке, но называет себя его именем, говорит, однако, об этом Мишеле, который на другое утро и спешит повидать своего товарища. Он входит, видит молодого человека, с лицом, ему совершенно неизвестным, который с поспешностью идет ему навстречу; полагая, что он ошибся, брат просит его указать ему комнату Воецкого, — но каково же было его удивление, когда он услышал то, что незнакомец ему сказал:

— Я м н и м ы й Воецкий, — прошу вас взойти в комнату и садиться. Извините, Михайло Михайлович, что я употребил эту хитрость, чтоб видеть вас: мне очень нужно говорить с вами. Я — Каховский, вы верно слышали обо мне.

Мишель, знавший мою историю, был, тем не менее, очень удивлен, — как ты легко можешь себе представить. После многих приветствий и многих фраз, Пьер просит взять его под свое покровительство и вести его защиту перед моим отцом, — полагая, что Мишель его любимец: по его словам, в этом последнем уверила его Лиза Храповицкая. Брат говорит ему, что принимал самое большое участие в его несчастии (так Пьер называет свои неприятности), но что не мог ему помочь, не имея ни малейшего влияния на отца, который, к тому же, непреклонен, но (как он сказал мне потом) у Пьера был такой, действительно, несчастный и отчаянный вид, что он не мог не тронуться им и не сказать ему (однако, не обещая ему этого), что попытается что-нибудь для него сделать; это немного его успокоило, и он настойчиво просил брата прийти к нему опять на следующий день.

Подумав хорошенько, мы с Мишелем решили ничего не говорить Папа, так как это было бы совершенно бесполезно и только расстроило бы

¹⁾ О том, что Каховский действительно жил, но приезде в Петербург, в январе 1825 г. в трактире „Лондон“, а затем — в другом трактире, см. в книге П. Е. Щеголева.

его, а на нас навлекло бы неприятные сцены. Мишель не пошел в этот день к Пьеру, так как не знал, что ему говорить, а вечером получил от него письмо, в котором тот жаловался, что тщетно прождал его целый день, и именем неба просил вывести его из томительного состояния, придя повидаться с ним тотчас же или утром на другой день. Мишель решил обмануть его, чтобы заставить его поскорее отсюда уехать, потому что мы были в страшном беспокойстве за последствие этой сумасбродной выходки. Поэтому он написал ему, что он говорил с Папэ, что, не могши никакими способами склонить его, он находит себя вынужденным не скрывать от него, что он не видит никакой для него надежды и что советует ему отказаться от меня. Должна сознаться тебе, что мне было очень горько читать это письмо, которое я отчасти сама диктовала; но необходимо было безропотно покориться и хоть раз в жизни сделать что-нибудь благоразумное. Приход Пьера изволновал меня немного и, естественно, вновь зажег тот пламень, искры которого еще оставались во мне. На другое утро брат отправился на свидание с Пьером и постарался его успокоить, — но тот не желал слушать голоса рассудка, — он решил не уезжать отсюда без меня! Мишель вслестски представлял ему, что это невозможно, — но он не слушал его и говорил, что хочет постараться получить место, — а именно то самое, которое занимал А. Пушкин в Одессе при Воронцове, и что, получив его, он надеется получить также и меня, так как будет немного более богат, ибо место может дать ему достаточно средств, в особенности же для жизни в Одессе. Мишель оставил его в большом смущении от всего этого, обещав ему, однако, притти повидаться с ним, что и сделал на другой день. Он нашел Пьера поверженного в совершенное уныние, похудевшего, — одним словом, как мертвеца: тот сказал ему, что не сомкнул глаз во всю ночь, думая о том, что он должен предпринять, и что решил, после того, как получит место, больше не говорить с моим отцом, так как это было бы бесполезно, а прибегнуть к другому способу для достижения желаемого.

— *Я знаю*, сказал он, *что вашего отца не возможно склонить; я всё знаю, — мне Петр Петрович сам описал его характер; но я не могу забыть Софию Михайловну... Умоляю вас, поговорите с ней: не согласится ли она уехать тихонько. Мы отсюда [проедем] прямо в какую-нибудь загородную церковь, а обвенчавшись, — в ту же минуту поедем в Одессу. Если она меня любит, то она согласится на это, — ради бога, спросите у нее об этом, жальтесь надо мной, — я не знаю, что делать, нельзя быть несчастнее меня*...

Мой брат представил ему на это тысячу возражений, но он прервал его: — *Вы брат Софии Михайловны и — не желаете ее счастья?

Брат. Какое это счастье? Вы не думаете о последствиях!

Он (с величайшим жаром бегая по комнате). Какие последствия? Что может сделать нам Михаил Александрович? Судиться со мной? Я вам отвечаю, что он всегда проиграет. Так же отвечаю вам, что сестра ваша не будет рассказывать о своем поступке. Она будет счастлива, не будет иметь ни малейшей неприятности!

Брат. Можно ли ручаться за это?

Он. Неужели вы почитаете меня бесчестным? Ежели я ее увезу, то я должен употребить всё возможное, чтобы сделать ее счастливою, — даже еслиб я не любил ее, — а я дышу ею! Но ежели она не решится, — это другое дело: ее счастье для меня дороже всего!*

После этого он принялся заклинять моего брата помочь ему, если я соглашусь дать себя увезти, но, не могши получить такого обещания, просил его, по крайней мере, не противиться этому и взять отсрочку ¹⁾, самое большее на 15 дней, — чтобы не оставить Папá одного после этого события.

— Что касается приготовлений, — сказал он: — я всё беру на себя. Отвечаю вам, что мы не будем пойманы на деле; теперь нужно только согласие вашей сестры.

Узнав об этом, не могу сказать тебе, что я чувствовала, — но ты можешь себе это представить. Я должна была выдержать страшную борьбу. Сознаюсь тебе, что один момент я была совсем готова уступить желанию принадлежать Пьеру, но мысль о горе, которое это причинило бы Папá, к счастью, меня удержала. Мишель также побуждал меня отказать, — и после многих терзаний и волнений, я приняла последнее решение...

Отъезд Мишеля назначен на завтрашний день, а вчера он получил от Пьера письмо, в котором тот спрашивает моего решительного ответа и предлагает ему, в случае если всё устроено, в тот же день отправиться в Главный Штаб, где он всех знает, и получить отсрочку отпуска. Он написал и мне и просил Мишеля передать мне его письмо. Брат отослал его ему, сказав, что я не пожелаю взять его, и написал, что благодарит за отсрочку, что обстоятельства вынуждают его ехать и что, к тому же, я не согласилась на увоз, хотя и очень склонялась к этому решению; но что состояние моего отца после этого происшествия слишком близко меня трогало для того, чтобы я могла решиться бежать. Пьер ответил ему в немногих словах, что просит его зайти к нему до своего отъезда. В настоящую минуту Мишель находится у него; не знаю, что из этого выйдет. Если подробности эти тебе не слишком скучны, я сообщу тебе их разговор, когда он вернется.

Не говорю тебе, что я чувствую, — ты хорошо можешь себе это представить; я в безвыходном положении, всё это меня расстраивает ужасно и, в довершение всего, я должна завтра расстаться с братом на целых два года! * Ах, Саша! Пожалей обо мне! * Никогда я не чувствовала такой привязанности к Мишелю, как теперь, — это потому, что он изменился к лучшему, мы очень близко сошлись; — и вот он должен уезжать! Я совсем осиротею без него! Саша Кошьева прекрасная девушка, хотя и ветреная, — и я очень люблю ее, но, сознаюсь тебе откровенно, я иногда становлюсь с нею втупик. Что еще меня мучит, это то, что после отъезда брата, Пьер может сыграть со мною какую-нибудь штуку, сделать какую-нибудь выходку перед Папá, — и тогда я потеряю голову, у меня не будет никого, чтобы разделить

¹⁾ М. М. Салтыков в это время был в отпуску из полка, стоявшего в Польше.

мое беспокойство и утешить меня. Извини, мой друг,—всё письмо мое наполнено одним предметом,—это потому, что я так изволнована, что не могу ничего сказать тебе более умного и менее скучного. Кстати, вот еще смешное недоразумение в романе, которое произошло в это же время. Ты знаешь, что Ралль, о котором я говорила тебе в последнем своем письме, служит в том же полку, что и мой брат и Воецкий ¹⁾. Так вот, Мишель, узнав, что последний приехал, пошел и сказал об этом Раллю, который и поспешил повидаться с ним; он пришел туда раньше брата,—тот (т.-е. Каховский) принял его за него и начал говорить с ним о том, что тебе уже известно. К счастью, он не успел ничего сказать, что могло бы открыть его тайну. Ралль заметил его ошибку и вывел его из заблуждения.

P. S. Только что вернулся мой брат. Боже! Какое известие принес он мне! Пьер рвет и мечет, он в отчаянии, он умоляет Мишеля передать мне письмо, и тот не имел на этот раз духу отказать ему. Письмо это писано на-спех, а не в состоянии была всё разобрать, да и к тому же я сожгла его, но скажу тебе его содержание. Он закликает меня решиться, чтобы вернуть жизнь моему другу, и, в случае если я уступаю его просьбе, уведомляет меня, что будет ждать меня завтра около нашего дома в 10 часов вечера, что всё подготовлено и что мне остается сказать одно слово. Я ответила ему, под диктовку брата, самым кратким и, по возможности, самым холодным образом, что я не могу решиться покинуть моего бедного отца, которому горе может нанести смертельный удар, и кончила мольбами забыть меня, при чем пожелала ему всякого возможного счастья. Брат прибавил несколько слов к моим словам и отослал пакет. Не знаю, что из этого выйдет, но хочу, чтобы всё это поскорее кончилось.

7 часов вечера. Какое ужасное письмо написал он брату! Он закликает его склонить меня и передать мне записку, которую я перевишу для тебя здесь так, как она есть.

* „Жестокое! Вы желаете мне счастья — где оно без вас? Вамъ легче убить меня — я не живу ни минуты, если вы мне откажете! я не умѣю найти словъ уговорить васъ; прошу, умоляю, рѣшитесь! Чѣмъ хотите вы заплатить мне за любовь мою? Простите, я васъ упрекаю, закликаю васъ, рѣшитесь, или отвѣчайте — и нѣтъ меня! Одно изъ двухъ: или смерть, или я счастливъ вами; но пережить я не умѣю. Ради бога, отвѣчайте, не мучьте меня, мне легче умерѣть, чѣмъ жить для страданія. Ахъ! Того ли я ожидать? Не будите отвѣчать сего дня, я не живу завтра — но вышъ я буду и за гробомъ“.— *

А! Что ты скажешь? Я не знаю, что делать. Сегодня мне невозможно ему отвечать, но завтра, рано поутру, я повторю ему мою просьбу забыть меня и жить, если он так меня любит, как говорит. Не правда ли, что это самое лучшее, что я могу ему сказать? Правильно говорят, что жизнь женщины — почти всегда роман. Но прощай, мой друг, всё же нужно, чтобы я

¹⁾ Они все служили в Ольвипольском гусарском полку. Е. М.

когда-нибудь кончила. Со следующей почтой я сообщу тебе то, что будет интересного в моих приключениях. Нежно целую все десять пальцев твоей Маменьки и миллион раз обнимаю тебя от всей души. Твоя Соня".

События достигли своей кульминационной вершины; ясно, что идти дальше с тем же напряжением они не могли и что Салтыкова не пойдет на отчаянные призывы Каховского: читатель уже и сам заметил у нее особенно вначале только что приведенного письма, нотки некоторой иронии по адресу героя романа. Ее, несомненно, трогает любовь Каховского, она льстит ее женскому самолюбию, ей хочется, но в то же время и странно стать героиней романа с похищением, с тайным венчанием, со всеми последующими возможными осложнениями; в ней борются чувства влюбленной с чувствами дочери; благоразумные советы брата, дяди и тетки, собственный рассудок подсказывают ей окончательное решение... И несомненно, что в моменту последнего появления героя в последнем акте размыгранной пьесы решение ее принято: она будет совершенно и сознательно глуха к мольбам влюбленного...

Нам остается дочитать последние страницы, даже строки романа Каховского и Салтыковой. Пообещав своей подруге сообщить на следующей почте то, что будет интересного в ее приключениях, она, действительно, в письме от 28-го января, — и то уже во второй его части, — холодно поведала ей следующее:

"Что касается меня, то скажу тебе, в большой моей радости, что, хорошенько испытав мое сердце, я нашла, что в нем не осталось уже ни одной искры любви к Пьеру Каховскому. Его приезд сюда вызвал во мне страшное волнение, но — никакого другого чувства не вызвал: могу сказать это смело и очень этим довольна.

"Нужно дать тебе отчет о том, что произошло после отправления моего последнего письма. Ты знаешь, что я должна была ответить на письмо, в котором г-н Каховский уверял меня, что он убьет себя, если я не решусь бежать. Прекрасно. На следующий день, на который был назначен отъезд брата, слуга молодого человека прибегает за этим моим ответом; но Мишель, рассудительность которого всё более меня поражает, посоветовал мне не писать и не опасаться за жизнь Пьера. „Поверь мне, сказал он: так легко не убивают себя; не давай подкупать себя этими красивыми словами; отвечаю тебе, что ты не раскаяешься в том, что последовала моему совету, и увидишь, что я был прав“.

Я послушалась его, посланный вернулся с чем пришел, а брат велел сказать Пьеру, который просил его притти к нему еще раз повидаться перед отъездом, что это невозможно, так как он уезжает сию минуту. Я была так расстроена разлукою с братом, что вышла из терпения от постоянных посылок этого Каховского, который написал ему еще два раза, не получив, однако, ответа. Наконец, настала минута отъезда; ах, мой друг, никогда еще не чувствовала я такого горя, расставаясь с братом, как в этот раз. Завтра — пятнадцать дней, что он уехал, а я еще не могу привыкнуть к тому, что я далеко от него... Два часа спустя после отъезда брата Каховский

прислал еще раз, чтобы спросить, уехал ли он; ему сказали, что уехал. Я подумала было, что я, наконец, избавилась от него, — ничуть не бывало: на следующее утро он присылает толстый пакет на имя отца; я отсылаю его, — он велит сказать, что придет сам... Тогда я потихоньку приказываю Нениле (через которую доходили до меня все пересылки) сделать так, чтобы он ни в коем случае не был принят и чтобы отец ничего об этом не узнал. К счастью, он не пришел вовсе, но написал мне: тогда-то я и узнала, что не люблю его больше, так как отослала его письмо обратно запечатанным, не имея ни малейшего желания прочесть его, и велела сказать, что не должна и не хочу иметь переписку с человеком, который всегда будет мне чужим, ибо он отнюдь не должен рассчитывать на то, чего никогда не случится, и что я прошу его не преследовать меня больше своими письмами, которые будут всегда возвращаться к нему не распечатанными. Однако мне жаль его, этого бедного молодого человека, — у меня ведь сердце не каменное; но у меня к нему нет больше страсти, ее уже очень мало. Ничто не могло бы лучше служить мне ответом на его преследования, которые меня уже утомили, как одна элегия Боратынского; переписку ее тебе здесь, так как она очень красива:

* Не искушай меня без нужды
Возвратом нежности твоей!
Разочарованному чужды
Все обольщенья прежних дней.
Уж я не верю уверенным;
Уж я не верю в любовь
И не могу предаться вновь
Раз изменившим свиденьям.
Слепой тоски моей не множь;
Не заводи о прежнем слова;
Друг попечительный, больного
В его дремоте не тревожь!
Я сплю; мне сладко усыпленье;
Забудь бывалые мечты:
В душе моей одно волненье,
А не любовь пробудишь ты. *

Однако, надобно кончить говорить тебе об этом молодом человеке, так как кончится тем, что он тебе наскучит"...

VIII.

Итак, любовь была изжита окончательно, и стихи Боратынского припомнились кстати. Но личность Каховского изредка еще вспоминалась по какому-либо случайному поводу. Так, 12-го февраля Салтыкова писала своей подруге, что вчера получила известия о Каховском от своей тетюшки Ришар, которая видела его в одном доме и много с ним говорила. „Он говорил ей, что

способен ждать хоть десять лет“, — сообщает Софья Михайловна, но тут же прибавляет: „я надеюсь, однако, что огонь этот погаснет гораздо раньше. То, что он потом сказал ей, заставило бы меня отречься от этого молодого сумасшедшего человека, если бы у меня еще была страсть к нему. Тётушка сказала ему, что она удивляется, как он мог полюбить меня так глубоко, не зная меня хорошо; он ответил ей, что он видал меня целые дни, с утра до вечера, в продолжение более трех недель. Но Тётушка возразила ему, что этого недостаточно, что она думает, что было бы рискованно выйти замуж, когда не знаешь друг друга больше.

— Ах, сказал он на это: я чувствую, что я был бы счастлив с вашей племянницею; да наконец, если бы и оказалось, что мы не подходим друг к другу, — это зло очень быстро можно будет исправить, — мы разойдемся.

Каковы покажутся тебе эти последние слова? Я бы предпочла, чтобы они не выходили из его уст, так как они вредят ему в глазах Тётушки и всякой другой благоразумной особы; а это делает мне больно, так как я все-таки люблю этого бедного Каховского, — не люблю, конечно“.

Однако, временами просыпалась и любовь, и оригинальный образ Каховского порою представлял перед Софьей Михайловной, как ни старалась она забыть о своем пламенном и настойчивом поклоннике и как ни развенчивала его в своих собственных глазах.

„У нас время очень хорошее, весна приближается, часто появляется солнце“, пишет она 28-го февраля: „но меня теперь и солнце не радует. В прибавку к тяжести того бремени, которое давит мое сердце, — всё прошлое снова представилось в моей памяти; ты будешь удивлена моими противоречиями, моими странностями, — я сама им дивлюсь, но от этого не менее верно, что, — поверишь ли? — что я сама не узнаю себя, что я не безразлично отношусь к Пьеру... Да, я люблю его, я не хотела себе в этом сознаться, но я не могу больше скрывать этого от себя; я перечитываю его письма, я повторяю в уме всё, что он мне говорил, все обстоятельства, все подробности моих приключений; затем я вспоминаю, что он тут, что я его, быть может, увижу, — и вижу, что я сама ошиблась, что я хотела уверить себя в том, что я вылечилась, не вылечившись в действительности. Не брани меня, добрый друг, пожалей меня, — всё это может быть пройдет вместе с моею болезнью, которая, весьма возможно, и есть причина всего того, что я чувствую... Дорогой друг! Если бы я могла выйти за Пьера! Ах, мне этого хочется еще больше с тех пор, что я получила твое письмо“ (о сватовстве Г. С. Карелина, благосклонно принятом А. Н. Семеновою). „Надо кончать“, — говорит она в том же письме, в приписке от 2-го марта: „и постараться не говорить больше о Пьере, потому что когда я касаюсь этой струны, я опять впадаю в грусть и отравляю радость, которую меня заставляет испытывать перемена твоей судьбы. Боже мой, что случится еще со мною? Откуда это, что я всё еще принадлежу ему? Не можешь ли ты объяснить мне эту перемену?

*.Минувших дней очарованье,
Зачем опять воскресло ты?
Кто разбудил воспоминанье
И замолчавшие мечты?..**

В следующем письме (от 11-го марта) она пишет, что серьезно сердита на подругу, которая причинила ей боль своим последним письмом: „Ты несправедлива к Пьеру, — да, очень несправедлива: ты называешь его бездельником, потому что брат не захотел помочь ему меня похитить. Это не основание, мой друг; брат не захотел этого сделать единственно для того, чтобы избежать огорчений, которые почти всегда бываюг, как последствие похищений — даже тогда, когда бегство совершается с человеком величайших достоинств. Нет, Пьер не заслуживает такого мнения, которое ты составила о нем, — уверяю тебя, что ты полюбила бы его, если бы его знала. Но оставим это! Сколько времени ни чувствовала бы я еще любовь к нему, я не буду говорить тебе о ней, так как ты бранила бы его, а это причиняло бы мне невыразимую боль“.

И действительно, с этого момента Салтыкова в течение целых полутора месяцев ни разу не упоминает в своих письмах о Каховском.

Только в письме от 27-го апреля, в ответ на какие-то неблагоприятные отзывы о Каховском упоминавшегося выше Александра Аполлоновича Жемчужникова (адъютанта командира Оренбургского отдельного корпуса генерала Эссена)¹⁾, Салтыкова писала А. Н. Семеновой: „Твое письмо от 31-го марта своим приходом третьего дня доставило мне несколько минут чрезвычайно приятных, — как и всегда, когда я читаю тебя, — но никогда удовольствие не бывает без печали: я испытала ее, читая три последние страницы твоего письма, которые заставили сжаться мое сердце; каждое слово, которое я читала, вызывало во мне желание плакать или, скорее, быть в состоянии заплакать, ибо я чувствовала себя столь придавленной, что не могла уронить ни одной слезы. Ах, если то, что говорит Жемчужников, правда, — как я несчастна! Как тяжело мне было переносить всё то, что ты рассказываешь мне о Каховском! Не удивляйся, что я принимаю это так близко к сердцу, — поставь себя на мое место, и ты увидишь, что даже если бы я совсем больше не думала о Каховском, я должна была бы быть огорчена, узнав, что он — негодяй, — так как, к сожалению, это уже не первый раз, что я так ошибаюсь, и те, кому известна моя первая история²⁾, должны иметь очень скверное мнение обо мне, о моем вкусе и о моих правилах, если они узнают также, что я предмет моей второй любви не многим лучше, чем первой. Ничего нет легче для женщины, как потерять свое доброе имя, а после того, как оно потеряно, что остается ей, и не невозможное ли дело вос-

¹⁾ Об А. А. Жемчужникове см. в книге А. А. Сиверса: *Генеалогические разведки*, вып. I, С.-Пб. 1913, стр. 16 — 17.

²⁾ С неким Гурьевым; см. выше.

становить его? Два таких случая, как мой, — достаточны для того, чтобы поставить себя дурно в представлении многих; третий — довершит мою гибель; и хотя я сомневаюсь в том, что можно полюбить три раза, я приму решение стинные избегать даже приближения мужчины: это более верно, потому что, если когда-нибудь я забуду Пьера и полюблю кого-либо другого (вещь, которая, повторяю, кажется мне невозможной), я уверена, что снова ошибусь; по крайней мере, мне кажется, что такова моя судьба и что я родилась под дурною звездой. Не правда ли, мой друг, что я хорошо сделаю, если буду избегать мужчин? Мне кажется, что это было бы более благоразумно, и что несколько не зазорно умереть девушкой. Благодарю тебя за добрые советы, которые ты мне даешь, мой друг, но как тяжело не иметь права уважать того, кого любишь. Говорят (и я этому верю), что подобная любовь не прочна; это меня утешает, ибо у меня еще осталось немножко ума, и я желала бы быть в состоянии не любить больше, несмотря на счастье, которое это чувство дает нам вкушать. Мне много раз хотелось думать, что Жемчужников солгал, но потом я подумала, что ты, конечно, не сказала бы мне того, что не было бы достоверно; кроме того, слова, которые Каховский сказал моей Тетушке, которые я сочла удобным забыть и которые, — я очень тебе благодарна, — ты мне напомнила, — все это заставило меня, наконец, поверить, что такая вещь была возможна, и я должна была признать свою роковую ошибку“...

Следующее письмо Салтыковой, от 14-го мая, было наполовину заполнено сообщением о только что полученном известии о внезапной смерти Петра Петровича Пассека, а наполовину — рассказом о знакомстве с бароном Антоном Антоновичем Дельвигом, который с первого же раза произвел на Софию Михайловну самое чарующее впечатление. Да и она также чуть ли не сразу завоевала сердце добродушного поэта. Новый роман захватил ее всю и пошел таким быстрым темпом, что уже через две недели Дельвиг получил согласие на брак от своей возлюбленной, к которой писал частные и ласковые письма, сохранившиеся до нас и недавно опубликованные ¹⁾)... Уже письмо в Оренбург от 26-го мая заключало в себе довольно ясные намеки на сближение с поэтом: „Мы с Дельвигом очень коротко познакомились, он очень часто у нас бывает, вчера был и завтра будет. Папа очарован им“ и т. д., в письме же от 4-го июня подробно сообщалось о том, как Дельвиг сделал предложение, как оно было принято невестой и ее отцом и т. д. Восторженное следующее письмо, от 5-го июля, было наполнено рассказом о взаимном счастье, омрачавшемся лишь внезапной переменою к Дельвигу старого ипохондрика М. А. Салтыкова, да... редким воспоминанием о Каховском... „С Дельвигом я забываю все мои горести, мы даже часто смеемся вместе с ним. Как я люблю его, Сама! Это не та пылкая страсть, какую я чувствовала к Каховскому, что привлекает меня к Дельвигу, — это чистая привязанность, спокойная, восхитительная, —

¹⁾ См. Сборник Пушкинского Дома на 1923 год, 1922, стр. 78 — 96.

что-то неземное, и любовь моя растет с каждым днем благодаря добрым качествам и добродетелям, которые я открываю в нем. Если бы ты его знала, мой друг, ты бы очень его полюбила, я уверена; мы много говорим о тебе. Свадьба наша будет, я думаю, в августе, а может быть и в сентябре, — что более вероятно“...

Роман с Каховским был таким образом дочитан, — и книга навсегда поставлена на полку. Герой нового романа, — мягкий, застенчивый, весь проникнутый литературой Дельвиг, — не пугал Салтыкову бурнопламенными признаниями, требованиями увоза из родительского дома, перспективой бегства в далекие и чужие края и т. д., — и она отдала ему свою руку без страха и с полной уверенностью в том, что она будет счастлива.

А Каховский? Роль его в дне 14-го декабря в Петербурге и дальнейшая судьба — известны. Вот что писала Софья Михайловна, уже баронесса Дельвиг, своей подруге (также к тому времени успевшей выйти замуж за Карелина) — 22-го декабря 1825 г.: „Ты узнаешь от Жемчужникова о всем, что здесь произошло, и каким образом сделалось, что Николай на троне. Скажу тебе лишь то, что этот ужасный день 14 декабря был причиной молчания, которое я хранила на протяжении нескольких почт: все письма теперь распечатываются, а я не могла писать тебе, не высказав тебе своего мнения о том, что произошло; даже и совсем не принимали писем на почте в течение нескольких дней. Среди большого числа молодых людей, замешанных в этом деле, находятся также Рылеев и Бестужев и бедняга Кюхельбекер, которого я жалею от всего сердца; все они, не исключая и Каховского, который был из числа их сообщников, — находятся в крепости, Кюхельбекер же еще не разыскан до сих пор; дай бог, чтобы не открыли, где он, — он должен быть не здесь, так как его старательно ищут в течение всех этих дней“.

Вот и всё, что сказала Софья Михайловна по поводу только что пережитых декабрьских волнений; по адресу Вильгельма Кюхельбекера она вымолвила хоть несколько сочувственных слов; Каховский же не вызвал с ее стороны ни одного эпитета, никакого проблеска чувства: он был просто назван ею на-ряду с Рылевым и Бестужевым, которых она лично по всей вероятности даже и не знала... Через пять месяцев она в известном „Донесении Следственной“ Комиссии прочла те упоминания, которые были посвящены Каховскому и его деятельности в Тайном Обществе, а также участию в совещании у Рылеева 12-го и 13-го декабря и выступлению в самый день восстания. Дерзновенный Каховский представлен был здесь в чрезвычайно кровавых красках; в одном месте он назван в числе „яростнейших“. Верховный Уголовный Суд так формулировал степень его виновности, отнеся его, вместе с Пестелем, Рылевым, С. Муравьевым-Апостолом и Бестужевым-Рюминным к числу государственных преступников вне разрядов: „Умышлял на пареубийство и истребление всей императорской фамилии, и, быв предназначен посягнуть на жизнь ныне царствующего государя императора, не отрекся от сего избрания и даже изъявил на то согласие, хотя уверяет, что впоследствии

поколебался ¹⁾; участвовал в распространении бунта привлечением многих членов; лично действовал в мятеже; возбуждал нижних чинов, и сам нанес смертельный удар графу Милорадовичу и полковнику Стюрлеру и ранил Свитского офицера“.

13-го июля 1826 г. жизнь Каховского прервалась на виселице...

Смерть этого энтузиаста и четырех других „злодеев“, — как назвал Верховный Суд приговоренных к смерти декабристов, — и вообще экзекуция над осужденными произвела угнетающее впечатление на С. М. Дельвиг. Начав свое очередное письмо к подруге 12-го июля, она на целых 9 дней прервала его, будучи до чрезвычайности взволнована казнью, совершившеюся 13-го числа, и затем писала с нарочитою осторожностью и туманно: „Я начала свое письмо 12-го, а сегодня у нас уже 21-е: это заставит тебя сказать, может быть, что я очень плохо держу данное тебе в прошлом письме обещание писать с каждою почтою... Но если бы ты была на моем месте, — я думаю, ты сделала бы то же самое. Все эти дни, с тех пор, что я написала тебе первые строки моего послания, я и все мы находились в самом жалостном состоянии. И всё еще страшно подавлена последствиями событий, о которых вы, конечно, знаете, дорогой друг... Что за грустное время у нас! У меня только дурные для тебя известия, — а потому я решила вовсе не говорить тебе о них. К чему отравлять твоё мирное уединение“...

Имя Каховского Софья Михайловна не назвала; но несомненно, что главным образом его насильственная смерть поразила ее воображение. Наслаждаясь мирным счастьем с любимым мужем, она не могла не представлять себе того, что было бы с ней, если бы два года тому назад она верила свою судьбу тому, кто теперь умер позорной и мучительной смертью... И она, конечно, благодарила обстоятельства, помешавшие ее союзу с пламенным мечтателем...

IX.

В супружестве своем с Дельвигом Софья Михайловна была счастлива; но про бедного Дельвига, к сожалению, нельзя сказать того же самого: Софья Михайловна была слишком горячею, увлекающеюся натурою, она искала пылких страстей, а умиротворенный, благостный, добродушный, временами даже флегматичный поэт не мог удовлетворить ее мятущуюся душу, вечно жаждавшую всё новых впечатлений; к ним применимо выражение Пушкина о коне и трепетной лани, выраженных в одну телегу... Телега их жизни сперва, казалось, катилась гладко, но уже года через три после свадьбы

¹⁾ В „Донесениях“ были приведены также и слова Рыльева к Каховскому, сказанные на совещании у Рыльева накануне восстания: „Любезный друг! ты сир на сей земле; должен жертвовать собою для Общества. Убей императора! И с этими словами прочие бросились обнимать его. Каховский согласился; хотел 14-го числа, надев лейб-гвардерский мундир, идти во дворец или ждать ваше величество на крыльце; но потом отклонил предложение за невозможностью исполнить, которую призывали и все другие“. —

между супругами не всё было ладно, так как у Софьи Михайловны появились поклонники, смущавшие душу поэта... Но мы знаем мало достоверного о жизни Дельвигов и должны о многом лишь догадываться.

Наиболее ранний отзыв о Софье Михайловне, нам известный, принадлежит племяннику поэта — барону А. И. Дельвигу, который узнал ее, будучи 12-летним мальчиком, в 1826 году, через год после ее выхода замуж за Дельвига — 30-го октября 1825 года. „Софье Михайловне Дельвиг во времени моего приезда в Петербург ¹⁾ только что минуло 20 лет“, — пишет он. „Она была очень добрая женщина, очень миловидная, симпатичная, прекрасно образованная, но чрезвычайно вспыльчивая, так что часто делала такие сцены своему мужу, что их можно было выносить только при его хладнокровии. Она много оживляла общество, у них собиравшееся. Дельвиги в то время не имели детей и вскоре полюбили меня, как сына. Жена Дельвига, как умная и деятельная женщина, занялась моим воспитанием, насколько это было возможно в короткие часы, которые я проводил у них“ ²⁾. — Софья Михайловна была магнитом, привлекавшим в скромную квартиру Дельвига весь цвет тогдашней (1826 — 1830) литературы: Пушкин (по возвращении из ссылки) и его родители и брат Лев; Плетнев, Гнедич, Олоевский, Боратынский, Веневитинов, Мицкевич, Подолгинский, Сомов, Розен, Титов, Ягличевский, Деларю, Шастный, В. Лангер, М. Яковлев, М. И. Глинка, — были постоянными посетителями вечеров у Дельвигов; затем к ним присоединилась воспитанная Пушкиным красавица А. П. Керн ³⁾, а за нею — и ее кузен — А. Н. Вульф. Этот циник и скептик вскоре увлекся Софьей Михайловной и увлек ее самое; правда, угрызения совести мучили и его и ее, — потому что оба не могли не отдавать должного удивительным нравственным достоинствам Дельвига. „Я не встречал человека, который так всеми бы был любим и столько бы овую любовь заслуживал, как он. Его приветливое добродушие имеет неизъяснимую прелесть; он так прост и сердечен в своем обращении со всеми, что невозможно его не любить“, — записывал Вульф в своем дневнике в октябре 1828 г. ⁴⁾. Вульф не хочется, как он цинично выражается, „гулять на счет барона“, — однако, он все же начинает любовную игру с Софьей Михайловной и о начале интимных с нею отношений и о дальнейшем их течении подробно рассказывает в своем дневнике (под 2-м января 1830 г.) ⁵⁾; читать его рассказ тяжело, — так он холоден и рассудочно-спокоен...

Друзья Дельвига дарили своим постоянным вниманием и его жену, — из них писатели и поэты посвящали ей стихи и прозу. Так, Плетнев, еще по случаю замужества своей ученицы, написал ей следующую пьесу ⁶⁾:

¹⁾ В конце октября 1826 г.

²⁾ Мои воспоминания, т. I, стр. 51.

³⁾ Много рассказывающая в своих Воспоминаниях о Дельвигах — муже и жене Л. Майков, Пушкин, СПб. 1899, по указ., и „Пушк. и его соврем.“, вып. V.

⁴⁾ „Пушк. и его соврем.“, вып. XXI — XXII, стр. 14, 15 и след. по указ.

⁵⁾ Там же, стр. 41 — 42.

⁶⁾ „Северные Цветы“ Дельвига на 1826 г., Отд. II, стр. 32.

С. М. С — ой.

(Советъ).

Была пора: ты въ безматерной сѣни
Какъ лила душистая цвѣта,
И твоего веселаго чела
Не омрачать задумчивости геній.
Пора надеждъ и новыхъ наслажденій
Невидимо подъ сѣнь твою пришла
И въ новый край невольно увлекла
Тебя отъ игръ и снова невинной лѣтн.

Но ясный взоръ и голосъ твой и видъ, —
Все первыхъ лѣтъ хранить очарованье,
Какъ свѣтлое о прошломъ воспоминае,
Когда съ душой оно заговорить
И въ насъ опять внезапно пробудить
Минувшихъ благъ уснувшее желанье.

Лицейскій товарищ Дельвига и Пушкина — Илличевскій посвятил ей посланіе, напечатанное в альманахѣ Дельвига „Подснежник“ на 1829 год¹⁾: „Баронессе С. М. Д. — При поднесеніи ей духов Ambroise“. Оно состояло из игры словами духи, духи, дух и т. д.:

С амброзней представи к вам,
Я б угодилъ вас богине;
Но похвалы не в моде нынѣ
И стали приторны для дам.
Позвольте же, кропи духами,
Вамъ просто пожелать стихами,
Чтобъ духи добрыя, толпой
Кружась невидимо надъ вами,
Хранили свято вашъ покой; и т. д.

Сотрудникъ Дельвига — Сомовъ в альманахѣ „Царское Село на 1830 г.“ напечатал посвященную ей сказку „О медведе-костоломе и об Иванѣ Купецкомъ сынѣ“²⁾. Поэтъ Деларю в свою очередь посвятил ей два стихотворенія: „Слеза любви“ — в „Северныхъ Цвѣтахъ на 1830 г.“³⁾ и, после смерти Дельвига, — посланіе к ней в „Литературной Газетѣ“ 1831 г.⁴⁾ и стихи к маленькой дочери поэта — „Лизанькѣ Дельвиг“. В первомъ он говорил об умершемъ поэтѣ:

Он не долго в лоне мира
На пиру земномъ гостилъ:
Промелькнулъ, оборотился
И исчезъ в волнахъ эфира...

¹⁾ Стр. 31 — 32.

²⁾ Стр. 148 — 156.

³⁾ Отд. 2, стр. 75.

⁴⁾ „Б. С. М. Д — гѣ“ — в № 12, стр. 96; перепечатано в „Опытахъ в стихахъ Михаила Деларю“, С.-Пб. 1835, стр. 91 — 92; в той же книгѣ есть и стихи к „Лизанькѣ Дельвиг“ — стр. 96 — 97.

а во втором предрекал дочери Софьи Михайловны светлую будущность:

Желаньем сердца вдохновенный,
Пророк твоих грядущих дней,
Произношу глагол священный
Над колыбелью твоей.
О, верь ему! Что сердце скажет,
То не изменит никогда:
Тебе прекрасный путь укажет
Твоя высокая звезда!
Не узришь ты поры ненастной,
Под гнев судьбы не поддадешь;
Красой лица, душою ясной,
Подобно матери прекрасной,
На радость кровным расцветешь;
Смиришь родной своей кручину
И долготой счастливых дней
За раннюю отца кончину
Воздашь друзьям семьи твоей!...¹⁾

Горесть С. М. Дельвиг после неожиданной смерти мужа (14-го января 1831 г.) была и сильна, и остра, но — по видимому непродолжительна²⁾: уже менее чем через два месяца лицейский товарищ Дельвига и Пушкина — М. Л. Яковлев решился обратиться к ней с письмом, в котором сделал ей предложение выйти за него замуж: Софья Михайловна, правда, была „и огорчена, и оскорблена этим письмом“, по словам А. И. Дельвига; но в то же время она кокетничала с неким инженером Резимоном: тогда же на сцену ее жизни явился новый претендент на ее руку, — страстно влюбленный в нее Сергей Абрамович Боратынский, брат известного поэта и друга Дельвига — Е. А. Боратынского; он познакомился с Дельвигами в Москве в 1829 году, затем, проживая в Петербурге, постоянно бывал у них в доме³⁾. Когда Дельвиг умер, Боратынский проявил трогательное участие к положению молодой и неопытной в житейских делах вдовы, всячески помогал ей, заботился о ней самой и об ее маленькой дочке и т. д. Сперва Софья Михайловна отвергла его предложение, высказанное ей в конце мая, но затем, рассудив спокойно и видя горячую любовь Боратынского, дала согласие на брак и в июне месяце уже обвенчалась с ним — без огласки и настолько тайно, что даже такие близкие к ней люди, как отец, брат или племянник А. И. Дельвиг или сестра Пушкина — О. С. Павлицева, ничего не знали об этом, хотя последняя нечто и подозревала...⁴⁾. Очевидный свидетель всей этой поры жизни Софьи Михайловны — Андрей Иванович Дельвиг — в Воспоминаниях своих рассказывает о всех подробностях сватовства Яковлева, а также и о романе

¹⁾ Портрет Е. А. Дельвиг, в молодых годах, — в Пушкинском Доме.

²⁾ Барон А. И. Дельвиг в Воспоминаниях своих пишет, что вдова предавалась „страшной скорби“ после потери мужа (т. I, стр. 117).

³⁾ Там же, стр. 97.

⁴⁾ „Пушкин и его современ.“, вып. XV, стр. 45, 62, 65, 68, 106.

с Боратынским, о пребывании их обоих, по выезде из Петербурга, в Москве у М. А. Салтыкова, о поездке Софьи Михайловны к матери покойного Дельвига в Чернский уезд Тульской губернии... От свекрови она должна была внезапно уехать, так как у нее появились первые признаки беременности, а брак свой она скрывала... Однако, уехав, она вскоре написала старой баронессе о своем выходе за Боратынского. „Как объяснить всё это поведение моей умной и доброй воспитательницы?“ спрашивает А. И. Дельвиг: „Мне было больно, что все называли ее притворщицею; какая же цель была ей притворяться перед нами? Но еще большее было мне то, что, зная ее вспыльчивость и также пылкий характер ее второго мужа, я предвидел для нее грустную жизнь, так как она была избалована необыкновенным добродушием и хладнокровием ее первого мужа. Женщина, у нее служившая и оставшаяся в Петербурге, подтвердила мое мнение. Она мне рассказала, что Боратынский был в Петербурге у С. М. Дельвига в первый раз на другой день моего отъезда из Петербурга, что вскоре, как выражалась эта женщина, у них дошло до ножей, и что С. М. Дельвиг очень сожалела о моем отъезде. Конечно, она сожалела, думая, что мои советы могли быть ей полезны для того, чтобы отделаться от Боратынского, которого стоило видеть один раз, чтобы понять всю пылкость страсти, к какой он может быть способен. Я объяснил себе ее поведение... следующим образом. Она думала пожить в имении своей свекрови всё время малолетства своей дочери и тем разрушить связь с Боратынским... Как было принято ее замужество в моем семействе, я хорошенько не знаю, потому что был в это время уже вдали от него, в Петербурге, но когда приехал снова в Москву в мае 1832 г., то заметил в моем семействе нерасположение к С. М. Боратынской и обвинение ее в притворстве. Находили ее замужество чуть не преступлением... Отец Софьи Михайловны, М. А. Салтыков, был, в особенности в первое время, взбешен ее замужеством и даже при посторонних позволял себе говорить, что дочь протитупировалась перед простым лекарем. Так было поражено его чувство и отца, и аристократа. Впоследствии он поневоле простил ее. С. М. Боратынская... была в постоянной переписке со своей свекровью и с сестрами своего первого мужа. Дочь ее от первого брака была горячо любима ею и сделалась любимицею всего семейства Боратынских и в том числе своего брата и трех сестер, детей от второго брака ее матери“...¹⁾.

Поселившись в имении Боратынского — Абрамовке, Кирсановского уезда Тамбовской губернии, Софья Михайловна прожила здесь и в селе Маре почти безвыездно многие и многие годы. Злые языки говорили, что жизнь ее с мужем не была счастлива, — по крайней мере О. С. Паалицева передавала об этом своему мужу еще в 1835 году²⁾: но мы имеем и другое показание — личного свидетеля несколько более поздней поры жизни Боратынских, а именно — их соседа по имению, известного когда-то музыканта и композитора

¹⁾ Мои воспоминания, т. I, стр. 148 — 149.

²⁾ „Пушкин и его современ.“ вып. XVII — XVIII, стр. 169, 188.

Ю. К. Арнольда: в своих Воспоминаниях ¹⁾ он оставил довольно живую картину деревенского обихода Софьи Михайловны, тогда уже матери многочисленного семейства, и ее мужа, — врача, горячо преданного своему медицинскому призванию, и в то же время большого любителя литературы и музыки ²⁾, метко охарактеризованного в одном послании к нему Н. Ф. Павлова ³⁾. В 1839 году (к которому относится рассказ Арнольда) все они производили впечатление дружной, сплоченной семьи, „стоявшей на высоте интеллектуальной культуры“.

В 1866 году Софья Михайловна вторично овдовела после 35-летнего брака, а в 1880 году потеряла единственного сына (так же, как и отец его, бывшего врачом); наконец скончалась и она сама: Софья Михайловна умерла в Маре, 82 лет от роду, 4-го марта 1888 года, до глубокой старости сохранив, по словам лично знавшего ее Я. К. Грота ⁴⁾, живой ум и горячее сердце.

Б. Модзалевский.

20 апреля 1924 года.

¹⁾ Вых. II, М. 1892, стр. 151 — 154.

²⁾ О нем см. в издании Академии Наук: Е. А. Боратынский. Материалы к его биографии. С введением и примечаниями Ю. Верховского, Пгр. 1906, стр. 43 — 47.

³⁾ Татевский Сборник С. А. Рачинского, стр. 65 — 70.

⁴⁾ „Русск. Вестн.“ 1889 г., сентябрь; см. Труды Я. К. Грота, т. III, Спб. 1901, стр. 189. Средняя дочь С. М. Боратынской — Софья Сергеевна Чичерина, жена Кирсановского предводителя дворянства В. Н. Чичерина (брата известного профессора Б. Н. Чичерина и дяди нынешнего Народного Комиссара по иностранным делам) умерла лишь в сентябре 1916 г.; две другие дочери умерли в 1902 и 1912 гг. Многочисленные внуки С. М. были недолговечны.

Петрашевец Н. А. Момбелли.

С именем Момбелли связана попытка устройства тайного кружка в среде петрашевцев. Идея этого кружка — братства взаимной помощи — была „любимой мечтой“ Момбелли и „рычагом“ всех его „преступных действий“. При анализе ее уясняется ее индивидуальное и общественно-психологическое происхождение. Надо помнить ту полудомашнюю, кружковую атмосферу маленького интеллигентного слоя конца 40-х гг., в которой идея эта могла казаться осуществимой, и ту невыработанность исторического понимания, вследствие которой переоценивалось значение личных связей.

Потребность самоанализа, чужой нравственной поддержки, столь резко испытываемую Момбелли, надо отнести к числу симптоматических явлений эпохи: вспомним огромные переписки 40-х гг. гоголевскую авторскую исповедь и „переписку с друзьями“. В деле Петрашевского встречаем исповедь Ахшарумова, написанную им для Дебу, исповеди Баласогло, А. Д. Толстова, Момбелли и других — перед следственной комиссией¹⁾.

Каждый отдельный случай своеобразен, но им присуще общее направление, которое Герцен истолковывает как загнанное внутрь неиспользованное к деятельности. „Молодые люди становились ипохондриками, подозрительными и усталыми, не имея 20 лет отроду. Они все были заражены страстью самонаблюдения, самоисследования, самообвинения, они тщательно поверяли свои психические явления, любили бесконечные исповеди и рассказы о первых событиях своей жизни“²⁾.

С внешней стороны исповеди перед следственной комиссией указывают на неразрушенную еще нравственную связь с самодержавием, жившую в умах наиболее радикального тогдашнего поколения.

В 1849 году Момбелли был бедный гвардейский офицер, 26 лет, недавно уволенный в отставку придирчивым начальством за неприятности по службе. Слабого здоровья, со скромными манерами, скрытный мечтатель с головой Сократа, с неустойчивой, раздвоенной самооценкой, гордый и мнительно-самолюбивый, он был „небалаван вниманием всех окружающих, лестью женщин (при дурной наружности и при отсутствии склонности к волокит-

¹⁾ К разряду таких же явлений относится исповедь Бакунина.

²⁾ Б. и Д. XIII, 600, изд. Лемке.

ствам) и предпочтением в семействе". В маленьком имении Смоленской губ., нуждаясь во всем, „кроме пропитания“, жила его мать с 3-мя сестрами, которым он немного помогал из своего жалованья ¹⁾, „подвергая себя лишениям“.

„Часто весь его обед состоял из одной булки, часто он сказывался больным, для того только, чтобы сберечь платье, тщательно стараясь скрыть свою нищету даже от товарищей“ ²⁾.

Сам он признается, что безвыходная бедность, всегда скрываемая, и постоянная тревога за будущее, терзая его самолюбие, довели его до ипохондрии, до болезненных припадков, „расстройства морального и телесного“, доходившего до „оцепенения по целым часам“. За несколько лет прежде он даже стрелялся, но случайно остался жив: револьвер дал осечку, но вторым выстрелом, в стену, ему разбило руку.

Для ипохондрического болезненного состояния характерно бросание в крайности энтузиазма и апатии. „Не видя конца своим страданиям, я бесился... Я чувствовал, что мне придется кончить мою жизненную карьеру отшельничеством и мизантропией, тогда как это вовсе не согласно с моим природным призванием, сколько себя понимаю; и это меня мучило, терзало, бросало во все крайности“.

Нервный, беспокойный, неуравновешенный, одаренный „алчной любознательностью, желанием знать возможно более“ и резким и едким языком, Момбелли приобрел в своем полеу репутацию крайнего „либерала“. Но он не мог дать себе ясного отчета в своем умственном развитии и очень тяготился этой неустановленностью, неумением себя выказать, разницей между своим наружным и внутренним характером, которую он тонко понимал. „Известное дело, — писал он в показании, — что бывающие в различных кружках общественных, не будучи двуличными, напротив, при самой открытой, при самой наивной натуре, принуждены бывают разыгрывать различные роли, — что зависит от первого впечатления, производимого в таком-то кружке, с которым потом уже трудно расстаться, и нравственно заставляют разыгрывать роль, которой внутренне не сочувствуешь и которую никак не можешь признать своею“.

С сентября 1846 до конца февраля 1847 у Момбелли собирался по понедельникам кружок его знакомых, главным образом из офицеров, для литературных занятий. Настоящих литераторов среди них не было, и цель их сводилась к тому, чтобы самостоятельно, не стесняясь критики, приобрести литературный опыт, умение говорить и спорить, защищать свои мнения, выработать развязность языка и диалектики.

Сохранился длинный список статей, оригинальных и переводных, прочитанных на этих собраниях, обнимающий самые разнообразные темы, от научных (исторических, естественных, философских) до парадоксальных. Сам

¹⁾ У Момбелли было 9 детей; отец их подполковник в отставке, слепой инвалид, жил отдельно на свой пенсион.

²⁾ Писала его мать в 1855 г., в просьбе о помиловании.

Момбелли читал переводы из Вольтера, из энциклопедистов, статьи: „Основание Рима и царствование Ромула“, вместившую между прочим обзор современной иностранной политики, „Аспазия“, „любовь растений“ и другие. В это время Момбелли, высказывая яростный политический либерализм, делал выпады против деспотизма, против рабства. По поводу ареста Кирилло-Мефодиевского братства (в начале 1847 г.) он записал в дневнике: „Приверженцы деспотизма, т. е. настоящего порядка в России, и все, проникнутые страхом, так называемые осторожные или, иначе, благоразумные, величают замысел этот глупым безрассудством, бессмысленным малодушием. В России называют малодушными не действительно малодушных, а тех, которые... доверяются ближнему... тех, которые надеются на переворот в России, на лучший порядок вещей... тех, которые имеют дерзость отступать от глупых приличий света, не вполне подчиняются силе; вообще всех тех, которые имеют несчастье выходить из общего уровня в чем-либо, исключая рабской преданности и усердия к престолу“.

В это время Момбелли был мало знаком с социализмом.

„Я до того тогда, пишет он комиссии, отделял слово от дела, что в теории, в идее и на словах в частных беседах считал всё дозволенным, без исключения, просто всё... Даже иногда сам повторял самые нелепые вещи, признавая их таковыми... так, будучи в душе христианином и никогда не переставая быть таковым, я, было время, говорил противу Евангелия“.

„Но... я дальше слов никогда не шел“.

Такое фальшивое положение под конец вызвало в Момбелли реакцию. Прозвище „либерала“ стало ему „противно“, он „не знал, как с ним разделиться, как отделить его от себя“, желал уехать года на два, „с тем, чтобы возвратиться с новою физиономиею“. До начальства дошли сведения о его собраниях, и их пришлось прекратить.

Попав на пятницы Петрашевского, приглашенный им осенью 1848 г., Момбелли держался гораздо сдержаннее. Впрочем он обратил на себя внимание Спешнева. Знакомством с Петрашевским он „особенно дорожил“, между прочим и потому, что имел от него книги; а „новинки он жаждал всегда“. „Теперь он начал читать новых французских писателей, осуждающих настоящий порядок вещей (не социальный)“ (слова Львова), но социалистом не сделался и вообще знал их поверхностно.

Однажды он говорил речь о вреде карточной игры. На пятницах он говорил во время спора Головинского с Петрашевским о судопроизводстве и освобождении крестьян, что помещики должны пока заботиться об образовании крестьян, главное, — обращать внимание на матерей и женщин, устраивать земледельческие образцовые фермы, где крестьянское юношество получало бы специальное образование. Еще в большей степени эта идея является следствием сознания своего социального беспорядка, незащитности и одиночества.

Идея братства взаимной помощи — „средневековая“, как определил ее Петрашевский — чрезвычайно увлекательная утопия об искусственном единении душ: она открывает тягу Момбелли к искренности, откровенности и простоте

отношений, которых он не умел создать и добиться в действительности. По собственному осторожному признанию, он „не знал“ ни Петрашевского, ни Спешнева, и даже старого своего товарища, Львова, которого больше всех любил, не мог назвать другом; остальные, полковые приятели, вовсе не понимали его, и приятели их выражались в предостережении его от опасного пути.

Характерно, однакож, что ни Петрашевский, ни Спешнев, ни К. Дебу не поняли замысла Момбелли, и каждый перетолковал его по-своему; только Львов более или менее разделял его.

„Мысль братства принадлежит мне, — пишет Момбелли в показании, — и родилась вследствие избытка чувств от желания приобрести друзей искренних и преданных, с которыми можно бы было отвести душу, разделить горе и радость“.

„В обществе всюду сталкиваемся с одним только эгоизмом, всюду одно только себялюбие, забота только о своих личных интересах, да изредка попечение о своих родных, и только; нет человеколюбия вообще, нет любви к ближнему. Любовь идеальная приходит временно, согревает ненадолго и не всех. Только в кругу родных и можно найти пищу чувствам, пользоваться любовью искренней, непритворною. Но не все родных имеют; многие живут далеко от своих близких; другие... не ладят с ними; поэтому многие достойные молодые люди, видя всеобщую холодность, черствуют и потому сами в свою очередь делаются эгоистами и себялюбцами. Почему нахожу спасительным соединиться многим вместе в братство, в семью, где бы всех связывали взаимная искренность, дружба, любовь, доверенность и, как необходимое следствие, уважение. В братство, в этой семье нового рода можно бы было во всякую минуту найти, с кем согреть душу, перед кем раскрыть в минуты настроенности свои мечты, свои помышления. Все братья помогали бы один другому во всем, в материальном отношении и, главное, в нравственном. Один человек слишком слаб и, как бы хороши ни были его намерения, как бы ни были высоки его стремления, он упадет, будет смят в грязи, если не имеет протекции или сильных родственников. Математическая аксиома „соединенные силы сильнее действуют суммы тех же сил, действующих порознь“ — в мире нравственном еще сильнее, чем в мире физическом; поэтому братство взаимной помощи могло бы заменить протекцию и удовлетворить потребности поделиться чувствами. Кроме нравственной поддержки при встрече в обществе наблюдать один за другим, замечая взаимно странности, неловкости и промахи и также, на чем основываются невыгодные толки или мнения, чьи бы они ни были. Потом все такие замечания взаимно сообщать с полною откровенностью, не боясь оскорбить или задеть за живое, потому что между собою была бы отвергнута возможность оскорбления, любовь и доверенность должны были превосходить щекотливость, раздражительность самолюбия, каждый должен быть уверен, что бы ни говорил другой, то говорится для его же пользы, из желания его исправить, а не из намерения оскорбить. Также братство общими силами должно стараться о возможной помощи несчастным и страждущим, даже отыскивать их самим. В этом случае помощь полагалась

не столько материальная, сколько нравственная, т.-е. чтобы нищих, пьяниц и т. п. извлекать из грязных условий и, исправив, доставлять возможность честного существования“.

Доказывая нравственные и материальные выгоды „братства“, Момбелли приводил в пример, „как много талантов блистательных кончают земное поприще не замеченными и часто не имевши средств вполне развиться, потому единственно, что никто на них не обратил внимания, никто во-время не открыл их достоинств, — то стараться о доставлении известности и славы членам, занимающимся специально каким-нибудь предметом“¹⁾. „Многие терпят от того, что случай поставил их в жизненные условия, несоответственные с их способностями и желаниями, — так стараться доставить им места по их наклонностям и способностям“.

В конце ноября или в декабре Момбелли попытался посвятить в свой проект Петрашевского. Петрашевский привлёк Спешнева. Но Момбелли не сумел объяснить им дело сразу, он смущался, вынося на свет свои заветные мысли, конфузился, и над ним подшучивали. Решено было обсудить это дело подробнее и привлечь больше участников. Момбелли предложил Львова, Петрашевский — К. Дебу, а Спешнев сказал, что полагается только на самого себя. Всего было 6 собраний на квартире у Спешнева, за время с декабря до начала января 1849 г. После первой попытки обсуждения, выяснившего разные точки зрения участников, решили изложить свои взгляды письменно. Мысль о близкой осуществимости какой-то деятельности в запретной форме очень взбудоражила умы. О своем волнении и „мрачном расположении духа“ показывал Спешнев; Момбелли же „был в полном увлечении и в химерическом угаре“, надеясь на осуществление своей мечты, и находил необходимым для успеха устройство тайного общества.

Но цели, которые ставил каждый из них, оказались слишком различными.

Петрашевский ставил основной целью общества распространение фурьеризма. На тайное общество он соглашался как на организационное средство для пропаганды. Он хотел составить „ученый комитет“ из главарей для разбирательства и разрешения вопросов политического устройства и общественного быта, а также для критики убеждений членов общества. Он „схватился“ за предложение Момбелли о том, чтобы каждый вновь вступающий член представлял свою биографию, и требовал начать со своих собственных биографий, с изложением „постепенного хода своего умственного развития“. Момбелли на это не соглашался.

¹⁾ Отголосок этой мысли видим в объяснении Бакунина, со слов Толя, практических методов деятельности, избранных петрашевцами: „все члены кружка останутся тесно между собою соединенными и будут *quand même* поддерживать в жизни друг друга; так, напр., все будут в один голос кричать, что Петрашевский первый экономист в мире. выше Fourier, St-Simon'a и Адама Смита, что Шекспир Достоевского подметок не стоит, что Львов заткнул за пояс Гумбольдта, а Толя первый богослов и педагог в мире“ (Письма к Герцену. Женева, 1896, стр. 46).

„Мои мнения, — писал он, — были неумовимо подвижны, далеко еще не установились, изменяясь ежедневно по мере приобретения опытности и круга знаний положительных“. Вообще, Петрашевский понял Момбелли по-своему, не обратив внимания на „средневековые“, по его мнению, нравственные условия объединения, но отметив, что „товарищество, вникая во все общественные отношения и потребности“, должно было бы дать „правильное направление общественному мнению“ и „жизни общественной в нравственном отношении надлежащее развитие“. Одна из главных задач его — обнаружение „предосудительных действий или злоупотреблений административных лиц, дабы нарушителей законов постигла должная мзда“.

Между прочим Петрашевский пытался уяснить „систему русской философии“ и на одном собрании читал статью о ней в духе Фурье.

Фурьерист К. Дебу более последовательно, чем Петрашевский, заявил: „Предполагаемое общество будет тайное, а я в тайном обществе участия не приму: для того, чтобы говорить о Фурье, не надо тайного общества“. От писания своей биографии он решительно отказался.

Спешнев, не соглашаясь ни на „ученый комитет“, ни на „биографию“, поставил прямо вопрос о создании политического общества, имеющего целью „воспользоваться переворотом, который, по его мнению, должен был сам собой произойти в России через несколько десятков лет, как в западных государствах“ — т.-е. с целью захвата власти и освобождения крестьян. Готовясь к обсуждению, он написал и план тайного общества, потом сожженный им; в нем он признавал три метода действия: незуитский, пропагандный и революционный (т.-е. восстание). Сам, в качестве коммуниста, отдавая предпочтение последнему, он полагал нужным пользоваться всеми тремя для большего успеха. Видя общее неодобрение своим планам, — хотя никто ему резко не противоречил, — Спешнев предлагал составить из присутствующих „центральный комитет“, где представители различных мнений могли бы образовать и частные комитеты для действия согласно своим убеждениям: комитет товарищества взаимной поддержки (Момбелли), комитет пропаганды (Петрашевский и другие) и комитет тайного общества на восстание (Спешнев).

Львов поддерживал Момбелли, но полагал, что впоследствии общество может поставить своей целью и социальное преобразование, конечно, мирным путем.

Относительно почвы для своего общества они не особенно задумывались, но предполагалось, что в него будут приглашаться „социалисты вообще и люди передовых мнений“, — т.-е. из слоя „людей умных и образованных“; о влиянии на другие слои не возникало речи.

Вопросы организации и афиляции тоже подвергались обсуждению. Большинству была известна книга аббата Баррюэля ¹⁾, о которой Момбелли отзывался как о самой вредной книге, когда-либо им читанной. О формах общества читал Львов.

¹⁾ „Вольтерьянцы или история о якобинцах, открывающая все противохристианские злоумышления и таинства масонских лож, имеющих влияние на все европейские державы“, о ней см. Герцен, т. VI „Петрашевский“.

Умеченный Момбелли не хотел политического общества, но он делал уступки Петрашевскому, соглашаясь на пропаганду фурьеризма, — и Спешневу, принимая освобождение крестьян целью общества; он старался только закрепить начало организации, откладывая несогласия и споры „до времени ближайшего ознакомления, когда взаимная дружба, любовь и доверенность, отстраняя щепетильность и щекотливость, позволили бы откровенно высказать, что а по тогдашним своим понятиям находил в их планах нелепым и безумным“.

Но, видя полное отклонение от своей первоначальной идеи, Момбелли, наконец, предложил окончательно высказаться, „можем ли мы продолжать попытку“. Спешнев, разочаровавшись в успехе своего политического проекта, поддержал его, поставив открыто вопрос о цели общества. Момбелли выбрали секретарем для отобрания мнений.

В тот же последний вечер Петрашевский требовал от Спешнева открытого объяснения его коммунизма, но Спешнев, по обыкновению, уклонился.

Затем они разошлись, „выпив по стакану лафита и дав взаимное слово даже между собою не говорить никогда ни слова о происходившем“. Впрочем, после этого, в январе, по инициативе Петрашевского, было еще одно собрание у Львова, без Спешнева. Пришли на это собрание холодно и неохотно. Петрашевский, бывший тогда в ссоре со Спешневым (вероятно из-за Черносвитова. см. выше), поручил Дебу снова привлечь Спешнева к обсуждению. Выше изложен ответ Спешнева на эту попытку.

После этого опыта Момбелли, однако, еще не разочаровался в успехе своей идеи. С марта месяца он с интересом вступил в кружок Дурова, приняв за отвечающие своему настроению слова Пальма и других, что цель их кружка — „желание сблизиться, узнать короче друг друга“. На одном из первых собраний он сказал речь „об откровенности“, как называли ее другие, „о пользе и необходимости ближайшего ознакомления“, о том, что „узнав короче, мы лучше оценим друг друга“ ¹⁾. Момбелли всё еще надеялся найти „людей, которые поймут его“. Но его не поддержал даже близкий по духу Достоевский ²⁾.

Как передает Львов, в речи Момбелли обратили на себя внимание лишь те места, где он говорил об осторожности (в деле объединения между людьми передовых понятий), о том, чтобы не назначать определенного дня для собраний и т. п. В кружке, который и от Петрашевского отделился, не желая „политики“ — эта речь вызвала всеобщее неодобрение: „напрасно он дает такую важность этим вечерам“. Момбелли разорвал свою речь.

¹⁾ По словам Филиппова, он говорил, что „все они, более или менее с одинаковым направлением и образом мыслей, должны теснее сблизиться между собою, дабы под влиянием друг друга тверже укрепиться в этом направлении и успешнее поддерживать свои идеи в общественном мнении“.

²⁾ По показанию Головинского, Достоевский говорил у Дурова, „что не следует действовать преступно против 2-х пунктов; следует не осуждать общества, а действовать на него не желчью и насмешкою, а показанием собственных недостатков. Мнение Достоевского, повидимому, было одобрено“.

После этого для него наступила реакция. „Однажды, углубившись в свою мысль любимую, я увидел ясно, что нянчиться с химерой, что осуществление ее решительно невозможно, что такого слития душ, такой безусловной, беспредельной дружбы между людьми быть не может; что, если оно и возможно, то для этого нужно, чтобы судьба, посредством каких-нибудь особенных обстоятельств, сблизила людей, и что эти обстоятельства вне воли человека. Придя таким образом сам собою до разочарования о своей мечте, расставшись с нею, я вдруг охолодел ко всему, о чем прежде говорил часто с чувством. Вечера либералов и либерализма мне сделались уже неприятны“... Воспользовавшись пустой ссорой с Дуровым, он перестал бывать у него.

Вскоре арестованный, Момбелли нашел в исповеди перед комиссией выход своей реакции. „Я хотел с первого шагу показаться в своем настоящем виде и с своими лохмотьями и с своими грехами“. Своим рассказом он хотел „исправиться, выйти из горнила чистым, чтобы страшнейшее из моих несчастий по крайней мере омыло бы меня, освободило бы от остатка мусора мои мысли“. Но, впрочем, он сам не рассказывал о собраниях у Спешнева, „жалая Львова“ и обещая Спешневу, уже в III отделении, не говорить о своих отношениях к нему.

После объявления приговора, во время которого Момбелли выводили к столбу для расстрела, он был оставлен в крепости по болезни. Но уже 12 января 1850 он был отправлен в Тобольск и в конце марта прибыл в Александровский завод Нерчинского округа, где уже находился Спешнев. В воспоминаниях Н. Хитрово, отличающихся многими неточностями, приведены слова Момбелли, что его „каждый день приковывали к тачке, с которой он должен был работать целый день, с небольшим отдыхом для обеда“: этот факт совершенно невероятен. Первое время, действительно, петрашевцы Нерчинского округа жили в тюрьме и подвергались каторжному режиму. „Кормили каторжников крайне дурно, так как приходилось неизменно есть одну только похлебку с требухой и плохим черным хлебом; спали каторжники почти на голых нарах в общеарестантской палате, отдавая свое тело на съедение всяких паразитов“¹⁾; но через некоторое время положение их было облегчено. Момбелли не получал никакой помощи от родных: мать его уже 12 марта 1850 г. просила пособия у III отделения, так как со ссылкой сына она лишилась всякой поддержки. Ей было выдано 50 р., а в ноябре того же года еще 50 р.; затем почти каждый год она получала раз или два в год пособие в 25 р., до 1859 г. включительно.

По манифесту 26 августа 1856 Момбелли вышел на поселение и затем получил право поехать на Кавказ рядовым с выслугой. В апреле 1857 он был зачислен в Апшеронский пехотный полк. „Здесь, на Кавказе, говорил Момбелли, я снова преобразился в человека, ибо командир полка и офицеры отнеслись ко мне крайне сердечно и настолько, что я даже просил офицеров

¹⁾ Н. Хитрово. „Р. Мысль“, 1909, 7, 99. Между прочим местом каторги Момбелли указан, неизвестно почему, Бобруйск.

своим вниманием ко мне не отдавать меня от нижних чинов; Кавказ был для меня новым миром — миром человечества и гуманности.

„Наконец, в 1859 году мне разрешено было принять участие в экспедиции по завоеванию Нагорного Дагестана, и, вынужденный вступить в ряды охотников, т.-е. передовой команды, при штурме Гуниб-Дага, я думал только об одном — умереть смертью героя или настолько отличиться, чтобы получить полное прощение, при наличии которого я мог бы сделаться свободным гражданином“ ¹⁾. В ноябре Момбелли по ходатайству генерал-адъютанта кн. Орбеллиани был произведен в прапорщики.

Момбелли хотел выйти в отставку, но начальник Дагестанской области, кн. Л. И. Меликов, предложил ему должность чиновника особых поручений и заведующего горским отделом своей канцелярии, при этом Меликов заметил Момбелли, что „при обсуждении своего решения он должен игнорировать свою прежнюю неприязнь к правительству, ибо по воле государя Александра Николаевича Россия должна вступить на путь прогресса и сомневаться в этом уже невозможно“ ²⁾.

Проанализировав свои силы, Момбелли принял государственную службу и поселился в Темир-Хан-Шуре. Ему был возвращен прежний чин поручика гвардии с переименованием в капитаны. Он много работал над административным устройством дагестанских горцев, хорошо изучил быт горцев, знал их наречия и, „защищая интересы горцев от всевозможных насилий начальников горных округов“, пользовался „в виде редкого исключения полным их доверием и уважением“. Ему приходилось нередко выезжать в аулы, откуда поступали жалобы горцев на своих набоов или даже на начальников горных округов, „чтоб по возможности улаживать дело на месте в интересах справедливости“, и горцы „с полным радушием встречали“ Момбелли, как человека, „к которому они привыкли и которого признавали за защитника своих интересов“. В некоторых аулах при содействии Момбелли были основаны школы грамоты для мальчиков и девочек, которые, впрочем, „слабо прививались вследствие противодействия мусульманского духовенства“.

Среди жителей Темир-Хан-Шуры Момбелли был „крайне популярен“. Он был старшиной военного клуба, в котором сосредоточивалась общественная жизнь этого укрепления. У него была солидная библиотека, включавшая также иностранные книги; он получал контрабандой „Колокол“ и „Полярную Звезду“.

Знакомые Момбелли невольно подчинялись его нравственному влиянию и чтили в нем авторитет политического „страдальца за идеи“. Хитрово, встретившийся с ним в 1862 г., так описывает его: „высокого роста, крепко сложен, немного сутуловат, а в его русых бакенбардах, усах и бороде было много проседи“, в очках; „умное и доброе выражение лица... слегка курносый нос, высокий, крутой лоб, полоса только на затылке кудрявых, коротко

¹⁾ Н. Хитрово. „Р. Мысль“ 1909, 7.

²⁾ *Иб.*, 102.

подстриженных седых волос — всё это в общем напоминало мне голову Сократа". Спутник Хитрово заметил ему, „что Н. А. Момбелли за свои убеждения и полезную деятельность может быть причислен к ходячей добродетели, но без ходульности" и что „все хорошо знающие его глубоко уважают его и искренно расположены к нему". Характер Момбелли имел „мягкий, уступчивый и крайне редко проявлял раздражительность". Он никому „не навязывал своих убеждений и выработанных им правил для жизни, а между тем его мнение, как отличавшееся гуманностью и вполне гармонирующее с общественными интересами, принималось почти всеми беспрекословно" ¹⁾.

В 1865 г. Момбелли был произведен в майоры и ездил в Петербург для лечения. В 1869 на охоте с облавою на диких кабанов, — Момбелли очень любил охоту, — кабан прокусил ему кость левой руки, и ее пришлось ампутировать до плеча. После этого Момбелли не мог продолжать прежней службы и занял место уездного воинского начальника в Петровске. В этой должности его вторично встретил Хитрово, в 1878 году, уже в чине полковника.

В 1902 Хитрово получил сведения о том, что Момбелли умер во Владикавказе, находясь в отставке, но проверить этих сведений не мог.

В. Р. Лейкина.

¹⁾ Хитрово. „Р. Мысль", 1909, 7, 92.

Дмитрий Рогачев.

В его „Исповеди к друзьям“ и письмах к родным.

(По материалам архива бывшего III Отделения).

„Голова реформирует, сердце революционизирует. Только там, где есть движение, порыв, страсть, кровь и чувственность, — там и дух“.

Фейербах.

„Война рождает героев“. Так сжато и выразительно формулирует народная мудрость наблюдения своего многовекового опыта. И это совершенно верно. Возьмем, хотя бы для примера, революционное движение русской передовой молодой интеллигенции 70-х годов. Некоторые своеобразные условия русской общественной и политической жизни, в сочетании с влияниями западно-европейской мысли и практики, выдвинули у нас на авансцену революционной борьбы горсточку, небольшую кучку самой молодой нашей интеллигенции. К ней, этой юной интеллигенции, наши „мужи совета и разума“ пристегнули пренебрежительную кличку „мальчишки“, и им, этим последним, наш незабвенный сатирик Щедрин-Салтыков посвятил чуть ли не целую статью, послужившую вместе с тем вразумительной отповедью „мужам совета и разума“. Да, они — „мальчишки“! но без этих „мальчишек“, — заявил наш сатирик, — не было бы жизни в нашей затхлой общественной атмосфере, не было бы движения, а была бы только одна... трясина. Вы, „мужи совета и разума“, — аргументировал Щедрин, — очень умны и велие сведущи — что и говорить, но вы от большого своего ума забываете одно — весьма существенное одно: „голова реформирует, сердце революционизирует. Только там, где есть движение, порыв, страсть, кровь и чувственность, — там и дух“.

В таком именно смысле, помнится, взял под свою защиту „мальчишек“ 70-х годов наш бессмертный сатирик, — защиту против тех, кто сам в царстве небесном не хочет войти и других не пускает... И что ж, оправдалась ли эта защита нашего сатирика? О, да! Десять слишком лет тянется непрерывная борьба, — борьба упорная, настойчивая, без отдыха и пощады. Могушественнейшая в мире правительственная организация, до зубов вооружен-

ная, по последнему слову техники, сложным аппаратом самообороны и нападения, почти изнемогает в этой длительной борьбе. — „Эта ничтожная горсть людей наводит на монарха страх... кучка людей, неуловимая как тень, страшная как привидение, мучительная как кошмар, не давала ему покоя“ ¹⁾...

Кто же это так терроризирует русское правительство, во главе с его царем? Передовая молодежь 70-х годов („мальчишки“).

Перед нами проходит вереница крупных во всех отношениях индивидуальностей, выдающихся по уму, силе характера и высоким нравственным достоинствам. Что ни фигура, то отмеченная природою крупная сила.

Мы видим здесь одаренных боевым темпераментом и ораторскими способностями подлинных народных трибунов, как Мышкин, Желябов, Кравчинский, Плеханов и др.; мы видим выдающихся заговорщиков-организаторов, как Желябов, М. Натансон, А. Д. Михайлов, Стефанович, Зданович, Войнаральский, Ковалик, В. Н. Фигнер, Врешковская, М. Н. Опанина, Ольга Натансон-Шлейснер и др. Перед нами люди большого творческого ума, как Плеханов, Кропоткин, Кибальчич, „шлессельбуржцы“ Лукашевич и Н. А. Морозов; из них Плеханов вписал свое имя в историю русского общественного самосознания, рядом с славными именами Радищева, Белинского и Чернышевского. Мы видим, далее, людей, обогативших впоследствии науку в различных областях знания своими исследованиями, как К. А. Вернер, Н. В. Григорьев, С. А. Харизоменов, Д. Клеменц, С. Серошевский, Э. К. Пекарский, Кадыян и проч. и проч. Мы видим, наконец, представителей художественного слова, как В. Г. Короленко, С. Я. Елпатьевский, Кравчинский, Е. П. Карпов, Серошевский, Каронин-Петропавловский, Якубович-Мельшин и др. ²⁾. Все названные нами лица стояли в семидесятых годах и первые годы 80-х в рядах революционного движения — в той или другой форме. Всех их родила революция.

В ряду этих имен почетное место занимает Д. М. Рогачев, ближайший друг и товарищ С. Кравчинского. В мое время (в 1878 г.) он пользовался в широких кругах молодежи огромной популярностью. О нем создавались легенды, словно о былинном богатыре. Это — Микула Селянинович, неустрашимый, непобедимый, неуловимый, одаренный исключительной физической силой, в сочетании с большими пропагандистскими и агитаторскими способностями. Человек сердца, воли и долга. И внешность его была в высокой степени подкупающая: типичный русский добрый молодец. Среднего роста; плечи — косая сажень, простое, скуластое, обрамленное русой бородкою лопатой лицо; серые глаза, то чуть-чуть лукаво-насмешливо улыбающиеся, то тяжело-напряженные, то, порою, подернутые дымкой скорби. Выражение лица в общем застывшее, как у людей, долго находившихся под гнетом душевных

¹⁾ Н. Флеровский. Три политические системы. Лондонское изд. 1897 г.

²⁾ Каронин-Петропавловский привлекался по Большому процессу („193-х“), долго сидел до суда, платил злую хачотку и скончался в Саратовском летом 1892 г. Беллетрист-народник. См. о нем в „Сочинениях“ Г. В. Плеханова в серии статей его под заглавием „Беллетристы-народники“ (Г. Ив. Успенский, Некрасов и др.) А.

задержек. Но как он умел петь и плясать русскую пляску! В русской песне и пляске всецело выливались и его „широкая русская натура“, и бесконечная скорбь народная, и порыв, и сдержанная страсть, и вера глубокая, непосредственная, и практический скептицизм, оглядка, — одним словом, типичный русский интеллигент 70-х годов, впитавший с молоком матери всё мощное и слабое, чарующее и разочаровывающее своего родного, столь милого его сердцу, народа... Таким я узнал впервые Д. М. Рогачева в Красноярской пересыльной тюрьме, летом 1881 года.

Я залюбовался им с первого раза. Мы скоро сошлись и подружились, перешли на „ты“ как-то само собою — от всей души. Много, очень много было у нас с ним дружески-товарищеских, с глазу на глаз, разговоров. О чем мы говорили? Ну, конечно, — прежде всего о народе: как его освободить от экономического, умственного и морального гнета и мрака. Какими средствами, когда у нас их так мало, какими силами, когда у нас их так недостаточно... Ниже я передам такую именно беседу мою с Д. М. Рогачевым, которую он, совершенно неожиданно для меня, завел со мною, видимо, толбаемый потребностью поделиться с товарищем накопившимися в нем мыслями и опытом его прошлой, недавней еще сравнительно работы среди массы разнообразных слоев рабочего и крестьянского люда. — Работая в „Историко-революционном Архиве“, я нашел в материалах III отделения много интересного, касающегося и личности, и революционной деятельности Д. М. Рогачева. Хроника III отделения уделяет много места и времени Д. М. Рогачеву. Она буквально следит за каждым его шагом, за малейшим его движением, тревожится, нервничает — с того момента, как он, Рогачев, выступил на путь „крамолы“ и сделался для III отделения недостижимым на целых три года. Ниже мы увидим, как оно, III отделение, гонялось по следам Рогачева, выслеживало его со всеми выработанными повадками хищного зверя... Оно гналось за „красной дичью“ с остервенением разъяренной гончей...

Помимо своей воли, III отделение, констатируя с чисто эническим спокойствием факты, касающиеся Д. М. Рогачева, оно, вместе с тем, черта за чертой, штрих за штрихом, набрасывает, — правда, несколько грубый, — но яркий и выпуклый портрет его, как семидесятника-революционера. Много места уделяет III отделение настроению Рогачева в Доме Предварительного Заключения, куда его из Петропавловской крепости перевели, в виду начавшегося „Большого процесса“. То был момент, вообще, очень важный в жизни не только Рогачева, но и всех заключенных и привлеченных по этому делу товарищей его. Хроникер III отделения тщательно следит за каждым движением, буквально каждым словом Рогачева в Д. П. З., квалифицируя всё это по-своему, но, в целом, безошибочно: настроение Рогачева, его обращения к товарищам, его нередко демонстративные выкрики, — всё это служило для III отделения верным указанием того, чего можно от Рогачева и других протестантов ждать на суде. А Рогачев горячо принимал к сердцу интересы своих товарищей, горячо сочувствовал протесту „подсудимых“-товарищей. В этот-то именно момент Рогачев и написал свою „Испо-

ведь к друзьям¹⁾, — самый важный документ из жизни его, сохранившийся в III отделении²⁾).

Вот эта „Исповедь“.

Моя исповедь к друзьям.

(Д. М. Рогачева.)

Пишу к вам, друзья, потому, что чувствую сильнейшую потребность высказаться; высказываюсь же перед вами потому, что вас я считаю единственными людьми, близкими ко мне. Если, кроме народного дела, для меня существовало что-нибудь роднее, то это вы, потому я вас и называл друзьями. Я вас глубоко уважал; уважал за вашу преданность народу; уважал потому, что был с вами наиболее солидарен (это вы увидите ниже); уважал за вашу серьезность, уважал, наконец, за вашу высокую нравственность. Я начинаю свою исповедь.

Особенные обстоятельства воспитания, постоянное нахождение среди народа и т. д. воспитали во мне чувство, какое-то особенно теплое к народу (я не могу иначе выразиться). Но затем под влиянием чтения неопределенное чувство оформилось: я стал любить народ и его счастье. Таким я поступил в Технологический институт. Здесь я встретился со своими бывшими товарищами Леонидом и Сергеем²⁾. Отчасти под влиянием их, отчасти под влиянием нового чтения мои убеждения сделались определенные: я уже сознал, что только насильственный путь есть единственный для выхода народу из его положения; но у меня ничего не было определенного, как действовать среди фабричных рабочих и как среди сельских. В это время я сталкиваюсь с Низов. и его рабочим. Однажды мы с ним отправились к одному рабочему и затем все пошли пить чай в трактир. Рассказ этого рабочего об особенной жизни произвел на меня странное впечатление. Я вышел из трактира как угорелый. Казалось, я готов был в это время обнять весь свет. По улице я бежал; сбил с ног несколько человек. По дороге мне попался какой-то господин, обидевший женщину, я ему дал в ухо. С этого времени для меня не существовало более никаких заведений, я решил посвятить всего себя, всё свое время деятельности среди народа. Под таким впечатлением я отправился на лето домой. Летом в Орле я ходил по трактирам, знакомился с кузнецами. Отправился к инспектору народных училищ с целью поступить в народные учителя; меня не приняли; я возвращался в Питер, проезжая через Москву. В Москве встретился с Долгуш., который и стал меня убеждать присоединиться к его сообществу. Я спросил, в чем заключается их деятельность. „Ходить в народ и агитировать прямо, не скрываясь“. Но разве народ готов? — спросил я его. Готов, — ответил он мне, — и коли не верите, отправьтесь и походите среди народа. Я задумался, хотел действительно

¹⁾ Я нашел лишь „копию“ „Исповеди к друзьям“, а где подлинник — мне неизвестно. А.

²⁾ Шашко и Кравчинский.

отправиться пешком и пройти всю Волгу сверху донизу, чтобы воочию убедиться в справедливости его слов. Но явился Леонид, и я отправился с ним в Питер. Здесь я познакомился с очень многими из его товарищей, — познакомился и с Силычем ¹⁾. Как я сказал выше, у меня не было определенного плана, как действовать среди народа. Я решился присмотреться к деятельности других и в то же время я хотел испытать на своей шкуре положение народа, хотел его уважать, хотел, чтоб он мне вполне доверял, чтоб он относился ко мне, как к равному; я поступил на Пут. завод рабочим. Отчасти трудность работы и мое плохое материальное положение (которое было хуже даже положения рабочего — я жил не в артели и питался селедкой да чаем), отчасти что был замечен — через месяц я принужден был бросить завод. Как действовать среди народа, для меня и тогда не выяснилось, я был и тогда еще невыработанною личностью. Я не знал, что с собою делать. Люди (это вы), которых я уважал — мне не доверяли (и имели полное право, потому что в серьезном деле могут участвовать только личности, вполне сложившиеся). Когда однажды пришел на вашу сходку (в казарму) — вы поспешили разойтись... Оправдывая вполне ваше поведение — мне было горько... Повторяю, я сам не знал, что с собою делать... Но является Сергей и говорит: „хочешь, Дмитрий, отправимся в Тверскую губ., выучимся пилить — какая пара из нас выйдет. А тогда пойдем на дело“. Хоть на край света, ответил я ему, готов я сейчас же отправиться. Через месяц нас арестовали в Твер. губ. Сергей был в страшном волнении (он пользовался моим большим, чем кто-либо из вас, уважением)... „Как скоро, как скоро...“ повторял он, ходя по волостному правлению. Я же был совершенно хладнокровен. Ночью из одного села мы бежали. Ночь была страшно темна, кругом болото, мы по колено в воде. Так мы добрались до лесу. „Ну, Митька, — сказал, обнимая и целуя меня, Сергей, — мы теперь с тобой полные отщепенцы — пусть же этот братский поцелуй служит нам вечною памятью, что отныне мы принадлежим народу и только народу“. Я не умею в тех случаях говорить, но вся моя дальнейшая жизнь доказала, что сдержал это слово... Мы явились в Москве, потом в Пензе. В это время я страстно накинута на чтение. В Пензе я провел около месяца в гостинице, совершенно один, погруженный в чтение. Я задумывался до самозабвения. В это время я почти сложился — мои убеждения определились. Я поступил к Войно. Пробывши в качестве писмоводителя около 6 месяцев, я почувствовал страшно неловкое положение: в одно и то же время я проповедывал против существующего привилегированного строя и сам занимал привилегированное положение — такое нравственное раздвоение я не мог выдержать: отныне я решился занимать только положение рабочего. Из Пензы я отправился в Саратов; начались мои странствования. Саратов, Тамбов, Москва и т. д. Встретился с массою личностей; из разговора с ними увидел, что народ мало кто знает, что большинство бывавших в народе, как прекрасно выразилась Ободов.,

¹⁾ Силыч.

только пропоркнули... К тому же начались аресты. Я положил себе уйти в народ и не являться до тех пор на свет, пока не изучу все народные элементы. Под элементами же народными я понимал: сельский, городской, староверов и т. д. Я хотел себя бросить, так сказать, в море (житейское), с тем, что, если выплыву, буду человек, пропаду — туда и дорога. И, вот я начинаю, с бурлака, рабочего на пристанях (где познакомился с знаменитыми волжскими артелями: дубовской, парамзинской, поимской), коробейника, рабочего на железных дорогах, рабочего ватожного, старовера (был, с месяц, начетником у странников или по-волжски подпольных — дальше не мог вытерпеть), беспаспортного рабочего, перепробовал все эти положения... Я не прочел в это время ни строчки; но я чувствовал, что с каждым днем я становился всё ближе и ближе к народу... Я чувствовал, что я стал ненавидеть его ненавистью... В артелях я был всегда одним из первых протестантов — что я называю быть народным реальным протестантом... Сначала я учился у народа — в Астрахани я кончил народное образование свое — и онародился. Онародить я же значит понимать вполне народ — и говорить для него понятным языком. В Астрахани на меня повлияла одна личность из народа (я был вместе с ним в артели — катали селетки)... Такой громадной силы воли, такого умения овладевать массами — я еще никогда не встречал. Я встретился с ним при особенных условиях. Я шел по Астрахани, вдруг смотрю — около одного дома толпа, я подбегаю... Смотрю, какой-то крик, разобрать ничего нельзя... Но вот выделяется из толпы личность и кричит „(русское выражение) глядеть, валяй кирпичами“. И масса кирпичей полетела в стекла дома. Оказалось, это рабочие в доме своего хозяина, их обчитавшего. „Стой, — слышу я дальше, — за мной“. И прежняя же личность ведет куда-то всю массу... кругом бегают полиция. Вся масса выходит на площадь в конце города, вдали острог... На площади войско... толпа останавливается... я очутился рядом с коноводом... Подъезжает командир — как видно, человек бывалый? „Вы что это, ребята? Марш по домам!“ И вся толпа стала расходиться... Остался только коновод с опущенною головою, недалеко от него я... Два полицейских хотели его схватить; но он со словом: „братцы, неужели ж выдадите“... дал так сильно этим полицейским, что они повалились как снопы, и я не успел сделать прыжка, думая ему помочь... На помощь этим полицейским бросились другие... Но бывалый командир крикнул: „оставить его“. И его отпустили... Толпа разошлась... В каком-то чаду ходил я по городу, стараясь разыскать этого коновода... Бродя по площади, я заметил у одного кабака стечение народа. Я вхожу в кабак и вижу след. сцену: около стойки множество народа; в одном углу за столом, в середине компании, сидит тот коновод с опущенной головой... На столе водка, кругом компания, обращаясь к коноводу, говорит: „эх, дядя Василий, ну ж молодец, вот это так ухач. Пей, слышишь, сколько душе угодно; накачаем тебя во как“... Наконец, дядя Василий поднимает голову, вскакивает и кричит: „водки!“ дайте водки, залейте душу мне“: ему подают полштоф... он выпивает его весь через горлышко... вскакивает на сере-

дину кабака и кричит: „братцы, кто желает со мною побиться полюбовно?“ Никого не находится, он продолжает: „братцы, кто же полюбовно... хоть побейте меня, да только утешьте—внутри жгет“. Из толпы выделется здоровый парень, они бьются; по третьему разу дядя Василий падает; встает обнимает своего противника и говорит: „ну, будь мне друг, ты старший мне брат, а младший“. Они меняются крестами... Здесь-то я сошелся с этим дядею Василием. Вам не понятно всё это последнее. Он вел массу к острогу, — ему не удалось: — вот это-то его и жгло... Я после с ним проработал около двух месяцев в разных артелях; бывали артели и по 300 человек, и все под каким-то точно магическим обаянием этого человека находились. В восхищении я себе повторял: как бы мне сделаться таким, как бы мне сделаться таким... Но в ответ от него получил: „работай всегда впереди всех и больше всех, да узнай побольше — и будешь таким“... Он стал моим идеалом. Это действительно замечательная личность. Такие личности во время народных движений становятся Разинскими и Пугачевыми. Но в мирное время им нет деятельности: за исключением коноводов в артелях, они пьянивают беспросыпно... Здесь-то я и покончил свое народное образование... Я уехал отсюда в один из южных городов. Там я явился уже не учеником, а сам действующим в артелях. В одной артели я был избран артельщиком... Тогда я чувствовал высшее нравственное доколыство. Но вдруг я слышу о турецкой войне, я бросаю народ и начинаю пробираться к интеллигентным центрам. Я не сдержал своего обещания: я не изучил вполне народных элементов... Мне рано еще было являться в интеллигенцию, с тем, чтобы, пристав к серьезной группе личностей, преследующих народные интересы, — начать серьезную деятельность среди народа. Но, признаться сказать, я стосковался и о вас, — мне захотелось увидеться с вами; в тому более двух лет ни строчки не читал, — всё это вместе с вышеупомянутыми причинами и толкнуло меня к интеллигентным центрам. Случайно я встретился со Львовной ¹⁾, а там очутился в Питере. Теперь я явился с совершенно готовою программю... Когда-то народ обладал землею и политическою самостоятельностью; со временем он потерял и то, и другое. Но вместо его политической самостоятельности явилась центральная власть, сумевшая организовать его силы для отражения татар, и русский народ остался ей благодарен. Отсюда-то и его идеал: общая земля и его идеальный царь. Идеал вполне определенный и в то же время совершенно противоположный действительности. Понятно, что народ должен был бороться с действительною центральною силой и ее представителем — царем. Но борьба была еще возможна, пока у народа была организованная сила, около которой он мог группироваться, это — казачество; впоследствии же борьба становилась всё более и более неравною... Но настала крестьянская реформа. Это был переход наш от рабского строя к капиталистическому. На первый раз, впрочем, оставили еще общину крестьянскую с землею, только всё, что

¹⁾ Софья Львовна Перовская.

зарабатывалось с этой земли крестьянином, отбиралось в виде податей. Так было нужно для правительства; но теперь правительство быстро стремится к уничтожению общины, и я убежден, что в недалеком будущем община уничтожится, и у нас образуется пролетариат, одним словом — мы повторим то же, что совершается теперь в западно-европейских государствах. Но крестьянская реформа и всё последующее повлияло хорошо на крестьянина: оторвало его от помещика, поставило лицом к лицу с центральной властью: народ теперь (разумеется, в лице лучших людей) понял, что ему не на кого надеяться; он только не додумался, что ему делать. Как выйти из своего положения? Отсюда-то и понятна наша задача: она подготовительная — организация народной партии. Я не согласен с теми, кто говорит, что теперь возможно какое-нибудь крупное движение среди народа, не согласен потому, что у народа нет такой силы, около которой он мог бы сгруппироваться. Я не согласен с теми, кто говорит: бунтуй от нуля до бесконечности, потому что подобное расшатывание государства, не основанное на умственной подкладке, ни к чему не поведет (тому множество примеров в истории и между прочим в русской: смутное время, движение Малороссии в половине XVII столетия и т. д.). Итак, организация народной партии есть главная наша цель. Деятельность среди народа распадается на деятельность среди фабричных и среди сельских. Среди фабричных, кроме умственной подготовки, практическая деятельность есть стачки, а потом устройство касс и библиотек. Среди сельских — кроме, опять таки, умственной подготовки, практическая деятельность должна состоять: в местной борьбе с местными эксплуататорами и в борьбе против правительства; последняя же должна состоять, — раз только составила группа крестьян, могущая сознательно влиять на остальную массу окружающих местных крестьян, — в неплатеже податей. Это по-моему единственно целесообразная и единственно жизненная задача. Крестьяне теперь без того инстинктивно стремятся не платить податей (образов. разных обществ неплательщиков, лихачей и т. д.), мы только должны это инстинктивное стремление оформить и сделать сознательным.

С такой-то программой я приехал в Питер. Признаться, я здесь разочаровался. Мне хотелось в соединении с несколькими личностями приступить к осуществлению моей программы. При этом мне хотелось, чтобы личности были вполне знакомы с народом: потому что я признаю, что каждый из нас не должен заниматься ни о какой пропаганде, пока не узнает народ. Далее, находя, что все народные книжки почти неудовлетворительны, потому что народу не нужны такие книжки, в которых говорилось бы неопределенно о восстании, ему нужны книжки, в которых, за выяснением современного строя, была бы предложена определенная программа, с чего начинать и чего требовать. Я думал с помощью других и этим заняться, повторяю — я несколько разочаровался. Некоторое время я ходил в Питере, и мне было решительно всё равно, что со мною будет, в это время меня арестовали... Я попал в крепость. Я с жаром бросился в чтение книг, но только и нашел, что истории: Костомарова, Соловьева, Стасюлевича, Шле-

цера— всё это уже давным-давно прочитанное и перечитанное, а потому неинтересное... А тут еще ни к кому нельзя ни строчки писать, ни от кого никаких известий получить. Мне пришла мысль испытать себя: что будет, если я ни с кем не буду ни говорить, ни стучать. На воле мне никогда не приходилось встречать условий, которые бы придавили меня; мне захотелось посмотреть, не есть ли одиночество одно из таких условий. До паши я чувствовал себя хорошо. Вдруг заболела лихорадка. Доктор лечит меня от простуды: но скоро понял, что у меня нервная лихорадка; после сильнейшего кризиса, у меня явился сильнейший аппетит. Долго он ломал голову, отчего у меня произошло это. И как вы думаете, что же оказалось. Он приходит ко мне однажды и спрашивает: не имею ли я сильной половой потребности. Это оказалось совершенно верно. На свободе у меня никогда ничего подобного не было. Но тут одиночество, сидячая жизнь (я буквально почти всё время сидел на месте, по не привычке беспечно ходить), да еще при моей конструкции всё это и повлияло на меня таким образом. В конце концов я было с ума сошел. Я сделался чрезвычайно мрачным, иногда, сидя, я вдруг начинал истерически хохотать или, лучше сказать, рыдать (плакать я не умею). В это-то время и получил обвинительный акт. Это меня как-то немножко растрожило, меня стали к тому же пускать гулять через два дня... В то же время меня чрезвычайно возмущало, что Низовкин приписал мне какую-то роль среди вас, — меня возмущало подобное самозванство с моей стороны; тем более, как я уже вам сказал, что я вас всех глубоко уважал и уважаю. Я эти два заседания всё вас кого-нибудь искал, но не видел. Мне хотелось вам высказать о моем невольном самозванстве и посмотреть, как вы отнесетесь ко мне. Сегодня я вас увидел и бесконечно обрадовался. После моей одиночной жизни этот шум последнего времени, а к тому же сегодняшняя встреча с вами до такой степени настроили меня, что моя натура, так сказать, переполнилась чувством, и у меня явилась потребность высказаться перед вами. Когда я садился писать, я вспоминал, что я последний раз говорю с вами... Невольно опять я зарыдал истерически. Жандарм отворяет форточку и спрашивает, чего вы хотите. Вам, быть может, покажется всё это странным. Да, вы бы на свободе никогда и не услышали от меня ничего подобного.

У меня часто, как говорится, внутри кошки скребутся, а наружно я хохочу, и завтра то же буду хохотать... Напишите же хоть строчку мне. Ведь вы знаете, я пользуюсь популярностью у большинства подсудимых, а тем не менее мнением дорожу только вашим, товарища. Пусть прочтут это только одни ваши друзья.

Ваш Димитрий.

По желанию вашему надеваю завтра красную рубашку.

... Просил в крепости, чтоб мне позволили писать в каком-либо официальном журнале, я хотел в виде романа написать целую эпопею народной жизни, — мне не позволили. Просил еще, чтоб позволили сражаться за славян,

предлагая при этом вне сражения словывать меня, а если останусь жив, то посадить опять, куда они там знают—мне и в этом отказали; впрочем, я еще так попытаюсь подать заявление.

„29“ ноября 1877 года.

Такова „Исповедь“ Рогачева. Он говорит им: „...читайте, и пусть прочтут это только одни ваши друзья“. Я нарочито подчеркнул слово „только“, чтобы отметить интимный характер „Исповеди“. Она не только не предназначалась для печати, но не была направлена в „Сборник“, задуманный в Д. П. З. Муравским и Лукашевичем. Вот почему она отличается такой, так сказать, обнаженностью, искренностью и сердечностью. Рогачев встретился в первый раз с друзьями, после долгой вынужденной разлуки, в суде, при крайне напряженной обстановке. И вот старые переживания, все муки передуманного и испытанного, прорвались наружу. И Исповедь выливается от полноты сердца. Он, можно сказать, раскрывает душу свою перед друзьями, все свои помыслы и стремления, вольные и невольные преступления. Эта „Исповедь“ настолько характерна, что она не требует никаких пояснений. Ограничусь лишь одним примечанием, имеющим отношение к его программе.

Он говорит— „... С такой-то программой я приехал в Питер. Признаюсь, я здесь разочаровался. Мне хотелось в соединении с несколькими личностями приступить к осуществлению моей программы. При этом мне хотелось, чтобы личности были вполне знакомы с народом: потому что я признаю, что каждый из нас не должен заниматься ни о какой пропаганде, пока не узнает народ“... Я думал с помощью других этим заняться, повторяю— я несколько разочаровался. Некоторое время я ходил в Питере и мне было решительно всё равно, что со мною будет; в это время арестовали“... ¹⁾ Что это? Ведь это не стон, из глубины измученной души вырвавшийся, это также не крик отчаяния всё потерявшего человека, нет. Это—глубокая, всецело владеющая человеком резиньяция. Что же собственно случилось с Д. М. Рогачевым в Питере, что его оглушило, подавило так?

Читатель знает, что Рогачев полетел в Питер со своей программой, „совершенно готовой программой“, как ее сам Рогачев называет, чтобы в соединении с несколькими личностями приступить к осуществлению ее. Но ожидания, к несчастью, не оправдались. И причиной тому, прежде всего, его программа, теоретические предпосылки ее. Рогачев говорит:— „... я убежден, что в недалеком будущем община уничтожится, и у нас образуется пролетариат,— одним словом, мы повторим то же, что совершается теперь в западно-европейских государствах“. Но, ведь, это для представителей народившегося уже тогда революционного народничества—черная ересь, подрывание самых основ его. Социалистическое народничество, как известно, именно и базировалось на том, что общинная форма землевладения отличается

¹⁾ Подчеркнуто мною. А.

у нас, несмотря на все неблагоприятные моменты, жизнеспособностью и устойчивостью и что, при изменившейся производительности труда, они неизбежно разовьются и в коллективную обработку земли — в социализацию производства. Но и с тактикой Рогачева не всё было благополучно. Народники — „бунтари“ *par excellence*, а Рогачев утверждает: „я не согласен с теми, кто говорит, что возможно какое-нибудь крупное движение среди народа, не согласен потому, что у народа нет такой силы, около которой он мог бы сгруппироваться. Я не согласен с теми, кто говорит: бунтуй от нуля до бесконечности, — потому что подобное распатывание государства, не основанное на умственной подкладке, ни к чему не поведет“.

Правда, есть кое-что общее в тактике Рогачева и народников, но этого недостаточно, чтобы Рогачев всецело примкнул к какой-либо действовавшей уже революционной народнической организации. И Рогачев остался один. *Inde* — его резиньяция. Что ему одному делать? Куда ему деться? „Все равно...“... И он без цели слоняется „по Питеру“, не принимая никаких предосторожностей, появляется у таких своих знакомых, за которыми III отд. следит по пятам. И Д. М. Рогачев попадает в капкан: 15 августа 1876 года он, наконец-то, арестован. III отделение ликует. „Красный зверь“ так таки пойман. А как уже искали его, выслеживали, в течение 2½ годов. Третье отделение спешит поделиться этой радостью с Александром II. В заключении этого „Высочайшего“ доклада прибавлено: „В виду важности для дела личности Рогачева, а также решительности его характера и большой его физической силы, сделано сношение с комендантом с.-петербургской крепости о более строгом за арестантом надзоре“. На полях доклада начерку зафиксирована подлинная надпись Александра II карандашом: „Весьма важное сообщение. Не лучше ли Рогачева посадить в Алексеевский рavelин“. Дрогнула совесть даже у Мезенцева. В деле № 144, ч. 168 л. А, 1874/76 г., 3 эксп. мы нашли „записку“, написанную карандашом, следующего содержания: „Я доложил государю императору, что помещение Рогачева в Алексеевский рavelин было бы неудобно (подчеркнуто мною. А.) Его величество изволил подтвердить, чтобы комендант крепости имел за ним самое бдительное наблюдение. Генерал-адъют. Мезенцев“.

23 августа 1876 г. Рогачев отправлен в Петропавловскую крепость. Не вырваться уж ему оттуда. — Как жилось Д. М. Рогачеву в заключении? Ответ на это нам дают два письма Рогачева: первое — к сестре, второе — к матери и сестре. Письма эти не отправлены по адресу: „неудобны по содержанию своему“, — по лаконическому выражению шефа III отделения. С первого письма была снята копия *pro domo sua* (для III отделения), подлинник же отослан производившему дознание Крахту — „для соображения“.

Вообще вся переписка Рогачева препровождалась предварительно на просмотр III отделению, которое и постановляло свою резолюцию.

Прилагаем эти интересные письма.

Первое письмо.

— „Вот уже четыре года скоро будет, как мы с тобою, дорогая сестра, не видались. Много я с тех пор прочитал нового, много я с тех пор узнал нового, и у меня явилось желание, на основании узнанного мною, приложить свои силы на пользу того общества, среди которого я живу, но, что обыкновенно с подобными людьми — случилось и со мною, т.-е. я попал в крепость — этот общий университет, где оканчивают курс все подобные люди... Какое страшное впечатление производит крепость на всякого человека, а на меня она произвела в особенности неприятное впечатление. Представь себе, после шума и тревожений, которыми человек окружен, живя в обществе, вдруг его вводят в комнату и запирают... после чего он уже не может говорить, и гробовая тишина окружает его... он не получает почти никаких впечатлений... он начинает жить прошедшим... он старик, он живой мертвец. Но так как тебе известно, что я от природы живого характера, да притом моя жизнь отличалась всегда в особенности разнообразием и впечатлениями, то для меня обстановка крепости в особенности ужасна... В известные часы (8 ч. утра) приносят завтрак, в 2 ч. обед, в 7 часов вечерний чай, а в промежутке этого только чтение (нам даются книги из крепостной библиотеки). И вот целый день читаешь, читаешь, наконец, вечером ляжешь полежать, отдохнуть, голова горит, мысли страшно бродят... Сначала мысли страшно бродят, идут одна за другой, трудно остановиться на чем-либо определенном. Но вот постепенно брожение кончается, мысль останавливается на своем прошедшем, а с своего прошедшего переходит на прошедшее России. И представляется оно в виде какого-то мрака, среди которого виднеется огромная пирамида, внизу всё увеличивающаяся... Наверху стоит один человек, всем повелевающий — слово его свято... вокруг него стоят представители духовной власти и держат корону над ним; за этим непосредственно следует другой пласт пирамиды, это — дворянское сословие, оно приводит волю повелителя в исполнение; затем пласт купечества, которое помогает обмениваться продуктами людям; и всё это сидит и держится на последнем пласте пирамиды, самом обширном основании пирамиды... народе... Всё это представляется в виде какого-то мрака, среди которого трудно что-либо разобрать — слышатся только повеления да стоны и крики от боли... ¹⁾ По временам среди этого мрака слышатся раскаты грома, да блеснет молния, это — народные движения вроде Гайдамачины, Пугачевщины, но потом опять всё смолкает... Но вот появляется блестящая точка, она видится с запада, она начинает всё более и более возрастать, это — наука; она достигает и нашей пирамиды и начинает ее сначала освещать сверху... Потом мало-по-малу свет ее распространяется и на другие пласты пирамиды и — о, ужас! —

¹⁾ На полях, начиная с того места письма, где говорится о „пирамидах“, пометка карандашом: „Записка д-ра Крупова; кажется, Искандера или Салтыкова (Щедрина)“. А.

пирамида рушится... Вдруг я вижу свет вместо мрака, пирамиды нет... люди равны, все работают, на всех всего хватает, труд человеческий до минимума упрощен и уменьшен, всё делается помощью машин, — и пахут, и сеют, и жнут и т. д.; я вижу одну из таких колоний, где среди колонии находятся странные здания — пантеон — это храм науки... далее огромный сад ботанический, зоологический и т. д., где тоже огромные здания — это воспитательный дом... Как это всё хорошо! — восклицаю я... Но звук ключа будит меня, я просыпаюсь, — тут я только припоминаю, что последнее видел во сне...

Прощай, пиши поскорей, напиши о родных, что они, как живут, здоровы ли и попроси их написать мне (? пропущено что. А.)... пиши о всех знакомых, о Соне, о Коле...

Мой адрес: в С.-Петербурге. Товарищу обер-прокурора правительствующего сената г-ну Желиховскому (с передачей отставн. поручику Рогачеву)".

Прежде всего, для меня это письмо Рогачева — психологическая загадка. Ведь письмо это, несмотря на его своеобразно замаскированную форму, на его символическую внешность — подлинное *profession de foi* Рогачева, его „святая святых“, — чем жив и крепок был Д. М. Рогачев. Зачем же он выступил со своим „верую“ так открыто, находясь в плену у своих врагов, зачем он вздумал „метать бисер перед свиньями?“ Письмо предназначалось любимой сестре-другу, Ольге Михайловне. Положим. Но, ведь трудно допустить, что Рогачев был так наивен, чтобы полагать, что письмо это дойдет по назначению: ни барон Майфель, комендант крепости, ни III отделение — тем более, не допустили бы, чтобы это письмо дошло по адресу. Зачем же Рогачев, — опять спрашиваю, — написал его? Остается предположить одно: Рогачев находился в то время всецело во власти того захватывающего настроения, от которого не свободны и сильные люди, томящиеся в мертвом одиночестве и могильном молчании заточения. Это — настроение грез, мечтательности, неудержимых, непреодолимых порывов к тому, что хоть на миг восстанавливает упдающий уже тон душевной жизни, на миг, хотя бы и иллюзорно, — как в сновидениях нищего и голодного груды золота и роскошные яства, — бросает в душу луч надежды и счастья... Это состояние знакомо многим, очень многим, переживавшим долгое время одиночное заключение, при условиях мертвящего молчания. Многие и многие знают, как трудно бороться против этого навязчивого настроения, как надо против него всеми силами бороться, преодолеть его, чтобы не подвергнуться опустошению незаметно стареющей, изнашивающейся в атмосфере одиночества и молчания души... На Рогачева, думается нам, и напала именно такая полоса грез — и он потребовал бумаги, чтобы на ней излить поток своих сладких грез — всё равно, кто бы ни ознакомился с содержанием его грез, куда бы они ни попали, — лишь бы излить то, что волнует, мучит, радует, поднимает в данный момент душу... Грезы изложены в виде письма к сестре. Да, ведь, в иной форме, кроме письма он не мог: ему бы и не выдали письменных принадлежностей — по крепостным правилам. И письмо написано! — и передано, должно было быть передано полностью,

не передали бы — потребовали бы, — так „по положению“ полагается в крепости.

Так и это письмо — греза, если позволительно так выразиться, и попало в руки Майделя и III отделения, где оно и удостоилось глубокомысленной ремарки самого шефа III отделения (или Шульца, бессмертной души этого отделения). Но как бы то ни было, это первое письмо Д. М. Рогачева в крепости весьма характерно для него — как личности и как семидесятника. Дмитрий Михайлович грезит, но и в грезе реальный ум его бодрствует: в том сплошном „мраке“, который заволакивает „пирамиду“, веками выдержавшую бурный натиск „гайдамачины“, „пугачевщины“ и подобных им стихийных взрывов народной массы, Д. М. Рогачеву маячат уже впереди бодрые „огоньки“, знаменующие собою решительное и полное пришествие для освобождения массы — неизбежного крушения этой, казалось бы, несокрушимой „пирамиды“. Эти „огоньки“ — „наука“ („блестящая точка, она видится с запада, она начинает всё более и более возрастать“), система знаний, охватывающая все стороны человеческого бытия, материального и духовного. Знание — сила, знание — свет. И вот эта сила, этот свет, захватывают и освещают сначала „верхи пирамиды, а потом „мало-по-малу... и другие пласты пирамиды и — о ужас! — пирамида рухнет“. Не может не рушиться. Мысль, как крот, неустанно работает в этом направлении, знание освещает все ее ходы и подходы. Победа „науки“ неизбежна. Какое любопытное сочетание реалистического мышления с чисто идеалистическим! Не „стихия“ освободит человечество от его вековых оков рабства, угнетения и несправедливости, не „инстинкт“ массы выведет ее на путь свободы и счастья, а сознательная работа мысли „критика мысли“, говоря словами незабвенного П. Л. Лаврова. Так думал, если хотите, грезил, — в крепости, в одиночной камере один-на-один Д. М. Рогачев. Как не видеть здесь влияния „исторических писем“ Миртова-Лаврова!? Влияние его, Лаврова, здесь несомненно. Мы видели уже, что Д. М. Рогачев в своей „Исповеди к друзьям“, написанной позже этого письма, стоит на той же точке зрения, глубоко засело это убеждение в его голове. И Рогачев до конца своей жизни остался верен своим взглядам. Таким, по крайней мере, я его помню в 1881 г., когда я с ним впервые познакомился, а потом мы и сошлись. Это было в Красноярской тюрьме. Народовольчество тогда стояло еще на высоте своего движения, оно задавало тон всем беседам, спорам в тюрьме. Рогачев вдумчиво, внимательно ко всему прислушивался, изредка вступит в спор с тем или другим из сторонников народовольчества (в Красноярской тюрьме были народовольцы Зунделевич, Бух, Цукерман, Е. Н. Фигнер, Мартыновский и др.), проронит два-три, но всегда метких, замечания, а увлечь новым движением, как это у других заметно было, он не дал себя. Попрежнему он твердо стоял на своем, — на том, что он высказал в своей „Исповеди“.

Помню хорошо одну сердечную беседу с Д. М. Рогачевым, начатую по собственной его инициативе. Мы были на полпути между Красноярском и Иркутском. Я всегда был неразлучен со старыми моими друзьями Зданови-

чем и Джабадари. Вдруг раз подходит ко мне Рогачев и, положив мне руку на плечо, говорит: „Осип, пересядь ко мне на повозку, потолкуем“. Лицо его, как всегда, осталось неподвижно, только в глазах теплилась почти нежная мягкость. Я, конечно, охотно пересел. К нам присоединилась и В. П. Рогачева.

Перевал был большой, времени впереди было достаточно, погода стояла чудесная. Дмитрий Михайлович был в ударе. Он заговорил о своих скитаниях, о работе своей в народе, о пережитом и передуманном, о слышанном и виденном. Картины, непосредственно почерпнутые из гущи народной рабочей жизни, картины красочные, полные жизненной правды, без прикрас и умаления разворачивались чередой передо мною... Д. М. говорил просто, без фразы и жестов, но от души... Глубокая искренность, простота и несокрушимая убежденность чувались в каждом его простом слове. Какими сильными, красочными штрихами обрисовал он мне свои наблюдения над бытом „золотородцев“ в Ростове, где он некоторое время вращался в их среде. Какие типы, какие погубленные силы! Д. М. считал возможным в известный момент использовать и эти деклассированные элементы населения, но... с большой осторожностью. Он говорил много, а я слушал. Впрочем, не один только я: возница нет-нет да оборачивался, впиваясь в лицо Д. М., стража, опустив голову и полужакрыв веки, тоже чутко прислушивалась. В. П. Рогачев так и застыла в напряженном внимании. Да и понятно. Д. М. говорил прекрасным русским языком, сильным, выразительным, общедоступным и понятным для всякого, самого даже неразвитого человека. Чувствовался большой навык говорить с простым народом, говорить вразумительно, убедительно, как говорят напр., ораторы из самого народа (мне приходилось самому слышать таких ораторов на крестьянских сходах, напр., или в суде). Хотя он говорил со мною, но речь его, по старой, очевидно, привычке, была, как я уже сказал, облечена в классическую форму народной речи. Я слушал его, конечно, с захватывающим интересом, не прерывая его. Телега подвигалась медленно, шаг за шагом, а речь шла, плавная, спокойная, ясная.

Мы с ним сошлись во взглядах до того, что даже некоторые его выражения и формулировка его взглядов буквально были такие же, какими я сам выразил бы свои взгляды на трактующий предмет. Глубоко врезалась в моей памяти эта беседа Д. М. со мною. Как он был хорош! Он увлекался тогда особенно Златовратским. Златовратский был мил его сердцу. Он нередко пересыпал свою речь его выражениями: народ-де, когда вполне сознает, осмыслит свое положение, сумеет устроиться „по-милу“, „по-добру“¹⁾, т.-е. на началах свободы, равенства и справедливости. Он не идеализировал народ, он не относился к нему слащаво, а любил его искренней, здоровой, почти физической любовью. Но эта любовь не ослепляла его, он скептически относился к его инстинктам, он хотел видеть народ сознательным, он хотел видеть в нем „выработанную личность“ (любимое выражение Д. М.), прочно

¹⁾ „По-милу“, „по-добру“ — терминология Златовратского.

определившуюся, утвердившуюся. Только такая народная личность построит новую жизнь, создаст новые устои ее и прочный уклад ее. Это было и оставалось его неотъемлемым *credo*, которое унес с собою в вечность Д. М. Рогачев.

Второе письмо Д. М. Рогачева к сестре (и матери).

1877-го года, 8-го мая.

Около трех месяцев тому назад, милая сестра Ольга, я получил от тебя письмо и сейчас же на него отвечаю. Но с тех пор никакой от тебя весточки не получаю. Предположить, что мое письмо не было послано, я не могу, потому официальные правила говорят, что, если почему-нибудь мое письмо начальство не посылает, то оно мне об этом сообщает. Итак, единственно что можно допустить, так это—мое письмо где-то затерялось... Ты же в недоумении от моего долгого ответа сама ничего не пишешь. Все эти недоразумения, конечно, очень печальны. И без того редкая переписка обращается чуть ли не в одно письмо на целый год. Я тебя должен предупредить, что я не могу часто писать, потому правила позволяют мне писать только раз в месяц и в исключительных случаях два раза. Тебя же, конечно, никакие правила стеснять не могут, а потому я тебя прошу писать ко мне чаще, не дожидаясь ответа с моей стороны в определенный срок: таким образом переписка и с моей стороны будет гораздо чаще. Как бы то ни было, но я предполагаю, что ты моего предыдущего письма не получила, а потому прежде всего снова отвечаю на твои вопросы. Ты спрашивала: можно ли со мной видеться. Разрешение зависит от обер-прокурора, а потому если пожелаешь видеться со мной, то советую сначала письменно обратиться к обер-прокурору, чтобы не потерять даром и время и деньги на проезд. Далее, если пожелаешь иметь мою карточку, то за этим тоже можно обратиться к обер-прокурору (адрес его у тебя), а деньги за карточку он может вычесть из имеющихся у меня. Потом, ты писала, что брат Саша занимается у Коли. Я бы советовал Коле пройти с Сашей курс реальных гимназий, а затем, когда Саша выдержит экзамен (выпускной) в реальной гимназии, может поступить юнкером в военную службу, и ему придется служить только 1½ года. Теперь мне собственно хочется поговорить о тебе. В прошлом письме, ты на мой вопрос, как ты проводишь время, отвечала, что, конечно, плохо, скучно, однообразно, и что иначе и быть не может, потому в стоячей воде движения не бывает... Что в стоячей воде движения не бывает, это, конечно, верно, но вот вопрос, отчего же стоячая — то вода. И будто бы уж иначе и быть не может. Я с этим совсем не согласен. Раз человек сознает, что его жизнь стоячая вода, он может и должен изменить эту жизнь, иначе он не заслуживает названия человека — он какое-то бессмысленное животное, живущее только растительной жизнью — это не жизнь, а прозябание... Конечно, если человека забросит судьба в клетку или в какой-нибудь дремучий лес, тут он не волен. Но неужели

судьба такая? Помилюй, вокруг тебя толкуют о земстве, городском самоуправлении, о воинской реформе, о системах образования, о народном образовании... и т. д., и т. д. И вдруг человек заявляет, что вокруг него стоячая вода... Да, боже мой, конечно, если я убегу из общества, от его интересов и запрусь в свою келью, буду только есть, пить (благо все готовое есть), да производить на свет себе подобных, а на остальной мир смотреть, по выражению Гоголя, „ковыряя в носу“, жизнь, разумеется, станет стоячая. Да кто же в этом виноват? Разумеется, не ты одна, потому что ты не виновата, что получила такое образование, но это все прошлое — об этом нечего и толковать. Но ты заявляешь, что твоя жизнь в настоящее время стоячая вода, стало — сознаешь и ничего не делаешь для изменения этой жизни. Для того, чтобы сознательно относиться к известным общественным явлениям, — земству, народному образованию и т. д., надо их понимать, а для этого надо иметь известное развитие. Воспитание у нас, как у мужчин, так и у женщин, не дает им этого развития, но как только человек сознал это, он должен всеми своими силами исправить недостатки воспитания. При развитии важно не количество, даже и не качество известных научных данных, а система, в которой сообщаются известные научные факты. Только при известной другой системе человек может выработать себе целостное мирозерцание и быть сам цельным человеком. Если же человек прочитает сегодня какую-нибудь астрономию, завтра о самоуправлении „Васильчикова“, положим, то, кроме путаницы, у него в голове ничего не может образоваться, а эта путаница отражается и на всех его делах, на всей его жизни. Ему вечно все неясно, за все человек хватается, но ничего не кончает, потому он ясно и не представляет себе, для чего он взялся за известное дело. Вот потому и надо прежде всего составить себе систему чтения (конечно, с помощью людей более знающих) и только, прочитавши по этой системе и составивши себе ясное мирозерцание, человек будет интересоваться окружающим, а тогда он может браться и за дело. Невозможного тут ничего нет. Недавно я читал в Отеч. Запис. про Шапову. Женщина нигде не училась, так кое-что только читала, но вот она, столкнувшись с Шаповым, задается мыслью сделаться вполне развитою женщиною, она серьезно принимается за систематическое чтение и через каких-нибудь два года достигает блестящих результатов (по отзывам других). Ты писала мне про Руссо. Знаешь, гораздо больше можно приобрести, читая физиологию, гигиену, психологию, да и пожалуй критику. Да и вообще теперь теория Руссо несколько уже устарела: во-первых, ребенка нельзя предоставлять полной свободе, потому что окружающая природа не вполне гармонирует с его желанием (напр. ребенку захочется в воду полезть, а там он может утонуть, нервная деятельность у ребенка сильнее развита, чем у взрослого, этим объясняется развитие онанизма у детей); ребенка нельзя предоставить и потому еще полной свободе, что вследствие закона наследственности он может получить дурные привычки и болезни от родителей. Вообще знакомство с естественными науками гораздо полезнее чтения различных теорий. Я хотел бы тебе подробно описать, как один мой знакомый воспитывает своих

детей (свои дети у него еще маленькие, но у него воспитываются два 14-летних, приблизительно, юноши), но за неимением места я скажу несколько слов. Во-первых, он воспитывает одинаково как своих, так и крестьянских детей — этим, конечно, с малолетства человек привыкает на всех смотреть одинаково. Во-вторых, физическое воспитание идет рука-об-руку с умственным, и притом физически мальчики развиваются не на гимнастике, а на работе (этим человек привыкает смотреть правильно на труд; для этого комната плотничья, столярная, слесарная, токарная, переплетная). Все малейшие вещи, касающиеся как науки, проходимой им в данное время, так и предметов необходимости, делаются по возможности самими мальчиками. Далее, приобретение знаний вполне реальное, то-есть прежде чем человеку начнут говорить о каком-нибудь предмете, ему его показывают (если нельзя в натуре, напр., животное некое, то рисунки), таким образом человек привыкает думать не словами, а реальными предметами. Наконец, развитие нравственное и умственное идет рядом, так как человек, во-первых, приучается смотреть правильно на человека же (независимо от сословия, положения и т. д.), а во-вторых, его заставляют самого делать все для себя, у него слово с делом не расходится. Пиши же чаще, буду ждать твоего письма с нетерпением. Твой брат Дмитрий Рогачев. Пожми руку от меня Петру Дмитриевичу и передай мое глубочайшее уважение Дмитрию Петровичу.

Вы, конечно, милая Мамаша, узнаете от Оленьки, что я совершенно не виноват, что так долго вы не получали то меня восточки, вас же я так же, как и Оленьку, буду просить писать мне чаще. — В письме, которое затеряно, а вам писал, что несколько не сомневаюсь в ваших ко мне чувствах, потому что истинное чувство не знает различий в положении человека. В свою очередь я прошу вас тоже несколько не сомневаться в моем чувстве. Если я вас прежде любил, то в настоящее время, чувствуя свое одиночество, память о вас мне дороже всего на свете. Вы не поверите, как мне невыносимо тяжело было читать ваше письмо. Мне тяжело было при этом не за себя, не потому, чтобы я при чтении вашего письма вспомнил о своем положении, — нет. Моя собственная участь меня несколько не беспокоит, да я все это и раньше предвидел, знал раньше, что годом раньше, годом позже, но при данных общественных условиях конец все же один.

И если, несмотря на конец, я все-таки действовал известным образом, так — единственно потому, что считал подобные действия справедливыми. Итак, повторяю, мне тяжело было читать ваше письмо не за себя, а за вас.

Вы пишете — мое положение огорчило вас и в конец вас расстроило... вот тут-то у меня и промелькнула вся моя прошлая жизнь... Мне представилось, сколько страданий, сколько мучений вы перенесли во время моего воспитания, и вы надеялись, что когда-нибудь я буду вам утешением... и что же? Вот я сделался самостоятельным человеком и вместо того, чтобы служить утешением для вас, я вам причинил еще больше страданий, — я, быть может, отнял у вас несколько лет жизни... Но, бога ради, не вините же меня за все это... мне и самому не менее вас горько, когда я все это вспоминаю...

Но что же делать. В этом ни я, ни вы не виноваты. Виногато проклятое переходное время... Скажите, вы любите страшно сына, но вот ему выпадает жребий, и он должен отправиться в военную службу, неужели вы, из любви к сыну, не пустите его в военную службу? Конечно, нет; хотя вы его любите, но все-таки сознаете, что общественная обязанность, то-есть воинская повинность, выше вашей личной любви... Для меня общественная обязанность была другого рода, — служение пользе народной, — вот моя общественная обязанность, и ради этого я бросил семью, свое положение... Повторяю, в этом меня не вините, вините время. Виноват ли я, что вы жили при других условиях (при крепостном праве), а потому у вас и понятия совсем другие, чем у меня. Не виноват потому я, что не можете сочувствовать моим стремлениям, не можете радоваться моим надеждам... Когда-то вы мне говорили: оставь свои мечты о равенстве людей, мир не переделаешь... Но разве это возможно было для меня? Бросить все это — значит для меня не жить... А потому, как ни горько мне все это, но помочь этому я не мог и не могу... К моему величайшему несчастью я вам и теперь ничего не могу сообщить утешительного о себе. Меня, вероятно, присудят к тяжелому наказанию. Разве только и будет вам утешением, что вы можете иногда видиться со мною и переписываться... В ожидании вашего письма, любящий вас, ваш сын Дмитрий Рогачев.

Передайте папаше, что мои чувства остались к нему прежние.

Пишите о домашних...

Второе, общее письмо сестре и матери, тоже не было отправлено по адресу III отделением. Я нашел его в оригинале в делах III отделения (см. Дело № 144, ч. 16, т. 1-й, 1874 г., 3 экз.). В этих письмах раскрывается во всей полноте личность Д. М. Рогачева, как человека и гражданина, в лучшем, благороднейшем смысле этого слова. Нежно любящий сын и брат-друг, который, однако, не поступится и нотой своих убеждений, не свернет, так сказать, и на микрометр с раз намеченного им пути, если бы, паче чаяния, этого потребовали дорожки ему лично существа. — Письмо к матери — это глубокая скорбь, сдержанные стоны любящего сына, сознающего, сколько горя, печали и страданий причинил он своей родной матери жизнью своей.

Письмо Д. М. к сестре Ольге — это письмо брата-товарища, брата-друга; сдержанная нежность прорывается невольно в каждом слове, в каждой строке. Он направляет сестру, которая, очевидно, не знает, что с собою сделать, которая томится, окруженная „стоячей водой“, она тоскует, скучает...

Письмо пишет не только любящий брат, но друг-товарищ, наставник, строгий и правдивый в своих суждениях, прямолинейный, не затуманивающий своей мысли, не прячущий своего убеждения. У него слово с делом не расходится, надо стремиться стать „цельным человеком“, — и это он завещает своей „милой сестре Ольге“. И этот свой завет он сам пережил, передумал и выстрадал, как и прочие его ровесники-семидесятники. „Развитие“ — это осевший принцип, без которого нельзя стать „целостным человеком“. Оно

же необходимое условие, без которого на практике не может быть достигнута желаемая гармонизация личного поведения с общественной деятельностью, гармонизация идем с опытом, слова с делом. Это — провиденциальная миссия „целостного человека“, критически-мыслящего и сознательно действующего.

Какие знакомые нам мотивы! „Целостный человек“. Да, ведь, это „нормальный человек“ долгушинцев — то же самое ¹⁾. Крепко владел этот принцип сепидесятниками, глубоко тревожил их и наложил на их личность и деятельность эту своеобразную печать мученичества мысли.

В 1881 году Д. М. Рогачев, вместе с другими своими товарищами, оказался уже в Мценской политической пересыльной тюрьме, для следования дальше на Кару. 29 марта 1880 г. (?) он шлет ответное письмо своему шуруну Евтихию Павловичу Карпову, сидевшему тогда в Вышневолоцкой пересыльной тюрьме. Письмо это было препровождено при отношении в Д. Г. П. с просьбой, „если оно может быть передано, переслать по адресу Тверскому губернатору для передачи по принадлежности“. (См. отношение Орловского губернатора от 6 апреля 1881 г. за № 1905.) На полях отношения карандашом помечено: „Доставление по назначению письма представляется, по содержанию его, неудобным“. И письмо застряло в делах III отделения. Письмо это интересно. Вот копия с него.

„Мценская тюрьма 29 марта 1880 г. 2)“.

Родной Евтиша.

И только что получил твоё письмо. Нечего говорить, как я обрадовался твоей весточке! Ты, дружище, забыл, что мы с тобой не видались не пять лет, а около восьми! шутка ли сказать! Смотрю на твою карточку и, право, как-то не верится, что я вижу тебя, моего Евтишу. Ведь мы когда расстались с тобой, ты был ещё совсем мальчиком; а теперь ты глядишь (по крайней мере на карточке) старше меня, к тому же отец семейства!.. Ха, ха, ха!.. Кстати, я кажется знаю твою жену, кажется я её видел, если не ошибаюсь, она подруга Ольги Са... и Пелагеи Цв...? Как только попал я в Мценск, то стал наводить справки о тебе через сестер; но узнал определенно только от Веры (В. П. Рогачевой, жены Рогачева. А), что ты именно в Вышнем Волочке. Это письмо Веры я получал почти вместе с твоим. — О тебе я кое-что знал и слышал от Марка Н. (Натансона. А.), от Микольки (который теперь сидит вместе с нами) и других общих знакомых. Что же сказать тебе? О моем прошлом до тюрьмы ты, вероятно, слышал кое-что, остальное сообщу при

¹⁾ См. „Былое“ № 18, 1922. Флеровский-Берви и кружок Долгушина. О. В. Аптекмана.

²⁾ Рогачев поставил дату 29 марта 1880 г. Орловский губернатор отправил его письмо 6 апреля 1881 года. Выходит — спустя один год слишком. Это нелепо; очевидно, это описка по рассеянности (или усталости) Рогачева. А).

свидании; о жизни же тюремной... но право у меня как-то язык не воро-
щается говорить об этом периоде моей жизни... Скажу только, что был болен,
при смерти, но затем оправился; потерял наполовину своей физической силы;
года полтора ничего не читал, ничего не мог думать (было запрещено докто-
ром); был вообще расстроен нервно, так что под конец чувствовал, что нет
у меня ни прежней ясности, ни прежней живости воображения... Теперь,
впрочем, поправляюсь, ибо условия здешней тюрьмы несколько лучше, чем
условия достославной централки. Нас здесь сидит всех тридцать пять человек,
из коих двое административные. Замечательно, что в среде этих 35 человек
есть представители всевозможных наших политических процессов: кажется,
судьба нарочно соединила всех этих представителей вместе... для памяти...
Здесь есть представители движения начала шестидесятых годов (Войн.); есть
участвовавшие в нечаевском процессе; есть несколько человек, бывших дей-
ствующими лицами в начинавшемся брожении семидесятых годов, именно
брожении, вполне неопределенном, неорганизованном, известном под на-
званием „в народ“... Дальнейшее движение политическое выказалось в стре-
млении к организации; таковы процессы: Московский 5-й, Одесский—Заслав-
ского и Чигиринский; от всех этих процессов у нас есть представители. Когда
затем отношения обострились, появились стрелки, которые все и сидят у нас.
Наконец, из современных фракций „политиков“ и „народников“, успели уже
послать в нашу среду своих представителей... Словом, ты видишь, что у нас
целый калейдоскоп, все революционное движение (русское) в миниатюре... Что
же ты, дружище, не пишешь, кто такие ваши Вышневолоцкие, по какому они
процессу? Обо многом я хотел бы поговорить с тобой, но... но откладываю
до того времени, когда буду иметь возможность обнять тебя и расцеловать
крепко, крепко. У меня были на свидании сестры, обещаются приехать про-
ститись. Ты, я думаю, знаешь, что Вере разрешено ехать со мною. За карточку
великое спасибо; когда снимут с меня, то пришлю свою. До свидания, родной
дружище, крепко целую тебя, Маньку и сынишку. Твой Дмитрий Рогачев.

На полях: Лев Дмоховский, Александр Долгушин кланяются. Все наши
кланяются и шлют привет вашим. Михалка тебе кланяется“.

В этом письме обращаю внимание читателя на одну особенность в на-
туре Д. М. Рогачева. Одаренный исключительной физической силой, желез-
ным здоровьем и спокойным, уравновешенным характером, он, Рогачев, со-
вершенно не выносил одиночного заключения. Это какая-то особенная идио-
синкразия: могучее тело и мощный дух его увядали быстро в тесной камере
одиночки, он задыхался, тупел, с ним делались страшные нервные припадки—
не плакал он, а стонал и хохотал, смущая даже стражу. Это началось еще
в Петропавловской крепости, как он об этом признается в своей „Исповеди“.
Этот Самсон и нервные припадки.... В Новоборисоглебской же центральной
тюрьме Рогачев уже серьезно заболевает; повидимому, на почве крайнего мозго-
вого истощения развился уж психоз астенического характера. Одиночка, мол-
чание, в связи со всей угнетающей обстановкой „централки“, высосали каплю
по капле все соки из мозга Рогачева. Началось оскудение духовное, опусто-

шение психики... Есть люди, совершенно не выносящие одиночного заключения и вечного молчания. Д. М. Рогачев, к несчастью, принадлежал к этим последним. Это не малодушие, не моральная немощь, а какая-то особая чувствительность—ранимость, по медицинской терминологии, психической индивидуальности к одиночному заключению и вечному молчанию. Всё человек может вынести—и голод, и стужу, и всяческие лишения до пытки включительно, только не „одиночку“, не „погребение заживо“.

Среди разных пакетов и тюков материалов III отделения случайно попался под руку изрядно растрепанный пакет за № 44, с надписью:— „взято при обыске и В. Рогачевой“ (жены Д. М. Рогачева. А). Порывшись в разном хламе (письма различных лиц, заметки, конспекты и проч.), я натолкнулся на два письма к В. П. Рогачевой от Д. М. Рогачева. Письма значительно выцвели, листки пожелтели, слова кое-где почти смыты, но душа Д. М. в них жива. Письма написаны незадолго перед тем, как отправили Д. М. в „централку“. Одно из этих писем с датой от 13 марта, но без обозначения года, второе—от 12 апреля 1878 г. (отправили же Рогачева в „централку“ 25 июня 1878 г.). Письма эти, как всё, что писал Рогачев, весьма примечательны. Вот они, эти письма.

П и с ь м о п е р в о е .

13 марта

Копия.

Милый друг Вера.

Сегодня я получил твое единственное письмо от 7 марта. Сначала я, конечно, обрадовался, но вообще оно произвело на меня грустное впечатление, и из него я увидел, что ты попрежнему страшно нервно расстроена. — Прежде всего скажу, что я не писал тебе ни одного письма, почему? Подумай, и сама увидишь, что ответ очень простой. Ты верно забыла, что при прощании ты мне не велела писать тебе писем, рассчитывая, через две недели сама приедешь а в этот срок, при настоящих условиях, письмо не успело бы дойти. Обстоятельства задержали тебя, и вот ты забыла свое обещание приехать через 2 недели и свои же слова (не писать тебе писем), ожидаешь письма, думая, что, вероятно, я по вдохновению свыше должен был предвидеть обстоятельства твоей задержки, а потому и написать тебе... Конечно, я это должен приписать страшной расстроенности твоих нервов: это она помешала тебе подумать о всех условиях, при которых мы теперь находимся, и заставила тебя в неполучении писем искать какую-то особенную причину. — И как странно: ты из свободы среди людей, я в четырех стенах, и между тем ты более меня расстроена. Ты представь только себе мое положение: сижу в берлоге, ожидаю с нетерпением увидеть тебя через две недели, и вдруг проходит вот уж месяц, а вместо тебя я получаю письмо... Всё это меня чрезвычайно волнует, волнует, главным образом неизвестность: быть может, завтра же нас увезут бог знает куда, и я не увижусь с тобою, а мне бы так хотелось еще раз увидеть тебя... Но, не-

смотря на всё это, я не стал, вследствие этого, сомневаться в тебе не стал приписывать этого чему-нибудь особенному; я просто рассуждал, что тебя задержали дела. — Не подумай, что все это я высказываю в виде упрека, о, нет! Я даже вовсе и не написал бы об этом, если бы ты сама не вызвала меня на это. — Грустно мне также и то, что ты до сих пор как будто сомневаешься во мне. У меня же насчет тебя и тени нет сомнения... Знаешь, жизнь приучила меня не полагаться на слова людей; она заставила меня обращать внимание не на слова, а на всё поведение человека, на выражение его лица... словом, на его „язык чувств“, как говорят психологи. Вот этот-то „язык чувств“ и заставил меня увериться в тебе... Но если же ты, после всех наших свиданий, разговоров, если после всего этого мой „язык чувств“... не могу больше говорить... мое перо не повинует мне... Ты пишешь мне, что твой отец и твои родные рисуют тебе в мрачных красках твою будущность, советуют тебе остаться жить у отца... Что сказать тебе на всё это? Право, затрудняюсь. Конечно, окружающие условия будут ужасны. Но ты же в высшей степени самоотвержена, я могу только отгадать (ответить. А.) одно: на основании всего того, что я тебе говорил ранее, я ручаюсь только за себя, и за себя; только своей личностью я ручаюсь за твоё счастье (если только это может тебя удовлетворить). Да и это я высказываю с некоторой горечью... потому, что же значат мои слова, если..., если проклятое сомнение грызет тебя. — Если подумаешь, то увидишь сама, что при настоящих условиях я тебе больше ничего не могу ответить: всякий мой ответ может, при твоей расстроенности нервов, быть перетолкован, а мне это не хочется... При свидании (если только оно состоится) я скажу подробнее. Ты спрашиваешь мой адрес! Но я его и сам не знаю, ибо не знаю ни дня, ни часа, в-он же меня схватят и увлекут куда надлежит. Одно только могу сказать: куда бы нас ни бросили, а все-таки, так сказать, мы вечно будем вертеться около III отделения, а потому вернейший мой адрес — всё туда же. Ты, конечно, понимаешь, почему не посылаю... телеграммы?... Прощай, крепко тебя обнимаю и целую, искренно тебя любящий, Дмитрий Рогачев“.

Это письмо интимное, многое, по необходимости, не договорено, не высказано, ибо оно проходило через руки III отделения.

Оно рисует светлую личность Рогачева. Какой он прямой, хороший человек! Нет в нем сентиментальности, сдержан, ригористически сдержан его „язык чувств“, но какие это сильные чувства, — чистые, здоровые! Чужда ему подозрительность, сомнения, — в себя он твердо верит, за себя ручается, ручается своей „личностью“ за счастье жены в ожидающей их тяжелой жизни... Мало слов, но многозначительно их содержание.

Второе письмо Д. М. к жене — чисто делового характера. Вера Павловна обратилась к Д. М. с просьбою составить для нее программу для чтения. Дмитрий Михайлович наскоро набрасывает такую программу, обнимающую как элементарный, так и общеобразовательный курс чтения.

Назначение ее — выработать „критически-мыслящую личность“, вопрос, поставленный тогда во главу угла теоретической подготовки молодежи.

Программа эта любопытна и наглядно показывает нам, какой духовной пищей жила тогда, в семидесятых годах, передовая молодежь, каковы были ее духовные интересы, запросы, стремления.

Вот это письмо.

„Милый друг Вера.

Ты просила меня высказать тебе мое желание о программе книг для чтения. Я должен вперед оговориться, что такой программы с указанием всех книг, нужных для этого,—я не могу сделать; уж просто потому, что по некоторым отделам я считаю себя некомпетентным. Я выскажу только общий взгляд, так сказать, принцип, которого, по моему мнению, следовало бы держаться при выборе книг.—Прежде всего я задам вопрос: для чего нужна тебе эта программа? Можешь ли ты сказать, что знакома с основаниями наук? что ты уже составила себе определенное мировоззрение?—Мне кажется, что ты, положив руку на сердце, должна ответить на этот вопрос—нет. А если это так, то цель этой программы должна быть: познакомиться с основами наук и притом систематически, чтобы всё это было не беспорядочным образом отрывочные сведения, а чтобы из этого можно было составить определенное мировоззрение, которое бы сгладило отрывочные и противоречивые факты и придало бы им цельность и определенность; а это последнее невольно делает и поведение человека—таковым же. Установивши цель программы, я скажу о ее принципе. Но это уже ясно вытекает из сказанного выше: систематическое постепенное знакомство с основаниями наук. Но здесь надо принять во внимание те средства, которыми ты можешь располагать для приобретения книг: они, конечно, незначительны. Вот почему я бы посоветовал тебе руководствоваться следующим правилом: по каждому предмету выбирать учебник (лучший, конечно), или, так сказать, догматическое изложение истин данного предмета; а затем и теорию.—Начну с математических наук. О них, конечно, не стоит распространяться: это более выработанные науки, и след. школьных направлений тут быть не может.—А потому ты просто попроси у знакомых, какие лучшие учебники по арифметике, алгебре, геометрии, аналитической геометрии.—Я, разумеется, говорю об элементарной математике. Затем историю этих наук я рекомендовал бы П. Л. Лаврова; это, кажется, самое лучшее на русском языке.—Механика. Хотя элементарная механика излагается обыкновенно в курсе физики, но я советовал бы тебе купить отдельный учебник механики (конечно, основанной на элементарной математике).—Историю же и как вообще всех естественных наук не стоит пока (читать. А.) отдельно, а лучше взять историю всех естественных наук.—Физика. В мое время лучший учебник считался Гано, но теперь, быть может, что-нибудь вышло поновее.

Если у тебя будут лишние деньги, то к этому можно добавить статьи по разным отделам физики.—Тиндала. Так как существуют две теории между физиками: одни признают только весомую материю, другие—невесомую,

представителем первой может служить Граве — соотношение сил, а представителем второй — Сокки — опыт естественной философии; то поэтому и полезно приобрести обе эти книги. — Химия. — Лучший учебник — Основы химии Менделеева; но быть может, это будет уж очень специально? — Астрономия. Я не знаю, есть ли лучший общедоступный учебник, чем Гершеля? Ботаника и Зоология. По-моему лучше взять учебники, чем такие книги, как Шлейдена и Брэма, но и должен тоже сказать и о физиологии, хотя мне нравится Гексли. Геология. Ляйеля. Биология и, как отделее, антропология. Исследования Дарвина, Гексли, а затем биология Спенсера. Здесь в заключение естественных наук, кроме уже упомянутых, История индуктивных наук Уэвелля, полезно познакомиться с философией естествознания, но рекомендовать что-нибудь я не берусь. — Психология. Стоит приобрести все сочинения по так называемой индуктивной психологии: Спенсера, Маудсли, Вундта, Тена и Бена — ум и чувство. В особенности три первые. Но затем, по моему мнению, следует приобрести и исследования метафизиков по этой части: 1) Критика чистого разума Канта и 2) Философия духа Гегеля. Затем перехожу к истории, но как вступление следует приобрести географию. Это, заметь, очень важно, потому что история человечества складывается из двух данных: 1) влияние природы и 2) самого человека; без знания географии невозможно и представить этого первого внешнего фактора. География разумеется как математическая, так и описательная. История. Для фактического знакомства известны учебники: Шлоссера, Гервинуса и затем добавить к этому, для знакомства с современными движениями, тоже уже известные писатели: Минье, Луи Блан, Зибель, Верморель, Гарнье-Паже, Мотлей и др. — Для русской истории, по моему мнению, следует: Вестужев-Рюмин, Историю Соловьева, начиная с дома Романовых, с прибавлением описаний новейших событий после Екатерины. — После знакомства с фактической стороной, я считаю лучшим для знакомства с историей человечества рассматривать ее с трех сторон: 1) экономической, 2) политической, 3) умственной. С экономической стороны. Ее теория, т.-е. политическая экономия (я уже говорил тебе, какие следует приобрести по этой части книги) и затем фактическое положение экономической стороны. Напр., исследования Мана, Лавеле, Маурера об общине на Западе. У нас Беляева — Крестьяне на Руси, исследования об общине Соколовского, Аксакова, Самарина, Постникова, Земле-владение и земледелие Васильчикова; Межова — исторический сборник о крестьянах, начиная с Екатерины до 1864 года. — С политической историей. Сюда я отношу не только государственные науки (как, напр., государственное право или уголовное), так и частные права, напр., гражданское. Поэтому отдели опять-таки теорию и его практическую сторону. По теории. Государственное право. Сначала какое-нибудь обще-государственное право: затем по русскому государственному праву, кажется, единственная книжка есть Андреевского. Для знакомства с государственным правом других государств (разумеется, я говорю о положительном государственном праве, а не естественном), нужно выбрать сравнительный обзор такого. Об уго-

ловном и гражданском праве, конечно, нечего распространяться. Затем фактическая сторона. Для знакомства с фактической стороной других государств, я, кроме Ловицкого и Ватсона, по государственным учреждениям, Токвиля и Лабуэ для знакомства как с государственными, так и областными учреждениями Франции и Америки, — я не могу указать; впрочем, пожалуй еще Васильчикова о Самоуправлении. Затем по русскому отделу. Об областных учреждениях: Ловицкого, Чичерина. С умственной стороны. Это очень обширный отдел. Прежде всего о литературе. Начиная с грамматики и словесности и кончая историей литературы. Конечно, не стоит упоминать и оттенки как по русской, так и европейской истории литературы — они все наперечет известны: Шерр, по европейской, Скабичевский, Пыпин — по нашей... Сюда же следует прибавить всё, относящееся до исследований по народной литературе, мифологии (как, напр., Афанасьев). — Затем история церкви и связанных с ней учреждений.

Наконец, история искусства —¹⁾. Я забыл еще упомянуть о некоторых исследованиях, дополняющих этот обзор, как, напр., народные движения у нас (Мордовцева и др.) и за границей (как Крестьянская война Циммермана), затем по расколу; в экономическом отделе я не упомянул исследования о дворянстве Карновича, Романовича-Славянского; точно так же по экономическому отделу, по моему мнению, принадлежат и исследования по земледелию (как, напр., Либиха) и технологии.

В заключение всего этого следует приобрести те немногие книги, где авторы пытаются построить философию истории и социологии; они, конечно, наперечет известны: Гизо, Бокль, Спенсер, Дрепер, А. Шерр (История цивилизации Германии). — Если, по твоим соображениям, у тебя окажутся лишние деньги, то советую приобрести некоторые сочинения о современном положении в России, как, напр., Головачева, Десять лет реформ, его же — о государственных доходах; Мордовцева — десятилетие земства; сборник об артелях и т. д.

Насколько возможно было, я высказал тебе мой взгляд довольно полно. Теперь я тебе советую взвесить хорошенько всю эту программу, собрать нужные сведения о книгах по этой программе, затем сообразить цену (общую) книг, и если окажется, что ты по соображениям не можешь столько издержать, то выбирай более необходимые, отбрасывая остальные. Вот и всё, что я считал нужным высказать тебе по этому поводу. Ужасно устал, а поэтому напоследок ковыляю, что в ум бредет... Твоего письма я еще не получил. А жаль, из него я бы увидел, насколько твои взгляды согласуются с моими на программу. Поздравляю тебя с наступающим праздником: радуйся и веселись...

Мне почему-то припоминаются мои детские письма, писанные по поводу этого праздника: разукрашенные яичком и цветами... ха-ха-ха!... Как это всё далеко от настоящего... Точно грезы! — Кстати, у меня хранятся твои

¹⁾ История философии (лучшая, кажется, Бауера). Выписка Рогачева. А.

цветы. — Ты что-то все мне покупаешь разного платья? А мне ничего не говоришь! Пожалуйста, делай это со смыслом, но главное рассчитывай, что необходимо: помни, что деньги еще очень пригодятся тебе — впереди. Однако, прощай, крепко обнимаю, твой Дмитрий. 1878 г. 12 апреля».

Деловое письмо, — что и говорить. А к концу его уж стал уставать — истощается его мозг от одиночества. Могучий Самсон в клетке. Физическими силами, душевной энергией, бьющим и переливающимся через край нет выхода — и Дм. Мих. томится, томится... Заключительный аккорд чисто делового письма хватается за душу: несколько сдержанно-ласковых, полуворчливых слов к жене, попеременно со смехом сквозь слезы, неожиданно всплывшие воспоминания раннего детства — „точно грезы“... И опять таки нежная забота о жене: „деньги еще очень пригодятся впереди“.

Милый, хороший Дмитрий Михайлович!..

Я исчерпал тот материал о Д. М. Рогачеве, который мне удалось собрать в архиве III отделения. Я не говорю, что это всё, что имеется о нем в архивных делах; может быть, современем удастся еще кое-что открыть для характеристики жизни и деятельности одного из мыслителей семидесятых годов. Кроме 3-й экспедиции, есть еще и другие отделения, в которых иной раз раскапываются интересные для истории документы, материалы, касающиеся семидесятых годов. Но как ни скудны наши материалы, они, думается нам, разворачивают перед нами во весь рост одного из типичных представителей семидесятых годов. Типичен Д. М. Рогачев по его идеологии и тактике в целом, по его неутомимой, мучительной работе мысли в исканиях им правды, — и только правды, по его беззаветной преданности делу народа, по его, наконец, непосредственной, из глубины сердца его вытекающей любви к этому народу. Он — не анархист, не „вспышкострел“, без пространства и времени стремившийся бунтовать народ „от ноля до бесконечности“, по выразительной терминологии самого Д. М. Рогачева. Он — не слепой сторонник слепого же „вист. нета“, к которому то и дело апеллировали „молодые бакунисты“ в особенности — как к ultima ratio революционного действия в народе. Нет! Дм. Мих., во-первых, не позволяет себе с легким сердцем говорить от имени народа, о самом народе, не узнав его предварительно, не спросив у него — что собственно он думает, чего он хочет, куда его тянет, и как он думает выбраться из того тупика, куда загнала его безжалостная история... А во-вторых — Рогачев горячий сторонник сознания, руководимого наукою и ее достижениями: только тогда, когда наука станет достоянием народа, — по крайней мере, передовой его части, его партии, — только тогда народ сам сбросит с себя цепи экономического и политического гнета, веками тяготевшие над ним. Только тогда, но не раньше. Работа в народе должна быть систематическая, планомерная, организационная, упорно преследующая единственную цель — выработку сознательных элементов в массе, построение из этих элементов народной партии, и в этом именно смысле Д. М. Рогачев типичен, и в этом смысле его думы и дела, его идеология и тактика представляют

захватывающую страницу в собственной биографии его, но и чудную, привлекательную страничку в истории революционного движения семидесятых годов. — вообще, im grossen und ganzen.

В этом смысле в личности Д. М. Рогачева, как в миниатюре, отразились семидесятые годы, начиная с подготовительно-революционной фазы этих годов и периода паломничества „в народ“ вплоть до начала народничества, с которым en passant Дм. Мих. имел уже много общего (организационное строительство в народе на почве народных требований, пользуясь, где это нужно и возможно, его же выработанными методами обороны и нападения). Повторяю, на работе Д. М. Рогачева можно познакомиться с главными моментами революционного движения семидесятых годов в сокращенном, так сказать, виде, в уменьшенном масштабе, но, во всяком случае, — в подлинном виде. Но будучи типичен, как революционная личность семидесятых годов, Д. М. Рогачев остается своеобразно-привлекательным, как индивидуальность в собственном смысле этого слова — как человек. Ясный реальный ум — не блестящий, но гибкий, не оригинальный, но глубокий, вдумчиво перерабатывающий опыт теории и практики, мысли и жизни, в стойкие, прочные образования, в духовные ценности, неотъемлемые от него, неотделимые от него: они — часть его духовной индивидуальности, они куплены дорогой ценой работы его мысли, его устремлений, — словно они самостоятельный продукт его индивидуального творчества.

От этих своих духовных ценностей, от этих заветных убеждений своих Д. М. Рогачев уже никогда и ни при каких обстоятельствах не отступится. Он — нежно любящий сын и брат, но больше всего он любит народ — и ему, ему, народу, он отдаст всего себя, всю свою жизнь. Он крепко любит свою семью, но он порвал с семьей, со своим положением, чтобы всецело отдаться служению народу. Но голос крови порой дает себя знать, кровная связь у такого человека, как Д. М., так легко не рвется, любовь не гаснет, она теплится в тайниках его души, а порою вспыхивает с непреодолимой горечью и тоской по утерянном, родном приюте... Он — человек. Он зовет жену свою, Веру Павловну, делить с ним тяготы суровой каторги и ручается „всею личностью своею дать ей счастье“... А в словах Д. М. — „ручательство“ тверже гранита. Слов на ветер он не бросает, да и не было у него „слов“... Такой он. Он — верный, стойкий товарищ; не знает он уязвлений мелкого самолюбия, чужды ему в отношениях к товарищам подозрительность, недоверие, сомнения и обидчивость. Он робко, словно институтка, вступает в ряды чайковцев, считая себя ниже их, почти недостойным их, хотя в их рядах такие его товарищи-друзья, как С. Кравчинский и Л. Шишко. Его товарищи радужно принимают, он поселяется на одной квартире с С. Перовской, — этим стражем организации, этим строгим Катон-де-сен-ром!.. Но Д. М. все-таки кажется, что товарищи не вполне доверяют ему. Это не мнительность, не подозрительность — нет! он принимает это как вполне заслуженное им: он — „не сознательная еще личность“, а для серьезного дела нужны личности, вполне уже утвердившиеся. Это справедливо,

хотя ему это горько, но обиды на товарищей и следа нет. Он душу свою положит за товарища, когда это нужно, где бы то ни случилось и кто бы ни был его товарищ. Во время процесса на суде, он в первых рядах непримиримых протестантов, он бурлит, кипит, тревожит и будит всех, приводя в отчаяние пристававшихся к нему специально жандармов в Д. П. З. Летописи III отделения того времени почти исключительно заняты Д. М. Рогачевым. „Записки“ (донесения) жандармов так и пестрят именем Рогачева: Рогачев-де кричал в окно, передавал записки, разные пакеты, советовал то и то, — одним словом, Рогачев — самый „беспокойный“ из подсудимых, он всегда-де на первом плане...

Эти „записки“ жандармов, несмотря на их безграмотность, дают красочный материал для характеристики настроения подсудимых по „Большому процессу“, роли отдельных лиц в протесте против суда, значения, между прочим, в этом протесте самого Рогачева.

Дмитрий Михайлович горячо поддерживал протест товарищей по суду, потому что это был — вопрос чести и человеческого достоинства, во-первых, а во-вторых — этого требовали интересы революционного дела: последнее искажали, представляли в таком виде, что присутствовать на суде нельзя было. И так всегда держится Дмитрий Михайлович.

Во время своих скитаний с разными рабочими артелями он повсюду и всегда выступал, когда это было нужно, первым протестантом“. Это он называет „быть народным реальным протестантом“. Он видит в Астрахани, что на „дядю Василия“ набрасываются полицейские, когда толпа послушно-рабски отхлынула сразу и бросилась враспылку, — и одним прыжком очутился уже рядом с „дядей Василием“, чтобы оказать ему помощь. Он сдержан, когда это нужно, и умеет сдерживать других. Он случайно наталкивается на Невском на сцену наглого обращения какого-то франта с женщиной, и он, не долго думая, дает ему „в ухо“.

Это дико, но это понятно: не ради удали он это сделал, а ради слабой, оскорбленной женщины, будь она хотя и „падшая“... Он — человек, прежде всего, и он во всем оставался верным самому себе.

Бурно и стремительно прошел Дмитрий Михайлович свой короткий жизненный путь, полный глубокого внешнего и внутреннего драматизма...

Суд (по делу о 193-х) приговорил Рогачева к 10-летней каторге поселением в отдаленнейших местах Сибири. Царь оказал милость: приговор Особого Присутствия Сената остался в первоначальной силе. Но этого еще мало. Царь решил похоронить Рогачева в одной из центральных одиночных каторжных тюрем Харьковской губ...

Это вернее. В хронике III отделения мы находим такую законическую запись: „Государственные преступники Войнаральский, Рогачев, Ковалик и Муравский высланы 25 июня в сопровождении жандармов в ведение Харьковского губернатора, для помещения в Новобелгородскую каторжную тюрьму“. (См. отношение С.-Петерб. губернатора в III отделение от 25 июня 1878 г. за № 14, „Дело“ № 144, часть 17, т. I, 1874 г. 3 экспедиция).

*

Далее находим большие подробности этого поистине драматического момента. Оборудован это дело нарочито прикомандированный в крепость джентльмен, чиновник петербургского губернского правления, статский советник Студенский. Он явился в крепость, как тать в ночи — в 2 часа ночи, разбудив осужденных. Муравскому сбрили $\frac{1}{2}$ головы, он не протестовал. — Рогачев, вопреки ожидания, вошел весело и во время переодевания и завожм шутил с солдатами, кандалы назвал „родными“. Войнаральский заметил, что „кажется, по воспитанию, он должен быть избавлен от кандалов, но не показал неудовольствия“. Суровее всех был Ковалик, он протестовал против того, что его заковали, это-де не по закону: — „Закон должен стоять выше всякого распоряжения властей, что никакая власть не может обходить закон. В России всегда так поступают“. Ковалик хотел знать должность и фамилию „советника“, чтобы принести жалобы. Проехали город благополучно, „публики“ не было, одни полицейские часовые и дворники. Прибыли на вокзал в конце 5-го часа, и „преступники“ были пересажены из карет в вагон. Они с радостью встретились, обнимались и целовались, называя друг друга сокращенными именами. Даже Ковалик сбросил с себя суровость. Преступники попросили позволения курить и обратились с просьбой о папиросах.

Когда поезд тронулся в поле, Войнаральский воскликнул: „Прощай, Питер!“, а Рогачев, обращаясь к советнику Студенскому, сказал: „Прощайте, не забывайте нас лихо“. „25 июня 1878 г.“ (Из доклада, надо полагать, Студенского, III Отделению. Там же.) — Похоронная процессия: люди живо погребены. В тот же день, тем же числом командир с. петербургского жанд. дивизиона, полковник Федоров, пишет „рапорт“ в III отделение такого содержания. — „Вследствие предписания с.петербургского губернатора, от 24 сего июня, за № 10, от вверенного мне дивизиона командирован в г. Харьков капитан Лесник с командою 12 нижних чинов, для сопровождения государственных преступников: Порфирия Войнаральского, Сергея Ковалика, Митрофана Муравского и Дмитрия Рогачева, который, приняв означенных преступников из Петропавловской крепости, сего числа в 7 $\frac{1}{4}$ часов утра с поездом № 31-й по Николаевской железной дороге благополучно отправился в Москву. Командир дивизиона полковник Федоров“ (25 июня 1878 г., № 1149. „Дело“ то же). — „В Москву вагон, без остановки и пересадки, по назначению в Харьков, прибыл благополучно“. (Отношение М. В. Д. Главному Начальнику III отделения от 26 июня 1878 г. № 4963. Там же.) 1 июля, согласно телеграмме Лесника, последний „с арестантами в Харьков прибыл благополучно“. (Рапорт командира с.-петербургского жандармского дивизиона в III отделение от 1-го июля 1878 г., за № 1182).

На основании телеграммы харьковского губернатора от 20 июня 1878 г. на имя М. В. Д., в виду переполнения Новобелгородской каторжной тюрьмы, наши каторжане назначаются в Новоборисоглебск (той же губ.), где „одиночные камеры совершенно свободны“. — Об этом М. В. Д. Маков извещает главного начальника III отделения (отношение от 23 июня 1878 г., № 4880). Туда в одну из „свободных камер“ Новоборисоглебской „центральной“ и попал

Д. М. Рогачев. Последний акт драмы его жизни. Конечно. Погасла личная и революционная жизнь. Изломано, исковеркано железное здоровье, расстроена нервная система. Чем хворал так тяжело и так долго Дмитрий Михайлович в тюрьме? По письму его к Е. П. Карпову — трудно диагностировать его болезнь. Но это было что-то глубоко потрясшее его могучий организм, жизнь его висела на нитке, и только огромный запас накопленных прежде сил избавил его от ножиц Парки. Но он вышел наполовину ослабленным физически и в полной душевной простратии. „Три года он просидел заживо погребенным. В 1881 году Дмитрий Михайлович вместе с товарищами был переведен в Мценскую пересыльную политическую тюрьму, а оттуда в Сибирь, на Кару. На Каре он казался еще совсем молодым, здоровым, полным жизни. Казалось, что перед ним открывалось даже более светлое будущее. Через какие-нибудь 4 — 5 месяцев, он должен был выйти на поселение (в мае или июне 1883 г.). Случайная неосторожность неожиданно его подкосила. Рогачев вздумал мыть полы босиком и сильно простудился. У него сделалось воспаление легких, и в две недели этот могучий организм превратился в безжизненный труп. 14 января 1884 года Дмитрий Михайлович Рогачев скончался“ ¹⁾).

Он сошел в могилу в цвете лет, на 33 году жизни. Товарищи по Каре знают, конечно, где похоронен Дмитрий Михайлович, где его могила, и есть ли на ней хоть какой-нибудь камень. Пусть же напишут на этом камне только три слова: — „Рогачев — друг народа“. Этими тремя словами исчерпывается вся недолгая, но красивая его жизнь. Подобно Лермонтовскому Мцыри он знал „одной лишь думы власть, одну, но пламенную страсть“. И этой думой было благо народа, этой страстью — освобождение его.

О. В. Аптеман.

4 апреля 1922 года.
Петербург.

¹⁾ Из некролога Д. М. Рогачева в „Вестнике Народной Воли“ № 3, 1884 г. А.

Письмо Н. В. Шелгунова.

Известная в свое время беллетристка Е. И. Апрелева, рожд. Бларамберг („Е. Ардов“), в начале 80-х годов была в довольно оживленной переписке с Шелгуновым; часть его писем к ней (точнее, отрывков из них) она опубликовала в статье „Муки редактора. (Из писем Николая Васильевича Шелгунова. 1889 — 1884)“, напечатанной в „Русских Вѣдомостях“ 1919 г. (№ 12¹). Печатаемое ниже письмо Шелгунова не попало в коллекцию отрывков, изданных в статье Апрелевой; оно хранится в подлиннике в Одесской Государственной Публичной Библиотеке.

Новая у. д. 4. кв. 1.

31 августа 81. СПб.

Добрая и дорогая Елена Ивановна. Уже и не знаю гдѣ Вы теперь.

А замѣчали (ли) Вы, что есть очередь и для чувствъ. Я говорю о тѣхъ скромныхъ, не острыхъ чувствахъ, которыя могутъ быть очень сильными и глубокими и въ то же время не длительными.

И какъ давно я не писалъ Вамъ и какъ давно Вы не писали мнѣ. Не утѣняемся ли мы визитами?

Послѣ лѣтнаго короткаго отдыха опять попалъ я въ колесо и оно закрутило меня сразу.

Какая однако пассивная роль редактора. Я бы сравнилъ его съ человѣкомъ, который стоитъ на мѣстѣ и на него откуда-то сверху, точно изъ рога изобилія сыплются разныя утѣшныя блага. Вся задача его только въ томъ, чтобы приводить эти блага въ систему и порядокъ и раскладывать ихъ по кучамъ. Одно, пожалуй, не пассивно—выборъ мѣста; но разъ всталъ тамъ или здѣсь, ужъ очутиться непременно подъ темъ или другимъ рогомъ изобилія.

„Дѣло“ устанавливается и составъ его новыхъ, свѣжихъ сотрудниковъ опредѣлился²). Къ сожалѣнію цензурный борецъ дуется иногда такъ сильно, что блага рога изобилія разлетаются по сторонамъ. Такъ было съ Іюльской книжкой, куда былъ допущенъ цензоромъ только Кончевскій³). Теперь стало легче, хотя нельзя рутаться ни

¹) О знакомствѣ Апрелевой съ Шелгуновымъ см. также в ея автобиографіи в сборникѣ „Русскія Вѣдомости. 1863—1913“. (М., 1913, прилож., стр. 12—15).

²) Какъ известно, в 1880 г., после смерти Г. Е. Благосветлова († 7 ноября 1880 г.), Шелгуновъ сдѣлался редакторомъ „Дѣла“; в период редакторства Шелгунова в журналѣ принялъ участіе, между прочимъ, Степнякъ-Кравчинскій (псевдонимъ: „Горскій“), Л. Тихомировъ (псевдонимъ: „И. Кольцовъ“, „И. К.“) и другіе эмигранты и народолюбцы.

³) Статья Н. Кончевскаго, начало которой напечатано в іюльской книжкѣ Дѣла (отд. I, стр. 79—193), носитъ заглавіе: „Воспоминанія невоеннаго человѣка объ Ахалъ-Текинской экспедиціи“; продолженія статьи в дальнѣйшихъ книжкахъ журнала не было.

за одну минуту наступившей сносной погоды. Обыкновенно киричи падают на голову, когда их меньше всего ожидаешь.

Сокрушает меня только беллетристическій отдых. Публицистовъ сколько угодно, беллетристовъ — хоть шаромъ покати ²⁾. Съ женскою прощпательностію Вы уже догадываетесь, что послѣ этой жалобы на рога изобилия... и т. д. Но нѣтъ, добрая, хорошая Елена Ивановна. Сейчасъ были у меня „молодые“ (вчера я фигурировала въ качествѣ посаженнаго отца). Счастливые! Они еще не знаютъ, что такое колесо, которое ихъ теперь закрутитъ. Мнѣ стало жаль ихъ.

У меня сохранилось необыкновенно пріятное воспоминаніе о той зимѣ, когда Вы были здѣсь ³⁾. Вѣдь нынѣшнюю зиму Вы опять будете здѣсь? Вы мнѣ такъ писали. Какъ бы это было хорошо! Я прямо мечтаю о новой такой же хорошей зимѣ. Но говорить, ничто не повторяется. Но всякомъ случаѣ Ваше присутствіе окраситъ нашу жизнь. Что же касается Вами обѣщаннаго романа, то я ужъ по одному тому питаю къ нему симпатическое чувство, что съ нимъ связанъ Вашъ пріѣздъ въ Петербургъ. Вы найдете мое письмо отрывчатымъ. Но если Вы восстановите везіи мосты, которые я сваялъ, то простите мнѣ мою подневольную (?) неуклюжесть.

Н. Шелгуновъ.

А на сколько подвинулась Ваша работа? Вы писали, что проработаете и часть зимы. Но первая половина у Васъ будетъ закончена уже ранѣе. Пожалуйста напишите скорѣе ³⁾.

Сообщилъ С. П. Шестериковъ.

²⁾ Подобную же жалобу высказываетъ Шелгуновъ в другом письмѣ къ Апрелевой (от 4-го ноября 1880 г.); говоря о своемъ желаніи „поднять тонъ журнала“, онъ грустно замечаетъ: „Но мало силъ, да и взять ихъ негдѣ, особенно для отдела русской беллетристики“.

³⁾ В Петербургѣ Апрелева провела зиму 1879—80 г.г.; в эту зиму она видалась съ Шелгуновымъ „часто, почти ежедневно“.

³⁾ Романъ Апрелевой, о которомъ говоритъ Шелгуновъ в этомъ письмѣ, „Руфина Каздоева“ появился в первыхъ пяти книжкахъ Дѣла 1884 г. (за подписью: „Е. Ардовъ“); вследствие прекращенія Дѣла на 6-й книжкѣ, в журналѣ появилось лишь начало романа; полностью онъ вышелъ в отдельномъ изданіи (Спб., 1892).

Шлиссельбургская каторга.

Из воспоминаний.

Население.

I.

Тип арстанта-каторжанина резко отличается от других арстантских типов, существовавших в России во времена самодержавия. Большое изменение внесло в эту породу начало двадцатого века. Представители времен Достоевского вымерли окончательно, типы эпохи Мельшина заканчивали свое перерождение и мало-по-малу исчезали. Это перерождение ускользнуло от внимания постороннего наблюдателя, Чехова, не бывшего в арстантской шкуре, но оно все же совершалось, хотя и медленно. Так постепенно исчезли дикие и жестокие игры, жестокость в отношениях между собой смягчилась, разделение же на категории и изоляция между ними положили начало дифференциации типов, придавая каждому отличительные черты.

Отличительные черты слагаются сами собой уже из того, что на каторгу попадали люди за действия из ряду вон выходящие, не ставшие обыденным явлением социального уклада жизни. На каторге меньше всего „профессионалов“, рецидивистов и больше всего случайно-преступного элемента. Каторга, это, так сказать, зеркало общества, отражающее в своем фокусе все социальные противоречия и несправедливости. Здесь — исключительно на каторге — имеются элементы еще недоказанного преступления. Так, с точки зрения существующего закона, солдат, нарушивший дисциплину или отказавшийся от военной службы, подлежит — „лишению всех прав и ссылке в каторжные работы...“, но справедливость существования самого государства, установившего закон, еще теоретически не доказана. Здесь, на каторге, есть преступники, совершившие свое деяние, по обстоятельствам, вытекающим из преступления самого государства по отношению к своим гражданам, — как, например, эксплуатация народа винной монополией, — о которых, как до суда, так и после суда, даже при сохранении преступления государства, можно сказать утвердительно, что второй раз такого деяния они ни при каких обстоятельствах не совершат. Это всё вытекает само собой из того, что каторга является институтом наказующим и не имеет характера учреждения исправительного. Если

же в ней всё же оглозились черты исправительного характера, то всё это позднейшее наслоение, дань времени или дань игре в прогресс.

В тюремном мире существовали три арестантских типа, совершенно различных между собою: каторжане, ротники и кувыркалы.

Тип „кувыркалы“, шпаны тюремной, ныне вымерший и исчезающий тип, составляется из задерживаемых за бесписьменность. Человек есть, но нет письменности — паспорта, он подлежал отправке за казенный счет в место своей приписки на водворение, откуда и не мог удалиться дальше тридцати верстного радиуса. Арестанты этой породы должны были сидеть в пересыльных тюрьмах со дня ареста до дня первого этапа, отходящего по направлению к месту приписки. Обыкновенно этапы по каждому маршруту были еженедельно и изредка раз в две недели. Но начальникам и подначальникам было выгодно изобилие тюремного населения: они заставляли их исполнять разные работы бесплатно, и стоимость работ оставалась в пользу тюремщиков, кое-что прилипало к рукам из арестантской пищи, — таким образом создавалась доходная статья. Партии задерживались на две, на три, иногда и больше, очереди. Если арестованный был оборван, он снабжался казенной одеждой — тоже, своего рода, доходная статья, — стоимость которой должен был возместить на месте назначения. Но этот „народ“ всегда оказывался несовнательным, о чем на месте прибытия составлялся по установленной форме акт и расход относился на счет казны, одежда становилась собственностью кувыркалы. Кувыркальский опыт установил, что, при изворотливости, можно получить в месяц до двух комплектов одежды, на арестантском языке — „два полняка“, который рынок поглощал охотно. Создалась своеобразная профессия продажи казенного имущества в развоз на казенный счет и на казенных харчах. Эта отрасль развивалась успешно, ремесленники уже изучили рынок и называли местом своей приписки тот город, где цены были сравнительно выше. Часто стало повторяться, что солдатская конвойная команда, сопровождавшая партию, благодаря соблюдению „дневок“, не успевала вернуться из места назначения к месту отправления, тогда как „профессионалы“ уже находились снова в столичной тюрьме, в специально ободранном виде, ожидая новой отправки и нового снабжения.

Полняк состоял из брюк и халата хорошего солдатского серого сукна, холщевой пары белья и кожаных вотов, зимою добавлялся овчинный полушубок, и расценивался казною летом в 24 рубля с копейками, зимой — в 89 рублей. В последние годы казна уже не выдерживала усиливающегося расхода на доброкачественную арестантскую одежду и приступила к снабжению кувыркал, вторично попавших в тюрьму, специальной, „рецидивистской“ — кисейное белье, тиковые штанишки и черное пальто — очень низкого качества, с незначительной ценностью: выручка редко превышала целевой. Прибыльность ремесла сводилась к нулю, и всей профессии был нанесен серьезный удар. Изобилие же в пересыльных камерах паразитов, зуботычин, кроме убытка, ничего не давали. В силу таких переворотов в этой отрасли остались только настоящие „стрелки“, передвигавшиеся из одного города в другой на казенный

счет, эксплуатировавшие население попрошайничеством, изображая себя жертвой. Некоторые из кувыркал пользовались любовью и уважением тюремного начальства, они, не без участия собственного согласия, задерживались в тюрьмах целыми месяцами и, если уходили на этап, то только для того, чтобы исчезнуть на неделю, две и снова появиться под сенью благорасположенных властей. Из таких любимцев тюремщики составляли иногда недурной хор, который пел молитву и в тюремной церкви для утешения тюремщиков благолепием храма под торжественно разливавшуюся октаву или бас. За труды певуны получали исключение из правил, и их всегда снабжали настоящими полянками, для сбыта которых они и исчезали.

В своей массе кувыркалы являлись меркантильным тюремным сословием. Сословность накладывала на ее представителей свои резкие черты торгашества, надвательства и угодничества перед распорядителями „торговыми“ складами и совершенно не допускала разлития спайки между членами. Дух конкуренции разедал, разъединял их и превращал в собрание врагов явившихся на аукционные торги. Эта черта ярко выражалась у каждого кувыркалы.

Другая тюремная разновидность, ротники, населяла арестантские роты, носившие официальное название „арестантских исправительных отделений“. В этой корпорации процент попавших первый раз в тюрьму был так незначителен, что совершенно терялся и не имел никакого значения в образовании корпоративного духа и специальных правил.

Резервуаром для наполнения рот служили высидочные тюрьмы, где отбывали наказание недостившие совершеннолетия, но уже вступившие на профессиональный путь уголовщины всех оттенков. Некоторую долю давали и кувыркалы, утомленные кочевьем купеческой жизни. Но все выдидаты приходили с солидными техническими познаниями в избранной специальности и в ротах только приобретали окончательную внешнюю и внутреннюю отделку.

Если посмотреть на эту группу тюремных обитателей с высоты птичьего полета, то кажется, что вся она состоит из усерднейших тружеников. В камерах остаются только уборщики и коридорные, прилежно исполняющие свои обязанности. Остальные все уходят работать в тюремные мастерские: ткацкие, столярные, сапожные, слесарные и т. п. Среди них много заправских мастеров, часто умеющих исполнять очень художественные работы. Незнающие ремесла спешат изучить какое-нибудь, прилагают столько старания, что скоро начинают работать самостоятельно. Среди всех работающих в мастерских, вместо лени или отлынивания, видно такое рвение, что можно только удивляться, как такие трудолюбивые могли, вообще, попасть в тюрьму. Спросишь кого-нибудь из них — и сейчас же узнаешь, что в ему виною „несчастно сложившиеся обстоятельства“, „ведоразумение“ и т. д., только не они сами. И этому можно поверить тем более, что, очевидно, заработок их почти не интересует, но увлекает сам процесс работы. В противоречии с этим находится только один факт: они часто, находясь под предварительным следствием, всегда стараются изобразить себя только что оторванными от сохи, арестантские ухватки у них проскальзывают только в картежной игре; под следствием они

всегда „по недоразумению“, только приговор суда развязывает им руки — и они становятся самими собой.

Кончается в мастерских трудовой день — начинается распоясывание. Здесь, в камерах, уже точная копия жизни не из мира тружеников, но настоящего великосветского общества: салонные разговоры, отчаянная картежная игра, с такой сложной терминологией, что, кроме специалистов, вряд ли кто может ее понять. Играют на копейки, но копейка не копейка, а целых пять рублей. У партнеров вник цифр, как сто, тысяча рублей нет, и они меньше не играют; ставит на карту сто рублей и объявляет квадран от угла в угол с кушем и куш по кушу, и банкомет выплачивает уже тысячи — вычисление настолько сложно, что диву дашься, как это совершенно неграмотные, без всяких таблиц логарифмов, умудряются правильно сосчитать, правильность же необходима: малейшая ошибка влечет потерю выигрыша и обязательный мордобой. Здесь парит ничем не прикрытая ненависть к труду и ко всем занимающимся трудом, которые на их жаргоне называются „ветошными“, „фраерами“. Все разговоры полны бахвальства о том, что уже сделано и что делается, как только окончится срок. По разговорам суда здесь никто не сидел за пустяки, но все за тысячи. То положение, что по закону, согласно приговора, по окончании срока предстояло отбыть четыре года гласного полицейского надзора, здесь никого не касалось. Все знали, что буква закона не для них, что лишение права жительства в столице не обязует сидеть в провинции; все знали, что после освобождения им не придется годы гулять на воле и скоро придется вернуться в ту же тюрьму, если не в ту камеру. И всё же каждый старался доказать, что в будущем он будет умнее и так глупо не попадет в руки сыскной полиции.

Главным фундаментом характера этой корпорации является крайняя степень лжи и двуличности. Пресмыкательство развито до высшего, какой только мыслим, предела. Однако, корпоративная связь, в противоположность кувыркалам, здесь сильна. Группы спаяны своей этикой, и горе тем, кто нарушит ее требования. Принципы этики прост: делать можно всё, что хочется, но совершенно недопустимо „засыпаться“, т.-е. быть пойманным на мошенничестве. Как тип, его можно характеризовать упрощенно так: смесь лжи, нахальства, трусости, подхалимства, двуличия и желания если не жить, то казаться живущим шире, чем допускают обстоятельства, но не показывать вида, что живет не на свои средства. Точь-в-точь, как было „в высшем свете“: живи на какие хочешь источники, но не теряй достоинства, достоинства высшего круга. Это чистый продукт существующего строя.

Между прочим среди ротников камерные игры сохранили всю жестокость времен Достоевского и большей частью граничат не только с издевательством, но часто с настоящим истязанием.

Каторжане не представляют собою однородной массы. Шлиссельбургская каторга почти совершенно вышла из рамок каторжанского общества других тюрем. Среди каторжан легко отличить те же группировки, на которые распадается население за стенами тюрьмы. Присмотритесь внимательнее — и вы уви-

дите интеллигенцию, пролетариев и крестьян. Принадлежность на воле к одной из этих группировок не влечет за собою обязательной принадлежности к той же группировке в тюрьме; чаще бывает обратное. На всех группах одинаково лежит своеобразный отпечаток Шлиссельбурга, отпечаток его постепенного образования и постепенного накопления обитателей.

Первые годы, когда численность каторжан в Шлиссельбурге еще не достигла двух сот человек, преобладающей категорией были политические.

Уголовные были в единичном числе и являлись уже выходцами из своего круга. Благодаря такому положению получилось, что руководящей силой тюрьмы стали политические. Их стремления, поведение, отношение ко всему окружающему ширились и углублялись, втягивая в свой процесс и уголовные единицы. В последующие годы, когда политические в Шлиссельбурге уже были в значительном меньшинстве, эта черта, благодаря медленному накоплению уголовных, не исчезла, но стала приобретать характер обычного права, сделалась своеобразной традицией. На этой почве не было возможности развиться „иванству“, не было оснований и для культивировки арестантского быта других тюрем. Что считалось позорным в первые годы, то не получило прав гражданства и в последние. Правда, такие вещи, как, например, картежная игра, появились в 1913 году и в Шлиссельбурге, но ее скрывали даже сами участники, и не было случаев, чтобы ею хвастались. Даже обычная в тюрьмах общая молитва и та не привилась, несмотря на всё усердие администрации и деятельную помощь, оказываемую ей хором певчих из каторжан.

Отличие установившихся обычаев в Шлиссельбургской тюрьме от других тюрем бросалось в глаза вновь прибывающего на первом шагу. Даже во внешности здесь не было той стадности в общих камерах, как в других: вместо общих бачков здесь каждый имел отдельную посуду для обеда и ужина, и уже одним этим подымался на ступень выше, чем скотина в общем корыте. В других тюрьмах более резко бросалось в глаза нитье, страдание за свое положение, здесь выявлялось стремление стать выше этого. Шлиссельбург казался и был на самом деле практической и теоретической школой жизни. В нем можно было найти только несколько единиц, которые не стремились бы узнать больше, чем они знали до прихода в тюрьму. В число их входили лишь те, которых резкое изменение жизни выбило из колеи и которые еще не могли оправиться. Для них еще не было никаких надежд на будущее. Для них всё было покончено. Никто из них даже не мечтал, что он выйдет из тюрьмы живым. Восемь, девять, пятнадцать лет впереди казались таким длинным сроком, окружающее таким беспросветным, мрачным, что думать о возможности пережить, перенести всё это, выйти за стены живым, им казалось чистой водой и утопией и возможным только для сверхчеловеческих сил. Это были люди слабоумные, забитые жизнью. Они не могли жить ни настоящим, ни будущим. Для них не было наслаждением расширить рамки сегодняшнего дня, не было для них наслаждением стремление познать жизнь, войти с нею в соприкосновение. Для них всё было в прошлом. Пред ними

стоял один вопрос: „к чему“, „для чего“. И они, не задумываясь, отвечали на него, что всё напрасно, бесполезно. Жизнь окончена. И в самом деле это были ходячие мертвецы. Подватыльники, сылавшиеся на них и окружающих, из щедрой руки жизни, вместо желанных ярких цветов и красок, украшающих житейскую дорогу, смутили их, разочаровали в ценности жизни — и они сложили руки, безропотно, с тоской ожидая своего последнего дня. Их не пробуждала даже ярость тюремщиков.

Кадры этой группы не были многочисленны, но их увеличивала другая группа, хотя совершенно ей противоположная. На каторге появились типы полные самолюбия, убежденные, что они всё знают, что им и знать больше ничего не нужно. Такая братия довольно сильно поражала своим нахальством и невежеством. Их самолюбие несколько не страдало, когда на каждом шагу обнаруживалось их незнание. Из такого положения они выходили всегда одним и тем же путем — путем резких нападок на виновника из разоблачения, и все-таки через некоторый промежуток времени они, как ничего будто и не было, снова пускались в споры о всем существующем и могущем существовать. Но они, так же как и их родственники, ничем самостоятельно не интересовались, для них не было жизни вне их, свое я поглощало весь мир.

Для остальных девяносто-пяти процентов Шлиссельбург являлся новым жизненным толчком. Он пробудил их и принуждал призадуматься над прошлым, настоящим и будущим. Он быстро уяснил, что является ненормальным, но неизбежным явлением на настоящей ступени жизни. Он всем существом своим, стенами, решетками, кандалами, грубостью надзора и администрации, с бесспорной очевидностью доказывал, что только увеличение знания уничтожит его, как ненормальный факт. Понявшие это быстро бросались на поиски знания и хватались за книги. Но первое прикосновение к книге скоро обнаруживало, что искатели и букв хорошо не знают. Нужно было начинать всё снова. И начинали. В этом обнаруживалось, если можно так выразиться, некоторое жизненное кипение, в котором совершенно не было разрыва между прошлым, настоящим и будущим, всё было связано общим интересом жизни, жажды знать и жить.

Первые годы Шлиссельбурга, когда властью была запрещена беллетристика, с небольшим исключением для Лескова, Шеллера-Михайлова, Жуковского и плодовитого Дюма, служат лучшим показателем, что среди каторжан почти отсутствовало стремление „убить“ время, что книжка не была средством занять праздные дни или уйти от дум, общения, уйти от прошлого и настоящего. Два-три десятка беллетристических книг в эти годы не были в постоянном расходе — из них несколько всегда оставались свободными. В то же время десятки всевозможных грамматик, этимологий, арифметик и геометрий были постоянно заняты. Отдел подобных учебников в библиотечном каталоге был самым обширным, и всё же он не мог удовлетворить всех требований. Присылаемые родными два-три рубля, как говорится „раз в год, да и то по обещанию“, тратились на приобретение учебников. За ними серьезно сидели, их серьезно изучали. Галдеж в камерах оканчивался вместе

с окончанием чаепития, обеда — и большинство усаживалось за книжки. Водворялась тишина, и только поэтому шлиссельбургские карперы, из всех существующих тюрем, видели в своих стенах меньше всего нарушителей общественного порядка и спокойствия. Такое явление оказывало на вновь прибывающих огромное давление. Оно сразу подчеркивало, что эта тюрьма не похожа на другие тюрьмы, что обычаи и традиции других тюрем здесь неуместны, что их нужно немедленно забыть и отбросить. Упорствовать не было возможности, так как упорствующий стал бы нарушителем арестантской жизни, следовательно поставил бы сам себя в исключительное положение изолированного, и ему не было никаких надежд на победу каторжанской массы, с которой бороться в тысячу раз труднее, чем с администрацией. Так в Шлиссельбурге создалась атмосфера и почва для выработки своего, особенного типа каторжанина. Этот процесс подвигался медленно, но без остановки. В Шлиссельбурге быстро отмирала старая каторга с иванством, кобылкой и манданством. Это отмирание многих спасло от окончательного крушения.

Выше было сказано, что шлиссельбургское каторжанское общество, по своему составу, имело те же подразделения, какие характеризуют общество и за стенами тюрьмы. Каждая из тюремных групп имела свою внутреннюю, интимную что ли, жизнь, которая почти целиком поглощала ее представителей, сплавляла их в одно целое, общей жизни отдавался только избыток, не поглощенный внутренней, только тот край ее, который не мог быть удовлетворен группировкой.

Группа тюремной интеллигенции слагалась из лиц, много думающих и много разговаривающих. Споры и разговоры поглощали у них большую долю времени. Главное место в этой деятельности занимали вопросы теоретического характера, попытки подведения фундамента под готовое здание. Простой жизненной материи здесь касались редко и мало. Казалось, что это люди больших дел, грандиозных планов, в действительности же все были представителями слова. Каждая мысль, идея схватывала их мертвой хваткой. Поднимались такие прения и дебаты, что дежурные надзиратели опасались „военных действий“ между спорщиками, считали необходимым взывать о спокойствии и тишине. И в самом деле, неопиту могло показаться, что, с одной стороны, затронутый вопрос решает всю жизнь не только спорщиков, но и всей вселенной, с другой — что его можно решить только боем, уничтожающим противника, поэтому — вот-вот, начнется рукопашная схватка не на живот, но на смерть. Однако дальнейшее течение спора скоро доказывало ошибочность первого впечатления. Дальше слов дело никогда не шло, да и не могло пойти, даже в том случае, когда поднятый вопрос казался материей, могущей быть претворенной в жизнь. Как только касалось дело практики, так тотчас же обнаруживалась неспособность без внешнего толчка приступить к осуществлению и неумение подойти к нему, в виду полного отсутствия деловитости и инициативы. Самым ярким образцом этой группы была, одно время, в начале 1912 года, вторая камера второго корпуса.

Еще не умолкал свисток надзирателя, поднимающий каторжан от сна, как начинался спор, иногда продолжавшийся неделями. Он захватывал поголовно всех, продолжался везде — в камере, в уборной и на прогулке — благодаря этому поднимался невероятный шум, проникавший в соседние камеры и на коридор. Как спорили, о чем спорили, показывает лучше всего, что тема „о весе солдатского штыка“ поглотила два дня. Ни одному из спорщиков не было никакого дела до этого веса, пожалуй и до самого штыка — из спорщиков ни один не думал лезть на него, но каждый проявлял такую горячность, которой не знал и Галилей при доказательстве верчения земли; каждый старался выявить такую точность, какую вряд ли требует палата мер и весов при установлении образца аршина или метра. На подмогу в этом деле притягивалось всё, что только могло быть использовано камерными знаниями: и грифельная доска, и физика, и геометрия, и алгебра и таблицы логарифмов Вега и Пржевальского. Если дело касалось других вопросов, как, например некрасовских „Русских женщин“, то оно тянулось целыми неделями, в течение которых ни на одну минуту не ослабевал к ним интерес спорщиков, все были поглощены темой настолько, что всё отходило на задний план. Идея, форма, запятые, типографская краска, воротник на плече автора — всё подвергалось самому тщательному исследованию. В этом споре всё вылезало наружу, всё в нему притаскивалось, применялись все методы критического анализа и, все-таки, кончалось тем, что всё сходилось на одном: „Русских женщин“ читать можно. И это после того, как каждый с пеной у рта, отстаивал свое понимание, совершенно несходное с пониманием других.

Такая камерная жизнь поглощала спорщиков целиком, она прерывалась только на время сна, после нескольких напоминаний со стороны надзирателя. Она даже не давала замечать тех настроений, которыми было полно положение каторжан и которые можно было устранить. Как только проникало к ним веяние времени — в виде ли тюремной прокламации или в виде телеграммы из соседней камеры — подымался спор на тему ворвавшейся, со стороны, мысли. Ожесточение и разногласие так овладевало участниками, что совершенно не оставалось места надежде на единое решение, которого ожидало затевавшееся предприятие. Они и не приходили к нему. Обычно выступление других камер, в самый разгар спора, вовлекало их в действие — и окончание своих дебатов они или переносили в карцеры, или откладывали до наступления мира и тишины, но не отказывались от них.

Для этой группы не существовало ни времени, ни пространства. Для них не имел значения ни корпус, ни камера, ни карцер — существовало только слово, — возможность играть словом и в этом только смысл жизни. Слово покрывало собою и тюремные стены и звон кандалов, и всё же они не теряли чуткости к общему положению и не были безучастны к переживаниям других.

Гоголь вкладывает в уста купца, продававшего Чичикову сукно „наваринского дыма с пламенем“, слова упрека приказчику: эх, пролетарий, вечно

в верхние, не свои сферы лезешь, — это определение для сущности тюремного пролетария подходит как нельзя лучше и вернее.

Тюремный пролетарий считает своей обязанностью участвовать во всем, что только не запрещается тюремной этикой, и не участвует только в том, что касается лично его. Не обходились без него и споры тюремной интеллигенции, в них он вносил, так сказать, практическую струю, тащил угнетавшую в поднебесье интеллигенцию за полы на грешную землю — в горячий спор о солдатском штатке или о месте рождения бобра, оказавшегося на шапке у Некрасова, он влиял червяка, пойманного соседом в макаронах, данных на ужин; каждый добытый спорами результат стремился воплотить в жизнь — если спорщики осудили Пушкина за приглашение на обед ненавистного ему Греча, пролетарий немедленно требовал прекратить свингание перед начальством, по команде надзирателя, шапок. Но иногда он и сам ставил спорщикам темы, и они всегда были прочной связкой между небом и землей, вроде того: „что появилось ранее — теория или практика и почему“. Но всё же пролетария интересовали больше всего вопросы повседневного бытия. От него не ускользала ни одна мелочь, вплоть до начальнической фуражки, которая определяла курс тюремной политики на сегодняшний день. Тюремный пролетарий — борец сегодняшнего дня, — в полном смысле слова — за лучшее будущее тюрьмы. Этим объясняется, что он не придавал самостоятельной ценности существующим благам, а также и то, что его не устрашали и существующие скорпионы. Он знал время, но пространство было чуждо и ему. Оседлость в одном корпусе он не ценил потому, что, благодаря своему бесповоротному характеру борца, не мог к ней привыкнуть, он вечно странствовал „по местам отдаленным“, или же вырабатывал свою тактику во мраке башенных карцеров, где он, от поры до времени, закалял свой дух и свое тело, приобретая нервное равновесие. Всеми улучшениями, которые появились в Шлиссельбургской каторжной тюрьме, каторжане обязаны именно этой группе: ее была инициатива, ее решительные действия и ее же великие жертвы в жестокой и тяжелой борьбе с администрацией.

Отличительной чертой каторжного крестьянства была домовитость, хозяйственность и полная ненависть к кочевому образу жизни. Из этих трех основ вытекало всё их поведение. Каждый из них как будто приростал к той случайной камере и койке, куда его бросило начальство. Он, как пчела в новом улье, сейчас же начинал обзаводиться хозяйством и ревниво следил, чтобы посторонний элемент не попадал в его огород. В его полочке лежат только его собственные вещи и только те, которые часто каждый день требуются — каждая на своем месте и в порядке. Все чужое, попавшее в его полку — вроде пролетарской ложки — немедленно, с подобающей бранью, изгонялось без присмотра хозяина. Остальные вещи, не являвшиеся предметами ежедневной необходимости, аккуратно сложены в сумке и спокойно висят на строго определенном гвозде, у койки. Полнота хозяйства, в виде чайника, стакана и блюда и, большей частью, ненужной чайной ложкой, поднимает его в его собственных глазах, и он смотрит на пролетария, имею-

щего только один стакан, как на какого-то вертопраха и голодранца. Переселения из камеры в камеру, а тем более из корпуса в корпус он никогда сам не предпринимает; если же его приходится совершить по требованию начальства, он относится к нему, как к личному оскорблению. Переселение срывает его с насиженного места, разрушает его порядки и хозяйство и тем причиняет боль. Это, так сказать, живое воплощение принципа „на одном месте и камень обрастает“.

Так слагается консервативная группа, хотя каждый из нее сознает, что в окружающем многое нужно поправить, устранить, но всё это требует движений, потасовок, поэтому он со многим мирится, много спускает и товарищам и начальству, спускает последнему и такие вещи, за которые пролетарий давно бы уже наскандалил, давно бы уже сидел в карцере, без права возврата в прежнюю камеру.

В повседневной тюремной борьбе, мало продуктивной и касающейся большей частью разных мелочей, тюремное крестьянство участия не принимает. Нужны события, из ряду вон выходящие, чтобы втянуть его в борьбу, но и тогда оно участвует больше всего своей массой, чем активностью. Оно заинтересовано больше личным благополучием, поэтому из его рядов и выходит больше всего работающих в тюремных мастерских.

При тюремной пропаганде достаточно осмотреть не объект, но только хозяйственную его часть, чтобы определить успех предполагаемой агитации. Если в хозяйстве есть порядок, то нужно быть очень талантливым пропагандистом, чтобы добиться успеха. В лучшем случае удастся получить согласие не отставать от „мира“.

Однако каторжанское крестьянство, по своим потребностям, стоит выше вольного крестьянства, и здесь параллель расходится. На тюремном крестьянстве не встречается одежды в том виде, как она вышла из рук творца: здесь всё пригнано впору, с большими замашками на щеголеватость. Подкалывальники аккуратные, левый всегда на левой ноге; кандалный ремень с пряжкой и не закручен, но висит ровно и правильно; соединительное кольцо кандалов переплетено веревочкой или проволокой, чтобы не вертелось, как ему вздумается, и не мешало ходить. Этот крестьянин любит поговорить и почитать, но поговорить спокойно и серьезно, да всё о вещах хозяйственных. Интересуют его материя и социальные, но лишь в том объеме насколько их можно использовать. Не больше и не меньше.

Все эти три разновидности сливаются в одно целое, сохраняя свои отличительные признаки, и живут единой жизнью тюрьмы, решеток и кандалов. В этой жизни, в противоположность ротникам, нет примирения с существующим и покорного преклонения пред такими вещами, как Судьба. Наоборот, здесь скорее можно подметить стремление взять свое будущее в свои руки, быть хозяином самого себя. Быть может эта черта является реакцией воздействию администрации, задачей которой было сломить человека, именно лишить возможности быть самим собой. Среди каторжан не было той разрозненности, которая характеризует шпану, вувыркал. Эту черту изглаживает

долголетняя совместная жизнь и одинаковое будущее, предстоящее для всех одинаково. Но среди каторжан не было места и принципу, объединяющему ротников. Среди каторжан не проявлялись с такой откровенностью, так торжествуяще, ложь и подхалимство, хотя бахвальство выступало довольно резко.

Каторжане представляют собою тип более цельных людей, в сравнении с кувырками и ротниками, и вероятно поэтому на них менее заметно разлагающее влияние тюрем. Само собою понятно, что большая часть наличного населения каторги отбывала наказание за однажды совершенное преступление. Если среди них и было некоторое число имевших несколько судимостей, то все они носили иной характер других преступлений, поэтому и этот элемент в Шлиссельбурге утрачивал свои черты и приспособлялся к общей массе.

Из „культурных“ приобретений других тюрем в Шлиссельбурге прочно утвердился только тюремный язык, названный, кажется Бодуэн-де-Куртэне, блатной музыкой, да и то только в той части, которая была совершенно необходима при обращении одного каторжанина к другому в присутствии надзирателей.

Надзиратели, хотя и служили целыми годами, были не очень наблюдательны, и среди них не было знающих даже тюремной азбуки, а „языка“ и подавно. Иностранцами же языками было неудобно для каторжан пользоваться, так как мало знали их. Поэтому при передаче записок, газет, ножей и употреблялась „блатная музыка“, получившая некоторое право гражданства в европейски-образованной тюрьме.

При раздаче обеда совершенно нельзя упоминать таких слов, как записки, газета или нож. Упоминание обязательно вызывало строгий обыск, до которого надзиратель насторожился и не дал бы слова пикнуть, но когда записку, тщательно упакованную и сверху облепленную хлебом, бросали в миску и, подавая в камеру, говорили:

„там есива, обратно к ручке“, надзиратель не подозревал, что записка передана и уже условились, как получить ответ. С газетой же часто получался настоящий курьез.

„Товарищ, вам рваные портянки даем, потом сплавьте туляку“.

Надзиратель вмешивался самым серьезным образом:

— Раз портянки рваны, надо просить отделенного сменить...

— Ничего, обойдемся...

— Чего же обходиться, у казны хватит...

— Всё равно новых не дадут.

— Ну, уж, не ври, дадут и новые, сам видел...

— Пять лет сижу, а новой портянки не видал, все измусоленные за неделю назад...

— Ври, ври, каждую неделю стирка...

II.

За стенами Шлиссельбурга царил миф, что он является политической каторжной тюрьмой. И теперь еще есть попытки утвердить такой взгляд

окончательно. Но это мнение совершенно не отвечает действительности. Что заставляет бывших политических каторжан замалчивать действительность, сказать трудно. Мне лично думается, что главная причина лежит в желании расширить свой ореол, отчасти в желании затушевать свое нахождение в обществе разного сброда, среди которого встречались экземпляры, совершенно утеравшие образ человеческого подобия. По моему мнению, такое отношение к прошлому совершенно недопустимо. Оно прежде всего извращает факт и уже одним искажением бросает тень на моральный уровень политических. С другой стороны, создается почва для всевозможных авантур именем Шлиссельбурга именно утратившими человеке подобие. Кроме того, не нужно принижать человека ни перед обществом, ни перед государством. Поэтому стыдиться „сброда“ не приходится, среди него было много людей, которые, в сравнении с разными начальниками от мала до велика, поистине были чистыми ангелами. Политическими каторжанами в Шлиссельбурге было сделано для человека в сто раз больше, чем вместе взятыми всеми патронатами, попечительствами и даже церковью. В действительности положение было таково, что только в первые два-три года, после преобразования крепости в каторжную тюрьму политические каторжане количественно превышали уголовных. К моменту заполнения первого, второго и третьего корпусов число политических, приблизительно, равнялось числу уголовных. После окончания постройки четвертого корпуса, давшего сразу больше 500 мест, соотношение окончательно нарушилось, и уголовные получили громадный перевес. Политических стало не больше одной четверти всего числа шлиссельбургских каторжан.

В число уголовных входили осужденные за убийства, экспроприации — по определению закона — за разбой. Были единицы за изнасилование и фальшивомонетчики. Категория экспроприаторов вмещала в себя довольно значительное, если не преобладающее, число участвовавших, на воле, в политическом движении. В годы реакции, после разгрома революции, этот элемент, как более молодой, менее выдержанный, с кипучей энергией, не мог примириться с медленной, кропотливой революционной работой. Самостоятельно, или под влиянием анархо-максималистской пропаганды, он видел революционность только в крайности, выходящей из рамок обыденщины; понятно, что вся революционность, с такой точки зрения, заключается только в факте действия, основа революционности — выработка революционного мировоззрения — отходит на задний план. Для действия достаточно определить только объект, последствия отодвигаются и затушевываются. Таким образом образовались самостоятельные группы, оторвавшиеся от социалистических организаций и программ, со своими самостоятельными требованиями немедленного насаждения трудовой республики, полного уничтожения капиталистического строя и считавшие дорогой к этому политический и экономический террор, а средством — экспроприацию казенных и частных денежных сумм. Как политический, так и экономический террор требовал длительной специальной организационной подготовки, но она была не по силам малочисленным раз-

*

розненным группам. Дело само собою сводилось только к экспроприациям, которые быстро утрачивали, так сказать, свой общественный характер, становились делом личным, в лучшем случае, — делом, не выходящим из рамок интересов данной группы. Быстрое появление денег, требующее только минутного нервного напряжения, и такое же быстрое их исчезновение — быстро производило и разлагающее влияние: участники скоро становились профессионалами и разлагались окончательно. Выступление политических партий против таких общественных явлений, при узкой полупольной работе, не давало нужных результатов. Отсюда понятно, почему этот действительно боевой революционный элемент, под флагом крайности, творил великое дело реакции. Самый большой вред реакция наносит тем, что она суживает поле приложения индивидуальных сил к общественной работе и не дает выхода энергии. Это первая и главная основа всех общественных эксцессов и первое начало всех грядущих для страны бедствий. Групповство являлось продуктом усиливающейся реакции, уничтожившей возможность приложения к общему делу уже пробужденных сил, оно и погубило без славы, на пользу реакции. Этими группами было совершено несколько террористических актов, но они были так ничтожны по своему значению и так малы, что совсем потонули в массе экспроприаций и никакого следа в революционном движении не оставили. Попавшие за эти дела на каторгу сохранили за собою специфическое название „групповцев“, и здесь они, будучи по закону уголовными, часто поддерживали политических.

Разряд экспроприаторских дел и сами экспроприаторы заслуживают серьезного внимания для исследования форм и психологии общественной реакции. Такое исследование легче всего уяснит, какие влечет бедствия упразднение гражданских свобод.

Главное ядро осужденных за убийство давали Шлиссельбургу губернии Новгородская, Псковская и Петроградская. Из них мало приходило осужденных одиночек, но больше всего „пачками“, по одному делу не меньше трех человек, было и по одиннадцати. У всех состав преступления был один и тот же.

Каждый престольный праздник сопровождался в деревне праздничными пьянствами дня по три, иногда и целую неделю. И ни один из „праздников“ не обходился без убийства. В ход пускались „песочины“ — камни, „хворостины“ — оглобли и ножи. Пять, шесть и более человек убивали одного и получали по девять, десять лет каторги. Причины для драк были всегда самые пустяковые: в прошлом году телка перешла межу; другой скосил на меже охапку сена; обошли на празднике чаркой водки; деревенская красавица подарила противника улыбкой и т. д... На каторге публика отрезвлялась, но сохраняла свою задирчивость. Приглядываясь к ним, разговаривая с ними, невольно приходишь к выводу, что, если в этих делах и нужно было кого сослать в каторжную работу, так правительство — от урядника до царя включительно, только не этих новгородцев и псковичей, обычно именуемых „скобарями“. Почти поголовно неграмотные, они на воле, кроме водки,

ничего не видели и увидели только на каторге, что в жизни есть кое-что и иное довольно интересное.

Все эти „убийцы“ были самыми обыкновенными людьми, и ни одного из них нельзя было втиснуть в рамки ломброзовского определения преступника с злой волей или наследственностью. Деревенский темный трудовой народ — и только.

Из знаменитостей уголовного мира в Шлиссельбурге сидел Чайкин, осужденный, в последний раз, за кражу „чудотворной“ казанской божьей матери. Он, даже среди уголовных, не отличался большим развитием. Славу ему создали несколько удачных побегов и та независимость, с которой он держался по отношению к тюремному начальству: упрямый, непокорный, настойчивый и последовательный, Чайкин никогда не допускал с собою никакой фамильярности. Такое поведение, подымало его авторитет в глазах уголовной мелочи, он знал такое отношение к нему и эксплуатировал своих почитателей. Эксплуатация заключалась, главным образом, в том, что по прибытии в тюрьму Чайкин только придумывал проекты побегов, передавал своим поклонникам и больше не ударял палец о палец, до тех пор пока оканчивалась подготовка. Ему оставалось только выйти из тюрьмы, а почитателям — досиживать свои сроки и гордиться помощью знаменитости. Вся работа Чайкина ускользала от наблюдения тюремщиков, и у них, от мала до велика, вплоть до Главного Тюремного управления, укоренилось мнение, что Чайкина действительно трудно удержать в тюрьме. Чтобы взять над ним верх, тюремщики уделяли ему слишком много внимания. Засадив его в Ярославскую тюрьму, в камере в окнах устроили двойную решетку и, однако, достаточно было простого бахвальства Чайкина, что ни две, ни три решетки его не удержат, чтобы его забрали из Ярославля и под строжайшим караулом перевели в Шлиссельбург. Замысел Чайкина было маневром к переводу в другую тюрьму, он только не учел возможности Шлиссельбурга, где уже совсем не было „шпаны“. В Шлиссельбурге его посадили в камеру № 22 третьего корпуса, находившуюся прямо против наружного поста надзирателя, что устраняло возможность бегства через окно. К двери, с коридора, приделали второй замок, ключ от которого постоянно находился у дежурного помощника начальника, и без его ведома в камеру Чайкина никто не мог войти. Так страх лишил доверия не только надзирателей, отделенных, но и старших. И всё же предосторожности на этом не остановились: его каждый год фотографировали несколько раз во всех возможных видах — в профиль, en face, стриженным наголо, с усами, без усов, без усов с бакенбардами, без усов и бакенбард, но с бородой, с волосами со всяческими прическами, использовали все возможности, вплоть до пенсне и синих очков. Все такие действия подсылались допущением возможности бегства и преследовали облегчить, елико возможно, его розыск и арест. Тюремщиков спасли не эти меры...

Чайкин — довольно крупного телосложения, когда очутился в Шлиссельбургской тюрьме, на одной казенной порции, быстро начал истощаться и к тому моменту, когда связался с тюрьмой, когда проглянула возможность

побега, он ослабел, стал малосильным в то время, когда именно нужна была своя сила и не было возможности рассчитывать на чужую силу.

Несколько совершенных побегов привели к тому, что каждый новый арест удлиннял прежний срок наказанием по новому преступлению, так как закон для бежавших не допускал совокупности наказания. В результате, после суда за казанскую, он имел срок каторги в тридцать три года. Преимущество перед бессрочными было одно — не приходилось носить ручных кандалов. Отсидеть столько, когда половина жизни была уже за плечами, конечно, не было надежды. Но пред ним стояла возможность поставить крест и над тридцатью тремя годами, не бежавши из тюрьмы.

К Чайкину зачастила „заступница арестантская“ Елена Андреевна Воронова. Посещения ее были продолжительны и велись с глазу-на-глаз, своеобразное tête-a-tête. Содержание бесед хранилось втайне, но видно было, что за Чайкиным ухаживают из внешнего мира: Воронова снабжала его чаем, сахаром и деньгами сравнительно изобильно. Чайкин получил возможность тратить, кроме расходов на продукты, на покупку книг рублей по десяти, пятнадцати. Сравнивая такие факты с тем, что Воронова своим клиентам, даже крестникам, не давала никогда больше полтины, да и то не каждый месяц, я не нахожу оснований сомневаться в освещении Чайкиным загадочных посещений. Частое посещение Вороновой и долгие беседы с нею заинтересовали сидящего под ним, тоже знаменитого, Орлова, и по просьбе последнего мною был написан Чайкину запрос „в чем дело“. Чайкин просто и кратко сообщил, что Воронова бывает у него по поручению петербургского митрополита. Ему обещают полное помилование и свободу, если он подаст через тюремную администрацию собственноручно написанное заявление, что он на суде соврал, и казанскую не расколол топором и не сжег, но закопал в месте, которое теперь ему указывает Воронова. Дальше он писал, что он не верит обещаниям ни Вороновой, ни митрополита, и предъявил требование сперва освободить его. Переговоры продолжались около года, наконец посещения прекратились. Чайкин прислал еще записку и сообщил, что он послал Воронову ко всем чертам, он чувствует себя больным, долго жить не надеется и не хочет участвовать в поповском обмане темного народа.

С этих пор Чайкин снова на тюремной порции и начинает подвергаться прижиму со стороны тюремщиков и попадать в карцер. Последний раз его посадили на месяц, но недели через две он пришел в свою камеру уже с помощью надзирателей. Через неделю или полторы Чайкин умер и наотрез отказался от покаяния и услуг священника, с ним умерла всякая возможность нового появления чудотворной казанской иконы, умер и страх тюремщиков перед возможностью побега из тюрьмы светила уголовного мира Чайкина.

Более интересным типом был упомянутый старик „Яков Иванович Орлов“. Какое у него было настоящее имя, вряд ли кто, кроме него самого, знал. Девятнадцать лет он был сослан в каторжные работы на два года и восемь месяцев за драку с убийством. Теперь ему было 57 лет. Этот промежуток, в 38 лет, „судьба играла человеком“. Орлов обзавелся в Сибири

семей, сделался бродягой, отсюда и его фамилия — сибирские бродяги из каторжан все имеют только летающие, звучные, кроважадные фамилии: Орлов, Соколов, Ястребов и т. п. За ним числилось несколько бессрочных приговоров, не попавших под статью о совокупности. Долгие годы тюрьмы отложились на этом последнем представителе вымирающей, когда-то многочисленной, армии великих путешественников по долам и весям необъятной России. Если Тютчев доказывал, что у России:

„ у ней особая стать,
Ее аршином общим не измерить...“,

то, нужно признать, что бродяги доказали возможность измерить ее, не аршином, но шагами собственных ног, начиная от Сахалина и кончая Вартой.

Орлов казался настоящим разбойником, свирепый вид ему придавали в особенности длинные, густые брови и арестантская шапка, надвинутая на лоб. Говорить он старался так, чтобы каждое слово показывало, что он не знает пощады, что он полон мстительности за свою разбитую жизнь. Получалось впечатление, что каждое слово, каждое движение, каждый взгляд пропитаны великой ненавистью к правящим классам, богачам и интеллигенции. Чтобы ненавидеть каждую группу в отдельности, не обобщая их, у него пожалуй, было оснований вполне достаточно. Не только тюремщики, но и товарищи по каторге серьезно боялись его. С ним опасались сидеть в одной камере или вступать в споры. Главной причиной этому была вспыльчивость Орлова и способность при всяком случае пускать в ход кулаки, несмотря на то, что они вечно были скованы железными наручниками.

Правящим классам Орлов не мог простить, что их законы, их суд сбили его с той узенькой полоски земли, на которой он мог трудиться. Он, с пеной у рта, доказывал, что именно правительство „пустило его вдоль по каторге“. Не попади он в Сибирь, не сделайся вечным ссыльно-поселенцем, отданным в рабство „чалдонам желторотым“, он, по его словам, больше в тюрьму не попал бы. Свои доказательства он неизменно подкреплял правильной мыслью в тюремной песне:

Работой нам нельзя заняться
В глуши уездных городов,
И поневоле идешь скитаться,
Лишенный прав и паспортов...

Вернее этого, по его мнению, люди ничего не могли придумать.

Вечно голодный, не имеющий приюта, принужденный каждый кусок хлеба выманивать у другого, он, конечно, не мог питать чувств почтения к богатым, которые на глазах у него вели праздную и роскошную жизнь.

Тюремщики являлись его прямыми врагами, с которыми он вел постоянную ожесточенную войну. Его сажали в карцер, пороли, избивали, морили голодом и „залили за шкуру столько сала, что сам бесплотный ангел, наверняка, осатанел бы“. Но не могли его смирить.

Для ненависти к интеллигенции у него тоже была причина, которую он всячески старался сохранить. Он доказывал, что интеллигенция не вполне

отдается исканию свободы, что она ищет покоя и комфорта. Основанием доказательства служил организованный побег из тюрьмы в Ростове-на-Дону.

Это событие из разных источников рисуется в таком виде. Ростовская тюрьма, вообще, славилась сильно развитым „иванством“ и была, выражаясь тюремным жаргоном, „свободной тюрьмой“. Политические заключенные имели не только старосту, но и собственную лавочку и собственный котел, они не пользовались казенной пищей, все камеры на день открывались, и препятствий к общению заключенных между собою в пределах коридора не было.

Когда Орлов, бежавший из другой тюрьмы и уже осужденный в бессрочную каторгу, попал в Ростовскую тюрьму, он решил воспользоваться возможностью бежать снова. Организованные мелкие арестанты обнаружили на коридоре одного надзирателя. Чтобы захватить остальных надзирателей и администрацию, арестанты при входе на коридор поставили пост и подняли крик, что в одной из камер идет драка на ножах, и, как только кто-нибудь из надзора вбегал на коридор для прекращения драки, его немедленно „брали на хомут“, обезоруживали, связывали и тащили в камеры. Так удалось захватить всех надзирателей и нескольких помощников, овладеть всеми ключами, в том числе и от одиночек, где камеры были на замке. Остался только свободным один начальник тюрьмы, который пытался бежать в тюрьму несколько раз, но каждый раз возвращался и за дверь ни разу не показывался. Тюремная очутилась в руках арестантов, начали открывать коридоры и камеры, предлагая всем бежать из тюрьмы.

В одной одиночке сидел эсдек К., осужденный за хранение бомб, — принадлежавших его знакомым товарищам, ночевавшим в день ареста у К., но успевшим выскочить в окно, — на пятнадцать лет каторги. Когда открыли камеру К., последний спросил: „кто организует побег — уголовные или политические“ и узнав, что инициатива уголовных — отказался наотрез.

Бежало много уголовных, много политических, убежал даже политический староста, отбывавший восемь месяцев крепости и досиживавший последние дни. Но большая часть гуляла недолго: переломили в первые дни. Недолго гулял и Орлов, его арестовали за убийство четырех полицейских стражников в Псковской губернии.

По сведениям Орлова К. сидел по фальшивому паспорту „полипа“, сидел за чужое дело, и ему нужно было бежать, так как своим отказом от побега К. признавал справедливость судебного приговора по отношению к себе. На таких данных Орлов строил теорию, что К. не знает цены свободы, что ему нужна только вывеска борца за свободу, а сама свобода ему „нужна, как в известном месте“ пожарная лестница“, и выводом из теории было требование, чтобы К. лишили „права слова“ в товарищеской среде при обсуждении тюремных дел.

Что интеллигенции чужда солидарность и товарищеское единство, Орлов доказывал случаем с помощником начальника Талалаевым.

Талалаев, действительно, из палачей палач, он прямо наслаждался, когда присутствовал при телесном наказании каторжан; с наслаждением, он и из-

являл их собственноручно. Все буквально его ненавидели, считали позором не только говорить с ним, но даже отвечать на его вопросы. Его избегали как чумы. Талалаев знал такое к нему отношение и старался отплатить каждому, кто только подвергивался под руку. Подвернулся и Орлов, не ответив на вопрос помощника. Талалаев, с места в карьер, ударил старика кулаком по лицу. Орлов быстро схватил наручники с левой руки и распушенной во всю длину цепью ударом через всю физиономию сбил с ног Талалаева, сел на него верхом и начал его молотить. Надзиратели бросились выручать свое начальство, но не могли стащить с него каторжника. Единственный выход был в том, что тащить помощника из камеры за ноги, вместе с усердствующим на нем Орловым, на коридор, где большее пространство облегчило бы победу. Но в дверях Орлов уцепился за притолоки и вытащить не удалось. Орлов стал кричать о помощи. Он ожидал, что сидящие в одиночках поддержат его стуком в дверь, шумом и гвалтом. Но провизгательный крик совершенно умертвил весь корпус — все знали, что творится нечто неладное, но никто не подал признаков жизни. Надзиратель Потапов притащил электрический провод, сделал из него аркан, накинул его на шею Орлову и придушил его, только таким путем удалось освободить Талалаева с поцарапанной и рассеченной рожей. Орлова сильно избили, добавили сто ударов розгами и выдержали в карцере месяц.

Тишина в корпусе во время боя больше всего возмущала старика. Он был убежден, что не стали шуметь из боязни лишиться „комфорта“, что молчанием признали себя на стороне тюремщиков.

Порой он любил подтрунить над интеллигенцией каким-нибудь практическим вопросом.

На прогулке собрались в вучу и мирно беседуют, подходит Орлов, внимательно слушает и вдруг начинает:

— Вот, вы все ученые, сумели свесить солнце, знаете сколько оно весит фунтов, а скажите-ка — откуда появилось слово „не звятай“.

Внезапный вопрос и отсутствие лингвистов ставили в тупик. У Орлова был неиссякаемый запас разных народных и местных выражений, и он исканием начала корней часто сажал в калошу студентов и торжествовал.

— Ну, вот, до чего человеку дела нет, вы знаете, а что у него под носом — не видите, а тоже... За будущее боретесь...

Орлова побаивались и избегали сидеть с ним в одной камере, но он был хорошим сокамерником. В камере ни одного грубого слова он не употреблял; очень любил чистоту, в камере всегда было чисто и аккуратно — ни пылинок; начальство к его камере не придиралось — оно убедилось, что, чем меньше его трогать, тем он спокойней, смотрело сквозь пальцы, когда он самовольно, чтобы вымыть камеру, снимал наручники и вешал их на умывальник, после опыта, когда Орлов для доказательства, что „запор не от вора, а от доброго человека,“ в присутствии начальника открыл очень сложный американский новый замок простой иголкой.

Старик Орлов — неграмотный, обладал колоссальной памятью и являлся живой хрестоматией тюремных, русских и сибирских народных песен и легенд

не меньше чем в десять томов, и мог дать объяснение любой песне, ее происхождению и значению. Он и сам любил не только рассказывать, но и слушать чтение книг. Память у него настолько сильна, что, прослушав роман Дюма „Три мушкетера“ или Достоевского „Братья Карамазовы“, не говоря уже о таких вещах, как Короленковский „Слепой музыкант“ или „Без языка“, он на прогулке передавал такому же неграмотному, как и сам. Урбановичу, содержание почти буквально. В этом факте замечательно, что ему не приходилось выкладывать отсебятину, чтобы не дать почувствовать разрыва в сюжете.

Все прочитанное он внимательно без перерыва выслушивал и только по окончанию подвергал своеобразной критике с точки зрения правдивости и реальности изображения и суда, над действующими лицами.

За ним можно было предположить массу убийств, но и это не лишало его добродушия. В камере удавалось возмутить его только „псковским гимном“:

Едит ен, едит ен (2 раза)
На сером, на коне,
А фуражка на ем (2 раза)
Сатаню торпить,
А рубашка на ем (2 раза)
Цацта клетчатая...

Дальше старик не выдерживал, выявлял свой „скопской“ национализм и начинал ругать всю Россию, вспоминая „паленые оглобли“, „обротников“, „соломатников“, „толегонятых“, „косопузых“ и т. д. — он знал название всех губерний в этом роде, и все они „не годились в подметки Псковской“. Не помогало и указание, что защита его Псковской губернии выдает его с головой, уличая, что он уроженец Псковской губернии.

— Ну что же, пусть начальство знает, что я скобарь, а ты кто? Ну кто?

— Я ничего, ругай мою губернию, мне всё равно.

— Всё равно, а если я доважу, что у вас в печке оглобли обжигают, чтоб легче просить милостыню на погорелое... Ну, что ж скажешь...

— Я на погорелое не собирал...

— Не собирал. А уезда какого.

— Дорогобужского...

— Ну, так кресты продавал, песочек, дубовые щепки от Нила, знаю... Щетинки. Кожуринки. Кусочек холста... Хозяин всё кричит: „нету“, а ты ему „милостыню, ради Христа“.

— Вали, вали, старик.

— Чего вали, ты Псковскую губернию не тронь, раз она не на твоей дороге...

В своих рассказах Орлов никогда не касался своих преступлений, зато давал очень яркие картины природы Сибири и России. Очень много уделял внимания своей дочери, которой он только и желал, чтобы она окончила гимназию и стала учителькой. Язык его дышал силой и непосредственностью, был так богат, что вызвал бы зависть и Дала.

Он не надеялся выйти живым из Шлиссельбурга — попытки бежать были неудачны, часто грустил. Но Февральская Революция вынесла и его. Почти два года был председателем волостного исполкома, пользовался уважением любимых им своих земляков, участвовал в уездных съездах. Кто его видел в этой роли, вряд ли поверил бы, что это тот самый бродяга, который воевал в Шлиссельбурге с тюремщиками... Среди уголовных, на которых революция подействовала спасаяще, — старику принадлежит первое место.

Достоин некоторого внимания, пожалуй, с точки зрения психиатра — больше, Хитрош, безземельный крестьянин Люблинской губернии, промышлявший мелкими кражами, пока, наконец, полиции удалось подвести его под военный суд и закатить на двадцать лет каторги.

С виду придурковатый, совершенно не имеющий понятия о чистоплотности, неграмотный, вечно смотрящий исподлобья — Хитрош совершенно преобразался, как только кто-нибудь упоминал о свободе. Свободу, в физическом смысле, он любил больше всей жизни и действительно горел ею. Вся свою шлиссельбургскую сидку он убил на искание путей к ней. Раз ему удалось перелезть через крепостную стену, перебраться через полузамерзшие Невг и канал, уйти верст на двадцать, сбить с одной ноги кандалы, но в таком виде он нарвался на крестьянина, который, с помощью односельчан, изловил беглеца и доставил в Шлиссельбург, надеясь получить обещанную законом награду за поимку в три рубля. Начальник надол крестьянина — дал ему только двугривенный, Хитроша подковали снова и посадили в одиночку. В другой раз Хитрош пробовал разобрать стену в карпере, но вылезти не смог.

При переводе в другую камеру он прежде всего тщательно изучал ее топографию и отыскивал места „где можно устроить хорошую „хавиру“ для хранения всех запрещенных инструментов: пилки, подпилков, ножей и т. п.“. В деле прятки он достиг совершенства: его инструмент не становился никогда трофеем тюремщиков. При переселениях же он всю эту „музыку“ носил просто в заднем проходе.

Тяжелый опыт за пять лет убедил его, что бежать из Шлиссельбурга почти невозможно. Чтобы избавиться от Шлиссельбурга он сделал начальнику заявление о переводе в другую тюрьму, подкрепив угрозой; „не переведут за неделю, убью надзирателя, отделенного и помощника.“ Когда говорил эти слова, устремив взгляд в сторону, вид был у него такой свирепый, что вполне доказывал отсутствие шуток. Перевели в Харьков. Что было с ним потом — неизвестно.

Описать Хитроша трудно. Чтобы иметь о нем представление, его нужно было видеть в те дни, когда готовился и провалился побег в соседней, десятой камере старого корпуса. Но не может быть сомнения, что в действительности это был человек больной. Существует ли эта болезнь в лексиконе врачей, мне неизвестно. Определить ее можно только поверхностно, как болезнь дикаря физической свободы, страдания она причиняет не меньше, чем и всякая болезнь, включая и туберкулез костей и легких.

Довольно порядочную группу составляли осужденные за дисциплинарные преступления — солдаты и матросы. Преступления матросов почти все совер-

шались под влиянием опьянения. У солдат наоборот, опьянение в обвинительных актах фигурировало как исключение, но преобладали ссылки на невыносимое положение. Объяснение такого факта лежит в том, что солдат в армии получает полтину в месяц, матрос же — несколько рублей.

Дисциплинарные преступления больше всего касались нанесения оскорблений действием начальствующему офицерству. Почти все солдаты и матросы были осуждены за самый факт оскорбления, хотя и в самом судебском обвинительном акте часто сквозила довольно сильная психологическая подкладка в пользу оскорбителя.

В Шлиссельбург явился „хохол“ Сорокалита, добродушный и совершенно безобидный детина, из гусарского „его величества“ полка на двенадцать лет каторжных работ. Из обвинительного акта видно, что эскадронный командир с первого дня невзлюбил хохла за его веселость и невозмутимость. На этой почве он часто ставил Сорокалиту „под полную выкладку“ кирпича, назначал внеочередные дежурства, заставлял сверх обязанностей чистить лошадей и дошел до того, что совершенно пьяный погнал богобоязненного хохла в пасхальную ночь чистить уже вычищенные стойла своих собственных лошадей, к которым Сорокалита не имел никакого отношения. По окончании этой работы командир потребовал Сорокалиту в офицерское собрание, где и принялся ругать его площадной бранью. Среди малороссов много этажная брань и среди сельского населения не пользуется теми правами гражданства, которые она завоевала среди великороссов. Когда командир дошел до родителей, Сорокалита отвечал:

„Вы, ваше высокоблагородие, не лаяйтесь и мою мать не ругайте“.

Это еще больше раззадорило эскадронного, и он хотел собственноручно проучить упрямого хохла. Но последний оказал сопротивление, ударил офицера и обратил его в бегство. Обвинительный акт усматривает первое оскорбление в том, что солдат, сказав начальнику „не лаяйтесь“, назвал офицера собакой. Это совершенно неправильно, слово должно быть точно переведено „не ругайтесь“. Удар офицера и погоня за ним по всему офицерскому собранию акт рассматривает лишь как отягчающие вину обстоятельства. Правильно судить, они являются самообороной и только. И двенадцать лет очень и очень много.

Сорокалита долго не верил, что его всерьез лишили всех прав и сослали на каторгу. Ему казалось страшным, что его, примерного солдата, кончавшего осенью военную службу и ни одного раза не бывшего в карцере и совершенно не пившего вина, могут сослать за то, в чем виновато „его высокоблагородие“. Он верил, что его решили послать „на время“, чтобы он узнал, как и где живут люди. Но восемь месяцев суровой действительности разбили его наивность и поколебали уверенность. Он написал командовавшему войсками округа в. к. Николаю Николаевичу прошение о помиловании. Ответ был ошеломляющий: князь лично знал Сорокалиту как примерного солдата, знал, что солдата довели до проступка, но объявлял „покупение на начальника, даже в трезвом виде, для примера другим солдатам,

не подлежит помилованию". Сорокалита ответ выслушал спокойно, понял и только нашел нужным сказать „гады“, за что и отсидел в карцере две недели. После карцера он совершенно изменился: убедился, что с ним не шутят, о деле и о красном мундире больше не заикался. Наследственный хохол стал брать верх: вернулась веселость, полилась малороссийская песня. Чистым грудным тенором, как ни в чем не бывало, распевал народные малороссийские песенки, больше всего юмористические. Поет трагедию-дурочки:

Та бежит кудра,
Та бежит кудра,
Гола по морозу, боса по дорож,
А в сустречу ей
Омерца везуть...
Вона ж им каже
Дай же вам боже
Возити не перевозити, таскати не перетаскати.
Там кудру били,
Там волочили,
Червие кудри окровянили...
Мати, моя мати
Мати-ковалиха
Породила мене на беду на лихо...
Бо ты кудра дурна,
Бо ты неразумна...
Кому такой случини случит,
Тот тоди каже:
Дай ему боже
Царство небесное, вечный покой...

а у самого пляшут „все суставы с ног до ушей“. Не успел окончить, как с языка срывается:

Танцувала рыба з раком,
А петрушка с пастернаком ...,

кандалами отбивает такты „гопана“ — вот, вот понесется в „присядку“.... Своим весельем он так освещал камеру, что все чувствовали себя как-то легче и все любили „веселого хохла“. Но в редких случаях охватывала и его грусть, тогда неслошь, порой опускался до шопота, что-нибудь глубоко-печальное или традиционная:

Закувала сыззозула
Та во синим леси
Заплакали хлопцы-молодцы
Та в тяжелой неволи...

Видно было, что печаль и тоску он переживает вполне, уносится со звуками в далекую Украину, где батько старик уже утерал „надию побачить ридного Олеса“... Но печаль и тоска не свойственны были его жизнерадостному организму. Такие моменты печали были редки, и он в эти минуты не

любил, чтобы другие слушали его песни, он пел их для себя — и на все просьбы спеть отвечал отказом даже друзьям. Раз только он спел;

Видят витры, видят буйны
Аж деревья гнутца...
О, як болить мое сердце,
Аж слюзи сами льютца...

Это пение действительно показало, насколько могут быть глубоки переживания человека, насколько силен автор и как хорошо он понят народом. Мне много приходилось слышать и арестантских, и народных, и книжных песен, но я никогда не слышал, чтобы певец мог столько вложить в песни души, как Алексей. Песня была так захватывающе исполнена и полным голодом, что стоявший на посту самый свирепый надзиратель, Сергеев, и подошедший отделенный Коновалов не только не потребовали „прекратить пение“, что всегда делалось, но до конца выслушали молча и ушли от камеры, когда умолок Сорокалита, не сказав ни одного слова, и не донесли высшему начальству, что является поразительным исключением. Но, очевидно, пение не дешево обошлось и певцу: он недели три ни с кем в камере не говорил ни слова...

Полной противоположностью веселому хохлу был своеобразный искатель правды Милованов. До призыва весь свет для него заключался в Елатемской глуши — поля и лес породили в нем жажду природной естественности. С этой жаждой он попал в гвардейский флотский экипаж, из него на императорскую яхту „Штандарт“. Он скоро получил звание „дядьки“ царской дочки Насти. Но его мало интересовало „почетное“ звание, не удовлетворяла неестественная, хотя и легкая, обязанность быть нянькой царской дочке, мало интересовали и очень приличные условия сложившейся „службы“. Он сильно присматривался к протекавшей перед ним придворной жизни сущих и будущих вершителей судеб. Его ошеломили та ложь и неестественность, которые пышно цвели среди взрослых и всячески прививались подрастающему поколению. Он не находил ни одного слова, ни одного поступка, которые были бы сказаны и сделаны просто по-человечьи. Всё это окрашивалось в более отвратительные краски тем, что делалось, так сказать, за кулисами для участников, но на глазах многочисленных матросов. Там, кроме грязи, ничего не было. Всё корбило елатемского „дивака“. Его глаза открылись, когда царь поехал делать визиты правителям западноевропейских государств. После германских, английских и французских почестей при встречах, матросов ошеломило требование итальянских рабочих не пускать на берег русского пара. Это событие доказало Милованову, что его наблюдения и выводы верны: царская и придворная жизнь позорна и преступна, от нее нужно бежать, как от чумы. С другой стороны итальянский скандал говорил ему, что в Италии больше правды. Не рассуждая долго, Милованов бросил яхту и пошел смотреть, как люди в правде живут.

Работая среди развозчиков и разносчиков молока и хлеба, он видел родные картинки. Хозяин выжимал рабочих, как прачка мокрое белье. Ка-

ждый старался надуть другого, чтобы самому прокатиться на его спине. Но он хотел найти земную Аркадию...

Случайное знакомство с „пашковцами“ втянуло его в евангелистскую общину. В ней главным жизненным руководством должно было быть учение евангелия, но, попав на эту удочку, он скоро увидел, что, начиная с низов и кончая стоящей во главе русской графиней, все жили столько же по евангелию, сколько и по таблице умножения. Неудовлетворенность потянула снова в родную Россию. На границе Милованова арестовали, впереди предстоял „дисциплинарный батальон“ за дезертирство, но заступничество Нasti спасло — и он снова на „Штандарте“. Возможность быть в дисциплинарном подсказала мысль, что правда может быть среди страдающих, и он стал искать путей в батальон. Конечно „кто чего ищет, тот всегда то найдет“, найти же такую прелесть, как дисциплинарный батальон, нет ничего легче. За оскорбление управляющего царской канцелярией Танеева Милованова свезли в архангельский батальон на два года. На этот раз и Настя не спасла.

В Архангельске, вместо правды, пришлось увидеть, что такие же осужденные, как и он, по первому приказу старших боцманов бьют зубы таким же, как и сами, осужденным, секут их розгами за каждый пустяк, стараясь на этом деле отличиться. Ни малейшего признака товарищества не было заметно. Со стороны начальствующих не было и тени справедливости, но всегда выискивался повод, чтобы уничтожить даже намек на нее. Задача заключалась только в издевательствах над человеком, поругании и принижении, исполнение чего как будто давало наслаждение. Матросы только и ожидали, когда придет конец срока наказания и удастся снова вернуться в свой флотский экипаж.

Под впечатлением мрачной жизни дисциплинарного батальона у Милованова оформилась мысль, что правду нужно искать у тех, кто окончательно отрезан от прежней жизни, что самого искания недостаточно, ее нужно добиться, за нее нужно пострадать вместе с отщепенцами мира. Случай возможности пострадать не замедлил подвернуться.

Боцман Соломко придрался к одному матросу и подверг его телесному наказанию. Все знали, что наказанный матрос совершенно не виноват, но никто не выражал возмущения. Милованов решил наказать боцмана и ударил его по голове железным прутком. Удар был довольно сильный, Соломко превратился в инвалида и окончательно потерял способность рассуждения и понимания. Милованова судили за покушение на убийство и, с перечетами остатка дисциплинарного наказания, приговорили в каторгу на десять лет десять месяцев и двадцать девять дней.

Начало каторжанской карьеры подорвало его бодрость. Первой затрещиной каторги явилось свидание со старухой матерью. Когда он, в подрванном бушлате, обезображенный стрижкой, с ужасно для вольных гремющими кандалами, вышел к ней, она вскрикнула, хлопнула руками и упала в глубокий обморок. Приведенная в чувство она не могла в течение законом положенного для свиданий получаса произнести ни одного слова и только собрала

силы смотреть на сына и лить потоками слезы. Так одними слезами и окончилось свидание. Второго свидания не разрешили. Мать уехала на родину, сын пошел по каторге и сразу убедился, что не здесь пути искания правды.

Года три или четыре и на каторге он был, всё же, рыцарным поборником правды и всегда, как только видел нарушение ее, считал своим долгом вмешиваться. Не останавливало его и то, что каждое вмешательство в дела своих сокамерников вызывало к нему отчуждение; что вмешательство в дела администрации всегда влекли за собою наказание карцером. Все „тернии“ на своем пути он переносил с достойным удивлением терпением и никогда не роптал. Как будто так и должно было быть.

Впоследствии жизнь засосала его. Он опустился гораздо ниже других. Человек в нем погиб окончательно. Это единственный случай, известный мне, разложения человека в Шлиссельбурге. Но причину его все-таки нужно искать не в Шлиссельбурге, но в тех обществах лицемерия, с которыми он часто сталкивался на воле, и которые сумели подменить у него веру в жизнь верой в фантазию. Он не мог понять, что правду творит человек, но никогда не находил готовой, как топор за лавкой.

В группе военной было несколько и „толстовцев“, отказавшихся от военной службы по убеждению, интересных типов среди них не было. Они очень скоро утрачивали свое толстовство и превращались в обыкновенных каторжан. От общей массы они отличались только тем, что больше и усердней читали книги по этическим вопросам.

Группу политических составляли как осужденные за чисто политические преступления, на которые было распространено Уголовное Уложение издания 1903 года, так и те, которые были осуждены по Уложению о наказаниях, но преступления которых были совершены или на политической почве или сохранили политические мотивы. Так в эту группу входили все аграрники, повстанцы и террористы.

Между политическими, особенно среди социал-демократов, сильно чувствовалось стремление отделиться и твердо отграничиться от уголовной массы. Это явление мало объяснимо. Среди уголовных Шлиссельбурга была сильная тяга к политическим. И тяга была бескорыстная: уголовные смотрели на политических как на более знающих, и чрез них масса хотела приобрести себе знаний, хоть немного подняться. Это понятие — Шлиссельбург, не принявший старых тюремных традиций, пробуждал довольно ярко стремление к знанию. Бояться же, что уголовные своей массой, психологией и привычками разложат политических, в Шлиссельбурге было по меньшей мере смешно. Чтобы так думать, нужно было относиться к человеку, как к обыкновенному рабочему скоту. Между тем влияние политических было огромно, давало хорошие результаты и не выделило ни одного исключения. Лучшим показателем этого влияния можно указать перерождение профессионального уголовного, отбывшего несколько раз срок в арестантских ротах, к торжанина Аснина, который под влиянием анархиста Сандомирского совершенно отрекся от прошлого и начал новую жизнь. За все восемь лет шлиссельбургской

сидки у Аснина не проявилось ни одной черточки его уголовного прошлого. Под влиянием Сандомирского он больше всех, именно, сам стыдился своего прошлого и болел им. Благодаря этому он научился товарищеским отношениям, никогда их не нарушал и проводил много лучше, чем другие политические. Под этим влиянием Аснин, несмотря на свою чахотку, сумел настолько вырасти духовно, что в нем уже трудно было видеть прежнего Аснина, каким он был в 1907—1908 году в Киевской „Лукьяновке“. Он сумел сохранить в себе человека вплоть до случайной смерти на знаменитой даче Дурново в 1917 году.

Чтобы оказать благотворное влияние на таких, правда малочисленных на каторге, каким был Аснин, имевших за собою уже нечто сложившееся, нужно было обладать большой нравственной силой, нужно было самому видеть в человеке прежде всего ценность человека, затем уже засматривать, что есть за человеком, что им сделано. На каторге же было еще много несложившихся юнцов—в прямом и переносном смысле: этим постороннее влияние было так же нужно, как и воздух. Иначе они были бы обреченными. Приговор суда только в силах отвергнуть человека от общества, но неспособен дать отверженному определенную линию к лучшему будущему. Он больше давит его на дно пропасти, чем спасает от повторного преступления. Тюремная система завершает давление, и отверженец превращается в отщепенца, знакомого с человеческими потребностями, что только увеличивает его опасность. Хорошим образчиком, что может выйти из такого юнца, в прямом смысле слова, является Пети Биркин.

Архангельский деревенский парнишка, неграмотный, хромоногий, попал в науку к охтенскому башмачнику. Там было всё, как полагается: битье, побегушки за мерзавчиком. Хозяйская дочка, такая же девчонка, часто дразнила его „колченогим чертенком“ и додразнилась, что Биркин сапожным ножом отправил ее к праотцам. Преступление—убийство само по себе серьезное, но оно оказалось, в годы общей реакции, еще серьезнее, когда в законе нашлась статья, усиливающая кару по отношению к преступлению, совершонному работником в семье хозяина. Биркину не было еще 17 лет, но каторги 10 лет ему все-таки дали. Достаточно было придержать Биркина за книгой полгода, чтобы он увлекся чтением. С посторонней помощью он прошел только грамматику, арифметику и начало геометрии, дальше пошел самостоятельно. Через три года мне пришлось с ним встретиться снова, он уже кончил алгебру и тригонометрию, мечтал о высшей математике; порядочно прочитал из беллетристики и общей литературы. В конце 1916 года я видел его в последний раз—он вступил в изучение высшей математики, осилил немецкий язык настолько, что читал самостоятельно, не очень потренировав словарь, „Das Landhaus am Rhein“ и мечтал начать изучение латинского языка, который его очень интересовал. За книжками Биркин совершенно очистился нравственно и теперь, когда Биркин красуется на снимках Шлис-сельбуржцев, освобожденных „волею восставшего народа“, вряд ли кто из политических стыдится за его между ними присутствие.

Вопрос о размежевании между политическими и уголовными очень часто поднимался, в особенности в третьем корпусе. Но как-то само собой сложилось, что он только висел в воздухе, обмен мнений по нему всегда был очень вялым и никто не переходил к практическим предложениям осуществить его в тюремной жизни.

Сама по себе политическая масса была значительно разношерстней чем общая масса уголовных и военных. В этой разношерстности было очень и очень много позорного до безобразия. Ведь в группе политических принадлежали и такие, как Вайшвиц, потерявший не только политический, но и человеческий образ окончательно. Даже наличие одних „горловцев“ — осужденных на каторгу за восстание-забастовку на станции Горловка, почти все интеллигенты, — было чистейшим позором в политической семье. Они все пошли певчими в церковный хор. В то время, когда в царские дни и дни поминовения убитого начальника Главного Тюремного Управления Максимовского пулей революционера, тюремщики силой тащили в церковь каторжан, принуждали становиться на колени и неповиновавшихся особенно строго наказывали — они, певуны, как ни в чем не бывало, „выводили“, смотря по случаю то „многие лета“, то „вечная память“. Сцены получились пикантные.

Дряхлый попик пласиво тянет дребезжащим голоском: „я сотвори невинно убиенному вечную память“... Хор подхватывает „политическими“ басами, баритонами и тенорами: „вечная память“... Власти и надзиратели опускаются на колени, помощники начальника, через плечо, смотрят, кто из каторжан не признает „невинного убийства палача“; надзиратели, стоя на коленях, тащат неставших за полы бушлата и уговаривают.

„Становись на колени, что тебе тяжело, что ли“.

Каторжане угрюмо смотрят, переминаются с ноги на ногу, но не становятся. Надзирательские уговоры смешиваются с лысыми и низкими ругательствами хора, и помощники начинают свирепеть.

„На колени“. „Становись“. „В карцер“.

Вместо панихиды получается кавардак. Виновных тащат в карцер, подгоняя матом. Певунов отводят в камеры, где им выдают по фунту сахара, который начальство наворовало из общих передач каторжанам матерью Лихтенштадт...

„Горловцы“, однако, шли и дальше: они, наперебой, обращались к начальству с предложением услуг по наблюдению и шпионажу за другими каторжанами. Особенно этой чести добивался Быковский, но, в чести тюремщика, Зимберг не пошел на пользование услугами и довольствовался тем, что „певуны“ „засыпали“ ему дьякона, носившего на волю письма заключенных. Этих „политиков“ презирали даже мало-мальски порядочные уголовные, и отношение к ним в массе было такое же, как и „к сучьей породе“.

Самым выдающимся из всех политических каторжан Шлиссельбурга был Владимир Осипович Лихтенштадт, осужденный как максималист по делу взрыва Столыпинской дачи и впоследствии погибший в гражданской войне при наступлении на Петроград Юденича. Всю свою шлиссельбургскую силу он не выходил из общественной тюремной жизни, все время занимался нау-

кими, переводами, таким путем он сильно развился и в этом отношении достиг такой высоты, которая вряд ли была для него доступной даже в стенах университета. Усиленное чтение французских философов конца XVIII века привело к пересмотру занятых на воле позиций. К началу 1911 года его мировоззрение определилось в сторону эсдеков-меньшевиков и всё остальное время вплоть до Февральской Революции оно только крепло. Личное впечатление было таково, что меньшевики и Лихтенштадт как-то не сочетались и всегда казались какой-то аномалией. Я думаю, что он был настоящим марксистом-революционером, с уклоном в культурничество, но не имел никаких задатков политического деятеля. Всегда живой, отзывчивый, последовательный, не знавший сочетания идеала с компромиссами — уже прямая рогадка на путях меньшевизма. Меньшевики же на каторге — их было не очень много — все отличались какой-то специфической безжизненностью, самоуглубленностью и беспросветной тоской во взоре и словах. Корнем поворота от максимализма к меньшевизму, как сказано, были французские энциклопедисты, но охлаждение революционного темперамента и уклон в культурничество произошли исключительно под влиянием изучения высшей математики. Трудно притануть Лихтенштадта и к шлиссельбурцам-большевикам: эти все были крайние догматисты.

Отзывчивость Лихтенштадта, участие в общественной жизни и выдающееся самообладание, не дававшие никогда почувствовать обращающимся к нему с серьезными и пустяковыми вопросами, что он ставит себя на высшую ступень, создали ему в каторжанской среде громадную популярность и всеобщее уважение. Та независимость и прямота, которой он держался в сношениях с администрацией и надзирателями, лишь усиливали уважение и делали его образцом для поведения всех остальных. Понятно, что к его слову прислушивались всегда и каторжане и власти тюрьмы. Простота обращения, никогда не переходившая в панибратство, не допускала разрыва и отхода от общего к нему отношения.

Если Лихтенштадта определить как кодекс шлиссельбургской каторги, то совестью ее являлся бывший, по его словам, „час саперным поручиком“ — Михаил Жадановский. Маленький, „не больше двух аршин вместе с шпагой“, хрупкий, тщедушный, с простреленным пулей легким во время восстания в Киеве, по виду гимназист четвертого класса, бессрочник, невольно привлекал к себе всех сталкивавшихся с ним своей нежностью и душевной чистотой. Слабый голос как-то звучал искренностью, пробуждал потребности стать к нему ближе. Полное отсутствие компромисса, неподдельная любовь ко всем униженным и оскорбленным, большая здоровая душа в маленьком теле, беспредельный стоицизм при налетающих на него наказаниях — таков физический образ этого гиганта Шлиссельбурга.

Лихтенштадт и Жадановский ушли живыми из Шлиссельбурга и им, как и многим другим таким же светлым, памятник поставит их после-каторжанская жизнь, но несколько славных и дорогих товарищей остались там, затерянные среди многочисленных холмиков каторжанского кладбища.

Первым из крупных борцов, попавших на кладбище, был социалист-революционер, уроженец Самары, Алексей Сапожников.

В революционное движение Сапожников вступил с гимназической ступени еще в конце прошлого столетия. Первое тюремное крещение совпало с тем моментом, когда у него еще не испарилась детская наивность.

Утром надзиратель открыл дверь и потребовал кувшин для чая, но Сапожников скоро убедился, что надзиратель обманул его — вместо чая принес чистого кипятку. Это его так обидело, что он стал стучать в дверь и звать обманщика, к которому и пристал с расспросами о причине обмана.

— В тюрьме кипяченую воду зовут чаем, — пояснил надзиратель, — а господа чай сами заваривают.

Две-три сидки выгнали наивность, и Алексей уже не плакал от надзирательского обмана. Из него выработался заправский революционер, сохранивший чистоту детской души. Осужденный за принадлежность к партии, он попал в Сибирь на постройку Амурской колесной дороги. Пришлось испытать всю тяжесть настоящих каторжных работ, с их издевательствами, поркой и невыносимыми условиями работы в грязи и в воде, часто в роли вьючного животного для перевозки на собственной спине строительных материалов на расстояние до десяти верст. В таком испытании скоро подорвалось здоровье. Юноша уже страдал ревматизмом и катаром желудка. Но революционная работа не переставала звать на свою вину, и Сапожников бежал с каторжного Амура в привольное Поволжье.

В Поволжье, спустя продолжительное время, его снова арестовали. Полиции не удалось установить его личность. Сапожников долго сидел как Сорокин, пока, наконец, в руки жандармов, на воле, не попало письмо, в котором сообщалось, что „Леня“ всё еще сидит. По проверке в наличии тюрем ни одного Лены не оказалось, это и дало путеводную нить для жандармских раскопок.

Новый суд припомнил старое наказание — и за плечами Сапожникова оказалось сроку семь слишком лет. В Саратовской тюрьме в то время свирепствовал Гумберг, мстивший каторжанам-политикам за брошенную в него в Киеве бомбу, к сожалению неудачно. В тюрьме царили не только избиения, но и массовые убийства. Но тюремный террор не испугал Алексея, он стал в первые ряды и отказался от подчинения режиму. Ни порка, ни карцер не могли его сломить, и начальство, чтобы облегчить себе борьбу с упрямыми, выслало самых упрямых несколько человек, в том числе и Сапожникова, в Шлиссельбург, куда он и прибыл в декабре 1911 года.

На Сапожникова, выдавшего десятки европейских и сибирских тюрем с главенством уголовных традиций, Шлиссельбург произвел очень хорошее впечатление. Здесь он меньше чувствовал тюрьму, здесь была настоящая свободная школа, колорит которой нарушали только решетки, звон вандалов, да надзирательские свистки. Но наступивший 1912 год был для Шлиссельбурга бурным годом — протест и волынка завалили семь месяцев. Пришлось и здесь ходить по карцерам, участвовать в голодовке. Борьба велась за арестант-

ские права. Поэтому, несмотря на требование товарищей к Сапожникову, в виду серьезности и ясной уже продолжительности борьбы, которая была явно опасна для его жизни, не участвовать в протесте, он не подчинился товарищескому требованию, пошел в карцер и тем подписал свой смертный приговор. Вопрос был в месяцах.

Месячный карцер сменился другим месяцем. Тяжелые карцерные условия были усилены отказом от приема на четвертые сутки полагающейся горячей пищи. Это была тактическая ошибка участников — отказ только сокращал боеспособность, так как борьба только и могла быть затяжной. Подорванного и истощенного организма хватало только на полсотни дней — до истечения двух месяцев унесли Сапожникова на руках надзиратели в больницу. В начале октября он всё же поднялся с койки и выпивался в корпус. Явился он в третий корпус худой, зеленый и полуживой. Шел бойкот врача и пришлось сидеть на общей пище. Старания товарищей усилить общими средствами для него питание — не помогли. Истощение перевалило за свой предел. С каждым днем он всё больше и больше ослабевал, стало трудно ходить и на прогулку. Второго ноября он слег окончательно. Шестого взяли на больницу снова, где врач определил уже безнадежное состояние. Да оно и ясно было каждому, „имеющим очи видеть“, неясно было только для начальника тюрьмы, Зимберга, который не поверил и врачу, отказал в его докторском ходатайстве о снятии с умирающего кандалов. Утром, 8-го ноября, Сапожников умер в кандалах...

В эти часы, когда умирал на больнице Сапожников и когда уже смертного снимали кандалы, чтобы не пропадало казенное добро, его мать умоляла Зимберга дать ей свидание с сыном. Сын не писал ей о безнадежности своего положения. Он верил, что, умалчивая о болезни, меньше причинит ей мук и горя, но он каждую минуту вспоминал о ней, и воспоминания его были так теплы и милы, что сидеть в камере с больным не было тяжело. Сквозившая теплота только подчеркивала тяжесть грядущей утраты товарища. В этой теплоте выявлялся человек вполне: личные муки и страдания были велики, но они не могли заглушить любви, которая не поколебалась под долгими годами разлуки. Мать, очевидно, чувствовала, что свидания с сыном на воле, несмотря на то, что осталась меньшая половина срока, ей не [дождаться. Обеспокоенная письмами, в которых сын, не желая пользоваться ложью во спасение, совершенно умалчивал о себе, она приехала в Шлиссельбург накануне его смерти. Ничего не подозревая, она и добивалась свидания. Зимберг, хорошо знавший действительное положение, отказал в свидании, ссылаясь на то, что сын ее скверного поведения — он был революционер до последнего вздоха, но не был пресмыкающимся лакеем перед начальником. Матери не пришлось увидеть ни сына, ни его трупа.

В день ухода Сапожникова в больницу, меня посадили в карцер за неповиновение свистку надзирателя. На другой день после смерти товарища — сокамерника я узнал о случившемся на утренней поверке от старшего надзирателя Дергачева в оригинальной форме, чего раньше никогда не случалось.

- Скоро ля бросишь бунтарство, пора понять.
- Тут, старший, понимать нечего, выхода нет — или будь скотом, или сиди в карцере, пока...
- Пока, — перебил Держачев, — померешь... Вон, Сапожников умер, хороший парень, а погиб за упрямство...
- Не упрямство, а борьба, старший...
- Какая ж в тюрьме борьба, отсиди или убеги и борись на воле, там много борются, а здесь разве можно...
- Можно.
- Все вы перемерете как мухи... Даже жалко...

Тон и выражение лица Держачева показывали, что человек всё же думает и не рисуется своей жалостью. Таких людей, как Сапожников, вполне понимали и мало-мальски развитые тюремщики, Держачев же был одним из интеллигентных старших надзирателей и, пожалуй, стоял выше помощников вроде Рубиса и Пуговки.

Старший ушел. Весть о смерти товарища всколыхнула всё сокровенное души. Передо мной стал образ товарища во всю свою величину идеалиста-революционера, и с тех пор я не мог его забыть.

Довольно значительной утратой для шлисельбургского товарищества была и смерть Михаила Энгельгардта, максималиста. Симпатией он пользовался благодаря своей отзывчивости и громаднейшему стремлению к знанию. Юный организм не вынес каторжного бремени: туберкулез и катар желудка доконали его.

В лице Энгельгардта ушел с земли последний участник Псковской трагедии. Вспоминая его вечно-грустное выражение лица, как будто придавленный непосильной тяжестью корпус, невольно думается, что он чувствовал себя разбитым именно этой трагедией. Конечно, не найдется ни одного человека, который взял бы на себя смелость возложить всю ответственность за выполнение на прямых участников. Но нельзя отрицать, что немного обнаружившаяся пред ними истина заставила их пережить очень много.

Печально вспоминать такие истории, тем не менее это необходимо. Они были в прошлом. И они являются результатом каждого общественного строя, где не существует прав гражданства, где общественная мысль должна скрываться в темном подполье, в то время как она ближе всего к солнцу и, именно, она стремится к свету и счастью всех. Подпольная революционная работа не гарантировала социалистические партии от проникновения в них элементов, не выдерживающих критики гласности. Случалась подобная история и в невиской организации. На одном собрании районного комитета обнаружилось, что районная касса не в порядке, который могла прекратить ревизия и отчет районного организатора. Но организатор уклонился от отчета и ревизии. Как и через кого удалось ему добиться командировки четырех товарищей на боевое дело в Псков, до сих пор неизвестно. Командированными оказались именно те, которые сильно добивались отчета. Врученное же им стариком „Николаем Николаевичем“ письмо поручало псковской организации уничто-

жить подателей письма, как провокаторов. Псковская организация, без всякой проверки, приступила к исполнению: Мельдер Иосиф и Антон Картоплин были убиты, Давид Морозов ранен и вместе с Леонидом Лацковым спаслись бегством. Возвращение уцелевших в Петроград обнаружило предательство организатора, но он давно исчез и только в 1909 году был казнен в Екатеринославе за убийство полицейского пристава. Следственная комиссия не могла добиться свидания с членами общегородского комитета, не нашла сна и псковичей. Энгельгардт был скоро арестован. Любомудров скрылся, арестовали его в Петрограде и повесили за дела максималистов, руководителем боевой дружины которых он был, во втором их пришествии. Эта трагедия заслуживает большого внимания в истории революционного движения, как совершенно изменившая революционную работу целого района, но ей должно быть посвящено внимание в другом месте. Здесь она нужна только в общем штрихе для вырисовки психологического состояния революционера, отвечающего перед своей совестью и сверх этого придавленного царской каторгой.

Трагедия безусловно отразилась на Энгельгардте и, пожалуй, сыграла не последнюю роль в его преждевременной смерти, чрез нее он опустил руки и не мог пользоваться со всей жизнерадостностью теми благами, которые всё же давала тюрьма и которые помогали бороться против туберкулеза.

Сознание некоторой ответственности за опрометчивое исполнение в тюрьме выросло до приема на себя всей ответственности. Но и эта тяжесть не могла уничтожить его как человека и как революционера. Для тех, которым была известна трагедия, Энгельгардт сохранил все свое обаяние светлого человека, великой души. Для знавших трагедию он также сохранил эти черты, но встреча с ними давала ему такие муки, что было лучше избегать его, зачем мучить человека, осудившего самого себя. Свой приговор в тысячу раз тяжелее приговора казенного и общественного. Мое мнение, как бывшего в следственной комиссии: Энгельгардт взял на свои плечи не свою вину и зря за это дело осудил себя сам.

Сапожников и Энгельгардт, как и многие другие — рядовые, так обильно увеличившие число „беспрестных“ могил на революционном пути, были, и по положению и по существу, революционными борцами и в борьбе — на воле и в тюрьме — они потеряли всё: и молодость, и жизнь. Иной противоположностью, но с тем же исходом, является Михаил Александрович Еленев.

Захудалый помещик, после университета, остался не у дел. Тоненькая тросточка, потрепанная студенческая тужурка и фуражка не предсказывали блестящей карьеры даже в глухом уездном городишке, из которого уже „податное“ сословие тронулось в университет. Протекция своего круга всё же открыла парадный ход на служимую лестницу. Еленева пристроили земским начальником в Ельнинский уезд, Смоленской губернии.

Общественные деятели дорогобужского земства, в среде которых пришлось вращаться Еленеву, либерализм уже с начала столетия. Наступивший 1905 год с его весной не только развернул либерализм, но и вдохнул революционное стремление. Учительский союз принял революционную окраску.

На первом собрании, после октябрьского манифеста, уже бодро звучали революционные речи, хотя утверждение оратора, что „и вот 9-го января в России начинается революция“ было прервано содержанием пивной Лазарем Хохловым: „мы не допустим революции“. Россия оказалась не сходна с пивной лавкой, в которую можно пускать или не пускать нежелательный элемент — революция вошла не только в Россию, но и в голову земского начальника. Еленев жил в атмосфере либерализма и на место службы уехал уже с налетом революционных идей.

Звание и должность исключили возможность совместительства с революционной борьбой роли земского, призванного опекать население именно от революции. В действительности оказалось, что земский не только стал социалистом-революционером, но и довольно энергично повел революционную работу. Всё свое время он тратил на организацию сельских и волостных сходок, на которых открыто проповедывал революцию и партийную программу. После разгрома революции, когда неприкрытая реакция стала захлестывать страну своими грязными волнами всё сильнее и сильнее, земскому пришлось бежать. Земский Еленев перешел на нелегальное положение и стал в ряды псковской боевой организации. Здесь, в связи с убийством знаменитого по Сибири и Сахалину тюремщика Бородулина, прославившегося в России своей телеграммой Главному Тюремному Управлению из Смоленска, куда он был послан на усмирение „голового“ бунта — „усмирить невозможно, могу расстрелять“, Еленев и был арестован. Петербургский военно-окружной суд осудил на 12 лет каторжных работ. Года четыре после суда он просидел в Петроградской пересыльной тюрьме и, наконец, очутился в Шлиссельбурге.

Еленев на каторге не был боевым, и ему не пришлось не только участвовать ни в одной тюремной волнке, но даже и сидеть в карцере. Можно сказать, что его жизнь в тюрьме, конечно, с арестантской точки зрения была спокойно обеспеченной. Но и эти „благоприятные“ условия не помешали ему статьместилищем всех болезней. У него был туберкулез, плеврит и ишиас, от них он и умер 15 ноября 1915 года. Последние месяцы жизни он провел в больнице, где его положение было очень тяжелое. Он не мог вставать с койки и, при полном отсутствии ухода со стороны больничных служителей, был совершенно беспомощен. Только последний месяц, усилиями Лыттенштадта, удалось добиться права, поочередно на две недели, дежурства здоровых товарищей в его палате и, таким образом, хоть немного облегчить и скрасить последние дни.

В этом случае, первый раз в жизни, мне пришлось быть свидетелем естественной смерти революционера на каторге.

В смерти Еленева было настоящее сцепление всех человеческих интересов и их смешение.

До конца 1915 года я бойкотировал больницу и ни разу в ней не был — предпочитал подохнуть в камере, в одинаковых условиях с товарищами-бунтарями и волынщиками, которые частью также бойкотировали ее. Но когда наступила очередь моего дежурства, я не нашел возможным упрямиться и

пошел. Чувствовалась какая-то тяжесть, что придется увидеть умирающего товарища и земляка. Больничная палата, с двумя окнами, отличалась от корпусной камеры только деревянными крашеными полами.

Земляк, худой, желтый, обросший уродливой бородой влохьями, лежал спокойно. Пришлось поведать ему, что творится и творилось в наших палестинах. Его интересовало всё: город, деревня, школы и, конечно, война... До больницы он был довольно ярким пораженцем, но здесь смягчился — поразительная философия ослабела, появилась страсть дожить до конца великого побоища, узнать, чем все окончится и куда направится будущее России. Возможность широкого развития революционного движения ему казалась мало вероятной, дальше допущения осуществления общественного кабинета министров идти не решался: народ устанет от колоссального военного напряжения и не соберет сил и энтузиазма для революционного порыва и творчества. Разговоры утомляли его, но интерес к общественной жизни всё возрастал, с ним переплетались семейные, но личные уже отмерли, о себе самом он не говорил ни слова, хотя страдал от болезней довольно сильно. За неделю до смерти, на свидание приехала сестра, бывшая начальница гимназии. День свидания совпал со днем рождения Еленева, и сестрица явилась с атрибутами в роде просфоры. Этот пустяк сильно ущемил самолюбие больного, но он нашел в себе силы не подать признаков, могущих уколоть сестру, и, когда она ушла, он только подтрунил, что и родные родных не понимают, что тащат на подмогу уже изжитое — лекарства бессильны, и просфора столько же поможет, сколько помогает мертвому кадилло.

Последнюю неделю он беспокоился только о том, что конца войны не дожидаться, что он только причиняет нам неприятность. Накануне дня смерти, когда уже начался отек ног, он почувствовал облегчение, повеселел, но чаще стал впадать в забвение. Никакой агонии не было и только за минуту до последнего вздоха сказал: „прощайте — поехали, поехали...“ Вытянулся, всё кончилось.

Лихтенштадт поправил ему голову, Сухоруков срисовал лицо и отнесли труп в покойнишку...

Смерть, избавительница от мук, спокойная и тихая, спустилась на живого человека, но в последнюю минуту она бессильна была убить живую душу. Жизнь, идеи, любимое дело не иссякли пред вечной загадкой. Всё свершилось просто. „Умер живой человек“, и больше ничего не было.

Умер живой человек,
Плакать не нужно по нем...
Мало ли гибнет людей,
Гибнет и ночью и днем.

Нет никакой возможности коснуться тех многочисленных рядовых товарищей, которые также „легли на поле брани“, ибо „имена их ты, господи, веши“. Свою дорогу прошли незаметно в общей сутолоке, они догорели на медленном костре великой борьбы, как догорают мелкие прутья, вспыхнув

ярко, на одно мгновение. Этим безызвестным вечным памятником могут быть только воспоминания в тесном товарищеском кружке, в минуты грустного раздумья о своем прошлом. Такие воспоминания всегда носят характер какой-то неопределенной интимной святости, они всегда бывают чисты, как утренняя роса, и подобно ей, как она освежает ароматный цветок розы, освежают тепло и душевную нежность, в них всегда много красоты, бодрости, веры в будущее и любви к человеку. В этих воспоминаниях, и только в них, они найдут свою оценку и как товарищей и как революционеров. Все же остальные граждане, кому дороги идеи человечества, свободы и революции, сумеют послать свой привет этим величайшим героям, оставшимся незаметными, когда случится проезжать или проходить мимо шлиссельбургского каторжного кладбища, раскинутого на крутом левом берегу Невы. Там много великих мучеников павшего строя, много настоящих незаметных святых, у которых не осталось портретов с нарисованным излучением, но у которых при жизни было осязаемое излучение великой правды, искания свободы, которых манило, ласкало, давало отдохновение, властно влекло на великую борьбу, заставляло верить в лучшее будущее, верить в человека, несмотря на то, что кругом, кроме лязга кандалов, свиста розги, ничего не было слышно.

Ночь была чересчур темна. Пусть же:

В битве великой не згинут бесследно
Павшие с честью во имя идей...

В. Градский.

Расходы на „известное его императорскому величеству употребление“.

(1906 — 1913 г.г.)

В дореволюционное время, помимо сумм, отпускавшихся по смете государственных расходов, ассигновывалось министру финансов 10 миллионов рублей „на экстренные и сметах не предусмотренные надобности“. Значительная часть этих денег шла, между прочим, по представлениям министра финансов и иногда по непосредственным приказаниям царя, „на известное его императорскому величеству употребление“. Мы дали себе труд рассмотреть эти последние расходы, по подлинным „высочайшим“ указам министру финансов, за период времени с 1906 по 1913 годы, то-есть за время существования Государственной Думы до великой войны, когда правительство должно было до некоторой степени считаться с Думой в бесконтрольном расходовании им народных средств. Как велики были эти расходы, показывает следующая таблица: .

1906 г. —	236.100	р. 12	к.
1907 „ —	627.200	„ 02	„
1908 „ —	221.800	„ —	
1909 „ —	312.428	„ 09	„
1910 „ —	293.200	„ 24	„
1911 „ —	245.016	„	
1912 „ —	1094.734	„ —	
1913 „ —	1830.523	„ 25	„

За первые шесть лет существования Государственной Думы правительство таким образом как будто действительно побавлялось ее, и расходы „на известное его императорскому величеству употребление“ были сравнительно не особенно велики, но в последние два года перед войной они сделали резкий скачок на повышение и достигли чуть не $\frac{1}{5}$ всего сверхсметного кредита; очевидно, в Государственной Думе уже привыкли и не видели в ней ничего страшного.

Действительно ли „его императорскому величеству“ известно было употребление расходов, производившихся его именем?

Министр финансов обращался к царю за разрешением их двойным образом: 1) особыми докладами, в которых указывал, кто и для какой надобности просит ту или другую сумму, и 2) периодически представляемыми „ведомостями“ на отпуск денег из чрезвычайного фонда по различным ведомствам и министерствам, где расходы „на известное его императорскому величеству употребление“ уже не имели никаких указаний на то, для чего они испрашивались, а обозначалась только сумма их и ведомство, которому они назначались. Таким образом в этом последнем случае царь не мог иметь никакого представления о „известном“ ему употреблении денег, и ведомства распоряжались ими даже и без этой видимости чьего-либо контроля. Сумма этих неизвестных „известных“ по отдельным годам распределяется следующим образом:

1906 г.	—	197.000 р.	02 к.
1907 „	—	616.600 „	02 „
1908 „	—	117.500 „	—
1909 „	—	215.655 „	74 „
1910 „	—	138.423 „	—
1911 „	—	183.864 „	78 „
1912 „	—	191.734 „	—
1913 „	—	139.823 „	25 „

Сравнив эту таблицу с первой, видим, что из расходов „на известное его императорскому величеству употребление“ на самом деле была известна ему в 1906—1911 г.г. только небольшая, а иногда и прямо ничтожная их часть (в 1907 г. из 627.200 р. — 10.600 р.), и лишь в 1912 и 1913 г.г. расходы известные стали в несколько раз больше неизвестных.

По отдельным ведомствам расходы без указания на их назначение распределяются следующим образом:

Председатель совета министров получил: в 1906 г. — 32.500 р., в 1907 г. — 31.000 р., в 1908 г. — 31.000 р., в 1910 г. — 30.000 р., в 1911 г. — 32.000 р. и в 1912 г. — 30.000 р.

Министр финансов: в 1906 г. — 12.100 р. 02 к., в 1907 г. — 379.401 р. 32 к., в 1908 г. — 46.500 р., в 1909 г. — 74.755 р. 74 к., в 1910 г. — 39.025 р., в 1911 г. — 15.964 р., в 1912 г. — 26.500 р. и в 1913 г. — 28.423 р. 24 к.

Министр внутренних дел: в 1906 г. — 25.000 р., в 1907 г. — 201.948 р. 70 к., в 1909 г. — 17.000 р., в 1910 г. — 6.500 р., в 1911 г. — 67.000 р., в 1912 г. — 83.334 р. и в 1913 г. — 21.000 р.

Министр иностранных дел: 1906 г. — 4.000 р., в 1908 г. — 10.000 р., в 1909 г. — 47.000 р., в 1910 г. — 3.000 р., в 1911 г. — 4.000 р. и в 1913 г. — 23.000 р.

Министр военный: в 1906 г. — 20.000 р., в 1907 г. — 3.250 р., в 1908 г. — 22.000 р. и в 1911 г. — 15.000 р.

Министр юстиции — в 1907 г. — 1.000 р.

Министр путей сообщения: в 1909 и 1910 г.г. — 8.000 р., в 1911 г. — 3.000 р. и в 1913 г. — 5.000 р.

Министр двора: в 1909—1912 г.г. — по 50.400 р. и в 1913 г. — 60.900 р.

Морской министр: в 1909 г. — 2.000 р. и в 1910 г. — 1.500 р.

Главноуправляющий по принятию прошений: в 1906 г. — 102.500 р.

Управляющий делами совета министров: в 1906 г. — 1.000 р.

Главноуправляющий земледелием и землеустройством: в 1909 г. — 16.500 р. и в 1911—1913 г.г. — по 1.500 р.

Государственный секретарь: в 1908 г. — 8.000 р.

Между расходами, о которых представлялись особые доклады и которые таким образом действительно были известны „его императорскому величеству“, обращают на себя внимание прежде всего расходы литературного и научного характера. Львиную долю их выпрашивал на себя известный в свое время издатель патристической „Кафедры Исаакиевского собора“, отставной генерал Е. В. Богданович. В 1906 г., 21 апреля, он обращается с ходатайством о выдаче ему 25.000 р. на продолжение его издательской деятельности по „Кафедре Исаакиевского собора“ и на покрытие долгов, образовавшихся по прежде выпущенным бесплатным изданиям его для народа. Из справки, наведенной по этому случаю, оказалось, что ген. Богданович получал казенные деньги для своих изданий давно: в 1899 г. — 5.000 р., в 1900 г. — 10.000 р., в 1901 г. — 10.000 р., в 1902 г. — 20.000 р., в 1903 г. — 50.000 р., в 1904 г. — 25.000 р. и в 1905 г. — 20.000 р. Департамент государственного казначейства в 1902 и 1903 г.г., по требованию государственного контроля, обращался к ген. Богдановичу с просьбою представить отчет в израсходовании денег, но генерал-издатель не дал даже ответа ни на эти просьбы, ни на повторение их в 1904, 1905 и 1906 годах. Несмотря на то, царь повелел отпустить ему 10.000 рублей из сумм на известное ему употребление, так что теперь государственный контроль не мог уже и докучать генералу напоминанием об отчетности. В следующем 1907 году, в период времени подготовки к выборам в 3-ю Госуд. Думу по новому закону, Богданович обращается с письмом уже к самому государю и, представляя ему свою книжку „На ниве царской“, пишет: „Народ ваш, государь, увлеченный злыми людьми, отнюдь не испорченный, но лишь доверчивый и простосердечный, готовясь к новым выборам, узнает из моего дружеского слова, как много добра сделал ему царь в промежуток времени между двумя Думами и в течение второй сессии; узнает, что всем сделанным для его блага в деле землеустройства и переселения он обязан не Думе, которая занималась не тем, что следует, а исключительно вам, вашей царской доброй воле“. Не имея средств на издание книжки и помня, что запрос в карман не лезет, генерал просит о повелении министру финансов выдать ему „негласно“, „если встретится затруднение в выдаче пятнадцати тысяч рублей, то хотя бы десять тысяч рублей“. „Время дорогое, — наставительно прибавляет он, — и распространение книжки полезно неотложно начать. С божией помощью и вашей необходимо скорее сеять правду в войска и народе в настоящее смутное время. При сем скажу: „кто сеет скупое, для того и жатва скупа; а кто сеет щедро, для того и жатва щедра, так про-

поведал апостол Павел“; было выдано 10.000 р. В 1908 году неугомонный генерал пишет новое письмо: „11 декабря сего года исполнится 75-летие русского народного гимна... Вдохновляясь напевом и словами дивной народной молитвы, я составил краткую, но от сердца идущую беседу о ней с народом. украсил свой новый бесплатный народный лист портретом вашего величества и трех августейших предков ваших, коих царствования протекали за время исполнившегося семидесятипятилетия, и намерен заблаговременно пустить этот лист в обращение в возможно большем числе экземпляров... Мне хотелось бы распространить свой лист и в народе, и в войсках, и во флоте, на фабриках, заводах и швелах, хотелось бы одушевить всех, кому гимн хорошо известен, дать ему доступ и в такие углы, куда он еще не проникал. Я делаю в этом направлении всё, что могу, и скорблю, что не могу сделать больше. Но желание пойти вперед так глубоко, что побуждает меня на решимость обратиться к вашему величеству с всепокорнейшей просьбой, не признаете ли за благо повелеть министру финансов отпустить на пособие моему новому изданию хотя бы пять тысяч рублей“. Резолюция от 6 ноября: „Прикажите выдать Богдановичу 5.000 рублей“. В 1909 г. Богданович воспользовался празднованием 200-летия Полтавской битвы и в ноябре писал царю: „Вдохновляясь величавым и вместе сердечным красноречием вашего царственного слова на Полтавских торжествах и милостиво представленными мне картинами художника Сафонова, я приготовил к изданию для бесплатной раздачи брошюру с иллюстрациями и отдельную картину большого формата, изображающую беседу вашего величества с народом, где отпечатана ваша речь с пояснительным к ней текстом. Буду счастлив, если вашему величеству эти издания представятся соответствующими важности события и достойными того широкого распространения, которое необходимо по их патриотическому содержанию, как противоядие неиссякающей революционной печати... Не могу скрыть от вашего величества, что без негласной помощи вашей не менее восьми тысяч рублей я не в состоянии буду отпечатать брошюру и картины в надлежащем количестве экземпляров. Отдавая последние мои личные средства на это издание, и вижу, что мне все-таки в виду стоимости иллюстраций картины и ее технических трудностей не хватает моих средств для достаточно обильного выпуска в свет обоих изданий. Делать дело наполовину, да еще такое важное патриотическое дело, это хуже, чем его не делать“. На этот раз вместо просимых 8.000 р. было отпущено 5.000 р. В последующие годы Богдановичу было дано по личному повелению царя: в 1910 г. — 3.000 р. „на издание новой его брошюры, предназначенной к распространению в войсках“ и в 1912 г. два раза по 10.000 р. — „на расходы по его изданиям“.

Были, кроме ген. Богдановича, и другие траты из негласного фонда, на патриотическую печать: в 1911 г., 13 июля, отпущено 20.000 рубл. „на работы по ознакомлению общественного мнения в России и за границей с финляндским вопросом“; 20 декабря 1913 г., по ходатайству обер-прокурора св. синода, ассигновано 8.000 р., „по примеру прошлых лет“. „в пособие неко-

торым полезным для славян, живущих за рубежом России, литературным изданиям, учреждениям и лицам", и тогда же министр внутренних дел получил 826.300 р. на выдачу пособий, тоже „по примеру прежних лет“, „некоторым органам повременной печати, являющимся проводниками начал русской государственности“. Какие это были органы печати, в докладе, к сожалению, не указано.

Отчасти литературно-научный же характер имели и расходы по некоторым юбилеям, производившиеся почему-то тоже негласным порядком. В 1910 г. 26 ноября, повелено было отпустить 5.000 р. управляющему собственною его величества канцеляриею Танееву „на издание исторического очерка названной канцелярии за столетнее существование ее“, а 9 июля 1912 г. на празднование юбилея этой канцелярии выдано было 50.000 р. В 1912 г., 30 ноября, такая же сумма ассигнована была и на празднование юбилея Отечественной войны.

Даже и действительно научные предприятия получали иногда специально-патриотический привкус, который вынуждал к расходам негласного порядка. Так, 2 апреля 1912 г., было отпущено министру внутренних дел из 10-миллионного фонда, но не секретным образом, 54.000 р. на расходы по снаряжению экспедиции на Шпицберген. Спустя несколько времени решили однако, что участие русского правительства в снаряжении этой экспедиции должно оставаться секретным, так как „при подписании Шпицбергенской конвенции наиболее выгодным будет положение тех государств, подданные которых в момент подписания будут занимать участки на Шпицбергене или принимать участие в эксплуатации естественных его богатств“; поэтому 21 числа того же месяца сумма, отпущенная на Шпицбергенскую экспедицию, переводится в разряд расходов „на известное его императорскому величеству употребление“.

Было, впрочем, несколько ассигнований научно-литературного характера, которые лишены были „патриотического“ содержания и в сущности не требовали для себя никакой тайны. В 1910 г. назначенное было ежегодно негласное пособие в 15000 р. академику В. И. Ламанскому, взамен прекращенной аренды в той же сумме, по примеру академиков Радлова и Фаминцына. В 1912 г., „в виде особого и совершенно исключительного изъятия, в путях монаршей милости“ приказано было выдавать по 500 р. ежегодно вдове генерала от артиллерии Маневского, „во внимание к выдающимся заслугам мужа на пользу русской артиллерии, а равно преклонному возрасту и болезненному состоянию“. В том же году была уважена просьба вучки А. С. Пушкина Лины Дубельт, по мужу Кондыревой, о продолжении выдачи ей пособия в 750 р. в год, назначенного (500 р. в металлической валюте) 21 мая 1881 г., когда она была еще не замужем и проживала за границей, и затем, в феврале 1884 г., продолженного и по выходе ее замуж; при этом было обнаружено, что в последние три года она уже проживала в России и тем не менее получала деньги не по 500 р., а по 750 р. и что, следовательно, с нее надлежало бы взыскать излишние полочки. В 1913 г., 8 июля, было разрешено выдавать ежегодное негласное пособие в 1.200 р. заведывающему общим архивом ми-

нистерства двора Гроту, „принимая во внимание выдающуюся служебную деятельность и ученые его заслуги, а также и стесненное материальное положение“.

Особою категорией расходов „на известное его императорскому величеству употребление“ является уплата долгов различных сановников. В 1909 г. Совет министров, по случаю увольнения от службы посла в Мадриде гр. Кассини, вошел с представлением о назначении ему, „применительно к установившимся нормам пенсionного обеспечения высших чинов“, пенсии в 10.000 р. и вместе с тем, в виду особо продолжительной службы его (54 года) и заслуг, оказанных им в Пекине во время боксерского движения, ходатайствовал о прибавке к этой пенсии 2.000 р. из негласных сумм; в то же время, „в виду возбужденного гр. Кассини ходатайства об оказании ему вспомоществования из казны на покрытие долгов, достигающих, согласно представленным им документам, 125.000 франков и образовавшихся по его объяснению за время службы его послом в разных странах, в особенности же в Вашингтоне, вследствие исключительной дороговизны жизни“, Совет министров просил о выдаче гр. Кассини из того же источника 30.000 р. одновременно. Ходатайство это было удовлетворено. На уплату долгов другого посланника в Вашингтоне, бар. Розена, было выдано в 1912 и 1913 г.г. по 20.000 р. В 1913 г. министр внутренних дел просил о назначении ежегодного негласного пособия бывшему екатеринославскому губернатору Шидловскому, взамен предоставления ему соответствующей службы. Министр финансов, указывая на то, что при его содействии Шидловский уже получил место члена правления Общества Нижегородских трамваев, с жалованием 4.000 р. в год, и что поэтому назначение ему ежегодного негласного пособия „не оправдывалось бы настоятельною необходимостью“, попросил однако Шидловскому, в виду его большой задолженности, 3000 р. единовременного пособия „в путях монаршей милости“.

Семейные обстоятельства, связанные с бракоразводными и гражданскими судопроизводствами, — конечно, сановных и чиновных лиц, — также требовали иногда негласных пособий из казны. В 1908 г. назначено было такое пособие малолетней Юлии Ваксель, мать которой, дочь племянника автора народного гимна, после развода с первым мужем, вышла за уездного предводителя дворянства Вакселя, во разводилась и с ним; о пособии ее дочери просил через вел. кн. Ольгу Александровну крестный отец ее, герцог. Г. Н. Лейхтенбергский. В 1910 г. ежегодное пособие в 2.500 р. назначено бракоразведенной первой жене умершего члена Государственного Совета бар. Нольде, „впредь до выхода ее замуж“. В 1912 г. министр финансов испросил ежегодную выдачу по 600 р., „впредь до улучшения материального положения“, жене ст. сов. М. Глазовой, которая состояла более 2½ лет „в гражданском браке“ с управляющим Нижегородскою казенною палатою, д. с. с. Нечаевым, и осталась после его смерти без средств к жизни и без родственников.

В одном случае негласным пособием было устранено препятствие к соединению и счастью двух любящих сердец. Вдова русского посланника в Болгарии Сементовская-Курилло в 1912 г. обратилась к царю с письмом (на французском языке), чтобы за дочерью ее от первого мужа Баторскую была сохраняена

и в случае выхода ее замуж за графа П. Олсуфьева пенсия в 1.700 р., выдаваемая за службу отца ее, бывшего екатеринславского губернатора, так как иначе брак этот, за отсутствием средств у Олсуфьева, состояться не может. Хотя просьба эта и была признана „противоречащей закону“, однако, „снисходя к исключительным условиям, в коих находится девица Баторская, его императорское величество повелеть соизволил выдавать ей, в течение пяти лет, со дня вступления ее в брак, негласное пособие, в размере ныне производимой ей пенсии из казны“.

Интересы международно-политического характера тоже находили свое отражение в расходах „на известное его императорскому величеству употребление“. В 1911 г. повелено было выдать по 1.000 фунтов стерлингов г. Роберу и вдове г. Стерна за оказанные Робером и Стерном услуги по ведению переговоров о покупке в 1905 г. аргентинских и чилийских судов. В 1909 г. отпущено 6.000 р. морскому министру на приспособление некоторых судов флота для перевозки людей и лошадей в Финляндию, „в виду возможных осложнений в ней“. В следующем году министр снова обратился с такою же просьбою, но об отпуске большей суммы — 16.608 р., на что министр финансов, в виду значительного истощения 10-миллионного фонда, не согласился, и дело сошлось на 9.800 р. В 1911 г., опять на случай возникновения в Финляндии беспорядков, оборудывается для перевозки людей и лошадей транспорт „Рига“, и для этой цели отпускается из негласных средств 1.852 р. В 1910 г. на негласный фонд принят был долг черноморского правительства Государственному банку в 88.422 р. 43 к., образовавшийся из процентов и погашения выданной этому правительству в 1889 г. ссуды в 1 миллион рублей. Из политически-международных соображений негласными казенными деньгами правительство субсидировало даже религиозное мариавитское движение в Польше, которое, как оказывается, и самым успехом своим обязано было именно сочувствию к нему русской власти. Администратор мариавитских общин в России, епископ Ян Ковальский, в 1912 г. обратился к министру финансов с ходатайством „о выдаче мариавитским приходам городов Варшавы и Лодзи, в виду тяжелого их материального положения, ссуды из казны в размере 60.000 р. на удовлетворение их нужд, под обеспечение принадлежащих этим общинам недвижимых имуществ“. Варшавский генерал-губернатор Скалон, с своей стороны, находил эту ссуду желательной и указывал, что „мариавиты в Привислинском крае всегда поддерживались правительством, и самое распространение мариавитского движения в значительной степени обязано именно этой поддержке“ и что „в случае разрешения просимой ссуды необходимо было бы выдать ее в таком порядке, чтобы оказание помощи мариавитам не стало известным местному обществу, ибо огласка этого обстоятельства может повредить мариавитам в деле дальнейшего распространения их учения“. Ссуда была выдана на 20 лет, без процентов и даже без предлагавшегося самими мариавитами имущественного обеспечения.

Часть народных денег уходила негласным образом также на некоторых владетельных и бывших некогда владетельными князей. В 1908 г. по пред-

ставлению особого совещания для обсуждения отношений к княжеству Черногогорскому, назначена личная субсидия князю черногогорскому по 80.000 р. в год. В 1909 г. принята на счет негласного фонда сумма 11.116 р. 8 к., истраченная, по постановлению особого совещания по персидским делам, русской миссией в Тегеране на проезд по персидской территории бывшего шаха персидского Могамета-Али. В следующем 1910 г. ротмистру Хабаеву, состоявшему „при особе“ того же шаха, назначено из негласных средств, сверх получаемого им жалования по военному министерству, 4.834 р. 81 к., для доведения общей суммы его содержания до 6.000 р. Дочь последнего владельца Абхазии баронесса Варвара Мейендорф, урожденная княжна Шервашидзе, в 1908 г. получила на 3 года негласное пособие по 2.000 р., так как „с уменьшением арендного производства личные средства ее сократились“. В 1910 г. она обратилась с просьбой продолжить это пособие еще на 5 лет, и хотя министр финансов указывал, что просительница получает 3.000 р. пожизненной пенсии и притом, „не из юридических каких-либо прав семейства Шервашидзе на вознаграждение за отобранные от последнего владельца Абхазии земли“, а только из стремления правительства „обеспечить в будущем существование членов семьи Шервашидзе предоставлением им средств к безбедному существованию“, однако пособие ей было продлено еще на 3 года. Баронесса Мейендорф, повидимому, не была довольна и этим и в следующем 1911 г. просила увеличить пособие до 3.000 р. и обратиться к нему в пожизненное — и указывая, в противоположность министру финансов, что пенсия и аренды были назначены ей именно „как вознаграждение из казны за земли, принадлежащие ее отцу, владельцу Абхазии“. И на этот раз просьба ее была удовлетворена, однако не полностью; царь написал на ее прошении: „продлить негласное пособие еще на три года“.

Есть в секретных расходах и отголоски противо-правительственных „беспорядков“. В 1905 г., при подавлении московского восстания рабочих были разрушены два дома жены подольского губернатора Эйлера: один совершенно разрушен, а другой потребовал капитального ремонта. В 1906 г. Эйлеру было выдано пособие в 2.000 р., но в 1909 г. министр внутренних дел испросил ему еще негласное пособие на 5 лет по 2.000 р. в год, так как Эйлер, затратив на ремонт уцелевшего дома более 12.000 р., „находится в затруднительном материальном положении, тем более, что он принужден нести излишние расходы на воспитание детей не в месте его пребывания, так как в Каменец-Подольске не имеется соответственных учебных заведений“. Полковник персидский принц Акбер-Мирза в 1911 г. просил оказать ему пособие в возмещение убытков при армяно-татарских беспорядках 1906 г. в Шүшинском уезде Елисаветпольской губернии. Сам он определял сумму убытков более чем в 100.000 р., по актам особой комиссии она была исчислена в 30.000 р. Просьба о возмещении убытков была отклонена, но, „снисходя к бедственному положению“ просителя и его семьи, ему было назначено по 2000 р. негласного пособия. К этой же категории расходов можно отнести пособие в 1000 р. вдове убитого 12 августа 1906 г. жандарма Федорова.

По обстоятельствам сызкого характера потребовалось ассигнование в 1908 г. подполковнику Башинскому, и. д. начальника тифлисского жандармского управления, было выдано 1.000 р., в награду за предупреждение готовившегося близ ст. Караязы Закавказской жел. дор. покушения на ограбление почтового поезда, в котором перевозилось 1.808.815 р. казенных денег. По этому же делу было выдано 3.000 р. лицу, не названному по имени, „за раскрытие преступного замысла“.

Большая сумма секретного характера расходовалась по „высочайшим“ путешествиям. В 1909 г. министр иностранных дел Извольский получил 2.754 р. 27 к., сверх отпущенных ему ранее 5.000 р., на покрытие переезда по поездке его и сопровождавших его лиц в Крым и Италию. В 1912 г. 15 мая ассигновано 800.000 р. „на расходы по командированию чинов общей полиции и отдельного корпуса жандармов и на другие мероприятия, связанные с охраною высочайшего проезда и пребывания в Крыму, предстоящего двукратного посещения г. Москвы и Московской губернии, а также предположенного пребывания в Финляндских шхерах и в Привислинском крае“. 17 августа того же года отпущено еще 300.000 р. на те же потребности, по случаю предстоявших в конце этого месяца торжеств празднования столетнего юбилея Отечественной войны. В мае 1913 г. снова ассигнуется министерству внутренних дел 300.000 р. на полицию и жандармов, в связи с „высочайшею поездкою за границу и посещением г. Москвы, губерний Московской, Владимирской, Нижегородской, Костромской и Ярославской и городов Николаева и Кронштадта, а также пребыванием в Крыму“. В августе того же года этот расход был повторен, а в декабре министр внутренних дел просил еще 200.000 р.; министр финансов однако согласился на этот раз только на сумму 150.000 р., так как по сведениям самого же министерства внутренних дел дополнительные расходы на путешествия определялись в 1913 году в 754.000 рубл. и в счет этой суммы уже ассигновано было 600.000 р.

Но более и чаще всего казенные деньги негласным порядком расходовались на те или другие подачки различным сановникам и чиновникам, по преимуществу, конечно, высокого ранга. Иногда это были совершенно незамаскированные „наградные“ подачки и прибавки к жалованью, иногда предлогом их были усиленные труды по должности и особые издержки или заслуги, а иногда просто старость и бедственное материальное положение выходящих в отставку генералов и чиновников.

Товарищам министра путей сообщения Шукину и Думитрашко 1911—1913 г. г. выдавались из секретных сумм наградные деньги к праздникам рождества Христова и пасхи: в 1911 г. по 2.000 р. на каждый праздник, в 1912 г.—по 1.000 р. и в 1913 г. по 1.000 только к пасхе. Статскому советнику Плеве, назначенному в апреле 1910 г. управляющим делами Совета министров, положено было, сверх 12.000 рублей легального жалованья, выдавать ежегодно и негласно по 3.000 р. в качестве наградных денег и ему же еще раньше, в 1909 г., когда он был помощником управляющего делами Совета министров, вы-

дано было и в июне 1.500 р. и к рождеству Христову 2.000 р. „в личное пособие“. Выдавались также чинам канцелярии Совета министров в июне 1909 г. — 13.500 р., в декабре того же года 14.600 р. и в июне 1913 г. — 15.000 р. Характера наградных денег были и некоторые единовременные „пособия“: отставному генерал-майору Попову, состоявшему для поручений при командире отдельного корпуса пограничной стражи, выдано был в январе 1912 г. 750 р.; вдове члена Государственного Совета Е. И. Мордвиновой в декабре 1913 г. дано единовременное пособие в 3.000 р., и в августе того же года чиновнику особых поручений министерства финансов, статскому советнику Мурзину, 1.000 р., по случаю 35-летия его службы, „в порядке особого и совершенно исключительного изъятия“.

Прибавки к жалованиям и пенсиям даны: в 1909 г. уволенному в отставку управляющему Московской казенною палатою, действительному статскому советнику Урсати, по 1.500 р. ежегодно, на 5 лет, в добавление к пенсии, „принимая во внимание отлично-усердную службу, преклонный возраст и затруднительное положение, в котором он оказался вследствие перехода с содержания в сумме свыше 8.000 р. на пенсию в 3.000 р., и необходимые образования сына и младшей дочери“, при чем это пособие в 1913 г. было продолжено еще на 3 года; в 1911 г. первоприсутствующему в судебном департаменте Сената Вишнякову — 1.000 р. в год, сверх получаемого им жалованья в 9.000 р. и пожизненной пенсии в 4.000 р.; в том же 1911 г. — инспектору императорских поездов Копыткину 2.000 р. в год взамен аренды, „в виде особого изъятия и не в пример прочим“; в 1912 г. — уволенному в отставку министру-резиденту в Карлсруэ Эйхлеру по 3.000 р. ежегодного пособия сверх пенсии в 4.000 р.; бывшему бессарабскому губернатору гр. Князину, тоже сверх пенсии, по 3.000 р. ежегодно, и начальнику переселенческого управления Глинке по 2.000 р. сверх жалования „во внимание к выдающейся и полезной его службе“; в 1913 г. — члену Государственного Совета генерал-адъютанту Пантелееву ежегодное пособие в 1.500 р. взамен прекращенной аренды.

Под предлогом особо-усиленных трудов по службе негласные пособия чаще всего получали чиновники министерства финансов, так как от министра финансов главным образом и зависели эти выдачи. В 1906 г. за составление росписи государственных доходов и расходов на 1907 г. было выдано 6.000 р. товарищу министра финансов, заведывающему счетною частью и директору департамента государственного казначейства, и 22.000 р. остальным чинам того же департамента, так как „ими была выполнена совершенно новая и притом весьма сложная и срочная работа по составлению, согласованию с требованиями закона, проверке и рассылке на места расписаний временных кредитов, на основании которых будут производиться расходы до утверждения росписи на 1907 г.“. Эти выдачи повторялись и в 1908 — 1913 годы в сумме 6.000 р. товарищу министра и директору департамента и 5.200 р. в 1908 — 1910 г.г., 6.800 р. в 1911 г., 11.600 р. в 1912 г. и 10.200 р.

в 1913 г. другим чинам департамента, при чем в 1908 г. особо выдано было 1.500 р. вице-директору департамента государственного казначейства Николаенко за те же труды и за то, что он „потерпел недавно значительные убытки от истребившего часть его имущества пожара“. В 1913 г. к этому же расходу присоединено было 2.500 р. на печатание объяснительной записки по эконоимической части. В 1909 г. тот же департамент государственного казначейства вызвал на себя негласный расход в 814 р. за особые работы во внеслужебное время „по вопросу о преобразовании центральных и местных учреждений министерства путей сообщения и урегулированию перерасходов по частным железным дорогам за прежнее время“. В 1912 г. младшие чиновники того же департамента получили 2.200 р. „на лечение“, за труды по делопроизводству по неокладным сборам, при чем в докладе министра финансов царю было упомянуто, что в 1908 г. расход этот производился по смете главного управления неокладных сборов и казенной продажи питей, а с 1908 г., когда этот кредит был уничтожен Государственной Думой, относится он „на известное его императорскому величеству употребление“. В 1909 г. государственный секретарь испросил 8.000 р., „по примеру прошлого года“, на „выдачу пособий на лечение и денежных наград некоторым статс-секретарям государственного совета и чинам государственной канцелярии за особые труды по рассмотрению государственной росписи и земских смет на текущий год“.

Иногда негласным образом выдавались сановникам и чиновникам пособия на переезды и разъезды их. В 1911 г. просил себе ежегодного в 2.400 р. ассигнования на разъезды почетный опекун ген.-лейт. Ушаков, ссылавшийся на то, что он состоит попечителем и управляющим Волковскими православной и старообрядческой богадельнями, расположенными на окраинах города. Хотя министр финансов и указывал на то, что „на разъезды почетным опекунам не производилось и не производится никаких выдач из казны“, однако Ушакову была назначена негласная аренда в 1.500 р., пока он будет состоять попечителем богаделен. Вывшему послу в Константинополе Чарыкову, после отозвания его, было дано в марте 1912 г. 5.000 р. на переезд из Константинополя в Петербург, но этой суммы показалось ему мало, и он просил добавить еще 7.000 р., указывая на понесенные им при спешном отъезде имущественные потери; прибавлено было 5.000 р. В том же году было выдано по 1.000 р. министрам военному и морскому в качестве путевого довольствия по поездке в Москву на открытие памятника Александру III. В августе 1913 г. министр финансов испросил 15.000 р. пособия на переезд на другие квартиры чиновникам его ведомства, жившим в доме министерства финансов на углу Садовой и Итальянской улиц, проданном товариществу „Григорий Бененсон“. Были и просто вспомоществования на бедность, без оправдания их формальными предложениями. В 1911 г. отставной генерал-от-инфантерии Головки обратился с письмом к царю об уравнении его „с более счастливыми товарищами“, членами военного совета, получающими пенсию в 8.000 р., тогда как его пенсия и эмеритура составляют лишь 6.005 р., притом он разбит параличом, не владеет ногами; жить ему остается недолго „и тем тяжелее в последние

месяцы, а может и дни земной жизни лишиться скромных привычных удобств"; ему пожалована была аренда в 1.500 р. и негласное пособие по 500 р. в год. В 1912 г. министр финансов ходатайствовал о выдаче ежегодного пособия на воспитание детей начальнику отделения департамента госуд. казначейства Голованову, заведывающему „весьма важным и ответственным отделением“ и отличающемуся „прекрасными способностями, примерным трудолюбием и отличным знанием возложенного на него дела“. Хотя на выдачу пособий по воспитанию детей чинов ведомства министерства финансов и полагался особый кредит по смете, но в виду его крайней ограниченности установлено было, чтобы пособия выдавались только младшим служащим, тем не менее Голованов получал уже из этого кредита по 200 р. в год; министр финансов находил эту сумму ничтожной, указывал, что у Голованова пятеро детей, в возрасте от 3 до 14 лет, и испросил ему негласно по 750 р. „в виде особого изъятия и не в пример прочим“, пока он будет состоять на службе в департаменте государственного казначейства, на должностях, соответствующих должности начальника отделения. В том же году было назначено 500 р. ежегодного пособия, в дополнение к пенсии, вдове первоприсутствующего в департаменте герольдии сенатора Дедюлина, „принимая во внимание 44-летнюю выдающуюся служебную деятельность, а равно то обстоятельство, что единственным источником существования вдовы, которая не имеет права на эмер и туру и должна оказывать материальную поддержку трем совершеннолетним ее детям, будет служить пенсия из казны“.

Наконец, негласные пособия назначались иногда по настояниям и указаниям самого царя, лицам, особенно угодным ему, даже при некотором противодействии министра финансов. В апреле 1910 г. царь передал Кокцову записку о пожаловании директору 1 кадетского корпуса генералу Григорьеву ежегодного пособия в 1.500 р. „в путях монаршей милости“. Министр, с своей стороны, представил на „высочайшее благовоззрение“, что „как финансовым ведомством, так равно и законодательными учреждениями неоднократно высказывались заключения о нежелательности и недопустимости на будущее время предоставления служащим добавочных окладов содержания сверх окладов, установленных действующими штатами“. „Всемилоостивейше“ выслушав эти объяснения „и признав их правильными по существу и заслуживающими полного одобрения“, император сказал однако, что „в данном случае, во внимание к особо уважительным обстоятельствам и служебным качествам г.-л. Григорьева, представляется справедливым предоставить сему лицу указанную добавку к содержанию, в виде особого изъятия“. В декабре того же года военный министр сообщил Кокцову, что член военного совета генерал-от-кавалерии Винберг с 1 января 1911 г. увольняется от службы, с назначением почетным опекуном и что государю угодно было предназначить ген. Винбергу пенсионное обеспечение в 8.000 р., поэтому военный министр и просил дополнительного ассигнования из 10-миллионного фонда 3.300 р. Министр финансов разъяснял, что по закону почетным опекунам не присвоено никакого содержания и хотя в прежнее время в некоторых случаях допускались изъ-

ятия из этого правила, но с 1903 г. с „высочайшего предуказания“ „содержания почетным опекунам вовсе не назначается, а они сохраняют лишь пенсии, приобретенные прежнею службою“, и „за последние годы не было случаев отнесения на 10-миллионный фонд расходов по выдаче пособий почетным опекунам“. Несмотря на это, „государь император высочайше повелеть соизволил производить ген. Винбергу, в особое и совершенно исключительное изъятие, как своему бывшему начальнику дивизии, негласное пособие из 10-миллионного фонда, в размере трех тысяч рублей в год, показывая выдачу на „известное его императорскому величеству употребление“.

Ф. Покровский.

Дмитрий Богров, убийца Столыпина.

(Из записной книжки).

О Дмитрие Богрове я пишу „случайно“: попалась мне книжка А. Мушина „Дмитрий Богров и убийство Столыпина“ с предисловием Бурцева, изданная в Париже в 1914 г. Живое встал предо мною образ Дмитрия Богрова, которого я хорошо знал, и показалось мне, что и для читателя имеют некоторый интерес мои впечатления о Дмитрие Богрове. Дмитрий Богров одно время считал себя анархо-коммунистом, примыкающим более или менее близко к „чернознаменцам“. Из данных охранного отделения явствует, что (по справкам сенатора Шульгина) Богрову вменялось в заслугу освещение революционной деятельности моей и моих братьев. Сознаюсь — я не следил за литературой и не знаю, насколько раскрытые архивы окончательно и бесповоротно устанавливают факт провокационной деятельности Богрова. В своей характеристике я во всяком случае буду руководствоваться только запасом впечатлений. Меньше всего я претендую на „проницательность“ задним числом. Да я и права на нее не имею. Я энергично защищал Богрова, в полной уверенности, что этот своеобразный человек на такую „штучку“ не пойдет.

* * *

... Киевская тюрьма... Я из так называемого „женского корпуса“ переведен в „крепость“... Прогулка... Узенький дворик, высокие, серо-пегие стены... Точно и отчетливо помню всех. Вот сомнительный политический Комиссаров: он тишайше живет в своей камере, подозрительно и тревожно ожидая чего-то. Он напряжен. Политические смотрят на него презрительно и полубрезгливо. А с уголовными у него неладит. Они, эти всезнающие люди, грозятся убить робкого, юркого, тревожно-напряженного Комиссарова. Они говорят: верно, что Комиссаров укрывал аскедовскую типографию. Верно, что эту обязанность он выполнял честно. Но они упрекают Комиссарова в чрезмерной многосторонности: будто на окраине города он содержал маленький, совсем маленький домик... И что туда приходили люди для утоления своих потребностей, конечно, насущных, но ни в коем случае не духовных... Они говорят: туда-же уголовные сбывали краденое, и по отношению к уголовным Комиссаров не всегда был джентльменом... И вот: наступает воз-

мездия час! И вот: кара, в виде острого ножа, неминуема, ибо веления уголовной морали беспощадны, если... Комиссаров не вручит немедленно те двести пятьдесят рублей, которые тщательно зашиты в левом сапоге...

Комиссаров всё это мне рассказывает, негодуя, опровергает. Да и денег-то у него нет. А если и есть — оказывается, что есть и именно 250, именно в сапоге, именно в левом, так деньги эти приготовлены для побега...

Вот гусиной походкой переваливается умный, сильный, хитрый мужик М. М. чует, что революция проиграна, ставка бита... И всё думает думу свою... Мрачней и мрачнее „сверкают“ хитрые глаза. Надвигается реакция... Столыпинщина заглушит последний прибой революционной волны. М. тяжело и угрюмо думает — с кем и куда пойти? Скрытый, хитрый, он всё же пробалтывается. С недоумением смотрит на наше спокойствие, полагая, что мы или от него что-то скрываем или по легкомыслию не видим, что под нами беда и что гроза нависла. И жутко подмигивает, будто говорит: „А я что-то знаю, я что-то сделаю“... А вот откуда-то возвращается — верно из конторы — Злыченко. Он уныло, убедительно звенит кандалами... Направляется ко мне. Странный человек: низенького роста, непропорционально удлиненная голова на гибком, ловком теле. Лицо серо-пегое, цвета тюремной стены. Говорит тихо, но пронзительно, часто захлебываясь словами и хватаясь рукой за кандалы, как за какой-то непреодолимый аргумент. Странный человек! Он попался не то за экспроприацию, не то за покушение. Парень строго идейный, безгранично преданный революции. Он знает только два состояния — иступленного, безудержного гнева и экстатического, беспредельного восторга. Вот если бы можно было разлить мир божий, чтобы в одной половине было собрано всё черное, злое, лютое, а другая была вся соткана из света, мысли и великого дела, если бы одна половина была сплошным содомом, а другая „государством солнца“. Вот бы хорошо! А то все смешано, спутано, всё в нюансах, оттенках, компромиссах и как-то ни к чему ни его безмерная ненависть, ни беспредельный восторг... Теперь ему хорошо. Он восторгается полностью одним ожидающим смертного приговора — Цицерюком.

Цицерюк — бунтарь, органический, кровный, я готов сказать „метафизический“ — не представляю себе такого строя и такого гармонического общества, которому Цицерюк выразил бы доверие. Нет, „осанна“ петь Цицерюку не может! Уж его прелестями „хрустального дворца“ не соблазнишь никак! Вот его, цельного и беспримерного, и чтит Злыченко. Попался Цицерюк так: на сахарном заводе служили два пристава. Один „ничего себе“, другой измывался над рабочими. Цицерюк решил этого насильника убрать. Да вот недоразумение произошло: убит был не злой пристав, а второй — „ничего себе“... Цицерюк арестован, ждет смертного приговора. Создает нелепые планы побега. Он рвется на волю только для бунта. Он воистину постоянно, неустанно „ищет гибели своей“, но на большом деле... Он со мной — в одной камере. По утрам излагает мне какую-то „космогонию“. В основу положена брошюра Лункевича об образовании миров. Но Лункевич тут не при чем, Цицерюк отлично сам знает, как „всё произошло“: когда „атомы“ были спо-

койны, царилa смерть и небытие. Но часть „атомов“ заволновалась, забунтовала — отсюда цветение, жизнь. Так вот кого чтит Злыначенко. Но сегодня Злыначенко направляется не к своему любимцу, а ко мне. Отводит в сторону и тихо визгливо и как-то радостно-злобно объявляет:

— А Богров провокатор. Верно. Без сомнения. С воли получено.

Смотрит на меня пристально и прибавляет:

— И это он вас выдал. Наверное.

Вспоминаю кой-какие моменты ареста. Арестовали меня на русско-германской границе. Я направлялся в Берлин с легальным паспортом, не моим впрочем, а двоюродного брата. Жандармский офицер, громадный дурак, не уложив исполняя отданный приказ, уверял, что только пять минут тому назад получена телеграмма о моем задержании. А позже жандарм проболтался: за мною давно следили, знали, в какой гостинице я жил в Варшаве, и решили взять меня вне Киева. Богров знал о моем отъезде. Но что же с этого?.. Знали многие. Я позже справлялся у товарищей, некоторые колебались, а некоторые, весьма авторитетные, решительно опровергали подобный вздор. Я без колебаний отверг эту гипотезу. Как-то не вязалось это с моим представлением о Богрове. А я далеко не был очарован Дмитрием и относился к нему сдержанно.

Помню его таким: высокого роста, худой, на щеках разлит румянец — но не производит впечатления физического избытка, скорее румянец чахоточного. Этот румянец придает характер болезненной молоджавости. Губы чуть отвисают, открывая выступающие, чрезмерно длинные, передние зубы. Небольшой лоб хорошо сформирован. В лице — нет движения. Оно недоуменно застыло... Говорят: Богров — весельчак, Богров искрится остроумием. Ни разу он на меня такого впечатления не произвел. Наоборот. Казалось, что этот человек никогда не знал простой радости, не знал „глупого“ счастья, не изведal приступа буйства жизни... В душе была осень, мгла... Был ли Дмитрий Богров романтиком? Нет. В нем жило что-то трезвенное, делаческое, запыленно-будничное, как вывеска бакалейной лавочки... Я очень легко себе представляю Богрова подрядчиком по починке больничных крыш, неплохим комми-вожатером шпигатной фабрики... И он бы серо и нудно делал нудное дело. Но точно так же представляю себе и такой финал: в местной газете, в разделе происшествий, появляется петитом набранная заметка: „в гостинице Мадрид“ покончил самоубийством комми-вожатер шпигатной фабрики Д. Богров. Причины самоубийства не выяснены...“

Да, романтика Богрова — если о ней можно говорить — то только как бы протест против нудной обыденщины и смертоносной „обнаженности“, что жила в нем и грызла его. Я ни разу не видел Богрова просто веселым, радостным, упоенным предстоящей борьбой и риском. Я помню Богрова оживленным только тогда, когда он острил... А острить он любил. Но было нечто своеобразное в этих островах. Казалось, дайте Богрову сырой материал мира, и он все построит по образу и подобию парадоксальной остроты. Остроумие — иногда просто смех над жизненными нелепостями, юмор часто разгружает

душу от парадоксов и как бы возвращает нас к творческой закономерности. Юмор — просто желание как-нибудь израсходовать избыток смеха. Остроты Богрова скорее были временным уходом от сердечной осени и расположением элементов по линии бесплодного парадокса. Когда он острил, то и сам смеялся, но черты лица оставались неподвижными, черты „не пропитывались“ улыбкой, улыбка как-то механически торчала рядом, как внешняя приставка...

Богров возмущался партийной дисциплиной, осмеливающейся надеть комут и прикреплять человека к определенной полоске. Отсюда, вероятно, и не совсем правильное представление о его романтической „беспредельности“. Но это не так. Есть люди, которые ищут своего ярма. Они рады своей скромной „полочке“ и, конечно, впадают в грех „пещерного“ идолопоклонства: свою полочку они готовы считать вселенной. У Богрова было какое-то примитивное „вездесущие“... Он спасался от предела не беспредельностью созерцания и воли, а механическим пребыванием „повсюду“. Характерно, что в беседе с товарищем К. В. Акашевым Богров презрительно отзывался о тех, которые однобоко живут в среде „косовороток“, саботируя общество фраков и высоких воротников. И однако, должен сказать, что жила в нем всё же самая настоящая, и так мне не только казалось, но и кажется теперь — ненависть к царскому режиму и едкая ирония и презрение к буржуазному миру. Даже неожиданно наивно вспыхивала злобная насмешка и неподдельное презрение к рыцарям накопления и господам „цивилизаторам“, якобы защищающим от рабочих „истину и справедливость“. Зло и беспощадно говорил и о буржуазных ученых светосадах, якобы чуждых мирских благ. Конечно, можно думать, что это было притворство, — „чересчур широк человек, не мешало бы сузить“ (слова Достоевского), — но я и теперь убежден, что Богров был искренен.

Помню, это было в Киеве, в гостинице „Лувр“. В моем номере сидел Богров. Он излагал план издательства. Постучались. Вошла студент и молодая девушка. Они вручили записку от товарища — я вспомнил, что мне уже говорили об этих товарищах, собирающихся вести анархическую работу в деревне, но они ставя условием — помогать им литературно и агитационно, главным образом, в духе антирелигиозной пропаганды. Студент был какой-то „вдохновенный юноша“, похожий на Надсона с некоторым уклоном в парикмахерскую „красивость“. У таких „революционеров“ к тридцати годам почти всегда оказывается состоятельная тетка, которая изумительно во-время умирает и еще более кстати оставляет небольшой капитал, который дает возможность открыть химическую лабораторию, а позже — магазинчик парфюмерных изделий. А девушка, серенькая, незаметная, как будто бы только и озабочена тем, чтобы еще больше сжаться и свернуться, сейчас же стала излагать свою теорию. Убежденно нападала на „мещанство“ экономического материализма, не знающего, что сознанием и только сознанием определяется бытие. Что только на фундаменте религиозного сознания масс держится весь строй эксплуатации и насилия. Убейте в сознании трудового крестьянства идею бога, и никто и ничто не поработит их фетишам закона, собствен-

ности. Завязался спор. Богров сосредоточенно, внимательно слушал девушку. Его поразили этот душевный подъем, сосредоточенная вера и подлинная, внутренняя насыщенность. Он возражал. Вало. Неумело. Товарищи ушли. Богров был мучительно угнетен. И мне показался он просто в чем-то несчастным, одиноким человеком.

Прошло много времени... Арест. Этап. Тюрьмы, болезнь... Побег... Я опять в Киеве. Думаю пробраться за границу. Пока необходимо найти мне квартиру. Это всё устроил Дмитрий Богров.

Богров у меня... Жалуетесь на то, что теперь, когда революция разбита, когда в сознании масс обанкротилось всяческое соглашательство, когда только анархисты могут подбрасывать огонь в потухающий костер революции — все бегут за границу. Я указываю Богрову на полную невозможность для меня продолжать работу при прежних условиях. Рису ему невеселую картину: такие люди как Гелингер, Шерка погибают, не дав движению и сотой доли того, что могли бы дать. А ведь Борис, Шера и другие — подлинные герои. Наша работа разрыхлена, атомизирована — „всяк молодец на свой образец“. Богров слушает сосредоточенно, угрюмо. Некоторое время молчит. А потом излагает новый план работы. Я должен остаться в России. Объезду район, имея организационным центром Борисоглебск, литературно-издательским — Киев. Организуем широкие связи с крестьянством... Имеются здоровые группы среди учащейся молодежи... Мелкие экспроприации будут изгнаны беспощадно. Предстоит только одна крупная — которая обеспечит средствами район и избавит от необходимости мелких. Работа не будет рассчитана на „внешнее впечатление“; упорная, ежедневная работа по сплочению и организации масс. Богров вначале говорит вало, точно читает декларацию, но после оживляется всё более. Четко и определенно набрасывает план работы. Я соглашаюсь остаться в России, при условии точного выполнения задуманного плана, но ставлю Богрову условие: всецело и всемерно отдаться только этой работе, не разбрасываться. Намечаем даже план газеты, общую платформу. Дмитрий Богров принимает условия; мы вскоре вместе поедem на свидание с ответственными товарищами. Но... Богров встает, нервно шагает по комнате.

— Вот что: я затеял одно дело, отказаться невозможно. Отложить — преступно. Речь идет об освобождении „смертников“. Подробностей излагать вам не буду. Скажу только: мы по надежному телефону, с полным знанием всех условных знаков из судебной палаты, требуем немедленной доставки из тюрьмы нескольких смертников... Эта часть будет выполнена безукоризненно. По дороге мы нападаем, разоружаем конвой и освобождаем. Возможна неудача... Тогда погибну первым я. План нашей совместной работы рухнет тогда. Но отказаться невозможно. Если узнаете завтра что-либо тревожное — немедленно оставьте город...

Я не спорил. На следующий день узнаю: около Владимирского собора Богров арестован. Никакой попытки освобождения смертников не было.

... Я выбираюсь из Киева... Я в Умани... В Варшаве... Граница... Берлин... Прошло два года. В Париже получаю письмо от Дмитрия Богрова — не то из Дрездена, не то из Мюнхена. Я ему отвечаю, знакомлю с настроениями и своими планами. Сообщаю, что вместо большого „Бунтаря“ Ерделевский и товарищи издают маленький. Опыта революции они не учитывают, не знаю, надо ли выправлять их линию или создать что-то новое. Дмитрий Богров отвечает мне письмом, в котором выражает надежду на скорое свидание, пока же просит напечатать в ближайшем номере „Бунтаря“ или „Буревестника“ отчет Борисоглебской группы. Это письмо (перепечатанное в брошюре Мушным) интересно — в нем сквозит боязнь недоверия со стороны товарищей. Все время речь идет о возможности или невозможности проверки. Считаю нужным привести часть письма.

„Товарищи! Посылаю вам отчет в деньгах, полученных киевской группой А. К. от максималистов г. Борисоглебска. Деньги эти были нам переданы вследствие некоторых услуг, которые мы оказали сидящим в киевской тюрьме максималистам, и вследствие почти полного единения на почве практической работы.

С момента получения этих денег в июле 1908 г. они находились в моих руках. Так как вся техническая часть работы была централизована, то для проверки отчета необходимо навести справки, главным образом, у товарища, который в настоящее время находится в Уманской тюрьме и связь с которым можно получить через Киевский Красный Крест. Так, только ему известен расход на лабораторию, по подготовке побега, по взятым им по отъезде из Киева деньгам.

Расходы по Борисоглебскому транспорту могут быть проверены через сидящих в Киевской тюрьме максималистов из Борисоглебска, у „Митрия“, который отвозил транспорт, у Яши и Абрама (один из них присутствовал при передаче транспорта)

Вы, конечно, сами понимаете, товарищи, что отчет этот в том виде, как я его Вам посылаю, является ключом к открытию всей киевской работы и всех лиц, находившихся с нами в сношениях, ибо большинство из них известно под кличками отчета и в охр. отд. Поэтому о напечатании его не может быть и речи. Ограничьтесь заметкой, что от одного из киевских товарищей получен подробный отчет в 2060 руб., израсходованных с июля до октября 1908 года. Рощин пишет мне, что наш 4 № вскоре выйдет; если следующий номер „Буревестника“ выйдет равьше, чем наш, то пошлите в „Буревестник“ для напечатания заметки, что получен отчет. Это для меня и для всех киевлян очень нужно.

Не откладывайте в долгий ящик проверки моего отчета, ибо она потом осложнится.

С товар. приветом, раньше Дмитрий, теперь Григорий“.

С Богровым я встретился в Париже. Он был всё тот же. Внутренно безрадостный, осенний. Он по-старому — жутко острит. Подозрения то

возникали, то опять исчезали... Дмитрий Богров не делался от этого ни более осевшим, ни более „остроумным“. Только вот почему-то появился особенный интерес к теории — в частности к теории права Петражицкого. Уверил меня, что теория „фантазм“ льет воду на анархическую мельницу, готовился писать на эту тему этюд...

Дмитрий Богров уехал в Россию. А там люто и беспрепятственно орудовал Столыпин. Третья Дума Столыпина благословила, и под полуконституционным знаменем творилось дело истребления живой силы революции. Снискала нагайка молодцов из Союза Русского Народа, без усталости работала палач. Однажды в газете „Речь“ прочел известие: — В Киеве в театре на статс-секретаря Столыпина произведено покушение. Премьер опасно ранен. Покушавшийся Дмитрий Богров арестован. Не долго пришлось ждать и другой вести: Дмитрий Богров повешен.

Что побудило Дмитрия Богрова на покушение?.. — Кто скажет?.. Может надоело „острить“? Может, ключом послужат следующие строки из письма: „Нет никакого интереса в жизни. Ничего, кроме бесконечного ряда котлет, которые мне предстоит скушать в жизни. И то, если моя практика это позволит. Тоскливо, скучно, а главное одиноко...“ (См. брошюру А. Мушина).

Может, Дмитрию Богрову не только надоели тщетные попытки заполнить внутреннюю пустоту?.. Может, им двигало и нечто другое? Ведь Богров — в этом я убежден — презирал до конца хозяев политической сцены, хотя бы потому, что великолепно знал им цену... Может быть, Богрову захотелось, уходя, „хлопнуть дверью“, да так, чтобы нарушить покой пьяно-кровожадной, дико-гоголящей реакционной банды?..

— Не знаю...

И. Гроссман-Рощин.

Новинский Б-льв., 32, кв. 61.
Москва.

„Поездка в Нежин“.

Из воспоминаний о денкивщине на Украине ¹⁾.

Выехать из Киева в те дни было не просто: требовалась целая куча „разрешений“, и в том числе (и в первую, конечно, очередь) разрешение контр-разведки. Для меня лично дело осложнялось еще и взятой с меня „подпиской о невыезде“. Выручил, однако, и на этот раз Центросоюз. В распоряжении Киевской конторы имелось несколько чистых командировочных бланков „Штаба Полтавского отряда“, за подписью Бредова и соответствующей печатью, на предмет командирования агентов Центросоюза для закупки продовольствия для армии. Такая командировка естественно избавляла от всяческих „разрешений“. Мне и товарищу С. (решившему выехать со мною вместе в поездку) удалось получить два таких бланка, с назначением на Нежин,—наиболее острый в данный момент пункт Прикиевского фронта. Подписывая наши командировки, ближайший начальник наш, правый с.-р., прекрасно знавший подлинные наши имена и звание, напутствовал нас отеческим предостережением: „Вляпаетесь—пеняйте на себя; в случае чего Центросоюз хлопотать не будет; отречемся начисто. Почему мы знаем, что за люди—наняли со стороны“.

Вместе с нами выезжал в тот же Нежин один из инспекторов Центросоюза, тоже правый с.-р., бывший политический эмигрант. Знать он нас не знал, но партийным чутьем явственно чувствовал, что, помимо закупки варенья и повидла, у нас есть еще другая специальность; чувствовал—и какая именно. Поэтому, он был особенно предупредителен и внимателен к нам—как до выезда, так и во время самого путешествия.

При той строгости, с которой выдавались пропуски, мы имели все основания предполагать, что большой тесноты в поезде не будет: тем более, что дня за два до нашего отъезда, в связи с некоторыми осложнениями на фронте, „частным“, неслужащим лицам выезд был вообще воспрещен. И потому, когда поздней уже ночью (часа через три после того, как должен был

¹⁾ См. „Былое“ № 25—начало воспоминаний автора, ведшего подпольную работу в Киеве во время оккупации города добровольческой армией. Ред.

отойти по расписанию поезд), к платформе, на которой мы стерегли свои чемоданы; подошел с шумом и стоном, словно оступаясь, прихрамывая на каждом стыке, битком набитый состав, мы, с первого начала, решили, что к нам это отношения не имеет. Да и подполз он совсем не по той колее, которую указал нам как „Нежинскую“ железнодорожный служащий. И лишь спустя несколько минут после того, как ожидавшая, вместе с нами, на платформе толпа, озверев, теряя кульки и узелки и раздирая колени о железную оковку теплушечных жерл, ринулась на приступ, — шевельнулось сомнение: „а если?“

Сомнение оказалось правильным: поезд был наш. А набит он был до пресыщенности потому, что более дальновидные путешественники произвели, как выяснилось впоследствии, посадку еще на Киев-товарном, где составлялся поезд. Правда, такая посадка требовала некоторых дополнительных расходов, — зато там не спрашивали ни разрешений, ни пропусков, ни билетов. По-домашнему.

Ноги, ноги, спины, узы... Тем не менее, мы втиснулись. И даже — втиснулись удачно, так как осели на свои чемоданы у самой стенки вагона, недалеко от входа: это гарантировало наши тела от ущемления, не в пример разместившимся посередине; там было не до сиденья: каждая новая волна, врывающаяся через „шлюзы“ теплушек, под оглушительный, бешеный, срежущий протест ранее прибывших, перекачивалась по всему вагону, разбрасывая всё, что не успело прилепиться к стенам.

Наконец, уплотнение достигло высшей, даже по самым революционным нормам, меры; волны, заглядывавшие в наши шлюзы, стали откатываться, не пытаясь „взмыть“. Но все продолжали сидеть настороженно и сумрачно, опетенившись; так ждут в окопах, после ряда отбитых атак, нового неприятельского натиска, — ждут, не веря наступившему затишью.

Тьма крошечная: даже соседей не видно. И только в светлых пролетах разверстых — на обе стороны — „ворот“ колышется черные силуэты „первого ряда“ — тех, что сидят, спустив ноги за пределы вагона.

„Куда?.. Людям и так дышать нечем!“

Но через плечи сидящих уже мелькнул наметанной рукой брошенный мешок, а следом за ним перебрасывается, в пальто и странной шляпе, бородастая и очкистая, бессомненно еврейская фигура.

„Ку-да?“

Кто-то снизу, с платформы, ухватывает фигуру за полы, — но она делает неожиданно ловкий вольт, сбивая локтями шапки одновременно с трех сидящих в пролете парней, и под уханье перекрестной и совершенно непечатной ругани, под взвизги баб, вваливается внутрь. И тотчас же, в след за ним, вырастает на синеватом чадном фоне „ожидающего“ вокзала коренастый солдат в меховой, лихо сбитой на затылок шапке: на правой „статуино“ вытянутой вверх руке символом неким крутится нагайка.

Рука протягивается к воротнику вновь прибывшего. „Ты кто?“

А за первым — в образовавшийся, каким-то чудесным образом, широкий проход поднимаются еще два, три... четыре солдата. Таких же бравых. И тоже — с нагайками.

„Давай документы!“ — потрясает в воздухе рука; и плашек на руке дразняще и задорно обшарканный круто-плетеный ремень.

„А я же военнопленный, ей богу, военнопленный!“

Белеют в темноте шелестящие торопливые бумажки, чиркает спичка. Тяжело сопя, наклонились над печатями головы.

Солдат выпрямляется, наконец: гроза, видимо, прошла мимо. Он возвращает документы военнопленному и обертывается на этот раз ко всей аудитории.

„А ну-ка, где у вас тут комиссары и комиссарчики? Показывайтесь!“

— У нас здесь жидов нет, — угрожно и глухо отказывается черный и дальний угол.

— А вот сейчас посмотрим!

Снова чиркает спичка, освещая целый затон пестрых женских платков и сиротливо затерянные среди них кое-где блеклые, затрепанные мужские шапчонки. К ним, ориентировавшись, и направляется поверяющий.

Но состав нашего вагона оказывается действительно прочно православным. Кроме военнопленного, „подозрителен на маккавейство“ (по выражению капитана, с которым мне дня два тому назад довелось беседовать) — всего только один, да и тот застрахован блистающими даже в вагонной тьме двуглавыми пуговицами форменного пальто и кокардой на тулье казеннейшей фуражки. К тому же он столь рьяно и вернолодданно подавал реплики солдатам во время их поисков, что, когда очередь дошла до него, „старшой“ снисходительно скользнул взглядом по юлившей перед ним фигурке.

Нас он заметил не сразу: сидели мы под стеной; в оживлении, охватившем весь вагон во время этой „охоты за жидом“, активного участия не принимали. Тем хуже... что за люди притулились?

Спичка гаснет. Чиркает вторую, низко нагибаясь к нам, заглядывает под шляпу. Спичка ломается. Третью. Ломается также. Короткое, но тройное ругательство. Вагон замирает. Вспыхивает, наконец, тонкий плашущий огонек. Явственно слышен запах спирта.

Я прищурился. По уверению одного моего бывшего знакомого каждый прищурившийся человек похож на еврея.

„Те-те-те! Как фамилии? Давай документ!..“ С. поспешил вмешаться: ведь фамилии по „новому паспорту“ немецкая: долго ли до грета.

„Дайте ему прямо Бредовский документ, Петр Павлович.“

— Русский? — недоверчиво выпрямляется солдат.

— Нет, самоед! — смеемся мы с С. — Может, еще „Верую“ прочитать?

— Ну, ежели русский — езжайте! Езжайте, куда велено, — неожиданно умышленно шепчет „старшой“ (от духоты вагона хмель, видимо, разбирает). — А ежели так, чтобы жида ездили, а русские на месте сидели — не допущу.

Вагон одобрительно гудит.

— Вчера... вчера, — продолжает, окончательно растрогавшись, солдат, — я полвагона этой нечисти высадил...

Слезы в голосе... И вдруг, резкая перемена тона.

„Полвагона, мать их так и этак!“

Бабы хохочут навзрыд. Солдату устраивают овацию и, опираясь то на ту, то на другую голову, он выбирается из вагона, вслед товарищам, радостный и гордый.

Но долго еще, после его ухода, шумит разбудораженный вагон. — Дебатируется „еврейский вопрос“, впрочем, термин „дебатируется“ здесь не к месту, ибо дебатов, по существу, никаких нет. Мнение почтенного собрания едино, неизменно и твердо:

„Бей жидов!“

Через час, приблизительно, тронулись. На Киеве П снова захлестывает во время короткой остановки волна мешков, пустых бидонов, людей. Происходит молчаливая, но тем более ожесточенная схватка. Кракает раздавленная бутылка. Мне на ноги грузно опускается подковками тяжелых сапог дебилая баба, нестерпимо пахнущая керосином; взбешенный, упираюсь ей обеими руками в поясницу и опрокидываю этот монумент на голову соседа, мирно прикурнувшего на своих тучках. Тот поднимается с рычанием: баба „передается“ дальше. Но ее место у меня на коленях уже заняла неведомо откуда свалившаяся дивчина — хвала богам, хоть без керосина. Поисторая маневр, но с меньшим успехом: дивчина осушается на пол, у самых моих ног, разметывая чоботами пирамиду чьих-то вещей, и категорически отказывается продвигаться дальше.

Несколько минут идет в полной тьме борьба по всему вагону. Затем, все „уминается“; ворвавшиеся остаются в большинстве на ногах, в просветах между сидящими и, капитулируя перед их правом первородства, от активных попыток сесть переходят к словесной перестрелке. Ну, и жгуча же на язык украинская баба!

Понемногу, однако, стихают и эти салюты. Вагон начинает дремать, под мерные толчки вновь тронувшегося поезда.

Доехали мы благополучно. Под Бобриком (станция) в вагон влез кондуктор с фонарем и потребовал предъявления билетов; тогда-то, во всем объеме вскрылась тайна „переполнения“: на всей площади, уплотненной телами до взаимодушения, нашлось всего три наивных души — трех кооператоров, у которых оказалось всё что требуется по закону: у всех остальных не было ни билетов, ни пропусков. Кондуктор принял это как должное: он невозмутимо взыскивал со всех едущих до Нежина по 45 рублей („вокзальная“ цена билета — 19), а на ближние станции по 30, не сдавал сдачи с „сороковых“ „за неимением мелочи“ и не выдавал никаких квитанций. Только один седой „пиц“, смиренномудро сидевший на мешках, в ближайшем нашем соседстве, от дани увернулся: он внес кондуктору четыре смятых красных

бумажки по десяти аннулированных карбованцев и кротко, но твердо заявил, что других денег у него нет. Кондуктор обязал его, по прибытии в Нежин, явиться в контору для производства расчета. Но смиренномудрый попик считал за благо сойти, не доезжая полутора верст от станции, у семафора, где нас продержали добрых три четверти часа...

Нежин широко и далеко растекается низкими домиками, затененными дворишками. Площадь с обязательной каланчой, собором и „присутственными местами“ — огромная, на треть заполненная рядами пустых деревянных барачков-лавочек. Одним фасом выходит на нее высокая, белая, должно быть незадолго до революции перебеленная начисто, стена тюремного двора: на ней гигантскими, во весь подъем стены, размалеванными красными литерами, далеко видная надпись:

„В свободной России нет больше тюрем! Бандитов и преступников Советская власть расстреливает на месте!“

Несколько гостиниц, но все заперты наглухо. С трудом разыскиваем себе пристанище в одном из прилегающих к площади проулков. Оказывается, позавчера в воскресенье по Нежину прошел погром, и поскольку гостиницы в городе все еврейские...

Пока мы пьем чай, хозяин, тоже еврей, пряча кудлатую, груто завитую бороду в поднятый воротник пиджака, рассказывает, почему и как это случилось.

Добровольческая кавалерия вступила в город в субботу без боя; державшиеся в лесах между Носовкой и Нежином партизаны Кропивянского себя не обнаружили. Расквартировались войска без приключений. На следующий день, после торжественного молебствия, на площади устроен был парадный обед для „освободителей“, с речами и музыкой. Тем временем Кропивянский выслал в город усиленную разведку. Так как особого охранения выставлено не было, его партизаны, с пулеметами, беспрепятственно дошли до площади, установили свои пулеметы по середине улицы и стали „поливать“ обедающих частым огнем. Все бросились врассыпную. Потери были довольно велики, так как кропивянцы били по толпе и с близкой дистанции.

Паника перекинулась на весь город. Расквартированные на окраине и не принимавшие участия в пиршестве эскадроны, услышав крики и стрельбу, завидев бегущих без оружия и шапок людей, мигом сели на коней и полным ходом отошли к станции, за несколько верст. Спешно стали готовить эшелоны к отправке на Киев. Но в этот критический момент со стороны Киева подошел состав с артиллерией и пехотой. Прибывший пехотный полк немедленно высадился, построился, бросил вперед цепи, выдвинулась артиллерия и, опираясь на нее, кавалерия повела обратное наступление на город.

К моменту подхода передовых разъездов, он оказался, однако, уже очищенным неприятельскими силами. Кучка кропивянцев, довольная поднятой ими суматохой, не стала дожидаться возвращения противника и благополучно

ушла в лес, за мост, Добровольцы водворились на прежних квартирах и в ту же ночь учинили погром.

Длился он, впрочем, недолго; всего несколько часов. И убито было, во время его, всего 200 человек: цифра, по убеждению нашего хозяина, совсем незначительная для такого города как Нежин. У него самого убита мать и брат.

— И вы не поверите! — сокрушенно качая головой, говорит хозяин... — Ведь брат до самой субботы в тюрьме сидел: большевики его держали, как буржуа-заложника. Только вышел — попал под погром. Одни — держали, другие — убили...

Идем к кооператорам: здесь, в Нежине, два „центра“ местных: Нежинский уездный союз потребительных обществ и кредитный союз кооперативов. Мы уполномочены заключить с ними договоры, если у них есть вообще, что поставлять.

Встречают радушно, готовность к договорам полная, но продуктов... продуктов... продуктов как будто и нет. Правда, табак должен быть: из уезда уже в течение трех лет не вывозилось ни листа, и местные фабрики не работали, а Нежинский уезд табаком славится издавна... Но, что с этими трехлетними запасами стало — как угадать? Потреблен ли он войсками, что ходили по уезду эти три года, или запрятан в союзе — сведения нет. То же и с медом. То же и с бочками. Прежде здесь заготавливалось много тары — „а нынче заготавливать — как угадаешь, на кого заготовышь!“ Думали овощи сушить: К. едкий Союз (денег у него было много, не знали куда и забить) стал строить сушилку, да достроили ли — не знают ни в Кредитном, ни в Потребительском: члены правлений поразъехались и поразбежались, остались лишь одни „дежурные“: „настоящих дел“ нет... Обещают, однако, разузнать про сушилку, благо она тут же в городе. А из продуктов предлагают, в готовом виде, только огурцы.

Огурцы особенные. Заготовлены они были, в количестве 650 тысяч штук, особой артелью, организованной, при большевиках, местным Совнаркомом. Из них — 350.000 удалось вывезти своевременно на север, остальные достались добровольцам в виде военной добычи. Но артель потребовала — для выдачи их — 135.000 рублей в окончательный расчет.

Но огурцы мало прельщали добровольцев: из-за них шуму поднимать не стоило. И поскольку денег у командования, естественно, не было вообще, а не только что на огурцы, „местная власть“ перекинула весь засол городскому самоуправлению. Городской голова мечется ныне по городу, ища, куда пристроить огурцы, потому что денег ни в самоуправлении, ни в кооперативах нет. Назавтра в думе назначено даже специальное по этому огуречному делу заседание. В общем — дело с огурцами, как будто, для Центросоюза приемлемое: все же надо скалькулировать... Решение откладывается на завтра. Кооператоры к тому времени разыщут нам и сушилку.

Обедаем в лучшем здешнем ресторане — на вывеске написано: „Тека-речи“. Ломаем голову, что это может значить. Это не фамилия, так как

фамилия владельца обозначена особо. Оказывается (и за что не догадаться), слово это составлено так: Те-атр, ка-фе, ре-сторан, чи-талья: предприятие это объединяло раньше названные четыре учреждения, теперь работает только один ресторан. Так что, собственно, называться предприятие должно было бы совсем коротко: „Ре“.

Обеды, впрочем, хорошие и дешевые. В главной зале висит большая живопись с картинами Зичи: Демон и Тамара. При этом Демону явственно нарочито придан вид Троцкого: он с черной эспаньолкой и шапкой черных вьющихся волос. Обедавший с ними рядом офицер разъясняет: „Символ!“

Вечером — „чашка чаю“ у кооператоров. Осторожно осведомляются о политических новостях киевских, особенно упирая на взаимоотношения денкинец с Петлюрой. Узнав, что соглашения нет и быть не может, — напротив того, по всей линии дан приказ бить петлюровцев нещадно, — кооператоры сокрушенно качают головами, а у одного из них наивно и искренно вырывается: „Ну, значит революция не кончится!“

О добровольцах суждения сдержанны. О советских — скорее благожелательные, но — с усмешкой некоторой по адресу бесхозяйственности и волокиты. Один из членов правления рассказывает, в подкрепление, эпизод получения им мануфактуры из Черныговского губпродкома, непосредственно перед занятием Нежина белыми.

Эпизод — доподлинно. Сколько мытарств в одном только губпродкоме, чтобы получить наряд. Ведь Нежинский уезд не сегодня — завтра может перейти под трехцветный флаг, а стало быть отправлять в него мануфактуру, по справедливому умозаключению советских властей — нет никакого смысла. Насилу добились нежинцы наряда на 175 тысяч аршин. Два дня возни с получкой; получили-таки; нашли с неимоверным трудом подводы, перевезли на вокзал — новое затруднение: начальник станции наотрез отказывается грузить без ордера Совета Обороны. Назад, за 17 верст, за ордером. Но в Совете — не только ордера не дают, но опротестовывают и самую выдачу. „В Нежин! Белых снабжать? — Ни аршина!!“ Чтобы спасти товар от обратной реквизиции, нежинцы решают вывезти его гужом, пока протест Совета „пройдет по инстанциям“. В соседнее село — за подводами: никто из служащих не хочет. Насилу уломали хоть на один перегон, до Вересоча — там рассчитывали погрузиться, или хоть вывернуться из „пределов досягаемости“ Совобороны. Сговорились — по 5 аршин мануфактуры за подводу. Подводы выезжают, грузятся; но их мало — подняли всего 50 тюков; нежинцы отправляют погруженные, мчатся в другое село — в противоположную сторону. Та же история, та же возня, тот же результат. Уже в сумерках прибывают на станцию с возчиками: начальник станции спит, на столе телефонограмма: „Если мануфактура Нежинскому уезду не выдана — не выдавать“. „Сепаратный разговор“ с помощником начальника станции: за известное количество мануфактуры заключает с кооператорами наступательный союз: будит начальника. Улаживание, улещивание, отрез на пару костюмов. Кое-как соглашается

„получить телефонограмму уже после отъезда нежинцев“. Грузят и немедленно отправляют погруженные подводы. В середине погрузки начальника охватывает страх: а вдруг узнают — долго ли до Чрезвычайной Комиссии? Заарестовывает погруженную, но не съехавшую еще со двора партию тюков 50. Кооператоры препираются, убеждают, просят, „отрезают“ — наконец, плюют и уезжают догонять „во мрак ночи ушедшие подводы“. Догнали. На пути, в какой-то деревушке, узнают, что в Вересочи войска, и вообще по этой дороге навстречу обоза идут красноармейские части. Как бы не задержали опять. Нежинцы решают изменить маршрут и пробираться домой грунтовыми дорогами. Дело пахнет уже не пятью аршинами за подводу. Возчики понимают ситуацию, ломят цену; в конце-концов сговариваются, поворачивают назад, на несколько верст, и углубляются в уезд лесами, в сторону от тракта, и после всяческих блужданий, поломок и мытарств доставляют таки мануфактуру на союзные склады в Нежин.

Тут начинается — вторая, добровольческая, часть эпопеи. Не успели развезти мануфактуру по кооперативам, — является новая власть и немедленно накладывает руку на все склады и вообще на все, что, по ее толкованию, „куплено на большевистские деньги“. В этот разряд попадает и мануфактура. Склады вскрываются, начинается расхищение. Опять бросаются правленцы по мытарствам: в думу, к коменданту. Комендант сначала и слушать не хочет: „Кооперация? Знаем мы эту кооперацию! — большевистские фасоны“. Опять разговор сепаратный: выдает в конце концов охранную бумагу. Но она отпугивает только самых невинно-робких: офицеры, начиная с заместителя самого коменданта, заезжают в склад на извозчиках, отбирают, отказываются не только выдавать расписки на забранное, но даже назвать свою фамилию. Уцелевшие аршины Союз раздает направо и налево своим кооперативам, без счета и без денег, в кредит, лишь бы поскорее опорожнить склады.

А ведь выходит — Совет-то Обороны был прав. Кому от всех ваших трудов и расходов польза?

.....
Ночь провели в пустой гостинице: хозяева и весь штат запрятались куда-то, ожидая продолжения погромов: в течение дня одиночные солдаты несколько раз пробовали разломать двери, а в сумерках подъезжала целая партия конных и грозила ночной расправой. Но нас не тревожил никто. И только под самое утро нас разбудили пушечные выстрелы. Наш инспектор, поднявшийся первым, вышел на разведку и вернулся с известием: „Под городом идет бой, наступает Кропивянский“.

Кропивянский знаком мне еще со времени подготовки восстания против гетманско-немецкой оккупации Украины: он работал тогда в Черниговской губернии под началом народного секретариата по военным делам Украины, одним из двух секретарей которого я был ¹⁾. Он же начал фактически кам-

¹⁾ Народный секретариат — последнее по времени, перед немецкой оккупацией Советское правительство Украины — был избран на Таганрогском съезде Советов и после

панию, приведшую к ликвидации гетмана и немцев и восстановлению Советской власти. Коренной черниговец, человек исключительной смелости, бывший полковник, он соединил таким образом в себе все данные „идеального партизана“. К тому же он пользовался огромной популярностью на Черниговщине: помнится, его, смеясь, называли феодальным владельцем Черниговщины, — постольку отношения местных жителей к нему носили характер отношений „вассалов“. В немецкий период он не только распатал своими налетами всю оккупационную сеть немцев на Черниговщине, но ворвался, как-то, даже в самый Чернигов, провозгласив в нем — не на долгий, впрочем, срок — Советскую власть. Было это еще задолго до общего выступления. От карательных отрядов немцев он уходил, „как от стоячего“; под конец, они и вовсе перестали за ним гоняться.

После ликвидации немцев о нем не приходилось слышать: явственно, он не использовал своих боевых заслуг для карьеры. И лишь теперь, при вторжении добровольцев, он снова появился на арене, вновь призвав под свои знамена черниговских своих „вассалов“. На этот раз, впрочем, ему приданы были кое-какие регулярные части. Районом его действий, как и при немцах, были леса Черниговщины.

Наступление Кропивянского на Нежин, чем бы оно ни кончилось, делало наше пребывание в городе совершенно ничтожным: ни для партийной, ни для Центральной работы обстановка оказывалась неподходящей. Мы решили погостить, не теряя времени, перебраться на другой пункт. „Инспектор“ возражал первоначально: ему не хотелось возвращаться с пустыми руками, — но мы пугнули его, что Кропивянский нас „заокупирует“ и потом с добровольцами будет не разобратся. Поворчав для виду, он согласился. Но с тем, чтобы на всякий случай всё же подписать с кооператорами договор на огурцы.

Пошли в Союз. Но там никого не оказалось. Сторож разъяснил нам местный обычай: „если стреляют, значит присутствия нет“: никто на службу не приходит. Может быть попозднее и заглянет кто.

Стрельба — „у мостика“ (о мостике этом вообще нежинцы говорят, как о чем-то, „само собою разумеется, известном“), — Кропивянский выставил там, в полуверсте от городской черты, пушку и бьет по городу; партизаны его показались было на городских огородах, но их отогнали: в Нежине сейчас войск много — отстоят.

заявляя Украины нежданно переехал в Москву, откуда и руководил, при посредстве местных революционных организаций и специальных агентов, революционной работой на Украине и, в частности, подготовленном восстании. В состав его входили: от большевиков: Скрипник, бывший председателем, Ю. Пятаков, А. Бубнов, В. Затонский; от левых с.-р.: Я. В. Семушкин, Е. Терменкий, Охоецкий-Маслов, членом был украинский с. л. интернационалист Вишневецкий, расстрелянный впоследствии немцами во время одной из его конспиративных поездок на Украину. Военными делами ведали А. Бубнов и Я. После июльских событий 1918 года, бывших „концом партии левых с.-р.“, секретариат был преобразован в военно-революционный комитет, составленный из одних большевиков и доведший до конца начатую нами военную работу на Украине.

Поскольку в Нежине мы заживаться не будем — единственное, что можно еще сделать сейчас, это собрать сведения о противнике. Решаю пойти в штаб. С. вызывается меня проводить, инспектор остается у кооператоров — дожидаться.

Штаб на той же улице, что „Кооперация“. Занятый им особняк видно издали: толпа у входа, подводы, привязанные к фонарным столбам лошади востовых... Часовые стоят больше для вида, так как людской поток (нежинского, конечно, масштаба) вливается в двери невозбранно. Входим и мы.

В одной из комнат сталкиваемся на-ходу с молодым полковником, в кирасирских погонах.

— Господин комендант?

— Да! Что вам угодно?

— Если разрешите, — несколько минут...

Он быстро и остро оглядывает нас, но вид у меня более чем надежный: добротное английское (еще „довоенное“) пальто, золотые очки, мягкая стильная шляпа. И нарочито петербургский мой говор тоже, видимо, на пользу. Он распахивает боковую дверь: „Пожалуйте“.

Садимся к столу.

— Мы командированы из Киева по продовольственному делу... Я достаю свой „подносной“ серебряный портсигар, с золотым шифром: „разрешите?“

— Вот спасибо. Забыл дома портсигар, погибам без табачу...

...„По продовольственному делу“. Я называю себя и своего спутника. Полковник щелкает шпорами.

— Очень рад! Барон Таубе.

Брата его, гвардейского артиллериста, я знаю по Академии. Спросить на риск? — Или, обойдется и так?.....

— Так вот: хотелось бы ориентироваться, что из этого района, в связи с разрывающимися здесь операциями, можно было бы вывести?

— Ничего, ровно ничего, — радостно улыбается, потирая руки, полковник. — Во-первых — фронт. Он берет лист бумаги, обматывает перо в красные чернила (должно быть наследие Исполкома, занимавшего этот особняк) и начинает набрасывать схему: „Вот неприятель: в трех группах; одна наступает на участке от деревни Носовка до деревни..... вторая..... третья..... Наши войска расположены так: бригада тяжелой кавалерии (всего 400 сабель, к сожалению) от Нежина до деревни такой-то..... дивизион артиллерии“. Имя за именем, часть за частью, цифра за цифрой: полковник щеголяет точностью. Листок покрывается значками... Нежин, Бахмач, Кролевец, Новгород-Волынский. — Дальше — он сам точно не знает.

— Видите — живого, что называется, места нет: всюду фронт. Да и с подвозом намучитесь: сообщения ненадежны. Ах, этот тыл! Тыл! Тыл! — сокрушенно качает он головой. — Даже ближайший. Этой ночью сделана была попытка захватить батарею в Носовке. Начали местные жители, потом к ним подошла из лесу помощь от Кропивнянского. Но артиллеристы продержались кое-как, пока подоспели от Нежина рота и эскадрон на выручку. А

сейчас в Носовке должна была уже высадиться 15-я пех. дивизия, которую мы спешно вызвали из Киева...

Полковник говорил, говорил... он вычерчивал вторую схему — „Кропивинского участка“ с Нежиным, Носовкой и иными; я угощал его папиросами и думал: — Ах, Таубе, Таубе! барон, барон! Хотя бы ты документы у нас спросил для общего приличия. При таком методе — долго ли до греха: и затреплет же теперь твою схему...”

— Из всего этого вы видите, — любезно заканчивает он, — что, как ни досадно, вам придется уехать от нас с пустыми руками.

— Вы вполне в этом уверены, полковник? — не сдержавшись, щурю я глаза сквозь очки. У С. губы прыгают от неудержимого смеха.

— А как же иначе? — поднимает брови барон. — Я же докладываю: продвинуться куда-либо за городскую черту, или ехать дальше через Бахмач (о Кролевцеком направлении я и не говорю) — абсолютно, абсолютно не зачем.

— Сквозь стреляют?

— Вот именно, — холощет комендант... — Сквозь стреляют!

— Ну, а здесь, в самом городе?

— Здесь то же не на что рассчитывать. Крестьяне даже в пределах той узкой зоны, что не захвачена непосредственно военными действиями — ничего не везут в город. Такое жулье, с позволения сказать. Вы были на базаре, полюбовались? В три раза хуже, чем в Киеве. Не везут, потому что.....

— Подождать! — Я занят! — нахмурясь бросает он вошедшему с какими-то бумагами капитану.

— Слушаю-с!.. нерешительно говорит капитан; хочет прибавить что-то, но на повторный суровый взгляд начальника щелкает шпорами и выходит, плотно и бесшумно прикрывая за собою дверь.

— Не везут, потому что мы вынуждены, — мы вынуждены, — повторяет он с особым ударением, — реквизировать подводы для военных надобностей. Ну, и уклоняются. Уклоняются, шельмы. И потому, если бы вам даже и посчастливилось что-нибудь разыскать, подать товар к станциям вы не сможете. Уж поверьте, так сказать, опыту!

— Так значит, — говорю и задумчиво, беру листки со схемами и уныло рассматривая их, — вывод надлежит сделать такой: упаковываться и выезжать?

— Вот именно: упаковываться и уезжать. Этапный поезд мы пустим сегодня часа в два. Кроме того на станции приготовлен состав для жителей, которые пожелают эвакуироваться в Киев, в случае, если... Вы понимаете?..

— Понимаю, полковник! Я складываю листки и кладу их размеренным, машинальным движением, в карман.... — Разрешите поблагодарить вас за разъяснение....

— Прощайте!

Жмем руки и расходимся, в высшей мере довольные друг другом.

— Трогайтесь в путь из Киева, — кричит нам вдогонку барон, когда мы уже за порогом, — только неделю спустя после того, как Вахмач будет твердо закреплён за нами. Через неделю, не раньше...

— Слушаю-с!.. Спасибо!

Веселые заходим за инспектором к кооператорам. Он сидит в совершенном одиночестве, — единственный на все помещение „дежурный“ ожесточенно и хмуро щелкает счетами. Инспектор не хочет уходить; он всё еще надеется дожидаться агронома, в ведении которого находится пресловутая суншюка, и, лениво корочая языком, говорит что-то об огурцах.

... Но стекла вздрагивают от близкого пушечного удара.

— Какие тут огурцы? Как бы самим не засолиться. Бросьте вы агронома, его, может быть, и в природе нет!

На вокзал мы выехали в два часа с минутами, но опоздать не боимся: ведь поезда ходят по „военному времени“... Канонада усиливается: вправо, влево ложатся дымки. Где-то близко, за огородами, окаймляющими дорогу, тарахтит пулемет. Вдоль всего пути, на завалинках домов и прямо на улице, обыватели чутко прислушиваются к разгорающейся перестрелке.

Станция переполнена солдатами. Гремит военный оркестр под окнами классного офицерского вагона одного из эшелонов: всего их на путях стоит три: один с осетинами, два — с пехотой. Эскадрона три спешены у вокзальных построек, не расседывая коней. Но „боевого ожидания“ нет, несмотря на близкие шрапнельные взрывы: все уверены, видимо, что Кропивянский „балует“ся. Серьезной атаки на Нежин он не поведет. — Слишком явно превосходство сил добровольцев.

Наш поезд не только еще не ушел, но даже и не подав. Когда состав подошел, наконец, к платформе, мы имеем возможность выбрать себе места, не спеша: вагоны почти пусты.

Выбор наш оказывается, однако, неудачным: мы попадаем в вагон с беженцами из Нежина; нежинская „аристократия“, не доверяя обещанию коменданта пустить, в случае опасности, специально-беженческий поезд на Киев, спешит убраться заблаговременно „из зоны Кропивянского“.

„Руку, руку, ради бога!“

Десять рук выгибается из зева теплушки. Снизу тоже танутся руки, подсаживая — извините, — непосредственно под округлости — нечто шелестящее шелком, обсыпанное пудрой. Лакированные башмачки с огромными „под серебро“ пряжками вкатываются в кучи подсолнечной шелухи, подгребенной к выходу. Подсаженная выпрямляется, кивая згдеткой над кокетливым беретом, и весь вагон радостным ржаньем приветствует ее:

„Леся!“

Леся целуется, Леся пожимает руки. Фуражки „дворянские“ и иные, с кокардами на тульях, бессмертные фуражки чеховской провинции, поды-

маются галантно и развязно, над взвихренными или зализанными на прямой пробор—головенками. А с полотна уже тянется снова.

„Руку, руку, ради бога!“

И снова шелест, мелькание округлостей, кивание эгретки...

„Нина!.. А Сергей Александрович?“

Нина щебечет. Через минуту мы совершенно в курсе ее дел. Сергей Александрович сейчас уехать не может: назначен в охрану. Петр Петрович вернулся с дороги, так как его уверили, что городу ничего не грозит, а ехать опасно. И бронепоезд, и аэроплан какой-то, и путь у Носовки взорван...

Мы, в самом деле, что-то не трогаемся. Броневик давно уже ушел вперед. На станцию регулярно бегают из нашего вагона то один, то другой услужливый кавалер и возвращаются с неизменным ответом: минут через 10-15 отправят.

Правдоподобно, ибо паровоз подан: только свисток лать—и поехали.

Но мы не трогаемся: а Лили и Нини и прочее—все прибывают, в сопровождении путейцев, акцизных, телеграфистов и просто „недорослей“ из дворян.

За одной втаскивают в вагон целую гору картонок, мешков, портпледов. Дамы всплескивают руками: „Машер! Как это вы дотащили?..“

„Машер“ покатывается со смеху.

— Что вы? Неужели бы смогла? Я еле на крыльцо вытащила... и то... как верблюд стою у двери: давка такая, думаю: что же теперь дальше делать? Вдруг подходит, какой-то—я на него посмотрела—знаешь, так: неотразимо...

— Ах, знаю!—взвизгивает какой-то экспансивный юноша в вышитой рубашке и котелке.

Она меряет его „леденцами“, как писалось в старых романах, взглядом, и продолжает.

— Он сейчас: Может быть вам помочь? „Что вы? Впрочем... пожалуйста.“—„Далеко?“—Я, с дуру: На станцию!—Шарахну..ся, такой невежа. Я поскорее: „Да нет, нет, пошутила. Тут за несколько кварталов“. Думаю: все-таки ближе подвинусь, там что бог пошлет. Еще раз обогля взглядом: навьючился, идем. Сначала он любезности: „Такая барышня, и всё такое...“ Потом—несколько улиц прошли, начинает намекать, что довольно. Я, натурально, не понимаю, и глаза, глаза... Так вела его, пока Гришу не встретила; ну, с тем церемоний нет—перевьючила, тому—нос; дальше... А у самой станции мне Алексей Степанович помог.

Публика словно на пикнике: веселье неимоверное. Инспектор ворчат; надо бы в другой вагон перебраться, а то—налетит Кропивянский—этот вагон первый распатруют; доказывая тогда, что ты не верблюд, а заяц...

В пасть теплушек ввергается очередная форменная голова разведчика.

— Скоро?

— Через 10—15 минут отправят!

А выстрелы всё стучат, то приближаясь, то отходя; за станцией, гудя, спускается аэроплан.

.....

Мы сидели, божиею неизреченною милостью, уже четвертый час. „Пикники“ притомились, эгретки слиплись; по всем уголкам распахиваются картонки. Закусывают.

И вдруг, — чьи-то встревоженные, возбужденные голоса у самого нашего вагона. Лили, Нини, кокарды — всё бросается к выходу. В чем дело?

„Сейчас приехал кто-то из города к Ряполовским: они в этом же составе — два вагона отсюда. Рассказал им что-то по секрету; они — как схватятся, выгрузились сейчас же с вещами, совсем, и на том же извозчике — в город.

Вагон жужжит, вагон разволнован: Нина хочет тоже высаживаться...

— Если Ряполовские — значит так лучше. Вынесите мои картонки. Да подсадите же меня, увалень. Поскорее, ради бога, ведь скоро совсем темно будет...

Ее уговаривают, но увы, — твердости в голосе не слышно: естественно колеблются все: ехать — не ехать. Где опаснее? Ну, как угадать — где опаснее.

„Подождем до следующего поезда... Ведь комендант ручался... Ряполовские... Ряполовские... Ряполовские...“

Вдоль Нине выгружается еще несколько человек. Но большая часть остается. И точно в воздвигшие оставшимся, мы через несколько минут трогаемся. Внезапно, без звонков.

Испуганно сопя, взбираются на ходу шурившие на полотне юноши: кто-то рассадил колено, кто-то разорвал манишку.

Понапрасну: мы только маневрируем. Протрясшись немного по стыкам — вперед — назад — мы застываем снова.

Снова мчит на станцию „разведка“. Оказывается — отцепили от состава два вагона с семьями железнодорожников: они не желают ехать ночью.

Опять буря прений и сомнений: ехать сейчас или дожидаться утреннего поезда... Ведь если железнодорожники отцепились, значит опасность не здесь, а на дороге.

И опять: „Ряполовские... Ряполовские... Ряполовские... Железнодорожники. Ряполовские. Железнодорожники. Ряполовские“.

Мы слушаем, как они верещат, брызгая слюной, захлебываясь и ной. И думаем:

„Эх, если бы да ударила Кропивянский. Вот бы уж востину: добро пожаловать...“

Нестерпимо! Не перебраться ли в другой вагон? Но пока мы собираемся — толчок опять: мы трогаемся, на этот раз „взаправду“.

Но Кропивянский — „забаловался“ под Нежиным: Мы доехали до Киева — без приключений.

* * *

По возвращении, я почти тотчас же выехал опять, но на этот раз в обратном направлении; по Борединской линии, которую держал арьергард

отходившей от Киева на Гомель Советской армии. Здесь — линия фронта еще меньше отодвинулась от Днепра: „нейтральная зона“, фактически занятая ни одним из противников (правда, довольно широкая), начиналась верстах в 30 от Киева и шла до станции Немешаево, приблизительно верст 15 в глубину. В Ворзеле (35 верст от Киева), где жила (тоже на нелегальном положении) моя семья, добровольческая власть подняла трехцветный флаг только 8 сентября: в этот день было издано первое обязательное постановление коменданта о сдаче оружия, казенного обмундирования и пр. и состоялась „торжественная встреча“, как водится, с цветами, речами, и „воспитием“. Приехал я в Ворзель как раз в день „встречи“: она вышла гораздо параднее и горячее, чем в Киеве; во-первых, потому, что в Ворзеле очень дешевы цветы, а во-вторых, потому, что здесь, как и вообще в окрестностях Киева, на постоянном жительстве находилось большое количество разного рода — более или менее законспирированных — „бывших людей“, предпочитавших сельское уединение пребыванию в Киеве, в районе „недреманного ока“ Ч. К. Этот район „внутренней эмиграции“ охватывал Киев верст на 60 кругом. В Буче, как рассказывал мне сосед по вагону во время бородянского моего рейса, эмиграция эта была даже конспиративно организована: имела оружие и поддерживала сношения с атаманом Струком, разбойничавшим на подступах к Киеву. В самом Ворзеле такой организации, повидимому, не было: но элементов обывательских и анти-советских было хоть отбавляй. Поэтому чувствовали прибывшие войска во истину не за страх, а за совесть. Но комендант, явственно, выехал не в добрый час: именно в эти дни советские войска начали демонстративный нажим на Киев, дабы связать, по возможности, киевскую группу добровольцев на время флангового марша XII армии, шедшей от Одессы на соединение с Северной нашей армией. Клоунада, доносившаяся в Ворзель уже в самый день празднования, 9 и 10 достигла значительного напряжения. Носились зловещие слухи: „Идут китайцы, вырезают всех, до детей включительно“. И поскольку обыватели во „встрече“ своей явно переусердствовали и чувствовали себя поэтому скомпрометированными безвозвратно, — чуть не с первых выстрелов в Кичееве (ближайшем к Ворзелю поселке) началась паническая подготовка к эвакуации в Киев: жители уверяли друг друга, что находящимися в Ворзеле большевистскими агентами составлены подробнейшие списки всех подписавших цветы... Вокзал с утра до вечера был переполнен публикой; коменданта заваливали просьбами о посадке. А так как в отношении эвакуации жителей у добровольцев имелась твердая директива: всемерно поощрять ее, дабы демонстрировать „связь Добрармии с населением и единение всех общественных сил в борьбе против большевизма“, — комендант не только добросовестно переправлял всех желающих в Бучу (от которой поддерживалось правильное железнодорожное сообщение с Киевом), но имел еще неосторожность заявить, что он своевременно предупредит жителей о необходимости эвакуации. Заявление это, естественно, было принято, как прямое подтверждение слухов о неустойчивости Ворзеля: к 11-му числу Ворзель был почти пуст. Уже 10-го вечером станции Буча

была, в буквальном смысле, доверху набита ожидавшими отправки беженцами, с их специфическим беженческим реквизитом.

С раннего утра 11-го завязалась ожесточенная артиллерийская дуэль между батареей добровольцев, занимавшей позицию сел. Кичеева, и советской, стоявшей у дер. Козенцы. Часам в семи по окрестному лесу частым, настойчивым огнем затакали пулеметы. Комендант влялся и божился, что операция развивается успешно, и к обеду добровольцами будет занята Бородинка, но... команда связи „почему-то“ спешно снимала телефонную линию, соединявшую Ворзель с Кичеевым; „почему-то“ скопились у станции быстрыми аллюрами подходявшие с разных дорог обозы; „почему-то“ явно нервничали офицеры, державшие — под председательством начальника Бородинского участка, прибывшего из Бучи — военный совет, прямо на платформе, у стоявшего под парами „экстренного поезда“ — в два вагона. Проходя, можно было чутким ухом расслышать, что речь идет об обнаруженном на Бучанском направлении обходе и необходимости выравняться по левому флангу. Но это совсем не то, о чем клянется комендант: ибо „левый фланг“ — скорее в Святошине, чем в Бородинке...

Я собирался сойти со станции, когда провели трех арестованных ворзельцев, взятых на Михайловской улице. После краткого допроса, здесь же, на платформе, одногопустили, а двух — расстреляли, не отводя даже в сторону. Одного из убитых называли Михайличенкой, фамилии другого я не слышал.

Подходили, со стороны леса, раненые, без перевязки: ни врача, ни перевязочных материалов не было. Их усаживали на повозки обозов, после краткого роздыха, спешно отъезжавших в направлении на Ирпень.

Пора было собираться и мне, поскольку в мои расчеты никак не могло входить — оказаться в полосе „советской оккупации“.

И действительно, когда я, с провожавшей меня семьей, в половине второго снова пришел на станцию, она оказалась пустой: ни флага, ни коменданта, ни обозов, ни поезда.

Мы тронулись, не теряя времени, к Буче, через притихший, замертвевший Ворзель. Нигде ни души: окна дач закрыты ставнями, плотно прихлопнуты калитки и ворота. Только у околицы стали попадаться бегом бегущие, запоздалые пешеходы. На перекрестке — затор: четверо с грудным ребенком и собачонкой, налегке, и две перегруженные узлами женщины: те, что налегке, уговаривают бросить кладь: „Всё равно не донесете, побросаете по дороге... что, говорят, добра по дорогам набросано!..“ Женщины колеблются, складывают было мешки на траву, но жадность одолевает в конце концов, и, шатаясь под тяжестью груза, они пускаются к ближайшему перелеску, в сторону от дороги.

.....

В Буче та же картина полного запустения: ни солдат, ни железнодорожников; у семафора путь разобран, стрелка взорвана. За станцией, на Ирпенской дороге — свежепалая лошадь. Ее кругом обсели собаки, начатая „работу“ не решаются — ночи ждут.

Расстаюсь с провожающими: ребята хотят первыми „поднять красный флаг на Буче“. — Сворачиваю на дорогу к Пуцей-Водице, сквозь лес, мимо заколоченных, молчащих дач. На-ходу — окликают: из-за изгороди выскакивает растрепанный, взлохмаченный человек.

„Вы в Киев?“ — „Да“. — „Откуда?“ — „Из Ворзеля“. — „Как вы думаете, если я выйду через полчаса — успею я уйти от большевиков?“

„Успеете! — смеюсь. — В Ворзеле еще никого нет“.

„А через час?“ — „И через час успеете“.

Не доходя Мостищ, т.-е. уже в виду переправ через Ирпень, вижу на опушке, в придорожных кустах, — черные затаившиеся головы и дуло винтовки. Иду прямо на заставу...

„Ты откуда идешь?“ — голос гортанный, кавказцы.

„Из Ворзеля!“ — „Есть большевики?“ — „Когда уходил, не было“.

Машет рукой. Прохожу. Документов не спрашивают. Саженья в ста позади, под деревьями, у выселка — группа солдат в таких же косматых черных осетинских шапках. И кругом, дальше, во всех дворах мелькают солдатские фигуры.

По шоссе, выводящему на мост, почти сплошная цепь „беженцев“, с детьми, с узлами... даже с дровами на подводе.

При въезде на мост — новая застава. Опрашивают, обыскивают. Меня пропускают без опроса — то ли потому, что у меня вид очень почтенный, то ли потому, что у меня нет никаких вещей. Уже на середине моста слышу: окликают. Оборачиваюсь. Вдогонку бежит свирепый солдат, с винтовкой.

„В чем дело?“ — „Не купите ли золотые очки, барин?“ —

.....

На той стороне Ирпени оживление огромное. Вся улочка — от церкви на взгорьи до выхода на Святошинское шоссе забита повозками, орудиями, походными кухнями, зарядными ящиками. Пролетки с нарядными сестрами милосердия. Солдаты — во всех окнах, за всеми заборами. Громыхая по выбоинам мостовой выезжает на линию батареи, она сворачивает вправо от шоссе, к реке, через лесок.

— Где твой пункт? — кричит безумному артиллеристу, осаживая коня, офицер уходящей полубатареи.

— А вот здесь, перед домом!

— Прямо на площади! —

— Лучше и не надо: всё — как на ладони.

— На всякий случай сворачиваю за батареей, чтобы точнее установить ее место, прорезаю дважды из конца в конец расположение войск и, поговорив с солдатами, делаю ручкой офицерам и выбираюсь на Вышегородскую дорогу. Начинает темнеть.

Прибавляю ходу, чтобы успеть еще застать трамвай, идущий из Пуцей-Водицы в Киев.

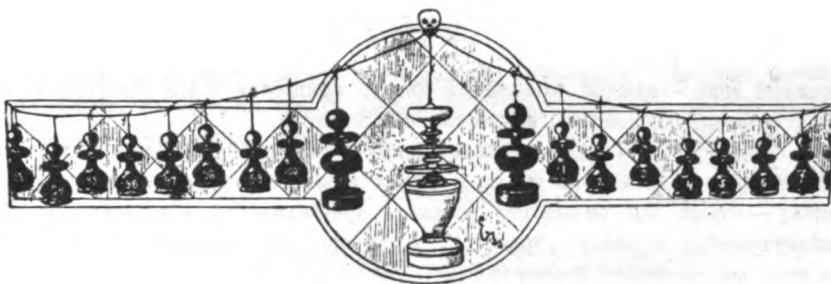
.....

У трамвайной остановки в Пуше застаю целый табор: коровы, кладь, дети. Быстро свежеег; в пальто забюю. Последний трамвай ушел минут двадцать назад, но — путем длительных переговоров с высшим трамвайным начальством удается спросить разрешение пустить дополнительный вагон, специально для беженцев. К вечернему чаю я был уже на квартире, и хозяйка моя, подозрительно поджимая губы, говорила, слушая мой рассказ:

„Удивительно! У вас рука нелегкая! Куда вы ни пойдете, сейчас же туда большевики являються. Точно вы их накликаете!“...

Выезд в Ворзель был для меня последним: работа в Киеве начинала развертываться; для успешной постановки ее необходимо было, прежде всего, вплотную присмотреться к добровольчеству; в чем их сила и в чем — их смерть.

С. Мстиславский.



Карикатура и цензура в начале XX в.

(Из воспоминаний редактора сатирического журнала).

1.

Сатирики и карикатуристы, особенно карикатуристы, так же как и актеры — цветы однодневки. Прошел день, догорели огни, облетели цветы, и равнодушный читатель перебирает их отражения, их рисунки не только равнодушно, а сплошь и рядом с полным недоумением, что они значат, зачем они появились, кого они волновали? И чем тоньше карикатура, чем она злободневнее — тем она непонятнее и незначительнее спустя день, в который она появилась.

В самом деле, что такое карикатура? Это — точка над „и“, острая, яркая, выразительная. Чтобы оценить эту точку, нужно понимать и стоящее под нею „и“. Между карикатуристом и его читателем должна быть такая же тонкая, тесная, интимная связь, как между актером и зрительным залом. Необходимо, чтобы читателю был ясен путь того синтеза, тончайшего синтеза, которого достигает карикатурист и которому он дает яркую формулу в своем рисунке.

Читатель, утративший эту тропу, этот путь, никогда не дойдет до конечного вывода, и для него — карикатура, ясная художнику и его современникам, остается пустым местом. Почему, например, мы с таким недоумением просматриваем сатирические журналы англичан, их знаменитый „Punch“, или американских карикатуристов? Почему нам непонятен их юмор? И не только их, но очень часто и французский, и немецкий.

Исключительно благодаря этой разнице в психологии и миросозерцании, не говоря уже о незнании закулисной фактической подкладки, вызвавшей тот или иной рисунок.

В такой же мере это относится и к русским карикатурам, особенно карикатурам, порожденным эпохами бурными, революционными, где не только

каждый день,—каждый час, каждая минута приносили новые события, новые факты, новые настроения, выдвигали новых людей.

Мне пришлось редактировать сатирический журнал „Серый Волк“, выходивший в 1907 и 1908 годах, и близко стоять к первому напему настоящему — говорю это, не опасаясь упрека в преувеличении,—первому сатирико-политическому журналу „Зритель“, доблестно отстаивавшему свои позиции в годы нашей первой революции.

Я считаю, что заслуги этого журнала, равно как и других сатирических журналов „этих дней“, огромны. Точно рой ос вылетели они вдруг и начали жалить направо и налево, вернее — только направо, пугая одних и ободряя других.

Правда, и газеты того времени заговорили другим языком. Длинные, путанные передовые статьи неизменно сохранились на столбцах таких газет, как „Новое Время“. Газета „Русь“, „Товарищ“ уже говорили коротенькими, яркими, сильными, откровенными статейками, в 30—40 строк¹⁾. Но всё же их нужно было читать.

Яркий листок сатирического журнала имел то преимущество, что он давал рисунок, сразу же бросавшийся в глаза, давал итог, вывод. Недаром цензура боялась этих рисунков гораздо больше, чем самых резких статей.

И если для произведений печати был хотя небольшой момент, который можно было назвать свободой печати, избавленный хотя бы от предварительной цензуры, то для рисунков не было даже и этого. Бдительное цензурное око, за всё время, даже после знаменитого „конституционного“ манифеста 17 октября не оставляло рисунков без внимания.

Любопытен и забавен по своей наивности тот выход, который был изобретен бюрократическими сферами того времени из положения, казалось бы, совершенно безвыходного.

С одной стороны согласно манифесту,—карикатуры могли появляться „свободно“, т.е. без цензуры, а с другой—это было настолько страшно, что допустить такую свободу было совершенно невозможно. Это было так страшно, так опасно, что охранители устоев современного общества напрягли всю изобретательность своего лисьего ума и изобрели такой компромисс.

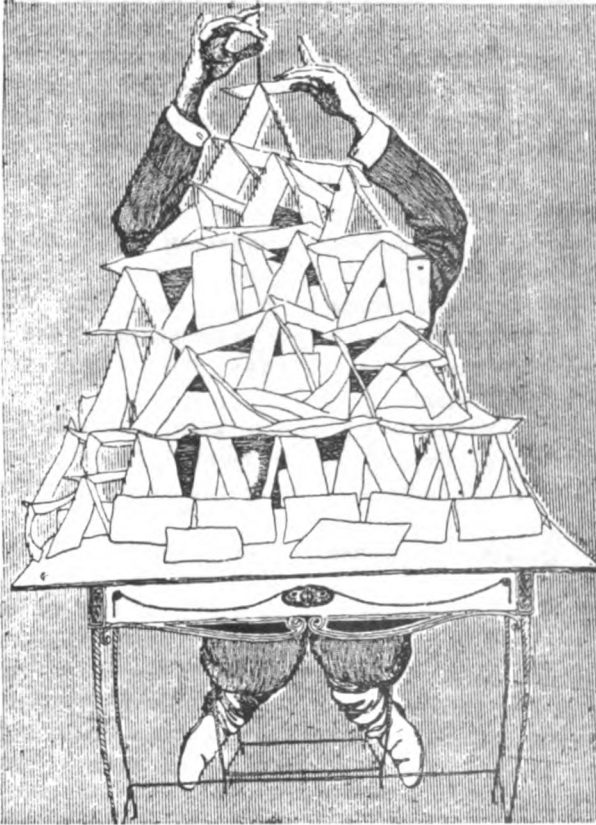
Особым распоряжением всем периодическим изданиям вменено было в обязанность представлять все без исключения рисунки, будь то хотя бы портрет Пуришкевича, в цензурный комитет, но отнюдь не для разрешения. Цензура не могла ни разрешать, ни запрещать. А для „ознакомления“. В тех случаях, когда, ознакомившись с материалом, цензоры признавали возможным его опубликование, на рисунке ставился штемпель цензурного комитета.

Один простой штемпель: „С.-Петербургский Цензурный Комитет“ такого то числа и года.

¹⁾ В таком роде: „Уйдите, г. Дурново“... Через день: „Когда же вы уйдете Дурново?“... И т. д.

Такой клейменный рисунок мог свободно печататься. Но что делать с рисунками, на которых такого клейма не ставили? Значило ли это, что их запрещали? Нет. Ничего подобного.

Наша конституция.



Прсят не дуть.

(„Зритель“).

Редактор журнала вызывался в комитет, и ему предлагалось письменно подать заявление с просьбой вернуть такой-то и такой-то рисунок, как „ошибочно представленный“...

Ошибаться, как поется в одной морской песенке, может даже крокодил, не то, что редактор, поэтому ошибка ему в счет не ставилась, и рисунок великодушно возвращался.

Цензура довольствовалась этим замаскированным, но все же штрафом за неосторожную ошибку. Дело в том, что рисунок нельзя было представлять

в оригинале. По „правилам“, нужно было его отпечатать в двух экземплярах и оттиснуть вместе с печатной подписью.

Таким образом, при запрещении рисунка, штрафовались художник, неосторожно „ошибшийся“ и потративший время и труд на ошибочный рисунок, и издатель, изготовивший клише, которое и по тем временам стоило всё же довольно дорого. Этим способом воспитывались карикатуристы в духе осторожности.

Так как помню журнала „Серый Волк“, выходившего при газете „Русь“, в самой „Руси“ почти в каждом номере печатались карикатуры, и одно время существовало даже особое сатирическое приложение, то мне, как заведывающему этим отделом, приходилось чуть ли не ежедневно бывать в цензурном комитете, объясняться с председателем его А. А. Катениным и седеньким старичком-секретарем, который с видом Мефистофеля возвращал мне „ошибочные“ рисунки и нередко сам подсмеивался:

— А это у вас того... Забавно... Очень смешно...

— Так что же, — бывало скажешь ему: — если смешно, значит можно?

Старичок хватался за голову и сразу же принимал другой тон.

— Ой, что вы. Комитет единогласно признал, что эта карикатура недопустимая. Единогласно!

Оказывается, целый комитет, и довольно многочисленный, целыми часами заседал и рассматривал рисунки, которые докладывали ему отдельные цензоры, не державшие на свой страх решить: „ошибся“ художник, или не ошибся?

И, нужно сказать, что положение цензоров было по тому времени действительно нелегкое.

Как они ни были бдительны, как ни напрягали свой ум, свои глаза, а им приходилось „ошибаться“ в своем деле и навлекать на себя неблагоприятное высшее начальство, такого, как министр внутренних дел или шеф жандармов, а иногда, вероятно, и сам... его величество государь император.

Ибо если доклады своих министров он читал „с удовольствием“, то карикатуры того времени едва ли вызывали в нем чувство, сколько-нибудь к удовольствию близкое.

Цензорам приходилось очень трудно бороться прежде всего с той изобретательностью, которая развилась необычайно в карикатуристах того времени с одной стороны, а главное — с тем общим языком, с тем своеобразным *espraganto*, который установился между читателем и сатирическим журналом.

Так тюремщики, при всей своей бдительности и суровости, ничего не могут поделать с перестукиванием заключенных в непроницаемых каменных мешках арестантов.

Не помню, кажется, — в одной пьесе Найденова, выведены муж и жена, страдающие от гнета стариков, свекра и свекрови, с которыми они живут и от которых зависят. Молодому мужу пришла идея накопить денег и открыть ювелирный магазин. Он сообщил об этом жене, они копят деньги и ждут, не дождутся, когда накопленная сумма даст им возможность осуществить

Эту мечту и избавиться от семейного гнета. И вот в самые тяжелые минуты, когда жена падает духом, муж только тихо говорит ей: „ю“ (намек на ювелирный магазин) — и она сразу успокаивается, сразу оживает.

Вот такое „ю“ установилось в обществе того времени, объединенном общими настроениями, стремлениями, радостями и горем. Всё это общество представляло собой бурный весенний поток и, конечно, цензорам, вверженным в этот поток со специальной целью его запрудить, приходилось как они ни барахтались, как они ни старались, а приходилось плыть в его волнах.



В царстве птиц: индюк --Трепов и общипанный цыпленок Победоносцев. На земле валяются брошенные кулы пайцы (Дурново и Акимов) и синие обложки. Из-за забора глядят власти. Мальчик дразнит индюка красным знаменем.

(„Зритель“).

2.

Помню, как энергично боролась цензура, например, хотя бы с журналом „Зритель“.

Инициатором, редактором и издателем этого журнала был художник Ю. К. Арцыбушев, тогда молодой еще человек лет 25.

Его художественные и общественные симпатии сложились рано, еще в известной подмосковной слободе Абрамцево. Это были маленькие русские

Афины, своеобразное царство сказочного Берендея, где в роли Берендея действовал Савва Мамонтов, жили и работали лучшие художники того времени: Врубель, — написавший, между прочим, ряд портретов отца Арцыбушева, — Васнецов, Головин, Коровин и др. Тут гостил молодой Шаляпин, семья Станиславского, Н. Н. Арбатов и многие другие. Жизнь в Абрамцеве была тем подлинным „театром для себя“, о котором всё время мечтает Евреинов. Это была настоящая живая художественно-театральная студия, одновременно „изо“ и „музо“ (говоря нашими терминами), в которых творились новые формы искусства. С молодых лет Ю. К. Арцыбушев проникся духом того настоящего, подлинного, истинно свободного искусства, которому так претит всякое мещанство и которое особенно остро заставляет чувствовать мизантропию, исходившую из болота, каким являлась наша русская действительность восьмидесятых и девятых годов.

Еще гр. А. К. Толстой заметил, что „неволя заставит пройти через грязь, — купаться в ней свиньи лишь могут“.

Арцыбушев, как и многие в то время, через эту грязь прошел, не мог не пройти, но она его не засосала.

Как сейчас помню его высокую фигуру, с несколько склоненной головой. Всегда задумчивый, даже грустный, он горел каким-то внутренним огнем, светившимся в его глазах и выражавшимся то улыбкой, то иногда простым ясным смехом, а подчас и ядовитым метким словом.

Товарищи, любовно и интимно называвшие его Юрочкой, перефразировали по отношению к нему известную эпигramму Минаева:

По Невскому идет собака,
За нею Юра тих и мил.
Городовой, смотри ж, однако,
Чтоб он ее не укусил.

У него действительно, при его кроткой и тихой внешности, были зубки, которые он показал — и как еще показал — в своем „Зрителе“, доставившем не мало хлопот цензуре.

Помню, начал он „Зритель“ довольно спокойно. На первом листе, без всякой пояснительной подписи, во всю страницу был помещен узник, стоящий у окна тюрьмы и вглядывающийся в яркую, красную зарю, которая зарделась на горизонте.

Хотя зоря и намеки на близость солнца и не особенно нравились болотным мокрицам, но всё же такие рисунки проходили без особых трудов — надежды, дескать, юношей питают.

Но недреманное цензорское око стало зорко блюсти за мечтателем. Во втором номере он уже показал мужика, хотя и связанного, но грозившего кулаками. С первых же шагов замечено было, что Арцыбушев не только мечтает, но и начинает „подрывать основы“ и обнаруживает при этом ловкость, которой бы позавидовал сам Эзоп.

Строго подчиняясь требованиям цензуры, Арцыбушев представлял все рисунки в цензуру и покорно признавал очень многие „ошибочными“.

Однако, что же у него при всем этом получалось из рисунков неосшибочных?

Поступает, например, в цензурный комитет заставка. На ней изображены одни только ноги: дамские ботинки, мужские сапоги. Обувь всё более или менее, как бы это сказать, гражданская. Видно, что кто-то, женщины и мужчины, куда-то идут.



„Серый Волк“.

Елка.

Рис. А. Любимова.

Цензор в таком шествии кончиков ног и обуви не усматривает ничего подозрительного и ставит штамп. Редактор, значит, не ошибся.

Проходит некоторое время, в куче других рисунков, представляется новая концовка. Опять ноги. На этот раз сапожищи, смазные, грубые... Опять цензор смотрит — опять ничего „ошибочного“ в рисунке не видит.

Но вот выходит номер „Зрителя“. Обе заставки поставлены рядом, одна за другой. И цензор видит, что из двух неосшибочных рисунков

получилась довольно крупная ошибка. Ясная картина недавнего ареста демонстрантов.

Читатель тоже сразу понял:

— „Ю“, — сказал себе каждый русский гражданин, перед которым сразу же всплывала картина недавних возмутительных насилий. И с новой силой всплывает чувство протеста против режима, в котором подобные насилия творятся.

„Ошибка“ цензора была налицо. Но поправить ее нельзя. Рисунки со штампом.

Или случай такого рода: присылается в цензуру рисунок, изображающий опрокинутый табурет.

И только. Смотрит цензор так и этак. Кажется, ничего. Табурет как табурет. И, действительно, что тут может быть? Ставится штамп. Еще через некоторое время, опять-таки в куче других рисунков, маленькая заставка: ноги в сапогах ... Пара ног. Тоже ничего. Совершенно отдельно огромная, жирная буква „Г“. Цензор все это штемпелует. Каково же его негодование, когда все эти невинные рисунки предстают перед ним скомбинированные в журнале так, что только слепой не увидел бы в них картины, изображающей повешенного.

Или такая комбинация.

Посылаются отдельно: здание Государственной Думы. Через некоторое время кошка, даже с подписью „кот“. А еще через посылку, китаец и тоже с подписью, удостоверяющей, что этот китаец „бой“, т.-е. мальчик.

Выходят же эти рисунки в „Зрителе“ одновременно, на одной странице, и читатель читает: „бойкот государственной думе“.

В то время как раз идея такого бойкота пропагандировалась.

Своей сатирической изобретательностью Арцыбушев доводил цензоров до бешенства.

Явно „ошибочные“ рисунки были гораздо более приятны.

Когда, например, после заключения мира с Японией в Портсмуте в цензуру были представлена написанная художником С. В. Чехониным (ближайшим сотрудником Арцыбушева) карикатура, носившая заглавие „Икона слезоточивая“, цензору долго думать не приходилось.

Он сразу увидел, во-первых, кощунство. В виде богоматери был изображен граф Витте. Без труда можно было догадаться, что Иоанн креститель не кто иной как Победоносцев, а в младенце, которого кормит богоматерь, чувствовался как будто намек на самого Николая II.

С легким сердцем цензор возвратил этот рисунок, как явно „ошибочный“, и знал, что ни редактор, ни художник прекословить и препираться не будут ¹⁾).

Но эти табуретки, эти сапоги!.. И вот наступает у цензора такой психологический момент, когда он начинает запрещать решительно всё, что ему

¹⁾ Эта карикатура так и не появилась в печати.

ни представляют. Совершенно как тот Щедринский исправник, который, застав мужика в овраге и получив от него объяснение, что он там „пеночку ловит“, арестовал его говоря: „Знаем твою пеночку—фальшивую монету, мерзавец, делаешь“.

Таким цензурным раздражением объясняется появление номера „Зрителя“, в котором были выкинуты буквально все рисунки. Предположив объяснение, что „по независящим обстоятельствам“ приготовленные для этого номера рисунки и виньетки не могли появиться, Арцыбушев заполнил весь номер скорбной фигурой редактора (почти автопортрет), гуляющего по всем страницам опустошенного цензором журнала.

Это очень интересный показательный номер. До чего доходила при этом цензурная подозрительность, можно судить по следующему факту.

В числе представленных в цензуру рисунков была, между прочим, заставка, на которой буквально изображалось следующее: подоконник; открыто окно, в которое виднеется темное ночное небо; на подоконнике стоит горящая свеча, при чем, как полагается по законам физики, пламя тянется в сторону комнаты.

И всё. Конечно, никакой подписи.

Цензор, воспитанный табулеткой и сапогами, не разрешает.

— Да почему?—спрашивает его недоумевающий редактор.

— Ну, батенька, вы—хитрый,—отвечает цензор,—да и мы кашу едали.

— Ей богу, не понимаю. Объясните.

— Не притворяйтесь. Ведь это что? Это свеча?! Это—догорающее самодержавие!

И гордо посмотрел на редактора: вот, дескать, сколь мы проникательны—на три аршина под землей видим. Нас не проведешь.

Правда, что и любили дразнить цензора, как опытные пикадоры разъяренного быка.

В том же „Зрителе“, с первого номера, на обложке каждый раз оставалось пустое место, с пояснением, что место это предназначается для какого-то особого объявления, которое появится только в пятом номере журнала. Читатели настороже и ждут.

Выходит, наконец, долго жданный пятый номер, и на заповедном месте красуется только одна буква: „р“. Через неделю, в следующем номере, на том же месте уже две буквы: „ре“... Еще неделя и выплывает: „рев“. Несколько недель держится слог „рев“.

— „Ю“,—думает, ухмыляясь читатель... Скорее бы только. „Революция!“...

— Крамольники,—догадывается цензор,—и уже заносит топор, чтобы опустить его на голову редактора, как только появится слово, столь же страшное для командующих того времени как для московской купчихи „металл“ и „жупел“.

Поддержав цензора в такой позе около месяца, „Зритель“ продолжает страшное слово и печатает объявление „Ревельские кильки“.

Цензор опускает свой топор, хотя и чувствует, что ненавистные кильки всё же сделали свое дело. Это было новое „ю“.

3.

Как это ни странно, но цензура, так бдительно охранявшая устои, что даже боялись свечного огарка, не могла охранить, при самом искреннем верноподданническом усердии, священную особу самого монарха.

Я не говорю о тексте статей и заметок, появившихся в „Зрителе“ свободно, т.-е. без предварительного просмотра их в цензурном комитете.

Тут, почти в каждом номере, можно было натолкнуться на намеки, далеко не тонкие, но в то же время с юридической стороны почти неуязвимые, где монарху доставалось и в принципе и, как теперь говорится, персонально.

Вот несколько образчиков такого рода „намеков“.

В музыкальном магазине.

- Есть у вас граммофоны фирмы „Монарх“?
- Извините, „Монарха“ не имеем.
- Почему же?
- Сильно хрипят и очень непрочны. Самая плохая фирма.

Сомнение.

„Без царя в голове“ — говорят про того,
Головою кто слаб или недужен.
Я не против, ни за не скажу ничего:
В голове царь, быть может, и нужен.

На митинге.

Однажды на митинге собрались лягушки
„Нам — квакали, — жить невозможно.
Долой из пруда кровопийцу-колюшку,
Что колет нас всех так безбожно“.

Русские загадки.

1. Две сучки — заморские штучки; за морем — цена им грош, а у нас голый рукой не возьмешь.
2. Золотая храмина, важная образина, сверху держава, зеркало направо, на трипце рыло, в рыле — сила. Рожа ты рожа, на что ты похожа?
3. Важный дворянин, большой семьянин; в тереме гуляет, столом гадает: Стол мой, столишко, один сыннишко, семь дочерей, бабка да мать, куда бежать? ¹⁾.

Не нужно было быть Эдипом, чтобы эти загадки разгадывать.

Еще проще расшифровывались такие „агентские“ телеграммы, как например:

¹⁾ 4 декабря 1905 г. „Зритель“.

„Забастовали младенцы, кричат — долой ромашку“¹⁾.
Или такие стихотворения:

Образцовое войско.

Войско у Коленки есть превосходное,
Сам он командует им.
Войско, по правде сказать, — бесподобное
С кем мы его посравним.
Есть артиллерия, пехоте, конные,
Флота лишь нет...
.
.
.
Войско у Коли всегда в подчинении.
Чуждо зловерных идей,
Пищи не требует, и в утешение
Не выбирает червей...

Последний, 25-й номер „Зрителя“ был буквально наполнен текстом самым „дерзким“.

В отделе „Мелочи“ читателям преподносился вдруг такой невинный медицинский совет:

— Когда зуб, хотя и крепко сидящий, прогнил до основания, его следует удалить; если при выдергивании валится корона, то этого недостаточно: необходимо рвать с корнем, как бы трудно это ни было“.

Тут же рядом „Гимн орлу“:

Орел двуглавый,
Эмблема мощи,
Со всею славой
Попал ты во щип.

—
Орел лукавый
Душил нас в ночи.
Орел бесправый,
Ты мощь — мы мощь.

—
Орел с державой
Брал земли, рощи.
Орел кровавый,
Мы — худы, тощи.

—
Орел двуглавый
Орел кровавый
Двуглав с державой
Двуглав безглавый,

¹⁾ „Зритель“, 1905 г., 13 ноября.

Весьма недвусмысленна была и помещенная в этом же номере былина Н. Фалеева „Чудище поганое“:

Как по терему, узорам расписанному,
Оксамином да атласом строченому
Ходит чудище, то чудо всероссийское.

Как ни грозно это чудище, но оно всё же сильно встревожено. Оно жалуется, что

„... в столицах, градах каменных
Близ фабричных труб заводится
Зелье страшное, рабочее,
Социал-демократическое.

Все заботы чудища отныне направлены на искоренение этого зелья.

Кто разумеется в образе этого чудища поганого — тоже было ясно.

Открыто, устами Дмитрия Цензора, правда в стихотворении, облеченном в прозрачную маску заголовка „Муций Сцевола“, давался совет этому чудищу. Поэт взывал:

Надменный царь, судьбы страшись.
Беги от нас. В твой темный стан
Ударит гром неотвратно,
В огне костра и клубах дыма.
Я в тож влянусь тебе, тиран...

„Чудище поганое“, „тиран“, „шишка еловая“ и т. д., и т. д. — всё это открыто, громко преподносилось Николаю II, предпочитавшему однако следовать совету окружавшей его черной сотни, всё громче и громче, кричавшей ему: „царствуй на страх врагам“.

Правда, цензура *post factum* пробовала конфисковать номера ¹⁾, и даже иногда привлекал преступного и дерзкого редактора к суду, но, во-первых, это бывало после того, как номера журнала были расхвачены у газетчиков (а читатель делал это моментально), а во-вторых, — хитроумный Одиссей являлся перед судом в виде такого агнца и приводил в свою защиту такие доводы, что при всем желании ничего с ним нельзя было сделать.

Уж на что было, например, несомненно для цензора „письмо в редакцию“, где прямо говорилось об одном корейском мальчике Николае Романове. Его стоит воспроизвести целиком:

Письмо в редакцию.

„М. Г. В № 20 и 24 вечерней „Руси“ упоминается о каком-то маленьком корейце Николае Романове.

„Не откажите выяснить, что это за маленький Николай Романов: не

¹⁾ № 25 „Зрителя“ вышел 11 декабря 1905 г. и был немедленно конфискован. За статьи, напечатанные в № 23 и 24 Арцыбушев был привлечен к суду по ст. 128 и 129 Уг. Зак.

самозванец ли он? Вопрос этот необходимо решить, чтобы не вызывать нежелательных толков, тем более, что в „Руси“ пишут, что этот маленький Николай уже арестован.

Абиссинец Василий Гогенцоллерн.

4 декабря 1905 г.

И Николай, и кореец, и маленький, и подпись „Василий Гогенцоллерн“ — казалось, всё говорило, что это „про нашего“. Казалось, на этот раз дерзкому Арцыбушеву не сдобровать.

Каково же было удивление и суда и цензоров, когда Арцыбушев привел на суд живого маленького корейца, который, по документам, действительно был и Николай и Романов.

Но, повторяю, текст такого рода, выходя из текста не удручали цензоров, так как появлялись помимо их ведома, а вот с рисунками было много хуже.

По какому-то молчаливому соглашению, совершенно неизвестно — как и когда заключенному между редактором и его читателем, была установлена своеобразная сигнализация, выработанный символ — шишка на голове Николая II, результат удара палкой, нанесенного в г. Отсу каким-то японским городоным еще в то время, когда он, в бытность наследником, посетил Японию.

Случай этот был общеизвестен, и не существовало, кажется, человека, который бы не знал наизусть вызванного этим событием стихотворения:

Приключением в Отсу
Опечален царь с царцею.
Тяжело читать отцу,
Что сынок побит полицией.
Цесаревич Николай,
Если царствовать придется,
Никогда не забывай,
Что полиция дерется.

Популярность полученной от этого удара „шишки“ и была блестяще использована „Зрителем“.

Стоило только нарисовать маленького курносого мальчика на тонких, спиралью, рахитических ногах, с большой головой и шишкой на ней, чтобы все поняли, о ком идет речь в карикатуре.

Вид у этого мальчика всегда глупый, преглупый... И торчит он на каждом шагу.

Вот виньетка, изображающая телеграфные столбы с беспомощно висящей, изрезанной проволокой (телеграфная забастовка). Мальчик стоит, сосет палец и глупо смотрит..

А на лбу у него роковая шишка.

На другой виньетке — целый ряд черных силуэтов, громоздких, гротескно трактованных фигур Сипягина, Победоносцева, Столыпина, Александра III, Иоанна Кронштадтского и среди них опять еле-еле заметный тот же глупый рахитический мальчик... все с той же шишкой.

Особенно дерзкой выходкой был большой рисунок, почти страничный, на котором изображен в центре Витте, в женском костюме. У него на коленях стоит мальчик с шишкой на голове, а на заднем плане видны пара голубков (очень напоминающих двуглавый орел) и повешенные на шелковом шнурке, за который дергает Витте, игрушки-паяснички тогдашние министры — Шипов, Манухин, Дурново, Оболенский, Кутлер, Ламздорф и др.

Дерзость журнала заключалась в том, что он не только поместил этот рисунок — его дозволила цензура, — но в том, что здесь же рядом напечатал в виде пояснительного текста целую „Сказку об одной мамаше и нечисто-плотном мальчике“.

Правда, сказочку недлинную, но тем хуже. Вот что в ней говорилось: „Жила была мамаша, был у нее мальчик с пальчик, пальчик сосал, людей кусал. Мамаша головку ему очищала, мамаша его от людей защищала, мамаша его понимала. Словом, они друг друга понимали без слов“.

А относительно мальчика еще было прибавлено особо:

„... При всем желании определить пол и возраст мальчика, мы не имеем никакой возможности этого сделать, так как видим только затылок и тот с шишкой“...

Было дерзко то, что эту шишку „Зритель“ мало того что нарисовал, да еще и подчеркнул, при чем ударил Николая II по самому больному месту: указал на роль и значение Витте, которого царь постоянно и зло ревновал к своей самодержавной власти.

Такого рода выходками знаменитая шишка была так определенно канонизована, что вскоре уже явилась возможность оперировать с нею совершенно свободно, издеваясь над бессильной злобой цензуры, ревностно служившей только что объявленной свободе печати.

Характерна, в этом отношении, модель проектированной „Зрителем“ медали в честь свободной печати. В орнаменте, состоявшем из цепи и отрубленных голов, помещался художник — титан, с закованными в кандалы руками и ногами. Художник держит в зубах кисточку и на клочке лежащей перед ним бумаги рисует самую невинную вещь — еловую шишку...

И когда, через некоторое время, была напечатана большая на всю страницу еловая шишка в центре, которую почтительно провожают министры в путешествие, то здесь уже не нужно было ни традиционного мальчика, ни какого-либо пояснительного текста.

4.

Утончились способы обмена мыслями до последней степени.

Художник рисовал небольшую виньетку, изображавшую нескольких зайцев, что есть духу, с прижатыми ушами куда-то бегущих.

Читатель сразу припоминал ходячий анекдот о зайце, который перебежал через границу и на вопрос о том, почему он так бежит, отвечал:

— Да как же? В России приказано подковывать верблюдов.

— Но ведь ты же не верблюд?

— Мало ли что? Подкуют, а потом доказывай, что ты заяц.

Бесправие старого режима, со свежими еще, всеми ощущавшимися фактами, сразу вставало в представлении читателя, волновало, вызывало негодование и злобу против порядка, при котором возможны были подобные факты.

Виньетка, изображавшая „черную сотню“ в виде шахматных пешек повешенной на веревке, на которой в центре болтались король (шахматный, конечно), по бокам две (тут уж против шахматной действительности) королевы и семь фигур, утешала своей перспективой.

Однако, как известно, ожидания эти сбылись не так скоро, как это казалось возможным в то время очень многим, и „Зрителю“, всеми силами старавшемуся эту веру поддержать и даже сделать кое-что для ее осуществления, пришлось не мало за это пострадать.

Бессильное бороться способами легальными, правительство несколько не старалось разубеждать в том, что у нас, как это доказывали кадеты, с Милюковым по главе, конституция.

— Конституция конституцией, но, — говорили власти предрержащие, — это тебе не Англия.

Говорили и действовали. Уже 17-й номер „Зрителя“ в 1905 г. был конфискован, и журнал не выходил в течение месяца. Через некоторое время был конфискован № 25 ¹⁾, и „Зритель“ прекращен, впредь до приговора суда, в которому был привлечен редактор Арцыбушев.

Правда, сейчас же начало выходить издание, носившее заглавие „Журнал“.

Для того, чтобы читателю было понятно, что это тот же „Зритель“, заголовок был скомбинирован следующим образом.

№ 1.	„Ж у р н а л“	5 коп.
см. объявление на последней странице о журнале:		
Год 2	ЗРИТЕЛЬ	1906.

Маска, изобретенная Арцыбушевым, была слишком прозрачна для того, чтобы ее не разгадать, и „Журнал“ через два номера был закрыт.

Как феникс, он сейчас же возродился в виде „Альманаха“, за подписью С. В. Чехонина и при участии всех сотрудников „Зрителя“.

¹⁾ Этот номер казался, очевидно, настолько опасным, что цензура, вопреки закону, не передала его даже в Публичную библиотеку, куда поступала всякая печатная строка. Один экземпляр этого номера имеется только в Музее Революции.

Но это был уже 1906 год... С конституцией перестали церемониться. Напечатанное в „Альманахе“ стихотворение Саши Черного „Балбес“ обратило на себя внимание цензурных скорпионов, увидевших в нем не только оскорбление мундира, но даже самого великого князя Владимира Александровича. Оно, конечно, было похоже:

За дебоши, лень и тулость
За отчаянную глупость
Из гимназии балбеса
Попросили выйти вон...
Рад-радешенек повеса,
Но в сенке и в лац и стои...
Что с ним делать, ради неба?
Без занятий идлот
За тронх съедает хлеба,
Сколько платья надерот.
Нет в мальчишке вовсе гроза —
В свиновасы разве сдать
И для внешнего урока
Перед этим отодрать.
Но репает мудрый дядя,
Полный в будущее веры,
На балбеса нежно глядя:
„Отдавайте в... офицеры...
Рост высовий, лоб позатый,
Пусть оденется в мундир —
Много настов, много ваты,
Будет бравый вояндир“.

Тщетно уверяли, что это просто карьера самого плохого неудачника. Суды, до этого времени еще либеральничавшие, теперь начали косить направо и налево. Обвинительные приговоры за преступления по делам печати сыпались, как из рога изобилия. С. В. Чеховину в качестве редактора предстояло два пути: или сесть в тюрьму минимум на год, или эмигрировать за границу. Он предпочел последний и уехал в Париж, где прожил до того момента, когда в России со вступлением на министерский пост Святополк-Мирского опять повеяло весной, и целая куча дел, подобных возбужденному против него, была предана забвению. „Зритель“ пробовал еще раз загримироваться и начал выходить под названием „Маски“, „Мухомор“, но все эти маски оказались по теперешним временам слишком плохим прикрытием, и журнал мог возобновиться только спустя три года, 11 января 1908 г., с таким сообщением от редакции:

„... В конце 1905 г. журнал „Зритель“ был приостановлен, и одновременно редактор-издатель был привлечен к уголовной ответственности. С этого времени журнал не имел возможности выходить до 1907 года, когда, после решения Сената, дело о нем прекращено и „Зритель“ опять возобновляется“...

Неугомонный Арцыбушев опять принялся за старое. Испытанные им за три года волнения несколько не ослабили его энергии. А волноваться

всё же приходилось не мало, и, если бы—уж не знаю, как это и назвать,—не судьба что ли, то пришлось бы ему довольно круто.

Дело в том, что, как я уже говорил, судьи, вдохновляемые „конституционным“ Акимовым, свирепствовали теперь всюду. Арцыбушева, по совокупности всех его преступлений—на суде ведь разгадали его загадки довольно просто,—присудили чуть ли не к 10 годам тюремного заключения. Больше чем кого бы то ни было из редакторов. Нужно же было Акимову показать свою верноподданническую любовь к обожаемому монарху и показать, в какое негодование привели его выходки дерзкого карикатуриста.

Стоило ли стесняться с каким-то мазилкой, когда это нужно было для умиловывания монарха и для острастки другим прочим газетчикам.

Конечно, Арцыбушев не сдавался без боя. Апеллировал, куда мог, и довел дело до Сената.

И вот тут случилось нечто совершенно неожиданное.

Сенаторы, рассмотрев инкриминируемые Арцыбушеву статьи, пришли к заключению, что, конечно, все эти заметки не относятся к царю.

Такой дерзости просто даже невозможно допустить в российском гражданине. Признание, да еще судебной властью, даже возможности справедливости такого обвинения, было бы только еще вышшей, совершенно недопустимой дерзостью... И потому Сенат мудро постановил—дело прекратить...

И это в то время, когда судебная хроника пестрела приговорами за печатные преступления, когда сидели в тюрьме редактор „Руси“ А. А. Суворин, редактор „Начала“ Герценштейн, редактор „Пулемета“ Шебуев и многие другие.

В чем, например, заключалась вина Шебуева.

Только в том, что он полностью перепечатал знаменитый манифест 17 октября, даровавший России все конституционные свободы, и на нем поместил кровавый отпечаток руки с подписью: „к сему манифесту генерал-майор Трепов руку приложил“.

И вот за ту руку он был ввергнут в узилище на один год.

Арцыбушева спасла его исключительная дерзость, дерзость, достигшая таких пределов, что сенаторы предпочли притвориться слепыми. Помогла страусовская психология вершивших дело сенаторов, решивших успокоить „мальчика с шишкой“, что всё это относилось вовсе не к нему, хорошему, а к какому-то действительно дрянному мальчишке, мальчику „бяке“.

В какой атмосфере приходилось работать в это время карикатуристу, да и вообще журналисту, получившему все свободы 17 октября, можно судить по следующему факту.

Среди сотрудников „Зрителя“ и очень деятельных был Н. И. Фалеев. Его басни, стихотворения, за подписью „Чуж-Чуженин“, „Сила Дворянинович“ и без всякой подписи, были всегда ярки, остроумны, злы, разнообразны, затрагивали наиболее жгучие современные темы, наиболее видных деятелей.

Другому сотруднику А. В. Зенгеру (не министру) писавшему под псевдонимом Азр, пришла в голову мысль пошутить, по тому времени, довольно зло.

Часов в 11 вечера, он по телефону звонит Арцыбушеву.

— Редакция „Зрителя“?

— Да.

— Позовите редактора.

— Я у телефона,— развязно отвечает Арцыбушев.

— Скажите, у вас работает Фалеев?

— А вам зачем?

— Я говорю по поручению градоначальника. Передайте Фалееву, что его превосходительство вызывает его завтра к 10 ч. утра.

— Хорошо,— говорит уже задумавшись Арцыбушев.

Проходит полчаса. Новый звонок. Опять те же вопросы о Фалееве, новый приказ:

— Шеф жандармов приказывает Фалееву явиться к нему для объяснений в 10 час. утра.

— Но,— пытается объяснить Арцыбушев,— Фалеев вызывается на завтра тоже к 10 час. утра к градоначальнику.

— Меня это не касается,— следует суровый ответ.

Через полчаса новый звонок. На этот раз требование явиться к самому министру внутренних дел, и опять к тем же 10 час. утра.

Понятно, какая тревога поднялась в редакции, какую ночь провел Фалеев, которому Арцыбушев передал все эти милые приглашения. Только рано утром посыльный А. В. Зенгера привез Фалееву корзинку с виноградом и записку виновника тревоги, сообщавшего, что все вызовы ему удалось отменить, что закусив виноградом, он может спать спокойно хоть до 12 часов дня.

К счастью это была шутка, но всё это могло быть и в действительности. После манифеста 17 октября, даровавшего нам свободу печати, свобода эта, кажется, только в том и выражалась, что всякая правительственная власть свободно могла вмешиваться в дела печати. И кто поручится, что шутка Зенгера не была где-нибудь воспроизведена во всей ее полноте, вполне серьезно.

Возобновленный „Зритель“ очень скоро почувствовал, что погода сильно изменилась к худшему. Не говоря уже о рисунках, для которых новый цензурный фильтр был прямо губителен, взят был в тиски и текст. Целый ряд тем был выведен совершенно из-под обстрела сатирических стрел. Не говоря уже о мальчишке с шишкой на голове, совершенно нельзя было касаться войска, духовенства и очень многих вопросов, поднимавшихся современной злобой дня.

5.

„Русь“, превратившая свои иллюстрированные приложения в сатирико-карикатурный листок, старалась использовать те возможности, которые давала современная жизнь и новая так называемая „конституция“.

На растерзание сатириков, за изъятием царя, войска и духовенства, были оставлены министры, Государственная Дума, бюрократы и быт. Материал всё же достаточный, и газета принялась за его обработку, с молодым жаром, задором и верой.

Подчеркиваю слово молодым, потому что сотрудники сатирического листа — и художники и поэты были народ все молодой, в большинстве случаев студенты университета, технологи, академики художеств.

Самым „солидным“ из них были П. Н. Троянский, умерший год тому назад, полный сил, скоропостижно. Тогда, в 1907 году, это был еще совсем молодой человек, отличный рисовальщик и типичнейшая богема. Завсегдатая таких мест, как знаменитый литературный кабачок „Давида“ или ресторан „Вена“, где как публиковалось даже в объявлениях, можно было „встречать литераторов и артистов“, Троянский, „сам обладавший большим юмором и темпераментом, являлся постоянным и деятельным участником того коллективного сатирического творчества, которое было ярким ключом в богеме того времени.

Это был кружок, в который входили талантливейший наш карикатурист художник П. Е. Щербов (Old judge), писатель А. И. Куприн, покойный худ. Васильковский и др. За бекалом доброго, обыкновенного кахетинского вина или стаканом английского портера, который носил у Щербова название „жидкого хлеба“, где-нибудь в подвале кавказского погребка, современная общественная и политическая жизнь получала своеобразное отражение. Все художники — они мыслили и говорили образами. Здесь не говорили словами передовой статьи. Если бы был изобретен автомат-график вроде фонографа, то результатом таких дружеских симпозиумов могла бы быть не одна очень яркая и интересная карикатура.

Троянский до известной степени был таким воспринимавшим аппаратом, что, конечно, не исключало возможности и его личной индивидуальной работы. Без его живого, несколько калмыцкого типа лица, не раз служившего моделью для карикатур Щербова¹⁾, совершенно нельзя представить этого триумвирата. Величественный, с черной длинной бородой, черными красивыми большими глазами венецианский дож Щербов: монгол, с небольшой бородкой, несколько обрюзглый, с постоянной скептической усмешкой Куприн и рядом непременно Троянский. Он был душой этого кружка, и когда его не бывало (а такой период в жизни его, правда не долгий, был), определенно чувствовалось пустое место.

Отход Троянского от содружеского симпозиума, о котором я сейчас упомянул, был вызван „домашними обстоятельствами“. Находя, что симпозиумы отвлекают его от работы, домашние стали его удерживать от заседаний в кавказских погребах и всячески препятствовали даже телефонным его сношениям с друзьями. Действительно, дружеские заседания эти сплошь и рядом выво-

¹⁾ Почти автопортрет он дал в своем рисунке, изображающем Мефистофеля, в журнале „Серый Волк“ и карикатуры, рисующей его казнь в Гос. Думе.

дли из строя участников два на два, на три. Щербов отомстил за такое лишение свободы своего друга довольно ядовитой карикатурой, в которой не пощади своего внутреннего врага. Карикатура эта, где фигурирует Троянский, пойманный на месте преступления, т.-е. в заседании симпозиона, была выставлена в Академии Художеств.

Осадное положение, однако, продолжалось недолго.

Однажды Куприн так удачно позвонил по телефону, что подошел сам Троянский. Немедленно же было сообщено, что его ждут у Макаева (казназский погребок). Через полчаса Троянский был уже там.

Давно не видевшиеся друзья не могли расстаться в течение нескольких дней, путешествуя из одного уютного уголка в другой. А для того как бы, чтобы дома у Троянского не беспокоились, время от времени посылали жене телеграммы. Взял был сюжет путешествия Троянского за границу. Будто бы уезжающий Троянский посылал, с дороги, одну за другой телеграммы, приблизительно в таком роде:

„Луга. Милая дорогая. Мы решили проехаться в Европу. Перевалив через Лугу, шлю тебе привет, крепко целую и пью твое здоровье. Твой Петя“.

Следующая телеграмма была короче.

„Псков. Еще шлю тебе привет крепко целую и пью твое здоровье Петя“.

Телеграмма из Вильно была еще короче. Наконец, последняя телеграмма из Вержболово содержала в себе только одно, но зато красноречивое слово: „Пю“...

Понимай: „пю“...

Краткая редакция и усеченное „пю“ должно бы передавать степень настроения, в котором был путешественник.

Нечего и говорить, что, когда путешественник через несколько дней вернулся из заграничного вояжа, то встреча ему была оказана соответственная.

Конечно, такие и подобные вояжи с одной стороны мешали работе, но в то же время и многое в нее привносили. Это был подлинный театр для себя, живой гротеск. Нигде значение коллективного творчества не чувствовалось до такой степени ярко, как именно в сатирическом журнале.

Я помню, как часто весь наш редакционный кружок — Троянский, Герардов, Тильберг, Тавиц, Вальгис, Осип Дымов и др. собирались после выхода каждого номера, обсуждали его недостатки, планировали будущий номер, синтезировали злободневные события в какой-нибудь общей теме, изобретали карикатуры, детали и т. д.

Эти собрания тоже затягивались иногда настолько „далеко за полночь“, что эта полночь становилась полднем.

Вдруг оказывалось, что у Тильберга, жившего на седьмом этаже, в мансарде, припасена бочка пива.

И вся компания от меня перекочевывала в мансарду, открывалось пиво, извлекалась гитара, заседание продолжалось, сыпались шутки, острооты, — не вымученные, а живые, настоящие.

Молодая богема не падала духом. Надвигавшаяся реакция только уточняла карандаши карикатуристов и сатириков.

Осип Дымов, Сергей Горный (Одуп), Вас. Князев, Сергей Городецкий, А. Зенгер, С. Изнар, известный пушкинианец Н. О. Лернер и другие заполняли страницы журнала — стихами, рассказами, „мелочами“.

Лернеру, при его начитанности, удавалось извлекать сатирические ноты даже из Библии!

Сергей Городецкий работал и пером и карандашом. Ему принадлежит ряд шаржей на писателей того времени (за подписью „Кон“), на В. Брюсова, Кузьмина и др.

Весело и бодро работали художники П. Троянский, Р. Тильберг, А. Любимов, Н. Герардов, М. Яковлев, Ре-Ми (Ремизов), Ив. Грабовский, И. Панкул и др.

Это были опытные, прекрасные рисовальщики и графики. Их ряды contemporем дополнили более молодые художники — А. Тавиц, А. Янов, Столяров (Сто), Вальгис, Пылаев и др.

Некоторым не доставало техники, кое-какие рисунки представлялись очень слабыми в художественном отношении, даже безграмотными. Но зато у всех, даже у самых слабых, была налицо экспрессивность и самый настоящий юмор.

Увы, многих из этой группы сейчас уже нет в живых.

Раньше всех, еще при жизни „Серого Волка“, умер юным студентом талантливый Б. Вальгис.

Уже в наши дни (в 1923 г.) совершенно неожиданно, скоропостижно умер П. Н. Троянский. Трагически закончил жизнь самоубийством казавшийся всегда таким жизнерадостным, всегда свежий, розовый Н. Н. Герардов.

Когда я, в день его смерти, буквально за несколько часов до этой смерти, встретил его на Тучковом мосту, и он мне сказал: „Надоело жить, больше не могу, иду сейчас и застрелюсь“ — я ему не поверил. Не верилось, чтобы такой энергичный и живой человек, каким он мне всегда казался, не нашел себе выхода.

— Бросьте, Ник. Ник., — сказала я ему. — Приходите-ка ко мне потолкуем, что-нибудь изобретем.

— Нет уж, довольно, — был его ответ. Я бежал на какую-то лекцию. Мы простились.

Правда, небритый, усталый, с потухшими глазами, он мало походил на прежнего Герардова, но ведь это тогда, в дни голодовки, был особенно бодр?!

А между тем это было ужасной правдой. Оказывается, Герардов действительно шел в Академию Художеств и там через какой-нибудь час застрелился.

Почти также накануне смерти пришлось мне встретиться и с другим сотрудником „Серого Волка“ Ив. Мих. Грабовским.

Он жил у Биржевого моста. Мы встретились с ним на набережной, он звал к себе, но так как для этого нужно было подниматься, кажется,

в шестой этаж, а в то время ходили пешком и каждый шаг экономили, — то мы предпочли сесть на ступеньках стоявшей у моста разрушенной старой часовни. Полная противоположность Герардову, всегда замкнутый, не открывавший двери в свою внутреннюю жизнь даже самым близким ему людям, очень одинокий, Грабовский и тут ни единым словом не намекнул о своих настроениях, не говоря уже о задуманном им самоубийстве.

Когда через несколько дней я прочел в газете, что он бросился в Неву с Литейного моста, для меня это было неожиданностью, как и для всех, впрочем, других.

С грустью всегда вспоминаю о смерти, такой безвременной, этих талантливых художников. Пусть эти несколько строк будут венком на их безвременную и неизвестную могилу. Что делать? — Судьба. Верно поется в „Фаусте“, что „жому что суждено — то с тем и приключится“.

Не знаю, где сейчас другие сотрудники — А Любимов, Мих. Яковлев, Тавиц, Столяр, Пылаев?.. Тильберг в Риге и, кажется, стоит во главе латвийской Академии Художеств (он латыш). Ре-Ми, говорят, в Америке, развлекает американцев русским Петрушкой. А. Янов и Панкун работают и сейчас в Ленинграде.

Тогда, в 1907 — 1908 годах, все они, молодые, задорные, зеленые, были вместе, слиты в тесную редакционную семью, бодро работали и несколько не смущались тем, что конституционные свободы явно всё более и более переходили в область „бессмысленных мечтаний“ даже у самих кадетов. Казалось, что всё это громы не из тучи, что справиться с бутафорскими громовержцами не так уж трудно. Стоит только принадлежать...

Помню, как раз в это время пришел к нам в редакцию Александр Блок. Совершенно юный, в студенческом мундире, еще мало тогда печатавшийся, он принес мне целую пачку своих стихотворений. Одно за другим я ставил их в приложении к „Руси“. Свежие, прекрасные по своей форме, они были очень своевременны и по своему духу, так как давали выражение тем настроениям, которые всем нам хотелось поддержать. А. Блок писал:

Медленно, тяжело и верно
Мерю ночные пути:
Полному веры безмерной
К утру возможно дойти.

Этой „верой безмерной“ было полно всё в самой „Руси“ и в сатирическом журнале. Без преувеличения, этого утра ждали каждый день. За эту веру „Русь“ дорого платила: на нее сыпался штраф за штрафом, газеты приостанавливали на целые месяцы, запрещали ей розничную продажу, запрещали объявления, наконец посадили в тюрьму редактора А. А. Суворина и закрыли газету. Газета надела маску, вышла под именем „Молва“. Закрыли „Молву“ — возобновилась под заголовком „Двадцатый Век“, потом „Око“. Пущен был в ход весь запас заранее заготовленных „разрешенных“ названий и редакторов.

Шквал реакции крепчал с каждым днем. Удары сыпались, как из рога изобилия, на нашу редакционную семью, но духом никто не падал. Прибавлялось только энергии. Возростала вера в близость конечной победы. Все верили, как верил Блок, что всё же „к утру возможно дойти“.

И шли.

Собираясь по привычке, ежедневно, в обычные часы в редакции, „безработные“ сотрудники переходили оттуда в кавказский погребок Макаева, где обедали и коротали свой вынужденный досуг за бутылкой доброго (!) кахетинского вина, всегда одной и той же марки „гурджанское, № 8“, ценой 35 копеек бутылка.

Хорошее было вино. И дешевое, и сердитое.

В погребе нравы царили простые, не было обычной чопорности ресторанов. Можно было шуметь, спорить. Сплошь и рядом разговоры переходили в песню. Распевались часто куплеты на злободневную и близкую нам тему, импровизировавшиеся здесь же общими силами. Один запевал:

Газета скромной либералкой
В своем углу давно жила...

Другой продолжал:

А тут Бельгард ¹⁾ ее вдруг палкой,
Чтобы скромней се'я вела.

Распевалось всё это весело, на мотив ходившей в то время уличной песенки „Маргарита“.

Когда наступал срок окончания наложенного на газету молчания, дух естественно поднимался. И полумрак макаевского мрачного погребка оглашался бурной на мотив итальянской „Jo ranto“ песенкой.

В понедельник начинаем
Мы все писать, мы все писать...
А тебе, Бельгард бездельник,
Нас не поймать, нас не поймать...

И припев:

Будем жить мы, сукин сын, сукин сын. .

Однако, в действительности, всё же приходилось туго. Пока что Бельгард „бездельник“ укрепился и „ловил“ нас довольно просто. В целях предосторожности пришлось прекратить сатирическое приложение к „Руси“. Чтобы не связывать его судеб с судьбами газеты, и наоборот, оно было превращено в отдельный самостоятельный сатирический журнал „Серый Волк“, который выходил при том же составе сотрудников и в той же форме, и даже несколько месяцев с ним параллельно.

¹⁾ Начальник главного управления по делам печати.

6.

Как я уже упоминал, на съедение сатириков в это время было предложено значительно меньше жертв, чем в 1905-1906 годах.

Но зато и принимались за них всюду.

Конечно, в первую голову шел Столыпин. Этот администратор, взявший размах Витте и, пожалуй, не уступаавший ему в своих государственных способностях, слишком резко и цинично открыто принявшийся за ликвидацию революции (не стесняясь широко применять меру, получившую наименование „столыпинского галстука“), естественно привлекал к себе особое внимание карикатуриста.

Не было номера „Руси“, в котором ему не посвящались две, а то и три карикатуры. Вон он — приказчик в игрушечном магазине и предлагает покупателям самую новую игрушку — Государственную Думу... Переворачивает страницу, тот же Столыпин, только маленький, старается идти по следам огромного Бисмарка... Еле-еле продвигается он вперед на четвереньках; смешно звучит в этой позе его знаменитое „не запугаете“... Еще страница — и опять тот же Столыпин, стоящий с зажженным фитилем у заряженной пушки и явно колеблющийся — обстреливать или не обстреливать большую толпу с флагом, на котором стоит „Да здравствует Дума“.

Очень не понравился в „сферах“ рисунок, на котором был изображен Пуришкевич, стоящий перед витриной магазина с галстуками. В уста Пуришкевича вложены слова, требовавшие закрытия магазина за крамолу. Крамола же заключалась в намеке на знаменитую речь Столыпина, где он весьма недвусмысленно говорил о виселице и назвал, с циничной игривостью, веревку „галстуком“.

Как раньше общепонятным символом была еловая шишка, так сейчас таким символом стали типичные, завитые кольцами усы Столыпина.

Усы кольцами значило — Столыпин, усы торчком кверху — председатель Государственной Думы Головин.

Художник мог не добиваться даже портретного сходства: те или другие усы ясно указывали читателю, о ком идет речь. Эту разницу остроумно использовал, кажется, Троянский, изобразивший бой усов. Разные моменты этого боя определенно подчеркивали на рисунке столкновения Столыпина с Думой. Бой усов, трактованный с большим юмором, заканчивался тем, что усы кольцами превращались в мочалу, а усы торчком поднимались кверху еще более гордо и остро. Художник предсказывал поражение Столыпина. Правда, предсказание не сбылось: Столыпин победил Головина, но это была Пиррова победа.

Великодушия конституционного министра хватило не надолго. Сатирическая крапива, в которую его поминутно сажали карикатуры, повидимому стала ему досаждать. И вот после целого ряда таких карикатур наступает день, меня вызывают в цензурный комитет и требуют изъятия из по-

мера карикатуры на Столыпина, по сравнению с прежними весьма невинного свойства.

Номер был уже совершенно готов, стоял в машине, подходящего по размеру рисунка, которым бы я мог заменить „ошибочный“, не оказалось, и положение мое было довольно затруднительным. К счастью меня осенило: обрить Столыпина.

Я позвал стереотипера, он долотом сбрил в клише знаменитые столыпинские усы, я поставил под рисунком подпись „Пуришкевич“, приписал еще какое-то изречение Пуришкевича, и дело прошло.

Стало, однако, ясно, что Столыпин уже забронирован, и рисовать его усы было бы большой „ошибкой“.

Осталась Дума, Пуришкевич, Гучков, кадеты, октябристы и так называемые „бюрократы“, которых рисовали обыкновенно в богато расшитых золотом мундирах. Таким образом подчеркивалось, что имелись в виду не маленькие чиновники, столоначальники, а особы всё же не ниже действительного статского, следовательно — верхи, командующие.

Кадетскую партию в целом и отдельности секли с особым удовольствием.

Им никак не могли простить, что они так плохо использовали момент созыва первой Думы, момент, когда действительно Думы боялись все, не исключая самого царя. Быть может, это было неверно. Быть может, при той неорганизованности, которая не могла сплотить хотя бы одну сколько-нибудь сильную общественную группу, ничего особенного, вероятно, и нельзя было сделать. Но тогда по крайней мере все были глубоко убеждены, что чего-чего, а настоящей конституции, хотя бы ответственного министерства, словом хотя бы minimum правового порядка, добиться было возможно. Во всяком случае, как бы там ни было, а кадеты, вдруг поверившие, что у нас самая настоящая конституция и что они должны точно выполнять всё, что полагается по кодексу настоящей у нас несуществовавшей конституции, были более, чем наивны.

— Власть исполнительная, — торжественно заявлял с думской трибуны Набоков, — да подчинится власти законодательной.

А власть исполнительная, почти словами сэра Тоби из „Двенадцатой ночи“ Шекспира, на это ответила:

— А сэр Тоби тебе в шею...

Действительность очень скоро показала, насколько кадеты были прозорливые политики, и естественно, что карандаши карикатуристов пощады им не давали. Выборгский крендель, намекавший на беспомощность положения кадет, бежавших в Выборг и оттуда приславших свое знаменитое „выборгское воззвание“ не платить налогов, с этого момента сделался их эмблемой, их „гербом“.

Когда в „Сером Волке“ появилась карикатура, где на одном рисунке Миллюков величественно с таким выборгским кренделем на шее шествовал на ходулях во главе кадетского войска, а на другом рисунке, рядом, тот же Миллюков шлепался вместе с подломившимися ходулями в лужу, — такая карикатура встречала всеобщее одобрение.

Одобряли карикатуру, героем которой был Гучков, в виде Наполеона, стоявший перед армией нулей...

Струве, садящийся в калашу, Пуришкевич, депутаты, сама Дума — всё это были темы не только дозволенные. Пожалуй, что разрабатывавшие их рисунки рассматривались даже „с удовольствием“ и в так называемых сферах.

Несколько иначе обстояло дело с „бюрократами“. Скоро и штатный золотом мундир был взят под защиту. Конкретно это обнаружилось по такому случаю. Еще в приложении к „Руси“, худ. Троянский написал и иллюстрировал очень остроумно сказочку, носившую заглавие „Бюра-Недотёпа“.

Бюра была изображена в виде обезьяны, в треуголке, с лентой, звездой и шпагой.

Суть этой сказочки заключалась в том, что за какое только дело Бюра-Недотёпа ни возьмется — всё у нее криво выходит.

„Взялась Бюра-Недотёпа лес сплавлять. Что-нибудь, думает, выручу. Только принялась — глядь из-за леса — война загорелась... Да какая... (Намек на Ялу).“

„Не хотела Бюра-Недотёпа войны, но делать нечего. Пушки приватили, нацелились — глядь, все пушки дулом к себе повернуты: в своих же стреляют. „Тяп-ляп“ снарядила Бюра-Недотёпа корабль, только в воду пустила — глядь, перевернулся. Под конец войны Бюра две дюжины старых калаш отплатила“...

И так далее и так далее, вплоть до знаменитого обвала потолка в Г. Думе. Каждый эпизод был соответственно иллюстрирован. Сказочка была напечатана в начале 1907 года. Прошло не более полугода. Тот же Троянский попробовал использовать этот же мотив для своей большой карикатуры в „Сером Волке“, при чем почти целиком вставил в нее, в виде медальонов, уже напечатанные, т.-е. „разрешенные“, прежние свои рисунки. Но... прошло полгода, рисунки не изменились, а цензура стала другой. Теперь она встала на защиту Бюры-Недотёпы, и прекрасно проработанную карикатуру пришлось отложить. Кажется, при одном из обысков в типографии погибли и ее клише.

Цензура определенно, уже без стеснения, стала возвращаться к старым своим приемам. С каждым днем всё беззастенчивее и беззастенчивее она „крестила“ всё, что ей представляли журналы. Выкидывались сплошь и рядом такие рисунки, относительно которых прямо в голову не приходило: к чему там можно было придраться?

Помню как-то я представил рисунок, как мне казалось, даже патристический, ибо он агитировал за постройку воздушного флота. На нем был изображен русский адмирал, которому Наполеон из рук в руки передает старого типа корабль с парусами. На небе летают аэропланы. Под рисунком стояла подпись приблизительно в таком роде:

— Возьмите, ваше превосходительство, мой старый воздушный корабль. У нас теперь, видите, вон какие летают.

Прихожу в цензуру, оказывается — рисунок запрещен. Почему — голову даю на отсечение, никто не смог бы догадаться.

— У нас,—передает мне секретарь,—еще морских кораблей нет, а вы уже воздушным флотом дразните!

Ну, разве не Бюра-Недотёпа сказалась в этом удивительно мажорном преппении, в этом отношении к одному из насущнейших и настоятельнейших государственных вопросов?

Ох, нелегко было работать под наблюдением такой Недотёпы. Приготавливая номер, я всегда должен был иметь в запасе двойное количество рисунков и готовых клише, потому что никогда, ни в одном случае не было уверенности, что проницательная цензура не усмотрит чего-нибудь „ошибочного“ или преступного в любом из рисунков. Особенно при том быстром росте черной реакции, которая встречала нескрываемую и откровенную поддержку, вернее даже диктовалась!—сверху.

Приходилось иметь в запасе клише рисунков самого невинного, чисто бытового характера, на темы, напоминавшие старую „Стрекозу“. Ассортимент таких бытовых рисунков я набрал из „Simplicissimus“ (рисунки Гейне, Тонни, Резникова), „Lustige Blätter“, „L'assiette au Beurre“, „Le Rire“ и др.

По количеству рисунков этого рода в „Сером Волке“ можно судить, когда особенно свирепствовал цензорский карандаш, сделавшийся в это время сугубо жестоким.

Помню, как однажды мне пришлось отстаивать один рисунок не в одной, а сразу в двух цензурах.

Рисунок принадлежал худ. А. А. Янову. На заднем плане виднелся купол Таврического дворца, символизировавший Государственную Думу, а первая часть рисунка была занята фигурой человека в терновом венке, опиравшегося на большой, высокий, средневекового типа, меч. Подпись под рисунком „На страже“.

В Цензурном комитете долго допытывались, кто этот человек. Я объяснил, что это просто символ народа, ставшего на защиту своей родины.

— А зачем у него терновый венец?

Опять длинные объяснения о страданиях народа. Видимо, однако, рисунок продолжал пугать, и цензор попробовал найти выход, несколько неожиданный.

— Хорошо,—сказал он,—я разрешаю, но условно: если разрешит и духовная цензура.

— Почему духовная?

— А терновый венец?

Пришлось ехать к духовному цензору, в Александро-Невскую лавру.

После долгих объяснений здесь удалось убедить, что терновый венец ничего оскорбительного для церкви собой не представляет. Заручившись разрешениями двух цензур, я мог позвонить в типографию и приступить к печатанию номера.

7.

Да, тяжела была шапка редактора сатирического журнала в то время.

И опять-таки скажу: было бы совершенно немислимо работать, если бы не установившееся между читателем и сатириком то особое понимание, та

способность чтения между строк, понимание с полуслова, которые в эти годы развились с особой силой.

С этим не могла ничего поделать самая строгая цензура. Бывали случаи, когда эта строгость даже приводила к результатам совершенно противоположным.

Как-то художник Столяров („Сто“) принес мне заставку, на которой изображено стадо ослов.

Вглядевшись в это стадо, я понял, что хотел сказать карикатурист, но идея была так затуманена, и ему так легко было дать подпись по какому-нибудь поводу, что и его взял, сделал клише, и оно у меня было запасено на всякий случай.

Такой случай скоро представился.

Как раз в Москве собрался обще-дворянский съезд. Я вспомнил о запасных ослах, сделал под ним чеховскую подпись: „В Москву, в Москву, в Москву“ и поставил в номер журнала.

Оказывается, цензура решила взять под свою защиту съезд. В рисунке было усмотрено оскорбление дворянского сословия. Ослы, дескать, дворяне. Потребовали изъятия рисунка.

Я поехал объясняться. Выяснив, что всё дело в подписи, я спросил: можно ли оставить голый рисунок, просто в виде виньетки, конечно без всякой подписи.

— А там дальше нет статьи о дворянском съезде? — предусмотрительно спросил меня цензор.

— Ни полслова в целом номере.

— Ну... тогда можно.

Номер вышел. Всё обошлось благополучно. Через некоторое время встречаю одного из „читателей“:

— А здорово это вы, — говорит, — про ослов-то!

Первое, что пришло мне в голову, это мысль — не отпечатали ли типография какую-нибудь сотню-другую номеров с подписью?

— Неужели там есть подпись, — говорю.

— Еще бы вы подпись сделали.

— А тогда что же?

— Не притворяйтесь. Ну-ка посмотрите. Что это? Впереди грозный осел. За ним две ослицы — одна постарше, другая помоложе, а там семеро ослят... Августейшее царское семейство.

— Но ведь там пять ослят?

— Ничего подобного. Это только в рамке пять, а за рамкой. Заводилова ловная.

Так расшифрован был рисунок, у которого цензура сняла подпись, гораздо менее страшную.

Почти такая же история вышла с рисунком, невиннейшим рисунком, взятым из какого-то французского журнала. На нем изображены были две дамы, стоящие на берегу моря и вглядывающиеся в даль. Рисунок мне

показался интересным, как технически хорошо выполненный, и я сделал клише, предполагая при случае использовать его для какой-нибудь подписи. В один прекрасный день цензура выбросила стоявший в номере рисунок, этот по размеру оказался наиболее подходящим, и я поставил его в номер. Машина была в ходу, типография торопилась, в голову не приходило ничего такого, что было бы и злободневно и цензурно в то же время, и я подписал первое, что пришло в голову: „Женщины с моря“.

Оказывается, и здесь увидел намек на двух заморских императриц... Об этом мне сообщили при встрече тогда еще священник Григорий Петров.

8.

С каждым днем, однако, работать становилось труднее и труднее.

Осип Дымов один из своих очередных рассказов в „Сером Волке“, озаглавленный „Казнь“, 1908 г., начал таким вступлением:

„...К тому времени случилось, что больше не стало редакторов, то-есть редакторов оппозиционных газет“.

И тут почти не было преувеличения. Газеты и журналы, сколько-нибудь оппозиционного характера, отцветали, не успевши расцвести. Сатирические журналы пестрым вихрем исчезали в пространстве один за другим, просуществовав месяц-два, а то и меньше. И „Адская Почта“, и „Маски“, и „Мухомор“, и „Гаман“, и „Леший“, и „Зеркало“, и „Зритель“, и „Пулемет“ и многие, многие другие. Долше всех держался „Сатирикон“, родившийся на пепелище старой „Стрекозы“ и представлявший собой почти точную копию немецкого „Simplicissimus“. „Серый Волк“ не дожидаясь конца 1908 года и летом прекратил свое существование вместе с буквально удушенной и долго упорно пытавшейся бороться газетой „Русь“.

Наступил период, строившийся по принципу Столыпина: „сначала успокоение — потом реформы“.

Успокаивать начали, конечно, прежде всего печать и так успокоили, что нарисованная Осипом Дымовым в том же „Сером Волке“ сатирическая картина газетного бытия („Происшествие“) в сущности не была особенным преувеличением самой настоящей действительности.

„...Ну, — писал Дымов, — в передовой еще кое-как ладилось. В передовой речь шла о Европе. Например, герцог такого-то и такого-то княжества готовится лето провести не в Висбадене, как это было позапрошлым летом, а в Карлсруэ. И рассуждалось: какое это может иметь политическое значение. Этим герцогом пытались надолго.

В понедельник писали:

— Поездка герцога и ее значение для внешней политики Англии.

Во вторник:

— Поездка герцога и ее значение в политике Франции...

И так далее, и так далее.

В таком же роде характеризовался отдел внутренних известий и телеграмм:

„ПАРИЖ. Вчера на углу улицы Gay Lussac и бульвара Saint Michel был усмотрен странный предмет. Что собственно он обозначает, не выяснено“.

Или:

„САРАТОВ. По случаю ремонта здания ремесленного училища, закрытого 15 лет назад, в городе всё спокойно“.

Действительно, я помню, как в то время пронизывали над телеграммами официального телеграфного агентства („Роста“ — того времени): цитируя одну из телеграмм, где сообщалось из Рима, — что? „Здоровье римского папы не внушает опасения“?!

Что было делать сатирику и карикатуристу в такую мертвую полосу созданного весьма энергичными успокоительными мерами затишья?

Принялись за общественных деятелей второго сорта — октябристов, думских депутатов, союз русского народа...

Можно было, хотя и с опаской нарисовать Г. Думу в виде черного зонта, под которым укрывается от грозы тучный сановник, а обыватель пролетарского типа здесь же рядом мокнет под дождем, говоря:

— А мне какая от него польза?

Можно было издеваться над Челышевым, мечтавшим спасти отечество введением на „монопольке“ (бутылках казенной водки) этикетки с надписью, что это „яд“, и, для выщего устрашения, рисунка черепа.

Можно было нить на тему, что журналист бессилён, что его душит цензор.

Такие рисунки, наверно, цензорам даже нравились, ибо подчеркивали их силу и бдительность.

Пришлось выдвинуть на первый план такие вопросы, как „Лига свободной любви“, организованная забытой давно Феей Николаевной, своеобразных половых нигилистов „огарочников“.

Шаржи на литераторов, актеров, шумевших в то время декадентов.

Словом, пошли в ход цветы невинного юмора. Настоящая серьезная борьба была беспечна да и невозможна.

Скучно стало писать на все эти темы, скучно читать то, что по этому поводу писалось... Жить стало скучно и писателю и читателю.

Поместил „Серый Волк“ на первой странице последнего своего номера злобешую группу черных страшных старух, черной тучей выходящих на работу, и поставил точку.

Черные старухи, как черные парки, мертвявшие всё на своем пути в русской общественной жизни, обрезали нить жизни и „Серого Волка“.

Вл. Боцяновский.

С царем в Тобольске.

Из воспоминаний ¹⁾).

Препятствия.

За несколько дней до беседы с доктором Боткиным, произошла довольно скверная история, которая чуть-чуть не разыгралась в драму. Из дворцового ведомства, по просьбе бывшей царской семьи, были посланы вещи, мебель и ковры, принадлежавшие бывшей царской семье. Сопровождать их командировали какого-то военного, который, повидимому, даже плохо был осведомлен о том, что находятся в ящиках, а дворцовое ведомство, не снесаясь с Тобольском, где недель пять-шесть назад был винный погром, отправило несколько ящиков вина. Пока кладь шла в вагоне, всё обходилось благополучно, но вот, при перегрузке с железной дороги на пароход в г. Тюмени, один ящик разбился, и из него запахло вином. Один из пассажиров, солдат-тыловик, сразу „унюхал“, как он потом рассказывал, сообщил своим товарищам, тоже тыловикам. По прибытии в Тобольск они пустили утку, что вино везется для офицеров отряда особого назначения, охранявшего семью бывшего царя.

Ко мне явилось несколько солдат-тыловиков, в том числе и „унюхавший“, в сопровождении нескольких из нашего отряда. Выслушав, в чем дело, я распорядился послать офицера со взводом солдат охранять кладь на берегу, где она была сложена. Унюхавшему тыловику очень это не понравилось. Он начал агитировать тут же против нашего отряда, — особенно против офицеров.

— Вы что хотите?

— Нас, солдат, за выпивку в часть отправляют... у купцов вино уничтожают, а офицерам из дворца... — заговорил унюхавший.

— Не говорите вздора, — перебиваю я, — привыкли всякие выдумки распространять. Чтобы уличить вас, я сейчас же вызову милицию. — Откуда вы взяли такие сведения?

Толпа растет всё более и более, всё из пришлых солдат (может быть, даже и не солдат), которых за последнее время в Тобольске скопилось до 2000. Это всё демобилизованные, пробиравшиеся домой. Порою они осаждали губернский комиссариат и городскую управу, требуя отправки, подвод и про-

¹⁾ Окончание. См. „Былое“, № 25.

довольствия. Многие выкрикивали: „Мы кровушку проливали на фронте“. На самом же деле, судя по их бумагам, это были тыловики. Чтобы быстрее добиться их успокоения, я действительно послал за городским головой и начальником милиции, явился и председатель Тобольского исполкома, врач Варнаков.

— Я не могу допустить хранение такого количества вина в части города, где содержится семья бывшего царя, и так как здесь распушен слух, что вино это прислано будто бы для офицеров нашего отряда, — предупреждаю, что это ложь, и впредь до официального выяснения, кому назначалось это вино, прошу милицию принять его на хранение.

— Я не могу, господин комиссар, это сделать. Народ узнает, нас разгромят, — запротестовал начальник милиции.

— Городская управа — тем более, — говорит председатель управы.

— Господа, вы можете сдать вино в больницы.

— Больницы не примут. Мы не ручаемся, — заявляет врач Варнаков: — самое лучшее, г. комиссар, оставить его у вас во дворе. У вас свой отряд.

— Благодарю вас, доктор, за совет. Вы знаете, что это будет значить. Около нашего дома и губернаторского будет скопиться горючий материал и приманка. Нет, этого я не допущу, скорее прикажу уничтожить вино. Но прежде чем на это решиться, предлагаю вам, доктор, взять вино для больных и раненых.

— Что вы, что вы! Избавьте нас, — отказывается врач Варнаков.

Повторяю свое предложение с большой настойчивостью, ибо по собравшейся толпе и по растущему недовольству против наших офицеров ясно вижу, что надо действовать быстрее и решительнее, иначе придется разогнать оружием, что совершенно нежелательно и даже вредно. На мое предложение получается вторичный отказ.

— В таком случае я сейчас же прикажу уничтожить вино. Единственная возможность сберечь его для больных в больницах исчезает...

— А ответственность вы берете на себя? — как-то робко спросил меня врач Варнаков.

— Разумеется, с указанием на окружающие обстоятельства, — ответил я. — Вы боитесь ответственности и не боитесь оставить больных и слабых без помощи...

После этого все начали охать, ахать и жалеть доброе вино, которое могло бы пригодиться для слабых и больных. Но никаких мер никто не предлагал. Собравшаяся же толпа, серая и темная, ждала наступления вечера... Надо было выбирать между уничтожением вина и уничтожением людей. Выбор ясен.

Был составлен протокол, который я подписал. И всё вино в присутствии начальника милиции, городского головы и под наблюдением моего помощника и одного офицера было выброшено в Иртыш. — Недовольная толпа растаяла. Уходя, многие открыто ворчали: „Сколько добра в Иртыш спущено по капризу комиссара“, говорили одни. „А всё же вино было прислано для

офицеров, — ворчали некоторые солдаты нашего отряда: надо будет спросить комиссара, когда получится ответ из Петрограда"... „А этого полковника назад до ответа мы не отпустим", — прибавил Рысев, председатель роты 2-го полка. Поход на офицеров не удался, но приблизительно в это же время зародилась идея нападения на дом губернатора... Всех этих условий не могли знать ни Боткин, ни Долгоруков.

Октябрьский переворот в 1917 г.

Сведения об этом перевороте достигали Tobольска отрывочно. Невозможно было составить истинного представления о том, что творится в столицах. Телеграммы Керенского были очень кратки и односторонни, газетные сообщения отличались яркой партийностью и блистали только полемикой. Мое положение в Tobольске было весьма щекотливое, и я более чем когда-либо желал, чтобы скорее собралось Учредительное Собрание и освободило меня от тяжелой обязанности. Октябрьский переворот произвел гнетущее впечатление не только на бывшего царя, но и на светских. Из газет они видели, что делается в Питере. Николай II долго молча переживал и никогда со мною не разговаривал об этом. Но вот, когда получились газетные сообщения о разграблении винных подвалов в Зимнем дворце, он нервно спросил меня: „Неужели Керенский не может приостановить такое своеволие?"

— Повидимому, не может... толпа везде и всегда остается толпой.

— Как же так? Александр Федорович поставлен народом... народ должен подчиниться... не своеволичать... Керенский любимец солдат... — как-то желчно сказал бывший царь.

— Мы здесь слишком далеко от всего; нам трудно судить о событиях в России. Но для меня все эксцессы толпы понятны и неожиданны. Помните японскую войну. Вам, Николай Александрович, известна мобилизация 1914 г. в г. Кузнецке, Барнауле и других городах... Как там повобранцы громили здания монополии, как разбивали винные лавки... какие творили безобразия. Почему-то в Германии, Австрии ничего подобного не совершилось. Как будто там не было толпы.

Повидимому, мое объяснение было совсем непонятно бывшему царю. Он, помолчав несколько минут, сказал:

— Но зачем же разорять дворец? Почему не заставить толпу?... Зачем допускать грабежи и уничтожение богатств...

Последние слова произнес бывший царь с дрожью в голосе. Лицо его побледнело, в глазах сверкнул огонек негодования. В это время подошли Татищев и одна из дочерей. Разговор на эту тему прервался. Потом я очень сожалел об этом. Мне очень хотелось уяснить для себя: как же в самом деле смотрел бывший царь на совершающиеся события. Сознает ли он, что „своевольная" толпа подготовлена и воспитана не вчерашним днем, не настоящим годом, а предыдущими столетиями бюрократического режима, который рано или поздно должен был вызвать толпу к „своеволию". Повидимому плохо

Николай II понимал это своеволие в марте 1917 г., но еще хуже представлял он его в октябре того же года. Для этого надо было бы знать не одну военную историю, которую он преподавал сыну, а историю народа, историю толпы. Бунты Стеньки Разина, Пугачева, бунты военных поселений очевидно были забыты бывшим властелином. Повидимому, он никогда не задавал себе вопроса: почему ни в Германии, ни во Франции, ни в Австрии — нигде народ и войска не поднимали таких восстаний во время войны. Почему это возможно было только у нас, в России, где власть царская и бюрократическая казалась так прочна, несокрушима, а рухнула в два-три дня до основания. Не такова ли судьба всякой деспотии? В истории народа мы много находили тому примеров.

Отзвуки октябрьских событий понемногу стали проникать и в Тобольскую губернию. Еще не было известно, на чьей стороне останется победа. Сообразно с этим вели себя и тобольские деятели. По губернии распускались всевозможные нелепые слухи. Из деревень стали приезжать солдатки-вдовы.

— Господин комиссар, вас желает видеть какая-то женщина, — сообщает один из офицеров, живших в одном со мною доме.

Выхожу в прихожую и вижу деревенскую женщину с девочкой лет 6-ти.

— Что вам? — спрашиваю ее.

— Господин комиссар, где же правда? У меня муж убит на войне, а по деревням ходят мужики какие-то и говорят, что Временное Правительство запретило выдавать пособие солдаткам-вдовам... — сказала женщина и заплакала.

— Это не правда, — перебиваю я: — не верьте, это вздор.

— Как же не верить? Вот уже второй месяц волость нам отказывает. Чем же мне жить?.. Помогите, ради царя небесного...

— Я вам говорю, что это вздор. Не верьте.

— Что же нам делать? Мы народ темный... все нас норовят обмануть, обидеть.

Судя по поведению, просительница была не совсем темная, а бывалая и даже немного грамотная.

— Кто вас ко мне направил? Как вы пришли сюда?

— Наши бабы послали: иди, говорят к комиссару, что царя сторожит... Я объясняю, что она попала не по адресу.

— Выдачей пособий заведует городская управа и губернский комиссариат, — говорю ей.

— Уж вы помогите, куда я пойду, — просит женщина.

Пробую растолковать ей порядок получения пособия. Даю немного денег и записку к городскому голове, который состоял членом комиссии, и сообщаю ему о деревенских слухах. Расплатывание умов идет по всем российским городам и весям. Не оставлена без внимания даже наша отрядная школа. Лекции, которые в начале осени шли довольно успешно, теперь стали посещаться всё меньшим и меньшим числом солдат.

Еще до отъезда из Питера я говорил Керенскому и Кузьмину, что в отряде необходимо будет устроить школу, читать лекции, для того, чтобы

солдаты не скучали и не распускались от скуки и безделья. Тобольск—городшко глухой, захолустный, зима холодная и продолжительная. Керенский и Кузьмин вполне согласились со мною. По прибытии в Тобольск, я немедленно принялся за это дело. В отряде оказалось много безграмотных и полуграмотных. С ними, кроме меня, согласились заниматься и некоторые офицеры, с более же подготовленными занимался я сам: читал им лекции по естественной истории, географии, истории культуры и пр. Бухгалтерию же преподавал мой помощник А. В. Никольский. Кроме того я неоднократно делал доклады и читал лекции на разные темы в Народном доме для всех, куда ходили и солдаты нашего отряда. До октябрьских событий занятия шли хорошо, солдаты охотно посещали школу. В начале же ноября некоторые совсем перестали посещать школу; очевидно, свое образование они считали законченным. Иногда они являлись в школу и отпускали плоские остроуты по адресу старших групп, которые проходили геометрию.

— Все хотят быть семинаристами, учеными, — как-то брякнул один из них.

— Вы мешаете заниматься, — сказал я.

— Пусть занимаются семинаристы...

— Уходи вон, — громко крикнул один из учеников: — не то иначе с тобой заговорю...

В отряде не мало было таких.

В казармах они нередко мешали учить уроки и тем вызывали страшное негодование и ядовитые насмешки. Внутренний разлад в отряде усиливался с каждым днем. Все мои усилия примирить солдат ни к чему не приводили. Удавалось только смягчать остроуту вражды между ними. Но и то до поры до времени.

Наконец, приехал из Крыма зубной врач, который считался зубным лейб-медиком бывшей царской семьи. Теперь я забыл его фамилию. Поселился он у меня, а врачевать членов бывшей царской семьи ходил в дом губернатора. Не знаю, каких убеждений он был прежде, но в Тобольске он мне говорил, что он толстовец. У меня с ним оказались некоторые общие знакомые врачи. По вечерам мы с ним часто подолгу беседовали о прошлом Николая II. Его рассказы вполне подтверждали мои наблюдения над царской семьей; она задыхалась в однообразной дворцовой атмосфере, испытывала голод духовный, жаждала встреч с людьми из другой среды, но традиции, как свинцовая гири, тянули ее назад и делали рабами этикета. Когда же кому-либо из нецаредворцев удавалось появиться в кругу царской семьи, то такое лицо сразу делалось предметом всеобщего внимания, если только придворная клика во-время не успевала его выжить. Так было с Григорием Распутиным. Однажды вечером зубной врач увидал у меня мои воспоминания „Возврат к жизни“. Это воспоминание о выходе из Шлиссельбургской крепости.

— Не можете ли дать мне прочесть? — спросил он.

Я согласился. Дня через два он, возвращая их мне, говорит:

— Вы извините меня за самовольство. Ваши воспоминания я давал прочесть бывшей царской семье. Все читали и представьте, говорю вам без

всяких преувеличений, все в восторге. Только Александра Федоровна задала мне странный вопрос: почему он, т.-е. вы, так не любите жандармов. Просили узнать, нет ли у вас описаний ваших путешествий. Вы много рассказывали о них детям Николая Александровича.

— Здесь у меня нет. Охотно бы дал, — ответил я.

— А ваши воспоминания о Шлиссельбургской крепости.

У меня их не оказалось.

— А хорошо бы дать им прочесть их.

— Мне кажется, что кто-то из них их читал. По некоторым вопросам это видно. Александра Федоровна недавно спрашивала Боткина: „Неужели наш комиссар так долго сидел в Шлиссельбургской крепости? Разве это возможно?“ А Николай II как-то в разговоре о загранице, задал мне такой вопрос: „Когда же вы успели везде побывать?“

Не знаю, с задней мыслью или просто так, зубной врач стал расспрашивать меня, какое впечатление производят на меня дети.

— При других условиях, при другой обстановке им можно было бы дать другое образование и развитие, а не придворное — как стать, как сесть, сказать и т. п. Да и теперь, пожалуй не поздно. Должен вам заметить, что, несмотря на ограничения, каким они подвергнуты, эта жизнь дала им очень много, они не скрывают этого и часто даже забывают... Они охотно пьют дрова, отребуют снег. Простая жизнь дает им много удовольствия...

— В этом они и мне признавались. Не поверите, когда мне приходилось по своей специальности приезжать и проводить у них неделю-другую, я чувствовал себя скованным и с величайшим нетерпением ждал воли. Точно от кошмара освобождался, покидая пределы дворца, — рассказывал мне врач.

По его словам, вся семья бывшего царя часто расспрашивала обо мне. Конечно, не потому, что я был для них интересен, нет, а просто потому, что я новое лицо из другой совершенно среды, с другою психикой, с другими привычками и взглядами.

— Василий Семенович, я давно собираюсь вас спросить, почему бы вам не согласиться быть преподавателем у детей Николая Александровича? — спросил врач.

— Это как понять? Вам поручено разведать, или вы просто от себя? — спросил я.

Врач смутился.

— От себя я бы не решился... Вы понимаете... Откуда-то они узнали о ваших занятиях с солдатами, о ваших докладах в Народном доме. Почему бы в самом деле вам не согласиться?

— Согласиться на ваше предложение не могу просто по своему положению, — категорически отказался я. Врач замолчал, как будто огорчившись моим ответом. На меня он производил впечатление доброго открытого человека, именно человека, а не ремесленника, карьериста. Какая странная игра судьбы. Почти всю жизнь быть гонимым, считаться вредным человеком, врагом династии.

Но вот условия меняются—и этот якобы вреднейший человек приглашается преподавателем, наставником детей бывшего самодержца.

На мое имя получались анонимки с угрозами с фронта, из Омска, Красноярска, Екатеринбурга и даже от самих тоболяков. Грозили даже послать целую дивизию за то, что я „распустил царскую семью“, что дал возможность даже убежать царю с одной из его дочерей... Все эти угрозы и обвинения были основаны на той газетной спекуляции, которой всегда отличались некоторые русские органы, лишь бы распродать побольше номеров. Как вся эта газетная ложь отравляла мне жизнь. Телеграммы мои с опровержением не только не всегда печатались в этих газетах, но иногда почтово-телеграфное ведомство старалось даже не допускать их до редакций живых газет. Привожу образец оттиска почтово-телеграфного ведомства, которое так бесцеремонно однажды возвратило мне мою телеграмму.

Моя телеграмма:

Прошу напечатать в ближайшем номере „Воли Народа“. Вниманию Телеграфного Ведомства: „6-го октября нами была послана телеграмма, опровергающая ложные сведения, помещенные в газетах „Русская Воля“, „Народное Дело“ и друг. газетах, о переводе бывшего царя в Абалацкий монастырь. Адресована была телеграмма в редакцию „Русской Воли“, копия в редакцию „Народное Слово“ и в ред. „Воли Народа“ Опасная 85-37. А 11 октября из Петрограда была получена нами следующая телеграмма за № 86725. Три адреса: Петроград Редакция Русская Воля, копия Народного Слова и Воля Народа Опасная 85/37 не разысканы, не доставлены.

Адреса указанных газет знают все петроградские мальчишки-газетчики, а телеграфное ведомство не могло их найти.

Вот при каких условиях приходилось работать в г. Тобольске.

Еще образец газетных уток и заведомо ложных сенсационных слухов. Копия посланной мною телеграммы 18/XII 1917 г.

— Во все газеты. Все слухи о побеге бывшего царя вздорны и ложны. Вся семья находится в г. Тобольске, охраняется тем же отрядом особого назначения гвардейских стрелковых полков 1-го, 2-го и 4-го, которые сопровождали бывшего царя с семьей из Царского Села. Охрана несется исключительно этим отрядом. В городе и уезде тихо. В губернии подготавливаются выборы в губернское земство.

Комиссар Временного Правительства Панкратов, его помощник В. Никольский и комендант Е. С. Кобылинский.

Эта телеграмма была послана в опровержение газетных слухов, пущенных с провокационной целью о побеге царя и о ненадежности отряда особого назначения.

После Брестского договора вскоре была объявлена демобилизация, которая коснулась и отряда особого назначения. Многие солдаты, мобилизованные еще до начала войны с Германией, воспользовались этой демобилизацией и стали уходить из отряда домой. Большинство этих солдат были

стойкие, трезвые, честные люди, они понимали, что они делают, оставляя отряд, но совершающиеся события в России и тяжелые вести с родины звали их домой, несмотря ни на что. Многие из них приходили ко мне и откровенно сознавались, что быть может поступают нехорошо... но ведь мы пять лет на службе... по два и больше года были на позиции... из деревни пишут, что там не спокойно... идут грабежи, обиды. Кто защитит наши семьи? Фронт теперь пошел по всей России. Надо идти домой, нет сил оставаться здесь... Уж вы нас не судите за это... Говорили они. И мне ничего не оставалось как соглашаться с ними и отпускать их.

Эти солдаты оказались и самыми деятельными, неутомимыми работниками, когда был объявлен сбор пожертвований на фронт. При горячем участии общественных деятелей и местной демократии была организована комиссия в г. Тобольске. Местное общество приняло живейшее участие по сбору пожертвований, а наши солдаты целыми днями исполняли всевозможные поручения комиссии, они даже обходили самые захудалые дома. Сбор оказался весьма солидным.

Будучи выбран председателем этой комиссии, я в течение трех дней наблюдал деятельность наших солдат: они были неутомимы и вызвали восторг дам, принимавших участие в сборах пожертвований на фронт.

— Ну, а как же, товарищ комиссар, к бывшему царю надо послать подписной лист. Может быть, вы сами пойдете...

— Мне неудобно, но я уже передал туда. Татищев взялся сам это сделать, — перебил я гвардейца.

— Сколько-то пожертвует? Говорят, скупы они все, — предсказывал гвардеец: — да поди и сердятся на солдат. Может, совсем ничего не жертвуют.

— А вот увидим, — отвечаю я.

О скупости семьи Николая II мне много приходилось слышать, но я не придавал этому значения и даже не верил. Но вот возвращают мне подписной лист, и на нем пожертвование всей бывшей царской семьи всего только триста рублей. Меня, признаться, поразила эта скупость. Семья в семь человек — жертвует только 300 рублей, имея только в русских банках свыше ста миллионов. Что это? Действительно ли скупость, или недомыслие? или проявление мести?

Окружающие меня тоболяки и принимавшие участие в сборе пожертвований негодовали:

— Что это? Насмешка! Тогда возвратить им назад эти триста рублей, — говорили одни.

— Скупы, скупы, — говорили другие.

— А Распутину небось не скупились... Какими кушами отваливали, — возмущались третьи: — любопытно было бы узнать, господин комиссар, кто установил такую сумму — царь или царица.

Меня самого интересовал этот вопрос, и я решил во что бы то ни стало выяснить его для себя. Мне много приходилось наблюдать, что во всех во-

просах Александра Федоровна имела решающий голос. Николай Александрович, хотя и возражал, но очень слабо. Что касается детей, то их никогда не спрашивали. И эта сумма была назначена Александрой Федоровной. Но это еще не значит, что она была скупа — во всех случаях, нет. Известны ее пожертвования на германский красный крест, уже во время войны... Известны ее дары Григорию Распутину. Да, Алиса была скупа для России. Она могла бы быть в союзе с людьми, которые готовы были жертвовать Россией...

Зима с каждым днем давала о себе знать. Морозы усиливались, снежный покров всё глубже и глубже окутывал землю. Семья бывшего царя, да и сам Николай Пуже перестали гулять без пальто, но кутаться они не кутались. Дочери гуляли в коротеньких меховых кофточках, а Николай II в полковничьей шинели. Шилка дров продолжалась попрежнему, лишь иногда она сменялась сгребанием снега с крыльца и с дорожки.

— Такими лопатками неудобно работать, — как-то сказал я, заметив, как Мария Николаевна сгребаёт снег со ступенек крыльца какой-то сломанной лопаткой.

— Другой лопаты нет. Прикажете выдать, — ответила она.

— Почему же вы не скажете дворецкому? Плохо он заботится. Вероятно, думает, что для вас и этой достаточно... не находит вас серьезной работницей.

— Я люблю эту работу, но снегу мало, — отвечает княжна.

В это время к нам подошла Ольга Николаевна, которая вместе с Николаем ходила по двору. Мы поздоровались.

— Однако я ожидал более суровых морозов, — заговорил Николай Александрович.

— Настоящая зима еще впереди, — заметил я.

— Тогда какой же забкий здесь народ! Как рано начинает кутаться в шубы. Почти все ходят в шубах. Как же оденутся они, когда будет еще холоднее?

— Так же, как и теперь, — отвечаю я: — сибиряки народ практичный, они не боятся морозов, но не любят и не выносят переходной сырой погоды весной и осенью. В это время легче всего простудиться.

— А что это за народ появился в городе? — спрашивает одна из княжен.

Выражаю недоумение, о каком народе говорит она.

— Разве вы не заметили? По улице мимо наших окон стали проходить в каких-то странных белых и серых костюмах мехом наружу.

Княжна, оказывается, говорит об остяцких кухлянках из оленьих шкур, в которые стали облачаться тоболяки. Такие костюмы можно наблюдать и у самоедов, и у эскимосов, и у якутов. Объясняю ей, что никакого нового народа в городе нет, и выражаю удивление, что княжна не видала в иллюстрированных хрестоматиях архангельских самоедов, изображенных в таких нарядах.

— Почти во всех хрестоматиях такие костюмы можно видеть. Разве вам не объясняли?

Княжна смущенно молчит. Рассказываю, из чего шиты эти, каковы их преимущества.

— Вы много путешествовали?— вмешивается Николай.

Отвечаю ему, что был я и за границей и искрестил почти половину Сибири и Забайкалья.

— Когда же вы успели везде побывать?

— Судьба, — если можно так выразиться, — бросала меня в разные концы. Да и любопытство играло не малую роль, — отвечаю я. Собственно путешествовать-то мне приходилось мало, больше работал.

— Какая же работа у вас была?

Пришлось коротко перечислить свою работу и места, где я бывал.

— Богата и разнообразна Сибирь. Я тоже когда-то проехал по Сибири. Красивые места. Громадные леса, дикие.

— Вы охотник? Ходили на зверей?

Я рассказал, как однажды напал на меня медведь в совершенно дикой местности, и, имея при себе только револьвер, мне всё же удалось отстреляться и обратить его в бегство. Было ли у меня хорошее „повествовательное“ настроение в это время, но дочери Николая с большим вниманием слушали мой рассказ, а через несколько дней Николай даже спросил через кн. Долгорукова, — нет ли у меня напечатанных описаний моих путешествий.

Сибирская природа, повидимому, производила хорошее впечатление на царскую семью. Они часто расспрашивали меня о ней. Их глаза привыкли к мягким, ласкающим картинкам юга. Русская династия почти не интересовалась севером России. Ежегодно она или путешествовала за границу, или в Крым и на Кавказ. Очутившись поневоле в Тобольске, куда, конечно, никогда бы она не заглянула и даже знала бы о нем только по наслышке, теперь сама наблюдала особенности суровой природы.

Сибирь — моя вторая родина. После четырнадцати лет одиночного заключения в Шлиссельбургской крепости и после целого года путешествия по сибирским тюрьмам и этапам под суровым конвоем, я очутился на свободе в Вилуйске в конце февраля. Несмотря на суровые морозы в это время солнце дольше держится на горизонте, а краски его до того разнообразны, нежны и прихотливы, что я целыми часами любовался чудным небесным сводом, и должен сознаться, что в первый раз так глубоко полюбил северную природу и почувствовал к ней близость и начал изучать ее и учиться на ней. Понятно, что при встречах с семьей Николая темой нашего разговора часто была Сибирь и ее природа. Как мало знали они ее! Как мало интересовались они ею прежде! Их представления о Сибири мало чем отличались от представлений о ней итальянских красавиц, которые думают, что в сибирских городах по улицам бегают волки, медведи, что в Сибири вечный снег и морозы.

Николай Александрович неоднократно под влиянием этих рассказов и разговоров повторял свою просьбу о прогулке за город, и каждый раз приходилось отказывать ему в этом.

— Вам нечего бояться... Вы думаете, я решусь убежать. Назначьте конвой...— говорил он.

— Я уже вам объяснил, что с этой стороны менее всего препятствий...

— А если мы сами возбудим ходатайство перед правительством?

— Пожалуйста. Разве я вам делал какие-нибудь препятствия в этом отношении?

— Но мы обращаемся к вам, как к представителю правительства. Теперь мы с Александрой Федоровной советовались и решили обратиться прямо. Но нам кажется, что вы могли бы и своей властью разрешить...

О, как мало знал Николай о том, что творилось кругом, несмотря на то, что я передавал им все газеты, из которых было видно, что Временное Правительство уже пало и рассеялось, что его заменили Советы. Только у нас в Тобольской губернии Совет еще не имел полной власти, и у нас еще сохранялась власть губернского комиссара, городского самоуправления и были произведены выборы в Земство. Но натиск со стороны советов, особенно Омского областного, производился с особою настойчивостью. Дважды делалось приказание чрез военного комиссара Омского совета перевести бывшего царя с семьей в каторжную тюрьму и арестовать губернского комиссара. Необходимости прибегать к такой мере я абсолютно не видел.

Однажды в праздник вечером является председатель местного совета Писаревский к караульному дежурному офицеру и требует пропустить его к царю.

— По уставу караульной службы я сделать этого не могу, — отвечает офицер.

— Я председатель Тобольского Совета. До меня дошел слух, что Николай вчера бежал... Я хочу проверить...

— Этот слух ложен. Вы знаете, что сегодня он был в церкви...

— Я должен в этом убедиться: вы должны меня пропустить, — настаивает Писаревский.

Офицер отказывается: „Идите к комиссару, а я вас не пущу, кто бы вы ни были“.

Писаревский ищет меня и, найдя у полк. Кобылянского, повторяет свое заявление весьма взволнованно.

— Не всякому слуху верить, говорится в пословице, — отвечаю я ему. — Ваша проверка излишняя. Не могу исполнить вашего любопытства. А вот кстати и солдат здесь тот, что был сегодня утром в карауле, когда семья и бывший царь ходили в церковь.

Писаревский не знал, что ответить.

И вот в такой период Николаю II особенно захотелось прогуливаться за город. Меня крайне поражало непонимание положения дел со стороны свиты — кн. Долгорукова, Боткина и др. Они не переставали просить о том же в то время, когда прогулки их самих по городу вызвали негодование наших солдат, они уже предупредили меня, что, если Долгоруков не перестанет „шататься по городу, его побьют“...

Мое положение становилось чрезвычайно сложным и тяжелым... Единственная надежда, которая еще жила во мне, это — Учредительное Собрание, но и в нем я иногда сомневался, слишком оно запоздало. Всё же я ждал

созыва Учредительного Собрания и приготовил уже свое ему заявление, чтобы оно освободило меня от моей обязанности.

Началась предвыборная агитация в Учредительное Собрание. Тобольски обратились ко мне, чтобы я сделал доклад в Народном доме об Учредительном Собрании, где изложил бы программу. Мне пришлось делать доклады не только в Народном доме, но и в нашем отряде и в местном гарнизоне. Предвыборная агитация как будто на время отвлекла население от острой злобы в провинциях.

Прихожу как-то утром в губернаторский дом, чтобы передать полученные письма и журналы, одна из княжен меня спрашивает:

— Неужели правда, что Учредительное Собрание вышлет нас всех за границу.

— Откуда у вас такие сведения?

— В газетах пишут.

— Мало ли что пишут в газетах. Учредительное Собрание еще не создано, и никто не знает, как оно решит этот вопрос, — отвечаю я.

Княжна смутилась и чрез несколько минут вдруг заявляет: „Лучше пусть нас вышлют еще дальше куда-нибудь в Сибирь, но не за границу“.

Я посмотрел на княжну и невольно задал себе вопрос, что это значит.

— Вам не хочется уезжать из России.

— Лучше в России останемся. Пусть нас сошлют дальше в Сибирь...

Вы тоже выбраны в Учредительное Собрание?

— Да, — ответил я.

— И вы скоро поедете? Вы можете и не поехать. Кто вместо вас останется здесь?

Я ответил, что, если не пришлют заместителя, должен буду остаться, но употреблю все усилия, чтобы быть в Учредительном Собрании.

Не знаю почему, но семья Николая II очень не желала, чтобы я уезжал, — об этом мне не раз говорили фрейлины, Боткин и другие.

Собственно говоря с падением Временного Правительства моя официальная связь с Питером и вообще с Россией прекращалась. Тобольск существовал как бы сам по себе. Никакой переписки ни официальной, ни неофициальной с новой властью у меня не было.

Надежда моя на Учредительное Собрание — была единственная. С каким нетерпением приходилось ждать этого созыва.

Даже Николай II неоднократно спрашивал: „А скоро ли будет создано Учредительное Собрание?“

Я отвечал уклончиво, ибо сам не имел точных сведений... Да и кто тогда мог ответить на этот вопрос?

— Полагаю, что во всяком случае не позже начала января.

— Мы с Александрой Федоровной просим вас разрешить священнику отцу Алексею преподавать закон божий нашим младшим детям.

— Ведь с ними занимается сама Александра Федоровна.

— В настоящее время она не может, — возражает бывший царь: — кроме того отец Алексей, вероятно, более опытен и сведущ. Александра Федоровна

находит, что он был бы очень подходящим преподавателем закона божия. Почему бы вам не разрешить? Приходит же он сюда совершать службу.

По существу — я сознавал, что просьба самая невинная и почему бы не допустить. Но, помня всё происходящее кругом, я никак не мог удовлетворить просьбу бывшего царя, особенно не мог допустить отца Алексея. Насколько удалось присмотреться к нему, он оказался в высшей степени безтактен и несвободен от стяжательства. Это последнее его качество вызвало страшную зависть в дьяконе той же церкви. Он не раз просил меня допускать и его на вечернюю службу в губернаторский дом, чтобы иметь право участвовать в доходах за эту службу. За то, что Алексей служил всенощные в доме губернатора для бывш. царской семьи, он получал 15 руб. и брал себе, не делясь с причтом.

— Я человек бедный, многосемейный, — доказывал мне дьякон: пятнадцать рублей — для меня доход. Почему вы даете зарабатывать отцу Алексею, а мне нет? Надо быть справедливым...

— Вы, значит, желаете иметь доход, — спрашиваю я дьякона.

— Разумеется.

— Я полагаю, что с такими же претензиями могут ко мне обратиться и из других церквей г. Тобольска. Что же я им должен ответить? Вы понимаете всю нелепость вашей просьбы, даже претензии, — говорю дьякону. Но никакие доказательства не действуют. После этого я просто категорически отказываю ему.

Служитель церкви ушел очень недовольный, не отказавшись однако от своего намерения „иметь доход“...

И что же он придумал для достижения этой цели. Так как и священник Алексей остался недоволен моим отказом допустить его законоучителем в бывш. царской семье, то они составили заговор против меня. И вот что устроили. Во время молебна 6-го декабря, когда вся семья бывш. царя была в церкви, дьякон вдруг ни с того, ни с сего громогласно провозглашает многолетнее здравие „их величеств государя императора, государыни императрицы и т. д.“ и приводит всех присутствующих в крайнее изумление и возмущение, особенно некоторых из команды. Оно и понятно: никогда такое величание в Тобольске не допускалось и не совершалось. Так как это совершилось в самом конце молебна, я сейчас же подошел к дьякону и спросил: по чьему распоряжению он это сделал?

— Отца Алексея, — ответил тот.

Вызываю также священника, который в полуоблачении вышел ко мне из алтаря. Нас окружили возмущенные солдаты и любопытные свитские.

— Какое вы имели право давать такие распоряжения отцу дьякону? — говорю я священнику.

— А что же тут такого? — отвечает он как-то вызывающе.

Меня это крайне возмутило и даже испугало: возле меня стояли два солдата, сильно возбужденные и один даже грубо буркнул: „За косы его да вон из церкви“... „Оставьте“, — решительно остановил я его.

— Если так, отец Алексей, то знайте, что больше вы не будете служить для семьи бывшего царя, — сказал я священнику.

Тот что-то начал говорить в свое оправдание, но я уже не стал продолжать с ним разговор, ибо в церковь стала набираться посторонняя публика, начался какой-то говор, и дело могло кончиться величайшим скандалом, над попом мог совершиться самосуд. Хорошо, что в этот день в карауле был хороший взвод солдат, он сразу успокоился. Но инцидент этим не кончился.

Весть о происшедшем моментально облетела весь город и, попав в Рабочий клуб, превратилась здесь в величайшее событие. Тобольский Совет, который в то время соединился с городской управой, — вмешался в это дело по настоянию Писаревского, Кочаницкого и других. Живо была составлена следственная комиссия, в нее попали и городской голова, и председатель местного гарнизона. В тот же день начались допросы попа и дьякона, которые единогласно показали, что за всенощной в губернаторском доме всегда бывший царь и царица величались „их величествами“, что я, комиссар, никогда не протестовал и не запрещал попу это делать. Вот почему в день „тезоименитства“ Николай дьякон провозгласил их величества. По городу уже пошла гулять эта ложь. Пригласили меня на допрос. О. Алексей, улыбаясь, протягивает мне руку, как ни в чем не бывало.

— Я вам руки не подам: вы священник, а так беззастенчиво лжете и клеветеете, отец Алексей, — говорю я ему в присутствии всех: — вы утверждаете, что величание их величествами совершалось всякий раз, когда совершалась всенощная. В неправде вас может уличить весь хор, весь отряд, если вашей совести мало. — А вы, обращаясь к городскому голове и председателю гарнизона, могли бы меня и не допрашивать, а опросить хотя бы солдат нашего отряда, чтобы убедиться в нелепости и лживости этих обвинений.

Священник посмотрел на меня, дьякон тоже как-то тупо, равнодушно. Последний, впрочем, сейчас же, как только я ушел, сознался, что оклеветал меня.

— Зачем же вы это сделали? — спросил его председатель гарнизона: — ведь вы служитель церкви, Христа!

— Мне так посоветовал отец Алексей, — ответил дьякон.

Призывают попа. И тот, видя, что дьякон сознался, тоже не выдержал и заявил вместе с дьяконом, что этим способом они хотели сконнать меня, потому что я не дал им увеличить свои доходы службою в семье бывш. царя.

В результате всей этой истории наши солдаты чуть чуть не избили дурного попа. Хорошо, что своевременно удалось его выпроводить в Ивановский монастырь, а на его место назначить другого для совершения службы в бывшей царской семье.

Я покидаю пост комиссара.

Совершился разгон Учредительного Собрания. Между тем как я оставался в Тобольске, ожидая из Питера делегации, которая была отправлена

в Учредительное Собрание с моим заявлением. Делегация возвратилась, но с инструкцией местному совету о ликвидации всех учреждений и организаций Временного Правительства. Говорили, что с делегатами Совет Народных Комиссаров собирался отправить мне заместителя, но, не желая вмешиваться в дела Омского Совета, он предоставил решить этот вопрос Омскому облакому, приказав переменить весь командный состав и комитет нашего отряда посредством переыборов.

Семья Николая, очевидно, знала обо всем этом. На смену выбывших старых солдат в отряд были присланы новые, прибывшие из Петрограда. Раздоры в отряде приняли невероятный характер. Мои противники старались выставить причиною всего этого меня, как комиссара, который не устанавливает никаких отношений с центром.

Мои сторонники, солдаты отряда, приходили меня уговаривать, уверяя, что, если я соглашусь уступить, то отряд успокоится.

О своем намерении уйти я сообщил прежде всего своему помощнику Вл. А. Никольскому, этому смелому и бескорыстному другу. Затем полковнику Ев. Ст. Кобылинскому. И 24 января 1918 г. подал следующее заявление комитету Отряда особого назначения:

В комитет Отряда особого назначения комиссара В. С. Панкратова. Заявление.

„В виду того, что за последнее время в Отряде особого назначения наблюдается между ротами трение, вызываемое моим присутствием в Отряде, как комиссара, назначенного еще в августе 1917 г. Временным Правительством, и не желая углублять этого трения, я, — в интересах дела общегосударственной важности, — слагаю с себя полномочия и прошу выдать мне письменное подтверждение основательности моей мотивировки.

Хотелось бы верить, что с моим уходом дальнейшее обострение между ротами Отряда прекратится, и Отряд выполнит свой долг перед родиной. В. Панкратов. Январь 24 дня 1918 г. Тобольск“.

В ответ на это заявление мне было выдано следующее удостоверение:

„Удостоверение. Дано сие от отрядного комитета Отряда особого назначения комиссару по охране бывшего царя и его семьи Василию Семеновичу Панкратову в том, что он сложил свои полномочия в виду того, что его пребывание в отряде вызывает среди солдат трения, и в том, что мотивы сложения полномочий комитетом признаны правильными“. Председатель комитета (подпись Кирсева) Секретарь (подпись Бобкова). 26 января 1918 г. Тобольск. Печать отрядного комитета.

24 января 1918 года я последний раз видел бывшего царя и его семью, но в Тобольске прожил до 26 февраля. С моим уходом за этот короткий промежуток моего пребывания в Тобольске произошли значительные перемены в условиях жизни царской семьи. Об их судьбе я узнал уже в Чите, куда мы с помощником уехали из Тобольска в начале марта.

В. Паниратов.

Петроградская контр-разведка накануне революции.

Из воспоминаний сотрудника ¹⁾.

Организация контр-разведывательного отделения.

В виду того, что деятельность к.-р. отделения должна протекать в полной тайне, к.-р. отделение при штабе Петроградского военного округа существовало при старом режиме как учреждение вполне самостоятельное, никем не контролируемое, ни перед кем не ответственное. В виду же того, что Петроград представлял собой всё время центр военных программ и планов, к.-р. отделение было облечено властью, превосходящей во много раз власть отдельных министров. Эта власть, будучи поручена людям малоопытным, неподготовленным и даже не получившим высшего образования, заставляла руководителей контр-разведки постоянно делать ошибки, приниматься не за свои дела, подчиняться указаниям нежелательных в разведке элементов, допускать злоупотребления отдельными служащими и т. п. Петроградское к.-р. отделение, например, ведало дела об арестах „политически неблагонадежных лиц“, вело расследование о мародерах и спекуляциях с вагонами, реквизировало муку и сахар, разыскивало картины агитационного свойства и т. п., всё это заставляло руководителей к.-р. отделения искать не германских агентов, которыми кишел Петроград, но которые оставались „неуловимыми“, а конкурировать с департаментом полиции, исполнять „секретные“ поручения высокопоставленных дам. Опьяненные властью служащие к.-р. властно „приказывали“ не только частным лицам, особенно евреям, но даже обществам, правительственным учреждениям и т. п.; бывали случаи, что вызывали телефонограммой „всех живущих в Петрограде Рабиновичей“, т.-е. свыше 10 человек, и заставляли их просидеть в очень жуткой обстановке 5-6 часов для того только, чтобы узнать, не вели ли они дел с арестованным мароде-

¹⁾ Печатаемые записки написаны в апреле 1917 года одним из сотрудников контр-разведывательного отделения. Записки написаны по добровольному побуждению автора. Автор до контр-разведки работал в качестве „секретного сотрудника“ в петроградском охранном отделении. Воспоминания о его секретном сотрудничестве, представляющие своеобразный человеческий документ, будут напечатаны в следующих номерах „Былого“.

ром, у которого в записной книжке нашлась надпись „повидать Рабиновича“. Акционерным компаниям, торговым товариществам, управлениям фабрик и заводов предписывались самые невероятные меры вплоть до назначения к ним чиновников для „ограждения от возможного немецкого влияния“, а на самом деле для устройства какого-нибудь полезного или просто знакомого человека. Вследствие этого к.-р. отделение под управлением капитана С. А. Соколова стало всемогущим органом сыска: в отделение обращались с жалобами на неверность жен и с просьбами арестовать неверных мужей; жаловались на непочитание генеральского звания, на „нахальство“ мародерок, одевающихся „лучше офицерских жен“, на продажу спирта и вина, на „дерзость проституток“ и т. п. К.-р. отделение охватило все стороны столичной жизни, карая и милуя по своему усмотрению, угрожая многим сотням неповинных обывателей обвинениями в „германофильстве“ и в „прохождении по делам к.-р.“ Было ли время для розыска шпионов? Не было, так как вся контр-разведка работала по месяцам над банковскими делами (Рубинштейна, Ланского, Юнкера и др.), над организацией забастовки на Путиловском и Обуховском заводах, над расследованием дела о ворах, переодетых в форму прапорщиков. Да если бы и осталось время на розыск шпионов, то чины к.-р. совершенно не были подготовлены к этой работе: ни у начальства, ни у подчиненных не было совершенно опыта и знаний в к.-р. деле. В дальнейшем я укажу, как и что могло сделать к.-р. отделение при тех условиях и при том составе, в каком оно было за время моей службы, т.-е. с марта по август 1916 г.; замечу одно, что, хотя речь моя будет идти об отделении кап. С. А. Соколова, однако всё это можно отнести и ко второму отделению (на Знаменской), где работа велась еще хуже, где было полное „безудье“; про то отделение позже (при полк. Якубове) говорили же сами служащие: „пока мы на Знаменской, немцы могут не бояться контр-разведки“. И действительно, в то время как каждый еврей-коммерсант попадал по несколько раз на допросы в отделение, где допрашивался с угрозами и издевательством, немцы совершенно ускользали; сколько мне известно, само по себе к.-р. отделение совсем не нашло в Петрограде германских агентов. Перехожу к подробному рассмотрению к.-р. и ее работы.

Начальник к.-р. отделения.

Начальником к.-р. отделения при мне был капитан Сергей Алексеевич Соколов. Очень воспитанный, любезный, изящный офицер, бывший учитель кого-то из великих князей, обладающий прекрасными знакомствами „в сферах“, в высшей степени заботливый о подчиненных — Соколов всё же совершенно не годился для того ответственного поста, который он занимал. Будучи до того воспитателем в кадетском корпусе, имея склонность к писательству (сочинил оперетку), Соколов меньше всего знал розыск шпионов и в этом отношении всецело поддавался вредному влиянию окружающих его лиц. Мягкий до бесконечности, безхарактерный, жизнерадостный Соколов был „хорошим парнем“, „Сережей“, как его звали почти в глаза подчиненные. Не чуждый увлече-

ниям женским полом, любящий выпить в веселой компании, Соколов был очень популярен в „яхт-клубе“, где его боготворила партия, называемая в газетах „немецкой“. Ничего не смысли в рабочем движении, чуждый социальных и экономических наук, Соколов тем не менее пытался вмешаться в рабочую жизнь и тем вызвал то явление, которое, по подобию московской „зубатовщины“, получило название „соколовщины“ и вызвало много лишних волнений на заводах Петроградского района. Не имея опыта, Соколов старательно копировал все известные ему учреждения полицейского сыска: завел „сотрудников“, „филеров“, „собственные сообщения с фабрик“ и пр. вплоть до фабрично-заводского отделения, которое должно было быть чем-то вроде примирительных камер между рабочими и фабрикантами (предприятий, работающих на оборону) и стало филиальным отделением охраны, вмешивавшимся в политическую и экономическую борьбу. Занятый всевозможными делами, Соколов, конечно, не мог руководить всем сам и полагался на подчиненных, стоявших в нравственном отношении очень низко: в результате по всему Петрограду пошли сплетни и слухи о взятках, берущихся с „мародеров“ в к.-р. отделении; многочисленные допросы, аресты и освобождения „без последствий“ терроризовали население, видевшее в учреждении „на Мойке“ застенки. Представляя начальнику округа тысячи докладов по разным отраслям столичной жизни, Соколов производил впечатление „делового офицера“, но почти все доклады его были основаны на чужих мыслях и не касались нужд государства. В июле, напр., все доклады касались пожаров на заводах „от невыясненных причин“; при чем причины так и не были выяснены, хотя молва о пожарах охватила всё петроградское общество. Масса дел начинались и оканчивалась на половине в виду „недостатка средств“ или (чаще всего) в виду того, что начальник штаба округа (ген. Тяжельников) „охладел к этому вопросу“. Не смея проявить своей инициативы вопреки указаниям своих покровителей, Соколов превратился в марионетку, танцующую в том направлении, в каком дергали нитку: сегодня он расследовал операцию Распутина с сахаром, завтра составлял списки заводских больничных касс, а на третий день укладывал капитана Сазонова в нелегальной продаже коньяку.

Старшие помощники капитана Соколова.

Несмотря на все свои недостатки, кап. Соколов всё же был в нравственном отношении человеком прекрасным в сравнении с теми лицами, которых он избрал себе в помощники и которые являли собой смесь Хлестаковых и Держиморд. Отличаясь сердечностью к прежним сослуживцам, Соколов взял к себе двух воспитателей при корпусе, капитанов Беликова и Соболева. Конечно, странно, что только воспитатели могли годиться для службы в разведке, где требовались несколько иные сведения, чем в кадетском корпусе, но еще страннее то, что Соболев являлся на службу раз в месяц — 20-го числа за получением денег и вновь исчезал, оставляя в недоумении всю к.-р. легкостью своей службы. Беликов — очень порядочный человек, но крайне непригодный к работе: он не мог составить ни одного протокола без пропусков, а расследо-

вания его возбуждали возгласы отчаяния у Соколова. Военный чиновник Н. П. Черногоров, доносивший на всех чиновников, имел какое-то уголовное прошлое, но держался очень прочно, так как „знал за Соколовым одну вещь“, вследствие чего тот его „боялся“. Совершенно безличен и „очень глуп“ (по определению самого кап. Соколова) юрнет Розе — милый рассказчик неприличных анекдотов, ухажер и „не дурак выпить“. Все эти лица, конечно, не имели никакого понятия о розыске немцев и о способе германской пропаганды: вся их борьба с германскими шпионами ограничивалась розыском немецких вывесок, немецких объявлений на ресторанных „меню“ и запоминанием лиц с немецкими фамилиями, встречаемых ими в гостях или в ресторанах. Таковы были „офицеры“.

Еще хуже „гражданские чиновники“: правда, они способнее, но зато их нравственность очень низка, и они не брезговали никакими средствами для своей личной карьеры. Исключение составлял И. Н. Колдаев — судебный следователь, в высшей степени корректный, честных принципов, прямолинейный, но он был еле терпим в к.-р.; он один из высшего состава к.-р. приносил пользу, работая дни и ночи, хотя в большинстве случаев ему приходилось работать над предметами, далекими от задачи к.-р. — бороться с германским влиянием. Имея высшее образование, получая большой оклад по окружному суду, Колдаев резко отличался от развратной, бедеденежной, необразованной толпы своих сослуживцев. О других „высших“ чинах можно сказать мало: присяжный поверенный Иванеев — выживший из ума старик, забывающий, кого и зачем вызывал, проводил всё время над „Всем Петроградом“, за что получал 300 рублей в мес. Чиновники Бек, Скиндер и Шмидт (или Шульц — не помню) не пользовались особым доверием Соколова в виду своего явно немецкого происхождения и играли роль свидетелей при допросах и обысках (особенно страшен третий — он принят в к.-р. по письму Фредерикса, устранившего всюду своих немецких знакомых на теплые места; рекомендация смущала Соколова, но он побоялся отказать в приеме). Все эта господа до войны понятия о к.-р. не имели и поступили туда исключительно с целью укрыться от военной службы, занимались они доносами на знакомых немцев, ловили мародеров (под коими они подразумевали почти исключительно евреев-комиссионеров), занимались сплетнями и получали хорошие оклады, но эта публика, хотя и была бесполезна для дела к.-р., всё же не была опасна для государственной жизни: политикой они не занимались, так как были для того слишком тупы и неразвиты; гораздо хуже те лица, которые вели к.-р. отделение на путь провокации и были злыми гениями всего к.-р. отделения. Из высших чинов был таким П. В. Гусев, о котором стоит поговорить подробно.

Заведующий заводским делопроизводством.

Заведывал делами заводов и фабрик — Петр Васильевич Гусев. Это человек без высшего образования, но прошедший на своем веку огонь и воду; его карьера необычайна: бывший служащий страхового общества, Гусев при Столыпине попадает в „руссификаторы“ Финляндии, становится редактором

„Финляндской Газеты“ и руководит частью русского общественного мнения в Финляндии; привыкнув широко жить и кутить, Гусев позже нигде не может устроиться, пока не попадает в к.-р. VI армии, где близко сходится на попойках с кап. Соколовым; уволенный из VI армии, Гусев поступает к Соколову и начинает оказывать на него демоническое влияние. Умея прекрасно писать (чего лишен кап. Соколов), обладая хитростью, Гусев понемногу подчинил себе слабохарактерного Соколова: тот дал ему в полное и бесконтрольное ведение заводское делопроизводство, подчинив таким образом честолюбивому Гусеву всё распоряжение делами о заводах Петроградского округа. И Гусев скоро показал себя: враг народа и всякой политической свободы, Гусев организовал через „сотрудников“ сыск за политическим и экономическим движением. К.-р. стала вмешиваться в экономические забастовки: напр., один из „сотрудников“, близкий к булочной Сотова (в Лесном), убедил Гусева вмешаться в экономическую стачку булочников этой булочной; Гусев повлиял на Соколова, а тот на Тяжельникова, в результате чего несколько человек рабочих были арестованы и высланы по распоряжению начальника округа, как будто бы булочная есть предприятие, работающее на оборону. Подобный успех заставил к.-р. „убирать“ многих лиц, часто не проверив их виновности: одна работница была выслана за то, что была... против забастовки; оказалось, что на нее донес „сотрудник“ из личной мести, но прошло не меньше 3-х месяцев, прежде чем ее вернули. Гусев вербовал низших служащих для к.-р., при чем не брезговал „презентами“ в виде вина, закусок и пр.; поэтому было как-то странно, что служащими к.-р. оказались не инвалиды, а бывшие лакеи из ряда гостиниц „с вином“. Хорошо изучив слабые стороны Соколова, Гусев ухитрился не бывать по неделям на службе, проводя время „в собирании свидетелей“ по трактирам в обществе девиц легкого поведения, трепетавших „секретной“ бумаги, „чиновника к.-р. отделения“. Гусев же организовал квартиру для попок под видом конспиративной (о ней ниже). Благодаря своему влиянию Гусев умел обходить серьезные вопросы: ни один вопрос о внешней безопасности предприятий, работающих на оборону, не обсуждался в к.-р., никакие меры не принимались против гермаофильской пропаганды и т. д. Вместо этого он старался выказать свое усердие созданием кадров „секретных сотрудников“, руководствуясь при этом принципом „числом поболее — ценою подешевле“. Обладая, как „литератор“, довольно острым пером, Гусев не переставал писать по несколько „докладов“ ежедневно, чем убедил кап. Соколова в своем рвении к службе.

Чинovníки к.-р. отделения.

Остальные чиновники к.-р. отделения были набраны случайно: одни попали по протекции, другие за взятку, но и те и другие не знали к.-р. дела и за время своей службы ничему не научились, так как были приставлены совершенно к другой работе. Делопроизводство вели Г. М. Захарьяш и П. М. Королев. Первый — зауряд-военный чиновник из бывших городских придворной полиции Спиридовича; туп и нахален до невероятности. Вслед-

ствие своей малообразованности он не мог составлять сам отчетов и отдавал их „на проверку“ другим чиновникам. Королев — аккуратный до педантизма, единственный непьющий в к.-р., не был любим за доносы и ябеды; однако он был очень старателен, хотя плохо грамотен; работоспособность его была огромна; он просиживал лишние часы только для того, чтобы получить ласковое слово Соколова. Другие „чиновники“: Павлов, бывший до войны часовщиком у Буре, совершенно малограмотный и неразвитой до невероятности; Иодко, банковский служащий, про которого было известно, что жена его передавала германскому агенту какие-то бумаги, вследствие чего его долго не хотели оставлять в к.-р. отделении; бывший пристав (фамилию забыл) — человек, ничего не делавший и ходивший главным образом за справками; А. Сулимов — бывший куплетист и гармонист, очень добрый человек и могущий работать, но втиснутый в канцелярию по какому-то недоразумению. Трубочкин — переписчик, чахоточный человек, которого, к чести Соколова, держали из сострадания; И. Н. Васьков — бывший служащий в конторе, довольно исполнительный и развитой, но попавший в к.-р. по недоразумению; остальные — мелкота, бывшая „на побегушках“, их посылали „за извозчиком“, заставляли привозить на ломовом арестованные вещи, посылали „последить“ за бан-кирами и пр.

Таков контингент служащих отделения. Все они, от начальника до последнего служащего, были не на своем месте: лишённые даже среднего образования, вышедшие из городских и писарей, они поражали узостью интересов, отсутствием идейных побуждений; страстью к ничегонеделанию; сконцентрированные в 3-х комнатах канцелярии, эти 20 чиновников сами подчас удивлялись: „за что нас, серых чертей, держат“ (слова Павлова), и тот же вопрос возникал у каждого свежего человека, попавшего в эту среду, где больше верили бумаге, чем живому человеку, где ни одна мысль не шла дальше прибавок и 20-го числа. Эта канцелярия была болотом, из которого никому нельзя было выбраться; связанные военной службой, чиновники старались дружно оттолкнуть всякое новое веяние, всякую попытку так или иначе создать в к.-р. действительное дело. Долго и тщетно просил я у кап. Соколова живого дела: мне дали составление марточек — списка всех заводов Петрограда, дали сводку сведений, текущих событий на заводах, дали „списки“ прибывающих из-за границы шведов и пр. Напрасно я просил дать дело, где бы я мог бороться со шпионами, такого дела мне не могли дать, так как его не было в к.-р. Когда же я быстро исполнял работу и просил новой, меня с усмешкой посылали „погулять по Невскому“. И это было в то время, когда в городе ежедневно горели заводы, взрывались орудия и котлы, когда германские агенты были на каждом шагу. На расследование посылались офицеры, ни разу ничего не выяснившие, равнодушно писавшие мертвые протоколы полицейского характера. В минуту откровенности Гусев мне сказал: „Если бы наша работа была опасна немцам, разве они дали бы существовать. Они уничтожили бы нас поодиночке“. Немцы, конечно, знали, что к.-р. для них не опасна, особенно когда среди самих служащих к.-р.

*

ходили многочисленные слухи о немецких агентах, наблюдающих „сверху“ за работой к.-р. и дающих в этом направлении какие-то указания руководителям.

Сотрудники к.-р. отделения.

Все сведения, с которыми оперировало к.-р. отделение, шли из 3-х источников: 1) это были официальные данные из полиции, других к.-р. отделений, от жандармерии и т. п.; 2) донесения частных лиц; 3) сведения от „сотрудников“. Но сведения первого рода посылались и в штаб, так что основываться на одних их было нельзя. Доносы частных лиц были, по большей части, анонимны и содержали злостные обвинения из личной мести, часто очень нелепые (напр., один большой донос обвинял в принадлежности к „шайке германских анархистов“ братьев Суворинных); кроме того доносы были случайны и часто касались лиц, о которых нельзя было проводить расследование (Распутин, некоторых министров и пр.), поэтому к.-р. должна была черпать главные данные из самого мутного источника — от „секретных сотрудников“. Сведений поступало не мало, так как при мне было 32 сотрудника. Но что это были за сведения? Прежде всего к.-р. отделение могло платить очень немного, вследствие этого к нему попадали лица, лишь очень нуждающиеся в деньгах или совершившие преступление и нуждавшиеся в укрывательстве. Жалованье было от 15 рубл. до 60 в месяц, при чем большинство получало 15 и 30 р. и лишь очень немногие 45 и 60. Состав сотрудников был разнообразен: большинство — рабочие и работницы, меньшинство — конторщики, студенты; отличительным признаком донесений была полная безграмотность (одна работница не умела даже подписать своей фамилии при получении жалованья); иногда бывало, что никто не был в состоянии разобрать какой-нибудь подобный „манускрипт“. Сведения, сообщаемые сотрудниками, редко касались вопроса о германской пропаганде; однако это были ничем не обоснованные обвинения в германофильстве инженеров и мастеров, сплетни „про немоз“ на базарах, слухи о забастовках. Часто донесения по несколько месяцев гласили одно: „на заводе всё спокойно“, пока не происходило взрыва или пожара на заводе, после чего к.-р. отделение делало неприятное открытие, что сотрудник уже месяца 4 — 5 не работает на заводе, а служит в трактире, имеющем мало общего с предприятиями, работающими на оборону. Еще хуже было, что часто сотрудники, боясь потерять „место“, доносили о том, чего не было: один описал погром лавки на Путиловском заводе, о чем был сделан доклад, а после обнаружилось, что ничего подобного не было. Были случаи и злостных доносов (о них ниже).

Контр-разведка „за работой“.

Не обладая средствами к раскрытию германского шпионажа, не имея для этого ни способного руководителя, ни опытных агентов, ни дельных „сотрудников“, к.-р. отделение было вынуждено заниматься делами, не имеющими

абсолютно никакого отношения к раскрытию германского влияния. Исполняя „секретные поручения“ разных властей, к.-р. скоро стала конкурировать с департаментом полиции и даже с сыскальной полицией, исполняя очень „щекотливые“ поручения отдельных представителей старого правительства. Круг деятельности к.-р. (напр., в июле 1916 г.) был очень обширен и всецело поглощал все наличные силы к.-р.: кап. Соколов не брезговал никаким поручением, данным свыше, и занимал служащих работой, которая ни в каком случае не должна была исполняться за счет сумм, отпускаемых на борьбу с шпионажем.

Долгое время производилось расследование о кап. Сазонове (владельце ресторанов „Турист“), обвиняемом... в продаже вина! Посылались агенты и чиновники „наблюдать“ и чуть ли не обнижайте посетителей ресторана, кому нужна была эта „работа“? Ведь Сазонов торговал вином открыто, и смешно было тратить нужное время на расследование ссоры Сазонова с каким-то аптекарем, по жалобе которого и возникло дело: в это же самое время никого не посылали на расследование огромных пожаров и взрывов на заводах, работающих на оборону.

Длинной вереницей идет ряд дел о „мародерах“: под эту категорию заносились не только крупные банковские и заводские деятели, но и разного рода мелкие комиссионеры и даже просто лавочники. По неделям велись расследования о „тайной“ продаже мяса, булок, дров и пр.: вызывались свидетелями десятки лиц, которые просиживали целые дни в отделении, ожидая очереди (с чужим временем не церемонились вообще: вызванных с Обуховского завода свидетелями рабочих, напр., продержали на кухне за неимением другого места с 10 ч. утра до 5 ч. дня!), исписывались „томи“ дел (иногда по 100 стр. каждое), создавалось „громкое“ дело, кончавшееся обычно наложением штрафа по приказанию начальника округа. Малое мародерство было сильно развито в Петрограде, это верно, но почему оно преследовалось организацией, созданной для раскрытия шпионажа, непонятно. Мясник Олисов, продававший телятину, полученную по рецепту доктора с бойни, совершал, конечно, преступление, но еще большее преступление совершали те, кто заставлял тратить на расследование подобных дел время нескольких человек: агенты вместо розыска подозрительных лиц проводили целые дни, стараясь купить запретное мясо; на это же посылались „сотрудники“; чиновники целые недели допрашивали по этому „делу“ свидетелей и т. д. Если кому-нибудь нужны были эти „дела“, то только агентам Германии, которым было важно, чтобы к.-р. работала не по раскрытию шпионажа. Вообще борьба с мародерством торговцев велась в Петрограде усиленно: боролся градоначальник, приставы и комитеты по продовольствию, охранная и сыскальная полиция, наконец кап. Соколов. А мародерство всё росло, так как сущность борьбы сводилась не к раскрытию преступления, а к созданию особого „дела“, показывающего рвение данного чина. Вся „борьба“ сводилась в конце концов к тому, что попадались лишь „глупые“, не умевшие дать в нужный момент взятку; настоящие хищники ускользали от преследования и лишь жаловались

в своем углу на... мародерство властей, дравших с них три шкуры. Взятничество полиции всем известно, менее известно взятничество в гражданском отделении штаба Петр. округа: однако, многие лица рассказывали, что если градоначальник (Оболенский) брал 300 рубл., то чиновники Плеве (напр., Гонек) не соглашались брать менее 500 рубл.; младшие агенты кап. Соколова брали, конечно, немного, так как многого им и не дали бы; сам Соколов вряд ли „сумел“ бы получить с кого-нибудь взятку...

Еще печальнее обстояли дела, когда на к.-р. были возложены расследования не о мелких мародерах, а о крупных, с которыми не могли бороться полицейские чины, быстро поступившие на службу к этим же мародерам. К.-р. обнаружила свою полную неспособность расследовать какое бы то ни было преступление: дело Рубинштейна, Юнкера, Ланского и др. показало, что есть преступления, для борьбы с которыми нужны не только искреннее желание и честность, но и огромные способности. Получив от Резанова важное поручение вести всю подготовку к аресту Рубинштейна и К°, Соколов был уверен, что он и Резанов действуют вполне самостоятельно и спасут Россию от больших бедствий, за что „благодарное“ правительство должно было дать Резанову пост директора департамента полиции, а Соколову орден и назначение начальником военно-цензурного отделения. В своей наивности Соколов не видел, что дело Рубинштейна инсценировано и инсценировано кучкой банкиров, не менее преступных, чем Рубинштейн, что у Резанова будут на помочах Манус и его газеты („Новое Время“, „Вечернее Время“ и „Маленькая Газета“). Делом Рубинштейна к.-р. была занята несколько месяцев, но ничего не раскрыла: Рубинштейн, державший на жалованьи рад чинов департамента полиции, скоро купил себе таких союзников, против которых ничего не мог поделать Резанов. Против Резанова и Соколова поднялась буря: департамент полиции, увидевший в этом деле опасную конкуренцию к.-р. отделения, не только не способствовал выяснению дела, но всячески лутал его, стремясь показать промахи Соколова и Резанова всему Петрограду. А они делали этих „промахов“ столько, что даже инспираторы дела смутились: союзники Рубинштейна открыто говорили о тех взятках, которые были даны банками „расследователям“ дела. Благодаря этому Резанов и Соколов очень испортили свою репутацию, хотя вряд ли Соколов имел материальную выгоду от дела (было известно о попытке Соколова получить с банковского дома Юнкер 50 тысяч). Когда же Резанов превратил дело о банках-мародерах в поход против еврейства, он и Соколов потеряли последнее доверие к себе со стороны общества. Грубость допросов свидетелей, оскорбление национального чувства допрашиваемых, часто издевательства и насмешки характеризовали все расследования к.-р.; на еврейство посыпались из к.-р. новые и новые обвинения, лживость которых была ясна и которые шли из очень темных источников. После дела Рубинштейна Соколову пришлось оставить банковские дела, перешедшие в комиссию ген. Батюшина: все его расследования, поглотившие массу денег (по вечерам в к.-р. отделении работали банковские чиновники по разбору банковских книг, так как чинов-

ники к.-р. ничего в этих книгах не понимали), окончились ничем. Взявшись за незнакомое дело, Соколов его лишь испортил, дав лишние поводы к недовольству общества и запутав себя в сети интриг, созданных борьбой министров: совершенно негодный к роли сыщика Соколов бессознательно принес делом Рубинштейна огромный вред России: мародеры и спекулянты, почуввав опасность, стали быстро объединяться и покупать себе „защитников“ в сферах; началась какая-то погоня за приобретением связей среди дворовых служащих, министров, видных чиновников и пр.; вокруг Соколова появились лица, купленные банкирами и следившие за каждым шагом Соколова...

Провал дела Рубинштейна показал, что Соколов может быть героем лишь на „мелкие дела“, которые продолжают заполнять к.-р. отделение. Так, Штурмер, не доверяющий „такту“ полиции, поручает Соколову „щекотливое“ дело: изъять из чьих-то частных рук картину, изображающую кого-то из предков царя в очень незавидном положении и предназначенную к вывозу за границу. Соколов делает ночью обыск, находит и реквизирует картину, за что получает особую признательность Штурмера. Борется и с „германофильством“: не умея понять подлинных шпионов, Соколов усиленно боролся против немецких вывесок и немецких фамилий; в то время как шпионы разгуливали необнаруженными по улицам столицы, чиновники к.-р. вели целые расследования по поводу существования вывески „венской мебели“, старого объявления одной фирмы „о собственном представителе в Берлине“. Скольким неприятностям подвергались евреи с немецкими фамилиями, трудно даже перечислить: занесенные в „списки“ (о них позже) эти люди не понимали даже, почему им не дают нигде устроиться, не догадываясь, что единственная причина — одинаковая фамилия с каким-нибудь германским агентом, который, конечно, никогда бы не был так глуп, чтобы приехать в Петроград под собственной фамилией: из-за одного мародера Рабиновича брались под подозрение все Рабиновичи (а их в столице несколько десятков)! Много страдали и шведы: в каждом инженерере-мастере шведе видели шпиона, а случайно подслушанные слова против русского правительства влекли арест и высылку из России, хотя бы высылаемый был незаменимым специалистом в своем деле. Немецкая фамилия и политическая неблагонадежность, нелюбовь к милитаризму, сожаление о кровопролитиях и пр. — всё было причиной для того, чтобы попасть под подозрение к.-р.; конечно, германским агентам было не трудно остерегаться и вести свое дело под флагом патриотизма и полной лояльности.

Не имея опытных агентов, Соколов должен был больше всего оперировать с тем случайным материалом, который ему в изобилии доставляли доносы, переполнявшие к.-р. отделение; доносили все — от горничной из чайной до министра и обо всем — от „разбойников анархистов бр. Суворовых“ до поведения „чертей“ в запертой квартире. Расследование доносов отнимало массу времени и почти всегда оканчивалось однообразно: „донос не заслуживает внимания“. Расследования всё же сшивались в „дела“, и лица, упомянутые в них, попа-

дали в списки „лиц, проходивших по делам к.-р.“ Больше всего, конечно, было доносов о „подозрительных лицах“: „Биржевка“ и „Вечернее Время“ на своих столбах так культивировали шпиономанию, что почти всякий грамотный человек считал долгом сообщать, кого он считает шпионом или германофилом: обвиняли в шпионаже и мародерстве министра Григорьянча, Суворинных, Путилова, почти всех начальников заводов, работающих на оборону, всех генералов с немецкими фамилиями и пр. Фантазия обывателей работала невероятно: о радиотелеграфах, подготовке взрывов и пожаров сообщали ежедневно, что по проверке ни разу не подтверждалось. Но кроме „невинных“ доносов, вызванных чтением статей Резанова, бывали доносы злостные: напр., группа морских офицеров за своими подписями утверждала, что хозяин одного завода, работающего снаряды, ведет германскую пропаганду и старается утвердить в сознании рабочих мысль о победе Германии; по расследовании оказалось, что офицер, подавший донос, старался выжить хозяина для того, чтобы завод перешел в руки управляющего, женатого на сестре офицера; совершенно однороден донос на Энъянкова, его компаньона по конторе, который, желая завладеть технической конторой, неоднократно обвинял Энъянкова в германофильстве, вывозе металлов за границу и пр.

Ужасен неоднократно сделанный донос на инвалида Якубовича, вернувшегося из плена: неизвестное лицо следило за его жизнью и сообщало, что Якубович — отпущен из плена для того, чтобы „шпионить“, что он вовсе не инвалид, так как поступил на завод, где получает свыше 100 рубл.; кончилось тем, что начальник штаба велел обратить особое внимание на донос (ведь Якубович — еврей, т.-е. уже тем самым подозрителен) и не ограничиться негласным расследованием; но даже офицеры к.-р. почувствовали стыд, когда вызвали в 4-й этаж Якубовича: он не имел ног! Все доносы, кроме явно нелепых (жалоба, напр., на измену жены), служили предметом особых докладов в штаб (вообще Соколов засыпал штаб докладами, посылая в день по 8-10 докладов); сколько уходило времени на пустяки, видно из того, что несколько раз были устроены расследования с участием чинов наружной полиции по поводу подземных стуков на Выборгской стороне; неоднократно туда были посылаемы на дежурства агенты, дежурили по ночам чиновники и пр.; оказалось, что стук объясняется... работой станков на соседней фабрике...

Таков был круг деятельности учреждения, поставленного в центре борьбы с германским шпионажем: этот круг был так обширен, что охватывал все стороны жизни, оставляя на расследование шпионажа очень немного времени и людей. Еще интереснее посмотреть, как работал Соколов и к.-р. Отсутствие юридических знаний, легкомыслие, узкий политический кругозор, прислуживанье к „сферам“ показывает, что из Соколова никогда не мог бы выработаться крупный борец против шпионажа: поэтому немцы считали вполне безвредным существование к.-р. отделения в том виде, в каком оно существовало с самого начала до наших дней. Однако методы расследования были настолько характерны, что приходится остановиться на них подробнее. Соколов считал, что

он должен повиноваться начальству беспрекословно, если начальство прикажет что-нибудь узнать, он должен это узнать; благодаря этому расследование свелось к запугиванию допрашиваемых, к ложным фактам, к угрозам „выслать в 24 часа“, „повесить“ и пр. Ясно, что испуганный обыватель, вызванный по приказу Соколова одновременно несколькими повестками (по числу входов в квартиру) наружной полицией с запрещением говорить, куда его вызывают, трясся на допросе, как лист; бывали случаи, что евреи, напуганные таинственностью вызова, принимали квартиру на Мойке за притон, куда их заманивали с целью ограбить, а чиновников (в штатском) за жуликов. Не раз на допросах с допрашиваемыми делалось дурно. Эту систему расследований лучше всего характеризует случай, бывший в начале 1916 года: военной цензурой была задержана телеграмма (кажется, о кожах), где было написано — „товар не высылайте, здесь реквизируют“; тогда Соколов посылает телеграмму в таком виде: „товар высылайте, накладную Фонтанка 103 Соколову“. Товар был получен и реквизирован, отправитель телеграммы, как мародер, арестован и покончил с жизнью в тюрьме; Соколов восхищался своей выдумкой и „новым методом борьбы“ с мародерами. Недоверчивость к людям, свойственная вообще сыщикам, была развита в Соколове лишь по отношению к штатским, с военными он был доверчивее. Эта недоверчивость заставляла его искать шпионов там, где работали на оборону невоенные. Неопытность, незнание политических условий жизни, преклонение перед инструкциями начальства привели Соколова к вмешательству в рабочее движение, и только случайность не дала „Соколовщине“ превратиться в новую „Зубатовщину“. Совершенно чуждый социальным и экономическим вопросам, выдавший в рабочих лишь толпу укравшихся от военной службы „лентяев“, оценивающий политические программы с точки зрения гвардейского офицера. Соколов вмешался в конфликты труда и капитала, пытаясь регулировать их... циркулярами начальника округа. К счастью, его попытка не удалась (в 1916 году), и он не смог распустить ту провокацию, которая могла бы привести к очень печальным результатам. Быть может, Соколов просто не понимал, к чему может привести его система, но всё же эта система должна быть названа безусловно преступной. Сущность „Соколовщины“ в следующем: выслушав жалобы рабочих-сотрудников на тяжелые материальные условия, Соколов нашел, что жалобы эти бывают очень часто основательными и что экономические забастовки имеют под собой „большое основание“. Поэтому Соколов считал возможным, расследуя причины забастовок, представлять начальнику округа доклады, где указывал на тяжелые условия работы и низкую заработную плату; при докладе указывалось, что изменение платы вновь наладит работу; Туманов вызывал директоров завода (иногда это делал и Соколов) и „советовал“ повысить заработную плату; эти „советы“, особенно инженерам-евреям, делались в такой форме, что не последовать им не было возможности. После первых удачных вмешательств Соколов нашел, что таким образом можно быть ликвидатором большинства забастовок; он стал интересоваться забастовками, вмешиваться в них по своему усмотрению:

„агитаторов“ он высылал из Петрограда и сдавал в солдаты, а предпринимателей заставлял угрозой повышать расценки. Будучи незнакомым с рабочим движением, Соколов получал все сведения от сотрудников, которые, в силу низкой оплаты их „работы“, были преимущественно из наименее развитых и наименее понимающих момент чернорабочих. Темная история с переходом Путиловского завода в казну немного озвещается теми документами, которые находятся при деле об этом заводе в к.-р. Экономическая забастовка, возникшая на этом заводе, вызвала особое расследование к.-р., старавшейся установить факт влияния на забастовку германской агитации. Однако, кроме голословных обвинений против инженеров и мастеров с немецкими фамилиями, ничего раскрыто не было. Попутно выяснилось, что рабочие получают очень неравномерное содержание; к.-р. в „целях справедливости“ вмешалась и внесла этим путаницу: благодаря влиянию „сотрудников“, доставлявших сведения далеко не полные и не точные, Соколов повел „политику“ против руководителей завода: сослав агитаторов и принудив новую администрацию повысить расценку, к.-р. стала вносить свои порядки на завод; к чему это привело бы, сказать трудно, но Соколов за преследование некоторых „неблагонадежных“ (только политически!) инженеров получил выговор в очень резкой форме и должен был на время оставить роль „примирительной камеры“. Вообще поведение Соколова в отношении к Путиловскому заводу заслуживало бы серьезного расследования: по наветам „сотрудников“ (к слову сказать, живших в одном доме и происходивших из одной деревни) Соколов упорно травил начальника пушечной мастерской (кажется, Ивановского), человека порядочного (по отзывам его начальства), бывшего когда-то партийным работником. Соколов хотел убрать с завода чуть ли не всех инженеров, людей виновных в одном том, что они имели немецкие фамилии (напр., Лютера и др.). Насколько были ошибочны действия Соколова, видно из того, что им была выслана работница, стоявшая против забастовки. Тот же произвол и уверенность в справедливости своих поступков были и в других работах Соколова: благодаря доносу сотрудника Соколов вмешался в забастовку... булочной Сотова (в Лесном), будто бы имеющей отношение к обороне, и выслал несколько пекарей. Так же Соколов неправильно преследовал одного офицера с Обуховского завода: основываясь исключительно на сведениях сотрудника-рабочего, уволенного этим офицером за кражу, Соколов в ряде докладов сообщил начальнику округа фантастические сведения о германской агитации этого офицера, о задержке им работы, увольнении опытных мастеров и пр.; Соколов добился бы отсылки этого офицера на фронт, если бы эта травля не обратила внимание ген. Маниковского, принявшего энергичные меры к защите офицера и указавшего, что без этого офицера сократится производство завода. Вообще доносам сотрудников придавалось часто слишком большое значение: сотрудники с Путиловского завода сообщали много ложных данных, которые в виду их близости между собой звучали очень убедительно. Следствием этого было то, что ни один инженер, ни один мастер, ни один хороший работник не был застрахован от обвинения в германофильстве, хотя бы оно

высказалось в форме сомнения в победе России: речи, сказанные в пьяном виде, шутки, семейные распри и всё принималось во внимание при обвинении в германофильстве и влекло за собой кары, больше всего отыскивавшиеся на обороне России: полезный человек отрывался от дела, которое благодаря этому начинало падать. Семена клеветы всходили полным цветом в к.-р.: человек, отказавший сотруднику в нескольких рублях, рисковал потерять место и подвергнуться высылке с позорным клеймом германского агента. Не называется ли эта система — провокацией? Эта система показывала, что у руководителя к.-р. не было никаких способностей к тому делу, которое он должен был бы делать.

Неспособность вести дела ясно видна из того, как Соколов боролся с злоумышленниками: в июле 1916 г. сотрудник с завода „Айваз“, некий Борис, сообщил Соколову, что в Лесном процветает торговля револьверами, украденными из Петропавловской крепости. Соколов возгорел желанием раскрыть это дело. Он поручил „Борису“ купить револьвер; тот сначала принес „бульдог“, а после „браунинг“, который и был куплен за 50 рубл. Соколов представил начальнику штаба (Тяжельникову) доклад о раскрытом преступлении. Однако сделать что-нибудь дальше он не мог: агенты к.-р. установили, что „Борис“ покупает оружие у женщины, муж который служит солдатом в крепости; передать добытые сведения полиции Соколов, конечно, не хотел, арестовать женщину значило провалить сотрудника. Кончилось тем, что всё дело было брошено и вызвало лишь трагическое положение: что делать с браунингом? Отдать его „Борису“ нельзя, так как этот по сведениям, полученным из охранного, партийный с.-д., участвовавший во многих рабочих выступлениях; продать его нельзя, как краденую из казны вещь, отнести его в инвентарь нельзя... Еще хуже было то, что „Борис“ принес еще 2 браунинга с предложением купить. И такие дела создавались десятками, когда Соколов, потратив много сил на борьбу с преступлением, не знал, что делать дальше. Тоже $\frac{3}{4}$ дел, веденных к.-р., окончились ничем, так как у начальника внезапно опала энергия.

Вся работа к.-р. по борьбе с германской агитацией на заводах была показной и бесполезной: кроме искреннего желания найти немецких агентов, у Соколова для этой работы не было других данных. Создание в к.-р. „заводского отделения“, на которое Соколов возлагал огромные надежды, ничего не дало; всё расследование велось неправильно с самого начала. Сотрудники похитрее скоро поняли, что можно получить больше денег, если сообщать данные о „немцах“: они заваливали к.-р. сведениями о германофильстве заводской администрации, но увы, эти сведения были слишком подозрительны и ничего не доказывали, кроме того, что среди шведов и бывших германских подданных есть большие симпатии к Германии. Говорить о том, что эти инженеры сознательно работали против России, выпуская плохие снаряды, уменьшая производство — нельзя. Германское влияние чувствовалось всюду, но к.-р. не сумела найти его источников: в этом больше всего виноват кап. Соколов, неправильно организовавший всю работу, наделивший военное учреждение функциями сыскной полиции.

Результаты работы к.-р. сказались очень скоро: весь Петроград узнал, что есть кап. Соколов — „сыщик по немцам“, готовый привлечь к допросу всякого, кто неосторожно выразил свои чувства. Все знали, что его помощники неспособные, мелкие люди, очень подозрительного типа; все знали, что к.-р. занимается темными делами, что там могут без суда расправиться с нежелательным человеком, отправив его в ссылку или тюрьму. И темные элементы Петрограда поняли, что можно, пользуясь к.-р., устраивать хорошие дела: они создали дела банкиров, заводчиков, комиссионеров; дела, о которых заговорила вся Россия, возмущенная тем, что дело Рубинштейна было в сущности ссорой банкиров-спекулянтов, а превратилось оно волей следователей в мировой процесс. Больше всего возмущилось офицерство, понявшее давно неспособность Резанова и Соколова: „эти офицеры могут делать красивые жесты и говорить прекрасные речи, но они неспособны к той ответственной работе, на которую назначены“ — это было всеобщее мнение.

Работа к.-р. отделения не открыла никаких преступлений германских агентов: чувствовалось, что агенты хорошо знают про порядки к.-р. Недаром один из чиновников (Гусев) сказал раз: „неужели мы опасны немцам?“ Да они раньше нас знают, что мы будем делать! Невольно приходится коснуться того грустного факта, что высшие неудачи к.-р. в раскрытии шпионажа привели широкие круги общества к мысли, что наша к.-р. подкуплена немцами. Лично мое мнение, что это неверно, так как работа Якубовича, Соловьевых и К° была совершенно безвредна для немцев, и незачем было стараться их купить. Но не могу умолчать про слухи: упорно и долго говорят, что ген. Балтыш, заведывавший к.-р. (на Знаменской ул.) был на жалованьи у германской к.-р., которая через него узнавала про распоряжения ген.-квартирмейстера. Про кап. Соколова — открыто жившего у всех на виду (иногда даже слишком открыто, когда он бывал выпивши в Яхт-Клубе или когда кутил до утра в ресторане „Астория“) — нелепо говорить, что его могли купить; однако его собственная неосторожность и неспособность к делу разведки заставляли всех, знающих его широкую „русскую“ натуру, желать передачи к.-р. работы в другие, более твердые руки. Соколов ушел из VI армии вследствие того, что им были сделаны важные промахи: передают, что благодаря его доверчивости скрылся арестованный германский шпион очень высокого положения; и это передавали люди, служившие вместе с ним и его боготворящие!

Списки лиц, проходивших по делам к.-р. отделения.

В к.-р. отделении велись особые „списки лиц, проходивших по делам к.-р.“; эти списки играли бы важную роль при розыске шпионов, если бы они велись разумно. К сожалению, составление списков было совершенно неправильно: стараясь во всем показать свой широкий размах, Соколов распорядился о занесении в списки с краткой характеристикой и с указанием страницы „дела“ всех без исключения фамилий, попадавшихся в делах; вследствие этого в списки попали все, на кого были присланы доносы: рядом с морским министром Григоровичем, обвиняемом в юдофильстве и устранивании

за взятки на завод инженеров через некую г-жу К. Ларк, встречается фамилия с.-д. агитатора, проводившего забастовку на Путиловском заводе; рядом с донесением агента о безнравственном образе жизни прибывшего из-за границы шведа упомянут Путилов, обвиняемый в германофильстве! Вообще ярлыки „шпиона“, „германофила“, „подозреваемого в шпионаже“, „мародера“, „спекулянта“ и пр. давались в к.-р. очень легко: достаточно было какого-нибудь безграмотного анонимного доноса для того, чтобы человек стал на вечные времена „германофилом“. Гораздо труднее было после избавиться от этого ярлыка: германофилами числились чуть ли не все инженеры и мастера с нерусскими фамилиями, сюда же относились все критически относящиеся к русским порядкам и позволявшие находить хорошее у немцев. Всякое сомнение в победе, возмущение азиатскими обычаями в русской армии, скептическое отношение к нашим генералам и т. п. служило поводом к занесению неосторожного человека в списки „сочувствующим германцам“. Горе было этим людям, если на них поступал вторичный донос: за ними начинали наблюдать агенты, к ним подсылались сотрудники, о них собирались все сведения и составлялся подробный curriculum vitae. Благодаря такой системе у к.-р. были тысячи „подозреваемых в шпионаже“, среди них были директора заводов, генералы, инженеры, присяжные поверенные, студенты наряду с рабочими, солдатами, людьми неопределенных профессий; были католики, православные, лютеране, буддисты, были русские, эстонцы, латыши, китайцы (евреи, конечно, все попадали в списки заподозренных без различия, по какому поводу написан донос). Для девяти десятых этой публики не было абсолютно никаких причин к занесению их в списки германофилов, но, конечно, для высшего начальства (к слову сказать, страшно боящегося, как бы самому не попасть в эти списки) величина списков служила признаком продуктивности работы; как ценили сами чиновники свою „работу“, характеризуют лучше всего слова одного из чиновников, сказанные под пьяную руку: „всего бы проще вписывать в эти списки всех жителей по „Всему Петрограду“, исключая лишь особ двора!“ А между тем эти списки играли во многих случаях огромную роль: бывали возмутительные случаи, когда на офицера с нерусской фамилией, наказавшего за проступок солдата, поступал донос с обвинением в германофильстве; сколько бы после этот офицер ни совершал подвигов, он никогда не получал должной награды: список играл роль! Сколько способных, умных и преданных России офицеров и генералов преследовались за свои немецкие фамилии и за требование дисциплины, обходились чинами, удалялись из своих частей, где их заменяли люди невежественные и бесчестные, но носящие чисто русские фамилии и имевшие связи, предохранявшие их от подозрений в германофильстве! Может ли быть глупее название „тайный германофил“? А оно сплошь и рядом применялось к крупным общественным деятелям (напр., членам Военно-промышленного комитета), к писателям и пр., не разделявшим идей „ура-патриотов“ и позволявшим критиковать действия правительства. С усердием холопа Соколов собирал сведения о немецких агентах не там, где они были, а там где было желательно их

обнаружить министрам полунемецкого происхождения: всем известные друзья Фредерикса, Штюрмера и К^о жили вне подозрений к.-р. отделения, а неповинные жители со днями находились на учете к.-р., как будто среди „сфер“ не было шпионов и германофилов действительных, а не только воображаемых. Среди лиц, попавших в „германские агенты“, особенно много записаны в списки благодаря доносу кн. Туркестанова, получавшего данные из очень высоких сфер: в его довесах перечисляются свыше 30 человек, начиная с морского министра Григоровича, Путилова, Варшавского, ряда директоров старого Путиловского завода, генералов, начальников мастерских, инженеров и пр. На основании совершенно абсурдных сведений начальника Кронштадтского жандармского отделения, имевшего в Петрограде собственную политическую агентуру и осведомителей (интересно было бы выяснить, за чей счет и по чьему распоряжению¹⁾), попали в германофилы лица самых разнообразных профессий, но преимущественно всё же из рабочего класса. Много занесено в списки просто по одним указаниям сотрудников, ничем позже не подтвержденных, при чем характерно, что социалисты, выступавшие против войны, прямо попадали в „подозреваемые в агитации германофильства“.

Если таково было отношение к русским подданным, то как могла относиться к.-р. к прибывающим из-за границы иностранцам? Конечно, их всех сразу же подозревали в шпионаже и начинали за ними столь грубую слежку, что многие были вынуждены обращаться за защитой от рвения агентов к.-р. к своим консулам. Особенно это касалось шведов: в силу инструкций высшего начальства в к.-р. присылались все списки лиц, переехавших границу; чиновники к.-р. выбирали всех иностранцев и смотрели в списках, не упоминались ли они по какому-нибудь поводу (точно шпионы будут столь наивны, что не переменяют при вторичном приезде фамилий); благодаря обилию одинаковых фамилий (Ларсены, Ольсены, Нильсены) каждый день находили по несколько „подозрительных“ лиц, которых и „выясняли“ в месте их жительства агенты к.-р. Конечно, агенты приносили стереотипные ответы: паспорта, время выдачи паспорта, описание образа жизни (от коридорных и швейцаров); обычно даже не могли узнать ни цели приезда, ни рода занятий. Полное отсутствие сотрудников среди торгово-промышленного мира (вследствие мизерного вознаграждения сотрудников ни один инженер или торговый агент не хотел служить в к.-р.) делало то, что даже относительно лиц действительно подозрительных (по частым приездам без дела, по свиданиям с подозрительными лицами etc.) к.-р. не могла ничего установить и заносила в списки стереотипное: „подозревается в службе в германской разведке; такого-то и такого-то числа проезжал границу; цель приезда не выяснена“; таким образом возможный германский агент и частный торговец, снабжавший машинами наши заводы, заносились в списки под одинаковой рубрикой „подозреваемых в шпионаже“. В виду того, что в день приезжало по 15—20 шведов, агенты к.-р. проводили

¹⁾ Охранное отделение не смогло или не захотело этого выяснить, хотя жандармские офицеры крайне возмущались записками из Кронштадта.

всё время в адресном столе за справками и за собиранием сведений у прислуги отелей, где шведы останавливались. Конечно, эта же система применялась и к русским, имевшим несчастье попасть в списки к.-р. Главное несчастье этой системы заключалось в том, что она очень вредно отражалась на организации тыла: бессмысленные подозрения опытных инженеров в германофильстве вели за собой дезорганизацию и даже приостановку производства нужных снарядов и орудий, преследование по пятам комиссионеров-шведов уменьшало число приезжающих комиссионеров и содействовало росту цен на сырье и машины; травля евреев наносила непоправимые удары всей торговле и промышленности. Подозревая крупные фирмы в шпионаже, Соколов тем самым сеял в обществе недоверие ко всей промышленности: замена опытных инженеров русскими инспекторами совершенно дезорганизовала и торговлю и, промышленность, и транспорт. Уже не говоря о том, что „инспектора“ были не прочь пожизниться „от немецких капиталов“, приходится констатировать, что назначение инспектора вызывало не увеличение производства, а сокращение, так как мастера и рабочие бежали от той атмосферы сыска, которую вводили правительственные инспектора „руссификаторы“. Тысячи невинных людей обвинены Соколовым и его агентами в германофильстве, но ни про одного из них он не смог доказать, что тот действительно шпион.

То же самое приходится сказать про „мародеров“: получив приказание начальника округа бороться с мародерством во всех его видах, Соколов, инспируемый через Резанова „Вечерним Временем“ и „Маленькой Газетой“, повел расследование по линии наименьшего сопротивления, т.-е. стал ловить евреев. Эта система скоро „прославила“ к.-р. среди всего русского еврейства, которое трепетало вызова в к.-р. и платило безумные деньги полиции за то, чтобы на вызов телефонограммой на допрос околотовный ответил „вчера выбыл в Москву“. Благодаря исключительно спискам Соколова масса комиссионеров евреев уехала в Москву, не желала подвергать себя всем унижениям допроса в к.-р. Соколов и его офицеры видели в каждом еврее прежде всего изменника, потом спекулянта и, наконец, беглого от военной службы: при такой точке зрения всякий допрос превращали в издевательство... Надо ли удивляться, что списки росли по часам, превращаясь в огромные томы, за которые кап. Соколову давались ордена „за усердие“ и денежные награды „за понесенные труды“.

Архив контр-разведки.

Но не только интересны в к.-р. отделении „списки“; там имелся большой архив разных дел, на котором стоит остановиться. Прежде всего таинственное дело о взрывах на Пороховых заводах; в этом деле есть бумаги, никому не известные, кроме чинов к.-р., о лицах, бывших в момент обоих больших взрывов, а после скрывшихся и не разысканных. Это дело, конечно, не могло быть доведено до конца при старом режиме: при взрыве была ранена жена таинственного капитана (не разысканного), оказавшаяся чистой немкой, получившая пособие на лечение от бывш. императрицы Марии Федоровны, посетившей ее в лазарете, и позже скрывшаяся; ныне это дело необходимо перерасследовать.

Также необходимо расследование другого дела, тоже не доведенного до конца по распоряжениям выше — о ряде взрывов и пожаров на Шлиссельбургском пороховом заводе, которых причины к.-р. „не могла установить“. Не менее важны документы о забастовке 1915 г. на Путиловском заводе, приведшей к переходу завода в казну: в деле есть много указаний, что забастовка была инсценирована лицами, враждебными прежнему правлению завода. Важен архив к.-р. и в том отношении, что в нем есть много бумаг о работе других к.-р. отделений: при чтении этих бумаг становится ясно, какое убожество умственное и нравственное у всех руководителей к.-р. работы; не поднимаясь выше „травли жида“, не имея нигде умных и честных осведомителей, к.-р. живет повсюду теми приемами, которые были уместны лет 50 тому назад, но бессильны в борьбе с такой стройной системой, как германская к.-р. Почти все аресты шпионов произошли случайно по указаниям частных лиц, а сама к.-р. ничего не раскрыла. И это в то время, когда Россия кишела и кишит шпионами! Расследование архива к.-р. отделения дало бы не бледные, отдельные факты „нерадения по службе“ кап. Соколова, а полную картину преступной небрежности в борьбе с германским шпионажем; и в этой небрежности виновны не только Соколов и его помощники, но гораздо в большей степени те, что назначали неспособного человека на такой пост. И эти лица безусловно знали, что назначение безвольного и неопытного кап. Соколова или злого и глупого полк. Якубова дает немцам возможность развить деятельность своих агентов разведки: этих лиц следовало бы в первую голову поместить в списки „германофилов“...

Полная беспорядочность ведения дел, неоконченность расследования, обилие ошибок, неточностей и пр. поражали всех служащих к.-р.; все без исключения служащие понимали, что к.-р. неспособна бороться с германским шпионажем, и с ужасом ждали: вдруг немцы взорвут целый завод или генеральный штаб и будет назначена ревизия, которая должна неминуемо отдать всех служащих под суд. На это один из наиболее знающих чиновников отвечал с усмешкой: „за два дня до ревизии к.-р. сгорит от невыясненных причины, и сторож получит лишь выговор за неосторожное обращение с огнем!“ Увы, оказалось это правдой: „неизвестные лица“ сожгли к.-р. отделение.

Английская интервенция и сибирские дела в 1918 — 1919 годах.

Появившиеся недавно в русском переводе записки полковника и либерального члена английского парламента Джона Уорда (With the „Die-Gards“ in Siberia by Col. John Ward. Cassel and Company, Ltd. London, New-York, Toronto, Melbourne. 1920, p. XII + 227) вносят свою посильную лепту в сказания иностранцев о революционной России. Заброшенный из Гон-Конга в Сибирь, из тропической жары в подполярный холод, Уорд со своим 25-м батальоном Мидлсекского полка попал в самую гущу событий, порожденных Октябрьской революцией.

Здесь в вихре гражданской войны, в круговороте борьбы страстей, интриг, ориентаций, он пробыл около года — с августа 1918 по июль 1919 года — командуя английским экспедиционным отрядом, по своему осуществляя политику Великобритании в русском вопросе и, не мудрствуя лукаво, записывая солдатским небрежным языком свои наблюдения и мысли, тут же, под живым впечатлением волнующих событий¹⁾.

Несмотря на все присущие им недостатки, записки Уорда в одном отношении выгодно отличаются при сравнении их с другими рассказами иностранцев о России в период революции 17 — 19 годов. Уорд с самого начала честно сознается, что ему трудно разобраться в великой исторической драме русского народа. „Вещи не всегда таковы, какими кажутся, — говорит он, — и это, повидимому, более всего справедливо в области русских дел, чем в каких-нибудь других“. (Foreword, IX). Тем не менее и он при случае не отказывается судить о внутренних русских делах с точки зрения типичного английского „демократа и парламентария“. Что же Уорд понимает и чего не понимает в русских делах? Рабочий вопрос еще ему по плечу, и ему нетрудно было заметить, как дореволюционная Россия в этом отношении отстала от Запада. Больше того он занялся в „мексиканских“ нравах Сибири горячий проповедью английского тред-юнионизма и потратил на это не меньше

¹⁾ Все последующие ссылки сделаны непосредственно на английский текст записок, а не на сильно сокращенный русский перевод.

усилий, чем Дон-Кихот в борьбе с ветряными мельницами (р. 170 — 228). Напротив, крестьянское движение осталось для него книгой за семью печатями.

Но внутренние дела интересуют Уорда, так сказать, только мимоходом, и не здесь интерес его записок для русского читателя. Уорд выдвигает в них на первый план вопрос о союзнической политике в русских делах за время революции, т. е. вопрос о союзной интервенции в России. Вполне естественно, что Англия здесь на первом плане. Написанная на исходе 1919 и в самом начале (февраль) 1920 г., книга Уорда совпала с очередным переломом английской политики в русском вопросе, когда, перепробовав все средства борьбы и компромисса, коалиционный кабинет Ллойд Джорджа, под давлением общественного мнения, склонился на путь соглашения с Советской властью. Яркий сторонник вооруженного вмешательства, Уорд выдвигает против политики Л. Джорджа аргумент „честной“ интервенции, указывая на прежние обязательства Англии в России. Он хорошо представляет себе всю непопулярность своей идеи в широких демократических кругах, знает, что русский фронт теперь не нужен для спасения союзников. „Я соглашаюсь со всем этим. Но как же тогда с честью? Или уже ей нет более места в политическом обороте союзных держав?“ (р. 267 — 268). Много и других горьких слов сказал Уорд о союзной политике в России, и тем более странно звучат эти слова в устах типичного британца и солдата, напоминая знакомые мечты и иллюзии наших доморощенных политиков, грезивших о помощи „бедной“ России со стороны великодушных союзников, о договоре „чести“, о „братстве оружия“, о союзе с „демократиями Запада“. Несравненно глубже оценил английскую политику в России один царский дипломат, около того же времени с горечью писавший: „общественное мнение не допустит новых „жертв“ для спасения России. Напротив, оно жаждет, чтобы Англия поживилась русским сырьем. Настало время, когда не принципы или устаревшие политические соображения, а „сырье“ является путеводной звездой, направляющей волков с кинематографическим ореолом бессмертия. „Сырье“ — это ultima ratio международных отношений, в особенности же отношения Англии к России“ ¹⁾.

Уорд осуждает всю союзную интервенцию с начала до конца. Лучшее было бы, по его мнению, совершенно остаться нейтральными, чем впутываться в русские дела с такими побуждениями и с такими средствами, как союзники. Сам он — прежде всего солдат и постоянно противопоставляет себя „политикам“ и „дипломатам“ с их хитросплетениями и осложнениями самых простых вещей. „Помощь союзников России похожа на трагикомический фарс и является тайной даже для человека, посвященного в нее... Если бы я был правителем государства, я больше всего просил бы богов избавить меня от двуличных союзников и чересчур осторожных друзей. Если бы я хотел протянуть руку помощи катящемуся в пропасть государству..., я прежде всего предохранил бы себя от паралича союзной дипломатии! Один провинциальный, честный помощник стоит дюжины могущественных покровителей, главная задача которых состоит в том,

¹⁾ К. Д. Набоков. Испытания дипломата. Стокгольм, стр. 276.

чтобы подставлять ножку друг другу" (р. 197, 268). И здесь Уорд дает ценнейший материал, рисуя нам закулисные мотивы союзников, тайные пружины, толкавшие на вмешательство и истинные побуждения, определившие позицию Антанты в русском вопросе.

Впрочем Уорд не всегда справедлив к „политикам“ и слишком солдатски-прямолинеен. Больше всего это сказывается в отношении к Англии. Долгое отсутствие из Европы и пребывание сначала в Британском Индо-Китае, а затем в Сибири сказались в неумении оценить те сложные силы, которые выступили при ликвидации войны. Между тем понять что-нибудь в английской политике за эти бурные годы можно, только хоть сколько-нибудь представляя себе ту общественную атмосферу, которая там образовалась на фоне политико-экономических и психологических последствий войны.

Результаты побед и долгожданного мира можно было бы выразить в трех коротких словах: утомление, истощение и анархия. Необразимые последствия разрушения военно-морской и колониальной мощи срединных империй отступали куда-то на задний план перед бросающимися каждому в глаза чудовищным несоответствием потраченных усилий и принесенных жертв с достигнутыми результатами. В частности, английская жизнь в 1919—1920 годах проходит в атмосфере перемежающейся лихорадки рабочих волнений и затяжного кризиса в Ирландии. И это при наличии национального долга, возросшего с 685 миллионов фунтов до 8 миллиардов. Разочарование широких народных масс естественно выразилось в недоверии к существующей политической комбинации и в прогрессивном падении популярности Л. Джорджа. 1919 год отмечен рядом поражений правительства и судорожными усилиями премьера удержать власть, вываливающуюся из рук¹⁾. Таковы в двух словах те факты, которые упускает наш автор, бичуя колебания в русской политике Ллойд-Джорджа, которые порой вели к расхождению во взглядах между центральным правительством и его агентами где-нибудь в Омске или Владивостоке.

* * *

Не боясь ошибиться, можно уже теперь сказать, что будущий историк „Европы и Русской Революции“ должен будет различить два периода в истории союзной интервенции: первый, с октябрьского переворота 1917 г. до заключения перемирия с Германией 11 ноября 1918 г., и второй — после окончательной ликвидации мировой войны до англо-русского торгового соглашения 1921 г., прорвавшего тиски блокады.

Идея вооруженного вмешательства в стихийный ход русской революции возникла в Верховном Совете Союзников прежде всего в виде намерения восстановить русский восточный фронт на театре мировой войны, раставший в результате заключения Брест-Литовского мира (февраль 1918 г.). Стремление это диктовалось прежде всего национальным инстинктом самосохранения в виду отчаянного положения дел на Западе после переброски туда 52 диви-

¹⁾ The Annual Register for the year 1919. Part I, 87—88, 91, 148.

зий с русского фронта и мощных ударов Людендорфа, бросившегося на Амьен. Это был кризис мировой войны, когда Германия была в двух шагах от окончательной победы, когда Клемансо требовал от Пуанкаре спешного отъезда правительства в Бордо и обещал драться „хоть на Пиренеях“, когда английский кабинет начал лихорадочно готовить транспорты для спасения своих разбитых армий через канал ¹⁾).

В этот-то момент Верховный Совет в Париже схватился за мысль — осуществить, наконец, идею единого командования союзными силами и восстановлением русского фронта во что бы-то ни стало ослабить нажим германских полчищ на Западе, — зажечь новую войну в России, лишь бы спасти Париж! Русский фронт считался союзниками наиболее испытанным средством для этой цели еще со времен памятного налета русских армий на Восточную Пруссию в 1914 году, давшего возможность ген. Жоффру задержать немцев на Марне. Теперь, как и в 1914 году, союзникам грозил полный разгром. Уорд хорошо помнит эту русскую услугу и на ней пытается обосновать моральный долг союзников по отношению к „больной“ России. „К концу 1914 г., когда наши армии, отступая, катились к Марне, будущее Европы и нашей империи висело на волоске, к России были обращены отчаянные призывы... броситься к нам на помощь и спасти нас от разгрома... Русское правительство, не взирая на свои военные планы, двинуло частично мобилизованные полки для стремительного налета на Восточную Пруссию, что непосредственно повело за собою ослабление германского нажима на Западе и сделало возможной победу на Марне“ (264 — 265). Отсюда сам собою навертывается вывод — покинем ли мы Россию, когда она перестала быть нам нужна (267, 269)? Если в конце 1919 г. этот вопрос Уорда оставался гласом вопиющего в пустыне, то тогда, летом 1918 г., когда весы военного счастья еще колебались то в ту, то в другую сторону, интервенция во имя восстановления русского фронта была, по словам нашего автора, поддержана всем общественным мнением Англии, и единственное замечание относилось к опасению, что она запоздала.

Англия, первая из союзных держав, решила активно вмешаться и двинула свои силы, и уже 8-го августа 1918 г. Уорд со своим экспедиционным отрядом высадился во Владивостоке. Вслед за ним в том же августе месяце прибыли японские, американские и французские отряды. Нет ничего удивительного в том, что в глазах такого человека, как Уорд, русская революция представляется сквозь призму нависшей над Европой германской опасности и кажется не чем иным, как победным движением Германии на Дальний Восток. Это впечатление усиливалось большевистским духом, распространявшимся среди выпущенных на свободу германо-австрийских военнопленных.

¹⁾ Этот кризис мировой войны одинаково оценивается в послевоенной литературе: E. Ludendorff. Kriegererinnerungen, S. 467 — 468. Captain Peter Wright At the Supreme War Council. 1921. London, p. 181 — 183. A. Tardieu. La Paix, p. 43 — 46.

Блуждающая наивность, проявленная Уордом в оценке движущих сил социального переворота в России — основной недостаток его книги. Только значительно позже и с трудом в его сознание пробивается идея о независимости русской революции от политики германского империализма и верный взгляд на революцию, как на внутренний кризис русского социального и государственного организма.

К моменту вступления Уорда на русскую почву контр-революция на Дальнем Востоке и в Сибири сделала значительные успехи. В полосе отчуждения Восточно-Китайской железной дороги образовались отряды, сгруппировавшиеся затем вокруг трех фигур: атамана Семенова, орудовавшего между Читой и ст. Оловянной, атамана Калиныкова, диктатура которого объединила уссурийских казаков с центром на ст. Пограничной, и генерала Хорвата, опиравшегося на отдельные силы, разбросанные в самой полосе отчуждения около Харбина ¹⁾. Внутренняя анархия и взаимная борьба между этими „правителями“ и атаманами имела своим результатом укрепление красных партизанских отрядов, которые еще осенью 1918 г. удерживали за собой некоторые позиции в Приморской области и наносили отдельные удары белым. В августе они уже угрожали Владивостоку, оттеснив казаков Калиныкова и чехов к станции Никольской, важному стратегическому пункту, лежащему на пересечении Восточно-Китайской и Уссурийской ж. д. Для союженного командования во Владивостоке создавалось крайне опасное положение, тем более что, под рукой не было свободных резервов. На подкрепление этого участка Уссурийского фронта и был двинут отряд Уорда, как только он высадился во Владивостоке. Описание этой местной операции и занимает четыре первых главы в записках Уорда (р. р. 4 — 52).

Между тем как Уорд со своим отрядом, после ликвидации Уссурийского фронта, оставался на Дальнем Востоке, в Сибири назревали новые события. В сентябре 1918 г. в городе Уфе состоялось Государственное совещание, поставившее своей целью объединение всех местных правительств и создание единой Всероссийской власти. В сущности вопрос сводился к соглашению двух сил, между которыми продолжалась затаенная борьба из-за каждой пяди земли, отвоеванной от красных. Этими силами были Омское Сибирское правительство, в лице своего правого, ярко-реакционного крыла открыто склонявшееся к единоличной диктатуре, и Самарское правительство или Комитет членов Учредительного Собрания, пытавшийся среди вооруженной борьбы придерживаться заповедей „демократического катехизиса“ в духе эсеровских программ. Компромисс вылился, наконец, в форму пятичленной Директории, принявшей титул Временного Всероссийского Правительства. Персонально в Директорию вошли: два эсера — Н. Д. Авксентьев (председатель) и В. М. Зензинов; кадет В. А. Виноградов, член 3-й и 4-й Государственных дум, „сибиряк“ П. В. Вологодский и беспартийный генерал В. Г. Болдырев. Рас-

¹⁾ Протоколы допроса адмирала Колчака. Архив Русской Рев., т. X, 254 — 255. Б. Борисов. Дальний Восток. Вена, 1921, passim.

сказывают, что П. Вологодский на посланную ему поздравительную, „по случаю избрания“, телеграмму ответил: „Образование Директории — досадное осложнение“. Один из членов Самарского „охвоста“ Учредительного Собрания В. Л. Утгоф, передающий этот рассказ, недалек в этом случае от мнения „областника“, подтверждая, что Директория была „властью мертворожденной“. „Беда была в том, что личные качества членов Директории совершенно не соответствовали требованиям момента, — говорит он, — политическая атмосфера Самары, Уфы, Омска, Дальнего Востока была густо насыщена заговорами, борьбой честолюбий, анархическим разгулом авантюристов... В этой „мексиканской“, как ее называли в Омске, обстановке, — продолжает Утгоф, — нельзя было действовать парламентскими средствами. Только свирепая, беспощадная расправа с противниками могла гарантировать правительству беспрепятственное выполнение лежавших на нем задач. Ни Авксентьев, ни Зензинов для этого не годились. Решительные на словах, они больше всего боялись решительных действий“ ¹⁾. Если такова оценка Директории со стороны лиц, более или менее сочувствовавших ей, то легко можно себе представить мнение о ней Уорда, разделявшего точку зрения открыто-реакционных кругов, тянувших к военной диктатуре. Вот один штрих его, брошенный насчет Авксентьева: „это был великолепный актер, слушать которого можно было с удовольствием, второе издание его более знаменитого коллеги, ничтожного Керенского“ (р. 111 — 112).

Между тем Союзный Совет, образовавшийся из представителей Антанты во Владивостоке, настойчиво указывал через своих представителей на необходимость создания более „твердой власти“, двинув в Омск для подкрепления своих дружеских советов в первую голову английский экспедиционный отряд под начальством нашего автора. Записки Уорда очень хорошо рисуют, как идея провозглашения диктатуры созрела не только в умах сибирских областников типа Ивана Михайлова, но исподволь подготавливалась в кругах Союзной дипломатии на Востоке и энергично проводилась Советом Союзного Командования, с самого начала наметившего в диктаторы англофила и „либерала“ вице-адмирала Александра Колчака ²⁾.

В то время как в Сибири подводилась новая мина под чудотворное детище Уфимского совещания, а офицерские кружки Омска плели паутину, в которой должна была запутаться Директория, английское правительство, наконец, решилось признать Временное Всероссийское Правительство. Лондонский посол Директории К. Д. Набоков в своих мемуарах выясняет точку зрения английской дипломатии в этот момент: „Хотя местные английские агенты в Сибири доносили, что Директория непрочна, что между эсерами и „воен-

¹⁾ В. Л. Утгоф. Уфимское Государственное Совещание 1918 года. Из воспоминаний участника. „Былое“ 1921 г., № 16, стр. 40 — 41. Того же мнения о Директории эсер, анонимный автор брошюры: Сибирские авантюры и генерал Гайда (Из записок русского революционера). Прага, стр. 16 — 17, а также эсеры-червоцы Н. В. Святцкий и К. Буревой.

²⁾ Протоколы допроса адмирала Колчака. А. Р. Р. X, 273 — 274.

ной партией" идут разговоры, — тем не менее было решено признать Директорию, и 17-го ноября была даже заготовлена в этом смысле телеграмма в Омск. Переворот 18-го ноября, — продолжает Набоков, — роспуск Директории и провозглашение Колчака верховным правителем — заставили правительство задержать телеграмму. Когда я 19-го числа пришел к лорду Роберту Сесию, он сказал мне: „Мы были готовы признать Директорию. Она насильственно смещена. Кто может поручиться, что не произойдет того же самого с Колчаком? При таких условиях нам очень трудно принять решение. Подождем, посмотрим“ ¹⁾.

• • •

Государственный переворот 18 ноября 1918 года и провозглашение адмирала Колчака верховным правителем занимает в записках Уорда центральное положение. Вместо рассказа он прилагает копии своих официальных донесений о событиях в Омске английскому правительству через британскую военную миссию во Владивостоке. Последнее только увеличивает ценность его книги, оставляя читателя с глазу на глаз с документом. Без сомнения, автор многого не договаривает, но даже на основании его сдержанных реляций видно, что британский экспедиционный отряд сыграл не последнюю роль во всех этих событиях. Прежде всего необходимо отметить, что в своих донесениях Уорд строго придерживается официальной версии Омского правительства, в чем не трудно убедиться, сравнив рассказ Уорда с „Правительственным сообщением“ о перевороте от 20 ноября или же с „Официальным сообщением Информационного отдела штаба Верховного Главнокомандующего“ от 21 ноября ²⁾. Еще больше он зависит от „Официального сообщения Сибирского Правительства“, вышедшего несколько позднее, а потому более щедрого относительно различных подробностей *супр д'etat* ³⁾. В нем полнее всего развита правительственная версия, к которой, в сущности, и примыкает Уорд, слегка её дополняя.

Вполне естественно, что ни одно из правительственных сообщений о перевороте не упоминает о каком-либо прямом или косвенном участии иностранцев, между тем Уорд подчеркивает: „Ни совет министров, ни сам Колчак не могли принять окончательного решения, пока у них не было полного представления о позиции Британии в этом вопросе. Позиция чешских войск в Омске сделала невозможным для них приближение к месту, где заседали министры, без того, чтобы не вткнуться на британцев, а мои пулеметы командовали над каждой улицей, которая вела к помещению русской главной квартиры“ (р. 129). Но тут же он спешит ослабить свое первоначальное

¹⁾ К. Д. Набоков. Испытания дипломата, стр. 244 — 245.

²⁾ Государственный переворот адмирала Колчака в Омске 18 ноября 1918 года. Сборник документов. Собрал и издал В. Зензинов. Париж, 1919 г., стр. 19 — 20, 20 — 24.

³⁾ Сборник документов, стр. 35 — 58.

чальное утверждение, говоря: „Это... не имело характера инспирации на их (министров) репения, которые всецело принадлежали им одним; но это придало устойчивость всей обстановке“ (130). Позиция союзников выясняется довольно отчетливо: не имея никакого отношения к аресту членов Директории — социалистов, они стремятся воспользоваться удачным оборотом дел и закрепляют свою поддержку за Вологодским и Колчаком. Вместе с тем Уорд, зная, как он выражается, „страх своих соотечественников перед диктатурой“ и стремясь обеспечить Колчаку „содействие и вероятное признание Британским правительством“, употребляет все усилия, чтобы смягчить насильственный характер переворота, стремясь сохранить жизнь арестованным министрам. „У меня уже образовалась некоторая опытность в революциях, — пишет он, — и если бы я настойчиво не проводил своей точки зрения, Авксентьев и К° были бы зарезаны как бараны“ (р. 138). К этому относится интересная переписка Уорда с Колчаком, сохраненная автором, которая показывает, как командир Мидльсекского полка вырвал Авксентьева и его коллег по несчастью из рук офицерской банды атамана Красильникова, сохранил им жизнь и обеспечил безопасное путешествие до Китайской границы (р. 131—137).

Как бы там ни было, всё ограничилось „дворцовой“ революцией, и в результате опустевшее место Директорией занял верховный правитель в лице адмирала Александра Колчака. Для всех „британцев“, а в частности для Уорда это был *enfant chéri*. С некоторой точки зрения записки Уорда представляют старательную апологию адмирала и его системы. Колчак несомненно духовно был близок Уорду, как по своему профессионально-военному складу ума, так и по своим умеренно-либеральным симпатиям.

Другое дело, каков был Колчак в роли верховного правителя и военачальника. Г. К. Гинс, убежденный „колчакист“ и министр верховного правителя, говорит о нем следующее: „Приходится сказать, что не было у нас верховного правителя. Адмирал был политически наивным человеком, неудачным политиком и полководцем“. „Он чувствовал себя беспомощным в сухопутных операциях гражданской войны“. „Особенно занимали его „протоколы сионских мудрецов“, ими он прямо зачитывался; несколько раз он возвращался к ним в общих беседах, и голова его была полна антима-сонских настроений“ ¹⁾.

Во всяком случае общественная атмосфера не разрядилась, произошла некоторая перестановка борющихся групп, но самая борьба приняла еще более упорный, затяжной характер, изнутри подготавливая крушение Омского правительства. Если Директория, в лице своих членов, была бессильна по отношению к Центральному Комитету эсеровской партии, то верховный правитель был вполне игрушкой в руках атаманской камарилы. Гинс сетует в своих мемуарах: „нечего греха таить, крайняя правая стала проявлять

¹⁾ Рецензия А. Аргунова на II том мемуаров Гинса „Сибирь, Союзники и Колчак“. Современные Записки 1921, т. VII, 393—396.

свою негосударственную психологию и разрушать работу возрождения и умиротворения страны" ¹⁾). Глухое недовольство крестьянства скоро вылилось в открытую партизанщину, принимавшую иногда характер вполне организованной борьбы народной волиницы с властью.

К внутренней борьбе присоединились интриги между союзниками, старавшимися использовать затруднения правительства для получения всевозможных льгот и концессий. Дело в том, что победа Колчака знаменовала целый переворот в международной ориентации Сибирской власти. В то время как Директория, слабая всё более и более в тылу, терла одно поражение за другим на фронте, склонялась уже к услугам Японии, предлагавшей свои армии за представление ей длительной эксплуатации Великого Сибирского пути, *coup d'état* Колчака означал торжество британской политики на Востоке. Получив удар, Япония выдвинула на защиту своих интересов атамана Семенова, который объявил себя чем-то вроде удельного державца в Забайкальской области и ультимативно потребовал от Колчака сложения звания верховного правителя. Фактически Сибирь распалась на два государства: в Омске сидел Колчак и англо-французы, не признававшие Семенова, а в Чите сидел Семенов и японцы, не признававшие Колчака ²⁾. Весь этот эпизод рассказан Уордом с интересными подробностями, вскрывающими подоплеку японской политики в Сибири (р.р. 106, 141 — 143, 160 — 162).

Надо отдать справедливость усилиям английских агентов в Сибири консолидировать строй Колчака: представитель военного министерства в Сибири генерал Нокс, бывший военный агент в ставке верховного главнокомандующего во время Европейской войны, хорошо знакомый с русскими делами, энергично работал над формированием новых боеспособных полков, лично производя отбор офицерского состава; Уорд, как член парламента, занялся пропагандой среди железнодорожных рабочих „принципов английского тред-юнионизма“, разъезжая по линии и устраивая митинги, в то же время верховный уполномоченный Великобритании сэр Чарльз Элиот пытался добиться признания Сибирской диктатуры у Л. Джорджа на Downing-Street. Последнее, впрочем, подвигалось с трудом, так как английское правительство, споткнувшись о признание Директории, не торопилось с русским вопросом, собираясь передать его на решение мирной конференции, которая должна была умиротворить Европу и создать новый порядок вещей.

* . *

Наконец в субботу, 18 января 1919 года, в 48-ю годовщину провозглашения Германской Империи открылась мирная конференция. „Большая

¹⁾ Op. cit., стр. 394.

²⁾ „Сборник документов“ Зензинова помещает любопытный ультиматум Семенова к Колчаку — к 12 ч. дня 24 ноября „дать власть генералу Хорвату, Деникину или Дутову“ (83). 13 декабря для ликвидации этого удельного князя командующий союзными войсками в Сибири ген. Жавен вызывает с Урала 8 эшелонов чехо-словаков. Семенов вскоре после этого „смирится“ (стр. 93).

четверка", т.-е. Жорж Клемансо, Ллойд Джордж, Вудро Вильсон и барон Соннино, замещавший отсутствовавшего Орландо, священнодействовали на этой церемонии, долженствовавшей открыть новую эру в судьбах народов.

Тут же в Париже, рядом с этим конгрессом вершителей мировых судеб, собрался другой съезд, менее торжественный, менее многолюдный, но, пожалуй, с большим разбродом в мыслях и чувствах, чем разноплеменная и разноязычная толпа на Quai d'Orsay. Это собрание бывших русских правителей и министров, назвавшее себя Русским политическим совещанием, пыталось своим коллективным ликом заполнить отсутствие России на конгрессе ее бывших союзников. Впрочем последнее удавалось плохо. Липо, близко стоявшее к „совещанию“, отмечает: „Никто из членов совещания на конференцию приглашен не был. Совещание, однако, заседало ежедневно и представляло конференции меморандумы за подписью кн. Львова, Маклакова, Чайковского и Сазонова“ ¹⁾.

Тем не менее успехи сибирской контр-революции, охватившей огромную территорию и наиболее богатые области рухнувшей Империи, создание белой армии на Востоке, переворот 18 ноября и военная диктатура, поднявшая всероссийское знамя и, наконец, назначение С. Д. Сазонова, популярного в кругах Антанты, министром иностранных дел Омского правительства — невольно обращало внимание победителей к русским делам и требовало с их стороны определить свое отношение к политической обстановке в России.

Между тем как раз по русскому вопросу между союзниками существовал полный разброд мнений. Когда французы предложили свой план работ мирной конференции, выяснилось, что они не намерены торопиться с Россией.

Этот план, выработанный главным сподвижником Клемансо по Версальскому миру Андре Тардье, относил русский вопрос к числу таких, „решение которых предпочтительно отложить“, при чем это обстоятельство было мотивировано следующим образом: „ставя этот вопрос в последнюю очередь, имеется в виду предоставить отдельным национальностям возможность организовать, хотя бы даже частично; формулировать свои пожелания в более нормальных условиях и дать возможность отдельным этническим группировкам достигнуть между собою необходимых соглашений“ ²⁾.

Плану Тардье, однако, не суждено было воплотиться в жизнь. И принципиально и по политическим мотивам Ллойд Джордж высказался против всякой детальной регламентации работ мирной конференции. При поддержке американского президента он настойчиво указывал на неотложную необходимость решать ряд проблем, волновавших Восточную Европу. Январское восстание спартаковцев в Берлине произвело очень сильное впечатление на британского премьера и внушило ему мысль о непрочности всего дела мирной конференции

¹⁾ К. Д. Набоков. Испытания дипломата, стр. 250 — 251. Тут собрались под председательством кн. Г. Львова послы в Париже, Риме, Вашингтоне и Мадриде, посланники в Швеции Гулькевич, А. П. Извольский, С. Д. Сазонов, А. И. Коновалов, Б. В. Савинков, Н. В. Чайковский, А. А. Титов.

²⁾ A. Tardieu. La Paix, p. 101.

без предварительного решения вопроса о большевизме, грозившем переброситься в Центральную Европу ¹⁾).

С другой стороны естественно, что Англия, которая к тому времени серьезно увязла в русских делах, которая несла тяжелые материальные жертвы по активной интервенции: содержала армию на Севере, субсидировала южных генералов, готовила новый очаг борьбы на Балтике, поддерживала Сибирскую диктатуру,—чувствовала настоятельную необходимость поставить вопрос о России в более общей форме и определить политическую линию в этом вопросе совместно с союзными державами.

В незамирающей Европе, державшей под штыками миллионы солдат, в атмосфере нерассеявшегося чада военного угара, мирная конференция началась заседаниями Высшего военного совета союзных держав. Первый секретный документ конференции носит знаменательное заглавие: „Протокол совещания Высшего военного совета, 12 января 1919 г.“ ²⁾).

Тут были представлены не только отдельные правительства в лице своих премьеров и министров иностранных дел, как это было обычно на „Советах десяти“, но и генералы: Фош и Вейганд со стороны Франции, сэр Генри Вильсон от Великобритании, генерал Блисс от Америки. Вот на этом-то совещании и всплыл русский вопрос. „Герой Франции“ маршал Фош предложил грандиозный план: он горячо советовал послать в Россию союзную армию, усиленную американскими контингентами, для немедленного и окончательного истребления большевизма в Европе. С чисто галльской запальчивостью „военный папа“, как иронически именовали в то время Фоша, развивал свой проект, сводившийся к тому, чтобы образовать добровольческую армию из русских военнопленных, томящихся в Германии, и направить ее домой для борьбы с большевиками ³⁾).

Метод, испытанный в свое время Тьером для уничтожения Парижской Коммуны, казался заманчивым генералу, только что ниспровергнутому в прах германские армии.

Вильсон первый возыскал голос против проекта Фоша, заметив, что „представляется весьма сомнительным, чтобы можно было одолеть большевизм путем вооруженной борьбы, что, по его мнению, было бы весьма неразумно начинать какую бы то ни было военную диверсию, раньше чем великие державы не сговорились между собой, какие меры предпринять против большевизма, как социальной и политической опасности“ ⁴⁾).

Казалось бы, что цель Русского политического совещания в Париже была достигнута, так как конференция действительно началась с оживленного обмена мнений по русскому вопросу; оставалось ожидать решений Верховного

¹⁾ A. Tardieu, op. cit. p. 127.

²⁾ Woodrow Wilson. Memoiren und Dokumente über den Vertrag zu Versailles anno MCMXIX, herausgegeben von Ray Stannard Baker in authorisierter Uebersetzung von Curt Thesing, Leipzig, 1923. I Band, S. 135 — 136.

³⁾ Ray Stannard Baker. Woodrow Wilson... B. I, 137.

⁴⁾ Ray Stannard Baker. B. I, 139.

военного совещания. В это время Вилсон нашел новый путь к разрешению русского вопроса, быстро сумев привлечь на свою сторону колеблющегося и впечатлительного британского премьера. Путь этот был — путь Принкипо: попытка примирения борющихся в России партий на Принцевых островах, на особой, с этой целью созываемой конференции.

Клемансо с первого же дня указал на неизбежность крушения этого нелепого плана, пробовал возражать, но было поздно ¹⁾, пришлось уступить и 22 января Верховное военное совещание опубликовало знаменитое приглашение, обращенное ко всем „русским правительственным образованиям“, прислать не более трех представителей на Принцевы острова для заключения между собой соглашения, а пока что прекратить кровопролитие установлением перемирия на всех фронтах гражданской войны.

Это знаменитое решение, принятое по предложению великого „миротворца“ и профессора государственного права Вудро Вильсона, знаменовало начало новой политики союзников в русском вопросе, получившей название „политики Принкипо“, по имени самого значительного из островов архипелага известного под наименованием „Принцевых“ островов. „Принкипо“ прежде всего больно ударило по Русскому политическому совещанию, представитель которого и министр иностранных дел Сазонов прямо заявил в интервью с корреспондентом „Matin“, что предложение это недостойно и неприемлемо ²⁾.

В Сибири эффекты Принкипо были несколько иного рода. Первое впечатление от Принкипо Уорд сравнивает с взрывом бомбы, прилетевшей из Парижа. Дело в том, что около середины января 1919 г. британский верховный уполномоченный сэр Чарльз Элиот препроводил адмиралу Колчаку крайне сочувственную телеграмму от британского правительства. Французы поспешили сделать то же самое, определенно указав на возможность помощи и признания. Обе эти телеграммы явились первой санкцией Антанты на переворот, провозгласивший диктатуру. Казалось, наступала консолидация нового строя и энергичная поддержка союзников. Как вдруг через 4 дня было получено радиотелеграфное приглашение на „Принкипо“. Уорд хорошо рисует первое настроение союзных представителей: „Одним взмахом долой все наши надежды! Мы были подавлены столько же, — если даже не больше — чем русские...“ (р. 158). Принкипо на минуту действительно объединило все русские умы без различия партий, классов, программ в одном порыве недоумения и досадной помехи. Но обе стороны Уральского фронта нетерпеливо отмахнулись от услуг парижских миротворцев и еще яростнее продолжали борьбу.

Срок созыва на Принкипо истекал 15 февраля, но еще 17 февраля Л. Джордж надеялся на разрешение русского вопроса путем мирной конференции. В этот день он произнес в парламенте большую речь о работах мирной конференции. Но самое интересное место в его речи относилось к России. Прежде всего премьер категорически опровергнул всякие слухи

¹⁾ André Tardieu, *op. cit.*, p. 127 — 128.

²⁾ К. Д. Набоков. Испытания дипломата, стр. 256.

насчет признания большевиков. Главное, что хотелось бы ему внушить каждому британцу, состояло в том, что без умиротворения России мирная конференция не достигнет своей цели. Намечается два пути к разрешению русской проблемы: первый, это — „интервенция напролом“, но, вероятно, не найдется ни одного здравомыслящего британца, который после пятилетней войны посоветовал бы правительству взяться за такое предприятие. При этом Л. Джордж откровенно заявил, что Америка со своей стороны не пошлет в Россию ни людей, ни денег, ни военных материалов. Поэтому оставался второй путь — попытка созвать конференцию для того, чтобы увидеть, нельзя ли таким образом восстановить в России порядок ¹⁾.

Однако, оптимистическим иллюзиям Л. Джорджа и Вильсона не суждено было сбыться: борьба продолжалась на всех фронтах гражданской войны: 14 марта Колчак захватил Уфу и двинулся к Волге, а на севере удачно отбивались приступы большевиков, начавших наступление на Онегу. Факты таким образом сами собой назвали политику Принкпило, но снова поставили перед союзниками русский вопрос во всей его сложности.

Вместе с тем с весной 1919 г. мы вступаем во 2-й период интервенции. На этот раз Парижский совет выдвинул идею „санитарного кордона“ ²⁾. Германия была разгромлена и готовилась подписать Версальский мир. Необходимость в русском фронте отпала еще в ноябре предыдущего года. Но взамен внешней опасности перед правительствами Антанты встала другая, внутренняя опасность — проникновения большевистского микроба в сознание утомленных, обездоленных, потерявших душевное равновесие рабочих и солдатских масс. Особенно остро это ощущалось в Англии, где начало 1919 года было отмечено серьезными беспорядками среди солдат, вспыхнувшими в Дупре и Фолькстоне, а в конце января начались рабочие волнения на Клайде, принявшие в Глазго характер настоящего бунта — разграбление лавок, опрокидывание трамвайных вагонов, вооруженных стычек с полицией. Газеты отмечали, что во всех этих беспорядках обнаружилась „некоторая тенденция к большевизму“ ³⁾. В то же время выступает на сцену могущественная организация угольщиков, железнодорожных рабочих и рабочих транспорта — так называемый „Тройственный Союз“, проповедующий лозунг *action directe*, чтобы принудить правительство отозвать английские войска из России и отменить билль об обязательной военной службе ⁴⁾.

19-го февраля после новых беспорядков среди солдат военный министр Уинстон Черчилль, ярый сторонник интервенции, произносит речь в Mansion House, имеющую цель успокоить солдат. В ней он самым решительным образом отрицает слух, что Англия держит большие армии в России. „Если Россия может быть спасена, то она должна быть спасена Россией же“ — заявляет он ⁵⁾.

¹⁾ A. R. 1919. I, 14.

²⁾ A. R. 1919. I, 217.

³⁾ A. R. 1919. I, 5 — 6, 9, 10 — 11.

⁴⁾ A. R. 1919. I, 22, 23, 25.

⁵⁾ A. R. 1919. I, 11-12.

Но несмотря на все эти заявления, Англия продолжает деятельно проводить политику „санитарного кордона“ с целью отогнать большевиков от морей вглубь Московии. Так, после взятия большевиками Онеги (июль 1919 г.) в Архангельск посылаются новые контингенты во главе с сэрм Роулинсоном (Rawlinson); в то время как Колчак начинает терпеть поражения — 9 июня теряет Уфу, 14 июля проигрывает сражение под Екатеринбургом, щедрая помощь начинает оказываться генералу Деникину, развертывающему широкое наступление с юга.

Даже сам пацифист-премьер утрачивает свое мирное настроение и проповедует скрытую интервенцию, как показывает его апрельская речь в палате общин. Он снова начинает с утверждения, что военная интервенция была бы актом большой глупости (an act of great stupidity), так как он скорее предпочел бы видеть Россию большевистской, чем Британию банкротом, ибо последнее обозначало бы для нее вернейший путь к большевизму. Но союзники будут попрежнему стоять за своих друзей, которые и впредь будут получать помощь военным материалом для поддержания действительной борьбы против вторжения большевиков в Балтийское море ¹⁾.

Но Черчилль был всегда откровеннее своего премьера. Во время обсуждения военной сметы 29 мая 1919 г., он обрисовал, между прочим, положение России, ожидающей скорого падения большевиков. Сильная армия волонтеров в Архангельске успешно отражает все атаки и пребывает в хорошем состоянии духа (in high spirits). Он напоминает, что Англия имеет обязательства от антибольшевистских правительств, что непосредственно за их победой воспоследует созыв Учредительного собрания на демократических началах ²⁾.

Политика „санитарного кордона“ продолжалась, впрочем, не долго. Впереди был новый перелом в отношении к русскому вопросу, на этот раз оставивший метод активной интервенции и выдвинувший излюбленное средство союзников, испытанное уже на германских желудках — борьбу с революцией одной блокадой. (Со середины сентября 1919 года) ³⁾.

Книга Уорда не захватывает этого периода, а потому здесь мы должны остановиться... Уорд покинул Сибирь, когда Колчак еще одерживал победы и находился на вершине своего могущества. Дело было сделано, и Уорд был относительно спокоен за „русское будущее“, как может быть спокоен человек, до конца исполнивший свой долг. „Выход намечался сам собою, — говорит он, — террористы в Москве, конституционалисты в Омске“. Уорд забыл здесь о фатальной предопределенности великих революций...

Но даже после крушения диктатуры Колчака, когда советская власть снова установилась в Сибири, Уорд оставался верен своим взглядам, всё еще отстаивая идею „честной“ интервенции со скамьи депутата палаты общин.

¹⁾ A. R. 1919. I, 55 — 56.

²⁾ A. R. 1919. I, 69.

³⁾ A. R. 1919. I, 133.

В этом отношении речь, сказанная им на заседании 17 ноября, является только повторением „общих размышлений“, заключающих его записки: „мы двинулись в Россию, преследуя свои собственные цели, но приняли на себя торжественные обязательства по отношению к лояльным кругам русского населения, которых теперь мы не имеем права оттолкнуть от себя, после того как опасность, угрожавшая нам, миновала“.

* * *

Было бы очень нетрудно показать, как плохо понимает Уорд экономические и социальные вопросы русской действительности, с какой наивностью он судит, например, об аграрных отношениях в Сибири, о положении рабочего класса, об исторических корнях революционной борьбы, закончившейся социальным переворотом. Эту благодарную задачу можно предоставить людям, которые считают себя компетентными в этих вопросах.

Нашей задачей было показать, что есть ценного в записках полковника Уорда, если к ним подойти не как к политическому памфлету, затрагивающему самолюбие той или иной партии, а как к историческому документу, повествующему об одной из самых трагических страниц в жизни Сибири.

Уорд был маленьким агентом грандиозного комплекса материальных и духовных сил, который именуется Британской Империей. Поэтому и записки его требуют освещения так сказать извне, со стороны тех задач, которые преследовала Англия в русском вопросе, сталкиваясь на этом пути с целями и стремлениями других заинтересованных держав. Вдвинуть суждения Уорда в рамки международных отношений того времени, показать Сибирскую эпопею в разрезе противоречий „большой“ мировой политики и выявить истинные мотивы интервентов — вот необходимые предпосылки для понимания таких субъективно достоверных памятников, каковыми являются только что рассмотренные нами записки.

И. Полов-Ленский.

„Взволнованные лоботрясы“.

2. „Лоботрясы“ за работой¹⁾.

В первые месяцы 1881 г. самым популярным занятием среди сановников у дел и не у дел было составление записок и проектов о реформе государственной полиции. После удачного покушения 1 марта авторитет тайной полиции был чрезвычайно подорван; руководители ее чувствовали за собой вину и испытывали временно некоторую растерянность. Поэтому идея параллельной тайной полиции из добровольцев не встретила с самого начала никакого сопротивления. Официальная полиция покорно шла им навстречу, хотя решительно никакими законами взаимные их отношения не регламентировались. Но очень скоро профессионалы политического смысла оправались и умело использовали ошибки дилетантов. Священная дружина против воли своей способствовала восстановлению и укреплению авторитета официальной полиции.

Работа добровольцев не ограничивалась Петербургом и Москвой. В члены священной дружины спешили записаться и высшие административные власти на местах, и путаница получила всероссийский характер. Всюду находились свои собственные лоботрясы, принимавшиеся с величайшим рвением за сыск. Вот с каким письмом обращался, например, небезызвестный М. Аванчевский, — тогда исп. должн. саратовского губернатора, к местному какому-то члену дружины:

„Милостивый государь Валентин Михайлович! На основании ст. 491 т. II, ч. 1. Св. зак. изд. 1876 г., заступая место губернатора, отправляя его должность как бы я он сам, я нашел необходимым поручить Вам следующее:

В силу правительственных распоряжений противодействие крамоле может совершиться с особым успехом, когда усилия полиции будут поддержаны общественным содействием и в особенности дворян-владельцев.

Причисляя Вас к числу тех добронадежных, охранительных сил губернии, которые вполне благотворно могут на себя взять и исполнить великую современную задачу России — охрану престола и отечества от темных влияний, и помочь нашему государю-батюшке в уничтожении всякого посягательства

¹⁾ См. „Былое“, № 25.

на самодержавную власть, — поручая Вам, милостивый государь, во исполнение части великой нашей общей задачи, отправиться в Вольский уезд — участвовать при передаче своих обязанностей нынешним исправником Кадыановым помощнику его Логиннову; собрать всеми путями с должной осторожностью и предусмотрительностью сведения о противоправительственной деятельности г-на Фролова, и найти все нити, которыми он действует вредно на здоровые и верноподданнические чувства крестьянства. Насколько вредно влияние раскола на преданность церкви православной и власти самодержавной; как действует богатство некоторых личностей на развитие бесконечных и неограниченных стремлений в экономическом улучшении народа, и как велико в народе предпочтение деньгам и их силе пред силой законной власти.

Не предпреляя ни один из этих вопросов, я рассчитываю единственно в успехе возложенного поручения на природную и врожденную принадлежность Вашу к дворянству, первую и надежнейшую опору престола. Прошу принять уверение в совершенном почтении и преданности. Матвей Азанчевский⁴.

Этот документ помимо всего прочего примечателен силой и яркостью выраженных в нем дворянских тенденций. Хотя священная дружина учреждалась только для борьбы с революционным движением и для охраны особы царя, но в глазах ее некоторых участников она была и классовым дворянско-помещичьим союзом для борьбы с буржуазией и для охраны особых дворянских привилегий. То, что провинциальный дворянин Валентин Михайлович выражал наивно и несколько грубо в виде прямой диктатуры саратовских дворян над всем населением своей губернии, изысканный и вышощенный барин, граф П. П. Шувалов, облакал в более тонкую и европейскую форму своего проекта „конституции“ с палатой русских хордов на английский манер. Однако, где тонко, там и рвется. Александр III вовсе не расположен был стеснять себя конституцией, — хотя бы и хордов; а кроме того, и хорды-то были не хорды, а лоботрясы, — что вскоре и обнаружилось. Легко себе представить путаницу, какая должна была получиться в головах уездных властей при появлении „Валентина Михайловича“, который, собственно, и звания никакого не имеет, но снабжен огромными и таинственными полномочиями. Несколько труднее представить себе положение безответного населения, над которым Валентин Михайлович получил полную возможность бесконтрольно и безнаказанно куражиться. Подвиги их потонули бесследно в океане российского дореволюционного провозвола. Выло — и прошло. И прекратилось не потому, что народ наконец не стерпел и возопил, — об этом нам ничего неизвестно — а не стерпела и возопила полиция. Ее голос был в конце концов услышан, и началась, — по современной терминологии, — „нормализация“ самодержавно-полицейского режима.

Лоботрясы в Петербурге взялись за дело энергично и сразу же открыли три нелегальные типографии. Успех чрезвычайный; о нем немедленно доложили царю, который с глубоким интересом следил за всеми деталями сыского дела. В Ковенском пер. в д. № 9 в квартире студента Ворововского по ночам

постоянно слышен был стук. Полиция эвентически отнеслась к доносам агентов священной дружины, потому что нелегальные типографии технически тем и отличаются от легальных, что при работе не стучат или незначительно стучат. Однако, все же ночью в соседнюю квартиру забрался наряд полиции и добровольцы-дружинники с приставом Живоглазовым во главе. Затаив дыхание, прислушивались. И среди ночи, когда раздался стук, ворвались в злополучную квартиру, — и нашли грудного младенца в колыске... Так об этом и доложил министру внутренних дел петербургский обер-полицеймейстер: „Для окончательного разъяснения этого вопроса на следующую же ночь был назначен пристав Живогладов находиться в той же квартире, из которой можно было слышать стук, с тем, чтобы когда он снова начнет, пристав вошел в квартиру вместе с агентами (св. дружины) в виде понятых и разъяснил причину этого стука. Так и было сделано, при чем оказалось, что стук происходил от тележки, в которой укачивали грудного ребенка Вороновских“.

Не лучше вышло дело и с другими двумя типографиями. Это были, впрочем, настоящие легальные типографии, одна на Николаевской ул. в д. № 20, а другая на Московской ул. в д. № 7. Св. дружина открыла, что в первой печатается „Черный Передел“, а во второй „Народная Воля“. На Николаевской ул. по окончании работ в типографии приходят туда какие-то люди и остаются там поздно, и одна женщина, — знакомая дружинника, — собственными глазами видела, как из второй типографии выносили пачки с надписью „На... Воля“. Полиция была поднята на ноги, началась усиленная слежка, но после долгих наблюдений обер-полицеймейстер должен был сообщить министру: „... оказалось, что лиц, приходящих по ночам, никаких нет, но все-таки, для большего еще убеждения в том же доме, недели две тому назад, нанята комната, в которой помещается агент от св. дружины и агент от Секретного отделения. Подлежному удалось сойтись с горничной г-жи Розенталь (содержатель типографии), от которой и узнано, что по четвергам у г-жи Розенталь бывает вечера и гости сидят у него очень долго. Эти вечера по четвергам и послужили основанием к подозрению о существовании там тайной типографии“. Наблюдение тем не менее не было прекращено, и на докладе о типографии Розенталь имеются пометки Александра III, свидетельствующие о том, что самодержец всероссийский с глубоким интересом следил за успехами агента у горничной Розенталь и за успехами журфиксов у ее господ. А тайной типографии так и не нашли.

Долго следили и на Московской ул. А потом полиция выяснила, что подруга дружинника, некая Безрукавникова-Соколова, была прежде любовницей домовладельца Казакевича и была этим Казакевичем в лучших своих чувствах оскорблена. Донос ее был явно клеветническим измышлением. Наблюдение никаких следов преступной деятельности Казакевича не открыло, и все же стояли у дома агенты-навозчики, и поселилась в этом доме агент-женщина „с поручением войти в более близкое знакомство с Казакевичем“, и полетала полиция несколько раз под всякими предлогами для обыска... Ложные доносы

бывали и раньше, и не один раз полиция кружилась по ложным следам и тратила время и энергию на выяснение ни в чем неповинных людей. Но теперь, когда за дело взялась св. дружина, поводы были явно вздорные, и в глазах полиции нелепость доносов стала очевидна, и проверить их ничего не стоило. Однако, во главе сыска стояли титулованные лоботрясы, и сам царь из Гатчины, никому не доверяя, стремился заглянуть во все черные дворы петербургских домов; полиция поэтому, сбиваясь с ног, принимала участие в опереточном действии, и только между строк в докладах не без иронии указывала на грудного младенца, укачивание которого так потрясло св. дружину.

Открытие св. дружиной тайных типографий имело больше комический характер и никому существенного вреда не причинило. Были, однако, случаи не менее водевильного характера, — причинившие немалую тревогу невольным участникам и жертвам водевиля.

В средних числах ноября агенты св. дружины схватили и арестовали девушку, мирно гулявшую в парголовском парке. Ей заявили, что она Вера Филиппова, — под этим именем полиция известна была Вера Фигнер. Напрасно уверала несчастная перепуганная девушка, что это ошибка, недоразумение, что она местная жительница, дочь врача Македонова, который тут же, в Парголово, уже много лет владеет дачей, что ее знают все окрестные жители и в этом легко удостовериться, — стоит только пойти с ней домой. Никакие доводы не помогали. Девушку с торжеством повлекли в город и сдали в департамент полиции, и царю немедленно с торжеством доложили, что св. дружина удалось схватить знаменитую Веру Филиппову, за которой охотилась тогда вся российская полиция. Для престижа официальной полиции это был, конечно, удар, но с тщательно замаскированным злорадством Судейкин докладывал через несколько дней министру следующее:

По произведенному дознанию оказалось, что задержанная женщина есть дочь врача Марья Михайловна Македонова, то-есть та самая личность, за которую она выдает себя. Факт этот, кроме других лиц, с достоверностью подтвердили местный полицейский урядник Гавриил Моисеевич Косач и проживающий в Петербурге присяжный поверенный Аркадий Покровский и нотариус Закревский, знающие Марью Македонову с малолетства, а равно и отца ее, коллежского советника, служившего врачом при воспитательном доме Парголовского округа.

Независимо от сего дознано, что названный отец Македоновой много лет владел недвижимыми имениями в окрестностях Парголова, а сама она, выросшая в этой местности, чрезвычайно близко известна не только коренным жителям этой местности, но и всем служащим на близ пролегающей железной дороге, так что малейшая попытка агентуры св. дружины к разъяснению сомнений на счет личности Македоновой, если только таковые могли иметь место в данном случае, увенчались бы положительным успехом в самом Парголово и даже с большим успехом и достоверностью, чем здесь в Петербурге.

Наконец Марья Маведонова указана была лично знавшему Вере Филиппову государственному преступнику Меркулову, который не только не признал ее за эту последнюю, но с полным убеждением заявил, что она не имеет ни малейшего сходства с нею"...

Судейкин надевался на св. дружину, но так велик был страх перед лоботрясами, что начальник охраны все же не решился освободить арестованную женщину, и она продолжала сидеть, пока не последовало распоряжение министра освободить ее и даже извиниться перед ней. Маведоновой сообщили, "что она была жертвой недоразумения".

В конце ноября 1881 г. "бригадир" св. дружины Мологов, человек по отзыву его же начальства "грубый и мало развитый", сделал сенсационное открытие. В кухмистерской Вишнякова на Надеждинской ул. д. № 33 революционеры собираются почти открыто днем и вечером, обсуждают свои дела и явно готовят восстание или покушения, потому что один революционер громко заявил: "взрыв готов". Началось наблюдение, в котором принимал участие и дружинники постарше чином и званием — из любви к искусству. Оказалось, действительно происходит сборища, на которых революционеры, "бывающие во множестве в кухмистерской Вишнякова", производят не весьма определенные, но "крайне революционные действия". 4 декабря этим делом занялся исполнительный комитет св. дружины под председательством графа И. П. Шувалова. Князь Щербатов сообщил сведения потрясающие. Мало того, что многолюдные сборища происходят под самым носом у полиции, на этих сборищах выступают с речами революционеры, публика поет революционные песни и устраивает бесчинства. Например, студент-медик Соломон Яковлевич Эйнгори публично плевал на портрет Александра II, а затем облил его маслом из лампы... От такого сверх-революционного поступка публика даже растерялась было, но студент Эйнгори стал кричать: "будьте смелее, мы все свои, мы сила!" И тогда вся публика начала петь какие-то совсем неприличные куплеты. Но что еще ужаснее, — среди публики было много офицеров, в том числе и гвардейских, и офицеры эти тоже принимали участие в революционных "действиях". Самое однако непостижимое во всей истории это то, что полиция знает о революционных сборищах и ничего против них не предпринимает. Полиция очень хорошо осведомлена, потому что слугами на этих вечерах бывают переодетые горожане. Это не секрет ни для кого, и меньше всего для революционеров, так что публика прямо кричит: "эй, городской! подай стакан чаю!". Полиция по видимому до того запугана, что не решается разгонять сборища и задерживать революционеров.

Хотя все это походило на нескладный и неумный бред, но исполнительный комитет пришел в волнение чрезвычайное. Надо было немедленно, пока не поздно, в зародыше подавить начинающуюся революцию. Шуваловым или под наблюдением Шувалова была изготовлена докладная записка, изобличавшая одновременно учащуюся молодежь и официальную полицию. Записка

и агентурная сводка пошли экстренно в Гатчину к царю, и начался уже всеобщий переполох. Первым делом, конечно, был арестован студент Эйнгорн, а затем последовал запрос министру внутренних дел гр. Игнатьеву. Министр ничего не знал о революционных собраниях и запросил, с присовокуплением комплиментов от себя, петербургскую полицию и Судейкина. Департамент полиции, перетрусив не на шутку, предписал немедленно арестовать, разогнать, закрыть... Однако, Судейкин и петербургский обер-полицеймейстер генерал Козлов не растерялись и на докладную записку графа Шувалова ответили своей запиской, строго деловой и фактической, с хорошо, однако, запрятанной проиней между строк.

Поддел св. дружину прежде всего снова младенец. Когда арестовали студента Эйнгорна, то оказалось, что у него умер на-днях ребенок, и установлено-было с точностью, что в тот вечер, когда он по сведениям графа Шувалова плевал на портрет Александра II, ребенок находился при смерти и отец неотлучно был у его постели. Мало того. Предъявили несчастного студента агентам св. дружины, и те не признали в нем лицо, плевавшее на портрет. Эйнгорна пришлось освободить; неизвестно, являлись ли и пред ним; вероятно, обошлись без таких тонкостей. Но главный по эффекту номер из романа, сочиненного Шуваловым и Щербатовым, выпал. А Судейкин и Козлов подорвали эффект и других номеров.

Страшные собрания, открытые св. дружиной, оказались превосходно известными всему Петербургу традиционными студенческими земляческими вечеринками. Они всегда существовали, полиция смотрела на них сквозь пальцы и не находила нужным их запрещать, потому что вреда от них не было, а польза некоторая была. Вытовая сторона этих вечеринок хорошо обрисована в докладе генерала Козлова: „1. на этих вечерах от секретного отделения находились агенты из числа учащейся молодежи; 2. на всех вечерах от того же отделения назначалось два агента, которые в качестве официантов прислуживают на вечерах, и 3. назначались еще агенты для прослеживания тех лиц из бывших на вечерах, которые почему-либо обращали на себя внимание... для удобства наблюдения во всех комнатах кухмистерской Вишнякова были сняты все внутренние двери, чтобы не дать возможности в отдельных комнатах делать и говорить что-либо тайно. Оставлена была дверь только в одной комнате, но по отношению ее производилось наблюдение через вентилятор, выходящий на антресоли, где всегда находились еще агенты, которые могли видеть и слышать почти всё, происходившее в этой комнате...“

Описав эту обстановку свободных и непринужденных студенческих вечеринок, генерал Козлов резонно замечает, что серьезные революционеры, имеющие основание избегать встреч с полицией, этих вечеринок не посещают. „В общем,—говорит генерал Козлов,—ничего солидарного между посетителями никогда не было: вечера эти всегда представляли из себя веселящуюся молодежь, при чем большинство всегда танцует, некоторые пьют, а другие просто пьют пиво и вино. На вечерах бывает такой шум и разнообразие, которые никоим образом не допускают до произнесения какого-либо тоста или возбуди-

тельной речи..." Посетители вечеров входят по платным билетам, при чем в распоряжении полиции бывало всегда не менее 25 билетов. Ничего нет удивительного и в том, что среди посетителей бывали офицеры; они приходили со своими знакомыми, так как никакого подбора гостей по направлению на этих вечерах не бывает.

Случались на вечеринках не совсем благонадежные выходы, но всё больше — по пьяному делу". Так; например, 31 октября один из бывших в нетрезвом виде молодых людей, сидя у буфета в обществе пяти товарищей, находившихся в таком же состоянии опьянения предложил выпить за здоровье второго Желябова; двое из сидевших с ним чокнулись, другие трое отказались. Были также случаи, что в отдельной комнате между 8—9 человеками иногда слышались стихи в честь Перовской и Желябова, но всё это делалось настолько тайно, что при приходе нового лица или официанта всё умолкало, и заводился другой разговор..."

Рассеив страх, который нагнала на царя св. дружина, генерал Козлов решительно высказался против запрещения этих студенческих вечеринок. Главный и наиболее убедительный довод его заключался в том, что эти вечера являются полезными в смысле расследования преступной среды." Между тем запрещение их озовет без нужды учащуюся молодежь, вызовет нелегальные вечеринки на частных квартирах и затруднит таким образом наблюдение над студенчеством. Вечеринки кроме того полезны тем, что дают развлечение молодежи, отталкивая вместе с тем учащуюся молодежь от прямого участия в политических делах".

Любопытно, как объяснял полицейский генерал расхождение во взглядах на студенческие вечеринки между ним и св. дружиной. "Разница эта, — докладывал он министру, — заключается, по моему мнению в том, что агентами, наблюдающими за этими вечерами со стороны св. дружины, были по преимуществу староверы, люди, как известно, слишком честные и благонамеренные, до доводящие свой скромный образ жизни почти до монашеской, а потому естественно, что они в обыкновенных танцах и пении молодежи уже видели нечто преступное." Трудно думать, чтобы генерал Козлов или Судейкин писали это совершенно серьезно. Среди агентов св. дружины могли быть и староверы, могли быть случайно и "слишком честные" люди, но в общем св. дружина оставила по себе память среди всяких других подвигов и чрезвычайным пьянством, расточительством и разгулом своих сотрудников и агентов.

Доклад генерала Козлова был представлен царю в Гатчине гр. Игнатьевым 11 декабря. Царь написал на полях: "Эти объяснения Козлова ставят вопрос совершенно иначе". Свящ. дружина потерпела поражение.

В середине 1882 г. московская охранка начала исподволь таять паутину надзора и выслеживания вокруг студента-медика Константина Кондопуло. Предполагалось, что найдены будут нити к московской народофильской организации. Следили систематически, не спеша, так что студент успел окончить

университет и стать младшим полковым врачом. Установили его ^{связи} с находившейся уже под арестом Маковой и добрались, наконец, до ~~мажоран~~ женщины, проживавшей на Колокольниковом переулке под именем Пелагеи Федоровны Любимовой. Охранка успела уже убедиться, что паспорт у Любимовой подложный, успела включить в круг наблюдения и других лиц, но никаких еще существенных данных в своих руках не имела.

Колокольников пер. узкий и небольшой, шпики охранки вскоре убедились, что за тем же домом Гессе, где жила Любимова, наблюдают и другие ~~лица~~ им неизвестные. Тогда началось уже взаимное отслеживание шпики, и у охранки не осталось сомнений в том, что в дело вмешалось св. дружина. Детали этого кинематографического романа нам неизвестны. Но кончается это тем, что и дружинники узнали о нелегальности Любимовой. Тогда они удвоили свое усердие, чтобы все лавры достались им, и увлечение их было так велико, что Любимова и Кондопуло вскоре заметили азартную возню сыщиков в Колокольном переулке. Охранка злилась, но была бессильна. А в один прекрасный день св. дружина заявила, что Кондопуло и Любимова собираются бежать и их надо немедленно арестовать. Кондопуло арестовали, а Любимова скрылась — решительно ничего их изобличающего не нашли, и всё дело, на которое охранка возлагала такие надежды, сорвалось.

В раздражении московский обер-полицеймейстер жаловался департаменту полиции: „...оказывается, что общество это (св. дружина) получило абсолютно ложное сведение о предполагавшемся побеге, или, что конечно вернее, люди, руководящие добровольной охраной, умышленно солгали. Кондопуло решительно и не думал о побеге, а должен был, как это и было мне известно, отправиться в место своего служения в Белевский полк. Я несколько бы не удивился, если бы добровольная охрана подослала кого-нибудь к Любимовой с предупреждением, что за ней наблюдают и что ей необходимо скрыться. Случай этот лишает в моих глазах доверия сведения, получаемые от общества добровольной охраны, и кроме того ставит необходимость прекратить безобразное отношение добровольной агентуры к правительственной.“

Департамент полиции подбирал материал такого рода и выступил, наконец, с прямым обвинением св. дружины в том, что она фактически содействует революционному движению.

3. Доктор Нивинский и его двойники.

В феврале или марте 1882 г. граф П. П. Шувалов получил такое письмо: „Ваше сиятельство! У меня сложилась комбинация, не лишенная, по моему мнению, будущности. Ежели Ваше сиятельство пожелает поставить меня в возможность изложить перед Вами мои соображения, то не будет ли угодно пригласить меня в качестве врача (*pour sauver les apparences*) в какой угодно день с 1 ч. — 5 ч. или же после 9 ч. вечера. Абсолютную тайну считаю необходимым условием успеха. С искренним уважением покорный слуга Доктор Э. Нивинский. Знаменская ул., д. № 11, кв. 1^а.“

Свидание графа Шувалова с доктором Нивинским состоялось. О чем они говорили, неизвестно, но у св. дружины содалось убеждение, что они имеют дело с человеком, чрезвычайно близким к исполнительному комитету Народной Воли, — быть может, даже членом этого комитета и во всяком случае человеком, которому открыты все тайны народовольческой организации. Этот человек выражал солидарность с задачами священной дружины и хотел бороться с террором, — бороться однако не полицейским, а общественным путем. Первая мысль дружинников была, что перед ними революционер, пожелавший проникнуть в св. дружину для своих — быть может и террористических целей. К нему отнеслись с особой осторожностью. Доктор Нивинский, однако, сумел внушить к себе доверие. В присутствии главарей дружины ему был učinен допрос, протокол которого в черновике и, к сожалению, в весьма неполном виде сохранился в бумагах графа Шувалова. Отсутствует как раз начало протокола.

Доктору Нивинскому предложили засвидетельствовать свою благонадежность („хотя бы и относительную“) разоблачением личного состава террористической организации и ее предполагаемых действий. Д-р Нивинский ответил, что „он не шпион и работает не из-за денег и вследствие сего называть имена не согласен“. Нивинский предложил дать сведения анонимного характера, заслуживающие по его мнению полного внимания. Дружинники согласились. Тогда доктор Нивинский дал пространные показания. Он сообщил, что партия Народной Воли выработала новую программу и объединится с Черным Переделом, что решено привлечь известных литераторов в редакцию „Народной Воли“, и четыре писателя уже приглашены; что решено начать „малый правительственный террор“, т.-е. „убийство, отравление или изуродование наиболее важных анти-революционеров, напр. Муравьева, Судейкина и некоторых руководителей свящ. дружины“; одновременно начать „малый фабричный и аграрный террор“, т.-е. поджоги, порчу машин и инструментов, убийство фабрикантов, помещиков и управляющих... Как некоторую новость Нивинский сообщил, что партия решила практиковать „террористический шантаж“, т.-е. „ряд вымышленных заговоров, доведение до сведения полиции о мнимых типографиях, складах и лабораториях“.

Доктора Нивинского спросили, зачем понадобилось революционерам прибегать к таким мистификациям. Он ответил по-французски: „C'est pour les tenir en haleine“ ¹⁾.

Нивинский сообщил, далее, что после каждого террористического акта будут выходить прокламации с мотивировкой убийства, при чем мотивировка будет носить по возможности обоснованный юридический характер... Доктора спросили, почему не было прокламации после убийства Стрельникова. Он ответил довольно невразумительно, что впечатление прокламации требует много времени, шрифт раздается по рукам, и возможно, что в Киеве или Одессе такая прокламация появилась ²⁾. Имена убийц Стрельникова доктор Нивин-

¹⁾ Чтобы держать их (правительство) в беспокойстве.

²⁾ Прокламация Исполнительного Комитета партии Народной Воли по поводу убийства генерала Стрельникова появилась 2 апреля 1882 г.

ский отказался назвать, но заявил авторитетно, что разыскиваемый Халтурин во всяком случае к убийству отношения не имел.

Все эти сообщенные Нивинским сведения особого интереса для свещ. дружины не представляли. Более сенсационный характер имели следующие сведения, которые мы приводим здесь полностью по протоколу. В дезах св. дружины доктор Нивинский, между прочим, нередко фигурирует под именем д-ра Енинского. Это или описка или весьма примитивная конспирация.

Доктор Нивинский рассказывал, что партия Народной Воли имеет в виду: „предложение правительству компромисса в смысле прокламации от 2-го марта (1881 г.), но в более мягкой форме.

Если в течение месяца не будет получено ответа, — убийство великого князя Владимира Александровича.

Примечание: на вопрос, почему именно Владимира Александровича, получен ответ, что великого князя считают представителем „репрессивной политики“ и что партия весьма опасается его влияния на государя.

После сего, в течение двух месяцев — полное затишье и со стороны партии одна только литературная работа.

Предложение правительству второго компромисса.

Если в течение означенных двух месяцев не будет получено ответа, — ряд покушений на жизнь государя императора.

На вопрос, предполагаются ли покушения на жизнь его величества ранее коронации, д-р Е. заметил, что невозможно отвечать за действия отдельных фанатиков, но что партия решилась прибегнуть к царубийству лишь в крайнем случае, т.е. согласно вышеизложенной программе. Эту программу предполагается привести в исполнение с тем расчетом, чтобы царубийство непременно совпадало с коронацией“.

Далее следует рассуждение доктора Нивинского о том, почему оказалась неудачной „катастрофа 1 марта“ и мелкие сообщения, не представляющие особого интереса. Центр тяжести показаний Нивинского в этой разработанной народовольцами программе компромиссов и ультиматумов. Она произвела на руководителей свещ. дружины подавляющее впечатление. Исполнительный комитет св. дружины занялся обсуждением информации Нивинского, и нет сомнения в том, что обстоятельный доклад по этому вопросу был сделан Александру III.

Личность доктора Нивинского не освещена в литературе. Он загадочно появляется и так же загадочно исчезает, не оставив после себя никаких следов. Он преследовал какие-то свои цели, выдумывая фантастические сведения о программе и планах исполнительного комитета народовольцев. Был ли это просто Хлестаков, или авантюрист с какими-то своими дерзкими и нераскрытым планом? В революционных кругах никто его не знал, но он повидимому имел некоторое отношение к польским социалистам. Какие-то обрывки сведений из революционного подполья к нему доходили; пользуясь ими, он сочинил ту программу деятельности народовольцев, которая так поразила св. дружину. Критическое отношение к информации д-ра Нивинского могло бы

сразу обнаружить, что вся она состоит в сущности из общих мест; но на критическое отношение к событиям и к сведениям священная дружина была неспособна. „Взволнованность“ была отличительной чертой ее психологии. Они взволновались и поверили.

Правда, прошел и месяц, и другой, а никаких ультиматов революционная партия не представляла и предложений с компромиссами не делала. Народовольцы вообще замолчали. Причина этого молчания теперь известна: организация была полностью разгромлена. Но правительство и общество в эти дни чувствовало тревогу и загадочность, и царь всё не решался назначить день коронации. Что делал в эти месяцы доктор Нивинский, неизвестно; сношения его с Шуваловым не прекращались, и он настолько успел войти в доверие, что был принят в члены дружины. В бумагах графа Шувалова сохранился подлинник данной Нивинским при поступлении в дружину подписки: „поступив в добровольческую охрану его величества, я обязуюсь приложить все зависящие от меня меры к предупреждению преступных действий, направленных против священной особы государя императора. Я вступаю в ряды людей, не преследующих чьих-либо политических убеждений, но лишь действия, признанные преступными законодательствами всех цивилизованных народов. Доктор Эдуард Ипполитович Нивинский“. Подписка эта и по форме и по содержанию отличается от обычной присяги дружинников. Доктор Нивинский выговаривал для себя какую-то свободу своих политических убеждений и не желал, повидимому, смешиваться с другими сотрудниками священной дружины, менее щепетильными.

Дальнейшая история карьеры доктора Нивинского рассказана В. Я. Богучарским в книге „Из истории политической борьбы в 70-х и 80-х г.г. XIX в.“ (гл. 11 и 12). Д-р Нивинский появляется внезапно в Женеве у Драгоманова и выдает себя за представителя влиятельной группы земцев, уполномоченного вести переговоры с Народной Волей о прекращении террора. Драгоманов направил Нивинского в Париж к Лаврову, и вместе с Лавровым и Ошаниной (Полонской) Нивинский выработывал известные условия исполнительного комитета, предъявленные через „земцев“, т.-е. через священную дружину, правительству. Происходило это в июле — августе 1882 г. Лавров переписывался затем с доктором Нивинским, который приезжал в Париж вторично в октябре того же года; а потом звезда священной дружины стала закатываться, из переговоров ничего не вышло, хотя их продолжал вести Николаев с Верой Фигнер и Тихомировым. Доктор Нивинский бесследно исчез, и с тех пор имя его ни разу нигде не всплывало.

О переговорах своих с Нивинским П. Л. Лавров впоследствии рассказывал довольно подробно; сообщили кое-что и М. П. Драгоманов и Вл. Дебогорий-Мокриевич, принимавшие только косвенное участие в попытке соглашения между нивинскими земцами и народовольцами. Молчала до сих пор только другая сторона, — священная дружина. Теперь начинает говорить и она, и перед нами довольно пространный доклад, озаглавленный: „отчет о поездке в Женеву и Париж“. Доклад подписан условным номером „13013“. Члены св. дружины, или „братья“, имели, кроме конспиративных кличек, условные номера.

Основные данные доклада совпадают в общем с рассказом Богучарского. Автор доклада был сначала у Драгоманова, потом у Лаврова. Встречи и переговоры относятся к концу лета и началу осени 1882 г. Разговор шел об условиях прекращения террора, и условия эти, продиктованные Лавровым, автором доклада были подписаны. При разговорах с Лавровым присутствовала не раз женщина, которую № 13013 называет Лаврентьевой. Среди других условий была и выдача исполнительному комитету народолюбцев значительной суммы на созыв съезда. Автор доклада выступал от группы влиятельных либеральных земцев, имеющих связи и при дворе. Словом, перед нами доклад, подтверждающий от имени свящ. дружины рассказ Лаврова о переговорах с Нивинским, но... Есть весьма существенное „но“: этот доклад принадлежит не доктору Нивинскому. Всё то, что Лавров приписывает доктору Нивинскому, проделывало другое лицо, другой сотрудник св. дружины, который несомненно не доктор Нивинский. Имя этого сотрудника разоблачается подлинной его такой распиской: „Получил от графа Павла Петровича Шувалова семьсот рублей для заграничной поездки по делам Д. О. и заграничный паспорт на имя дворянина Ивана Николаевича Некрасова. 13 июля 1882 г. Н. Клименко. № 13013“.

Н. Клименко это — не псевдоним. Это подлинная фамилия человека, о котором известно, что он киевлянин, владетель небольшого имения в б. юго-западном крае, автор статей по агрономическим вопросам. Мы не знаем, как он попал в свящ. дружину и что он там делал до своего появления в Женеве у Драгоманова и в Париже у Лаврова, но не подлежит сомнению, что он, Клименко, своей собственной персоной был и у того, и у другого и был притом в такое же приблизительно время, когда у них был доктор Нивинский. Проще всего было бы предположить, что Клименко и называл себя зачем-то Нивинским и мистифицировал без особой нужды политическую эмиграцию. Однако, совпадая с рассказом Лаврова в основных чертах, доклад Клименко расходится с ним в весьма существенных и характерных деталях. А в официальных бумагах св. дружины, цитируемых В. Я. Богучарским в его книге, речь идет о командировке доктора Нивинского, и с Нивинским вел переписку и переговоры кн. Щербатов, ведавший вместе с гр. Шуваловым иностранные и высшие политические дела свящ. дружины.

Н. Клименко весьма словоохотлив даже, болтлив, и сообщать полностью его доклад нет нужды. Мы приведем из него только то, что имеет прямое отношение к переговорам с Лавровым. Отчет Клименко неполон, — ему предшествовали письма к Шувалову и Щербатову, из которых только одно сохранилось в архиве. Кроме того отчет и не точен. Клименко говорил не всю правду и не всегда говорил правду. Обманывал он главным образом Лаврова, но, несомненно, обманывал и своих патронов. Шпионская служба к правдивости не располагает.

У Драгоманова Клименко провел два вечера. Нивинский по рассказу Драгоманова уехал в Париж с Дебогорий-Мокриевичем, о чем свящ. дружинне стало известно и из флировки за Нивинским. Клименко о Дебогорий-Мо-

кревиче ничего не сообщает. С Драгомановым он вел пространные беседы об аграрном вопросе в России, говорил о своем личном опыте, о статьях, которые он печатал в „Земледельческой Газете“ и выступал решительно против социализма в деревне. Выдавал себя Клименко за либерального земца, едущего к Лаврову по поручению группы единомышленников, но в планы свои Драгоманова, повидимому, не посвящал. Кончилось тем, что Клименко обещал написать для „Вольного Слова“ статью о положении крестьян, и повидимому ему принадлежит обширная корреспонденция „из юго-западного края“, проникнутая весьма ощутительно антисемитским духом. Антисемитских своих взглядов Клименко не скрывал, но тогда такими взглядами среди социалистов никого нельзя было смутить, и подозрительным по реакционности признаком это не было. Сношения Драгоманова с Клименко, может быть, не прерывались и позже. Среди корреспондентов Драгоманова из Петербурга был некто, подписывавшийся „Н. Некрасов“, — под этим именем Клименко разъезжал по Европе.

Из рассказа Лаврова следовало, что доктор Нивинский сразу явился к нему с определенным предложением. Так оно и должно было быть, для этого и понадобилось посредничество Дебогория-Мокриевнича, который присутствовал на первом совещании. На этом совещании Нивинский сообщил о своей миссии. Клименко в первое свое посещение Лаврова никаких предложений ему от имени либеральных земцев не делал и даже скрывал цель своей поездки в Париж. Вот что он пишет:

„Тот же диспут (что и с Драгомановым: по вопросу о социализме в деревне. — Д. З.), но менее горячий и гораздо менее продолжительный, я имел с Лавровым и некоторыми лицами, которые у него были вечером (от 9-ти до 12-ти). Там был какой-то курский помещик с дочерью и Лаврентьева. Лавров не особенно возражал мне, уверая, что несмотря на различие наших мнений, есть общие у нас желания, на которых и можем сойтись. Отношения с Лавровым установились самые лучшие. Я объявил, что приехал по делу одной железной дороги. Он начал с большим интересом меня расспрашивать и настойчиво начал предлагать свои услуги познакомить меня с одним капиталистом, хотя и сказал, что ничего не понимает в подобных делах. Просил устроить кружок „Красного Креста“, а в особенности надо иметь в виду привлечь к Кресту какого-нибудь богатого помещика. Кроме социализма, я высказался по другим политическим вопросам самым либеральным образом...“ Словом, в первое свое посещение Клименко был для Лаврова либеральным, сочувствующим революции российским обывателем, попавшим за границу по своим железнодорожным делам. Клименко дал Лаврову 20 фр. для „Красного Креста“, получил от Лаврова совет прочитать книгу Шефле о социализме с примечаниями Лаврова, и на этом первый визит закончился.

Второй визит имел место через некоторый неопределенный промежуток времени. Лаврентьева успела за это время побывать в Лондоне и вернуться. И на этот раз у Лаврова были, кроме Клименко, другие посетители (какой

то молодой человек и девушка), была и Лаврентьева. Беседа была повидимому бессодержательна. Клименко о ней ничего не сообщает.

Точно так же не открывал цели своей поездки Клименко и при третьем посещении Лаврова. Шел только общий разговор „о всеобщем недовольстве на правительство среди образованных классов и о полной неудаче правительственных экономических мероприятий с содействием сведущих людей. Клименко сделал, однако, на этот раз Лаврову довольно странное предложение. „Я предлагал Лаврову,— пишет он,— оказать содействие к образованию против еврейских союзов, на что последовал решительный с его стороны отказ, ссылаясь на то, что никаких узких национальных целей они не преследуют“. Любопытно для настроений начала 80-х годов, что самое это предложение не вызвало у Лаврова никакого подозрения в личности Клименко.

Вслед за этим посещением Клименко уехал из Парижа,— мы не знаем, куда и зачем, как не знаем, когда он вернулся.

„По возвращении в Париж,— рассказывает Клименко,— когда я обратился к Лаврову за исполнением его обещания оказать мне помощь в железнодорожном проекте, то уже не встретил с его стороны прежней горячности к этому делу. Мне так показалось, но однако он предложил мне порекомендовать одного финансиста, очень честного человека, с которым я могу иметь дело. Сам же он ничего в этом не понимает и весь свой выигрыш полагает в том, что по его рекомендации я приму на службу людей, пострадавших от правительства... Тут же, объяснив Лаврову финансовую сторону дела, я высказал, что во всяком случае он также будет иметь свою долю и что здесь же найдутся средства и для Красного Креста“. По просьбе Клименко Лавров рекомендовал ему как переводчика на франц. яз. докладных записок и документов политического эмигранта Таксиса. С Таксисом Клименко встречался несколько раз и вел общие политические беседы. Между прочим, Таксису Клименко передал для прочтения вышедший только что пятый номер женевской климовской „Правды“, а вышел этот номер 1 октября. С Лавровым Клименко беседовал и о шестом номере „Правды“, которая вышла 10 октября. И именно в это же время, по словам В. Я. Богучарского, доктор Нивинский находился в Париже, вернувшись из какой-то поездки... Но по Богучарскому д-р Нивинский успел уже в августе договориться об условиях соглашения в то время как Клименко еще в начале октября разговаривал с Лавровым только о железнодорожных делах. Выходит, что доктор Нивинский и Клименко как будто разные лица, находившиеся одновременно в Париже для одной и той же цели. Это, однако, совершенная несуразность. Мы знаем даже, где они жили в Париже. Д-р Нивинский в августе жил в Hôtel Richmond, Клименко в октябре в Hôtel de Calais, где письма получал, впрочем, не на имя Некрасова, а на какое-то другое имя.

Кроме загадочного доктора Нивинского и его загадочного двойника, появляется теперь на сцене третье загадочное лицо. Это тот самый „очень честный“ финансист, которого Лавров рекомендовал Клименке. Он француз,

по имени monsieur Bardas. В присутствии Лаврова Клименко беседовал с г. Bardas не только на тему о финансировании железнодорожного проекта, но и о причинах „упадка финансового положения России“. Лавров и Bardas доказывали, что всё дело в „политической смуте“, а Клименко возражал, „что упадок зависит больше от экономических причин“. Так было в присутствии Лаврова, а наедине с г. Bardas Клименко обсуждал вопрос именно о том настоящем деле, для которого он приехал в Париж, т.-е. как наладить соглашение с народолюбцами о прекращении террора. Как оказался monsieur Bardas посвященным в планы св. дружины, нам неизвестно. Но в своем докладе Клименко не считает нужным это разъяснять, — стало быть, графу П. П. Шувалову это было совершенно ясно. В одном уцелевшем своем письме к Шувалову из Парижа Клименко пишет:

„Bardas продолжает меня уверять, что с Лавровым можно сойтись, что он патриот, в виду этого я просил Лаврова назначить мне вечер для беседы. Я буду с ним говорить как человек земского союза, и хотя в предыдущем письме я сообщал, что не знаю, что делать дальше, однако сделаю попытку убедить Лаврова в том, что образование у нас политической партии делает террор не только бесполезным, но даже вредным, особенно в виду предстоящей, может быть, войны с Германией и, вероятно, одновременно с этим и с Китаем. Выставляю заслугу их партии, но с тем, чтобы затем высказать суровое осуждение их образу действий; выскажу, что не только в образованных классах, но и в народе поднимается против них реакция. Есть на это признаки. Продолжение террора покажет, что партия плоха, не дорожит ни русскими интересами, ни судьбой русского народа, и вся ответственность за несчастный исход будущей борьбы ляжет на них. Таким образом их будут считать чужими. На это Лавров мне может ответить, что он согласен с моим мнением и вполне готов сойтись, но террористы действуют независимо от него. В случае такого ответа я выскажу, что тогда террористы не партия, а какая-то группа людей, действующих не из высших интересов, или же он должен мне указать, с кем я могу говорить“.

Так готовился Клименко к своей роли. Однако, решительный разговор с Лавровым всё откладывал, — повидимому, боялся, как бы не выдать себя. Он вообще трусил изрядно и ожидал террористических против себя покушений в Париже; для этого и предпринимал некоторые меры предосторожности в отеле. Наряду с дипломатическим поручением на него возложено было и прямо шпионское: разузнать состав исполнительного комитета. Некто „А. П.“ просил его доставить сведения „об одной даме, считающейся членом исполнительного комитета“. В этих iniciaлах можно по некоторым признакам узнать А. П. Мальвинского, который был не только надателем „Вольного Слова“, но и высшей категории сыщиком. Клименко под благовидным предлогом от этого поручения уклонился.

Наконец Клименко решился.

„После некоторых предварительных разговоров с г-м Bardas, — пишет он в докладе, — о возможности соглашения с Лавровым, я явился к Лаврову

и объявил, что цель посещения — переговоры с ними о политических делах; а так как для этого нужно не менее двух часов времени, то я и прошу назначить мне день и час. Он объявил, что о таких делах он готов говорить всегда и всегда на это имеет время; затем запер свою дверь и вывесил карточку, что его нет дома.

Я начал так: я приехал сюда по известному вам своему делу, но некоторые земцы, зная мое прежнее знакомство с Чернышевскими, решились просить меня войти в сношения с вами и попытаться, — нет ли возможности с вами, как главою партии, сговориться, чтобы прекратить террор и дать этим возможность им действовать; но для этого необходимо знать, имеет ли партия достаточную дисциплину, иначе невозможно было бы с нею договориться. Я слышал от адешних русских, что все террористы действуют вразброд, кружками, между которыми нет никакого согласия; наконец, вы сами мне говорили, что не занимаетесь террором, даже лично не одобряете, и что этим заняты совершенно самостоятельно террористы, находящиеся в России. Вот хоть и тут, у вас на столе, как я вижу, лежат номера „Правды“, — газеты, выражающей совсем не ваши идеи. Лавров при этих словах привстал, покраснел, сделал движение рукой, выразившее негодование, и сказал: „это чорт знает что“, — а затем спросил меня: „о чем же вы хотите говорить?“...

„На вышезаданный вопрос, — продолжает Клименко, — я изложил ему положение дела в России, безвыходность в виду упорства с одной стороны правительства, а с другой — террористов, говорил об ответственности, которая падет на последних в случае какого-нибудь внешнего несчастья. Земские люди в виду террора ничего не могут делать, они должны стоять на стороне правительства. Государю гораздо опаснее сделать уступку вам, нежели подвергаться опасности от вас. Никто из разумных людей не допустит, чтобы террор сделался орудием на будущее время для достижения политических целей и пр. Единственный выход мог бы быть, если бы земские люди взяли на себя почин, но для этого прекращение террора есть *conditio sine qua non*. Два человека, из лично знакомых мне земцев, которых по именам я знаю в числе около 10 человек, поручили мне переговоры с вами об условиях прекращения террора. Когда я окончил свою речь, Лавров с некоторою гордостью начал обвинения против правительства, высказав, что Исполнительный Комитет писал письмо к государю, обещая прекратить террор, если он выполнит условия, им предложенные, и что отправляясь от этих только условий можно начать переговоры с земскими людьми... Лавров объявил мне, что там есть только два пункта существенных требований, и спросил меня, согласен ли я, что нужно добиться учредительного собрания с преобладающим числом представителей от „собственно“ народа, общей политической амнистии, свободы печати, слова и сходок. Затем земские люди должны всеми силами противодействовать изданию учредительным собранием закона о социалистах. Он объявил, что террористы могут прекратить или приостановить свою деятельность только на таких серьезных условиях, так как вся сила их основывается на энергии, которая во всякой приостановке будет слабеть и кроме того лишит их

материальных средств; следовательно, со стороны земцев должна быть оказана и материальная помощь.

Затем Лавров продолжает: что касается организации партии, то я должен вам сказать, что в последнее время мы сошлись с партией Черного Передела, и если есть какие-нибудь отщепенцы, то это дело обыкновенное во всех подобных случаях. В отношении соблюдения условий вы можете полагаться на мое личное обещание; они мне верят и меня знают, хотя я и не член Испол. Комитета; я же не могу полагаться на вас, потому что вас не знаю. Для переговоров и постоянных сношений мы выберем или найдем кого-нибудь из вас, может случиться, какого-нибудь профессора. Во всяком случае, для окончательного решения придется созвать съезд, на что потребуется от 2 до 3 т. р. денег. Можете ли вы их дать? Я ответил—можем, если ваши предложения будут приняты. На все основания программы соглашения я выразил согласие, чтобы дать Лаврову возможность (?), ограничившись лишь напоминанием, что решать окончательно буду не я и что „запрос в карман не лезет“, а затем, что разбор оснований, точные их границы и практический способ осуществления земской деятельности или предположений во времени будут обсуждены при заключении договора.

Когда дело дошло до помощи, я указал как на источник наших средств на железную дорогу, из которых известная доля будет принадлежать и Лаврову. На это он возразил, что нам дела нет, откуда вы возьмете средства, а о железной дороге, пожалуйста, никому не говорите ни слова.

Говоря об энергии партии, он во время настоящего свидания, как равно и следующего, несколько раз повторил, что мы можем ожидать, мы готовимся всегда и сподволь, иногда и долго, по мере средств, а когда всё готово, наносим удар. При этом свидании он меня спросил с сороговоркой: есть ли что-нибудь общее между вами и лигами либеральной, земской и разными охранами? Я ответил: думаю, что нет, знаю же только 10 лиц, и то по именам, из которых только двух лично. Все же эти господа не слушающие.

В следующее посещение я прежде всего заговорил о железной дороге, как о таком источнике средств, которым пренебрегать никак не следует в различных видах, как прямо денежных, так и в смысле помощи пострадавшим от гонения. Вообще я старался немного поэтизировать участие его в деятельности по железнодорожному делу.

Для такой натуры, как Лавров, требуется большая деятельность, он обладает при том большим умением подчинить себе молодых людей простотой и искренностью обращения, легкими дружелюбными упреками, снисходительностью и демагогическим азартом, наконец обаянием ученого.

Во время разговоров Лавров меня спросил; что же вы сделаете, если на адреса земств, которые вы предполагаете подать, ничего не ответят? Я сказал, что мы имеем возможность поднять население к восстанию, что вам это не могло бы удаться, а мы это можем сделать. А войска? Войска будут бездействовать также, как во время еврейских погромов. Он ответил мне

несколько таинственно: важнее всего вести пропаганду в войсках, мы это и делаем, на это и обращаем всего больше внимания.

Лавров выразил желание поторопиться действием... Видя на моем лице смущение и выражение неудовольствия, когда я писал под его диктовку условия, здесь прилагаемые (условий в бумагах нет. Д. З.), Лавров спросил меня несколько раз, не имею ли я чего возражать? Я ответил, что предпочитаю не входить в обсуждение его условий, а доставить их своим товарищам, как они есть. Затем, когда я кончил, он повторил тот же вопрос, и на случай, если я найду нужным возражать, назначить через день время от 11 до 12 ч. пополудни. Я не воспользовался этим, чтобы не испортить дела, окончательные цели которого мне не были известны, а возражать это значило — в том состоянии духа, в котором я находился, — окончательно порвать с Лавровым.

Вот в существенных своих частях доклад Н. Клименко. Он не оставляет никаких сомнений в том, что именно с автором доклада Лавров вел переговоры и вырабатывал условия соглашения. Доклад разъясняет некоторые обстоятельства, которые были непонятны В. Я. Богучарскому. Так, напр., „почему-то“, по выражению Богучарского, в проекте соглашения слова „земская лига“, которые были в черновике, набросанном Лавровым, заменены словами „партия либеральных земцев“. В своем докладе гр. П. П. Шувалову Клименко говорит, что он отрицал свою принадлежность к земской лиге, и выступал от имени каких-то десяти либеральных земцев. Пункт 8 „соглашения“ и заключает в себе условие предъявления Исполнительному Комитету списка десяти лиц, „более или менее известных, уму и честности которых Исполнительный Комитет мог бы доверять, даже не имея прежде с ними сношения“.

В. Я. Богучарский, далее, предполагал, что у Лаврова было сообщение Нивинского, „вероятно, письменное“, о заметках, которые появились в климовской „Правде“, и ответом на это сообщение явилось письмо Лаврова представителю „Земской Лиги“ с такими, между прочим словами: „...можно ли ожидать от них (от „либеральных земцев“), как группы чего-нибудь решительного, если они пугаются всякого вздора, написанного в какой-то ничтожной газете?“ Из доклада Клименко мы знаем теперь, что „Правда“ лежала во время разговора на столе Лаврова, и уже во время беседы Лавров в раздражении отрекался от всякой солидарности с „террористическим“ органом св. дружины. Однако, письмо свое — как бы продолжение этой беседы — Лавров начинает обращением: „Любезный Эдуард Ипполитович!“ — и адресовано это письмо доктору Нивинскому. Да и помимо этого совершенно невозможно предположить, чтобы Лавров одновременно или почти одновременно вел одинаковые переговоры с двумя представителями „земской лиги“ или „либеральных земцев“, вырабатывал одни и те же условия, ставил одни и те же требования... Был только один представитель свящ. дружины, беседовавший с Лавровым. Это доктор Нивинский, он же Клименко. Это так же несомненно, как и то, что в св. дружине существовали, независимо друг от друга, два человека: доктор Нивинский, владелец гидропатического заведения на Знаменской ул., и помещик Клименко, владелец имения в Киевской губ., люди различного

склада натуры и с совершенно различными почерками, в чем не трудно убедиться, сличив их собственноручные подписи.

Был только один представитель св. дружины, приезжавший в августе — октябре в Париж для переговоров с Лавровым. Но тогда выступает разительное, вопиющее противоречие между рассказом Лаврова и Дебогорий-Мокриевича, с одной стороны, и рассказом Клименко Нивинского — с другой. Дебогорий-Мокриевич подробно описывает первую встречу, даже то, где кто во время разговора сидел. По словам Деб.-Мокриевича Нивинский сразу же сообщил, что он послан „земской лигой“ и „добровольной охраной“, назвал имя графа Шувалова и с самого начала повел речь об условиях соглашения. И в этот же первый вечер говорили и о прекращении террора, и о гарантиях, и о посредничестве известного „профессора“, и о выдаче значительной суммы денег...¹⁾ И никакого разговора не было о железнодорожных делах и об „очень честном“ финансисте г. Bardac.

Это основное противоречие можно объяснить только тем, что Нивинский-Клименко беспардонно лгал в своих письмах гр. Шувалову и Щербатову и старался в своих личных целях затянуть переговоры, безнадежность которых должна была стать ясной для него в первый же день. Подлинная цель поездки агента св. дружины была в „глубокой разведке“. Петербургские лоботрясы полагали, что народovolьцы легко пойдут на удочку, вышлют своих делегатов и раскроют планы. Возможно, Шувалов и Щербатов верили в мифические революционные связи Нивинского. Можно допустить, что не доверяя самому доктору Нивинскому, который мог предать св. дружину народovolьцам, гр. Шувалов и его товарищи решили использовать имя доктора Нивинского, и под видом этого „революционера“ поехал для переговоров более надежный Клименко.

Первая же встреча убедила Клименко-Нивинского, что никого из действующих в России народovolьцев он не увидит, никаких планов не узнает и вообще ничего не достигнет, пока не откроет в свою очередь тайны св. дружины. Возможно даже, что посланец св. дружины кое-что о тайне своей и проболтал. Но в тайны народovolьческой организации ему не удалось проникнуть. Чтобы не возвращаться с позором в Петербург, оставалось некоторое время морочить обе стороны. Графу Шувалову Нивинский-Клименко сообщал, что никак невозможно прямо заговорить с Лавровым, а надо подготовить почву, втереться в доверие и т. д. Для этого понадобились и железная дорога и г. Bardac и т. п. А Лаврову Нивинский-Клименко сообщал, что „либеральные земцы“ обсуждают и рассматривают условия и никак не могут на них согласиться.

Эта канитель тянулась почти четыре месяца. И „глубокая разведка“ дала только такие, весьма жалкие, результаты. „Из бесед моих с Лавровым — писал Клименко — я вывожу следующее замечание: 1) партия стеснена воз-

¹⁾ Вл. Дебогорий-Мокриевич. К вопросу о переговорах Исполнительного Комитета Народной Воли с Добровольной охраной. Былое, 1907. 4.

возможностью действовать в настоящее время. 2) Средства у них плохи. Может быть, я и ошибаюсь, и этому противоречат повидимому предложенные Лавровым условия, но ведь запрос в карман не лезет"...

Для выводов такого рода не стоило ездить в Париж. Их можно было состряпать и на месте.

Неудача не обескуражила лоботрасов. Они продолжали верить, что соблазн пустого обещания раскроет им дорогу в исполнительный комитет народолюбцев. Была сделана вторая попытка встречи с членами исполнительного комитета — действующими в России. Эта попытка связана с именами Н. Б. Михайловского, В. Фигнер, Тихомирова с одной стороны и Н. Николадзе — с другой. Но и эта попытка ничем не окончилась... а в это время Судейкин уже прокладывал себе путь в исполнительный комитет через Дегаева. И, может быть, этот успех конкурента св. дружины послужил наиболее существенной причиной ее ликвидации.

3. Ликвидация.

Полицейская кампания против св. дружины велась исподволь, систематически, путем постепенного накопления уличающего ее материала, путем умелого использования каждого ее нечеловеческого шага. Но выступать открыто против св. дружины полиция долго не решалась; это значило бы выступить против царя, против великих князей, против Победоносцева и министра двора. Граф Игнатьев пытался повлиять на Победоносцева и в октябре или ноябре 1881 г. писал ему: „Для того, чтобы вы имели образец печатаемого в „Вольном Слове“ на деньги и под руководством пресловутой „дружины“, посылаю вам последний № этой газеты, редактируемой с мнимой целью „ловить нигилистов“, „охранять правительство“ и „подрывать революционную прессу“... Если желаете, дошлю вам другие №№ этой газеты, о которой очень заботились мнимые охранители“. Граф Игнатьев успеха не имел. Вряд ли Победоносцев нуждался в присылке ему „Вольного Слова“ из департамента полиции. Он наверно имел возможность получать эту газету более прямым путем.

Только в конце 1882 г. Судейкин нашел возможным выступить открыто против дружины и нанести ей удар прямо в лицо. 24 ноября „Новое Время“ впервые назвало в печати имя тайного общества для борьбы с террором и напечатало циркуляр св. дружины, который рассылался по почте разным лицам. Циркуляр был подлинный, но рассылала его на этот раз не св. дружина, и приделан был к циркуляру шутовский конец, приписывавший авторство циркуляра и активную роль в дружине „майору Н. И. Киедусу“ (анagramма Судейкина).

„Новое Время“ благородно негодовало и называло неведомых авторов поддельного циркуляра шантажистами. Слово это перелетало через головы неведомых авторов и попадало непосредственно в дружину. Благородно негодовал департамент полиции и Судейкин, имя которого было использовано для неприличной шутки... В сущности больше всех имела основание негодо-

*

вать св. дружина, которую должно было ошеломить это неожиданное появление в легальной печати ее циркуляра, разоблачение ее тайн, и при том с двойным издевательством, — и со стороны неведомых шутников, и со стороны смиренной заслужившей доверие своим подобострастием газеты. Вышла скандальная история, потушить которую св. дружина была уже не в силах.

В. Я. Богучарский установил в своей книге, что рассылка циркуляра св. дружины и шутовская приписка к нему были произведены с ведома и при негласном участии самого Судейкина. Это был остроумно задуманный и хорошо выполненный провокационный маневр. Суворин и прежде бывал пером министерства внутренних дел; не затруднился и теперь сыграть привычную роль. Он знал, что эта „смелая“, даже дерзкая по тем временам выходка ему ничем не угрожает. Министр внутренних дел гр. Толстой успел уже, видимо, убедиться в том, что царь разочаровался в сыскных талантах его собственной добровольной охраны и от дилетантов шпионажа готов вернуться всецело к профессионалам. В состязании на провокаторскую резвость подполковник Судейкин побил флигель-адъютанта Шувалова.

Пользуясь впечатлением, произведенным статьей в „Новом Времени“, Судейкин немедленно сострепал такой рапорт своему начальству:

„В газете „Новое Время“, от 24 ноября № 2422, появилась статья, в которой приведен текст гектографированного обращения от общества борьбы против террора, при чем: 1) указано, что пожертвования должны высылаться на имя „Манора“ в редакции различных газет, в том числе и „Нового Времени“; 2) приносятся редакции „Нового Времени“ благодарности от общества за то, что будто бы редакция согласилась взять на себя подписку на это общество, и 3) для желающих адресоваться к составителям этого обращения адрес указан на мою фамилию, но только написанную наоборот.“

Такие обращения с указанием моего адреса, без сомнения, были направлены к тому, чтобы все те несообразности и нахальство, вроде объявления, какие редакции взяли на себя прием пожертвований, были приписаны исключительно мне. Если бы такие обращения остались в тайне, то без сомнения они и могли бы достигнуть этой цели, и тем более, что, как известно, такие же точно обращения посылались некоторым высокопоставленным лицам, которые конечно могли только приписывать подобные обращения моей непомерной дерзости. Статья „Нового Времени“, хотя и разъяснила отчасти, что посылка этих обращений не может быть приписываема мне, но, конечно, этот взгляд не может сделаться общим, и останется сомнение по этому поводу. Докладывая об этом, я не могу не просить ваше превосходительство обратить внимание на источник подобных инсинуаций. Вскоре после удачного раскрытия преступного террористического сообщества в Петербурге в июне месяце сего года, в газете „Вольное Слово“ № 41, страница „3—4“ (издаваемой св. дружиной) появилась целая статья, указывающая на те способы и приемы, которые я употребляю для достижения раскрытия преступных сообществ. Статья эта, напечатанная без предварительного соглашения со мною, принесла, конечно, не мало вреда агентуре, подрывая доверие в моих отношениях

к агентам. Не довольствуясь этим, св. дружина заставила перепечатать эту же статью другую, издаваемую ею, революционную террористическую газету „Правду“ и таким образом вредила делу агентуры, раскрывая пред революционерами наши средства и возбуждая против меня фанатизм и молодежь своими статьями вообще и такими эпитетами, как „ехидна“ и „Малюта Скуратов“ и т. п., которыми называла меня св. дружина через посредство своих двух сказанных революционных газет. По напечатании этих статей, я не считал себя в праве делать заключение, что эти статьи идут далее личного нерасположения ко мне, и потому не считал себя в праве возбуждать по этому поводу какого-либо официального заявления. Но последняя выходка, направленная против меня, изменяет существо дела. Месяца полтора тому назад в св. дружине появилось убеждение, что я с целью приобретения агентов послал к известным мне лицам несколько подобных обращений. (Обращения такие в половине октября действительно были посланы к совершенно частным лицам, подходящим по своему характеру, но конечно без всякой клеветы на ту или другую газету и без всяких денежных сборов.) Члены св. дружины сознавали всю важность такого агентурного приема и, конечно, не могли не признать, что таким путем можно приобрести очень много хороших агентов, но вместо того, чтобы оказать мне содействие в этом и через посредство своих членов стараться замаскировать истинное происхождение этих обращений и тем содействовать к усилению агентуры, св. дружина выпустила новое подобно: же обращение, но уже с шантажными прибавлениями, крайне его компрометирующими, и с моим адресом. Из таких действий в связи с предыдущими статьями „Вольного Слова“ и „Правды“, я не могу не прийти к такому заключению, что со стороны св. дружины является систематическое преследование не только моей личности, но и систематическое противодействие всем тем приемам, которые необходимы для успеха в деле агентуры. Происходит ли это умышленное систематическое компрометирование тех мер, которые я предпринимаю как начальник агентуры, из одного только соревнования, т. е. чтобы не дать возможности мне более успешно действовать в борьбе с крамолом, или причины лежат глубже, я пока утвердительно сказать не могу. Но какая бы причина ни была, такой образ действий безусловно вредит успеху и может принести крайне грустные плоды.

Заявляя об этом вашему превосходительству, я вовсе не хочу сказать, что подобные инсинуации исходят с ведома всех лиц, стоящих во главе св. дружины. Я далек от этой мысли, но это несколько не изменяет вопроса, так как члены св. дружины, будучи разнообразны по своим убеждениям, не будучи связаны никакими дисциплинарными отношениями и оставаясь свободными в своих действиях, не могут быть контролируемы высшими чинами, а потому могут совершенно свободно располагать своими действиями не на пользу, но на вред делу. Со стороны же официальной власти, как известно вашему превосходительству, тоже никакого наблюдения быть не может, так как ей не только неизвестны имена членов св. дружины, но даже и лиц, служащих там по найму. — Подполковник Судейкин“..

Рапорт Судейкина был первой прямой атакой официальной полиции против добровольной. За этим последовала докладная записка, поданная министром внутренних дел царю. Вступительная историческая часть записки говорила о том, что зарождение св. дружины было вызвано патристическими мотивами, и вначале существование параллельной тайной полиции могло быть оправдано особыми условиями момента после 1 марта. Но дальнейшее существование дружины „приносит несомненный вред“. „Охрана безопасности, спокойствия, порядка, преследование злоумышленников в государстве составляет прямую обязанность полиции. Помимо правильно организованной полицейской деятельности, нельзя без нарушения коренных основ государственного устройства допустить существование какого-либо частного сообщества, которое бы действовало в указанных выше целях“.

Департамент полиции решительно требовал монополии сыска и провокации.

Докладная записка давала, далее, уничтожающую критику деятельности св. дружины, как розыскного органа: „В то время как с сентября прошлого года мерами государственной полиции в Петербурге и Москве разыскано и арестовано до 75 человек видных революционных деятелей, — св. дружина добровольной охраны успела приобрести лишь сведения о четырех лицах (студенте Судакове, мичмане Лаврове, Екатерине Дическуд и враче Кондопуло), но и в отношении сих лиц деятельность дружины была мало плодотворна, так как органы государственной полиции имели об них точные сведения ранее агентов дружины“.

Затем идет обстоятельный обвинительный акт против св. дружины:

В сознании бесплодности своей практической деятельности в обнаружении и преследовании злоумышленников, св. дружина перешла к другому образу действий и здесь вступила на путь, угрожающий значительным вредом в будущем.

Пользуясь правом полной безответственности в своих действиях и покровом тайнственности, общество начало вести свою пропаганду. Оно основало свою еженедельную газету „Вольное Слово“, в № 41 которой изложило свою программу.

Как программа этой газеты, так ее содержание и способ изложения почти ничем не отличаются от органа революционной партии „Народной Воли“.

Трудно объяснить значение и цель издания „Вольного Слова“, но несомненно, что распространение этого органа, предпринимаемое безответственными агентами дружины, — должно увеличивать массу людей недовольных, плодить новых адептов для революционной партии, практическая деятельность которых будет совершенно ускользать из-под надзора дружины.

Еще вреднее по своему направлению и содержанию другое издание св. дружины, предпринятое за границей, „Правда“, которое отличается всеми свойствами органа террористической партии.

То объяснение, которое дают члены св. дружины в оправдание такой своей деятельности и которое состоит в том, что этим путем они рассчитывают приобрести бессознательных агентов, — служит лишь доказательством незнания

той среды, на которую желает действовать дружина. Никогда никто из людей, склонных к заражению революционными идеями, а тем более идеями террористическими, — а такие только люди и будут охотными читателями поминovaných органов дружины, не попадутся в ловушку, ни расставляемую столь неопытной рукой; они не обратятся в агентов, они ничего не откроют ни о своих истинных убеждениях и целях, не сообщат никаких сведений ни о самих себе, ни о своих близких.

Итак, если деятельность дружины по своим практическим результатам в деле обнаружения злоумышленников была ничтожна, если ее деятельность по пропаганде угрожает вредными последствиями в смысле увеличения контингента людей, зараженных революционным духом; если существование тайного сообщества, состоящего следовательно из лиц, не ответствующих за всё, что они делают — не отвечает коренным понятиям правильного государственного устройства, — то несомненно, что истекший опыт почти двухлетнего существования св. охраны следует признать достаточным для заключения о невозможности дальнейшего продолжения его деятельности.

Ко всему вышесказанному нельзя не привести нескольких указаний на те затруднения, с которыми приходится бороться правительственной полиции, когда наряду с нею действуют неизвестные ей агенты тайного сообщества. Затруднения эти следующие: 1) агенты дружины нередко принимают на себя вид революционеров, и полиции приходится тратить много усилий и времени на напрасное выяснение и обнаружение действительного значения этих мнимых революционеров; 2) агенты дружины неизвестны начальнику секретной полиции: находясь вне контроля, они позволяют себе действовать не в интересах дела, а наоборот; также случалось, что, служа агентами дружины, они принимают те же обязанности перед начальником полиции я, получая деньги из двух источников, вводят в заблуждение оба учреждения, которым служат; 3) агенты св. дружины нередко проживают по подложным паспортам, выдаваемым им помимо полиции, которой приходится обнаруживать подложность документа и тратить бесплодно время для того только, чтобы в конце концов убедиться, что она имеет дело с агентами дружины; 4) агенты дружины, не чувствуя над собою руки опытного и сведущего руководителя, принадлежащие нередко к людям с весьма сомнительным прошлым, часто выходят из пределов деятельности агентов, стараются вызывать на преступления и возбуждают неосновательные обвинения.

Независимо от этого нельзя не указать еще на следующее: 1) члены охраны, считая себя совершенно самостоятельными в принятии тех или других мер по пути следования государя, часто выставляют на путь офицеров в форме и других лиц, которые таким образом заранее как бы указывают направление пути его величества, а тем самым могут невольно помочь осуществлению злого умысла; 2) члены охраны, часто офицеры, отдают различные распоряжения полицейским городовым о воспреещении частным лицам проезда или прохода по той или другой улице, отчего является полное безначалие, только компрометирующее правительственные распоряжения.

Остается разрешить вопрос: может ли существовать св. дружина при той обстановке, как указано выше“.

Вопрос был уже предreshен. Вслед за появлением статьи „Нового Времени“ Александр III на докладе графа Толстого дал устное согласие прекратить деятельность св. дружины. Докладная записка, представленная 30 ноября, была оформлением дела. В дружине, осведомленной об этом, поднялся переполох, но в верхах ее было сильнейшее расстройство. Граф П. П. Шувалов, подавленный видимо неудачами, находился за границей в курорте; впоследствии он перенес тяжкую нервную болезнь. А князь Щербатов успел попасть под следствие по делу о растрате казенных сумм, совершенной несколько лет назад, когда он служил в министерстве путей сообщения. Дружина начала было следствие о том, как циркуляр с подложной припиской попал в печать; может быть, Щербатову удалось бы найти нить, ведущую к Судейкину. Но 3 декабря все нити св. дружины оборвались. Александр III распорядился закрыть ее и все дела передать официальной полиции.

Дел оказалось не так много, и все пустяковые. Среди них, между прочим, дело о правителе дел либаво-роменской жел. дор., кавказском уроженце Николадзе. Св. дружина рекомендовала обратить на него особое внимание, так как „он несомненно, по разнородным внутренним сообщениям, стоит весьма близко к Исполнительному Комитету“ и собрал в пользу „Народной Воли“ около 10 тыс. рублей. Св. дружина ничего однако не сообщила департаменту полиции о том, что Николадзе как раз в это время находился за границей, будучи командирован св. дружиной для переговоров с народо-вольцами о прекращении террора. Вообще о высшей своей политике, о заграничной агентуре, о переговорах с народо-вольцами св. дружина, повидимому, ничего не сообщила департаменту полиции. Петербургский обер-полицеймейстер генерал Козлов, один из наиболее непримиримых и энергичных врагов св. дружины, был в это время переведен обер-полицеймейстером в Москву. И из Москвы, 18 декабря, он писал директору департамента полиции В. К. Плеве о том, что недостаточно прекратить деятельность св. дружины, а надо ее добить, уничтожить возможность с ее стороны мстить и вредить после закрытия, и для этого потребовать список секретных сотрудников. Письмо ген. Козлова не лишено чисто бытового интереса.

„Милостивый Государь Вячеслав Константинович. По имеющимся сведениям, Общество Добровольной Охраны и Священная Дружина прекращают свою деятельность, как в смысле разведывательных агентур, так и организаций, созданных для антипропагандской работы. Прекращение деятельности этих обществ, последовавшее не по их желанию, а по требованию высшей власти, вызвало крайнее неудовольствие среди тех членов, которые были лично заинтересованы существованием в особенности Священной Дружины, принявшей на себя функции тайной полиции. Те баснословно огромные деньги, которые тратились дружиной на розыскную часть, предоставляли многим лицам обильные средства к жизни, заработать которые невозможно не только в правительственных, но и в частных учреждениях. Зная, что агентами дружины

вербовались люди без всякого разбора, что между ними не мало людей с совестью весьма низкого тарифа, людей неспособных ни к какой честной деятельности, — я допускаю возможность всякого с их стороны безнравственного дела, направленного в отнимание за упразднение дружины, против правительственных секретных организаций. Подобные люди способны завести тайную типографию, поместив там своих агентов с подложными паспортами, благо распространение ими нелегальных документов было допущено, и затем бросить эту квартиру, желая доказать таким образом правительству бездеятельность и не состоятельность полиции. Могут таким же путем начать вести подполье, и потом, скрыв своих агентов, донести о его существовании. Мне известно, что некоторыми членами этих обществ готовится обширная записка, которая должна, по их мнению, доказать правительству, что борьба с крамолой, в области даже полицейских мер, без участия в этом деле дружины, не может привести ни к какому результату; ибо полиция находится в младенческом состоянии, а лица, стоящие во главе Министерства Внутренних Дел, бессильны усовершенствовать полицейские органы.

Как тяжело, видимо, людям известного склада, к прискорбию носившим имя „члена Священной Дружины“, расстаться с легко получаемыми рублями, прикрываясь идеей спасения отечества.

Общество Добровольной Охраны, создавая кружки молодежи с целью противодействия революционной пропаганде, в сущности само пропагандировало молодежь против существующего правительства; ибо объясняло молодежи, что главная задача общества состоит в подавлении путем убеждения революционных идей и в направлении России на путь необходимых реформ, осуществление которых немислимо при существующем бюрократическом строе; что общество ровно ничего общего с администрацией не имеет.

Когда пронеслась весть о прекращении деятельности общества, применившего к нему, молодежь выразила ропот, говоря, что русская администрация не могла допустить существование даже такого невинного общества.

Таким образом, Ваше Превосходительство изволите усмотреть, что между некоторыми и, вероятно, многими членами как Общества Добровольной Охраны, так и Дружины образовались из довольных недовольные, которые тем или другим путем выразят это неудовольствие, если они только не будут поименно известны правительственной администрации. Установить наблюдение за дальнейшею деятельностью членов упраздненных обществ нет возможности, так как полиция далеко еще не обладает достаточными средствами и для наблюдения за революционными партиями. Поэтому, признавая решительно необходимым иметь списки всех лиц, служивших в этих обществах наблюдательными и секретными агентами (или сообщителями, как назывались они на жаргоне добровольной агентуры), имею честь просить ходатайства Вашего Превосходительства о передаче мне этих списков.

Было ли удовлетворено это требование, неизвестно. Некоторые деятели св. дружины продолжали свою работу в департаменте полиции или, сбросив маску, открыто появились в реакционном лагере. Таковы Мальшинский-Климов, Воронович, Божидарович-Веселитский и др. А другие исчезли бесследно, и дальнейшая их судьба неизвестна, — таковы загадочный доктор Ниманский и его двойник Н. Клименко.

Д. Заславский.

Библиография.

А. В. Прибылев. — В динамитной мастерской и Карийская политическая тюрьма. — И воспоминаний народовольца. — Госуд. Издат. Ленинград. 1924. Стр. 78. (С приложением портретов А. В. Прибылева, М. Ф. Грачевского, Р. Л. Прибылевой и М. Ф. Клименко).

После ареста В. Н. Фигнер, Исполнит. Комитет Нар. Воли, возглавившийся в это время М. Ф. Грачевским и А. П. Корба, сделал попытку организовать новую динамитную мастерскую для целей террористической борьбы. В. Н. Фигнер была арестована в феврале 1882 года в Харькове, динамитная мастерская открылась летом того же года в Петербурге. Пожесталась она на Вас. Остр., по 11 линия, в доме № 24, в квартире бывшего ветеринарного врача Александра Вас. Прибылева и его жены (брак в то время был у них фиктивный) Розы Львовны. Об этой динамитной мастерской и о связанном с ним периоде в истории „Нар. Воли“, в частности о роли тут Грачевского, так трагически погибшего впоследствии в Шлиссельбурге, в нашей литературе почти нет никаких сведений, и указанная выше книжка А. В. Прибылева поимелется как нельзя более кстати.

Брошюра Прибылева читается с большим и неослабевающим интересом и только своей относительной краткостью вызывает в читателе некоторое чувство досады. Автор этой книжки — талантливый мемуарист, хорошо в этом отношении знакомый уже читателям народо-вольческой мемуарной литературы. Еще в 1906 году он дал превосходный очерк о процессе 17-ти в тогдашнем „Вылом“ в № 11 (Статья: „Процесс 17-ти в 1882 г.“). Она составляет непосредственное продолжение изданной теперь брошюры о динамитной мастерской, хотя и написана почти на двадцать лет раньше. Но А. В. Прибылев вообще не соблюдает хронологическую последовательность в темах, которые он выбирает для своих мемуаров. Так и в рецензируемой книге соединены две совершенно разные эпохи: — динамитная мастерская и Карийская каторга. Между тем у А. В. Прибылева в разных местах, начиная с окраинных „Сибирских Записок“ (журнал, издававшийся в Красноярске, под редакцией В. М. Крутовского) и кончая московской „Баторгой и Ссылкой“, разбросаны, то в виде журнальных заметок, то отдельными книжками, записки о прошлом, охватывающие почти весь период его революционной деятельности, вплоть до выхода с каторги. Если бы их собрать воедино и расположить не по времени их появления в свет, а хронологически по эпохам, которые в них описываются, то получилась бы такая картина:

- 1) „В динамитной мастерской 1882 года“.
- 2) „Процесс 17-ти в 1882 году“.
- 3) „От Петербурга до Кары“. — Воспоминания. — Изд. „Колоса“ 1923 г. Стр. 143.
- 4) „Карийская политическая тюрьма“.
- 5) „Еще о Карийской трагедии“ (в журнале „Каторга и Ссылка“ № 8).

Взятые в целом эти очерки дают целую картину жизни русского революционера 1880 г. Было бы желательно собрать их в одну книгу и, снабдив некоторыми дополнениями, дать возможность читателю ознакомиться с ними сразу, в хронологическом порядке, чем несомненно весьма усилятся общее впечатление от этих превосходных

записок. За А. В. Прибылевым есть, впрочем, еще своего рода литературные недоконки: — эти воспоминания необходимо было бы дополнить очерком о первых его испытаниях на революционном поприще, в конце 1870-х и в самом начале 1880-х гг., еще до динамитной мастерской. Автор останется в большом долгу перед своей эпохой, если не вернется от конца своих мемуаров опять к началу, дав нам характеристику революционной молодежи в самый разгар деятельности „Народной Воли“.

Но если бы мы находили чрезвычайно полезным переиздание записок А. В. Прибылева, в том числе и тех, которые вышли уже отдельными брошюрами, то тем более мы сочли бы нужным некоторое дополнение их в ряде существенных пунктов. Среди мемуаристов старого времени временами замечается некоторая склонность как бы облегчать себе работу своего рода сужением материала для своих записок. Эту склонность никак нельзя признать допустимой и целесообразной у авторов такого типа, как А. В. Прибылев. Напротив, она в данном случае как раз и вызывает в читателе уже отмеченное выше чувство некоторой досады: — автор обрывает свое изложение как раз в таких местах, где оно становится особенно интересным, не желая перегружать своих записок излишними подробностями.

Эта черта сказывается также в очерке А. В. Прибылева о динамитной мастерской. Здесь есть драгоценный материал о целом ряде тогдашних событий, особенно что касается М. Ф. Грачевского. Образ Грачевского чрезвычайно удался автору, и о Грачевском он сообщает много нового и интересного. Весьма кстати тут же приложен превосходный портрет М. Ф. Грачевского, так рельефно оттеняющий его характеристику, данную А. В. Прибылевым и еще более В. Н. Фигнер, статью которой он тут же цитирует (стр. 12—13). Имея в виду позднейшую судьбу Грачевского в Шлиссельбурге, в частности его самосожжение, читатель с особенным интересом останавливается на том, что пишет автор о Грачевском в последние моменты его жизни на воле. Благодаря этому так понятной и еще более трагичной становится и вся его тюремная Голгофа. Но рядом с Грачевским автор рисует еще другой образ тоже будущего шлиссельбуржца и тоже окончившего там самоубийством, это — образ М. Ф. Клименко, игравшего большую роль в тогдашней динамитной мастерской и вообще в революционных событиях того момента. К сожалению, о Клименко он говорит очень скупо, как бы опасаясь обременить читателя излишними характеристиками, — это большая ошибка, которую было бы необходимо исправить при возможном в будущем переиздании вышеперечисленных очерков.

Отсутствуют в „Динамитной мастерской“ и еще некоторые детали, уже известные тем или иным путем, о намерениях и настроениях участников мастерской взорвать всю квартиру в случае ареста (один снаряд был совершенно готовым и лежал в комод у Р. Д. Гроссман-Прибылевой, которая, если бы ей удалось овладеть им, была намерена бросить его под ноги жандармам, и почти наверное — бросила бы), о намерениях столь характерных для той эпохи. Нельзя опускать такие детали, как это сделал А. В. Прибылев, тем более что у него хватило бы умения передать их двумя-тремя штрихами. Было бы желательно также обрисовать ярче систему слежки, которой Судейкин окружил всю мастерскую, не ограничиваясь теми данными, которые сообщает теперь автор (стр. 38 и др.). Материал для этого существует. Желательно также обрисовать несколько полнее вообще момент, переживавшийся тогда „Народом. Волей“, и позицию, занятую по отношению к ней самим Судейкиным.

При литературном таланте А. В. Прибылева подробностей и деталей ему вообще не приходится бояться: — его записки как раз и ценны своими деталями, умением передать обстановку своего рода революционной интимности, что составляет почти недоступную задачу для других мемуаристов.

Приблизительно такого же рода и очерк А. В. Прибылева о Карийской каторге. В нем царит то же настроение, но есть, хотя и в меньшей мере, те же и пробелы. Ярким дополнением его является статья „Еще о Карийской трагедии“, недавно напечатанная А. В. Прибылевым, как указано выше, в журнале „Каторга и Ссылка“.

Будем надеяться, что автор соберет все-таки во-едино все эти очерки в одной книге, пересмотрит их еще раз, снабдит некоторыми дополнениями, свяжет их один с другим, и тогда мы будем иметь одно из чрезвычайно ценных мемуарных произведений по эпохе последнего периода „Народной Воли“. Чем скорее он это сделает — тем лучше!

Евгений Малосев.

Мученики Шлиссельбургской крепости. Составлено Юрием Соболевым. — Издат. „Красн. Новь“. Главполитпросвет — Москва. 1923 г. Стр. 51. — Эзв. 15.000.

Популярная брошюра, чрезвычайно полезная по заданию, но написанная на-слух без надлежащего знакомства с литературой предмета. Неточностей и ошибок так много, что трудно их перечислить. На стр. 8 о Лукасинском говорится, что он был арестован при Николае I в 1831 г., умер в Шлиссельбурге в 1868 г., просидев в одиночном заключении 36 лет. Общеизвестно однако, что Лукасинского арестовали не в 1831 году а в 1822, не при Николае I, а еще при Александре I (собственно при цесаревиче Константине в Польше), и просидел он не 36 лет, а 46 лет, на десять лет больше, чем указывает Юрий Соболев. „Никто из судебных властей не знал, за что сидит Лукасинский. Дела о нем в бумагах не нашлось“ и пр., прибавляет автор. Лукасинский судился в Варшаве и по суду был приговорен к 9 годам ваторжных работ (Александр сматывал этот приговор до 7 лет), и судебные власти, знали, конечно, за что они его приговаривали. Но потом после восстания 1830 г. Лукасинский был, по личному распоряжению Николая, переведен в Шлиссельбург, и здесь не судебные власти, а даже коменданты не имели представления, что это за преступник. Дело о нем кое-какое все-таки нашлось: справка о Лукасинском с подробным перечислением его „преступлений“ напечатана еще в 1907 г. в журнале „Былое“ (см. V кн. за май), о чем Юрий Соболев, повидимому, не знает. „Только смерть Лукасинского напомнила о нем“, утверждает на той же странице автор. Далеко не только смерть. О Лукасинском не раз поднимали вопрос сами коменданты, но безуспешно. Даже при Александре II в 1868 г. ходатайства сестры Лукасинского оставались без ответа; и даже, когда в 1861 г. сам комендант просил облегчить участь Лукасинского, то и он сначала получил отказ, лишь в 1862 г. Александр II разрешил (в ответ на новую просьбу коменданта) выходить Лукасинскому из цитадели на территорию крепости, однако без права покидать ее пределы, хотя бы под конвоем. Этот пример с Лукасинским чрезвычайно типичен для брошюры Юрия Соболева. Она буквально вся переполнена такими ошибками и неточностями¹⁾. Что касается ее пробелов, то достаточно сказать, что в ней нет ни слова о новейшей тюрьме (с 1907 г.), как будто тогда не было своих мучеников (см. об этом в книгах Генкена, Вороницына, в статьях Градова в „Былом“ и др. источниках). С другой стороны, в брошюре Юрия Соболева при перечислении казней, совершенных в крепости, ни слова не говорится о повешении А. И. Ульянова и его товарищей, хотя это был один из самых драматических эпизодов в истории Шлиссельбурга, не говоря уже о том, что А. И. Ульянов старший брат Вл. И. Ленина. Пробелы и ошибки в брошюре Соболева так существенны, что делают невозможным рекомендовать ее широкое распространение.

Мария Горбунев.

¹⁾ На стр. 10: о Шлиссельбурге вспомнил в 1882 г. мин. вн. дел Толстой. Приказ о постройке новой тюрьмы в Шлиссельбурге подписан Александром III еще в августе 1881 г., а не позже. На стр. 13: В. Н. Фингер вышла из Шлиссельбурга в 1905 г. Не в 1905, а раньше, еще в сентябре 1904 года. — На стр. 14 помещен (взятый у М. В. Новорусского) список заключенных в Шлиссельбурге (с 1884 по 1906 г.) — Этот список ныне требует серьезных поправок и дополнений. „Сколько было душевно больных в Шлиссельбурге — теперь никто не сможет установить“, говорит автор на 16 стр. Это неверно, по официальным данным это теперь уже установлено. Душевно-больных было

не менее 40—45, даже 50%, если даже не больше. На стр. 17: переписка заключенным в Шлиссельбурге была разрешена „только через семь долгих лет“. Не через 7, а через 13 лет, в 1897 г. На стр. 15: „в 1896 г. трое сошло с ума, а пятеро было помиловано“, и пр. Никто не был помилован, а вышли пятеро по окончании срока, правда, со скидкой по манифесту, но это все-таки не помилование. На стр. 5 говорится, что при попытке Мировича освободить Иоанна Антоновича были убиты и он сам, и несчастный Иоанн VI^й. Мирович не был убит, а его Екатерина II казнила в Петербурге. Описание казни есть у поэта Державина, в его записках. Царевна Мария Алексеевна не находилась „одновременно“, как утверждает автор, с Евдокией Лопухиной в Шлиссельбурге, а в разное время. На стр. 4: „вероятно, такой же мирный вид имела крепость и два столетия назад“. Почему только два столетия, когда она построена еще в XIV веке, пять столетий назад? На стр. 14 — „так, Н. А. Морозов фактически провел в одиночной камере 27 лет своей жизни“. Не 27 лет, а 30, если считать (а почему не считать) и тот срок, который отбывал Ник. Ал. в 1912 г. в Двинской крепости. „В 1887 году съел себя Грачевский, а вскоре были казнены Минаков и Мышкин“. Они были казнены на 3 года раньше, в 1884 и в январе 1885 г. После неудачной попытки освободить Чернышевского, — „Мышкин, увидя, что дело плохо, бросился бежать, вскочил в лодку и поплыл вверх по Лене“. Это было не на Лене, а на Вилюе, в 700 верст. от Лены, и не летом, а зимой. И вообще при совершенно иной обстановке. Этот список ошибок и неточностей можно было бы продолжать без конца, хотя в брошюре всего 50 стр. малого формата и крупного шрифта.

ПЕЧАТАЕТСЯ

ЦАРСКАЯ РОССИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПЕРВАЯ СЕРИЯ

1. В. В. Шульгин. *Д. О. Заславского.*
2. В. М. Пуришкевич. *С. Б. Любоша.*
3. В. А. Сухомлинов. *В. А. Апушкина.*

ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ СОДЕРЖАНИЕ 27-ой КНИГИ.

1. *Неизданные страницы записок А. М. Тургенева*, сообщ. С. П. Шестериков.
2. *Записки русского помещика*. Н. Огарева.
3. *Неизвестная статья Бакунина о России*. Вяч. Полонского.
4. *Сидоринский процесс*. (Из деятельности ген. Врагеля в Крыму). И. Калинина.
5. *Дарницкий исход*. С. Мстиславского.
6. *Шлиссельбургская каторга*. В. Градского.
7. *Психология предательства*. Из записок сотрудника.
8. *Социальные движения 1916 года в Туркестане*. А. П. Миклашевского.
9. О. В. Аптекман, как историк „Земли и Воли“. Евгения Колосова.
10. А. А. Поливанов и его „Мемуары“. Вл. Апушкина.
11. Л. Н. Андреев. Из воспоминаний. С. Елпатьевского.

Обложка работы художника Акимова. Цена 60 коп.

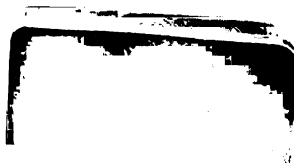


2K1
12952
New Ser.
No. 25-26



3 0000 108 522 875

**DO NOT REMOVE
SLIP FROM POCKET**



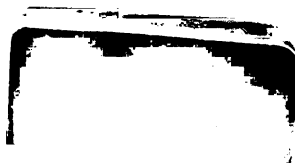
DENCO

22K1
12452
New Ser.
No. 25-26



3 0000 108 522 875

**DO NOT REMOVE
SLIP FROM POCKET**



DENCO

